

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

**МЕТОД:
МОСКОВСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ
ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН**

СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ВЫПУСК 4

ПОВЕРХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

МОСКВА
2014

ББК 60; 66
М 54

ИНИОН РАН

*Центр перспективных методологий
социально-гуманитарных исследований*

Главный редактор – М.В. Ильин
Ответственные за выпуск –
В.С. Авдонин, К.П. Кокарев, И.В. Фомин

М 54

**МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общест-
воведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.
Центр перспективных методологий социально-гуманит.
исследований; Ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.) и др. – М.,
2014. – Вып. 4: Поверх методологических границ / Ред. и
сост. вып. М.В. Ильин. – 474 с.**

ISBN 978-5-248-00680-9

Анализируется мировой и отечественный опыт преодоления ограничений, которые накладывают различные методологические подходы. Обсуждаются проблемы проведения междисциплинарных исследований. Рассматриваются возможности различных исследовательских методов. Внимание сосредоточивается на попытках соединения качественных и количественных методик исследования, в частности на отдельных разновидностях так называемого качественного сравнительного анализа (QCA).

Для научных работников, студентов, аспирантов.

ББК 60; 66

ISBN 978-5-248-00680-9

© ИНИОН РАН, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

М.В. Ильин. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разъединенные сферы познания?.....	6
--	---

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

В.С. Авдонин. Методологическая интеграция науки	12
А.В. Коротаев. Беседа с редколлегией ежегодника об отношении предмета и способа его изучения.....	33

МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И СЕМИОТИКА

Я.Г. Дорфман, В.М. Сергеев. Формальная логика как знаковая система	44
А.С. Ахременко, А.П.Ч. Петров. Институциональное инвестирование и эффективность общественной системы: Опыт математического моделирования.....	62
Р.У. Камалова, Д.К. Стукал. Прикладная статистика как инструмент познания в социальных науках	83
С.Т. Золян. Модальная семиотика: Основания и обоснования	97
Круглый стол «Математика и семиотика: Две отдельные познавательные способности или два полюса единого органа научного знания?».....	122
И.В. Фомин. Элементы семиотического органа для обществоведения: Анализ повествований	143
В.Л. Цымбурский. Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия.....	161

ТЕКТОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

К.П. Кокарев. Институционализмы: Сад расходящихся исследовательских тропок.....	192
А.М. Кузнецов «Новый институционализм»: Взгляд через призму дискурсивного анализа	203
Вернер Дж. Патцельт. Прочтение истории: Очерк эволюционной морфологии.....	228

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Н.С. Розов. Интеграция фундаментальных проблем современной философии истории и макросоциологии	261
Арнасон Й. Понимание цивилизационной динамики: вводные замечания	280
М.В. Масловский. Историческая социология Й. Арнасона: Взгляд на российскую историю в контексте междисциплинарного взаимодействия	293
А.В. Баранов. История и политическая наука: Возможности междисциплинарного синтеза в изучении цивилизаций.....	303

РОККАНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ

Л.В. Сморгунюв. Методологический синтез в современной сравнительной политологии.....	313
---	-----

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА

Хейуард Роуз Алкер-мл. (1937–2007) Биографическая справка.....	324
Хейуард Роуз Алкер-мл. Избранная библиография.....	327
В.М. Сергеев. Хейуард Алкер-мл. как теоретик политической науки.....	330
А.П. Цыганков. Встречи с Алкером	333
М.В. Ильин. Овладение масштабом	340
Алкер Х.Р.-мл. Политическая методология: Вчера и сегодня	345
Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В. Дж., Шнайдер Д.К. Иисус Арнольда Тойнби. Вычислительная герменевтика и непрерывная традиция классической средиземноморской цивилизации.....	360

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЦИЯ

И.М. Локшин. 20 лет дискуссии об обновлении методологии социальных наук. Обзор	403
---	-----

ДОСЬЕ

В.С. Авдонин. Центры изучения интеграции науки в Германии, Швейцарии и Австрии. Обзор.....	426
И.В. Соболева, Д.Э. Гаспарян, А.С. Соболев. Исследовательский проект «Качественные методы в социальных исследованиях»	437
Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов (фрагменты).....	442
Аннотации	464
Сведения об авторах	475

М.В. Ильин

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ.
ЧТО ДЕЛАЕТ НАУКУ ЕДИНОЙ?
КАК СОЕДИНИТЬ РАЗЪЕДИНЕННЫЕ
СФЕРЫ ПОЗНАНИЯ?¹**

Прошло пять лет с момента создания Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. Выпущены три ежегодника МЕТОД². В первом из них мы задались вопросом, как изучать меняющийся предмет исследования. Во втором – на примере такого всеохватного предмета, как мировое развитие, попробовали посмотреть, как соотносить различные аспекты, масштабы и измерения такого меняющегося предмета. Наконец, в третьем мы попробовали выяснить, насколько научное воображение и социальная воображаемость способны помочь улавливать и соединять ускользающие проявления меняющихся предметов нашего изучения.

В ходе обсуждения трех первых выпусков нашего ежегодника в марте 2013 г. (материалы публикуются в данном выпуске) было публично заявлено о новой, по меньшей мере трехлетней, программе Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН и нашего ежегодника. Мы продолжаем работу над вопросами, поставленными в первых трех выпусках МЕТОДа, и добавляем к ним новые, например вынесенные в заголовок. Задача крайне амбициозна – выявить, испытать и по возможности усовершенствовать интеграторы научного знания. Ее важность особенно отчетливо видна на фоне картинки, когда наши коллеги рассаживаются по отдельным, никак не связанным друг с другом столикам и прекращают не только общаться, но и понимать друг друга.

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789, руководитель: М.В. Ильин).

² МЕТОД: Московский Ежегодник Трудов из Общественно-научных Дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр перспективных методологий социально-гуманитарных исследований; Ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.) и др. – М., 2010–2012. – Вып. 1–3.

Отдельные столики

Так называется первая глава в книге классика современной политической науки Габриэля Алмонда «Дисциплина разделенная» [Almond, 1989]. Не буду заниматься литературоведческими изысканиями и проследить генеалогию этого образа вплоть до драматургической дилогии Теренса Раттигана «Отдельные столики»¹. Не буду прочерчивать напрашивающиеся параллели между дисциплиной разделенной и домом разделенным². Вспомню только заключительный прием на чикагском конгрессе Американской ассоциации политической науки, где мне как раз и довелось познакомиться с Алмондом. Огромный зал или, точнее, даже несколько соединяющихся залов были уставлены столами разных размеров и конфигураций. За каждым сидели добрые друзья, коллеги и многолетние сотрудники. За каждым шел свой разговор на языке, понятным только посвященным. За каждым своя политическая наука со своим предметом и приемами его изучения.

Все большее дробление и все более отчетливая консолидация отдельных мини-наук – вот непреодолимая тенденция наших дней и десятилетий. Где нынешние полигисторы? Куда им примоститься? Что бы сказал Гёте, оказавшись среди бесконечного и ускоряющегося умножения столов, столиков, лавочек и даже приставных табуреток?

Не рискуем ли мы потерять счет постоянно открываемым и куда-то пропадающим мини-наукам? Стоит только объявиться чему-то новому, например, джи-ар, флэш-мобам, газопроводу «Набукко», точнее его проекту, как тут же находятся джиароведы, набукковеды, флэшмобоведы, которые усаживаются за свои отдельные столики и начинают вести свои, непонятные чужакам разговоры. И что станет с этим столиком через десяток-другой лет? Что останется в славной традиции приращения знаний, advancement of learning? А что исчезнет среди шелухи злобы дня сего?

Что же нам делать в этой ситуации?

Очевидный, казалось бы, ответ – обратиться к междисциплинарным исследованиям. Однако тут нас подстерегают две опасности. Первая и самая очевидная – заключается в произвольном соединении наспех и поверхностно освоенных дисциплин, что создает эффект недодисциплинарности. Другая опасность состоит в выделении еще более специфических

¹ За отдельными столиками = Separate tables: Фильм. Драма / Сценарий Теренс Рэттиган, Джон Гэй, Джон Майкл Хейс. – США, 1958. – Режим доступа: <http://www.kinopoisk.ru/film/12440/> (Дата посещения 16.01.2014.)

² Каждое царство разделенное в себе будет опустошено, и каждый дом разделенный в себе не устоит (Матф., 12:25).

зон пересечения, которые сами по себе провоцируют создание новых отдельных столиков. Таким образом, взаимодействие на стыках наук или отдельных дисциплин отнюдь не гарантирует автоматической интеграции и целостности науки. Скорее наоборот – ведет к еще большему дроблению в случае, если стремиться к соответствию между предметом и методом исследования, чему учат проникнутые самодовольным апломбом учебники. Некритическое усвоение данной догмы – прямой путь к умножению отдельных столиков. Можно создать свою область изучения гендерных аспектов властного дискурса пищевых предпочтений кочевых популяций евразийских степей. При всей своей социально-политически-коммуникативно-ценностно-демографическо-географической «интеграции» получается маленькая частная табуреточка.

Куда перспективней поискать не меж-, а трансдисциплинарные возможности. Они заключаются в методологической общности разнопредметных дисциплин. Такое сочетание проблематично. Однако гораздо продуктивней.

Если использовать алмондовский образ, то картинка будет выглядеть так. Между некоторым количеством столиков возникает какая-то суета. Между ними снуют люди. Одни пересаживаются и вступают в дискуссию за новым столиком. Другие бродят между столиками, пока не услышат что-то понятное и любопытное, бросают свои реплики и движутся дальше. Третьи более систематично перемещаются как посланцы от стола к столу. Наконец, четвертые пытаются понять и растолковать, что же общего в разговорах за разными столиками, на каком же общем языке они идут.

Может повезти. Несколько столов заговорят на диалектах одного языка, начнут понимать друг друга. Например, одни будут изучать волны демократизации, другие – государственного строительства, третьи – терроризма, а четвертые – инноваций. Некое подобие интеграции налицо. Глядишь помимо использования общих мыслительных приемов удастся также усмотреть связи и соответствия между разными волнами. Однако и тут появляются сомнения. Насколько прочна и основательна такая интеграция? Не слишком ли она зависит от случайных обстоятельств, например изменчивой моды?

Утверждают порой, что трансдисциплинарный синтез может быть эффективным и надежным, если он связан с решением некой общей познавательной проблемы (эффекты глобального потепления, демографического взрыва и т.п.). Такой проблемный подход сам по себе стал модой. Насколько он удовлетворителен? Не слишком, если сам интегрирующий фактор преходящ. Проблема решена или даже возникло ощущение ее решения, и основания интеграции исчезают.

Общим для междисциплинарности, и для транциплинарности, и для мегадисциплинарности, задаваемой неким «комплексным» мегапредметом

изучения¹, является догматическая привязка дисциплины к предмету изучения и придание методу чисто служебного, вторичного значения. Настала, вероятно, пора изменить акценты. Следует именно метод рассматривать как определяющее, «первичное» основание исследования, а предмет как почву для его укоренения. Это позволит дополнить взгляд на стыки между дисциплинами и предметами (междисциплинарность) и на связи сквозь дисциплины и предметы (трансдисциплинарность) подчеркнутым вниманием к познавательным способностям, которые не зависят от предмета изучения и которые действительно объединяют дисциплины не только *меж* и *сквозь* них, но *поверх* всех предметных разделений.

Нас интересуют те способности познания, которые используются сквозь и поверх всех или почти всех предметных дисциплин со своими объектами изучения и жизненной фактурой. Эти способности познания можно называть органонами-интеграторами, если они получают самостоятельное существование и методологическую отчетливость вне приложения к предметным областям и соответствующим дисциплинам. Именно эти вопросы и легли в основу нового проекта Центра перспективных методологий и нашего ежегодника.

Новый проект

Научная проблематика трехлетнего планового проекта Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН «Перспективы обновления и интеграции методов изучения социального развития» (2010–2012) включает три основных составляющих:

1. Изучение социального развития, что связано с продолжением цикла исследований, начатого предыдущим проектом Центра «Методологические проблемы изучения социального развития» и отраженного в первых трех выпусках МЕТОДа.

2. Методологическое обновление исследований социального развития преимущественно за счет организации и проведения междисциплинарных исследований, оценки достижений и перспектив имеющихся прецедентов подобных исследований.

3. Выявление интеграционного потенциала отдельных научных направлений, который может быть использован при работе над первыми двумя составляющими проекта.

Последнее направление представляется наиболее перспективным. В его развитие группа близких к нашему Центру и к ежегоднику исследо-

¹ Вряд ли есть смысл серьезно рассматривать данную альтернативу, поскольку это всего лишь укрупненная версия междисциплинарности. Главное она чревата искушениями псевдохоллизма, который аннигилирует и предмет, и метод в суррогат постмодернистских (пострациональных, постклассических, пост-все-что-угодно) интуиций, а не знания.

вателей В.И. Ильин, В.С. Авдонин, Н.С. Розов, К.П. Кокарев, Д.К. Стукал, И.В. Фомин и ряд других выступила с проектом «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований», который был поддержан РФФИ (проект 13-06-00789 А).

Данное направление могло бы включать критический анализ методологических «империализмов» (панэкономизм, панпсихологизм, структурализм, синергетика и т.п.), которые претендуют на методологическую гегемонию и стирание дисциплинарных различий. Им противопоставляется идея интеграторов-посредников, которые не включают в свою сферу другие дисциплины, не стирают дисциплинарные границы и не замещают иные методологические подходы, а дополняют их за счет проникновения сквозь дисциплинарные и методологические границы, рациональность и функциональность которых не вызывает сомнений.

В ходе критического анализа предполагается выдвинуть и проверить гипотезу, что пересечение компетенций отдельных методов и методологических подходов может создавать комплексные поля способов изучения тех или иных предметов по аналогии с комплексными предметными полями междисциплинарных исследований. При этом одни методы и методики могут брать на себя роль лидера, а другие – ведомого, одни – стабильных разработчиков предметных полей, а другие – помогающих им посредников.

Предполагается также осуществить оценки интеграционного потенциала отдельных научных подходов и дисциплин, которые могли бы брать на себя роли интеграторов, лидеров и посредников в осуществлении социально-гуманитарных исследований. Речь, в частности, идет о математике, когнитивной науке, семиотике, морфологии и компаративистике.

При всех усилиях по выявлению интеграционного потенциала вышеперечисленных научных направлений ни в одном из этих случаев систематически и последовательно не ставилась задача разделения общенаучного ядра и специальных приложений соответствующих научных направлений. Пожалуй, только в семиотике Чарльз Моррис поставил задачу разделения «чистой семиотики» (pure semiotics) и ее специальных дисциплинарных вариантов. Однако решение этой задачи так и не было доведено до конца. Тем более не ставились задачи разделения и консолидации общей компаративистики, морфологии и т.п. на фоне их специальных дисциплинарных версий. Данный пробел и призван заполнить исследовательский проект Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН.

В случае подтверждения выявленных интеграционных способностей можно было бы приступить к разработке соответствующих тому, что мы называем органами-интеграторами. Идея таких органов не просто апеллирует к аристотелевской и бэконовской традициям, но претендует на рационализацию и систематизацию выявленных интеграционных возможностей. Это по существу общие методологические рамки, которые включают как устойчивый методологический аппарат, так и более гибкие ис-

следовательские практики, подтверждающие свою интегративную общенаучную и обществоведческую значимость.

Литература

Almond G. A discipline divided. – Newbury Park: SAGE Publications, 1989. – 352 p.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

В.С. Авдониин

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ¹

Интеграция в науке: Аспекты и уровни анализа

Вопрос об интеграционной тематике и преодолении методологических барьеров в науке обычно ставится в связи с нарастающей дифференциацией и сегментацией поля современного научного знания. Этот процесс усиливается, что осложняет взаимодействие научных дисциплин и практическое использование научных знаний. В таких условиях интеграция науки становится особенно актуальной. Хотя, строго говоря, процессы интеграции, как и дифференциации и специализации, присутствуют в науке всегда, и речь может идти лишь об их интенсивности и соотношении на разных этапах развития науки. В абстрактной форме истории и философы науки, как правило, говорят о циклах развития, в ходе которых в науке могут преобладать либо интеграционные, либо дезинтеграционные тенденции [Störig, 2004]. Этап современного развития больше характеризуется усилением вторых, но это не значит, что при определенных условиях не может возникнуть преобладание первых. И, возможно, что предпосылки для такого рода тенденций уже складываются. Эта мысль, например, прослеживается в известной работе международного коллектива исследователей науки «Переосмысливая науку. Познание и публичность в эпоху неопределенности» [Nowotny, Scott, Gibbons, 2001]. Во всяком случае, рассмотрение и оценка различных аспектов интеграционных тенденций в современной науке, включая и тему методологической интеграции, в свете проблематики нашего выпуска представляется вполне актуальным.

Предваряя это рассмотрение, важно, на наш взгляд, пояснить ряд вопросов, связанных с анализом последующих сюжетов. В их числе во-

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789, руководитель: М.В. Ильин).

просы о факторах интеграционных процессов в науке и об уровнях анализа этих процессов, а также вопрос о смысле самого понятия интеграции в науке.

Прежде всего, об интеграции. В теории процесс интеграции или объединения элементов обычно противопоставляется дезинтеграции, т.е. их разделению и автономизации. Для интеграции также важно появление новых качеств, свойств, состояний, «нового», не существовавшего до нее – в широком смысле, появляющихся в результате объединения элементов, частей или свойств. Кроме того, интеграция соотносится с понятием «доминации», которое характеризует процесс в плане наличия в нем неравноправного либо неравновесного положения объединяющихся элементов или уровней, что может придавать интеграции различные качества в этом аспекте. Наконец, существуют типологические характеристики интеграции в плане ее «глубины», «ширины», «интенсивности», «устойчивости», а также спецификации этого процесса применительно к различным системным уровням реальности – неживой и живой природе, обществу и его подсистемам (экономике, политике, культуре, науке и др.). Применительно к науке интеграция рассматривается как интеграция ее основных элементов – научных дисциплин, а также как ее интеграция с другими подсистемами общества [Stichweh, 1984, 1994; Luhman, 2009].

В вопросе об интеграции науки обычно различают экстерналистские и интерналистские факторы. К первым относятся, прежде всего, потребности общества в решении сложных и комплексных практических задач, для чего требуется объединение усилий нескольких или многих научных дисциплин. Практические вызовы могут по-разному влиять на характер, масштабы, интенсивность, приоритеты, формы и стимулы интеграции в науке, но ее главным побудительным мотивом в этом случае всегда является направленность на решение практической, «внешней» проблемы, пришедшей из-за пределов самой науки. При этом проблема должна быть, разумеется, комплексной, требующей привлечения, по крайней мере нескольких научных дисциплин. Число таких проблем в современных обществах увеличивается, и наука привлекается к их решению во все возрастающих и комплексных масштабах, что вызвало к жизни концепцию «финализации» науки, акцентирующую идею детерминации науки практическими задачами [Вайнгарт, 1989; Федотова, 1984; Ефременко, 2010].

Но кроме них имеются и «внутренние» факторы интеграции, связанные с развитием самой науки, которая, как известно, представляет собой в самом общем виде деятельность, прежде всего, по получению, сохранению и трансляции знаний. В данном случае интеграция стимулируется этой «внутренней» задачей – необходимостью развития познавательных возможностей науки за счет интегрального использования познавательных достижений различных научных дисциплин. Растущая дифференциация и специализация науки, расширяя фронт объектов познания и арсенал познавательных средств, создает такую возможность, а объединение этого увеличивающегося потенциала, налаживание в нем взаимодействий и

коммуникаций становится важной специальной задачей внутри науки. В отличие от общественно-практических, «внешних» стимулов, это – «внутренний» стимул интеграции, связанный с расширением именно познавательных возможностей и добывания новых знаний путем решения познавательных проблем [Поппер, 2002; Койре, 1985].

Учитывая это различие, нас будет интересовать, в первую очередь, круг «внутренних» стимулов интеграции науки. Хотя, следует отметить, что непроходимой границы между познавательными и общественно-практическими факторами и проблемами не существует. На их взаимодействии делается акцент в целом ряде направлений исследования науки. В частности, некоторые историки науки подчеркивают связь с уровнем развития общества тех средств и методов, которыми располагает научное познание. В этом смысле любая самая отвлеченная познавательная задача должна быть «общественно релевантной», т.е. соответствовать уровню имеющихся у науки средств и возможностей [Parthey, 2010]. Другой вариант представлен концепциями науки «модуса 2» (Mode 2), получившими известность в современных исследованиях науки [Nowotn, Scott, Gibbons, 1995]. Иногда его связывают с разработкой постмодернистского понятия «трансгрессии», означающего проницаемость всех и всяческих границ в современных условиях [Robinson, 2007]. С этой точки зрения автономия науки тоже ослабевает, возникает феномен науки «модуса 2» или «науки в контексте», отражающий рост ее зависимости от «внешних» контекстов.

Еще один вопрос, о котором мы упоминали, касается уровней анализа интеграционных процессов в науке. И здесь, как и в большинстве исследовательских направлений, речь может идти об эмпирическом и теоретическом уровнях. В отношении эмпирического уровня область исследования достаточно определена – это непосредственно наблюдаемые, описываемые и измеряемые по определенным эмпирическим индикаторам факты и процессы взаимодействия в науке между различными дисциплинами, предметными областями и тематическими направлениями, а также оценка их интенсивности, глубины и познавательной эффективности по определенным эмпирическим критериям.

Что же касается теоретического уровня анализа, то в данном случае он имеет определенную специфику. Его особенность в том, что теория интеграции науки, обращается к научным дисциплинам, которые имеют теоретическое содержание, т.е. сами являются теориями, оказывается своего рода теорией интеграции теорий, что делает ее проблематику в известном смысле рефлексивной и метатеоретической. Попадая в слой метатеоретического и шире – метанаучного знания, проблематика теории интеграции науки тесно соприкасается со всеми его многообразными аспектами и составными частями, включая разного рода проблемы и парадоксы.

В отечественной литературе в состав метатеоретического уровня обычно включают несколько основных компонентов, которые на общефи-

лософском языке определяются как онтологические, гносеологические и аксиологические основы науки. А в рамках философии науки конкретизируются как общенаучная картина мира, методология науки (общенаучная методология) и этика науки [Философия науки, 2010]. Существующие параллельно науковедение, социология науки и история науки в состав этого уровня, как правило, не входят.

В западных исследованиях науки метатеоретический уровень понимается шире и сближается с метанаучным, в который включаются три основных блока – философия и теория науки, социология науки и история науки [Maasen, 2009; Handbuch Wissenschaftssoziologie, 2012].

Метод анализа на метатеоретическом уровне – рефлексивный, т.е. включающий обращенность познания на самого себя. При этом в рефлексии применительно к науке различают три уровня или вида [Философия науки, 2010, с. 155–165]. Частнонаучная рефлексия, связанная с проблематикой познания в той или иной отдельной науке; общенаучная – связанная с проблематикой научного познания как такового, в масштабах всей науки; всеобщая или философская рефлексия, рассматривающая вопросы познания вообще, как способности, соотнесенной с миром и культурой в целом.

Очевидно, что наша тема методологической интеграции науки находится преимущественно в пределах второго общенаучного уровня. Хотя влияния и включения с других уровней, конечно, возможны. На этом уровне она включена в проблематику общенаучной методологии, охватывающую некоторую совокупность общенаучных методов, норм и представлений, которые в той или иной форме и мере свойственны всем научным отраслям и дисциплинам. К ним обычно относят методы эмпирического и теоретического познания, включая наблюдение, измерение, сравнение, эксперименты, идеализации, формализации, моделирование, методы построения и проверки гипотез, исторические и логические методы и т.д. [Философия науки, 2010]. И эта общенаучная методология уже сама по себе задает интеграционный вектор в науке.

Вопрос, однако, в том, насколько эта, безусловно, присутствующая в науке общность методов, норм и представлений способна обеспечить интеграцию реально существующего поля наук в условиях его растущей дифференциации и дисциплинарной сегментации. Иначе говоря, может ли, в каком отношении и как, эта общенаучная общность органично сочетаться с тем когнитивным содержанием научных дисциплин («дисциплинарной матрицей», по Куну [Кун, 1975]), которое и организует исследовательский процесс (получение нового знания) в отдельных дисциплинах?

Ответ на этот вопрос в методологических исследованиях науки в целом сводится к двум вариантам [Щедровицкий, 1997]. Во-первых, общенаучные компоненты могут выполнять интеграционную функцию определенного уровня, поддерживая некое формальное единство науки. В то же время функцию более высокой содержательной интеграции исследований они выполнить не могут, поскольку не обладают развитой интеракцией с

когнитивным содержанием отдельных дисциплин. Во-вторых, содержательная интеграция в науке не ограничивается общенаучными компонентами, а базируется, прежде всего, на взаимодействиях между дисциплинами в процессе исследований, что способно обогащать и усиливать их познавательный потенциал [Biagioli, 1999].

Междисциплинарная интеграция: Проблемы теории и эмпирический анализ

С учетом сказанного выше, в центре внимания анализа интеграционного процесса в науке часто оказываются взаимодействия между основными единицами науки – научными дисциплинами. Природа дисциплинарного строения науки и связанные с этим проблемы активно изучаются в современном науковедении и философии науки [Мирский, 1980; Огурцов, 1988; Stichweh, 1984].

Междисциплинарная интеграция, как правило, противопоставляется дисциплинарной дифференциации и сегментации науки как процесс обмена элементами когнитивного содержания между дисциплинами, позволяющий повышать их познавательную эффективность в ходе исследований, т.е. создавать новое знание. В этот обмен могут вовлекаться как методологические, так и теоретические компоненты дисциплин, которые адаптируются к когнитивному содержанию других дисциплин. Содержание, устойчивость и интенсивность этих обменов может быть различной и влиять на характер междисциплинарной интеграции [Interdisziplinarität, 2010; The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2010].

Рамками анализа междисциплинарной интеграции и происходящих в ней обменов и взаимодействий являются, как было сказано выше, эмпирический и теоретический (в данном случае метатеоретический) уровни. В структуре последнего существенное значение для рассмотрения может иметь упоминавшаяся выше научная картина мира, которая синтезирует общие представления науки определенной эпохи о существующей реальности. На онтологическом уровне она разрешает проблему многообразия, постулируя существование развивающейся и усложняющейся объективной реальности, которая от элементарных энергетических состояний, скрытых в гравитации и вакууме, эволюционирует к появлению вещества, физических и химических свойств и реакций, возникновению жизни, психики, разума, социальности и культуры. Реальность с этой точки зрения представляет собой иерархию системных уровней и форм – от простейших до все более сложных, включающих элементарное и менее сложное в свой состав [Fischer, 2010].

На теоретико-познавательном уровне это онтологическое представление помогает прояснять характер междисциплинарных взаимодействий

в науке. Предполагается, что научные дисциплины дифференцируются соответственно уровням развития реальности, а отношения между ними тоже строятся определенным иерархическим образом. Но иерархия в науках формируется иначе, чем в объективной реальности. Здесь она является, скорее, обратной.

«Наверху» в ней оказываются дисциплины, имеющие дело с наиболее простыми, элементарными предметными областями. Чем проще устроены фрагменты реальности, с которыми имеет дело наука, тем лучше данная дисциплина соответствует идеалу научной рациональности – ее абстракции лучше и полнее «схватывают» реальность, а связи могут быть «жестче» зафиксированы в теории. Данная наука становится более строгой и точной и одновременно более фундаментальной, поскольку базируется на более широких и фундаментальных генерализациях. И, наоборот, чем сложнее устроена предметная область науки, включающая более сложные и комплексные феномены, тем сложнее в ней формирование обобщений, «бледнее» ее абстракции, «мягче» и неопределеннее связи в теории. С точки зрения классического идеала научности данная дисциплина оказывается менее строгой и фундаментальной, менее развитой, зрелой и успешной [Stichweh, 1984, 1994].

В этом плане иерархия статусов научных дисциплин отражает как бы обратный по отношению к иерархии уровней реальности порядок. Наиболее развитыми в нем оказываются физические дисциплины, имеющие дело с наиболее элементарными фрагментами реальности, а наименее – социальные и гуманитарные дисциплины, изучающие наиболее сложные и комплексные феномены. Все это отражается на многих аспектах соответствующих дисциплин, на характере их методов, языка, на их социальном престиже и эффективности, а также на состоянии и организации научных сообществ, их коммуникации, способах трансферта знаний и т.д.

Для междисциплинарных взаимодействий этот иерархический порядок имеет существенное значение. Обмен когнитивным содержанием и, следовательно, интеграция между дисциплинами имеет неравновесный характер. Понятно, что в нем доминирует влияние более развитых в научном и методологическом плане дисциплин на менее развитые, более строгих – на менее строгие или более «жестких» – на более «мягкие». В самой этой модели, разумеется, нет ничего предосудительного. Развитые и доказавшие свою эффективность в предметной области одной дисциплины познавательные средства и методы могут при соответствующей адаптации вводиться в контекст другой дисциплины и также приносить полезные эффекты. Примеров таких междисциплинарных взаимодействий немало. Приобретая устойчивость и институционализацию, на этой основе формируются новые междисциплинарные или гибридные научные дисциплины – биофизика, биохимия, физическая химия и т.д.

В то же время в процессах иерархического междисциплинарного взаимодействия могут возникать и проблемы. Одна из наиболее характер-

ных в этом плане – проблема редукционизма. Она состоит в стремлении свести познание сложных явлений к познанию более простых. Например, объяснять химические процессы физическими взаимодействиями, биологические процессы – химическими реакциями, социальные – биологическими и т.д. Редукционизм может принимать и более радикальные формы, «пронизывая» все предметные области. Примерами здесь являются «физикализм» или «механицизм» – попытки сведения познания разнообразных предметных областей к анализу физических или механических процессов и взаимодействий. При этом редукционистские устремления имеют серьезные основания, так как познание через упрощение и формализацию действительно обладает преимуществами в плане большей точности, глубины и фундаментальности. Соответственно более совершенными и развитыми представляются и познавательные средства и методы, позволяющие достигать этих результатов. Поэтому редукционизм часто предполагает также экспансию методов и теорий из элементарных и, следовательно, более фундаментальных областей познания в более сложные и комплексные [Hummell, Opp, 1971].

С этим связано и явление, так называемого, «дисциплинарного» или «методологического империализма». Имеется в виду выделение в науках своего рода «дисциплин-лидеров» или «дисциплин-гегемонов», приобретающих этот статус в силу «зрелости» и приближенности к идеалам научной рациональности и познавательной эффективности их методов и теорий [Шилков, 2010]. Их познавательные подходы получают статус образцов научного познания для других, менее «зрелых» дисциплин, которые в силу сложности своих предметов имеют иные ритмы и периоды развития, иную методологическую структуру и не могут широко использовать строгие методы моделирования и формализаций. Во всяком случае, они не могут это делать в масштабах и рамках, принятых в «строгих» науках. В этих условиях и происходит «империалистическая экспансия» методов и теорий наук-лидеров на предметные области других дисциплин без достаточного учета, как считается, специфики последних [Fischer, 2010; Löffler, 2010]. Пример дискуссии вокруг так называемого «экономического империализма» в социальных науках имел место недавно среди российских экономистов [Гуриев, 2008; Радаев, 2008; Олейник, 2008; Автономов, 2010; Либман, 2010].

Можно также отметить, что аналогичная редукционистской тенденция часто проявляется и в развитии отдельных дисциплин. На приоритетные, лидерские позиции в них выдвигаются те их части или субдисциплины, которые обеспечивают познание наиболее элементарных компонентов в своей предметной области и потому достигают более фундаментальных обобщений.

Оценки редукционизма достаточно противоречивы. С одной стороны, он подвергается критике, с другой – получает одобрение ввиду очевидных эффектов, достигаемых в ряде случаев при применении наукой

редукционистского подхода. Основной критический мотив против редукционизма – несостоятельность в отношении познания «развитых», «высших» форм и сложных, комплексных феноменов [Rohpol, 2005; 2010]. Эта критика опирается на известный принцип, гласящий, что «целое не сводимо к сумме его частей». Отсюда вытекает, что познание свойств сложного целого невозможно свести к познанию свойств составляющих его простых элементов. Это целое обладает неким новым («эмергентным») качеством, для познания которого необходимы антиредукционистские подходы, исходящие из принципов целостности, системности, комплексности и др. В специальных исследованиях было также доказано, что положения теорий сложных областей не сводимы к теориям элементарных областей [Baumgärtner, Becker, 2005].

Возвращаясь к междисциплинарности, можно сказать, что, несмотря на отмеченные проблемы, связанные с неравновесным обменом между дисциплинами, эти взаимодействия могут быть вполне продуктивны и способствовать интеграции науки. Во избежание редукционистских крайностей когнитивное содержание более развитой дисциплины должно адаптироваться в контексте другой дисциплины с учетом того, что этот контекст, как правило, является более сложным, многомерным и неоднозначным. В целом междисциплинарные исследования способствуют гомогенизации поля науки – выравниванию его посредством трансферта знаний и методов и активизирующему взаимодействию в сообществе и ведущему к преодолению разрывов.

Помимо теоретического и метатеоретического рассмотрения проблем междисциплинарной интеграции она изучается и на эмпирическом уровне, как процесс социальных и профессиональных взаимодействий в ходе научных исследований. Традиция такого изучения насчитывает уже больше четырех десятилетий и включает несколько направлений: социологическое, наукометрическое, антропологическое и ряд других. Причем, заметный вклад в него уже на начальном этапе внесли представители советского науковедения, занимавшиеся проблемами строения и развития науки [Гиндилис, 2012].

Социологическое направление в основном связано с изучением научных коллективов, объединяющих представителей различных дисциплин. Они исследуются с точки зрения форм и способов кооперационного взаимодействия ученых в ходе исследований, а также с точки зрения характера получаемых результатов. Известный исследователь этого направления Генрих Пэрти, например, указывает в числе эффективных индикаторов междисциплинарной кооперации коллективов: а) уровень междисциплинарного состава группы; б) число или процент участников, готовых к междисциплинарному формулированию изучаемой проблемы; в) число или процент участников, готовых к использованию методов из других дисциплин; г) «уровень соавторства в группе» при публикации результатов исследований. При этом корреляционный анализ показывает наиболее суще-

ственную зависимость между индикаторами в) и г), что, по мнению Пэрти, говорит о значимости практической кооперации (в постановке проблем и использовании методов) для эффективности результатов междисциплинарных исследований [Parthey, 2010].

Социология также занимается исследованием социальных предпосылок междисциплинарной интеграции в науке: готовностью ученых и специалистов из разных областей работать в междисциплинарных коллективах, распространением многопрофильного и смежного типа образования, индивидуальными биографиями ученых и научных работников, менявших специализации и области исследований и т.д. Изучаются и организационные формы междисциплинарных исследований, виды и способы их институционализации, распределение функций, характер руководства и мн. др. [Matthies, 2006; Parthey, 2010].

Одним из направлений эмпирического уровня являются исследования междисциплинарной интеграции с позиций науко- и библиометрии, получившие обоснование и распространение в исследованиях науки с середины прошлого века [Гиндилис, 2012]. Помимо обширных наукометрических и библиометрических «профилей» отдельных ученых, исследовательских групп, организаций и целых научных дисциплин, давших возможность проводить их количественный анализ, на базе этого направления возникло и методическое течение *картографирования* науки, позволяющее строить пространственные карты науки на основе визуализации библиографических / библиометрических данных. Одними из первых этот метод разработали и использовали Юджин Гарфилд и Генри Смолл [Small, Garfield, 1985]. Упоминается также о разработке этого метода в советском науковедении [Гиндилис, 2012]. Он основан на анализе структурированных массивов научной информации – библиографических баз данных, содержащих индексы цитирования. С помощью определенного алгоритма коцитирования (co-citation) из них извлекается информация о связях между публикациями. Характер этих связей (уровень их плотности) позволяет выделить кластеры публикаций, отражающих различные научные направления, а также связи между ними. С помощью графов эта картина получает визуальную форму в виде карты наук. В публикации Смолла и Гарфилда, например, представлена карта, содержащая пять уровней разрешения: от глобального уровня всей мировой науки (уровень 5) до детализаций на уровне работ отдельных ученых (уровень 1). К настоящему времени различные варианты «карт науки» обильно представлены в Интернете¹.

Карты наук, построенные с использованием количественных критериев и формальных алгоритмов, как считается, отражают «естественную» картину современной науки во всем многообразии ее областей и направ-

¹ NSDL Science Literacy Maps: Helping teachers connect concepts, standards, and NSDL resources. – Mode of access: <http://strandmaps.nsdl.org>; Mapping scientific excellence. – Mode of access: <http://www.excellencemapping.net> (Дата посещения 16.01.2014.)

лений, а также связей между ними. Картина, которая во многих отношениях не совпадает с картиной дисциплинарно институционализованного деления наук. И в этом смысле современная наука уже определенно является междисциплинарной, естественным образом разрешая проблему ее растущей сегментации.

«Трансдисциплинарная» интеграция и проблемы ее содержания

Развитие исследований междисциплинарной интеграции науки среди прочего сталкивается с проблемой различия и анализа качеств и видов этой интеграции. Описанная выше проблематика в основном относится к интеграции наук традиционного цикла, имеющих к тому же опыт определенного сосуществования и взаимодействия. Между тем постоянно растущий фронт современной науки и его увеличивающиеся сегментация на все новые элементы и направления осложняют и обостряют проблему взаимодействия и кооперации между его частями. В исследовании междисциплинарных связей это ведет к выделению связей «близкого» и «дальнего» типов, характеризующих степень различия между взаимодействующими дисциплинами в общем пространстве науки. Интуитивно понятно, что междисциплинарное взаимодействие между, например, химией и биологией происходит иначе, чем между химией и социологией, что в блоке естественных наук оно протекает не так, как между естествознанием и обществознанием и т.д. Круг этих вопросов вызвал необходимость выделения в междисциплинарной интеграции взаимодействий особого типа, способных к охвату и интеграции всего многообразного поля современных наук, что выразилось во введении понятия «трансдисциплинарность» [Jantsch, 1972; Balsiger, 2005; Князева, 2004].

Это понятие трактуется неоднозначно и вызывает дискуссии [Fleischer, 2010; Laitko, 2011]. С одной стороны, оно используется в том смысле, как мы указали выше, для характеристики сферы и способа общей связи всех научных дисциплин, независимо от их предметного содержания, в духе идеи единства наук. С другой стороны, как характеристика связи единой, преодолевающей свои дисциплинарные различия науки с общественной практикой, с решением практических проблем. В какой-то мере вторая трактовка может рассматриваться как продолжение первой, так как в ней предполагается, что интегрированная наука может лучше справиться с решением практических проблем. При этом первая трактовка делает акцент, прежде всего, на проблематике интеграции самой науки и преодоления дисциплинарных различий, оставляя вопрос о практической значимости такой науки на втором плане. Не концентрируясь дальше на этих дискуссиях, отметим, что пока мы все же остановимся на первом варианте, ориентированном на осмысление интеграции самой науки.

От междисциплинарной интеграции она отличается масштабом, уровнем, а также целым рядом других особенностей. Прежде всего, как уже сказано, она ориентируется на значительно более масштабный охват поля науки, вырабатывая для этого специальные средства и методы [Bergmann, Schramm, 2008]. В этом плане она имеет нечто сходное с общенаучной методологией, разрабатываемой в рамках философии науки, и, возможно, даже может рассматриваться как ассоциированная с нею область знаний.

В то же время ее отличие, как представляется, заключается в системообразующей роли в ее составе интенции «дисциплинарности». Имеется в виду, что при формировании, разработке и применении корпуса трансдисциплинарных знаний, особенно в связи с их интеграционным потенциалом, взаимодействие с дисциплинарной компонентой становится особенно важным. Авторы справочника по трансдисциплинарным исследованиям отмечают: «Качество трансдисциплинарных исследований связано с эффективной концепцией интеграции и требованием ее развития в особую форму специализации. Однако трансдисциплинарные исследования теряют смысл без эффективного дисциплинарного вклада, и они имеют потенциал для стимулирования этого инновационного участия дисциплин. Проведение этого потенциала в жизнь требует возникновения активного общения, способного обеспечить прочную связь между дисциплинарной и трансдисциплинарной специализациями» [Enhancing Transdisciplinary Research, 2008, p. 440].

Основным условием трансдисциплинарной интеграции являются разработка и получение трансдисциплинарного знания, главной чертой которого является способность включаться в самые разнообразные дисциплинарные контексты и способствовать как росту познавательной эффективности и созданию новых познавательных возможностей самих дисциплин, так и интеграции всего поля науки.

Какого рода знания позволяют обеспечить в науке трансдисциплинарные взаимодействия? Говоря об особенностях этих взаимодействий, Миттельштраф выделяет четыре черты: 1) их не всеобщий и холистичный, а предполагающий различия, характер; 2) они образуются в пространстве существующего многообразия предметов различных дисциплин; 3) они не создают новой конфигурации дисциплин, а означают лишь дополнительную оптику их видения в рамках науки; 4) занимаясь постановкой и решением проблем, они воплощают исследовательские (т.е. методологические. – В. А.), а не теоретические формы, не закрепляются в качестве особой дисциплинарной теории [Mittelstraß, 2003, S. 6–9].

В слое трансдисциплинарного знания выделяются два типологических компонента [Stichweh, 1994, Fischer, 2010, Küppers, 2000]. Первый тип знаний можно определить как *формальный*, в него включаются понятия, методы и модели формальных наук, прежде всего математики и логики, когнитивное содержание которых (познание формальных систем) по определению является максимально абстрактным и не зависимым от пред-

метного содержания отдельных дисциплин, а потому может включаться в самые разные дисциплинарные контексты. Второй тип этих знаний можно было бы определить как «структурный», его разрабатывают так называемые науки «структурного» профиля¹. Этот тип знаний тоже абстрактен, что позволяет применять его в предметных областях разных дисциплин, но при этом подразумевается его некоторая опосредованная связь или отношение с предметным содержанием, представляемым в «структурной» форме.

Роль формального логико-математического знания в деле интеграции поля наук, как правило, связывается с возможностями построения с его помощью формальных логико-математических моделей в предметных областях различных научных дисциплин [Гусев, 2009]. При этом уровень и возможности формализации и математизации этих областей могут заметно различаться в зависимости от качества самой предметной области, а также от уровня, характера и языка создаваемых в них теорий. Поэтому способы и средства логико-математической формализации, применяемые в разных областях науки, могут быть различны и браться из самых разных разделов логики или математики (дифференциального исчисления, математической статистики, логики вероятностей и т.д.). Вместе с тем сама общность формальной природы этих моделей создает общее пространство для их интеграционного взаимодействия. Сторонники формализации и математизации научного знания видят здесь большие перспективы для интеграции науки [Арнольд, 2006; Naken, 1982; Пригожин, Николис, 2008].

Однако этот тип интеграции науки сталкивается и с проблемами, к которым обычно относят проблему содержательной интерпретации формальных моделей, а также проблему «входа» в пространство формальной интеграции. Первая проблема связана с издержками «перевода» предметного содержания дисциплин на язык формальных абстракций и обратно, так как здесь возможны существенные потери и искажения содержания, вероятные тем больше, чем труднее предметная область поддается формализации, чем менее она снабжена формализованными теориями. Это требует особых интерпретационных усилий по поддержанию и контролю связей предметности и формальных абстракций. Другая проблема вытекает из необходимости специальной подготовки для коммуникации в науке на уровне формальных моделей, что требует освоения соответствующего языка и способов работы, особенно, в условиях растущей сложности, абстрактности и самореферируемости формальных языков. Иными словами, «вход» в интеграционное пространство, создаваемое формальными науками, требует специальных усилий и изменений в условиях научной коммуникации. А эти обстоятельства могут создавать проблемы для сложившихся в разных дисциплинах и секторах науки способов коммуникации и тем самым осложнять и затруднять интеграцию в целом.

¹ См. подробнее следующий раздел.

Второй тип трансдисциплинарных знаний, который мы назвали «структурным», имеет не чисто формальное, а, по крайней мере, отчасти и содержательное происхождение. Как правило, оно связано с предметным полем определенных дисциплин (биологии, лингвистики, физики, организационно-управленческой науки и др.). В качестве примеров здесь обычно называют общую теорию систем, структурную морфологию, семиотику, синергетику, кибернетику и т.д. В отличие от чисто формальных концепций, можно полагать, что они строились, исходя из неких общих парадигмальных оснований соответствующих дисциплин, что позволяет им легче находить содержательную интерпретацию на различных предметных полях. В то же время они четко ориентированы на преобразование и обновление различных дисциплинарных контекстов в целях придания им большей проницаемости и большей восприимчивости в отношении привносимых ими знаний [Rorohl, 2005]. В чем-то это похоже на междисциплинарный трансферт знаний, но в отличие от него, в данном случае речь идет о значительно более приспособленном к переносу и адаптации в различных дисциплинарных контекстах знании.

Как уже отмечалось, трансдисциплинарное взаимодействие представляет собой, прежде всего, трансферт знаний методологического типа. Имеется в виду, что в дисциплинарные контексты включаются знания, открывающие возможности для особой постановки и видения исследовательских проблем и применения соответствующих способов и стратегий их решения [Mittelstraß, 2003; 2005]. При этом они не затрагивают теоретического содержания дисциплин, не вносят изменений и не закрепляются в теории их предметной области.

Этот процесс может моделироваться и на основе работы коллектива специалистов из большого числа разнообразных дисциплин и практических областей по решению комплексной практической проблемы. Здесь положение облегчается тем, что сама проблема является важным интегрирующим фактором. Но это не значит, что она автоматически обеспечит трансдисциплинарную интеграцию исследования. Чтобы это произошло, необходима интеграция «стиля мышления» исследования. При этом «интеграция стиля мышления», как отмечают Пол и Хирш Хадрон, образует как бы одну крайнюю точку континуума, на противоположном конце которого находится точка «неинтегрированного способа мышления» [Pohl, Hirsch Hadron, 2008]. Под чем подразумевается так называемое мультидисциплинарное видение предмета / проблемы в виде рядоположения предметных оптик различных дисциплин без их интеграции. Интегрированный «стиль мышления» формируется по мере движения по этой шкале от разграниченных предметных оптик к интегрированным. Это происходит посредством взаимодействия блоков предметных знаний, в которых выделяются «образы познавательных действий» с предметом и «познавательные представления» предмета, а также соответствующие им методы

действий и методы представлений. Они могут взаимодействовать в разных видах и комбинациях.

При этом особо выделяется способ их формального взаимодействия. Он не «отягощен» предметным содержанием и может распространяться на весь круг взаимодействующих дисциплин. Формальный способ интеграции может осуществляться в двух формах – «жесткой» и «мягкой» *системной методологии* [Checkland, 1984; 1994]. В первом случае предполагается построение «жесткой» формальной модели предмета исследования, позволяющей «наполнять» ее «вкладами» различных дисциплин. Во втором случае речь идет о построении так называемой «мягкой» системной модели, которая носит методологический характер и служит лишь средством согласования образов действий на разнообразных предметных полях. В процессе исследования постоянно происходит ее *контекстуализация* применительно к предметным полям разных дисциплин. С этим связан и процесс «рекурсии» трансдисциплинарного взаимодействия, что означает повторяемость в различных дисциплинарных контекстах организованного по одной модели образа действий [Pohl, Hirsch Hadron, 2008].

Еще одну трактовку методов трансдисциплинарных взаимодействий предложил Гюнтер Ропол [Ropohl, 2005]. Он рассматривает трансдисциплинарность как прообраз новой парадигмы организации науки в широком смысле, с присущей ей новой гибкостью, многообразием, рефлексивностью и идущей на смену ее дисциплинарной организации. Характеризуя на этом фоне арсенал методов трансдисциплинарной парадигмы, он отмечает, что они должны служить организационной интеграции, синтезу, связыванию и систематизации гетерогенного знания. «Трансдисциплинарная наука начинается с многомерного анализа понятий, классификаций и таксономических конструкций на базе морфологического метода; на этой основе она выстраивает отдельные понятия и частные модели сравнимые и сводимые к общей интегральной модели; для этого возможно использовать интерпретации герменевтики, охватывающие игру предпонимания и изложения, а также диалектику отношений между всеобщим и особенным» [Ropohl, 2010].

Таким образом, дискуссии и трактовки, связанные трансдисциплинарной интеграцией науки, демонстрируют ряд характерных тем и линий развития, этой проблематики. На этом фоне обозначаются поиски новых подходов и ракурсов анализа, выводящие на новые аспекты рассмотрения.

Трансдисциплинарная интеграция в контексте концепции «структурных наук»

С контекстом дискуссий о «трансдисциплинарной» интеграции науки определенным образом связана разработка концепции «структурных наук», получившая распространение в основном в исследованиях науки,

ведущихся в Германии. Причем в ряде классификаций науки эту группу наук стали выделять в отдельный кластер наряду с естественными, социальными, гуманитарными и прикладными (техническими) науками [Fuchs-Kittowski, Wohlgemuth, 2010, S. 104].

Одними из первых понятие «структурные науки» использовали известный немецкий физик Карл фон Вайцеккер и ряд его последователей в публикациях рубежа 60–70-х годов прошлого века [Weizsäcker, 1971]. Они позиционировали эти науки как направленные на изучение универсальных «абстрактных структур и связей действительности», независимо от того, в каких ее областях и на каких системных уровнях они находят проявление. При этом концепция «структурных наук» с самого начала предлагалась как нацеленная на стимулирование интеграционных, объединительных тенденций в науке. На них, в частности, возлагались задачи сближения и интеграции естественных и гуманитарных наук, а в перспективе и формирование некоей «общей структурной науки», способной создать общий «структурный язык» для всех современных наук [Küppers, 2008]. Сам Вайцеккер предпринял и институциональные усилия в этом направлении, убедив Общество Макса Планка создать Международный институт по изучению условий жизни в научно-техническом обществе, в научной программе которого идея интеграции естественно-научных и гуманитарных исследований на базе моделей структурных наук была одной из центральных [Laitko, 2010]¹.

В качестве особого кластера структурные науки отличают от естествознания или шире – от так называемых опытных наук, базирующихся на получении опытного знания и экспериментальном подтверждении теорий. В отличие от них, «структурные науки» нацелены на разработку универсальных абстрактных моделей действительности, которые посредством формализации могут вводиться в контексты различных дисциплин в качестве оснований для построения там соответствующих этому контексту прикладных моделей. Для моделирования структур они используют максимально общие абстрактные понятия, независимые от предметного содержания, которые приобретают содержательную фокусировку лишь, входя в определенные предметные контексты и дисциплинарные пространства [Küppers, 2000]. В этом смысле знания структурных наук имеют метанаучный статус, позволяющий им действовать «поверх» дисциплинарных границ, что и делает их сходными со знаниями трансдисциплинарного типа.

¹ Впрочем, судьба института, который в течение почти десяти лет Вайцеккер возглавлял вместе с известным философом и социологом Юргеном Хабермасом, несмотря на ряд признанных достижений, была не вполне удачной. Институт прекратил свое существование. При этом, как отмечают некоторые авторы, одной из причин были проблемы в согласовании естественнонаучной и гуманитарной исследовательских программ и их фактическая дезинтеграция [Laitko, 2010].

Важную роль в разработке абстрактных моделей структурных наук играют формализации, поэтому приоритетное место в их составе занимают формальные науки – математика и логика, которые сами понимаются как структурные науки. Структурный характер математики связывают с формированием в ней абстрактного понятия «алгебраической структуры», дополненного затем понятиями «топологической» и «упорядочивающей» структур. Разработавшие теорию математических структур авторы из группы «Бурбаки» называли эти три вида структур «материнскими» для всех математических дисциплин и обеспечивающих интеграцию математики [Bourbaki, 1950, p. 221–223]. Представленные в математических структурах множества и их отображения составляют основу практически всех отраслей математики – от самых элементарных до наиболее абстрактных и сложных.

При всем своем значении логико-математические теории все же обнаруживают определенные недостатки при моделировании различных абстрактных структур, о некоторых из них уже упоминалось выше. Поэтому круг структурных наук циклом логико-математических дисциплин не ограничивается. Он включает и целый ряд других научных областей, в той или иной мере отличных от последних.

В качестве примера здесь можно привести теоретическую информатику, она очень тесно связана с математикой, используя взятые из нее понятия алгоритма, вычисления и целый ряд других средств и приемов. Но в то же время она разрабатывает и ряд своих специфических понятий и методов, связанных с проблемами хранения, размещения и доступа к информации, не играющими в математике существенной роли [Fuchs-Kittowski, Wohlgemuth, 2010, S. 115–117]. Другой пример – системология или общая теория систем. Она тоже разрабатывает свои понятия: система, среда, самоорганизация, обратная связь и т.д., используемые для моделирования особого круга проблем, свойственных комплексным структурам. Математика здесь может использоваться как вспомогательное средство, а не как источник базовых понятий.

Примеры можно продолжать. Тем более, что кластер структурных наук постоянно пополняется. Называя лишь самые известные, можно упомянуть, например, кибернетику, синергетику, семиотику, теорию самоорганизации и мн. др. [Strukturwissenschaft, б.г.]. В эпистемологическом плане знания структурных наук можно рассматривать с точки зрения степени их приближения / удаления по отношению к предметному содержанию опытных наук и, следовательно, по степени или уровню абстрактности их моделей. Тогда, например, математические абстракции окажутся выше, чем абстракции системной теории или семиотики. Соответственно, целая группа структурных наук будет располагаться в «пространстве» между математикой и опытными науками [Fuchs-Kittowski, Wohlgemuth, 2010, S. 104]. Отсюда вытекает проблема их отношений с этими «соседями».

И спектр мнений здесь достаточно широк – от сближения их с математикой до сближения с опытными науками [Küppers, Hahn, Artmann, 2013].

Не останавливаясь подробно на всех оттенках этих позиций, отметим лишь интересующий нас общий вывод – структурные науки являются, по преимуществу, видом универсального формально-прикладного знания инструментального характера. Оно находит применение на многих предметных полях, реагируя определенным инструментальным образом на особенности этих контекстов. Многообразие этих реакций составляет инструментальный или методологический потенциал структурного знания.

С этой универсальностью структурных наук и их одновременной методологической нацеленностью на освоение различных предметных контекстов связывал возможности формирования в будущем единого поля и единого «структурного» языка наук Карл фон Вайцзеккер [Weizsäcker, 1971]. На практике элементы такого поля действительно возникают. Структурные знания системной теории, теоретической информатики, кибернетики, семиотики и других наук этой группы активно осваивают предметные поля самых разных научных дисциплин – от естественных и инженерно-технических до социальных. Не говоря уже о математике, которая неразрывно связана с естествознанием и техникой и ведет активную экспансию в область социальных и гуманитарных наук.

В этом смысле знание структурных наук во многом совпадает с трансдисциплинарным, а большинство из них являются важными носителями трансдисциплинарной интеграции.

Исходя из этого, сказанное выше о методах трансдисциплинарной интеграции может быть дополнено с позиции концепции «структурных наук». Ее, в частности, выразил в своем исследовании Штефан Артманн [Artmann, 2010]. Предельно кратко: она сводится к следующему. Отмечая ключевую роль структурных наук в формировании научных программ трансдисциплинарных исследований, он формулирует идею так называемой «структурной прагматики» или «прагматики структурного знания» [Artmann, 2010, S. 170–182]. Ее можно понять как область работы со знанием структурного типа в трансдисциплинарном исследовании. Для приведения процесса к эффективному познавательному результату подчеркивается важность единства как самого процесса исследования, так и единства исследуемого объекта. Структурное знание помогает обеспечить и то, и другое. Первый момент, как пишет автор, обеспечивается «рекурсивностью» процедуры и применением минимальных или *мягких* моделей, а второй – «модульной контекстуализацией» объекта и его «кодированием» [Artmann, 2010, S. 226–290].

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, следует отметить, что в данном случае, хотя и в несколько иной форме, выражаются идеи, сходные по своей сути с уже упоминавшимися выше. Там тоже речь шла о рекурсивности, мягком моделировании и контекстуализации. Здесь же акцентируется роль именно структурного знания в обеспечении этих

процессов и, следовательно, в эффективной трансдисциплинарной интеграции в науке.

Итак, обзорное рассмотрение тенденций и моделей методологической интеграции в науке, предпринятое в интерналистском ключе и осуществлявшееся преимущественно на теоретико-рефлексивном уровне, позволяет отметить следующее. Первое – это перспективная роль в методологической интеграции науки структурных знаний, которые сами во многом являются знаниями методологического типа, что предполагает дальнейшее рефлексивное исследование связанной с этим тематики. Проведенный анализ выявил в ней релевантные проблемы и направления и позволяет это сделать. Второе – применявшийся в обзоре интерналистский подход, как рамка рассмотрения предложенной проблематики, обнаруживает определенные сложности при работе с реферируемым теоретическим контекстом. Многие аспекты его содержания, по крайней мере в том объеме, в каком они затрагивались в обзоре, говорят о тенденциях к пересмотру интерналистской парадигмы в исследованиях науки. В этой связи важной представляется критическая ревизия интерналистского подхода к рассматриваемой проблематике. Третье – проведенный обзор указывает на возможность выхода на эмпирическое исследование данной проблематики.

Литература

- Автономов В.С.* От «экономического империализма» к стремлению к взаимообогащению // *Общественные науки и современность.* – М., 2010. – № 3. – С. 173–176.
- Арнольд В.И.* Теория катастроф. – М.: УРСС, 2004. – 98 с.
- Вайнгарт П. Отношение между наукой и техникой: социологическое объяснение // *Философия техники в ФРГ.* – М., 1989. – 138 с.
- Гиндилис Н.Л.* Из истории советского науковедения: 70-е годы // *Науковедческие исследования,* 2012 / РАН. ИНИОН – М., 2012. – С. 161–215.
- Гуриев С.М.* Три источника – три составные части экономического империализма // *Общественные науки и современность.* – М., 2008. – № 3. – С. 134–141.
- Гусев С.С.* Математизация науки. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2009. – 1248 с.
- Ефременко Д.В.* Концепция общества знания как теория социальных трансформаций: достижения и проблемы // *Вопросы философии.* – М., 2010. – № 1. – С. 49–62.
- Князева Е.Н.* Трансдисциплинарные когнитивные стратегии в науке будущего // *Вызов познанию: Стратегии развития науки в современном мире.* – М., 2004. – С. 29–48.
- Койре А.* Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М.: Прогресс, 1985. – 140 с.
- Кун Т.* Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с.
- Лебедев С.А.* Философия науки. – М.: Академический проект, 2010. – 731 с.
- Либман А.М.* Границы дисциплин и границы сообществ (Два аспекта экономического империализма) // *Общественные науки и современность.* – М., 2010. – № 1. – С. 134–146.
- Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. – М.: Наука, 1980. – 303 с.
- Огурцов А.П.* Дисциплинарная структура науки. – М.: Наука, 1988. – 256 с.

- Олейник А.Н. Расширенная версия теоремы Коуза и пределы «экономического империализма» // *Общественные науки и современность*. – М., 2008. – № 4. – С. 147–162.
- Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход / Пер. с англ. Д. Г. Лахути. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.
- Пригожин И., Николис Г. Познание сложного. – М.: УРСС, 2008. – 352 с.
- Радаев В.В. Экономические империалисты наступают! Что делать социологам? // *Общественные науки и современность*. – М., 2008. – № 6. – С. 116–123.
- Федотова В.Г. Штарнбергская группа (ФРГ) о закономерностях развития науки // *Вопросы философии*. – М., 1984. – № 3. – С. 125–133.
- Шилков Ю.М. Дисциплинарный образ современной науки. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. Науч.-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – Режим доступа: <http://iph.ras.ru/enc.htm> (Дата обращения: 10.11.2013.)
- Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М.: Школа культурной политики, 1997. – 656 с.
- Artmann S. Historische Epistemologie der Strukturwissenschaften. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2010. – 359 S.
- Balsiger P.W. Transdisziplinarität. Systematisch-vergleichende Untersuchung disziplinenübergreifender Wissenschaftspraxis. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2005. – 326 S.
- Bourbaki N. The architecture of mathematics // *American mathematic monthly*. – N.Y., 1950. – Vol. 67. – P. 221–223.
- Checkland P. From optimizing to learning: A Development of Systems Thinking for the 1990s // *The journal of the operational research society*. – Oxford; N.Y., 1985. – Vol. 36. – P. 757–767.
- Evolution of semantic systems / Küppers B.O., Hahn U., Artmann S. (eds.). – Berlin: Heidelberg: N.Y.: Springer, 2013. – 232 P.
- Fischer K. Interdisziplinarität im Spannungsfeld zwischen Forschung, Lehre und Anwendungsfeldern // *Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung. Jahrbuch 2010* / Hrsg. Fischer K., Laitko H., Parthey H. – Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. – S. 37–58.
- Fleischer L.-G., Komplexität, Inter- und Transdisziplinarität // LIFIS ONLINE. – Mode of access: http://www.leibniz-institut.de/archiv/fleischer_15_04_2010.pdf (Дата обращения: 15.04.2013.)
- Fuchs-Kittowski K., Wohlgemuth V. Umweltinformatik und Umweltforschung in ihrer Institutionalisierung und Interdisziplinarität // *Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung. Jahrbuch 2010* / Hrsg. Fischer K., Laitko H., Parthey H. – Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. – S. 99–153.
- Haken H. Synergetik. – Berlin; Heidelberg; N.Y.: Springer-Verlag, 1982. – 382 S.
- Handbuch Wissenschaftssoziologie / Maasen S., Kaiser M., Reinhart M., Sutter B. (eds.). – Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2012. – 485 S.
- Maasen S. Wissenssoziologie – Eine Einführung. – 2 ed. – Bielefeld: transcript, 2009. – 126 S.
- Hummell H.-J., Opp, K.-D. Die Reduzierbarkeit von Soziologie auf Psychologie. – Braunschweig: F. Vieweg, 1971. – 102 S.
- Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung. Jahrbuch, 2010 / Hrsg. Fischer K., Laitko H., Parthey H. – Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. – 302 S.
- Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme / Jungert M., Romfeld E., Sukopp T., Voigt U. (eds.). – Darmstadt: WBG, 2010. – 209 S.
- Krohn W. Epistemische Qualitäten transdisziplinärer Forschung // *Transdisziplinäre Forschung. Integrative Forschungsprozesse verstehen und bewerten* / Hrsg. Bergmann M., Schramm E. – Frankfurt a. Main: Campus Verlag GmbH, 2008. – S. 39–68.
- Küppers B.O. Die Einheit der Wirklichkeit. – München: Fink, 2000. – 208 S.
- Küppers B.O. Nur Wissen kann Wissen beherrschen. – Hannover: Fackelträger-Verlag, 2008. – 570 S.

- Laitko H. Das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt: Gründungsintention und Gründungsprozess // Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung. Jahrbuch, 2010 / Hrsg. Fischer K., Laitko H., Parthey H. – Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. – S. 199–238.
- Laitko H. Grenzüberschreitungen // LIFIS ONLINE. – Mode of access: http://www.leibniz-institut.de/archiv/laitko_08_07_12.pdf (Дата обращения: 12.06.2013.)
- Laitko H. Interdisziplinarität als Thema der Wissenschaftsforschung // LIFIS ONLINE. – Mode of access: http://www.leibniz-institut.de/archiv/laitko_26_10_11.pdf (Дата обращения: 26.06.2013.)
- Lifis online. Internet-Zeitschrift des Leibniz-Instituts für interdisziplinäre Studien. – Mode of access: http://www.leibnizinstitut.de/page/index.php?katID=26&folder=Wissenschaft%20im%20Kontext&archiv_offset=5 (Дата обращения: 26.06.2013.)
- Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. – Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 2009. – 732 S.
- Mittelstraß J. Methodische Transdisziplinarität // LIFIS ONLINE. – Mode of access: http://www.leibniz-institut.de/cms/pdf_pub/mittelstrass_05_11_07.pdf (Дата обращения: 20.03.2013.)
- Mittelstraß J. Methodische Transdisziplinarität // Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis. – Konstanz, 2005. – Vol. 14, N 2. – S. 18–23.
- Nowotn H., Scott P., Gibbons M. Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty. – Cambridge (UK), 2001. – 278 p.
- Parthey H. Institutionalisierung disziplinärer und interdisziplinärer Forschungssituationen // Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung. Jahrbuch 2010 / Hrsg. Fischer K., Laitko H., Parthey H. – Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. – S. 9–36.
- Pohl Ch., Hirsch Hadron G. Methodenentwicklung in der transdisziplinären Forschung // Transdisziplinäre Forschung Integrative Forschungsprozesse verstehen und bewerten / Hrsg. Bergmann M., Schramm E. – Frankfurt a. Main: Campus Verlag GmbH, 2008. – S. 69–92.
- Robinson J. Being undisciplined: Transgression and intersections in academia and beyond // Futures. – Cedar Falls, Iowa, 2007. – Vol. 40(1). – P. 70–86.
- Ropohl G. Allgemeine Systemtheorie als transdisziplinäre Integrationsmethode // Technikfolgenabschätzung Theorie und Praxis. – Karlsruhe, 2005. – N 2. – S. 24–31.
- Ropohl G. Jenseits der Disziplinen – Transdisziplinarität als neues Paradigma // LIFIS ONLINE. – [21.03.2010]. – Mode of access: http://www.leibniz-institut.de/archiv/ropohl_21_03_10.pdf (Дата обращения: 10.11.2013.)
- Small H., Garfield E. The geography of science: Disciplinary and national mappings // Journal of information science. – Los Angeles, 1985. – Vol. 11. – P. 147–159.
- Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Profession. Soziologische Analysen. – Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1994. – 402 S.
- Stichweh R. Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740–1890. – Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1984. – 559 S.
- Störig H.J. Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft. – Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1954. – 778 S.
- Strukturwissenschaft. – Б. г. – Mode of access: <http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturwissenschaft> (Дата обращения: 10.11.2013.)
- The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies / Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwarzman S., Scott P., Trow M. (eds.). – L.: New Delhi: SAGE Publications, 1995. – 170 p.
- The Oxford handbook of interdisciplinarity / Frodeman R., Klein T., Mitcham J. (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 2010. – 624 p.
- The science studies reader / Biagoli M. (ed.). – N.Y.; L.: Routledge, 1999. – 608 p.
- Weizsäcker C.F. von Die Einheit der Natur. – München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 1971. – 492 S.

Enhancing transdisciplinary research: A synthesis in fifteen propositions / Wiesmann U., Hirsch Hadron G., Hoffmann-Riem S., Biber-Klemm W., Grossenbacher M., Joye D., Pohl C., Zemp E. // Handbook of transdisciplinary research / G. Hirsch Hadron et al (eds.). – Dordrecht: Springer, 2008. – P. 433–441.

Wissenschaftsphilosophie interdisziplinärer Umweltforschung / Baumgärtner S., Becker C. – Marburg: Metropolis Verlag 2005. – 176 S.

А.В. Кортаев

**БЕСЕДА С РЕДКОЛЛЕГИЕЙ ЕЖЕГОДНИКА
ОБ ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА
И СПОСОБА ЕГО ИЗУЧЕНИЯ**

Михаил Васильевич Ильин (далее – **М.И.**). Нас интересует несколько очень важных вещей, связанных с тем, что происходит, когда в науках меняются предмет и изучение и способы изучения. Как они соединяются? Могут возникать очень парадоксальные эффекты, когда несколько разных предметов и способов изучения накладываются друг на друга. Появляются междисциплинарные и межпарадигмальные эффекты. Как тут быть?

В последнее время у нас возникла идея, что некоторые дисциплины могут играть роль интеграторов. Если они действительно способны играть эту роль, то может быть поставлена задача (не знаю, чтобы в литературе кто-то ее ставил, хотя на практике, в жизни, проблема давно уже означена) по поводу того, чтобы соответствующие дисциплины, соответствующие подходы выработали свой органон-интегратор, т.е. некоторый аппарат, который создается в расчете на универсальное или почти универсальное использование в различных областях. В качестве претендентов мы назвали когнитивную науку, семиотику, математику, системный подход, морфологию. Идея ближайшего номера сборника «МЕТОД» – хотя бы подойти к этой проблематике, поставить соответствующие вопросы, а затем, в течение двух-трех последующих номеров, эту идею конкретизировать, развить, при этом связывая ее с другими интересующими нас вопросами, в частности с социальной воображаемостью, альтернативными представлениями, альтернативными мирами, способами изучения и тем, как они соединяются друг с другом.

Первый вопрос, который я хотел бы задать, связан с тем, как вы ухитряетесь в своем научном творчестве соединять амплуа ученого-востоковеда, теоретического социолога и специалиста в области клиодинамики. Возникают ли у вас внутренние конфликты, когда одна ваша ипостась начинает спорить с другой или же все это удается органично соединить?

Андрей Витальевич Коротаев (далее – **А.К.**). Наверное, то, что дало мне возможность работать в таких действительно очень разных областях, как историческая динамика восточных обществ, политология, фольклористика, экономика, это, наверное, использование прикладного статистического анализа, и – в последнее время – еще и математического моделирования. Эти методы приложимы к целому ряду областей. Мой опыт показывает, что такой базовый научный метод все-таки очень эффективен.

В 1998 г. я принял участие в летней школе по кросскультурным исследованиям, организованной Human Relations Area Files (HRAF)¹ при Йельском университете (основателем этой организации был Джордж Питер Мёрдок [подробнее об этом см.: Коротаев, 2003]. Школа проводилась президентом и исполнительным директором HRAF Мелвином Эмбером и Кэррол Эмбер. Эта школа, пожалуй, очень мне помогла освоить математические методы работы с данными. Эта методика применима при исследованиях в области фольклористики, палеонтологии, экономики и других дисциплин.

Моя дальнейшая работа во многом определялась тем, есть ли для данной области исследования базы данных, которые можно обрабатывать при помощи соответствующих методик. Вначале идя вслепую и, начиная с древней Южной Аравии, я при помощи архаичных методов, которыми тогда владел, целиком создавал базу данных сам для последующего ее анализа.

Потом я понял, что с нуля создавать базу данных это не вполне мое, мне намного интереснее анализ. (На создание базы данных уходит около 99,9% всего времени, а анализ же – хорошо, если хотя бы 0,5%.) Например, наши палеонтологические статьи [Марков, Коротаев, 2006; 2008 а; 2008 б; Марков, Анисимов, Коротаев, 2010; Markov, Korotayev, 2007] появились благодаря моему знакомству с Александром Марковым, сотрудником Института палеонтологии, который стал теперь известен благодаря получению высшей премии в области популяризации науки за книгу об антропогенезе. После знакомства с ним я обнаружил, что есть совершенно прекрасные базы данных, поэтому наше взаимодействие оказалось очень плодотворным.

М.И. А что делать, если у нас в принципе нет баз данных или – еще хуже – существует какая-то фактура, которую непонятно, как преобразовать в базу данных?

А.К. Мой опыт показывает, что очень продуктивен научный метод, предложенный Поппером, который предлагает прежде всего формализацию. Не все знают, но там на самом деле не требуется, чтобы это были какие-то данные, измеряемые привычным нам путем – метрами, киловаттами, долларами и т.д. Достаточно только формализации, чтобы был набор каких-то четких категорий. Эти так называемые номинальные данные то-

¹ Название этой организации можно перевести примерно как «Региональная карто- тека по изучению отношений между людьми».

же нормально анализируются и есть целый набор методов для их обработки. Принято обозначать это неглубоким измерением. Есть большая область дисциплин, где формализация осуществляется с большим трудом, но я не видел ни одного случая, когда бы хоть какая-то формализация не была возможна, вопрос здесь в удачности или неудачности идеи. В принципе, иногда бывает очень сложно операционализировать гипотезу, но я все-таки не думаю, что это невозможно, хотя порой это и жуткое напряжение для мозгов.

М.И. Сошлюсь на свой собственный опыт совместной работы с коллегами в Высшей школе экономики. Все время возникает необходимость создать какую-то очень простую классификацию. Но сразу же слышатся возражения: как это делать экспертным образом, если мы экспертам не верим. Нужны точные данные, *hard data* и т.д. Вот то, что вы делаете, производится экспертным образом.

А.К. Да, но на самом деле в прикладной математической статистике существует много процессов проверки того, насколько та или иная классификация вразумительна или невразумительна. Например, есть несколько общепринятых вариантов измерения одной и той же величины. Но самый простой способ – измерение уровня корреляции. Если по одной классификации вы провели какие-то тесты и устойчиво появляется более высокая корреляция, то значит, эта классификация более жизнеспособна, т.е. она уже в чем-то более полезна, чем альтернативная классификация, которая устойчиво дает более низкий уровень значения коэффициентов корреляции, – значит, она содержит больше информационных шумов. По крайней мере, если альтернативная классификация вносит меньше информативного шума, значит, она этим уже полезнее. Поэтому та же самая прикладная статистика – это возможность измерения полезности тех или иных классификаций того, насколько соответствующий инструмент хорошо работает.

Существует следующая проблема отечественной науки. Даже выпускники физтеха не владеют именно прикладной математической статистикой, хотя и знают теоретическую. Мой опыт показывает, что обычный выпускник физтеха не отличает коэффициент корреляции Пирсона от коэффициента Спирмана. Хорошо, что наших студентов этим заставляют заниматься на втором курсе, но в большинстве случаев, если и преподают математическую статистику, то преподают ее не в стиле *user friendly*, т.е. не в расчете на пользователя. Преподают ее очень сложно, хотя на самом деле все очень просто. Это я понял, кстати, на той самой летней школе, о которой уже говорил. Всё это вещи совершенно элементарные, просто нужно расставлять акценты в других местах. То, что я видел в свое время у Крыштановского на Социологическом факультете ВШЭ, близко к тому, что нужно, хотя и это не самый оптимум. Главное, чтобы там не было того, что принято в нашей математической школе, когда делают упор на теоретическую сторону взамен прикладных сторон.

М.И. Следующий вопрос по поводу ваших гэлтоновских упражнений. Как вы считаете, проблема Гэлтона поддается решению?

А.К. У меня было несколько совместных статей с американским коллегой Виктором де Мунком, написанных на эту тему. Главный тезис этих статей в том, что проблема Гэлтона на самом деле не столько проблема, сколько преимущество. Это проблема сетевой автокорреляции, и это как раз очень полезный инструмент для изучения коммуникативных сетей и их влияния на эволюцию тех или иных систем.

У нас была серия исследований по мифологической реконструкции, где позитивное использование проблемы Гэлтона дает возможность выявить, где какая мифология возникла, где развивалась и куда мигрировала. В основе было как раз обнаружение факта корреляции между определенной частотой встречаемости неких мифологических мотивов и частотой встречаемости определенных генетических гаплогрупп – и по Y-хромосоме и по митохондриальной ДНК. Никакого отношения это исследование к генетической памяти не имеет, это как раз эффект Гэлтона, результат сетевой автокорреляции. Был целый ряд определенных мифологических мотивов, который традиционно передавался по мужской линии (по мужской линии передается и Y-хромосома), поэтому и получается такой эффект. Если мы хотим проверить какие-то математические гипотезы, например гипотезы генетической памяти, что некий ген продуцирует некий миф, то такую гипотезу мы проверить таким путем не сможем, потому что у нас здесь мощная автокорреляция. Проблема Гэлтона создает серьезные трудности для номотетического исследования, но, с другой стороны, создает серьезный потенциал для идеографического исследования, для исследования эволюции некой системы или влияния некой коммуникативной системы на развитие системы сообществ.

Поэтому проблема Гэлтона, повторюсь, существует как проблема в основном для номотетических исследований, а для идеографических она очень полезна. Создатели самого понятия «идеография», скорее всего, исходили из того, что это исключает классический научный подход. Но «проблема Гэлтона» как раз является неким источником применения научных методов в идеографическом анализе.

М.И. Возвращаясь к тому, о чем вы говорили раньше. Только что мы заговорили об идеографии и мимоходом заметили, что вроде бы она не вполне научна. Если мы посмотрим на идеографические дисциплины, то там мы получаем достаточно надежное и удовлетворительное знание даже без попыток добиться этой самой формализации подхода. Как с этим быть? Потому что если мы говорим о науке как о комплексе знаний, то, предположим, если мы выключим за ее рамки философию или что-то другое, то у нас все равно остается куча идеографических исследований, которые тоже надо как-то интегрировать.

А.К. Я побывал по обе стороны баррикад, и с большим уважением отношусь к исторической идеографии. Есть два принципиально разных

метода, каждый из которых действительно научен. Очень уважаю практикующих историков, которые, не имея никаких теоретических интересов, действительно помешаны на том, чтобы установить, какого же именно числа произошло то или иное сражение и т.д. Они делают колоссальную работу, без которой, конечно, невозможна теоретическая история. Их задача самоценна, ведь мы, как все люди, интересуемся своим прошлым. По каким-то гуманитарным причинам нам действительно важно знать, когда произошло Бородинское сражение, это для нас и вправду самоценно. С точки зрения теоретических историков, историки-практики являются лишь поставщиками сырых данных, и с этим ничего не поделаешь. При этом я не понимаю тех, кто занимается теоретической историей и с презрением смотрит на практикующих историков, ведь без них теоретическая история невозможна.

М.И. А я знаю практикующих историков, которые с презрением относятся к теоретическим историкам.

А.К. Я к этому спокойно отношусь как раз из-за того, что я побывал, как я сказал, по обе стороны. Но теоретические историки порой и правда не понимают, насколько принципиально различны их методы и методы историков практикующих. У практикующих историков мозги устроены совершенно иначе. И главная беда теоретических историков в том, что они пытаются что-то объяснить практикующим историкам. Это просто потеря времени, ведь они занимаются другими вещами. Это совершенно филологический склад ума, когда тебя интересует скорее интерпретация текста. Но именно без этого невозможно продвижение вперед в этой области, это необходимо для того, чтобы установить какую-то адекватную картину того, что произошло. И ничего страшного в том, что практикующие историки не интересуются теорией, нет. На мой взгляд, они в этом отношении совсем немного теряют. У практикующих историков есть целый спектр задач, который можно решить без помощи теории. Что действительно нужно знать – это язык исследуемой культуры и несколько родственных языков. Иногда бывают проблемы с социальными терминами. Иногда нужны несколько людей, которые что-то понимают в теории для того, чтобы суметь помочь историку-исследователю.

М.И. Прицеплюсь к словам, которые произносились. К слову адекватно. Тогда по поводу слов об адекватной картине. Где критерии адекватности? Особенно если мы возьмем такой пример. Кто-то читает древнюю надпись, где говорится о разных вещах и, в том числе, о стряхивании бремени. Можно просто перевести это как «стряхивание бремени», можно транслитерировать соответствующее слово и создать термин «сисахфия», а можно это интерпретировать как проявление свободы. Где будет адекватная картина? Адекватная ли картина будет при дословном переводе? И что такое дословный перевод? Или же лучше начать интерпретировать? Но тогда, как только начинается интерпретация, приходится обращаться к

каким-то конкретным или общим понятиям, связанным с развитием, с большими концепциями, интеллектуальными конструкциями.

А.К. Согласен, что проблема есть. Однако замечу, что в реальной истории есть целый ряд областей, где можно получать полезный результат без всякого владения теоретической историей.

Очень важна хронология. Если мы не можем привязать событие к абсолютной хронологии, то у нас нет никакого материала. Если человек, допустим, делает палеографическую систему, находит какую-то логику в развитии некой письменности, он помогает нам сгруппировать факты, подвести их под какую-то хронологию. Но если такой человек совсем не владеет теоретической историей (а я таких знаю), то он все равно помогает нам расположить события в какой-то хронологии: одно событие было раньше такого-то и т.д. Например, Альберт Джамм издавал надписи из главного древнейшего храма Махраб Билкыс (есть такой корпус надписей из Южной Аравии), но ему повредила полная девственность в вопросах теории. Он представлял, что там существовало какое-нибудь обычное государство вроде Франции образца XVIII в., что ему несколько повредило. Тем не менее какую-то полезную работу он все же провел: ввел в оборот надписи, в последующем это помогло понять, что мы имели дело с обществом несколько другого типа. Смысл в его изданиях надписей более-менее передан. Там были и надписи о социальных реалиях, и бытовые надписи, дававшие представление о культуре, и тексты, описывавшие военные действия. При расшифровке таких текстов незнание теоретической истории, к примеру, особо не вредило.

М.И. Отсюда возникает очень большой вопрос, который нас интересует в нашем Центре перспективных методологий. Совершенно очевидно, что существуют разные способы познания, автономные, самоценные и в каком-то смысле самодостаточные. Но так или иначе они затрагивают только какую-то сферу жизни. И между этими способами познания пропасть. А для того, чтобы понять происходящее, нам нужно учесть и то, и другое. Как? Вы говорили о том, что бесполезно объяснять одним – одно и другим – другое, а как нам составить представление о том – чем все-таки было царство царицы Савской, если говорить, к примеру, о Южной Аравии?

А.К. Я не вижу здесь большой проблемы. Проблема решается сама собой.

М.И. То есть она решается стихийно? А можно ли решение этой проблемы оптимизировать?

А.К. Если говорить об истории, то пока все стихийно и решается, и в этом нет какой-то проблемы. Я начинаю думать о каких-то конкретных областях истории. Есть огромное количество идеографистов, есть несколько номотетиков, и среди них люди вроде меня, которые помогают общаться и тем, и другим. Идеографисты предоставляют материал, номотетики его анализируют. Согласен, вопрос решается стихийно и за счет

специалистов, которые владеют и идеографией, и номотетикой, это позволяет как-то калибровать подход. Не знаю ни одной области, где был бы полный завал. Если всерьез ставить этот вопрос, то нужно найти пример, где стихийное решение этого вопроса не дает нужного результата. Тогда, конечно, нужно думать об искусственном решении вопроса.

М.И. Пример искусственно решения вопроса. Вы, П.В. Турчин и ряд других людей собрались и создали клиодинамическую сеть. С помощью предложенного вами математического аппарата – вполне доступного – сумели сделать нетривиальные вещи и связать общетеоретические представления об историческом процессе с данными, которые собирали.

А.К. Это просто небольшое количество ученых, занимающихся исторической номотетикой, которые существуют очень изолированно от историков-идеографов. Я не вижу здесь никакого противоречия тому, о чем говорил.

М.И. Я не о противоречии, а о том, можем ли мы рассматривать клиодинамику как один из частных образцов выработки органоинтегратора, который позволяет собрать фактуру утраченную, затерянную. Посчитать, сколько там жило людей начиная с каменного века, выстроить демографическую динамику вплоть до наших дней. Нет ли у нас примера такого стихийно возникшего органа? Можем ли по этому образцу попробовать создать что-то подобное для решения других проблем? Обязательно ли это должна быть математика? Можем ли мы попробовать в качестве такой интегрирующей царицы-посредницы использовать морфологию? Семиотику? Компаративистику?

А.К. Я считаю, что это математике не противоречит. Это все высокая степень формализации, но необязательно речь должна идти о числах. Поэтому перечисленные вами виды наук я считаю несколько иной математикой. Но в широком смысле без математики это очень тяжело себе представить.

М.И. То есть вы считаете пропповскую формализацию, его морфологию, разновидностью математики?

А.К. Безусловно, да.

Владимир Сергеевич Авдонин (далее – В.А.). Вы несколько раз упомянули о том, что существуют практикующие историки, номотетики, люди с разными мозгами и т.д. Не означает ли это, что в научных сообществах образуются такие функциональные группы при развитии научных отраслей, которые начинают ориентироваться на разный тип подходов, разный тип научного мышления и что это становится важной чертой развития науки? Что на ее развитие влияет научный социум, который реагирует на ее познавательные компоненты? Познавательные аспекты науки влияют на развитие научного сообщества, а характер развития сообщества может влиять на ее познавательные аспекты?

А.К. Я знаю очень хороший пример, когда чрезмерное давление теоретической компоненты в идеографической области привело к отрица-

тельными результатами. Это современная американская антропология, которая разработала представление о том, что в работе этнографа обязательно должна быть мощная теоретическая компонента. Из-за этого пропали этнографы классического типа, этнографы-идеографы, работающие в определенной местности и старающиеся описать максимально полно некую культуру, т.е. те, что стремились к фиксации определенных фактов. Сейчас мы столкнулись с тем, что невозможно внести в базы данных ни одно современное сообщество, потому что оно должно быть описано детально. А такие описания пропали. В базе данных много информации о крестьянских, индейских сообществах, а полного описания какого-нибудь населенного пункта в центральных штатах нет. Потому что, если туда приходит этнограф, то он собирает информацию только по строго интересующим его теоретическим проблемам. Идеографическая этнография пропала, и у нас образуется мощный провал в данных. Травля теоретиками идеографов доводит до таких последствий. Описательная работа очень нужна. Нужно воскрешать идеографическую этнографию. В России она еще остается. Конечно, идеографические этнографы напрягают иногда отсутствием теоретического интереса, но я повторюсь, что должно быть какое-то теоретическое равновесие.

М.И. В политологии как раз есть такие сообщества, где считается неприличным, если ты не можешь математизировать свое исследование, формализовать его. Такие описательные общества объявляются ненаучными, и это, конечно, тоже вещь опасная.

А.К. Да, нужно соблюдать меру и не впадать в крайности.

М.И. Может быть, поэтому и нужны эти посредники?

А.К. Я противоречу сам себе, потому что привел пример того, когда стихийное развитие может быть не слишком благоприятным для науки. Какой-то искусственный элемент желателен. Должен быть тот, кто бы мониторил ситуацию. Если ситуацию пускать на самотек, то тоже не получится ничего хорошего. Надо пытаться отслеживать развитие науки, анализировать, нет ли каких-то тенденций к опасным перекосам в ту или иную сторону.

В.А. Любой науке нужен свой науковед, который будет этим заниматься.

М.И. И помимо науковедов нужны также и посредники, которые бы занимались исследованием особого эмпирического типа, не идеографического и не номотетического.

У меня возникла мысль о том, что опасность победы теоретического подхода над идеографическим заключается даже не в том, что кто-то кого-то будет подавлять, а в том, что он будет единственным. И отсюда же у меня возникает вопрос: здесь говорили о математизации и о том, что, если вы не можете математизировать, значит, знание ненаучное. Но при этом ведь существуют работы, насыщенные теорией, но не математизированные. Есть и иные сильные центры, которые продвигают не математику, напри-

мер, а морфологию. (Мы только что выяснили, что это разновидности одного и того же.) А они докажут, что на самом деле математика – это разновидность морфологии.

Вопрос у меня практический. А можно ли сказать, что в теоретической истории есть какие-то очень сильно конкурирующие модели, которые как-то борются за своих идеографов, стимулируют их, чтобы они работали, например, в сторону их теории?

А.К. Это было бы очень хорошо, но этого, к сожалению, нет. Если бы удалось достичь того, чтобы кто-то из идеографов выполнял номотетические заказы, то это было бы очень хорошо. Над этим надо подумать, но в ближайшее время вероятность того, что удастся кому-то в достаточном количестве это наладить, довольно низка.

Это идея совершенно правильная и в этом направлении работать надо, но очень узок круг людей, которые исторической номотетикой занимаются. Поэтому здесь бы выжить, а начать давать заказы идеографам это, конечно, большая мечта.

Хотя, через какую-то систему грантов, возможно, и могло бы что-то получиться. По сути, человек такой уже был, это, например, Марри Геллман, открывший теорию кварков и пытавшийся стимулировать деньгами идеографов интересовавшего его научного направления (речь идет, отметим, о лингвистической компаративистике). Но здесь возникают проблемы с деньгами, которых даже у Гэллмана оказалось намного меньше, чем требовалось. Что-то подобное было им проделано, но сейчас все это сходит на нет, потому что деньги заканчиваются.

М.И. Но вы своей деятельностью за последние годы даете очень хороший пример, который, будем надеяться, удастся воспроизвести в других науках, дисциплинах.

Иван Владленович Фомин (далее – **И.Ф.**). Мы как-то перешли к очень глубокому обсуждению вопроса взаимодействия идеографов и номотетиков, но, как мне кажется, было бы интересно еще обсудить и то, как одни номотетики взаимодействуют с другими номотетиками. Что меня здесь беспокоит, так это возможность «перевода» с одного языка номотетического описания на другой. Мне кажется, что это как раз то, без чего мы никогда не сможем избежать ситуации, когда математики, экономисты или, скажем, семиологи будут пытаться «под себя все подмять», говоря: «все – математика», «все – экономика» или «все – тексты».

И для меня здесь возникает вопрос: имеет ли смысл пытаться выстраивать коммуникацию между номотетиками разных толков? Или же каждый раз для выстраивания описания в новом ключе каждому из них следует возвращаться к «почве» первичных данных? Иными словами, возможна ли какая-то систематическая междисциплинарная «прививка» номотетических описаний с одного дисциплинарного «дерева» на другое? Ведь в различных дисциплинах модели могут быть очень разными и не

всегда тот, кто использует одну модель вообще понимает, о чем идет речь у тех, кто использует другую.

А.К. Мне кажется, математические модели в этом отношении лучше всего, потому что они более прозрачные и лучше всех работают. Ничего надежнее, чем демографический прогноз на 10–20 лет вперед, нет. Мы также твердо можем сказать, сколько выпускников средней школы будет через десять лет, потому что все они уже родились. Здесь все очень четко. Если же идет речь о других моделях, где не все так просто, то дело уже будет в другом. Приведите пример, где эта проблема будет реальной, а не надуманной.

И.Ф. Проблему, о которой я говорю, хорошо, как мне кажется, представил Х. Алкер¹, выделяя в гуманитарной методологии два полюса – позитивистский и диалектико-герменевтический.

А.К. Есть много дополняющих друг друга методов, но есть и риск (при спонтанном развитии событий), что одни съедят других. Нельзя надеяться на то, что все решится само собой. В этом плане очень полезна система научного мониторинга.

Константин Павлович Кокарев (далее – **К.К.**). По поводу системы мониторинга. В своей области исследований я обнаружил интересный пример. В теории организации тема эффективности является одной из центральных. И всегда было достаточно и описательных, и теоретических работ. В какой-то момент начало появляться огромное количество различных теорий о том, что такое эффективность организации и как ее можно измерить. Зачастую эти теории были математизированы. В какой-то момент этих моделей стало так много, что сообщество почувствовало, что нужно синтезировать подходы. Были и те, кто вообще отказывался формулировать универсальные теории. В итоге в 80-х годах вышла серия работ, где люди собирали различные модели, статистически их сравнивали и говорили, что здесь, к примеру, слишком много совпадений, вот эти понятия одинаковые. Однако такой синтез не привел к какому-то теоретическому или практическому прорыву в понимании эффективности организаций.

А.К. Выглядит как разумный и интересный научный подход.

К.К. Но, как мне кажется, получилась какая-то средняя температура по больнице и это не был консенсус. Это была попытка примирения без желания дальнейшей совместной работы. Мониторинг был, но положительных результатов он не дал.

¹ В русскоязычной литературе сегодня отсутствует устоявшаяся традиция передачи на письме имени Хейварда (Хейварда) Алкера (Олкера). Редакция ежегодника «МЕТОД», после консультаций с англоязычными коллегами, в том числе знавшими Х. Алкера лично, решила отдать предпочтение варианту «Хейвард Алкер» как наиболее соответствующему реальному звучанию имени ученого в американском варианте английского языка. Здесь и далее в настоящем издании, за исключением перепечатываемых материалов, используется именно такой вариант написания.

В ряде случаев там есть какие-то очень формальные методы, способы для определения того, кто наиболее эффективен. В ряде случаев получилось, что где корреляция выше, там и лучше. Сопоставляешь теории и смотришь, где соответствие между теоретической кривой и ментальной лучше. Но такое простое решение не всегда возможно.

М.И. Мы обсуждали стихийно складывающуюся ситуацию. А могли бы мы путем некоего науковедческого анализа выявить, какие существуют лакуны, которые нам незаметны?

А.К. Здесь ответ простой. Если вам удастся найти хоть один такой случай, то да.

М.И. Стоит ли их искать или это умозрительная постановка?

А.К. Если у вас есть силы и время на это, то попробуйте, вдруг удастся. Это очень интересно, и если найдете, то будет очень хорошо. Очень правдоподобная гипотеза.

Литература

- Коротаев А.В.* Джордж Питер Мердок и школа количественных кросскультурных (холокультуральных) исследований // Социальная структура / Мердок Дж. П. – М.: ОГИ, 2003. – С. 478–555, 588–606.
- Марков А.В., Коротаев А.В.* Механизм гиперболического роста в биологических и социальных системах // Философские науки. – М., 2006. – № 11. – С. 138–141.
- Марков А.В., Коротаев А.В.* Динамика разнообразия фанерозойских морских животных соответствует модели гиперболического роста // Журнал общей биологии. – М., 2007. – № 1. – С. 3–18.
- Марков А.В., Коротаев А.В.* Гиперболический рост разнообразия морской и континентальной биот фанерозоя и эволюция сообществ // Журнал общей биологии. – М., 2008 а. – № 3. – С. 175–194.
- Марков А.В., Коротаев А.В.* Гиперболический рост биоразнообразия в фанерозое объясняется ростом сложности и устойчивости сообществ // Современные проблемы биологической эволюции / Ред. А.С. Рубцов. – М.: Изд-во Государственного Дарвиновского музея, 2008 б. – С. 278–323.
- Марков А.В., Анисимов В.А., Коротаев А.В.* Взаимосвязь размера генома и сложности организма в эволюционном ряду от прокариот к млекопитающим // Палеонтологический журнал. – М., 2010. – № 4. – С. 3–14.
- Markov A.V., Korotayev A.V.* Phanerozoic marine biodiversity follows a hyperbolic trend // *Palaeoworld*. – Kidlington, 2007. – N 16. – P. 311–318.

МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА И СЕМИОТИКА

Я.Г. Дорфман, В.М. Сергеев

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

В.М. Сергеев

Необходимые вступительные пояснения¹

Эта статья была написана ровно 30 лет назад, в 1983 г. В течение ряда лет мы безуспешно пытались опубликовать ее, но явно мешала ее очевидная междисциплинарность. Специалисты по математической логике слышать ничего не хотели о семиотике, семиоты сомневались в своей компетенции по части математической логики, помимо прочего всех пугала общая ориентация на когнитивную науку, о которой в СССР в эти годы только пробивались кое-какие слухи. Получить разрешение Главлита на вывоз текста для публикации за границей представлялось весьма проблематичным.

В 1986 г. безвременно скончался Я.Г. Дорфман – исключительно талантливый биолог, занимавшийся биологией развития, и, в частности, сильно интересовавшийся ее логическим описанием, что неудивительно, так как он закончил МФТИ.

Вскоре настали иные времена, и жизнь преподнесла множество парадоксов, для большинства читателей гораздо более интересных, чем парадоксы математической логики. Мысли о публикации статьи, наряду с публикациями многих других работ, мне пришлось оставить, да и печатать статью стало негде (первоначально она предназначалась для «Ученых записок Тартуского университета» – журнала где я печатал тогда большинство своих статей).

В марте этого года М.В. Ильин предложил мне на пару выступить на Роккановском семинаре в ИНИОНе, посвященном возможностям применения семиотики в социальных науках. В своей части выступления я упомянул о предлагаемой читателю статье, коротко изложив ряд ее тезисов,

¹ См. также дискуссию [Математика и семиотика...]

после чего Михаил Васильевич любезно предложил мне ее наконец опубликовать.

Перечитав статью, я убедился что она, на мой взгляд (как это ни странно после 30 лет забвения), выглядит достаточно свежо, и не потеряла новизны. Я надеюсь, что и читатель найдет в ней кое-что интересное.

* * * * *

... Темнота, отмечаемая у него обычно,
является следствием нескольких ревниво
соблюдаемых им правил, приблизительно
так же, как в области наук мы видим,
что логика, аналогия и забота о последовательности
приводят к представлениям, весьма отличным
от тех, которые непосредственное впечатление
делает для нас привычным – вплоть до выражений,
легко переходящих за пределы нашей способности
к воображению.

Поль Валери «Письмо о Малларме»

Введение

Одной из основных тенденций современной логики является построение формальных систем, состоящих из аксиом и правил вывода, позволяющих механически получать следствия. Обычно в качестве основы формальной системы выбирается одно или несколько логических отношений, экстрагированных из естественно-языковых рассуждений¹.

В течение долгого времени формальная логика рассматривала преимущественно системы связанные с отношением включения элемента множества в класс и отношением предикации, которому легко дать теоретико-множественную интерпретацию, что позволяет получить теоретико-множественное обоснование формальной логики и рассматривать ее фактически как часть математики².

Наивная уверенность в том, что формализация одного или двух отношений выделенных из естественного языка позволит создать универ-

¹ Одним из ярких примеров такого подхода к логике является различение Г. Фреге и Б. Расселом трех смыслов (бытие, тождество и предикация) естественно-языковой связки «есть» [Хинтиikka, 1980]. Б. Рассел даже счел, что это «первый серьезный успех в реальной логике со времен греков» [Russell, 1914, p. 50].

² Д. Гильберт и В. Аккерман начинают свою известную книгу [Гильберт, Аккерман, 1947] следующей фразой: «Теоретическая логика, называемая также математической или символической логикой, есть применение формального метода математики к области логики».

сальные средства получения нового научного знания (а ведь именно в этом качестве мыслилось функционирование математической логики в рамках программы, намеченной Д. Гильбертом, а также Б. Расселом и А. Уайтхедом в [Whitehead, Russell, 1910; 1912; 1913] стала исчезать после доказательства К. Геделем теоремы о неполноте арифметики и привело в настоящее время к существенно иному пониманию места формальных систем в исследовании принципов человеческого мышления¹. Параллельно происходил процесс осознания роли семантики и прагматики в исследовании формальных систем [Семантика... 1981], что привело к построению огромного числа модальных логик [см., например: Фейс, 1974; Неклассическая... 1970]. Отметим, однако, что интуитивно приемлемая теоретико-множественная интерпретация модальных логик существенно отличается от теоретико-множественной интерпретации логики классов [Сергеев, 1984], а построение такой интерпретации в ряде случаев является весьма нетривиальной задачей.

Выбор такого отношения, как предикация, в качестве основы построения логики отнюдь не исчерпывает всех возможностей и, по-видимому, приводит к сильному обеднению ее содержания. А в рамках неевропейских культурных традиций известны логические системы, основанные на выделении других логических отношений в качестве базисных.

Особенно богатой в этом смысле является индийская логическая традиция².

По-видимому, целесообразно рассматривать любую формальную логическую систему как «знаковую систему». Эту систему можно представить себе как результат применения своего рода «гомоморфизма», упрощающего систему отношений, существующую в естественном языке, т.е. искусственный язык с более простой грамматикой и семантикой, снимающей некоторые неопределенности и неоднозначности, существующие в естественном языке. Ряд выразительных возможностей естественного языка при этом утрачивается.

Естественно-языковую аргументацию можно рассматривать как средство трансформации знаний³, выраженных естественно-языковыми средствами [Сергеев, 1984]. Соответственно правила вывода в формальной системе трансформируют знания, выраженные средствами формальной системы, аксиомы же представляют из себя «базисное знание». Однако нетрудно заметить, что при таком подходе к формальной логике в центре внимания оказываются вопросы семантики и концептуального анализа (в

¹ См. получившую очень большой резонанс и в определенном смысле подводящую итоги исследованиям в области формальных систем и искусственного интеллекта книгу А. Хофштаттера [Hofstadter, 1979].

² Так, например, логическая система «навья-ньяя» основана на исследовании отношения «проникновения» [Инголс, 1975].

³ О фундаментальной роли понятий «знание» и «представление знания» в когнитивных науках см.: [Bobrow, Collis, 1975].

смысле Р. Шенка), которую традиционная математическая логика вообще пыталась изгнать из рассмотрения.

Отсутствует в традиционной математической логике и понятие модальности, т.е. способа существования объекта. Между тем логика существования является весьма сложным и запутанным предметом, уже в древности породившим самые разнообразные взгляды¹. Способ существования математических объектов – по сей день весьма темный вопрос; ведь именно с ним связаны столь острые дискуссии об основаниях математики – например, борьба между «интуиционистами» и «формалистами» [Representation... 1975]. Разрубание «гордиева узла» путем признания только двух способов существования оппозиций «истина» – «ложь» существенно примитивизирует эту проблему.

Задачей настоящей работы является исследование формальных логических систем, в также возникающих в этих системах парадоксов с точки зрения семиотики.

Формальная логика и семиотические различия

Как для современной математической логики так и для семиотики основополагающими являются работы Г. Фреге [Фреге, 1977; Фреге, 1978]. Именно в этих статьях и была произведена чрезвычайно важная работа по логической семантике, сделавшая возможной быстрый прогресс математической логики, здесь же были выработаны и обоснованы основные понятия семиотики. На основании анализа естественно-языковых примеров Фреге сумел привести ясные логические аргументы для различения смысла, имени и денотата слова, провести разделение в логическом употреблении слов «вещь» и «понятие», однако это разделение не нашло в полной мере отражения в формальной логике. Основой формализма, исчисления предикатов, и исчисления высказываний стала другая идея Фреге.

В работе «Смысл и денотат» Фреге рассмотрел вопрос о денотате предложения. Он писал: «Итак, мы установили, что вопрос о денотате предложения тесно связан с вопросом о денотатах его частей, а этот вопрос можно ставить тогда, когда нас интересует истинно предложение или ложно. Мы вынуждены, таким образом, признать, что денотатом предложения является его истинностное значение – “истина” или “ложь”, других истинностных значений не бывает» [Фреге, 1977, с. 190]. Эта идея, представлялась в высшей степени спорной уже в то время, когда Фреге писал свои статьи.

Другой немецкий логик В. Виндельбандт высказывал следующие, как представляется, незаслуженно забытые, мысли по поводу логического анализа предложений: «Все предложения, в которых мы выражаем наши взгляды, разделяются, несмотря на видимое грамматическое их тождество,

¹ Ср. например, «неподвижное бытие» Парменида, «диалектику пустоты» Нагарджуны, «Эйдосы» Платона.

на два резко различающихся класса: на суждения и оценки. В первых высказывается связь двух содержаний сознания, в последних выражается отношение оценивающего сознания к представляемому явлению...» Виндельбандт рассматривает оценку как приписывание суждению онтологического статуса. Кроме того, он обращает внимание на относительность различия между понятием и суждением: «Всякое соединение представлений, которое должно быть совершено в суждении, может в готовом виде быть сформулировано в понятии. А ведь в таком случае связующая функция в предложении и понятии одна и та же... При этих условиях традиционное деление на понятия и суждения оказывается несостоятельным с точки зрения обычной задачи логики, именно установления нормативной системы “форм мышления”: это есть грамматическое, а не логическое деление». [Виндельбандт, 1904, с. 364]. Несмотря на то, что Виндельбандт не делал некоторых тонких различий, введенных Фреге, высказанные им мысли в соединении с аргументацией самого Фреге относительно различения денотата, смысла и имени делают в высшей степени неестественным качественное различие между денотатом имени и денотатом предложения. В конце концов, предложение – это имя объектной ситуации, которую естественно считать его денотатом, в то время как утверждение об истинности или ложности предложения есть оценка. Забегая вперед, отметим, что в математической логике наблюдается тенденция игнорировать различие между двумя указанными выше типами суждений. Подобная ситуация как и наличие всякого логически значимого, но не эксплицированного семантического различия открывает дорогу разнообразным парадоксам.

И наоборот, экспликация семиотических элементов, скрытых в естественно-языковом высказывании, делает невозможным их смещение, часто происходящее даже в естественно-языковых текстах. В частности подобная экспликация существенно проясняет проблемы, связанные с «парадоксами математической логики», которые во многом оказываются следствием слишком простой семиотической модели, лежащей в основе математической логики, модели не производящей даже полученных Фреге семиотических различий.

Можно сформулировать следующий семиотический принцип, на который, как нам кажется, должно опираться любое логическое исчисление: каждое различие смыслов знака, считающееся существенным при семиотическом анализе логической системы, должно быть эксплицировано в обозначениях¹.

В противном случае при формально логической записи не только не происходит прояснения естественно-языковых высказываний, но, напротив, смысл этих высказываний чрезвычайно затемняется. Дело в том, что в текстах на естественном языке правильное понимание смысла слова,

¹ Весьма вероятно, что сколько-нибудь общая формальная система такого рода мало чем отличалась бы от естественного языка.

включая и ту его часть, которая определяет логику умозаключения, достигается погружением слова в соответствующий контекст, либо в текст добавляется метатекст (естественно-языковые фрагменты, управляющие способом понимания высказывания). И то, и другое в формальных текстах отсутствует. В идеале они являются контекстно-свободными (хотя в действительности это не всегда так, иногда используются неэксплицированные правила понимания формальных текстов).

Семиотический анализ логических формализмов представляется нам весьма актуальной задачей, однако полный анализ такого рода чрезвычайно громоздок даже для простых формализмов. Здесь мы приведем лишь некоторые наиболее простые и очевидные примеры.

Парадоксы сокращенных обозначений

Хорошо известен широко употребляемый в математической логике способ обозначений, согласно которому простое написание некоторой формулы (например $P(x)$) есть одновременно утверждение о ее истинности. Таким образом, с самого начала в формуле не отражены необходимые, вообще говоря (см. цитиров. выше работу Виндельбандта), различия суждения и оценки. Это не значит, что указанное различие полностью игнорируется. Однако отсутствие его явной экспликации приводит к заведомой двусмысленности, так как иногда необходимо использовать формулы безотносительно к утверждениям об их истинности (не говоря уже о том, что такое употребление формулы противоречит интуиции).

В случае достаточно сложного текста следить за различием подобных двусмысленностей без наличия большой практики становится очень трудно, да и при наличии таковой возможны логические ошибки. Контекстную зависимость смысла слов естественного языка можно рассматривать, таким образом, как механизм, эффективно препятствующий возникновению подобных трудностей. Кроме того, в естественных языках существуют специальные средства для необходимых семиотических различий, имеющие грамматический (например, артикль) или прагматический характер.

Представляет интерес на нескольких примерах проанализировать с семиотической точки зрения функционирование формально-логических систем. Рассмотрим фрагмент текста работы Гильберта и Аккермана, в котором вводятся аксиомы узкого исчисления предикатов [Гильберт, Аккерман, 1947, с. 97].

«К этим аксиомам мы присоединим теперь в качестве второй группы две аксиомы для “все” и “существует”»:

- e) $(x) F(x) \rightarrow F(y)$;
- f) $F(y) \rightarrow (Ex) F(x)$.

Первая из этих аксиом означает «Если предикат F выполняется для всех x , то он выполняется также для любого y ».

Вторая формула читается так: «Если предмет F выполняется для какого-нибудь y , то существует x , для которого выполняется F ».

Этот текст особенно интересен по следующим причинам:

1. В нем вводятся аксиомы.

2. Поясняется их естественно-языковое содержание, т.е. вводится способ понимания знаковой системы.

По замыслу основателей математической логики «...чего удалось достичь благодаря языку формул в математике, то же должно быть получено с его помощью и в теоретической логике, а именно: точная научная трактовка ее предмета. Логические связи, которые существуют между суждениями, понятиями и т.д. находят свое выражение в формулах, толкование которых свободно от неясностей, какие легко могли бы возникнуть при словесном выражении» [Гильберт, Аккерман, 1947, с. 17].

Именно поэтому особенно интересно сопоставить знаковое и словесное выражение для аксиом формальной системы.

Рассматривая приведенный выше фрагмент логического текста нетрудно заметить следующие его особенности:

знак $F(y)$ в формулах e и f трактуется по-разному и имеет два смысла. В e – F выполняется для любого y . В f F выполняется для какого-нибудь y .

По-видимому, различие этих смыслов связано с местом $F(y)$ в формулах – в одном случае – на месте консеквента, в другом – на месте антицедента. Различие в смысле, однако, очень велико и никак специально не оговорено.

Совершенно неясно, что имеется в виду в этих текстах под x и y . То ли это объекты, принадлежащие области индивидуумов, то ли это имена объектов, то ли имена ролей [Дорфман, Сергеев, 1983]. Неясно, различны ли объекты, обозначенные разными именами, а также какие из них потенциальны, а какие актуальны. По-видимому, x обозначает потенциальный объект, а y – актуальный.

Уже такой поверхностный анализ показывает, что чтение указанных формул предполагает определенный способ понимания формул, о котором в тексте ничего не говорится, хотя этот текст вводит аксиомы, т.е., обязан содержать интуитивно исчерпывающее описание способа понимания формул. Аналогичные примеры в [Гильберт, Аккерман, 1947] можно с легкостью умножить.

К сожалению, подобное пренебрежение семиотическими различиями и даже сознательная эксплуатация возникающих двусмысленностей заметно не только в «Основах теоретической логики» [Гильберт, Аккерман, 1947], являющейся одной из первых работ по математической логике.

В качестве другого примера рассмотрим язык SELF, предложенный Шмультяном для формализации феномена «самоописания», присутствующий в известном логическом «парадоксе лжеца» [Манин, 1979, с. 78].

«Алфавит SELF: $E, *$ (симметричные кавычки).

r (отношение ранга I); \neg (отрицание).

Синтаксис SELF. К отмеченным выражениям принадлежат: ярлыки, экспонаты, формулы и имена.

Ярлык любого выражения P – это $*P*$ (P в кавычках).

Экспонат любого выражения P – это $P *P*$ («вещь с ярлыком»).

Формулы – это выражения вида $r E \dots E *P*$ и $\neg r E \dots E *P*$.

Здесь E стоит на $K > 0$ местах после r . Сокращенная запись:

$r E^k *P*$ или $\neg r E^k *P*$. Наконец, введем бинарное отношение на

множестве всех выражений «быть именем». Оно определяется рекурсивно:

1. Ярлык P является именем P .

2. Если P – имя Q , то EP – имя экспоната Q , т.е. имя выражения $Q *Q*$.

После этих определений утверждается, что « $E*E*$ является одним из двух своих имен. Точно так же формула $r E^* r E$ говорит о самой себе» [Манин, 1979, с. 79]. Язык SELF представляется в семиотическом плане намного более продвинутым, чем формальный язык узкого исчисления предикатов. Он эксплицирует ряд семиотических различий, позволяющих описывать весьма тонкие логические конструкции.

Семиотический анализ приведенного текста, однако, немедленно выявляет тот факт, что символ E в этом языке употреблен в двух совершенно различных смыслах:

1. Как семиотический оператор действующий на имя, т.е. выражение $*Q*$, и превращающий его в $E *Q*$ – имя экспоната Q в соответствии с (b)).

2. Как индивидуум, являющийся «отмеченным выражением» (его можно заключать в скобках).

Ясно, что в первом смысле E как семиотический оператор является элементом метатекста, а во втором смысле – элементом текста.

Только эта двойственность смыслов символа E и дает возможность получить «самоописывающееся» выражение $r E^* r E^*$, которое потом используется для доказательства упрощенного аналога теоремы Тарского о невыразимости истинности¹. Заметим, что применение сформулированного выше семиотического принципа построения формальных систем исключает возможность написания в рамках идей, положенных в основу языка SELF, «самоописывающихся» выражений, которые получаются только путем введения знаковой двусмысленности.

¹ При таком доказательстве теорема Тарского остановится теоремой о связи двух семантических неразличий в формальной системе: неразличение текста и метатекста и неразличение оценки «истина – ложь».

Семантические парадоксы

Хорошо известно [см., например: Фрейденталь, 1969], что «парадокс лжеца» парадоксом содержательной логики не является, т.е. может быть снят анализом прагматической стороны высказывания, именно, выяснением того, является ли данное высказывание элементом текста или «метатекста».

Появляется он лишь в рамках формальных систем, не эксплицирующих прагматику высказываний. Уже в работе «Основы теоретической логики» [Гильберт, Аккерман, 1947, с. 92) совершенно справедливо отмечалось, что так называемые «семантические парадоксы», к которым принадлежит «парадокс лжеца», «не затрагивают нашего исчисления (расширенного исчисления предикатов. – Я.Д., В.С.), так как оно не в состоянии выразить их чисто логический характер».

Остается только задать вопрос, насколько полезно формальное логическое исчисление, которое не в состоянии выразить логический характер утверждений, представляющихся важными с точки зрения содержательной логики и, как представляется, не содержащих никаких логических понятий выходящих за рамки этого исчисления.

Мы, таким образом, ясно видим семиотический недостаток, общий для многих систем формальной логики – отказ от полной экспликации смысловых различий вплоть до семиотических. Собственно говоря, это было бы совсем нестрашно, если бы формальные тексты рассматривались не как язык, а просто как сокращенная запись, сопровождаемая по мере надобности естественно-языковыми комментариями, как это имеет место в большинстве математических работ. Однако, такое употребление формализма, разрушило бы цель, ради которой он был построен, привело бы к отказу от «идеала» – построения формального языка, не зависящего от естественно-языковой интерпретации символики.

Фактически же, в силу того что идеальный формализм построить очень трудно, «неидеальные» формализмы использовались так, как будто они являются идеальными, т.е. естественно-языковые фрагменты доказательств опускались, становясь частью устной традиции, что делает работы по математической логике почти абсолютно герметичными для людей не принадлежащих к находящимся в неформальном общении между собой специалистам, которые именно при этом неформальном общении устанавливают единый способ понимания публикуемых ими текстов. Таким образом, вопрос о природе формальных логических систем естественно переносится из плана семиотики в план социолингвистики. К этому вопросу мы еще вернемся ниже.

Продолжим, однако, обсуждение парадоксов математической логики. Существуют весьма различные точки зрения на их роль в развитии этой науки. Одна из этих точек зрения приведена выше и отрицает позитивную роль парадоксов. Существует и прямо противоположное мнение [Hofstadter,

1979], подчеркивающее их решающую роль в развитии математической логики.

Что касается проблемы разрешения парадоксов, то они не могут, по-видимому, быть «разрешены» в рамках существующих формальных систем, а вопрос о пользе построения формальных систем, в которых подобные парадоксы не возникают, зависит от доказательных возможностей подобных систем [Френкель, Бар-Хиллел, 1966].

Рассматривая «парадокс лжеца»¹, можно заметить, что с точки зрения содержательной логики возможны различные подходы к его пониманию и, следовательно, устранению.

1. Последовательное различение текста и метатекста в высказывании.

2. Признание грамматически правильными только те высказывания, все элементы которых контекстно согласованы. В наиболее яркой форме контекстная несогласованность проявляется в следующей форме записи «парадокса лжеца»: «Высказывание, следующее за данным, истинное. Высказывание, предшествующее данному, ложно».

3. Последовательное различение структуры и оценки в высказывании в духе упомянутой выше работы В. Виндельбандта. При этом оценка не может рассматриваться как предикат, а именно такая ситуация имеет место в «парадоксе лжеца».

4. Принять «самоописывающиеся» выражения как интуитивно допустимый, особый класс выражений и попытаться научиться производить с ним формально-логические операции. Именно эта точка зрения принята в «Gjdel, Escher, Bach» и «Доказуемое и недоказуемое» [Hofstadter, 1979; Манин, 1979].

Мы видим, таким образом, что «разрешение» парадоксов зависит от научной позиции, занимаемой в рамках содержательной логики. Именно эта позиция и должна определять в соответствии с высказанным выше принципом 1 выбор формализма, в котором соответствующие парадоксы не возникают.

Логические парадоксы

Рассмотрим теперь пример так называемого «логического», а не «семантического» парадокса. Наиболее известен он в своей естественно-языковой форме: «Деревенский брадобрей бреет тех и только тех жителей деревни, которые не бреются сами», однако, имеет и теоретико-множественную формулировку [Френкель, Бар-Хиллел, 1966]. Хорошо из-

¹ Критянину Эпимениду (VI в. до н.э.) приписывается высказывание: «Все критяне – лжецы».

вестно, что это выражение является не логическим парадоксом, а логически противоречивым определением¹.

Смысл парадокса, по-видимому, не в логической противоречивости высказывания, а в чем-то еще. Френкель и Бар-Хиллел пишут «...это (логическое противоречие. – Я. Д., В. С.) мало способствует уменьшению парадоксальности полученного результата: тот факт, что не может существовать множества, состоящего в точности из всех объектов, удовлетворяющих четко определенному условию, отнюдь не кажущимся каким-то исключительным, а именно не содержащих себя в качестве элемента – пожалуй не менее противоречит здравому смыслу, чем прямое противоречие» [Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 17].

Отметим в этом тексте критерий соответствия интуиции: «множество, состоящее в точности из всех объектов, удовлетворяющих четко определенному условию» и «не кажущемуся каким-то исключительным».

Вряд ли можно считать четко определенным условием «все множества, не содержащие себя в качестве элемента». Условие «несодержания себя» крайне слабое и опирается на семантически сомнительное использование одного и того же объекта актуально в двух взаимоисключающих ролях – части и целого. Что же касается «не кажущемуся чем-то исключительным», то это утверждение, по-видимому, следует принимать как признание того, что автор не видит этой сомнительности.

Далее в этой же работе подчеркивается: «С самого начала следует уяснить, что в традиционной трактовке логики и математики не было решительно ничего, что могло бы служить в качестве основы для устранения антиномии Рассела». Этот пассаж следует рассматривать как ясное указание на то, что парадокс Рассела носит не логический, а семантический характер. Действительно, и в приведенном выше фрагменте, он рассмотрен как не соответствующее интуиции противоречие, что, пожалуй, говорит о неразработанности интуиции в этом вопросе, а не о пороках логики, иными словами об отсутствии необходимых семантических категорий для его

¹ В «Основании теорем множеств» [Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 17] это сформулировано так: «Нет такого жителя деревни, который бреет всех тех и только тех жителей деревни, которые не бреются сами – результат, хотя может быть и несколько неожиданный для неподготовленного слушателя, но не более парадоксальный, чем, скажем, тот факт, что нет такого жителя деревни, который был бы одновременно и старше и моложе пятидесяти лет». Заметим, что это легко доказать, используя простую логическую формулу: пусть «у бреет x» выражено как xRy , тогда логическая запись утверждения такова:

$$\bigwedge_{i \in U} \{(\neg xRx) \rightarrow xRp\} \wedge \{(xRx) \rightarrow \neg (xRp)\}$$

где U множество жителей деревни, $P \in U$ – брадобрей. Легко видеть, что формула является точным логическим эквивалентом естественно языковой записи и тождество ложно, так как содержит тождественно ложное выражение $(\neg A \rightarrow A) \wedge (A \rightarrow \neg A)$ в качестве одного из члена конъюнкции где $A = pRp$.

понимания. Точно такую же критику мы наблюдали выше при рассмотрении «парадокса лжеца». Таким образом, вряд ли целесообразно разделять парадоксы на логические и семантические – все они, по нашему мнению, семантические, т.е. могут быть устранены разработкой семантики, что, однако, является задачей не формальной логики, исследующей формальные системы, а содержательной логики, вырабатывающей новые смыслы и правила работы с ними.

Для содержательной логики парадокс свидетельствует о необходимости выработки некоторых новых различений смысла. После того как такое различие выработано, построение формальной системы, учитывающей это различие, может быть осуществлено в духе принципа 1 и является технической задачей. Каковы бы, однако, ни были смысловые различения в рамках логической семантики, лежащей в основе некоторой формальной системы, могут найтись выражения не интерпретируемые в рамках этой семантики, т.е. воспринимаемые как парадокс. Такие случаи должны служить побудительным мотивом не просто для построения новых формальных систем, в которых подобные парадоксы не появляются, но и, главным образом, для прояснения и уточнения семантики понятий, на которой строится парадокс. Без разработки новой семантики оперирование с формальными системами превращается в некий род «гадания», т.е. в средство стимулирования интуиции.

Мы видим, таким образом, что на первый план в исследованиях по формальной логике выдвигается вопрос о зависимости доказательных возможностей формальной системы от ее выразительных средств, т.е. от ее базисной семантики и эксилицированных в рамках построенного формализма различений смысла.

Парадоксы логического вывода

Мы можем констатировать, что в основе построения формальной логики лежит идея, состоящая в том, что строгость в рассуждениях может быть достигнута упрощением семантики и неполным различением используемых смыслов, но скомпенсированных механичностью вывода. При этом под правилами вывода понимаются правила знаковой подстановки.

Существенное упрощение семантики знака импликации как истинностной таблицы по сравнению с его естественно-языковой интерпретацией «если – то» немедленно привело к появлению парадоксов материальной импликации, замеченных Льюисом и с тех пор многократно обсуждаемых. Однако все эти обсуждения касались в основном построения формальных систем с правилами логического следования, уничтожающими парадоксы материальной импликации, и лишь в малой степени касались вопросов собственно семантических. Так, например, неклассическая теория логиче-

ского следования, рассмотренная в «Общей теории логического следования» [Сидоренко, 1973] рассматривает высказывания как логические атомы, обладающие истинностными значениями «истина» или «ложь», а сама теория строится с помощью некоторых ограничений, наложенных на структуру формул. «Формула $x \rightarrow y$ является доказуемой: 1. В S_1 если и только если $x \rightarrow y$ – тавтология двузначной логики, такая, что в y нет пропозициональных переменных, отсутствующих в x (сильное следование); 2. В S_2 если и только если $x \rightarrow y$ – тавтология и при этом x и y имеют по крайней мере одну общую переменную (ослабленное следование); 3. В S_3 если и только если $x \rightarrow y$ тавтология и при этом в x нет переменных, отсутствующих в y » [Сидоренко, 1973, с. 26].

В теории логического следования утверждение $x \rightarrow y$ верно, если и только если истинность x суть достаточное условие истинности y , а истинность y – необходимое условие истинности x . Теория логического следования избавляет от некоторых парадоксальных формул материальной импликации, но некоторые интуитивно-парадоксальные формулы все же остаются.

Вместе с тем существующие «неклассические» теории логического следования несвободны от того же недостатка, что и классические. Они пренебрегают исследованием семантики естественно-языковой связки «если... то». Между тем такое исследование показывает наличие модальности в этой связке, а также наличие в ней не только оценочной, но и концептуальной связи. Вывод в математических рассуждениях – это утверждение о правилах трансформации семантических структур, или структур знания. Распространения же оценки с одного математического выражения на другое без анализа его содержания – чисто формальный прием, на основе которого нельзя ожидать получения хотя бы минимального соответствия формального вывода с интуитивным пониманием результативного умозаключения. Это в настоящее время стало совершенно очевидным в связи с развитием теории искусственного интеллекта.

Суммируя сказанное, мы можем обнаружить в использовании формальных языков следующие особенности:

1. Стремление к упрощению знаковых средств.
2. Переход от знаковой «избыточности» по отношению к смыслу к знаковой недостаточности, резко поднимающее важность знания «имплицитных» способов понимания существенной зависимости знака от контекста.
3. Значительная аграмматичность.
4. Тенденция рассматривать формальную логику как «междисциплинарный язык науки» особенно четко проявившаяся у последователей «Венского кружка».

Формальная логика и социолингвистика

Интересно рассмотреть социолингвистические корреляты описанного явления. Нам представляется, что процесс распространения формальных

логических систем в качестве «междисциплинарных языков науки» имеет много общего с хорошо известным в социолингвистике процессом появления «пиджин-языков»¹. Пиджин-языки характеризуются крайним упрощением структуры. Развитие их приводит к образованию так называемых «изолирующих структур». Утрачиваются морфологические элементы, различающие числа и падежи в именах, местоимениях и прилагательных, видо-временные отношения в глаголах. Это упрощение, однако, не приводит к упрощению коммуникации. Скорее, наоборот, в креольских языках, развившихся из пиджинов, редуцированная грамматика, фонология и лексика с необходимостью несут ту же семантическую нагрузку, что и в «полных» языках за счет совмещения значений. Возрастает, например, роль тона, который начинает нести грамматическую и семантическую нагрузку.

На наш взгляд, процессы пиджинизации в естественных языках сильно напоминают то, что происходит при формализации логики. Стремление использовать максимально простую знаковую систему привело к пиджинизации концептуальной логики. Некоторые принципиально важные концептуальные и семантические различия не нашли своего выражения в знаковой системе языка, что чрезвычайно затрудняет его понимание. Само по себе это было бы совсем не страшно, если бы выражения формальных логических систем использовались только в той области, где существует достоверный контроль над ними со стороны «логической интуиции», т.е. неосознанно интерпретированной концептуальной логики. К сожалению, весьма часто выражения формальных систем используются далеко за пределами логической интуиции. В качестве примера приведем рассмотренное в работе Крипке выражение:

$$\sim \square ((A \diamond \sim A) \vee (\sim A \diamond A))^2,$$

относительно которого автор пишет, что оно «не общезначимо в S_y , но не имеет контрмодели с конечным деревом» [Крипке, 1974, с. 290].

Логическая интуиция, связанная с модальностями «возможно» и «необходимо» вообще развита весьма слабо. Для ее развития необходима значительная работа в области лингвистической семантики и естественно-языковой логики, без этого мы просто не в состоянии приписать смысл подобным выражениям³.

¹ Язык пиджин – это язык с интуитивно ограниченными коммуникативными функциями и редуцированной структурой, язык не родной ни для кого из говорящих на нем. Образуются языки пиджин естественным путем, в результате пиджинизации какого-либо языка, т.е. ломки и редукции его.

² Здесь \square – необходимо, \diamond – возможно, \sim – отрицание.

³ Интересно заметить, что существуют естественные языки, предложения которых настолько многозначны, что они непонятны без сопровождающих текст танцев (язык аранту).

Аксиомы формальных систем являются экспликацией логической интуиции и, вообще говоря, проверять их следует не по их следствиям (получающиеся формулы легко оказываются неинтерпретируемыми, лежащими за пределами логической интуиции), а путем создания концептуальных моделей логики [Ригер, 1980]. В противном случае деятельность по развитию формальных систем начинает приобретать характер «гадания», в которой получающиеся формальным выводом выражения рассматриваются как средство для стимулирования логической интуиции. Семантические модели такого рода деятельности построены в «Описание иной семиотической системы с простым синтаксисом» [Лекомцева, Успенский, 1965]. Заметим, однако, что подобная деятельность имеет весьма слабое отношение к логике. Фактически образуется нечто вроде «сакрального языка»¹.

Концептуальная логика

Возникает, однако, вопрос: где собственно искать концептуальные модели и как с ними работать? На наш взгляд, существует два основных источника концептуальных моделей: естественный язык и научные теории.

Заметим, что в некотором смысле можно было бы говорить об одном источнике, ведь научные теории являются некоторым расширением естественного языка, кроме того, как одно, так и другое – средства описания мира. Действительно следует в конечном счете именно мир рассматривать как источник концептуальных моделей. Однако в процессе развития естественного языка огромное количество операционных моделей способов действия, функциональных смыслов оказалось интериоризованным сознанием человека, так сказать, застыло в языке, оказалось его действенной, но неосознанной частью. Такова грамматика языка, таковым являются множество абстрактных понятий, которые мы постоянно употребляем, но эксплицировать точный смысл которых представляется весьма сложной задачей (ср. приведенные выше примеры, связанные с модальностями).

Язык оказывается огромным запасом знаний, аккумулированных в результате интериоризации способов человеческой деятельности. В этом смысле каждый естественный язык является огромной «библиотекой знаний», носителем уникальных логических средств. Именно поэтому такой большой интерес представляет исследование грамматической и логической структур малых языков, на которых иногда говорят всего десятки человек.

¹ Известно, что пиджин-язык вообще легко «сакрализуется». Так, хотя язык ток-писин, распространенный в Папуа – Новой Гвинее, появился всего 50–60 лет назад, уже были записаны мифы, согласно которым этот язык бог-орел принес героям папуасского эпоса.

Так, например, принципиально новый взгляд на грамматику естественных языков возник в результате изучения языка «лису», имеющего в основе грамматики не отношение «подлежащее» – «сказуемое», а отношение «топик» – «комментарий» [Ли, Томпсон, 1982]. Выше мы видели, что создание формальных логических систем тесно связано с экспликацией логических отношений из естественных языков. Так, предикативность есть по существу превращение в основное логическое отношение грамматического отношения «подлежащее» – «сказуемое». Наличие языков с совершенно иной грамматической структурой наводит на мысль, что использование предикативности в качестве основного отношения логики является далеко не таким естественным, как этого можно было ожидать, изучая, скажем, только индоевропейские языки. В настоящее время исследование логики естественного языка стало хорошо оформившимся научным направлением, которое можно рассмотреть как одно из составных частей логики. Однако извлечение логических концепций из естественных языков, являющееся, по преимуществу, лингвистической работой, не исчерпывает возможных способов построения концептуальных моделей. Существуют внутренние возможности развивать концептуальные модели, исходя из уже имеющихся. Именно такой способ используется обычно при построении новых физических теорий. Некоторые из них требуют радикального отказа от ставших привычными концептуальных моделей, что заставляет некоторых ученых говорить о «непредставимости» явления. Следует решительно возразить мнению, что какое-либо явление может быть «непредставимо», «непредставимость» – это отсутствие соответствующей концептуальной модели или отказ ее принять. Именно так следует понимать, например, споры происходившие вокруг интерпретации квантовой механики в 20-х годах XX в. Отказ А. Эйнштейна признать результаты квантовой механики и его утверждение, что «Бог не играет в кости», были неприятием разработанной в рамках квантовой механики логической по существу концепции двухуровневой реальности, одним из уровней которой являлся набор возможных состояний системы, ее потенциалов (волновая функция), а другим – набор актуальных состояний прибора, рассматриваемого как классическая система.

Разработанный Бором «принцип дополнительности» являлся логическим открытием [Мухелишвили, Сергеев, 1983], скачком в новый мир концептуальных моделей. Изобретенные логические средства оказываются крайне полезными не только при рассмотрении физических систем, но и при описании живых объектов [Дорфман, Сергеев, 1983], при объяснении психических явлений. Такие концептуальные модели, как принцип дополнительности, принцип соответствия, принцип относительности, обладают внутренней динамикой развития. Будучи очищенными от семантики конкретных систем, к которым они применялись, эти принципы становятся логическими средствами чрезвычайной общности, которые могут быть положены в основу формальных логических систем. Таким образом, наряду

с логикой естественного языка, существует концептуальная логика. Существует также теория формальных логических систем. На наш взгляд, если рассматривать ее как часть логики, а не как часть математики (во втором случае в центре внимания оказываются теоремы формальной системы) то основной задачей этой области знания является изучение вопроса о взаимосвязи между средствами выражения и различения данной системы смыслов и возможностью доказательства в ее рамках различных классов утверждений. Именно таково содержание наиболее известных теорем математики (например, первой и второй теорем Геделя, теоремы Тарского и т.п.). При этом необходимо проводить различие между формальным и концептуальным выводами. Формальный вывод – это подстановка, а концептуальный вывод – это трансформация концептуальной или семантической структуры утверждения по определенным правилам, принадлежащим концептуальной, а не формальной логике.

Путем, ведущим к концептуальной логике, является построение семиотических моделей. Семиотические модели – это структурные представления о том, как связаны и взаимодействуют друг с другом такие сущности, как знак, объект и смысл; суждение об оценке; текст и метатекст и т.п. Еще раз подчеркнем, мысленное оперирование семиотическими структурами, так же как и вообще оперирование понятийными, концептуальными структурами, подчиняется законам и правилам, имеющим мало общего с законами и правилами преобразования в формальных системах.

Таким образом, в соответствии с основным семиотическим различием «знак–смысл–объект» представляется целесообразным различать также логику формальных знаковых преобразований, концептуальную логику и логику оперирования конкретными образами объектов. В естественно-языковом рассуждении эти три логики совместно, хотя и не на равных правах, управляют потоком умозаключений. В каждом конкретном случае соответствующие слои мышления могут быть нагружены и эксплицированы в большей или меньшей степени. Однако попытки для сколько-нибудь широкого класса рассуждений обойтись лишь одним из этих семиотически различимых средств представляются несостоятельными и неизбежно ведут к парадоксальным и неинтерпретируемым, т.е. бессмысленным результатам.

Литература

- Виндельбандт В.* Прелюдии. – СПб.: Издание Д.Е. Жуковского, 1904. – 374 с.
Гейтинг А. Интуиционизм. – М.: Мир, 1965. – 200 с.
Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. – М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1947. – 306 с.

- Дорфман Я.Г., Сергеев В.М. Морфогенез и скрытая смысловая структура текстов // Вопросы кибернетики. Логика рассуждений и ее моделирование / Под ред. Поспелова Д.А. – М.: ВИНТИ, 1983. – С. 137–147.
- Дьячков М.В., Леонтьев А.А., Торсуева Е.И. Язык Ток-Писин. – М.: Наука, 1981. – 72 с.
- Инголс Д.Г.Х. Введение в индийскую логику навья-ньяя. – М.: Наука, 1975. – 238 с.
- Крикке С.А. Семантический анализ модальной логики // Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974. – 520 с.
- Лекомцева М.И., Успенский Б.А. Описание одной семиотической системы с простым синтаксисом // Ученые записки Тартусского гос. ун-та. – 1965. – Вып. 181: Труды по знаковым системам: Вып. 2. – С. 94–106.
- Ли Ч.Н., Томпсон С.А. Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1982. – Вып. 11. – С. 193–235.
- Манин Ю.И. Доказуемое и недоказуемое. – М.: Советское радио, 1979. – 168 с.
- Математика и семиотика: Две отдельные познавательные способности или два полюса единого органа научного знания? // Настоящее издание.
- Мухелишвили Н.Л., Сергеев В.М. Контекстная семантика понятий и зарождение логических парадигм // Текст: семантика и структура. – М.: Наука, 1983. – С. 285–295.
- Неклассическая логика / Отв. ред. П.В. Таванец. – М.: Наука, 1970. – 384 с.
- Ригер Ч. Концептуальная память и умозаключение // Концептуальная обработка информации / Под ред. Р. Шенк. – М.: Энергия, 1980. – С. 152–277.
- Семантика модальных и интенциональных логик / Под ред. В.А. Смирнова. – М.: Прогресс, 1981. – 424 с.
- Сергеев В.М. Структура диалога и неклассические логики // Ученые записки Тартусского гос. ун-та. – 1984. – Вып. 641: Труды по знаковым системам: Вып. 17. – С. 24–32.
- Сидоренко Е.А. Общая теория логического следования // Теория логического вывода. – М.: Наука, 1973. – С. 14–50.
- Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974. – 520 с.
- Фреге Г. Понятие и вещь // Семиотика и информатика. – М., 1978. – Вып. 10. – С. 188–201.
- Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – М., 1977. – Вып. 8. – С. 181–210.
- Фрейденталь Х. Язык логики. – М.: Наука, 1969. – 135 с.
- Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теорем множеств. – М.: Мир, 1966. – 557 с.
- Хинтикка Я. Связка есть, семантические пары и семантическая относительность // Логико-эпистемологические исследования. – М.: Прогресс, 1980. – С. 310–354.
- Hofstadter D. Gödel, Escher, Bach: An eternal golden braid. – N.Y.: Basic books, 1979. – 777 p.
- Representation and understanding: Studies in cognitive science / D. Bobrow, A. Collis (eds.). – N.Y.: Academic press, 1975. – 427 p.
- Russell B. Our knowledge of the external world. – L.: Allen and Unwin, 1914. – 251 p.
- Whitehead A.N., Russell B. Principia mathematica. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1910. – Vol. 1. – 666 p.
- Whitehead A.N., Russell B. Principia mathematica. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1912. – Vol. 2. – 772 p.
- Whitehead A.N., Russell B. Principia mathematica. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1913. – Vol. 3. – 491 p.

А.С. Ахременко, А.П.Ч. Петров

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ: ОПЫТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ¹

Организация может служить своим членам либо увеличивая пирог, который общество производит, так что ее члены получили бы большие куски пирога даже и при прежней их доле, либо получая большие доли общественного пирога для своих членов.

Мансур Олсон²

Тема, заявленная в названии данной работы, имеет два исследовательских фокуса. Первый – связан с содержательной проблемой: как вложение ресурсов в изменение «правил игры» влияет на эффективность производства благ в общественной системе? Второй – связан с «опытом математического моделирования»: особенностями формальной структуры модели, возможностями аналитических и вычислительных техник. Мы выберем промежуточный путь, связанный с ответом на вопрос о реализации важных, с нашей точки зрения, теоретических предпосылок в процессе построения математической модели и ее анализа. Полученные результаты, как мы при этом надеемся, отнюдь не являются «иллюстративными», призванными лишь продемонстрировать возможности формальной аналитической стратегии в рамках «заданной темы». В то же время эти результаты не будут в полной мере и в полном объеме вписаны в существующую теоретическую традицию. Сколько-нибудь существенный обзор изучения связи между перераспределением и эффективностью – в широчайшем спектре от работ «теоретико-модельных» [напр., Acemoglu, Egorov, Sonin, 2013] до узко эмпирических [напр., Coates, Heckelman, 2003], потребовал бы отдельной статьи.

¹ Данное научное исследование (№14-01-0127) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 гг., а также при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-06-00226-а).

² [Олсон, 1998, с. 75].

В политологии построение математической модели – это задача одновременно и креативная, и лингвистическая. Слово «креативный» здесь понимается в буквальном смысле – рядом с имеющимся политическим миром создается новая вселенная, которая лишь отчасти, с очень большими упрощениями, воспроизводит реальность. Особенность этой вселенной в том, что законы ее существования определены очень жестко, четко и явно – в виде набора математических формул. Как писал М. Фиорина, «в тщательно формализованной модели все карты на столе» [Fiorina, 1975, p. 137]. Чтобы изучение этого искусственного и простого, но вполне самостоятельного мира дало нам какое-то новое знание о реальной действительности, требуется выполнение нескольких условий. Одно из главных – соответствие между математическими выражениями, определяющими жизнь модельного мира, и теоретическими представлениями о политике, определяющими авторское понимание рассматриваемой содержательной проблемы. Собственно «лингвистическая» задача состоит в переводе вербальных представлений о политике на формальный язык, а затем, после аналитического и вычислительного исследования – «обратный перевод». Мы начнем с четкой формулировки «исходного текста»; сегодня наши карты на столе таковы (табл. 1).

Таблица 1

Исходные положения

Политическая теория в модели	Основное упрощение
В политике происходит перераспределение ресурсов от одних групп и индивидов к другим группам и индивидам	В реальности этот процесс обеспечивается властными ресурсами – ресурсами принуждения (угрозы принуждения). В модели властный ресурс неспецифицирован, акторы модели гомогенны во властном изменении
Перераспределение ресурсов осуществляется посредством правил	Перераспределение ресурсов осуществляется посредством институтов. В модели нет специализированной функции гаранта выполнения нормы
Правила напрямую не порождают материальных благ, успешного развития и т.д. С точки зрения сегодняшнего дня инвестиции в институциональный дизайн – чистые затраты. Политика – непродуктивная сфера общественной жизни, если говорить о <i>сегодня</i> . Но во времени изменении правил – через изменение стимулов – порождают эффективные и неэффективные общества	Эта идея реализована в модели насколько возможно полно

Последний пункт мы акцентируем особо. С нашей точки зрения, время представляет собой фундаментальный для понимания политики параметр. Этот момент существенно недооценен, в том числе и представителями неинституциональной школы, в русле которой выдержан наш подход. Динамический характер представляемой нами математической модели – не просто особенность «формального дизайна», но попытка отразить существенную черту анализируемых процессов.

Вторая математическая особенность модели, на которую мы хотели бы обратить внимание сразу – присутствие отдельных акторов, принимающих решения. Каждый из них выбирает между двумя базовыми альтернативами, или поведенческими стратегиями. Первая состоит в том, чтобы производить некоторое благо, увеличивая тем самым общий объем общественных ресурсов. Вторая заключается в инвестировании ресурсов в увеличение своего «политического веса», а посредством последнего – своей доли в совокупных ресурсах системы. Динамическая картина поведения общества в целом и ее эффективность определяется поведением всех акторов.

Построение динамической модели

Пусть имеется группа (система), состоящая из n акторов, которые могут быть индивидами, группами или организациями. Хотя мы описываем механизм работы системы для произвольного n , но примеры и численные эксперименты рассматриваются лишь для минимальной численности $n = 3$. С точки зрения опорной для нас неинституциональной теории это очень существенное упрощение, так как изменение численности группы в принципе может порождать значительные изменения в характере действующих в ней правил и механизмов их установления. Вместе с увеличением численности общества растут издержки переговоров, снижается способность поддерживать неполные («отношенческие») контракты и т.д. Тем не менее на данном этапе моделирования и изложения его результатов такое упрощение видится необходимым: оно позволит четко показать работу ключевых формальных механизмов модели, не отвлекаясь на проблемы, связанные с большим числом акторов (например, статистическими распределениями в начальных условиях). Кроме того, на данный момент мы делаем акцент на принятии решений, основанных на оценке акторами своих индивидуальных выгод и издержек; собственно взаимодействие между членами группы реализовано в модели косвенным образом.

Каждый актер характеризуется величиной X – индивидуальной эффективностью. Она представляет собой коэффициент, отражающий способность индивида преобразовывать некоторый ресурс (r_{it}), полученный сегодня, в некоторый продукт (p_{it+1}), вырабатываемый завтра. Простой

пример: пусть некто – индивид или организация – засекает мешок семенной картошки (для определенности 100 картофелин) и выращивает урожай в 150 картофелин. Тогда индивидуальная эффективность x_i составляет $150/100 = 1,5$. Другой актер в силу разных причин – в спектре от неумения выращивать картошку и нежелания работать до организационно-управленческих проблем – на основе того же ресурса произведет лишь 50 картофелин, тогда его индивидуальная эффективность составит $50/100 = 0,5$. Разумеется, применительно к общественно-государственным отношениям «мешки с картошкой» заменяются на, к примеру, бюджетное финансирование (ресурс) и произведенное с его помощью общественное благо (продукт). Но в любом случае здесь эффективность инструментально понимается в духе английского productivity как отношение полученных результатов к затраченным ресурсам.

Одновременно с индивидуальными показателями эффективности в рамках модели оценивается эффективность системы в целом – величина E . Принципиально, она интерпретируется в том же содержательном ключе, что и величины x_i : как продуктивность. Ресурс системы в целом представляет собой сумму ресурсов отдельных акторов:

$R_t = \sum_{i=1}^n r_{it}$. Аналогичным образом, продукт системы – сумма продуктов, произведенных акторами:

$P_t = \sum_{i=1}^n p_{it}$. Эффективность E представляет собой отношение «завтрашнего»

совокупного продукта к «сегодняшнему» совокупному ресурсу:

$$E = \frac{P_{t+1}}{R_t} \quad (1).$$

На данном этапе индивидуальные значения эффективности x_i задаются нами экзогенно и не меняются во времени. Для определенности скажем, что для трех акторов выбраны значения 0,2, 1 и 1,8 (первый актер неэффективен, третий эффективен, второй способен произвести «на выходе» тот же объем благ, который получен им на «входе»¹). В то же время, системная эффективность (1) рассчитывается эндогенно, может меняться во времени и в общем случае не представляет собой среднее индивидуальных значений эффективности (в данном примере 1). Это связано с двумя принципиальными характеристиками модели.

Во-первых, поступающий в систему ресурс почти всегда распределяется между актерами не поровну (правила распределения будут подроб-

¹ В данном случае взята шкала от 0 до 2 и три индивида с указанными значениями эффективности представляют в некотором смысле весь спектр.

но охарактеризованы ниже). Соответственно, если большую часть ресурса получит эффективный актер, то и системная эффективность будет выше единицы. Например, из общего ресурса $R_t = 1000$ актер с эффективностью 0,2 получает 200, актер с эффективностью 1 получают 300 и актер с эффективностью 1,8 получает 500. Перемножив соответствующие индивидуальные ресурсы на личные «КПД», получим величины произведенного в следующий момент времени продукта: 40, 300 и 900. В сумме система произвела 1240 единиц блага. По формуле (2), ее эффективность составит $1240/1000 = 1,24$. Аналогичным образом, если распределительные преимущества получает неэффективный актер (например $r_i = (500, 300, 200)$), будет произведено меньше продукта: $p_i = (100, 300, 360)$. Системная эффективность в этом случае составит $760/1000 = 0,76$. Итак, эффективность системы зависит не только от индивидуальной эффективности составляющих ее акторов, но и от того, кто из них получает распределительные преимущества.

Во-вторых, в нашей модели, как и в реальной действительности, актер может потратить не весь полученный ресурс на производство благ. Часть индивидуального ресурса может быть институционально или политически инвестирована – истрачена на изменение правила распределения в свою пользу. Иначе говоря, актер может потратиться на получение тех самых распределительных преимуществ, о которых шла речь выше. Выбор происходит из двух стратегий: вкладывать ресурсы в производство или вкладывать ресурсы в перераспределение. Вторая стратегия связана с влиянием на общее и обязательное для всей системы правило, и мы будем называть ее политической, или институциональной. Таким образом, мы помещаем в фокус математической модели классическую проблему неoinституциональной теории: производство vs перераспределение.

Принципиально важно, что ресурсы, потраченные на изменение института, уходят из системы безвозвратно: их энергия ушла в работу политического механизма. Ресурсы, потраченные на производство, возвращаются в нее в виде завтрашнего продукта:

$$R_{t+1} = P_t = \sum_{i=1}^n p_{it} \quad (2).$$

Следовательно, чем большая доля ресурсов уходит в политику – в борьбу вокруг правила распределения, тем меньше ее остается для продуктивной деятельности. А это, в соответствии с (2) – фундаментальной петлей обратной связи в данной модели – означает, что все меньше будет оставаться для завтрашнего перераспределения.

Означает ли это, что институциональное инвестирование всегда негативно сказывается на работе системы? Отнюдь нет. Многое зависит от того, на чьей стороне – эффективных или неэффективных акторов – ока-

зываются распределительные преимущества до и после изменения правила. Например, если система изначально неэффективна, требуется политическое вмешательство для восстановления ее жизнеспособности. Таким образом, системная эффективность E зависит не только и не столько от «заданных» уровней индивидуальной эффективности, сколько от правил перераспределения и индивидуальных стратегий по их изменению.

Изложив самые общие принципы модели, перейдем к более детальной и формальной характеристике ее работы. Итак, в стартовый момент времени экзогенно задается объем ресурса $R_{t=0}$, поступающего в систему. Во всех вычислительных экспериментах эта величина равна 1000. Далее необходимо распределить этот совокупный ресурс между акторами, получив значения индивидуальных ресурсов r_i . Для этого мы используем ряд подходов, разработанных нами в рамках модели перераспределения политического влияния [Ахременко, Петров, 2012].

Определим количественно правило отбора – селектор s_t . В данном случае это точка на шкале X , отражающая уровень индивидуальной эффективности, обеспечивающий максимальные перераспределительные преимущества и определяемый в рамках самой системы в соответствии с некоторым «правилом о правиле». Чем ближе к селектору находится актер x_i , тем большую долю ресурса он получит в свое индивидуальное пользование. Другими словами, распределительные преимущества актора определяются расстоянием ρ_{it} между его уровнем эффективности и уровнем эффективности, востребуемым со стороны системы:

$$\rho_{it} = |x_i - s_t| \quad (3).$$

Ясно, что чем меньше ρ_{it} , тем больше распределительных преимуществ у наиболее влиятельного актора. Чтобы определить эту связь формально, введем вспомогательную величину b_{it} :

$$b_{it} = \exp(-\beta\rho_{it}) \quad (4).$$

Эта величина убывает экспоненциально по мере увеличения расстояния ρ_{it} – расстояния между индивидуальной точкой и селектором. Интенсивность убывания по экспоненте зависит от параметра $\beta = [0, \infty]$, его содержательная нагрузка будет пояснена ниже. Теперь легко рассчитать долю каждого актора ω_{it} в общем объеме ресурсов:

$$\omega_{it} = \frac{b_{it}}{\sum_{i=1}^n b_{it}},$$
$$\omega_{it} \in [0, 1], \sum_{i=1}^n \omega_{it} = 1 \quad (5).$$

Фундаментальную роль в этой конструкции (4; 5) играет параметр β , который мы назовем параметром распределительного неравенства. Так, при $\beta = 0$ мы имеем полностью уравнительное общество, где b_{it} всегда равна единице и, как следствие, все акторы получают одинаковую долю ресурса независимо от своего положения относительно селектора. При $\beta = \infty$ весь объем ресурса достанется тому актору, чья точка совпадает с селектором s_t , остальные участники не получают ничего.

Дополнительно проиллюстрируем работу этого параметра, избегая крайних значений. В нашем базовом примере $x_1 = 0,2, x_2 = 1, x_3 = 1,8$. Установим s_t в точке 0,4 и определим $\beta = 1$. По формулам (4; 5) рассчитаем доли ресурса, получаемые каждым из акторов: они составят примерно 51%, 34 и 15% соответственно. Самый близкий к селектору актор x_1 получил наибольшую долю, самый удаленный x_3 – наименьшую. Теперь изменим значение бета, установив $\beta = 10$; все остальные величины остаются прежними. Качественно соотношение долей сохранится: близкий к селектору актор получит больше, удаленные – меньше. Но абсолютные значения долей изменятся кардинально и составят примерно 98%, 2 и 0,01% соответственно. Фактически при таком распределении львиная доля общего ресурса достается одному актору.

Совместное действие параметров s_t и β можно охарактеризовать таким образом: от селектора зависит, кто получит бóльшую долю при распределении, от бета – в какой мере эта доля будет больше. При этом селектор в нашей модели – это явный институциональный параметр, который будет определяться под влиянием политических стратегий акторов и изменяться во времени. В целом, это эндогенный параметр, для которого исследователь определяет лишь начальное условие $s_{t=0}$. Параметр β на данном этапе мы относим к системным настройкам модели, осуществляемым экзогенно. Пока отметим лишь, что самым близким эмпирическим коррелятом параметра бета является коэффициент концентрации доходов Джини.

Расчет индивидуальных долей акторов ω_{it} (5) позволяет нам распределить общий ресурс R_t :

$$r_{it} = \omega_{it} R_t \quad (6).$$

Теперь каждый актор принимает решение о выборе стратегии: какую долю полученного ресурса инвестировать в производство, а какую – в изменение правила (селектора s_t). Долю ресурса, затрачиваемого актором

на изменение правила в данный момент времени, мы обозначим π_{it} (от др.-греч. πολιτική). Соответственно, доля ресурса, затрачиваемого на производство, составит $1 - \pi_{it}$. Тогда объем ресурса, направляемый актором в политику, составит $\pi_{it}r_{it}$, и объем ресурса, направляемый на создание продукта – $(1 - \pi_{it})r_{it}$. Чтобы рассчитать, какой объем продукта произведет актор, нужно скорректировать это произведение на индивидуальный уровень эффективности:

$$p_{it+1} = (1 - \pi_{it})r_{it}x_i \quad (7).$$

Как видно, здесь все довольно просто: полезный продукт, произведенный актором, зависит от его желания производить $(1 - \pi_{it})$, умения производить (x_i) и располагаемого ресурса r_{it} .

Теперь посмотрим, как работает ресурс, направляемый индивидом в политику. Целью такого инвестирования, напомним, является перемещение селектора s_t в направлении индивидуальной точки x_i , сокращение расстояния ρ_{it} для увеличения распределяемой актору доли общего ресурса. Политическую борьбу при таком подходе можно представить как «перетягивание» селектора: каждый инвестирующий в политику актор пытается сдвинуть правило отбора в свою сторону. К такому «перетягиванию» каждый актор прикладывает разную «силу», которую мы назовем индивидуальным политическим весом и обозначим w_{it} . Эта величина обладает теми же свойствами, что и индивидуальная доля в общем ресурсе ω_{it} (5): принимает значения на интервале от нуля до единицы, сумма индивидуальных политических весов равна 1.

В логике «перетягивания правила» завтрашнее значение селектора определяется как сумма позиций индивидов с поправкой на их политический вес:

$$s_{t+1} = \sum_{i=1}^n x_i w_{it} \quad (8).$$

Таким образом, инвестиции в изменение правила – это инвестиции в индивидуальный политический вес. Осталось сделать один шаг – связать затрачиваемые на политику ресурсы $\pi_{it}r_{it}$ с величиной w_{it} . Для этого введем еще одну вспомогательную величину a_{it} :

$$\begin{aligned} a_{it} &= (\pi_{it}r_{it})^\alpha, \\ \alpha &> 0 \end{aligned} \quad (9).$$

Нормируя a_{it} на единицу, получим политический вес w_{it} :

$$w_{it} = \frac{a_{it}}{\sum_{i=1}^n a_{it}} \quad (10).$$

Положительный параметр α отражает эффект отдачи от политического инвестирования. При $0 < \alpha < 1$ мы имеем убывающую отдачу: с каждым дополнительно вложенным в политику «рублем» прибавка в политическом весе будет все менее существенной. При $\alpha > 1$ имеет место возрастающая отдача: с увеличением объема политических инвестиций политический вес будет расти все быстрее. Наконец, при $\alpha = 1$ политические веса акторов пропорциональны их вложениям в политику. На сегодняшний день во всех вычислительных экспериментах использован именно этот, наиболее простой вариант. Влияние системного параметра альфа на поведение модели еще предстоит изучить, поэтому пока что для простоты мы будем ориентироваться на следующую запись формулы (9):

$$a_{it} = \pi_{it} r_{it} \quad (11).$$

Итак, политические веса акторов зависят от их желания инвестировать в политику (π_{it}) и располагаемого ресурса (r_{it}).

Теперь мы можем выстроить общий алгоритм работы модели. Сначала в качестве исходных условий задается общий ресурс $R_{t=0}$ (сугубо техническая опция), значение селектора $s_{t=0}$ (будет меняться во времени в зависимости от поведения акторов), параметр распределительного неравенства β (важный системный параметр, который не будет меняться во времени). В ряде случаев также необходимо задать начальные значения $\pi_{it=0}$. Далее: общий ресурс распределяется между акторами в зависимости от их близости к селектору и установленного параметра бета-параметра распределительного неравенства.

1. Акторы принимают решение о том, в какой мере они готовы инвестировать в изменение селектора и, автоматически, в какой мере они готовы вкладывать ресурсы в производство. Рассчитываются соответствующие объемы ресурсов. Существенное замечание: в различных вариантах модели может предполагаться, что каждый актор единожды выбирает себе стратегию «на всю жизнь», либо в каждый момент времени он выбирает стратегию на один ближайший шаг. В этой работе мы будем рассматривать только первый случай как более простой.

2. Ресурсы, инвестированные в производство каждым актором, преобразуются в продукт, величина которого зависит от индивидуальной эф-

эффективности этого актора. Эти индивидуальные продукты суммируются и образуют совокупный продукт. В следующий момент времени произведенный продукт становится ресурсом, доступным для распределения среди акторов.

3. Ресурсы, инвестированные в политику, определяют политический вес каждого актора. Политические веса определяют положение селектора s_t в следующий момент времени.

4. Алгоритм повторяется с пункта 1 (с учетом замечания в пункте 2).

Предельная системная эффективность

Теперь рассмотрим некоторые общие свойства динамики модели через призму системной эффективности; последняя, напомним, представляет собой отношение «завтрашнего» совокупного продукта к «сегодняшнему» общему ресурсу (1). Отметим, что как только селектор s_t перестает меняться во времени (достигает равновесного состояния s_∞ ¹), отношение

$\frac{P_{t+1}}{R_t}$ также становится величиной постоянной. Такую величину:

$$E_\infty = \frac{P_{t+1}}{R_t}, s_t = const \quad (12)$$

мы будем называть *равновесной системной эффективностью*. Она не зависит от времени и является удобным инструментом анализа общих характеристик модели. В частности, она позволяет сформулировать два основных качественных сценария развития системы. При $E_\infty < 1$ получаемый системой полезный продукт P будет сокращаться по (отрицательной) экспоненте, асимптотически стремясь к нулевому значению. Вместе с продуктом будут сокращаться и стремиться к нулю индивидуальные ресурсы, так как они возникают в результате распределения полученного ранее продукта. Это «деградирующая» система, развитие которой проиллюстрировано на рисунке 1 (изменение во времени совокупного продукта и индивидуальных ресурсов) и рисунке 2 (изменение во времени селектора). Обратите внимание, что системная эффективность становится равновесной с момента времени $t = 6$, когда прекращается изменение селектора.

¹ Для этого требуется, чтобы политические стратегии акторов также не менялись во времени.

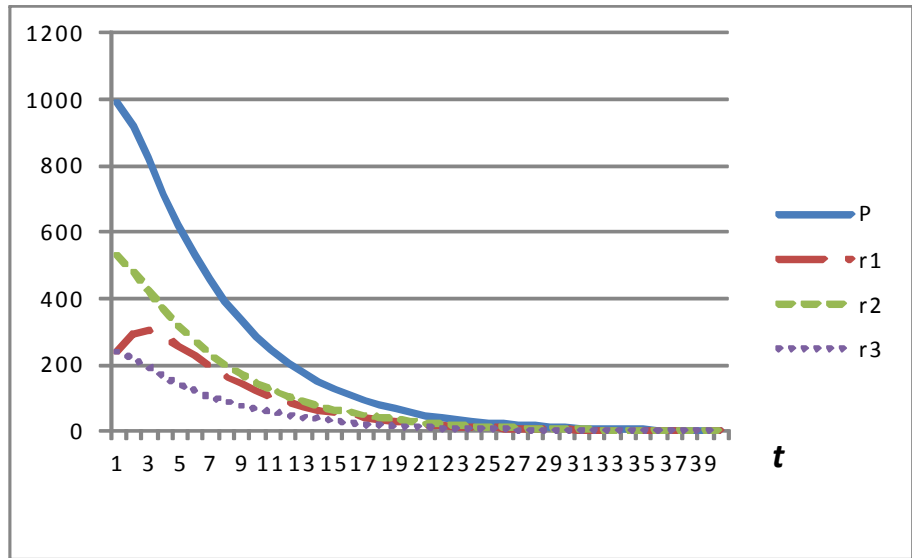


Рис. 1

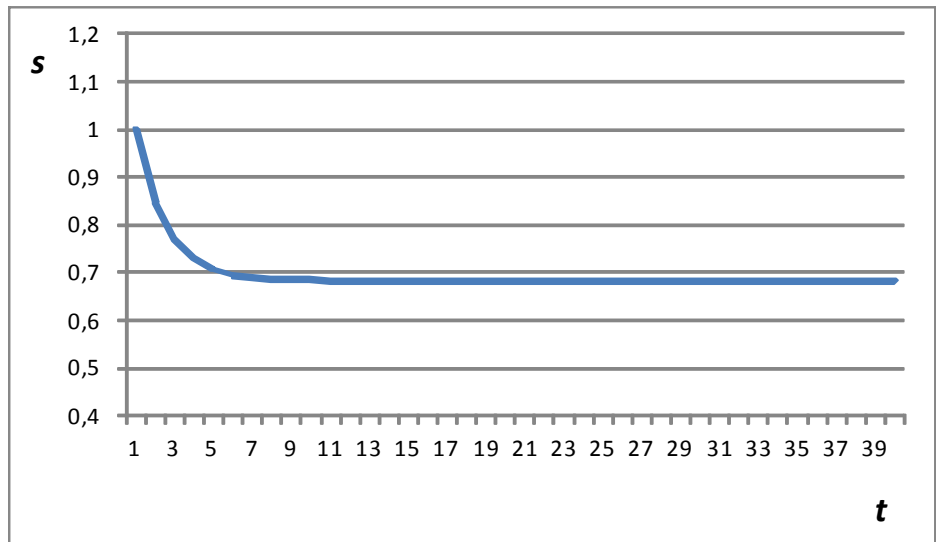


Рис. 2

В конечном счете в неэффективной системе проигрывают все, так как ресурс каждого актора зависит от общего объема продукта. Но в течение переходного периода (интервала времени, пока селектор меняет свое по-

ложение) возможен рост индивидуального ресурса у некоторых акторов даже при сокращении общего продукта. Так, на рисунке 1 ресурс r_1 первого актора растет на протяжении первых трех моментов времени. Таким образом, оценка актором перспектив развития зависит от его горизонта планирования; этому важному сюжету мы в дальнейшем уделим отдельное внимание.

При $E_\infty > 1$ система развивается по положительной экспоненте: объем общего продукта и частных ресурсов увеличивается с ускорением (рис. 3, 4); это «процветающая» система:

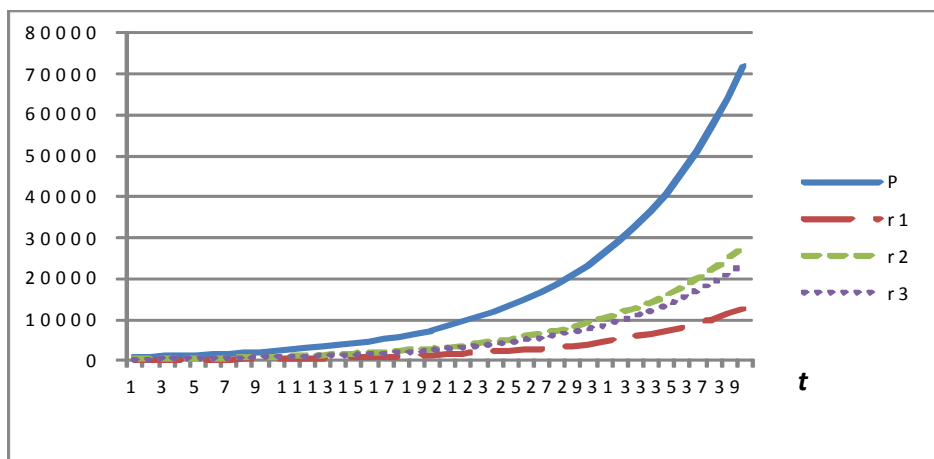


Рис. 3

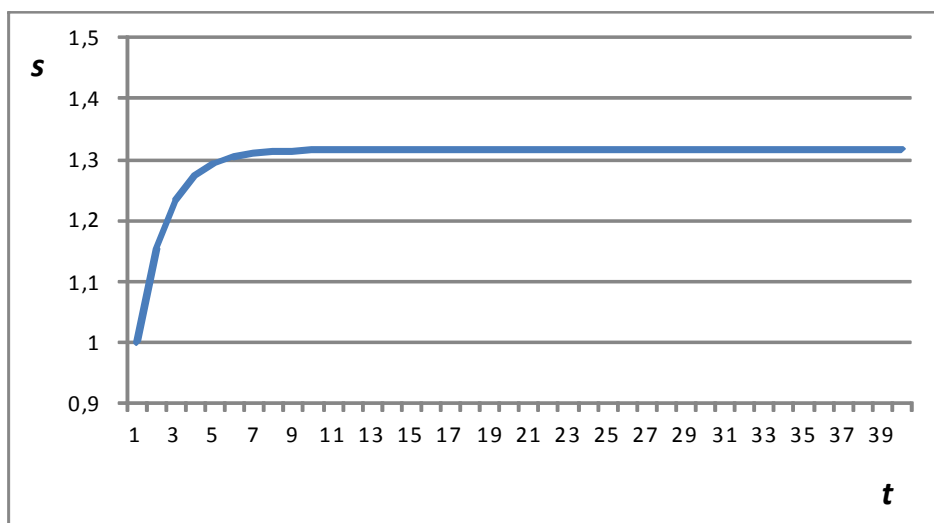


Рис. 4

Развитие во времени даже очень простой системы с тремя акторами может представлять собой некоторую комбинацию «процветания» и «деградации». Так, на рисунке 5 на протяжении целых 19 моментов времени кажется, что система развивается по эффективному сценарию. Однако равновесие селектора устанавливается ниже единицы (0,98, рис. 6), и в конечном счете система деградирует.

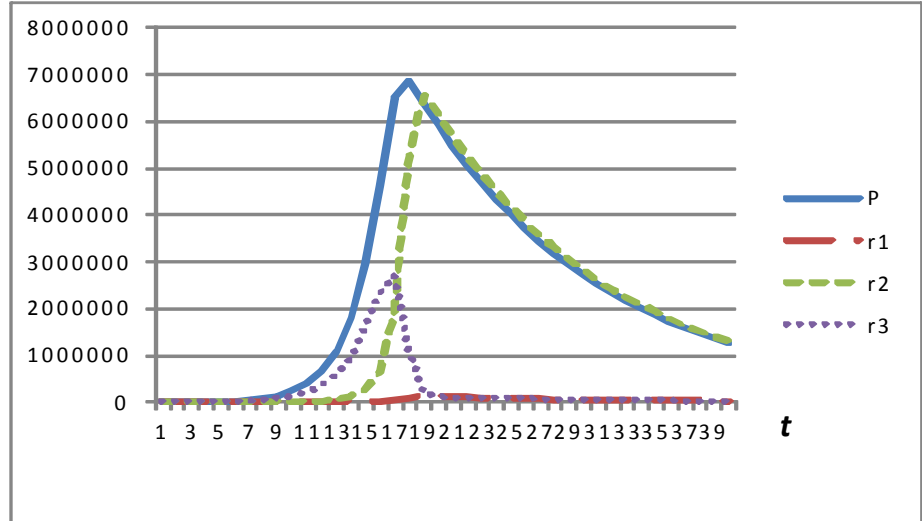


Рис. 5

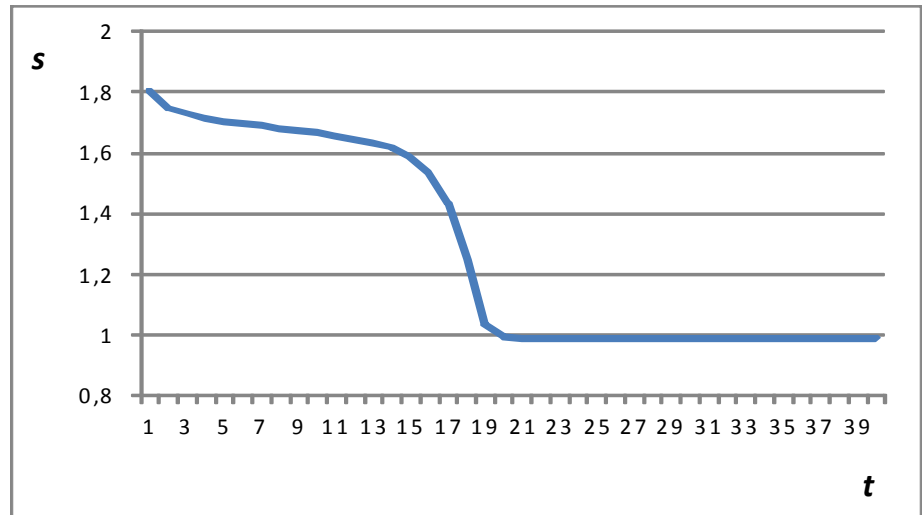


Рис. 6

Политическая нагрузка на систему

Каким образом выбор акторами стратегий политического инвестирования влияет на равновесную системную эффективность? Первое напрашивающееся соображение состоит в том, что для успешной системы доля вкладываемых в политику ресурсов π_i должна быть больше у тех акторов, которые обладают большей индивидуальной эффективностью. Другими словами, должна существовать положительная связь между индивидуальной эффективностью и долей инвестиций в изменение институтов.

Действительно, многочисленные и разнообразные вычислительные эксперименты показывают, что вероятность реализации успешного сценария возрастает при наличии такой связи. Однако, как ни странно, это условие не является ни необходимым, ни достаточным. Прежде всего, важна не только структура величины π_i (кто больше вкладывает в политику), но и *общая политическая нагрузка на систему* (сколько все общество вкладывает в политику). Исследование модели показывает, что существует формально трудноопределимый, но совершенно жесткий «предел политического инвестирования», после которого система коллапсирует независимо от связи между частной эффективностью и вложением в институты. Если слишком много ресурсов уходит из производительной сферы в борьбу вокруг институтов, средств на развитие оказывается недостаточно для поддержания роста.

Покажем это посредством двух простых вычислительных экспериментов. В первом из них, в системе три актора, индивидуальная эффективность установлена так же, как в базовом примере: $x_1 = 0,2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1,8$. Начальное значение селектора установим посередине – в точку 1. Положим, $\beta = 1$. Будем задавать значения политических стратегий π_i случайным образом, используя функции равномерного распределения. Проведем несколько серий вычислительного эксперимента, меняя в каждой серии максимально возможное значение π_i . В первой серии установим $\max \pi_i = 0,01$; во второй – $\max \pi_i = 0,1$; в третьей – $\max \pi_i = 0,2$; в четвертой – $\max \pi_i = 0,3$; в пятой – $\max \pi_i = 0,4$. Таким образом, от серии к серии мы будем повышать предел политического инвестирования – потолок для доли ресурсов, вкладываемых в изменение правила. Проведя в рамках каждой серии по 1000 реализаций модели, подсчитаем число случаев, когда равновесная эффективность системы была выше единицы. В результате получим вероятность реализации успешной

траектории в зависимости от предела политического инвестирования¹. Эта зависимость показана на рисунке 7.



Рис. 7.

Очевидно, что с увеличением максимальной разрешенной доли ресурсов, инвестируемых в политику, вероятность выйти на эффективную траекторию снижается драматически. Так, если в системе каждый актер тратит на институциональное инвестирование не более 1% (0,01) своих ресурсов, почти в половине случаев реализуется «сценарий процветания». Это, к слову, именно та половина, где более эффективный актер $x_3 = 1,8$ тратит на политическое влияние больше, чем неэффективный актер $x_1 = 0,2$. Если же актерам разрешается инвестировать в институты до 40% (0,4) своих ресурсов, эффективная траектория достигается менее чем в 10% случаев. При проведении такого же эксперимента при других начальных значениях селектора и параметрах бета эта картина качественно не меняется.

Второй эксперимент сфокусирован на стратегии самого эффективного актора, в нашем случае $x_3 = 1,8$. Пусть только этот игрок инвестирует в изменение институтов, менее эффективные акторы $x_1 = 0,2$ и $x_2 = 1$ все

¹ Использование случайной функции равномерного распределения гарантирует нам независимость структуры величины π_i от ее максимума.

ресурсы тратят на производство. Вектор политических стратегий тогда принимает вид $(0, 0, \pi_3)$, где π_3 – вновь случайная равномерно распределенная величина. Но теперь мы позволим ей принимать значения от 0 до 1, давая самому эффективному актору возможность инвестировать в политику любую долю имеющегося у него ресурса.

Казалось бы, запрет для всех акторов, кроме наиболее эффективного, на институциональное влияние гарантирует выход на траекторию успешного развития: правило отбора s_i имеет только одно равновесное состояние, соответствующее высокой эффективности 1,8. Причем переход селектора в это равновесное состояние в системе без политической конкуренции произойдет очень быстро – уже в первый момент времени независимо от начального условия $s_{t=0}$.

Однако здесь снова срабатывает предел политического инвестирования. Мы рассчитали конкретное пороговое значение π_3 , при превышении которого система переходит к «деградирующему» сценарию. Оно находится в зависимости от выбранного параметра распределительного неравенства β . При низких бета, когда распределительные преимущества эффективного актора невелики, ограничения на инвестиции в политику сильнее. Это связано с тем, что неэффективные акторы получают достаточно значительный объем ресурсов, из которых в полезный продукт превращается лишь часть. В сочетании с большими затратами на политику ведущего эффективного актора это создает дефицит ресурсов для обеспечения роста.

На рис. 8 приводится график зависимости критического значения π_3 , превышение которого ведет к изменению сценария $E_\infty > 1$ на сценарий $E_\infty < 1$, от уровня распределительного неравенства.

Как видно из графика, чтобы система была успешной, доля инвестиций в политику эффективного актора (при условии, что он – единственный инвестирующий) не может ни при каком уровне распределительного неравенства превышать 0,48–0,49. Когда преимущества эффективного актора в распределении малы, этот потолок снижается до 0,2–0,3.

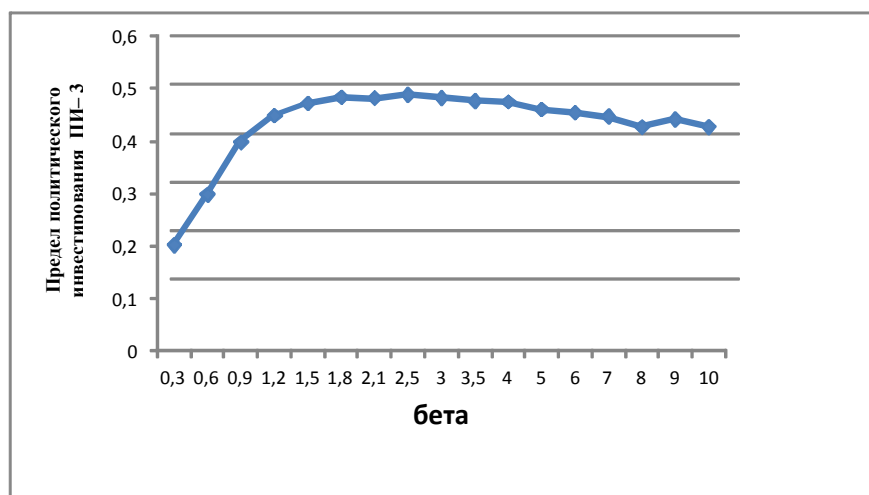


Рис. 8.

Итак, важна не только структура политических стратегий, перевес более эффективных игроков в политической борьбе, но и удержание общей доли институциональных инвестиций в рамках допустимого. Такое понимание позволяет нам сформулировать «формулу счастья» для такой модели – очень простую, несмотря на довольно сложное динамическое поведение системы в целом. Равновесная системная эффективность при любых начальных условиях¹ достигается, если единственным инвестирующим в политику является актер с уровнем индивидуальной эффективности больше единицы, причем доля его политических вложений предельно мала. Для нашего примера идеальный вектор политических стратегий:

$$\pi^{optim} = (0, 0, \pi \rightarrow 0) \quad (13).$$

При нулевом уровне участия в политике всех остальных игроков сколь угодно малой доли ресурса будет достаточно, чтобы сделать политический вес эффективного игрока максимальным. Вектору (13) всегда соответствует вектор политических весов $\mathbf{w} = (0, 0, 1)$, что обеспечивает вывод равновесия селектора на уровень эффективного игрока: $s_\infty = x_3 > 1$, причем мгновенно. Предельно малые затраты на настройку институтов снимают проблему «политической нагрузки» на систему, и общество развивается по положительной экспоненте.

¹ За исключением «уравнительного общества» – очень малых значений бета, когда влияние на правило вообще теряет смысл.

Возможно ли было счастье?

Здесь мы сталкиваемся с очень важным вопросом: может ли, и при каких условиях, такая политическая стратегия сформироваться в модели *эндогенно*? Какими правилами принятия решения о выборе стратегии должны руководствоваться акторы, чтобы добровольно передать право на политическую деятельность самому эффективному игроку?

В данной работе мы опробуем стандартную рациональную модель. Трое акторов с обычным распределением эффективности $\mathbf{x} = (0,2, 1, 1,8)$ будут принимать решение о выборе доли ресурсов на политическое инвестирование π_i в момент времени t_1 , основываясь на прогнозе

накопленного индивидуального ресурса $\sum_{i=1}^k r_i$ на k шагов вперед. Параметр

k отражает горизонт планирования или глубину прогноза; мы рассмотрим варианты с краткосрочным ($k = 1$), среднесрочным ($k = 5$) и стратегическим ($k = 40$) горизонтами. Правило выбора основано на максимизации «еще не нажитого непосильным трудом»: выбирается такая стратегия, при которой

$\sum_{i=1}^k r_i \Rightarrow \max$. Для упрощения вычислительной задачи выбор

осуществляется из конечного дискретного набора политических стратегий: 0, 0,025, 0,05, 0,075. Предельная политическая нагрузка на систему, таким образом, установлена нами на достаточно низком уровне 0,075; это сделано для того, чтобы увеличить удельный вес «сценариев процветания» в реализациях модели. Стартовый вектор политических стратегий $\pi_{it=0}$ задается случайно с тем же «потолком» 0,075. Этот вектор, как и системный параметр β и начальное условие $s_{t=0}$, известен всем акторам. Для каждой комбинации β и $s_{t=0}$ вычисляется по 200 реализаций модели. Для каждого из трех горизонтов планирования рассматриваются значения начального селектора 0,2, 1, 1,8 и уровни распределительного неравенства 1, 3, 5, 10.

Если описать все это проще и менее детально, принятие решений каждым актором сводится к следующему. Основываясь на знании системных параметров и начальных условий, включая случайно сгенерированные стартовые стратегии, актор рассчитывает, какой объем ресурсов он сможет получить в будущем. Переменной величиной выступает его собственная политическая стратегия. Актор вычисляет четыре величины: суммарный ресурс при 1) нулевой, 2) незначительной (0,025), 3) умеренной (0,05) и 4) существенной (0,075) доле своих инвестиций в политику. Выбирается та стратегия, при которой он сможет получить на руки больше ресурсов.

В качестве эталона для сравнения мы будем использовать «формулу счастья» – оптимальный вектор стратегий (13), который в данном случае приобретает вид $\pi = (0, 0, 0,25)$. В отдельной вычислительной серии он будет вводиться экзогенно с теми же комбинациями системных параметров и начальных условий.

Перейдем к описанию результатов вычислительных экспериментов. Прежде всего, рассмотрим равновесную системную эффективность при различных горизонтах планирования. Гистограмма ниже (рис. 9) демонстрирует средний¹ уровень равновесной системной эффективности для трех горизонтов планирования (и оптимального вектора стратегий) и трех начальных значений селектора.

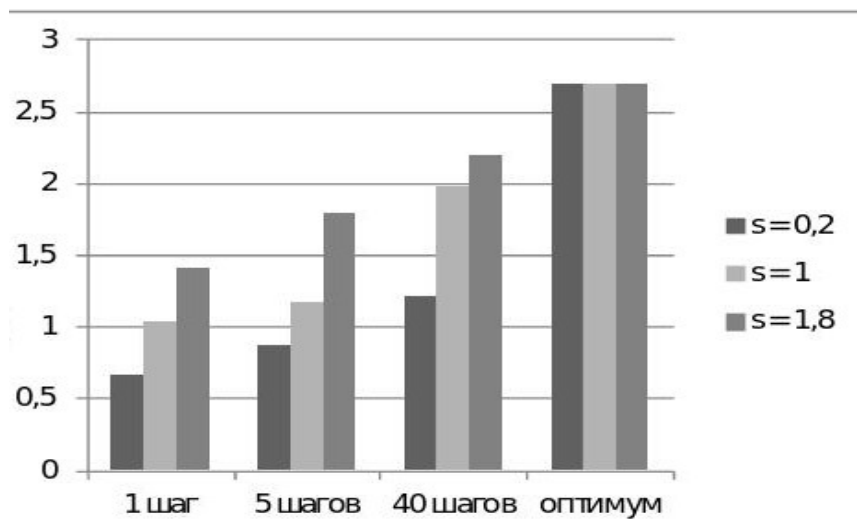


Рис. 9

Вполне ожидаемо, что в более благоприятных начальных условиях акторы выбирают более эффективные стратегии: с ростом $S_{t=0}$ увеличивается продуктивность системы. Также вполне закономерно, что она растет с увеличением горизонта планирования. Однако даже при глубине прогноза в 40 моментов времени (это очень большая глубина прогноза для моделей такого типа) системная эффективность, полученная на основе решений акторов, сильно не «дотягивает» до эталонной эффективности, полученной на основе экзогенной стратегии.

¹ Усреднение происходит для серий эксперимента со следующими значениями бета: 1, 3, 5, 10.

Характерна вероятностная картина выбора нулевого политического влияния самым неэффективным актором ($x_1 = 0, 2$), показанная на рисунке 10.

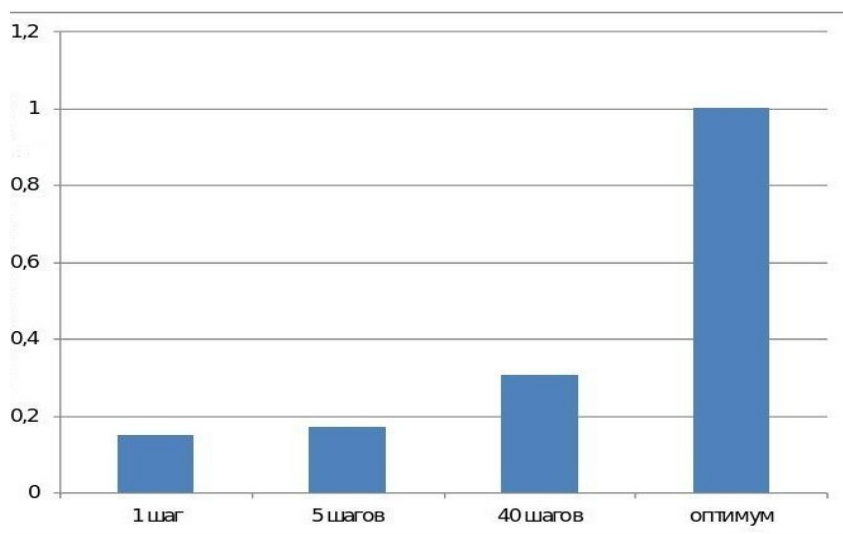


Рис. 10

Для достижения наивысших значений системной эффективности неэффективный игрок никогда не должен бороться за политическое влияние (вероятность $\pi_1 = 0$ единична, четвертый столбец на рис. 10). Однако даже обладая навыками стратегического планирования, он в той или иной мере инвестирует в политику в подавляющем большинстве случаев (около 70% стратегий).

Еще более показательным является прямой ответ на вопрос о возможности добровольной передачи права на политическую деятельность самому эффективному игроку – об эндогенном выборе оптимального вектора стратегий $\pi = (0, 0, 0,25)$. При горизонте планирования в один момент времени такая стратегия не выбирается *никогда*; при горизонте планирования в пять моментов времени – *почти никогда* (вероятность составила 0,0004); при глубине прогноза в 40 моментов времени – *крайне редко* (0,02). Это происходит в тех случаях, когда исходное (случайное) распределение политических стратегий очень близко к оптимальному и от акторов требуется лишь «не испортить» его.

Таким образом, *достижение оптимума требует сочетания очень благоприятных стартовых условий и очень длительного горизонта пла-*

нирования. В реальной действительности трудно надеяться, что такое сочетание будет часто реализовываться.

Второй способ достичь оптимального распределения инвестиций в политику – перейти к модели полной рациональности акторов, сняв всякие ограничения на их вычислительные возможности. В этом случае каждый актор должен быть способен рассчитать не только все варианты своей индивидуальной политической стратегии при фиксированных стратегиях других игроков; необходим *расчет всех возможных комбинаций политических стратегий для всех участников на длительный период времени*. Проблематичность такой возможности очевидна; даже в рамках вычислительного эксперимента, производимого с помощью современного компьютера, ее реализация связана с определенными трудностями. При этом с ростом числа акторов сложность вычислительной задачи будет возрастать на порядки.

Таким образом, в рамках принятых допущений система не находит реалистичных путей к оптимальному распределению политических стратегий. Два возможных решения этой проблемы подсказывает нам все та же неоинституциональная теория. Первым ответом может быть создание *иерархии*, или установление *вертикального социального контракта*. Вторым ответом может быть некоторая форма *горизонтального договора*. Обе возможности принципиально реализуемы в рамках основ предложенного формального дизайна, – при изменении, разумеется, некоторых характеристик поведения акторов и даже – особенно для «иерархического» решения – топологии модели. Авторы рассчитывают представить математическое воплощение этих сценариев в ближайшее время.

Литература

- Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и депривация: математическая модель перераспределения политического влияния // Полис. – М., 2012. – № 6. – С. 81–100.
- Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз. – Новосибирск: ЭКОР, 1998. – 432 с.
- Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. Political model of social evolution // PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 2011. – 5 p. – Mode of access: <http://economics.mit.edu/files/7719> (Дата обращения: 14.05.13.)
- Coates D., Heckelman J. Interest groups and investment: a further test of the Olson hypothesis // Public choice. – N.Y., 2003. – Vol. 117, N 3/4. – P. 333–340.
- Fiorina M. Formal models in political science // American journal of political science. – Bloomington, 1975. – Vol. 19, N 1. – P. 133–159.

Р.У. Камалова, Д.К. Стукал

ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

Дискуссия о единстве или множественности органа научного познания, развернувшаяся на страницах ежегодника «МЕТОД», демонстрирует многие важные аспекты как применения математики и семиотики к изучению социального, так и развития этих наук в их познавательном потенциале. В этой статье мы обратимся к более техническим вопросам использования одной из ветвей математики – статистики – в прикладных исследованиях в области социальных наук (с акцентом на политологических изысканиях, обусловленным интересами и опытом авторов). Заметим, однако, что прикладная статистика не есть в чистом виде раздел математики, поскольку требует от специалиста не только и не столько способности формулировать и доказывать некоторые утверждения в форме теорем и даже не способности применять конкретные теоремы к решению отдельных задач, сколько готовности сочетать знание математических основ статистики с личным исследовательским опытом, эвристическим потенциалом тех или иных математических операций, а также пониманием природы и особенностей имеющихся эмпирических данных и характера решаемой исследовательской задачи. Важнейшим этапом применения статистики в исследовательской практике оказывается интерпретация результатов, которая едва ли может предопределяться реализованными математическими операциями. В этой связи очевидно, что успешное применение методов прикладной статистики требует дополнение сугубо математических операций над данными методами семиотики для дальнейшего совершенствования интерпретационного потенциала получаемых в ходе обработки данных результатов.

Собственно, в самом выражении «обработка данных» заложена некоторая предумышленная осторожность: мы избегаем говорить об анализе данных – процессе намного более глубоком и выходящем далеко за рамки вычислительных операций, совершаемых либо вручную, либо с использованием специализированных компьютерных средств. Специалисты-статистики порой говорят о том, что анализ данных – это не наука, а ис-

кусство, требующее большого исследовательского опыта. Возможно, обозначение анализа как сферы искусства является следствием разъединения статистики (и шире – математики) и семиотики; их сочетание же в рамках исследовательской практики позволило бы вернуть анализ данных в поле науки. Подобные попытки, однако, предпринимаются чрезвычайно редко и представлены в периферийных для современной статистики журналах [Martynenko, 2003]. Этот факт лишь подчеркивает большую дистанцию, на которой расположились по нелепому стечению обстоятельств статистика и семиотика, и указывает на перспективность их сближения.

Решение обозначенной задачи, однако, осложняется нехваткой конкретных методик и техник, доступных для использования прикладными статистиками в рамках современной семиотики. По этой причине мы не ставим перед собой задачу какого бы то ни было синтеза этих областей знания как элементов органа (или различных органов?), ограничиваясь демонстрацией широкого потенциала применения методов статистики для решения разнообразных задач в области социальных наук.

Современным исследователям доступно большое количество количественных и качественных данных. Они включают в себя межстрановые показатели, электоральную статистику, данные социологических опросов, психологических тестов, обследований организаций, тексты, экспертные оценки и др. В эмпирических политологических исследованиях для выявления характера и структуры взаимосвязей социальных явлений распространено применение методов математической статистики и эконометрики.

Все методы прикладной статистики могут быть разделены на два класса: описательных и моделирующих причинно-следственные связи явлений и процессов [King, Keohane, Verba, 1994, p. 7–8]. Спектр задач, которые они позволяют решить, довольно широк: от выявления зависимостей между признаками, которыми описываются некоторые объекты, классификации этих объектов, конструирования индексов до измерения латентных категорий и моделирования причинно-следственных связей и динамики процессов. Инструментарий многомерного статистического анализа и эконометрики предлагает большое количество методов разной степени сложности для решения таких задач, каждый из которых имеет определенные границы применимости, обусловленные совокупностью модельных допущений. Для выбора метода, адекватного сформулированной задаче, необходимо получить первичное представление о поведении изучаемых признаков, а в случае необходимости предварительно их концептуализировать, операционализировать и измерить.

Существуют две основные группы шкал измерения показателей (переменных): количественные и категориальные [Analysis of multivariate social science data, 2008, p. 8–10]. Переменные количественного уровня могут принимать как целые, так и дробные значения. Для них разница между двумя значениями по шкале является осмысленной величиной. К таким переменным относятся, например, ростовые-весовые показатели, число на-

ступлений события, денежные единицы, проценты и доли и др., а также латентные показатели – интеллектуальные способности, демократия¹, политическая культура и т.п., измеряемые только через моделирование. Признаки, измеренные в номинальных или порядковых (ординальных) шкалах называются категориальными. Обе шкалы позволяют распределить все наблюдения на категории (группы). Разница состоит в том, что в порядковой шкале упорядочение категорий разумно, скажем, уровня образования, а в номинальной шкале, например по признаку «страна рождения» или «пол», – нет.

Математические методы обработки количественных и категориальных данных существенным образом различаются, поэтому определение типа шкалы, в которой измерены признаки, – обязательный этап анализа данных.

Заметим, что вне зависимости от типа шкалы во многих случаях характер генезиса признаков можно считать схожим: интересующие исследователя социальные явления мыслятся как стохастические, т.е. не являющиеся жестко детерминированными и испытывающие влияние множества случайных факторов. Например, результаты социологического опроса для выявления установок по отношению к мигрантам. На ответы могут влиять не только действительные установки опрашиваемого, но и самочувствие, погода, личные переживания, личность интервьюера, проводящего опрос. К анализу многих признаков, природа которых обусловлена как закономерностями, так и случайностью, может применяться инструментарий теории вероятностей и математической статистики.

Стохастический взгляд на исследуемые признаки предполагает, что конкретные наблюдения суть результаты реализации некоторого порождающего данные процесса, который в новой ситуации может привести к возникновению другого набора значений. Следовательно, имеющиеся данные – это только выборка из некоторой генеральной совокупности (некоторого закона распределения, характеризующего порождающий данные процесс). Иногда на первый взгляд неочевидно, что помимо полученной «выборки» есть еще какая-то генеральная совокупность. Например, если исследуется ВВП / человек в постсоветских государствах в 1991–2012 гг., то что считать генеральной совокупностью? В этой ситуации продуктивным может оказаться осознание того, что ВВП / человек – это результат взаимодействия множества экономических, демографических, социальных и природных процессов, значительное число которых носит недетерминированный характер. Следовательно, содержательно важной может быть

¹ Здесь предполагается, что уровень демократии измеряется не в дихотомической шкале («есть» vs «нет»), а может быть представлен точкой на отрезке вещественной прямой. О дискуссии между сторонниками и противниками измерения демократии как непрерывного по своей природе показателя заинтересованный читатель может узнать, например, из работы [Collier, Adcock, 1999].

задача отделения результатов экономических процессов от совокупности прочих (случайных) факторов. При такой постановке вопроса генеральной совокупностью может считаться множество значений, которые изучаемый признак мог принять на рассматриваемых объектах при данных характеристиках экономических процессов и совокупности влияющих случайных факторов.

К анализу многих признаков, природа которых обусловлена как закономерностями, так и случайностью, может применяться инструментарий теории вероятностей и математической статистики. Основной задачей, решаемой с помощью количественных методов, является инференция – получение вывода о характеристиках порождающего данные процесса на основе имеющихся выборочных данных. Наиболее широкое распространение получили два инструмента статистического вывода, речь о которых пойдет ниже: статистическое оценивание и проверка статистических гипотез.

Под статистическим оцениванием понимается установление приближительного значения некоторого параметра генеральной совокупности на основе выборки. Сами оценки могут быть точечными (т.е. дающими на основе выборки конкретное числовое значение, которое считается достаточно близким к неизвестному параметру генеральной совокупности) или интервальными (так называемые доверительные интервалы, которые по выборке указывают не одно значение, а целый диапазон, в котором с некоторой, заданной исследователем, вероятностью, лежит неизвестный параметр распределения). При проверке статистической гипотезы исследователь сначала формулирует предположение про значение неизвестного параметра генеральной совокупности, затем устанавливает из этого предположения некоторое следствие, которое должно наблюдаться, если гипотеза верна, и не должно, если она ошибочна. Далее остается только узнать, наблюдается ли это следствие в данных или нет, и сделать вывод (конечно, не однозначный, а допускающий некоторую вероятность ошибки – ведь сами данные рассматриваются как результат случайного эксперимента).

Описанная логика работы с данными как результатами реализации случайных величин особенно естественна в случае количественных показателей, которые могут непосредственно отождествляться со случайными величинами. Так, случайной величиной можно назвать ВВП / человек в отдельном государстве, уровень безработицы, число респондентов в выборке, заявивших о поддержке некоторой реформы и др.

Основными числовыми характеристиками случайных величин, позволяющими описать данные в выборке, являются меры центральной (средней) тенденции и меры разброса относительно среднего. Они характеризуют распределение, которым описываются признаки, и могут способствовать выбору методов их анализа.

К мерам центральной тенденции относятся среднее арифметическое, медиана и мода. Среднее арифметическое является точечной оценкой математического ожидания $E(x)$ (среднего значения в генеральной совокуп-

ности), медиана – значение показателя, меньше которого располагаются 50% наблюдений¹, мода – наиболее распространенное значение, способ оценить среднее для категориальных переменных.

Дисперсия $Var(x)$ – мера разброса относительно среднего. Она рассчитывается как усредненная сумма квадратов отклонений от среднего. Квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением и тоже является мерой разброса, но имеет преимущество перед дисперсией поскольку измеряется в тех же самых единицах, что и сам признак, а дисперсия – в единицах в квадрате.

Определение типа шкалы и получение числовых, а также графических характеристик изучаемых признаков составляют подготовительный этап анализа данных. Исходя из полученной информации, требуется определить корректный метод для содержательной задачи, составляющей интерес исследователя: выявления взаимосвязи признаков, установления причинно-следственной связи, прогнозирования, классификации, снижения размерности и пр.

Задачу выявления связи между двумя номинальными признаками решает анализ таблиц сопряженности признаков, являющихся результатом их перекрестной классификации. Самая простая таблица сопряженности – это таблица 2x2, в которой строкам соответствуют два значения признака А, а столбцам – два значения признака В. В каждой ячейке таблицы указывается число объектов, для которого А и В принимают соответствующие строке и столбцу значения. Как правило, количество категорий признаков невелико, поэтому для включения в анализ непрерывного признака необходимо разбить его на категории. Например, можно создать возрастные группы или группы по доходу. Тогда исследователь сталкивается с необходимостью задания пороговых значений, которые зачастую во многом произвольны.

Вывод о наличии или отсутствии связи делается на основании проверки статистической гипотезы о независимости признаков. Самым простым из возможных критериев проверки, пожалуй, является χ^2 («хи-квадрат») К. Пирсона. На основе разницы между ожидаемыми при независимости признаков и наблюдаемыми частотами в каждой ячейке рассчитывается значение статистики хи-квадрат, и на его основе можно сделать вывод о статистической независимости изучаемых признаков или же, наоборот, о наличии статистически значимой связи. Однако существенное ограничение: критерий хи-квадрат Пирсона некорректно использовать, если среди ячеек таблицы сопряженности есть такая, ожидаемое значение в которой меньше пяти. Это ограничение связано с тем, что распределение

¹ К примеру, при изучении душевого дохода адекватнее использовать медиану, потому что большая часть населения получает доходы ниже среднего, однако есть немногочисленные группы населения, получающие очень высокие доходы, что завышает значение среднего арифметического.

хи-квадрат, на основе которого проверяется гипотеза, является непрерывным, в то время как одноименная статистика, высчитываемая на основе выборки, явно принимает конечное число значений. В подобной ситуации рекомендуется использовать точный критерий Фишера (о других критериях см. подробнее [Аптон, 1982, с. 16–40]).

Вообще, диапазон возможных критериев для анализа таблиц сопряженности достаточно широк. Так, V-критерий Крамера также использует статистику хи-квадрат, но является мерой связи между признаками и лежит в границах от 0 до 1. Лямбда-критерии Гудмана и Краскела позволяют ответить на вопрос о силе связи между номинальными признаками, основываясь на предсказании категории одного признака при известной категории другого. Тау-критерии являются вероятностными мерами верной классификации, но избавлены от некоторых недостатков лямбда-критериев. Гамма Гудмана и Краскела отвечает на вопрос о связи порядковых признаков [см. подробнее: Аптон, 1982].

Исследование связи номинальных признаков – типичная социологическая задача. В политологии же чаще наблюдается необходимость в исследовании взаимосвязи признаков, измеренных в непрерывной или порядковой шкале. Для этого обычно применяется корреляционный анализ. Он позволяет установить наличие и силу статистической линейной взаимосвязи двух и более показателей, а также ее направление (положительное или отрицательное). Оценкой истинной степени линейной связи между признаками является коэффициент корреляции, рассчитанный по выборке. Он принимает значения от -1 до 1, и чем больше абсолютное значение коэффициента, тем сильнее взаимосвязь. Значения, близкие к нулю, говорят о наличии слабой связи или ее отсутствии вовсе. Напомним, что коэффициент корреляции не интерпретируется в терминах каузальной связи.

Если анализируемые признаки x и y измерены в количественной шкале, то по выборке рассчитывается коэффициент корреляции r К. Пирсона. К минусам коэффициента Пирсона можно отнести его неустойчивость к нетипичным наблюдениям (статистическим выбросам), а также неспособность выявить нелинейную взаимосвязь. Этот недостаток преодолевают коэффициенты ранговой корреляции: Ч.Э. Спирмена (ρ) и М.Ж. Кендалла (τ). Они улавливают нелинейную монотонную связь, возрастающую или убывающую, и более устойчивы к нетипичным наблюдениям, поскольку «работают» с рангами единиц наблюдения.

Подчеркнем, что коэффициент корреляции является лишь выборочной оценкой теоретической корреляции (корреляции между признаками в генеральной совокупности), поэтому при работе с малыми выборками недостаточно знать значение коэффициента – требуется также проверить на его основе статистическую гипотезу о том, что корреляция генеральной совокупности равна нулю.

Общей проблемой коэффициентов корреляции является возможность выявления так называемой ложной корреляции (*spurious correlation*), кото-

рая обнаруживается, если каждый из них по отдельности связан с третьей, неучтенной в анализе, переменной. Такая корреляция может в большей или меньшей степени поддаваться содержательной интерпретации, но именно влияние третьей переменной на первые две обуславливает установленную связь. Примером такой ситуации может быть отрицательная корреляция между объемами продаж мороженого и степенью твердости асфальтового покрытия. На самом деле, на оба показателя влияет погода, точнее – температура воздуха [Кимбл, 1982, с. 196]. На ложную корреляцию можно смотреть и иначе: это явление возникает тогда, когда анализу подвергаются чрезвычайно разнородные объекты. В таком случае взаимосвязь между какими-то признаками может возникнуть как эффект разнородности.

К сожалению, в социальных науках в большинстве ситуаций нет понимания того, как устроен порождающий данные процесс, какова механика формирования числового значения показателя. Это делает угрозу ложных корреляций чрезвычайно серьезной и обуславливает особое внимание исследователей к другому инструменту изучения связи признаков – регрессии.

Регрессионный анализ позволяет описать направление и вид постулируемой статистической взаимосвязи между объясняемой переменной («отклика») и одной или несколькими объясняющими переменными на достаточно большой выборке. Это может быть как пространственная (кросс-секционная) выборка, так и временной ряд или пространственно-временная выборка. Результатом регрессионного анализа является доля объясненной изменчивости «отклика» (коэффициент детерминации R^2) и оценки степени связи предикторов с «откликом» (регрессионный коэффициент).

Линейная регрессионная модель с одной объясняющей переменной (парная регрессия) может быть записана следующим образом:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

где индексом i обозначается номер объекта, y_i – объясняемая переменная; x_i – первая объясняющая переменная, измеренная на i объекте; ε_i – случайный член (ошибка регрессионной модели, отражающая влияние факторов, неучтенных в рамках имеющейся спецификации, а также ошибки измерения признаков); коэффициент β_0 – константа – среднее значение зависимой переменной в том случае, если предиктор принимает значение ноль (поэтому константа не всегда имеет содержательную интерпретацию). Коэффициент β_1 показывает среднюю разницу между значением «отклика» и средним значением y тех объектов, у которых значение независимой переменной больше среднего на единицу. В тех случаях, когда исследователь готов постулировать причинно-следственную связь, говорят, что β_1 показывает, как в среднем изменится значение «отклика» при росте значения объясняющей переменной x на единицу.

В большинстве случаев в регрессиях, особенно построенных по пространственным выборкам, трудно (если вообще возможно) говорить об отсутствии неучтенных переменных, которые оказывают значимое влияние на зависимую переменную, а также каким-либо образом связаны с другими объясняющими переменными. Возникающее при их наличии смещение приводит к неверной оценке регрессионных коэффициентов, причем направление и размер смещения заранее не известны исследователю. Учесть в анализе такой набор факторов, чтобы объекты анализа (индивиды, фирмы, государства) стали сопоставимыми, а переменные, включенные в регрессионное уравнение, не транслировали влияние третьих факторов, не включенных в спецификацию, призвана множественная регрессия.

Таким образом, множественная регрессия может рассматриваться как удобный метод сравнительных политологических исследований, основанных на идее сравнения сравнимого. Естественно, массив данных в рамках регрессионного анализа также трактуется как выборка, а получаемые регрессионные коэффициенты считаются выборочными оценками, на основе которых необходимо осуществлять статистический вывод.

Однако не всегда интересующая исследователя зависимая переменная является непрерывной. Диапазон возможных значений многих показателей зачастую бывает ограничен. Например, некоторые экономические показатели неотрицательны, а на ряд вопросов в социологических анкетах предусмотрены лишь несколько вариантов ответа: «да» или «нет»; «согласен», «не знаю» или «не согласен».

В таких случаях оценивание классической модели линейной регрессии некорректно и даже ошибочно. Задачу выявления связи между зависимой переменной, которая принимает только два значения (1 – «успех» (в статистическом смысле), 0 – «неуспех»), и рядом предикторов решают модели бинарного выбора. В общем случае, когда есть несколько категорий «отклика», но их количество мало, используются модели множественного упорядоченного и неупорядоченного выбора.

Статистическая связь между предикторами и «откликом» выражается в виде вероятности того, что «отклик» примет некоторое значение при заданных величинах объясняющих переменных. С помощью этого класса моделей можно изучать характеристики, которые обуславливают то, какие покупки совершает индивид, какую учебную программу он выбирает, за кого он голосует, если ходит на выборы. Например, в исследовании Джеффри Мондака (Jeffery J. Mondak) анализировалась связь между политической грамотностью (правильными ответами на вопросы с политической тематикой) и рядом социально-демографических характеристик респондентов [Mondak, 2000]. На данных национальных избирательных опросов в США (National Election Studies) 1992 г. было показано, что при переходе в следующую образовательную категорию (всего их было задано

шесть) вероятность быть политически грамотным растёт при неизменных значениях прочих переменных.

Довольно часто исследователи нацелены на работу с более чем двумя показателями. Иногда, правда, количество показателей столь велико, что непосредственная работа со всем их множеством затруднительна. Возникает задача сжатия информации, снижения количества признаков (иными словами, снижения размерности признакового пространства).

Возможными вариантами решения этой задачи являются экспертное оценивание или конструирование интегральных индексов. Для характеристики той или иной синтетической категории используются зачастую экспертные оценки, способные обобщить существующие в этой связи знания и другие неизмеряемые естественным образом особенности. Вместе с тем существует позиция, что использование экспертных оценок снижает научную ценность и прогностическую силу проводимых исследований. Подобное заключение в некоторой мере оправдано, но в социальных науках практически невозможно обойтись без экспертного мнения, хотя подобные опросы очень сложны в подготовке и проведении, а также являются дорогостоящими [см. например: Ахременко, 2006, с. 206–207].

Столь же неоднозначны мнения по поводу индексов, обобщающих представление о возможных выражениях понятий и их свойств. Во многих случаях исследователи «проявляют определенную смелость, суммируя цифры, которые, как кажется, суммировать не имеет смысла» [Ахременко, 2006, с. 130]. Однако мы нуждаемся в индексах, поскольку зачастую нас интересует множество показателей, моделирующих тот или иной теоретический концепт или процесс.

К методам снижения размерности многомерного признакового пространства относятся компонентный анализ и факторный анализ. Оба подхода позволяют на выходе получить небольшое число обобщенных характеристик, довольно полно описывающих изменчивость одного или нескольких латентных (ненаблюдаемых) признаков, стоящих за исходными частными критериями. Ни метод главных компонент, ни факторный анализ не делят переменные на зависимые и объясняющие.

Метод главных компонент (МГК) был предложен К. Пирсоном в 1901 г. и сейчас активно применяется во множестве естественных и социальных наук. С его помощью можно сжать изображения и видео, отделить значимую информацию от «шума», описать бактериальные геномы, составить индексы состояния окружающей среды, инвестиционной привлекательности регионов или коррупции в странах мира.

В МГК на входе имеется исходный набор признаков $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(p)}$, измеренных в количественной шкале, который содержит в себе информацию, и этой информацией является дисперсия исходных показателей. МГК позволяет значительно уменьшить размерность исходного признакового пространства с минимальными потерями путем избавления от дублирующейся информации, содержащейся в сильно коррелированных признаках.

Результатом является свертка имеющихся переменных в новые, некоррелированные между собой (ортогональные) «компоненты» y_1, y_2, \dots, y_p , первые несколько из которых объясняют большую долю общей дисперсии исходных признаков.

Полученная первая главная компонента y_1 максимально объясняет дисперсию исходных признаков. Вторая главная компонента y_2 объясняет максимально возможную долю оставшейся дисперсии и т.д. Доля дисперсии, которую объясняют последние компоненты, настолько мала, что от этих компонент можно отказаться без существенной потери информации. Количество компонент, которые будут извлечены по результатам МГК, зависит от исследователя и стоящей перед ним задачи. Существуют различные рекомендации относительно того, сколько главных компонент следует извлекать. Например, предлагается руководствоваться соображениями того, что извлеченные главные компоненты должны объяснять не менее 70–80% дисперсии исходных признаков [Analysis of multivariate social science data, 2008, p. 124]. Так или иначе важно, чтобы полученные компоненты могли быть содержательно интерпретированы. Интерпретация j компоненты осуществляется на основании того общего, что есть в частных критериях, объединенных в одну компоненту.

Многие категории политической науки являются сложными, многоаспектными, а возникающие при их формализации признаковые пространства – многомерными. Примерами таких признаков являются политические убеждения, государственная состоятельность [Стукал, Хавенсон, 2012], социально-экономический статус, уровень интеллекта и т.п., работа с ними требует обращения к методам измерения латентных переменных.

Методы измерения латентных переменных состоят в изучении взаимосвязей доступных для наблюдения показателей, отражающих некоторую латентную синтетическую категорию, и последующем моделировании ненаблюдаемых переменных. Допуская, что отдельные показатели могут характеризовать разные стороны ненаблюдаемого признака, мы принимаем тот факт, что их изменчивость во многом обусловлена изменчивостью латентного признака. Такая модель схожа с моделью регрессии и тоже содержит требования относительно распределения ошибок, но «отклик» в ней ненаблюдаем в принципе, поэтому о связи «предикторов» и «отклика» ничего нельзя утверждать однозначно.

Задача моделирования латентных переменных состоит в том, чтобы выяснить, можно ли наблюдаемую связь между несколькими переменными объяснить небольшим числом латентных признаков – факторов.

Самым первым и распространенным методом измерения латентных переменных является факторный анализ. Для его реализации требуется, чтобы и ненаблюдаемый «отклик», и наблюдаемые индикаторы были непрерывными величинами. Основным источником информации при этом является корреляционная матрица наблюдаемых переменных. Свои мето-

ды есть для категориальных признаков, а также для случаев признаков в разных шкалах [Стукал, Хавенсон, 2012, с. 244–246] (см. табл. 1).

Таблица 1

Классификация методов измерения латентных переменных

Шкала измерения латентной переменной	Шкала измерения наблюдаемых переменных	
	Количественная	Категориальная (порядковая / номинальная)
Количественная	Факторный анализ	Анализ латентных черт
Категориальная (порядковая / номинальная)	Латентно-профильный анализ	Латентно-классовый анализ

Источник: [Analysis of multivariate social science data, 2008, p. 177].

В факторном анализе выделяются два типа: разведывательный (*exploratory*) и подтверждающий (*confirmatory*). В первом типе не проводится проверка гипотез, он помогает проанализировать структуру связей в данных и сформулировать гипотезы, во втором типе, наоборот, проводится проверка гипотез о количестве факторов и нагрузках.

Метод главных компонент и факторный анализ часто дают близкие результаты и иногда МГК считают частью факторного анализа. Тем не менее это не так, хотя и появились они в одно время (факторный анализ был предложен Ч.Э. Спирменом в 1904 г. для изучения интеллекта). Во-первых, они различны потому, что метод главных компонент относится к описательным методам математической статистики, а факторный анализ является методом моделирования. Это значит, что для моделей факторного анализа релеванны понятия допущения о характере распределения переменных, оценивания, статистической значимости, качества модели и статистического вывода. Во-вторых, этапы проведения факторного анализа исходно формулируются так, чтобы сначала содержательно определить ненаблюдаемую категорию, интересующую исследователя, и уже потом подбирать измеримые показатели, характеризующие ее, тогда как для МГК набор исходных признаков предполагается заданным (стоит отметить, что на практике оба метода зачастую реализуются с нарушением такой последовательности) [Analysis of multivariate social science data, 2008, p. 177].

В работе 2007 г. Р. Инглхар и К. Велзель предположили, что для установления и развития демократического режима необходим осознанный общественный запрос. Важно, чтобы демократия воспринималась не как инструмент достижения экономического процветания нации, а как способ обеспечения политических прав и свобод от принуждения и дискриминации. По мнению авторов, свобода объединяет такие категории, как «Равенство против патриархального уклада», «Толерантность против подчинения традиционным нормам», «Автономия против авторитета», «Выражение про-

тив спокойствия и обеспеченности». Для конструирования индекса ценности свободы были привлечены 14 переменных из «Всемирного исследования ценностей» в 90 странах. По каждому вопросу были получены доли положительно ответивших от общего числа опрошенных в каждой стране. По каждой из четырех категорий были вычислены средние значения, а итоговое значение индекса ценности свободы было получено из четырех переменных методом факторного анализа [Inglehart, Welzel, 2009].

Другим важным инструментом многомерного статистического анализа является кластерный анализ. Его основное назначение состоит в разбиении множества исследуемых признаков на однородные в определенном смысле группы, когда объекты внутри одного кластера более похожи друг на друга, чем на объекты из других кластеров [Айвазян, Мхитарян, 2001, с. 484].

Методы кластерного анализа актуальны, когда возникает задача классификации в признаковом пространстве большой размерности, что естественно, ведь если признаков, которыми описываются объекты, всего два, то получить группировку можно с помощью визуализации данных на диаграмме рассеяния.

Являясь описательным методом статистики, кластерный анализ позволяет проанализировать внутренние связи между единицами в группах, он может быть особенно полезен при исследовании малоизученных явлений. С его помощью можно описать большой объем информации, выявить сходную динамику или структуру распределения показателей.

Существенным достоинством метода является отсутствие каких-либо допущений о характере распределения данных и априорной информации о числе групп. Все, что необходимо для реализации кластерного анализа – задать меру схожести объектов и правило объединения в кластеры. Несмотря на то, что многие методы кластерного анализа довольно просты, их активное использование стало возможным только с появлением необходимых вычислительных мощностей, потому что эффективное решение задачи поиска кластеров требует большого числа арифметических действий [Айвазян, Мхитарян, 2001, с. 484].

Различаются иерархические и итеративные методы кластеризации. Агломеративные иерархические методы предполагают последовательное объединение объектов в группы и групп между собой до тех пор, пока все объекты не окажутся в одном кластере. Дивизивные, наоборот, построены на последовательном разбиении одного кластера со всеми объектами на более малочисленные группы.

К итеративным методам кластерного анализа относится метод *k*-средних. В отличие от иерархических методов, он требует предварительного определения количества кластеров, которые будут сформированы. Смысл процедуры состоит в итерационном уточнении «центров тяжести» искомых классов и классификации наблюдений в соответствии с расстоя-

нием до ближайшего «эталонного» центра. Но итеративные методы значительно более трудоемки с точки зрения вычислений и менее популярны.

Мерой схожести (однородности) обычно принимается величина, обратная расстоянию между объектами, ведь если объекты в многомерном пространстве находятся рядом, то разумно предположить, что они похожи друг на друга. Возможных мер расстояния между точками (объектами) i и j довольно много, вот только некоторые из них:

1) Евклидово, $d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_{ik} - x_{jk})^2}$,

2) квадрат Евклидова d_{ij}^2 ,

3) расстояние Манхеттен $d_{ij} = \sum_{k=1}^m |x_{ik} - x_{jk}|$,

где $x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \dots, x_i^{(m)}$ – m количественных признаков, которыми описываются объекты.

Если признаки измерены на категориальном уровне, тогда мерами схожести будут такие метрики, которые основаны на совпадении или несовпадении значений по каждому признаку [Ким, Мьюллер, Клекка, 1989, с. 161].

После объединения наиболее близких друг к другу точек в один кластер, в иерархических методах необходимо задать способ агломерации – правило сравнения и объединения единичных точек к кластерам или двух кластеров в один более крупный. Для этого используются метод ближнего соседа, метод дальнего соседа, центроидный метод и метод средней связи. По результатам некоторых исследований, лучшие результаты дают метод Варда и метод средней связи [Gore, 2000, p. 315].

Кластерный анализ позволяет получить относительно объективную классификацию единиц наблюдения, так как является формальным методом, но в зависимости от способа агломерации и смены метрики он может выдавать различные по составу группы при одинаковом числе кластеров. В каждом отдельном случае самым важным остается качество содержательной интерпретации полученных совокупностей объектов, но все-таки некоторые конвенциональные правила комбинации метрик и правил агломерации существуют [Gore, 2000, p. 309–312].

Совокупность описанных методов анализа данных позволяет решать наиболее типичные задачи политического анализа (а возможно, и социальных наук вообще) на основе количественных данных. Тем не менее за рамками нашего обзора остался широкий класс методов, изучение и описание которого требует достаточно свободного владения понятиями теории вероятностей и математической статистики, а также алгебраической геометрии. Речь идет, в первую очередь, о байесовском подходе к анализу данных, непараметрических методах, методах анализа пространственно-временных данных и временных рядов, а также нелинейных вариантах метода главных компонент, основанных на теории нелинейных многообразий.

Все описанные и оставленные без обзора методы прикладной статистики, однако, требуют для успешности использования привлечения способности исследователя интерпретировать как саму изучаемую реальность, так и полученные в ходе математической обработки результаты. Семиотика потенциально способна оказать практикующим исследователям большую помощь в этой области. Надеемся, что продемонстрированная в этом обзоре широта приложений статистики привлечет внимание специалистов по семиотике к прикладной статистике и будет способствовать сближению этих областей знания.

Литература

- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 1022 с.
- Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.
- Антон Г. Анализ таблиц сопряженности / Пер. с англ. и пред. Ю.П. Адлера. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 144 с.
- Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с.
- Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 294 с.
- Стукал Д.К., Хавенсон Т.Е. Моделирование государственной состоятельности постсоциалистических стран // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2012. – Т. 8, № 1. – С. 233–260.
- Analysis of multivariate social science data / D.J. Batholomew, F. Steele, I. Moustaki, J.I. Galbraith (eds.). – Boca Raton; L.; N.Y.: CRC Press, 2008. – xi, 371 p.
- Collier D., Adcock R. Democracy and dichotomies: A pragmatic approach to choices about concepts // Annual review of political science. – Palo Alto, Calif., 1999. – N 2. – P. 537–565.
- Gore P.A., jr. Cluster analysis // Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling. – San Diego: Academic Press, 2000. – P. 297–321.
- Inglehart R.F., Welzel C. Political culture, mass beliefs and value change // Democratization. – N.Y.: Oxford univ. publishers, 2009. – P. 126–144.
- King G., Keohane R.O., Verba S. Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – xi, 245 p.
- Martynenko G. Semiotics of statistics // Journal of quantitative linguistics. – L., 2003. – Vol. 10, N 2. – P. 105–115.
- Mondak J.J. Reconsidering the measurement of political knowledge // Political analysis. – Oxford, 2000. – Vol. 8, N 1. – P. 57–82.

С.Т. Золян

МОДАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА: ОСНОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ

Конец прошлого – начало нынешнего века ознаменовались попыткой тотального пересмотра идей и методов структурализма, в особенности же того, что еще в 60-х годах Ж. Деррида было названо Соссюрианским «логоцентризмом» [Деррида, 2000]. Не претендуя на оценку того, что было создано в результате подобной «деконструкции», заметим, что сегодня в гуманитарных науках вновь утверждается возврат к основам, заложенным в структурной лингвистике и аналитической философии, причем в их первоначальном варианте. Вместе с тем очевидно, что необходимы значительные уточнения. Уместно вспомнить провидческое замечание Ю.М. Лотмана относительно ситуации, сложившейся в конце 70-х: «Обобщение опыта развития принципов семиотической теории за все время, протекшее после того, как исходные предпосылки ее были сформулированы Фердинандом де Соссюром, приводит к парадоксальному выводу: пересмотр основных принципов решительным образом подтверждал их стабильность, в то время как стремление к стабилизации семиотической методологии фатально приводило к пересмотру самых основных принципов» [Лотман, 1978, с. 18].

Как нам представляется, необходимо уточнение, если не пересмотр самой концепции знака и семиотики, поскольку традиционная семиотика сегодня оказалась оторванной от семантики. То, что было достигнуто в лингвистической семантике начиная с 60-х годов, в семиотике оказалось незамеченным – во всяком случае, в том, что касается не дескриптивных и прикладных аспектов, а теоретических основ, затрагивающих само определение знака. С одной стороны, модальная семантика, а с другой – когнитивистика могут во многом дополнить наше понимание семиозиса, в то время как генеративная семантика ставит перед необходимостью коренного уточнения взаимодействия синтактики и семантики и отказа от рас-

смотрения их как автономных сфер (что с 70-х годов уже можно считать укорененным в лингвистике)¹.

В данном случае мы хотим предложить основные принципы такой версии семиотики, которую можно назвать модальной – это семиотика, в эксплицитной форме использующая модальную семантику. Но перед этим необходимо уточнить, а что же есть «основные принципы семиотики», которые и подлежат пересмотру, т.е. рассмотреть сами основы семиотики, в том виде, в котором они намечены ее основателями. Соответственно, наша статья будет состоять из двух частей – сначала мы попытаемся рассмотреть, что лежит в основе «классической» версии семиотики, а затем обратимся к вопросу о том, как это можно дополнить принципами и методами современной семантики, в первую очередь, введя в определение знака его модальное измерение.

1

Безусловно, крайне затруднительно говорить о какой-либо канонической версии семиотики. Это возможно только как результат крайне поверхностного подхода, при котором игнорируется та разнородность и многовекторность развития семиотики, которая изначально была задана Ф. Соссюром, Ч. Пирсом и Г. Фреге. До сих пор неясно, а что есть семиотика? Недостаточность этого определения очевидна – уже в популярном учебнике Чандлера «Семиотика для начинающих» резонно ставится вопрос: если семиотика есть наука о знаках, то что же есть знак?² Ответ, однако, далеко не столь ясен, и не только для начинающих, но и для отцов-основателей семиотики.

Само определение знака вовсе не очевидно: знак определяется посредством семиотической теории, он относится к метаязыку³. Утвержде-

¹ Заметим, что уточнение взаимодействия этих трех аспектов приводит к «стабилизации» исходных принципов: для предложившего данную триаду Чарльза Морриса «автономия» синтактики, семантики и прагматики, в отличие от его последователей, была относительной. Ср.: «Верно, что синтактика и семантика, как в отдельности, так и вместе, характеризуются сравнительно высокой степенью автономности. Однако синтактические и семантические правила – это не что иное, как созданные семиотикой словесные констатации того, каковы особенности употребления знаков реальными пользователями в каждом конкретном случае семиозиса. “Правила употребления знаков”, так же как сам термин “знак”, – это семиотический термин, и его нельзя определить только синтактически или семантически» [Моррис, 1983, с. 62].

² «Semiotics could be anywhere. The shortest definition is that it is the study of signs. But that doesn't leave enquirers much wiser. “What do you mean by a sign?” people usually ask next» [Chandler, б. г.]. Михаил Лотман считает такое определение тавтологией [Lotman, 2003].

³ Знаки, которые используются в семиотических процессах, и знаки как понятие семиотики – это различные объекты. На это указывал еще Ч. Моррис, но он же и указывал, что трудно избежать этого смешения. Ср: «Очень важно видеть различие между отношениями, присущими данному знаку, и знаками, которые мы используем, когда говорим об

ние «Знак есть знак» не является полной тавтологией – казалось бы, слово «знак» употребляется двояко: первое употребление, субъектное, относится к языку-объекту, второе, предикативное, – к метаязыку. Но дело обстоит сложнее: уже первое, субъектное употребление слова «знак» зависит от теории: если есть нечто общее между громом и романом «Война и мир», то это только то, что мы рассматриваем их как знаки, и общность эта может быть установлена только в пределах семиотической теории, описывающей эти сущности как знаки. Нам представляется, что речь должна идти о двух уровнях метаязыкового употребления – уровне наблюдения и оперирования знаками и уровне описания того, чем мы оперируем как знаками. Принципиальная сложность в том, что сами по себе знаки нам не даны – они либо конструируются, либо же употребляются как знаки. Что есть знак – это одновременно и вопрос практического использования чего-либо в качестве знака, и вопрос семиотической теории, описывающей это нечто как знак. Разумеется, исторически знаки предшествуют семиотике, логически – они порождаются соответствующей теорией¹. И неслучайно, что с самого возникновения семиотики намечаются две различные ее версии – Ф. Соссюра и Ч. Пирса. Их обычно рассматривают как двух разделенных океаном единомышленников, различия между которыми лишь в том, что один назвал новую науку «семиологией», а другой предпочел

этих отношениях, – полное осознание этого является, быть может, самым важным общим практическим приложением семиотики. Функционирование знаков – это, в общем, способ, при котором одни явления учитывают другие явления с помощью третьего, опосредующего класса явлений. Но если мы хотим избежать величайшей путаницы, нам следует тщательно разграничить уровни этого процесса. Семиотика как наука о семиозисе столь же отлична от семиозиса, как любая наука от своего объекта... Для констатации фактов о знаках семиотика как наука пользуется особыми знаками, это некий язык, на котором можно говорить о знаках... Термин «знак» – это термин семиотики в целом; его невозможно определить в пределах одной лишь синтактики, семантики или прагматики; лишь при очень широком использовании термина «семиотический» можно сказать, что все термины этих дисциплин являются семиотическими терминами» [Моррис, 1983, с. 43–44].

¹ Так, долгое время в советской семиотике наиболее популярным было определение И.И. Ревзина: семиотика есть перенесение методов лингвистического анализа на лингвистические объекты [Ревзин, 1971]. Четко прослеживается следующая логика – если нечто, не являющееся знаком, (нелингвистический объект) описывается как знак (лингвистический объект), ибо он может рассматриваться именно как знак. В дальнейшем Евгений Горный продолжил эту логику: «Семиотика – это то, что люди, называющие себя семиотиками, называют семиотикой» [Горный, 1996, с. 170]. Примечательно, что в таком определении изначальная тавтологичность определения знака сохраняется, но с семиотики она переходит на семиотиков. Таким образом, все три определения семиотики тавтологичны: в традиционном определении тавтологичен объект (знак), в определении И. Ревзина – метод, И. Горного – субъект. Объединение этих трех определений приводит к своеобразному *regretum mobile* – семиотики создают метод, метод – объект, объект – людей, которые его изучают, семиотиков, и так на каждом витке будут порождаться соответствующие теории и методы.

переосмыслить более традиционный термин «семиотика»¹. Между тем теоретические различия между Пирсом и Соссюром куда значительнее, чем различие в терминах². Сегодняшняя разногласия в понимании самих основ семиотики – отголосок изначально различных подходов к ее главному герою – знаку.

По Соссюру, знак и язык – это социальное явление. «Следовательно, можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее семиологией (от греч. *semeion* “знак”») [Соссюр, 1977, с. 54]. Между тем язык – это абстрактная система знаков и, соответственно, знак есть абстрактная сущность³. И, строго говоря, в социальной жизни функционирует не язык, а речь.

Для Пирса, напротив, семиотика есть формальная система, но знак не предполагает какой-либо системы, он конкретен и тем самым неотделим от каких-либо форм социального поведения. Для Пирса семиотика – это формальное учение о знаках (философская логика), которое представляет собой «абстракцию от всех типов знаков, используемых интеллектом, способным учиться на основании опыта»⁴. Но вместе с тем определение знака конкретно (и даже – наглядно) и зависит от ситуации, а не от системы: «Для Пирса знак есть конкретный объект, субститут, который замещает другой конкретный объект» [Lotman, 2003, с. 80]. Соответственно, семантика, т.е. отношение между знаком и замещаемым объектом (по Пирсу) или между означаемым и означающим (по Соссюру) получают различную интерпретацию: для Пирса это отношение между объектами, не имеющее никакого касательства к мышлению⁵, для Соссюра – это

¹ Приведем расхожее определение из Encyclopedia Britannica: «semiotics, also called Semiology, the study of signs and sign-using behaviour. It was defined by one of its founders, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, as the study of “the life of signs within society.” Although the word was used in this sense in the 17-th century by the English philosopher John Locke, the idea of semiotics as an interdisciplinary mode for examining phenomena in different fields emerged only in the late 19 th and early 20 th centuries with the independent work of Saussure and of the American philosopher Charles Sanders Peirce» [Semiotics... б. г.].

² Ряд принципиальных отличий отмечен в: [Бенвенист, 1974; Lotman, 2003].

³ Но при этом «точно определить место семиологии – задача психолога» [Соссюр, 1977, с. 54].

⁴ Ср.: «Думается, я уже имел случай показать, что логика, в своем наиболее общем смысле, есть всего лишь иное название семиотики, квази-необходимого или формального учения о знаках. Говоря, что это учение “квази-необходимо” или формально, я имею в виду, что мы наблюдаем свойства известных нам знаков, и от этого наблюдения, путем процесса, который можно называть Абстрагированием, переходим к утверждениям, в высшей степени ненадежным (и в этом смысле совершенно не необходимым) о том, какими должны быть свойства всех знаков, используемых “научным” разумом, т.е. разумом, способным учиться на опыте» [Пирс, 2000, с. 176, § 227].

⁵ «Logic is formal semiotic. A sign is something, A, which brings something, B, its interpretant sign, determined or created by it, into the same sort of correspondence (or a lower implied sort) with something, C, its object, as that in which itself stands to C. This definition no more

исключительно ментальная сущность¹, отношение между означаемым и означающим; и то, и другое являются мысленными образами.

Но в таком случае знак определяется вне рамок собственно знаковых процессов. Семантика перестает быть лингвистической или семиотической дисциплиной и рассматривается либо как ветвь (социальной) психологии, либо как часть математики (логики). Соответственно, можно будет говорить о двух не связанных между собой семантиках – математической и психологической². Такой подход оборачивается потерей как лингвистического, так и семиотического базиса. Так, Э. Бенвенист указывает на следующее глубинное противоречие, к которому приводит последовательное развитие идей Ч. Пирса: «Человек в целом есть знак, его мысль – знак, его эмоция – знак. Но если все эти знаки выступают как знаки друг друга, то могут ли они в конечном счете быть знаками чего-то, что само *не было бы* знаком? Найдем ли мы такую точку опоры, где устанавливалось бы *первичное* знаковое отношение? Построенное Пирсом семиотическое здание не может включать само себя в свое определение. Чтобы в этом умножении знаков до бесконечности не растворилось само понятие знака, нужно, чтобы где-то в мире существовало *различие* между знаком и означаемым» [Бенвенист, 1974, с. 70–71]. Выход Э. Бенвенист видел в сосюрговской концепции, определяющей знак внутри некоторой системы (структуры). Но в таком случае, как заметил Умберто Эко, происходит следующее: «Благодаря коду определенное означающее начинает соотноситься с определенным означаемым. И если потом это означаемое принимает в голове у говорящего форму понятия или же воплощается в определенных навыках говорения, то это касается таких дисциплин, как психология и статистика. Парадоксальным образом, когда семиология, кажется, вот-вот определит означаемое, в тот самый миг она рискует изменить самой себе, превратившись в логику, философию или метафизику». Далее, однако, У. Эко предлагает в качестве противовеса теорию... Пирса: «Один из основателей науки о знаках Чарльз Сандерс Пирс пытался уйти от этой опасности, введя понятие “интерпретанты”, на котором следует остановиться» [Эко, 1998, с. 52]. Подобное хождение по кругу вслед за У. Эко можно было бы продолжить и в другом направле-

involves any reference to human thought than does the definition of a line as the place within which a particle lies during a lapse of time» [Peirce, 1976, p. 54].

¹ «Мы можем изобразить язык в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий, так и в столь же неопределенном плане звучаний... Языковой знак есть двусторонняя психическая сущность...» [Соссюр, 1977, с. 114, 99].

² Ср.: «Я различаю два объекта рассмотрения: во-первых, описание возможных языков или грамматик как абстрактных семантических систем, посредством которых символы связываются с аспектами реальности; во-вторых, описание психологических и социологических факторов, обуславливающих то, что некоторое лицо или группа лиц использует именно данную семиотическую систему. Смешение этих двух объектов может привести только к путанице» [Льюиз, 1983, с. 254].

нии, используя понятие отсутствующей структуры: акцентируя необходимость знака быть включенным в какой-либо код, мы, по логике У. Эко, приходим к таким нежизнеспособным абстракциям, как «код кодов» и т.п.

Как видим, постоянно возникают ситуации либо тавтологических кругов, либо же «ухода» в иные дисциплины, что предполагает использование уже иных методов, отличные от семиотических. Такая ситуация складывается, на наш взгляд, вследствие того, что абсолютизируется один из аспектов знака, и тогда возникают или тавтологические круги, или не имеющий предела самодостаточный семиозис¹. А при разъединении этих аспектов знак теряет свои особенности, и, соответственно, семантика и семиотика теряют свой объект, сливаясь либо с психологией, либо с математикой.

Между тем здесь не требуется изобретать что-либо принципиально новое. На наш взгляд, баланс между различными аспектами семантики знака, между субъективным и объективным, лингвистическим и экстралингвистическим, был найден еще Готлобом Фреге. Его теорию знака надо освободить от последовавших популяризаторских толкований в духе Огдена – Ричардса («треугольника Фреге») и вспомнить о той основной проблеме, которую поставил Г. Фреге – выражают ли утверждения тождества отношения между объектами или же между именами или знаками объектов, понимая под объектами как физические или же абстрактные объекты так и мысленные представления о них? [Фреге, 1977, с. 181]. Фреге уходит от якобы очевидного «объективистского» решения: отношения идентичности устанавливаются не между объектами, а между именами объектов, т.е. это семиотическое отношение. Отсюда и будут следовать ответы на вытекающий вопрос: а что есть семиотическое отношение? Есть ли это отношение между знаками (Соссюр) или же отношение между знаками и объектами (Пирс)?

Решение Фреге известно – это различные знаковые отношения, которые следует разграничить: одно есть смысл знака, другое – его значение, или денотат². Но, разграничивая эти отношения, Г. Фреге указывает и на соотношенность между ними: отношение между знаком и объектом детерминировано отношением между смыслом и знаком. Тем самым эти два аспекта выступают не как независимые друг от друга семантические аспекты (как в пресловутом треугольнике), а как смысловые уровни. Внут-

¹ Ср. определение знака у Пирса – «Нечто, что определяет что-то другое (свою интерпретанту) к тому, чтобы это что-то тем же самым образом, что и оно само, относилось к некоторому объекту, к которому оно само относится (к своему объекту), причем интерпретанта, в свою очередь, становится знаком, и т.д. *ad infinitum*» [Пирс, 2000, с. 216, § 303]. В оригинале яснее: «The interpretant of a sign becomes in turn a sign, and so on *ad infinitum*».

² Фреге противопоставляет *Sinn* и *Bedeutung*; первый член не представляет трудности для перевода – это смысл (*Sense / Significance*). Однако второй до сих пор не имеет общепринятого перевода. На русский язык его переводят то как денотат, то как значение. Еще больше вариантов дают английские переводы: *reference / meaning / denotation / nominatum*.

рисистемное отношение, смысл (как у Соссюра)¹, в свою очередь, определяет отношение между знаком и объектом (как у Пирса)². При этом Г. Фреге четко отграничивает смысл как внутрисистемное явление, поскольку «смысл можно рассматривать сам по себе, т.е. можно говорить о смысле как таковом» [Фреге, 1977, с. 356], от индивидуальных представлений, проводя «важное для нас различие между представлением, которое вызывается словом у слушающего, с одной стороны, и смыслом и денотатом слова – с другой»³.

2

Концепция Г. Фреге в определенной степени синтезирует подход и Соссюра, и Пирса, но добавляет весьма существенный аспект: как сам знак, так и его денотат определяются через смысл. Смысл понимается как явление внутриязыковое, но не замыкающееся языком: посредством смысла осуществляется соотнесение знака с *именно его* денотатом: денотат здесь не какой-либо объект, отличный от знака (как у Пирса), а де-

¹ Ср.: «Чтобы понимать смысл имен собственных, требуется лишь в достаточной степени владеть соответствующим языком или знать совокупность обозначений, к которой принадлежит данное имя» [Фреге, 1977, с. 183].

² «В идеале соответствие между знаками, смыслами и денотатами должно быть устроено таким образом, чтобы всякому знаку всегда соответствовал один определенный смысл, ...всякому знаку всегда соответствовал один определенный смысл, а всякому смыслу в свою очередь всегда соответствовал один определенный денотат; в то же время денотату (вещи) может соответствовать не один смысл, а несколько, и один и тот же смысл может выражаться разными знаками не только в разных языках, но и в пределах одного и того же языка ... Знак как таковой (будь то слово, словосочетание или графический символ) может мыслиться не только в связи с обозначаемым, т.е. с тем, что можно было бы назвать *денотатом* знака [Bedeutung], но и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать *смыслом* знака [Sinn]; смысл знака – это то, что отражает способ представления обозначаемого данным знаком» [Фреге, 1977, с. 183, 182].

«Условимся говорить, что собственное имя (слово, знак, сочетание знаков, выражение) выражает свой смысл и обозначает, или называет, свой денотат» [Фреге, 1977, с. 188].

³ Приведем пример, наглядно поясняющий, как Фреге понимает и это различие, и «объективность» смысла: «Между денотатом и представлением располагается смысл – не столь субъективный, как представление, но и не совпадающий с самой вещью, т.е. с денотатом. Поясним это соотношением следующим примером. Допустим, что некто смотрит на Луну в телескоп. При этом имеют место два реальных изображения Луны: первое образуется на линзах внутри телескопа, а второе – на сетчатке глаза наблюдателя. Тогда саму Луну можно сопоставить с денотатом, первое изображение Луны – со смыслом, а второе – с представлением (или восприятием). Верно, что изображение в телескопе является односторонним и зависит от расположения телескопа, тем не менее оно вполне объективно, поскольку его могут одновременно воспринимать несколько наблюдателей. Однако изображение Луны на сетчатке глаза у каждого будет свое. В силу разного строения глаз, вряд ли можно ожидать даже геометрического подобия изображений на двух разных сетчатках, а их полное совпадение совсем исключено» [Фреге, 1977, с. 186–187].

терминированный данным смыслом. Вместе с тем смысл знака вовсе не ограничивается отношением данного знака к другим знакам внутри данной системы (как у Соссюра) – он предполагает в качестве функции знака (функции во всех смыслах этого слова) его соотнесенность с денотатом, т.е. объектом, лежащим вне знаковой системы.

Как видим, для наличия смыслов совсем необязательно наличие объектов или же психологических или мысленных представлений о них. Более того – не может быть денотатов, если нет обозначающих его знаков – могут быть объекты, которые станут денотатами только после того, как будут обозначены некоторым знаком¹. Тем самым Фреге создает основу для собственно семиотического и семантического подходов, не предполагающих их растворения в психологии или логике. Но тут возникает ряд вопросов, которые отчасти были намечены и самим Фреге, который уделит им значительное место в своей работе.

В центре теории Фреге оказывается смысл, на основе которого возможно определение других семиотических явлений. Однако сам по себе смысл не играет самостоятельной роли – он есть *способ*, или *правила соотнесения* знака с его денотатом. Может ли знак не иметь смысла – такой вопрос для Фреге *бессмысленен*, если нечто не имеет смысла, то невозможно соотнести его с некоторым объектом. Соответственно, не может быть смысла, который оказался бы не выраженным в знаках и характеризовал бы сам объект (очевидно, что когда мы говорим о смысле дерева или же о смысле истории, то используем слово *смысл* в ином контексте). В то же время, по Фреге, смыслы «могут быть рассмотрены сами по себе» [Фреге, 1977, с. 186]². Но если смысл есть «способ соотнесения», или отношение, то как возможны ситуации, когда отсутствует второй член отношения – денотат? В таком случае смысл оказывается явлением исключительно внутрисистемным, что не согласуется с общим подходом Фреге. Даже ограничивая себя рассмотрением в качестве знаков исключительно собст-

¹ Видимо, так надо понимать Л. Витгенштейна: «...слово “значение” употребляется в противоречии с нормами языка, если им обозначают вещь, “соответствующую” данному слову. То есть значение имени смешивают с носителем имени. Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утратив имя свое значение, не имело бы смысла говорить “господин N умер”» [Витгенштейн, 1985, п. 40].

² Заметим, впрочем, что далеко не ясно, как в рамках теории Фреге можно рассматривать смысл «сам по себе», не релятивизируя его к знакам и денотатам. По Фреге, «косвенный денотат слова совпадает с его обычным смыслом», где под косвенным денотатом понимается денотат слов, используемых в косвенном употреблении, напр. при цитации. Однако это далеко не так: например, в предложении «Говорят, что Петя любит Аню» денотатами этих имен будут Аня и Петя, а не смысл этих слов. Если же считать, что Фреге имеет в виду самое узкое понимание цитации, исключительно как воспроизведение слов «Аня» и «Петя», а не сказанного о них, то тогда пропадает само понятие смысла. О не-фрегевском подходе к цитации и косвенным смыслам см.: [Davidson, 1967; Barwise, Perry, 1981; Cresswell, 1980; Золян, 1989].

венных имен, Фреге сознает, что язык устроен иначе, чем то предписывает его семантическая теория. Он же сам и описывает эти «отклонения» от постулируемого им «идеального» языка. Это: 1) зависимость смысла языковых выражений от контекста¹; 2) наличие у имени различных смыслов², и, что наиболее существенно, это 3) то, что имена и предложения могут иметь смысл, но не иметь денотата³. Все это в разной степени и по-разному, но довольно существенно колеблют сами основы теории Фреге. И если первые два еще могут быть объяснены «несовершенством» естественного языка и быть элиминированы в языке идеальном, то третье препятствие неустранимо и в идеальном языке. Видимо, поэтому ему и уделено особое внимание:

«Дело здесь в несовершенстве языка, от которого, впрочем, не вполне свободна и знаковая система математического анализа; здесь мы также встречаем выражения, которые внешне выглядят так, как будто они что-то обозначают, однако в действительности, по крайней мере до сих пор, денотат их неизвестен, например: *сумма бесконечного расходящегося ряда*. Этого можно избежать, если особым соглашением приписать данному выражению денотат “0”. От логически совершенного языка <...> нужно требовать, чтобы любое выражение, образуемое как собственное имя грамматически правильным образом из уже ранее введенных знаков, действительно обозначало некоторый предмет и чтобы в качестве собственного имени не вводилось ни одного знака, не обеспеченного некото-

¹ Ср.: «Разумеется, в действительности указанное соответствие часто нарушается. Как было только что сказано, в идеальной знаковой системе всякому выражению должен соответствовать только один определенный смысл; однако естественные языки далеко не всегда удовлетворяют этому требованию: редко бывает так, чтобы слово всегда имело один и тот же смысл в разных контекстах» [Фреге, 1977, с. 183–184]. Заметим, что, на наш взгляд, адекватнее исходить из того, что контекстная зависимость семантики языковых выражений – это не исключение, а, напротив, общее правило, что, кстати, в весьма категорической форме утверждает и сам Фреге при рассмотрении понятия ...числа: «Необходимо всегда учитывать полное предложение. Только в нем слово обладает подлинным значением ...Слова обозначают нечто только в контексте предложения» [Фреге 2008, с. 196; 198].

² «По поводу того, что следует считать смыслом настоящих имен собственных, таких как, например, Аристотель, могут быть разные мнения. Можно, в частности, считать, что слово Аристотель имеет смысл “ученик Платона и учитель Александра Великого”. Тот, кто придерживается такого мнения, извлечет из предложения (2) Аристотель родился в Стагире не тот же самый смысл, который извлечет из него человек, считающий, что слово Аристотель имеет смысл “учитель Александра Великого, родившийся в Стагире”. Но до тех пор, пока значение имени остается одним и тем же, подобные колебания смысла допустимы, хотя в языках точных наук их следует избегать. В идеальном языке неопределенность смыслов нежелательна» [Фреге 1977, 183].

³ «Далее, хотя можно предполагать, что любому грамматически правильному выражению, выступающему в роли имени собственного, всегда соответствует некоторый смысл, вовсе не всякому смыслу соответствует некоторый денотат. Например, выражение “наиболее удаленное от Земли небесное тело” имеет вполне определенный смысл, но вряд ли у него есть денотат» [Фреге 1977, с. 184].

рым денотатом. Известно, что в логике недопустима неоднозначность выражений, ибо она является источником логических ошибок. Я полагаю, что не менее опасны псевдоимена, которые лишены денотата. История математики знает много заблуждений, которые возникли по этой причине. Псевдоимена, по-видимому, даже в большей степени, чем неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупотреблению языком. “*Воля народа*” может служить этому хорошим примером: легко можно установить, что у этого выражения нет никакого, по крайней мере общепринятого, денотата. Поэтому мне представляется исключительно важным закрыть этот источник заблуждений – по крайней мере в науке – раз и навсегда. Тогда те недоразумения, которые мы только что рассматривали, станут невозможны, так как в таком случае наличие или отсутствие денотата у собственного имени не будет зависеть от истинности мысли» [Фреге, 1977, с. 199–200].

Как видим, ситуация, когда смыслу знака не соответствует какой-либо денотат, объясняется Фреге «несовершенством языка» и не приводит его к мысли о необходимости усовершенствования не языка, а собственной теории. Но вместе с тем Фреге допускает такое употребление языка, при котором оказывается естественной ситуация, что предложение имеет смысл, но не имеет денотата – это поэтический язык. Так, рассматривая предложение «*Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна*», Фреге замечает: «Например, при чтении эпоса нас волнуют, наряду с красотой языка, только смысл предложений и вызываемые ими представления (образы) и чувства. Вопрос об истинности этих предложений увел бы нас из сферы художественного восприятия в сферу научных изысканий. Вот почему, коль скоро мы воспринимаем поэму Гомера только как художественное произведение, нам безразлично, в частности, имеет имя Одиссей денотат или нет» [Фреге, 1977, с. 190]. Однако и в этом случае речь, по Фреге, идет о некоторой частной форме языковой деятельности, а для имен, подобных имени «Одиссей», желательно даже иметь особый термин: «изображения» [Bilder]¹ – чтобы отличать их и от «псевдоимен» и от «настоящих» знаков.

3

Как мы попытались показать, основной проблемой, которая не получает удовлетворительного решения в рамках теории Фреге – это то, что у знака (имени или предложения) при наличии смысла может и не быть денотата. Необъясненной остается и возможность наличия у имени собственного нескольких смыслов. Между тем все эти проблемы получают ре-

¹ «Желательно иметь для знаков, которые должны быть наделены только смыслом, особое название, например, “изображения” [Bilder]; тогда слова, произносимые актером на сцене, будут изображениями; более того, и сам актер будет изображением» [Фреге, 1977, с. 190].

шение, если дополнить концепцию Готлоба Фреге модальным компонентом – ввести в качестве области интерпретации (денотации) не только актуальный мир, но и возможные и невозможные миры. В принципе это уже сделано в модальной семантике (семантике возможных миров), особенно в той ее версии, которая непосредственно ориентирована на описание естественных языков (Д. Льюиз, М. Крессвелл). Требуется лишь перенести выработанные подходы в семиотику, уточнив понятие знака. Поэтому, не вдаваясь в детальное обсуждение известного, продемонстрируем то, что при внесении модального компонента и множества возможных миров как области интерпретации языковых выражений ситуация меняется: при наличии смысла знак будет иметь также и денотат. Другое дело, что денотаты этих выражений могут быть локализованными в возможных или невозможных мирах и не иметь денотата в мире, принимаемом за актуальный. Так, все приводимые Г. Фреге выражения можно разбить на три группы:

а. *Денотат имени не существует в актуальном физическом мире, но мог бы существовать.* Возможность существования принято определять как существование в некоторых возможных мирах. Так, Одиссея не существует в мирах истории Греции, но он существует в мирах греческого эпоса. Единорогов не существует в зоологии, но они существуют в мифологии. Они могли бы существовать при ином течении событий.

б. *Денотат выражения не существует в актуальном мире и не может существовать ни в одном из возможных миров.* Например: «наибольшее натуральное число», «круглый квадрат». Это те случаи, когда правила сочетания смыслов приводят к ситуации, когда компоненты выражения могут иметь и смысл, и денотат, но их композиция характеризуется только смыслом. Так язык создает «псевдоимена», и их денотатом оказывается пустое множество (ноль). В таком случае все «псевдоимена», отличаясь по смыслу, будут иметь один и тот же денотат. Но это решение, которое содержится у Фреге, может быть дополнено – если в качестве области интерпретации рассматривать и невозможные миры. В таком случае денотаты этих выражений будут локализованы в различных невозможных мирах, и возможна ситуация, когда в одном из таких миров существуют круглые квадраты, но не существует наибольшего натурального числа [см.: Хинтиikka, 1980; Vendler, 1975; Creswell, 1983 и др.]. Такой подход выявляет зависимость понятия возможных миров от используемых для их конструирования языковых средств.

г. Пусть не покажется странным, но с этой точки зрения наименее ясным оказывается то, как рассматривать такое, по Фреге, «псевдоимя», как обиходное выражение «*воля народа*». Мы считаем, что подобные случаи, как и в случае художественного знака, должны быть рассмотрены как не прямое употребление знака. В данном случае необходимо специальное рассмотрение характера референции имен в политическом дискурсе, напоминающее Оруэлловское двоемыслие: одновременная референция к

мирам, в некоторых из которых данный референт существует, и к мирам, в которых он не существует [Золян, 2010].

δ. Оказываются преодоленными колебания Г. Фреге относительно того, признавать ли за предложением «*Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна*» наличие истинностного значения или нет. Ведь очевидно, что если отрицать за этим предложением истинностное значение, то его оценка будет такой же, как и его отрицание: «*Неверно, что Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна*». Между тем первое предложение следует признать истинным применительно к области его референции (Гомеровскому эпосу) и языковому универсуму, включающему имя *Одиссей* как каузальную историю его различных употреблений [ср.: Donnelan, 1972]. Кроме того, если признать у имени *Одиссей* наличие денотата (см. выше), то тем самым мы признаем наличие денотата и у включающего его предложения (именно отсутствие денотата у имени *Одиссей* служило для Фреге основой для отрицания у этого предложения истинностного значения).

ε. Наконец, относящаяся уже к другому аспекту смысла – это смущавшая Фреге возможность наличия у имени собственного двух смыслов¹. Не вдаваясь в описание хорошо известных различий между именем и определенной дескрипцией (Б. Расселл) и жесткими и нежесткими десигнаторами (С. Крипке) укажем следующее: в данном случае очевидно, что, хотя у выражений «Аристотель», «ученик Платона» и «учитель Александра Великого» один и тот же денотат в актуальном мире, но они не равноэкстенциональны: в различных возможных мирах это могут быть различные индивиды. Так, при ином течении событий Аристотель мог и не быть учеником Платона, а у Александра мог быть и другой учитель. Еще более сложную – модально-темпоральную структуру – имеет выражение «учитель Александра Великого, родившийся в Стагире» – в отличие от выражения «Аристотель родился в Стагире» – в тот момент, когда родился Аристотель, он еще не был учителем Александра Великого. Первое выражение предполагает описание из мира, будущего по отношению к миру, в котором родился Аристотель, и соответственно, одновременную денотацию имени *Аристотель* к этим двум мирам [ср.: Данто, 2002]. И если предложение «Аристотель родился в Стагире» истинно начиная с момента рождения Аристотеля, то в тот момент в актуальном мире имя «учитель Александра Великого» еще не имело денотата, а предложение «учитель Александра Великого родился в Стагире» стало истинным спустя десяти-

¹ «Можно, в частности, считать, что слово Аристотель имеет смысл “ученик Платона и учитель Александра Великого”. Тот, кто придерживается такого мнения, извлечет из предложения “Аристотель родился в Стагире” не тот же самый смысл, который извлечет из него человек, считающий, что слово Аристотель имеет смысл “учитель Александра Великого, родившийся в Стагире”. Но до тех пор, пока значение имени остается одним и тем же, подобные колебания смысла допустимы, хотя в языках точных наук их следует избегать. В идеальном языке неопределенность также нежелательна» [Фреге, 1977, с. 183].

летия. Так что и с этой точки зрения не во все моменты времени и не во всех мирах у выражений «Аристотель» и «родившийся в Стагире учитель Александра Великого» один и тот же денотат.

Как видим, все те случаи, которые Фреге склонен был объяснять «несовершенством языка», из-за чего нарушалась соотнесенность между смыслом и денотатом, получают свое решение, если предположить, что денотация знака осуществляется не только в актуальном, но и в возможных и невозможных мирах. Но такое расширение требуется не для того, чтобы получили объяснения случаи, которые вызвали трудности или же рассматривались как исключения. На наш взгляд, напротив, как раз они, выявляя то, что не столь очевидно в случае «обычных» знаков, подсказывают, что в определении знака необходимо включить и модально-темпоральное измерение.

Рассмотрим такой знак, как архитектурный чертеж здания. Безусловно, это знак, выступающий как имя собственное в полном соответствии со всеми мыслимыми подходами к имени собственному. Что может являться его денотатом? Ответ будет зависеть от той области интерпретации, в которой мы будем искать этот денотат. Так, на стадии проектирования это будет дом-в-будущем – денотат еще физически не существует в момент проектирования, но он существует в достижимом из актуального мира возможном мире, который станет актуальным через некоторый момент времени. После постройки дома этот чертеж станет субститутом дома, например при оформлении собственности. Если этот дом будет разрушен, этот же чертеж станет историческим фактом – домом-в-прошлом, его денотатом будет дом, который существует в том возможном мире, который достижим из актуального мира, поскольку был актуальным некоторое время назад [ср.: Прайор, 1981]. Это временное отношение может быть осложнено модальным – например, если данный чертеж представлен на конкурсе – то денотатом станет дом, который *может стать домом в будущем*. Если же на конкурсе этот проект не станет победителем, то денотатом чертежа станет дом, который *мог бы*, но никогда не станет домом, т.е. этому дому суждено будет существовать исключительно в возможных мирах. Можно представить и ситуацию, когда дом разрушен, но архитектор-археолог реконструирует его по сохранившимся деталям. О подобной реконструкции никогда нельзя будет утверждать, что она есть точное соответствие, поэтому денотат данного чертежа будет существовать в возможных мирах прошлого, – возможно, но не обязательно, что один из этих миров был некогда и актуальным миром. Наконец, можно представить (как на гравюрах Эшера), что дом спроектирован неправильно и построенный по этому чертежу дом рухнет или же просто не может быть построен. Тогда денотатом знака станет дом, который не существует ни в одном из возможных миров, но существует в некоторых из невозможных.

Ситуация станет еще интереснее, если вспомним, что чертеж – это знак-икона, т.е. должно быть определенное соответствие между означаемым

и означающим. В данном случае это соответствие носит взаимоднозначный характер. Стало быть, будут ситуации, когда знак будет подобием того, что не только не существует, но и не может существовать. Как видим, в отличие от общепринятой точки зрения, возможны ситуации, когда не означающее должно походить на означаемое, а как раз наоборот – означающее задает то, каким должно быть означаемое, чтобы соответствовать означающему. Далеко не всегда верно то, что знаки-иконы обращены к прошлому опыту¹.

Что же в таком случае является смыслом знака – чертежа дома? Изменяется ли смысл во всех этих случаях, как то предполагал Фреге применительно к имени «Аристотель», или же остается одним и тем же? Наконец, что считать денотатом данного знака – один и тот же дом, локализованный в разных мирах, или же множество различных несводимых друг к другу домов. Мы считаем, что смысл данного знака-чертежа есть функция, которая соотносит данный знак с соответствующим ему денотатом в том или ином мире. Денотатом этого знака будут возможные значения функции²: чертеж однозначно задает параметры здания. Разумеется, все соответствующие этому чертежу дома будут, хотя и локализованными в разных мирах, но одним и те же домом. Мыслимые или реальные отличия между этими локализациями уже не будут касаться семантики данного знака (например, в разные моменты времени один и тот же дом может быть окрашенным в разные цвета, быть новым или покосившимся от старости, на фоне разного ландшафта и т.п.). Разумеется, в данном случае имеется ввиду денотат чертежа, а не реальный дом – в физическом отношении непостроенный или разрушенный дом отличаются от реальных домов, но рассматриваемые как денотаты чертежа они неотличимы друг от друга. (Вспомним Витгенштейна – денотат имени «Иван Иванович» остается тем же, даже если Иван Иванович болеет или даже, не дай Бог, умер.)

Это решение основано на расширении на все знаки того подхода, который принят при описании дейктических единиц: смысл дейктического выражения понимается как функция, которая применительно к любому контексту однозначно определит денотат данного выражения применительно к данному контексту³. Например, местоимение «я» может указывать на различных индивидов, но его смысл при этом остается тем же – указание на того, кто применительно к данному контексту является говорящим.

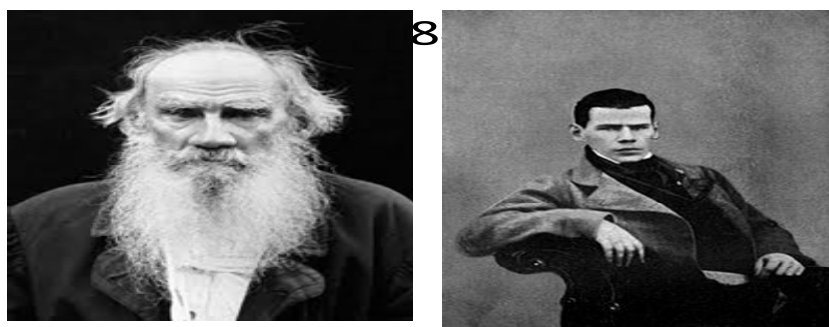
¹ «Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти» – эту мысль Ч. Пирса из его книги «Экзистенциальные графы» воспроизводит Роман Якобсон, обобщая свою знаменитую статью «В поисках сущности языка» [Якобсон, 1983, с. 116].

² В данной статье мы специально использовали термин денотат, а не значение, чтобы не было смешения значения-meaning – и значения-value.

³ Насколько можно судить по отдельным разрозненным замечаниям, сам Фреге, вероятнее всего, возражал бы против подобного подхода [Petty, 1997]: семантика дейктических единиц (например, «я») была для него скорее связана с субъективными и даже невыразимыми мысленными представлениями [Фреге, 2008, с. 36–39].

Мы предлагаем перенести этот подход и на все остальные знаки – рассматривать смысл как функцию, которая соотносит знак с его денотатами во всех возможных мирах, причем денотация к актуальному миру – это лишь один из возможных случаев. Это решение может иметь две версии. Для имени собственного это будет один и тот же индивид, как в рассмотренном случае с чертежом. В случае имени нарицательного (общего имени), как и в случае семантики «я», это могут быть и различные индивиды. Так, например, денотатом слова «стол» могут быть не только реально существующие столы, но и те, которые сгорели при пожаре, нарисованы на картине, были увидены мной во сне, столы, которые я собираюсь купить на будущий год или те, которые мне нравятся или не нравятся, – хотя все эти объекты обозначаются словом «стол», но вовсе необязательно, что они являются одним и тем же денотатом.

Аналогично мы будем рассматривать и имена собственные. В естественном языке, в отличие от знаков, подобных чертежу, денотаты могут изменяться физически. Например Лев Толстой в 1848 г. и Лев Толстой в 1908 г. – если судить по фотопортретам (см. ниже) – это совершенно разные люди. Если в качестве знака рассматривать фотографии, то денотатом одной фотографии будет Лев Толстой в 1848 г., а другой – Лев Толстой в 1908 г.¹



¹ Вероятно, так яснее становится идея основателя «общей семантики» Альфреда Коржибски снабдить каждое имя собственное временным индексом: чтобы за преступление молодого Смита не страдал сидящий в тюрьме пожилой Смит, или же самоубийство Смита рассматривалось бы как убийство Смита-первого впадшим в безумие Смитом-вторым [Korzybski, 1958, p. xiii]. В основе этой идеи стремление уподобить знаки естественного языка иконам-моделям (например, фотографиям), в которых наблюдается однозначное соответствие между означаемым и означающим.

Но применительно к имени *Лев Толстой* денотатом будет один и тот же индивид, пусть и локализованный в различающихся по времени мирах: Лев Толстой в разные периоды его жизни. Имя *Аристотель* во всех мирах выделит Аристотеля, хотя это могут быть и различные индивиды (безотносительно к тому, какую семантическую версию мы принимаем – С. Крипке, Д. Льюиза или Я. Хинтикки) с различающимися биографиями – так, Аристотель будет Аристотелем и в тех возможных мирах, где ему не суждено будет встретиться с Платоном или же где не существует Александра Македонского. При этом следует учитывать гибкость языкового знака – при определенных условиях имя нарицательное может функционировать как имя собственное и наоборот.

Однако здесь требуются дополнительные уточнения. Понимая смысл как функцию, мы должны уточнить, что является областью ее значения. Здесь можно принять две точки зрения. Первая, абсолютная, она сегодня представлена в модальной семантике: область значения функции, или стратифицированная область интерпретации имени, – это и есть некоторое неуточняемое множество возможных миров (начиная с пустого мира и кончая их универсальным множеством). В соответствии с этой точкой зрения смысл знака описывает значения функции во всех возможных и невозможных мирах и тем самым выделяет денотат данного знака в любом из этих миров (подобно Богу у Лейбница, который мог видеть все множество возможных миров и выбрать из них наилучший: например, найти денотат имени *Аристотель* в мире, в котором не было Платона). Тем самым знание семантики имени – это умение выделить данный индивид в любом из представленных для обозрения миров.

Однако за исключением некоторых экстравагантных случаев (фантастика, театр абсурда, альтернативная история и т.п.), в рассмотрение может быть принято ограниченное множество возможных миров¹. Смысл и денотат знака существуют не в вакууме, а в некотором темпорально-модальном пространстве, мире или поле. Тем самым знак, как правило, имеет некоторую сферу денотации, которая определена условиями, обсуждение которых выходит за рамки настоящей статьи. Если смысл знака понимается как функция, которая определена на некотором множестве возможных миров, то и границы этой сферы также следует считать компонентом семантики знака – это его модально-темпоральное измерение, или же поле². Оно не произвольно, а детерминировано, с одной стороны,

¹ Я. Хинтикка предложил разграничивать «возможные» миры и эпистемические альтернативы – поскольку «не все возможные миры равно возможны», то субъект, как правило, рассматривает в качестве возможных только те миры, которые совместимы с его представлениями о мире [Хинтикка, 1980, с. 228–229].

² Мы используем многообещающую идею Михаила Лотмана о том, что определение знаковой системы как набора элементов, правил и отношений еще недостаточно – требуется также ввести и понятие поля. Например, излюбленный пример Ф. Соссюра, шахма-

контекстом высказывания (где и когда), с другой – тем компонентом семантики знака, который с определенными оговорками можно назвать каузальной историей имени (С. Крипке, К. Доннеллан): цепочкой его употреблений, начиная с момента «первокрещения», первого названия, т.е. памятью о предыдущих контекстах. Разумеется, границы этого поля денотации (радиус действия имени) могут быть изменены за счет создания новых текстов или же новых интерпретаций имеющихся. Во всех этих случаях действует прагмасемантический механизм, останавливаться на описании которого в данном случае не имеет смысла. Он достаточно исследован, с одной стороны, в работах по модальной семантике и прагматике (Р. Столнейкер, Д. Каплан, Д. Льюиз, Ю. Степанов и др.), с другой – в исследованиях по интертекстуальным отношениям, цитации, прецедентным текстам, концептам и т.д.

Приведем несколько примеров, показывающих зависимость имени собственного от темпоральных характеристик. Например, нижеприведенные предложения:

1. *Москва – столица России.*
2. *Москва была столицей России.*
3. *Будь Москва столицей России.*
4. *Неверно, что Москва столица России.*
5. *Возможно, что Москва будет столицей России.*
6. *Возможно, что Москва не будет столицей России.*

В некоторых, но не во всех, контекстах являются истинными, поскольку денотаты имени *Москва* будут локализованы в различных мирах. В некоторых исторических мирах Москва была столицей России, в некоторых – нет, в будущем она может быть столицей России, но может и не быть. Эта отнесение имени *Москва* к тому или иному темпоральному миру осуществляется за счет эксплицитных (содержащихся в предложении модально-временных показателей) или имплицитных форм (времени контекста высказывания). Но одно и то же предложение: *Москва – столица России* – может быть истинным или ложным в зависимости от контекста его высказывания – высказывается ли оно в XIX или XX в., в мире романа Льва Толстого «Война и мир» или же повести Кабакова «Невозвращенец» и т.п. Разумеется, оценка того или иного высказывания – это факт не только языка, но и истории России, но эта история существенна для правильного использования имени «Москва» и, значит, для знания его семантики. Соответственность между модально-темпоральными характеристиками смысла

ты – помимо описания фигур и ходов, требуется и понятие доски, которая также является некоторым набором знаков и отношений [Lotman, 2012]. М. Лотман под полем понимает скорее сферу действия формальных операций, т.е. синтактику, и определяет поле применительно к знаковой системе. Мы считаем уместным распространить данный подход на знак, его семантику и прагматику (последнее предполагает обращение к текстовым структурам и здесь не рассматривается).

имени и его денотата наглядно проявляется при изменении имени, а стало быть, и смысла. Изменение имени не может повлиять на физические объекты, но изменяет не только смысл, но и его денотацию, поскольку со смыслом оказывается ассоциировано и модально-темпоральное измерение (поле, пространство, рамка) смысла. Так, переименование города никак не может повлиять на сам город, но приводит к изменению денотата. Поэтому возможны предложения: «Санкт-Петербург – это Ленинград» и «Ленинград – это Санкт-Петербург», поскольку эти два имени синонимичны (взаимозаменяемы в некоторых контекстах, но не во всех); они не тождественны и не симметричны¹. Употребление этих высказываний ограничено определенными контекстуальными временными рамками. «Санкт-Петербург – это Ленинград» – высказывание, истинное после 1991 г. – когда Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. И напротив, высказывание «Ленинград – это Санкт-Петербург» истинно в момент от 1924 до 1991 г. Поэтому возможны и такие предложения, как «Ленинград был Санкт-Петербургом» или же «Санкт-Петербург был Ленинградом». Но неверным будет: «Петроград был Ленинградом», тогда как истинным – «Ленинград был Петроградом» (истинным будет – «Петроград стал Ленинградом»). Таким образом, *Санкт-Петербург*, *Петроград*, *Ленинград* – это разные имена одного и того же города, но при этом мы видим, что их денотат не всегда один и тот же, поскольку может быть локализован в различных временных мирах. Поэтому денотаты этих имен не тождественны, но связаны линией межмировой соотнесенности, поскольку миры, в которых они локализованы, достижимы один из другого: один мир есть мир, который был (есть, будет) этим другим миром. Что же касается обозначения одного и того же города, то нам потребуется ввести еще одно собственное имя: «город, который в разные времена назывался Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом» (как то делается в справочниках – дается нынешнее название, а в скобках – прежние). Приведенные случаи весьма похожи на приводимые Фреге как примеры имен, имеющих различные смыслы, но тот же денотат (это имена *Венера*, *Вечерняя звезда* и *Утренняя звезда*) – в духе сказанно-

¹ Этот случай отличен от достаточно редких случаев так называемой абсолютной синонимии, когда имеет место полная взаимозаменяемость имен: «Лингвистика – это языкознание» и «Языкознание – это лингвистика». Здесь мы не рассматриваем и те смысловые отличия, которые принято связывать с так называемой «внутренней формой» слова – в предложениях «Ленинград был назван в честь Ленина», «Санкт-Петербург был назван в честь святого Петра» (при абсурдности «Ленинград был назван в честь Святого Петра») – эти имена перестают быть взаимозаменяемыми безотносительно к какому-либо временному контексту. Определение синонимии как взаимозаменяемости в некоторых, но не во всех контекстах, и определение многозначности как наличие у слова двух и более рядов синонимов дано нами в: [Золян, 1991]. Там же намечено и разграничение между синонимией и семантическими и прагматическими характеристикам равноинтенциональности и равноэкстенциональности.

го положение об идентичности денотатов у этих имен должно быть уточнено¹.

Аналогичный подход можно распространить и на имена нарицательные. В условиях конкретного речевого акта они начинают вести себя как имена собственные, указывая не на класс объектов, а на определенный объект. Тем самым, можно считать, что к неизменному компоненту языкового смысла (его внутрисистемным характеристикам) прибавляется тот, который мы определили как модально-темпоральное поле, характеристики которого определяются коммуникативным контекстом (кто – кому – где – когда говорит), подобно тому, как имя *Москва* в высказывании «Москва – столица России» синхронизировано со временем контекста его высказывания. Так, в высказывании «Дом покосился» имя соотнесено с тем объектом, который имеют в виду собеседники – будь то реальные сегодняшние собеседники, исторические личности или же вымышленные собеседники из романа. Тем самым смысл имени нарицательного в речи получает дополнительные модально-темпоральные характеристики, которые определяют модально-темпоральную локализацию его денотата (мир и время). Впрочем, не только в речи, но и в языке смысл имени может иметь темпорально-модальные характеристики. Например, в предложении «Вчера я купил лапти» имя *лапти* будет интерпретировано как шутовское обозначение некоторой обуви, поскольку никак не соотносится с современными мирами. Но в контексте «Вчера в магазине сувениров я купил лапти» это же имя будет интерпретировано в соответствии со своим прямым смыслом. Аналогично, смыслы имен *кентавр*, *единорог*, *ведьма* и т.п. включают указание, что их область интерпретации – это сказочные и литературные миры. Поэтому возможно высказывание «Петя верит, что он убил единорога» при аномальности «Петя убил единорога». Если же коммуникативный контекст высказывания требует интерпретации имени в актуальном мире, то прямой смысл изменяется на переносный; ср.: «Иванушка-дурачок обманул ведьму» и «Начальница Ивана – ведьма».

¹ Один из примеров Фреге прямо показывает соотнесенность имени с временными характеристиками. Ср.: «Предположим, что у данного предложения есть денотат. Заменим в нем некоторое слово на другое слово с тем же денотатом, но с другим смыслом; это никак не должно повлиять на денотат предложения в целом. Мы увидим, однако, что выражаемое предложением суждение изменится: так, например, в предложениях (6) Утренняя звезда – это небесное тело, освещаемое солнцем и (7) Вечерняя звезда – это небесное тело, освещаемое солнцем выражены разные суждения. Если не знать, что Утренняя звезда и Вечерняя звезда суть имена одного и того же небесного тела, то одно суждение можно считать истинным, а другое ложным. Таким образом, суждение нельзя считать денотатом предложения; его надо рассматривать как смысл предложения» [Фреге, 1977, с. 189]. Ситуация меняется, если считать, что смыслы имен Вечерняя звезда и Утренняя звезда имеют различные темпоральные характеристики и их денотаты локализованы в различных, периодически сменяющих друг друга временных мирах, в отличие от денотата имени Венера, которая не имеет подобного ограничения.

Мы приходим к заключению, что конституирующее знак отношение между означаемым и означающим (смысл знака, по Фреге) должно быть дополнено модальным компонентом (темпоральные отношения принято рассматривать как разновидность модальных). Это уточнение позволяет дать адекватное решение тем сложностям или кажущимся исключениям («несовершенству языка»), которые возникают при игнорировании этого аспекта.

В той версии семантической теории, которая была предложена Фреге, центральным является понятие смысла, благодаря чему возможна денотация, т.е. рассмотрение знака и его соотнесенности с экстралингвистическими объектами. Подобная сконцентрированность теории на смысле позволяет обезопасить семантику знака от ее растворения в мире объектов. Вместе с тем основная идея Фреге, что смысл есть отношение (функция), соотносящая языковые выражения с нелингвистическими объектами, может естественным образом пониматься и как отношение, заданное во множестве возможных миров. Такое расширение тем более уместно, что именно концепция Фреге стала основой теоретико-множественной семантики, которая и используется в модальной семантике (но не была перенесена в семиотику)¹.

Но вместе с тем теория Фреге не затрагивает вопроса о том, откуда появляются, как определяются и как существуют смыслы. Безусловно, частичный ответ можно найти в теории Соссюра – смыслы определяются той системой, в которой данный знак функционирует. Но смысл не может быть ограничен исключительно отношением между знаками внутри системы, он предполагает и выход за ее пределы.

¹ В семиотике использование идеи Фреге ограничивается (и, возможно, блокируется) приписываемым ему семантическим треугольником, в котором потеряно столь существенное понимание смысла как отношения. Например, то существенное уточнение, которое приводит Эмиль Бенвенист применительно к соссюровской концепции произвольности знака, по сути, в более «психологизированной» форме воспроизводит идею Фреге, но без каких-либо отсылок. Ср.: «Хотя Соссюр и утверждает, что понятие “сестра” не связано с означаемым s-ø-g, он при этом тем не менее мыслит о реальности этого понятия. Говоря о различии b-ø-f (франц. “бык”) и o-k-s (нем. “бык”), он вопреки себе опирается на тот факт, что оба эти слова относятся к одному и тому же реальному предмету. Вот здесь-то предмет, вещь, сначала открыто исключенная из определения, проникает в него теперь окольным путем и вызывает в этом определении постоянное противоречие.. Таким образом, существует противоречие между способом, каким Соссюр определяет языковой знак, и природой, которую он ему приписывает ...означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление являются в действительности двумя сторонами одного и того же понятия и составляют вместе как бы содержащее и содержимое. Означающее – это звуковой перевод идеи, означаемое – это мыслительный эквивалент означающего. Такая совмещенная субстанциальность означающего и означаемого обеспечивает структурное единство знака» [Бенвенист, 1974, с. 91, 93].

Смыслы формируют новые системы, которые хотя и существуют в виде знаковых конструкций, уже не сводимы к тому, что можно рассматривать как манифестацию этих систем в речи. (Подобно тому, как текст нельзя рассматривать как одну из возможных реализаций системы того языка, на котором написан текст – естественный язык есть лишь один из аспектов текстопорождения.) Это уже не только отношения между знаками, но и такие системы, конструкции или, лучше сказать, модели, или возможные миры (в модальной семантике это синонимы). Это некоторые знаковые конструируемые, используя которые мы в состоянии эксплицировать то, что принято называть условиями истинности, а также (продолжим) условиями денотации. Смысл некоторого предложения в модальной семантике принято определять как множество возможных миров, в которых оно истинно. Такой подход есть продолжение классического подхода, связывающего понимание предложения, т.е. экспликацию его смысла, со знанием условий его истинности: каким должен быть мир, чтобы предложение соответствовало или не соответствовало бы тому, что имеет место. Эти условия истинности предложения могут быть представлены как некоторая знаковая конструкция, описание: «Все то, что может быть описано, может и случиться» [Витгенштейн, 1958, 6.362]. Формой существования подобных конструкций являются тексты – как существующие, так и потенциально возможные.

Аналогично, применительно к имени: его смысл можно представить только как функцию, т.е. чисто формальное отношение, которое не имеет и не требует какой-либо материализации. Но к этому определению смысла можно добавить и содержательный аспект: это условия денотации, т.е. применительно к каким мирам и посредством каких текстов и коммуникативных контекстов может быть осуществлена денотация. Тем самым смысл как отношение может быть реализован и как описание модели соотношения, и как описание модуса существования в этой модели (в некотором множестве возможных миров) некоторого объекта (смысл имени собственного) или класса объектов (смысл имени нарицательного). Это есть соотношенное с данным знаком его модальное измерение. При актуализации данного знака модальные характеристики соотносятся с миром-контекстом коммуникации, в результате чего определяется денотация данного знака применительно к некоторому миру-контексту.

5

Обобщая, можно наметить принципы той версии семиотики, которая исходит из модального понимания семантики знака, что влечет за собой ряд других принципов. Традиционная, или классическая семиотика – это теория знаков и знаковых систем, которая «изучает роль знаков и знаковых систем в социуме» (соссюровский подход, подход Пирса к семантике

как к формальной системе получил развитие в основном в логике). Основные семиотические процессы – это сигнификация, т.е. процессы соотнесения знака и его означаемого (Соссюр), или же интерпретация – процессы соотнесения некоторого предмета, выступающего как знак, с другим объектом, замещаемым этим знаком (Пирс). Тем самым ни сигнификация, ни интерпретация не предполагают коммуникации, но при этом являются бесконечным процессом: и при интерпретации, и при сигнификации один знак отсылает к другому знаку без какого-либо указания на пределы, когда этот процесс можно считать завершенным. Согласно Пирсу, этот процесс определяется отношениями между предметами, по Соссюру – внутрисистемными парадигматическими и синтагматическими отношениями. Процессы коммуникации, равно как деятельности, процесса оперирования знаками, если и присутствуют в описании, то как нечто привнесенное извне.

Та версия семиотики, которую можно назвать модальной, не ограничивается вышеописанным модальным пониманием знака, а требует привлечения и иных принципов, в первую очередь тех, что давно выработаны в логической семантике. Это, во-первых, основанная на концепции Фреге теоретико-множественная семантика, во-вторых, теории истины и значения (Витгенштейн, Тарский), в-третьих, теория языковых игр (Витгенштейн). Основой же явится семантика возможных миров.

Основными отличиями модальной версии семиотики от классической будут следующие:

1. Модальная семиотика основывается на семантике возможных миров и связанных с ней концепциях (семантика пропозициональных установок, интенциональность и т.д.). Соответственно, она будет предусматривать теоретический и дескриптивный инструментарий для рассмотрения таких явлений, как соотнесенность между модальностями, проявления субъективности и так называемых объективных модусов в языке и речи, зависимость смысла и денотации от контекста, выражение и обозначение возможных и несуществующих объектов, возможность описания будущего и прошлого, в том числе и их альтернатив, и т.п., всего того, что для описания средствами немодальной референтной семиотики представляет значительные трудности, если вообще возможно.

2. Подобная семиотика будет контекстно-зависимой. Это будет касаться самого определения знака – смысл и денотат знака не абсолютны, а определяются контекстом. Но контекстуальным отношением является не только соотнесение имени и объекта, но и внутренние принципы организации языкового смысла; уже в самой языковой системе имя характеризуется контекстуально-зависимым смыслом. Неизбежная при модальном понимании смысла релятивизация денотации соотносится с контекстуальной релятивизацией, как внешне-, так и внутритекстовой. Еще одним типом контекстуальной зависимости могут быть различные конфигурации интертекстуальных отношений.

3. Коррелятом контекстно-зависимой семантики в экстралингвистической сфере являются межмировые отношения (модельные структуры, по Крипке). Множества возможных миров и отношения между ними – это не только область интерпретации, но и компонент смысла, т.е. механизма самого соотнесения мира и знаковой системы. В свою очередь, системы этих миров для своего выражения имплицируют создание новых знаковых систем и трансформацию имеющихся.

4. Модальная семиотика может быть рассмотрена также и как функциональная семиотика, семиотика в действии. Уже само описание знака и знаковых отношений, если оно берется как контекстуально-зависимая величина, имплицитно предполагает коммуникацию. Тем самым оно дополняет традиционную, которая ограничивается уровнем сигнификации, или интерпретации (Ч. Пирс, У. Эко), или же структурными аспектами системы (Соссюр), не предполагая коммуникации. Мы видим тесную связь между структурными, интерпретативными и коммуникативными характеристиками знаков и знаковых систем, но и вместе с тем их относительную независимость. Поэтому, при всем желании соединить эти аспекты в рамках единой теории, следует допустить, что могут быть и соответствующие версии семиотики.

5. Как предполагал еще Э. Бенвенист, объектом «семиотики второго поколения» является не изолированный знак, а высказывание и текст [ср.: Бенвенист, 1974, с. 89]. Именно текст является формой существования множества возможных миров, которое, в свою очередь, является семантикой текста. Тем самым модальная семиотика, не ограничиваясь изучением собственно семиозиса, или семиозиса первого уровня (конструирование знака и знаковой системы), оказывается ориентированной на описание таких процессов, как конструирование текстов, их функционирование, интерпретация, интертекстуальные отношения и т.д.

6. Описывая не только то, что существует, но и что могло и даже не могло существовать, семиотика из инструмента описания мира становится инструментом его создания и понимания. Уместно вспомнить мысль Ч. Морриса о том, что семиотика одновременно и самостоятельная наука, и в то же время – «инструмент всех наук» [Моррис, 1983, с. 37]. Думается, если «сузить» сферу действия гуманитарными науками, то идея Ч. Морриса имеет больше оснований, чем то имело место в 30-х. Ч. Моррис, продолжая подход Ч. Пирса и Г. Фреге, ориентировался на точные науки, претендующие на возможность адекватного отображения действительности посредством некоторых знаковых операций. Безусловно, что в таком случае нужды в привлечении модальности не было, а возникающие трудности объяснялись несовершенством языка. Между тем, хотя знаковые системы точных наук допускали достаточно простую семиотическую интерпретацию, сами они особой нужды в семиотике как «универсальном инструменте» не испытывали: их вполне устраивал их собственный.

Но при обращении к гуманитарным наукам ситуация существенно меняется. Здесь реальность заменяется ее описанием, модальность становится ключевым понятием, определяющей становится семантика возможных миров и пропозициональных установок, а кажущиеся «изъяны» языка оказываются свидетельством его гибкости и полифункциональности. Естественный язык – механизм, в первую очередь, для сотворения мира, и уже потом – для его описания. Семиотика в ее модальной версии предоставляет адекватный инструментарий для описания этих двух функций. Идеи, равно как и методы модальной семиотики, позволяют описывать социальные и исторические процессы так, как они осмысляются их участниками и интерпретаторами, и могут оказаться весьма существенными для выработки новых методологических концепций гуманитарных наук. Семиотика, превращающаяся из науки о знаках в науку о смыслах и текстах, выступает, по емкому выражению М.В. Ильина, как «алгебра гуманитарных наук», призванная описывать не столько знаки, сколько смыслы, тексты и интерпретации.

Литература

- Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 477 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. – 131 с.
- Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1985. – Вып. 16. – С. 79–128.
- Горный Е. Что такое семиотика? // Радуга. – Таллинн, 1996. – С. 168–175.
- Данто А. Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 292 с.
- Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с.
- Золян С.Т. О семантике поэтической цитаты // Проблемы структурной лингвистики: 1985–1987. – М.: Наука, 1989. – С. 152–165.
- Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. – Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1991. – 311 с.
- Золян С.Т. Язык и политическая реальность: перечитывая Орвелла // Язык, общество, коммуникация. – Ереван, 2010. – № 1. – С. 23–33.
- Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы // Учен. зап. Тартусского ун-та. – Тарту, 1978. – Вып. 463: Труды по знаковым системам. – Вып. 10. – С. 18–23.
- Льюиз Д. Общая семантика // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 253–284.
- Моррис Ч.У. Основания общей теории знаков // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 37–89.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. – М.: Логос, 2000. – 448 с.
- Прайор А.И. Временная логика и непрерывность времени // Семантика модальных и интенциональных логик. – М.: Прогресс, 1981. – 424 с.
- Ревзин И.И. О субъективной позиции исследователя в семиотике // Учен. зап. Тартусского ун-та. – Тарту, 1971. – Вып. 266: Труды по знаковым системам. – Вып. 5. – С. 334–344.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – 696 с.
- Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – М., 1977. – Вып. 8. – С. 181–210.
- Фреге Г. Логико-философские труды. – Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2008. – 283 с.

- Хинтиikka Я.* В защиту невозможных возможных миров // Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования. – М.: Прогресс, 1980. – С. 228–244.
- Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: Петрополис, 1998. – 432 с.
- Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 102–117.
- Barwise J., Perry J.* Situations and attitudes // Journal of philosophy. – N.Y., 1981. – Vol. 78 (11). – P. 668–691.
- Chandler D.* Semiotics for beginners. – б.г. – Mode of access: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> (Дата посещения: 24.07.2013.)
- Cresswell M.* Quotational theories of propositional attitudes // Journal of philosophical logic. – Dordrecht, 1980. – Vol. 9, N 1. – P. 17–40.
- Cresswell M.J.* A highly impossible scene: The semantics of visual contradiction // Meaning, use and interpretation of language. – Berlin; N.Y.: Gruyter, 1983. – P. 62–78.
- Davidson D.* On saying that // Words and objections. – Dordrecht: Reidel, 1975. – P. 158–174.
- Donnellan K.* Proper names and identifying descriptions // D. Davidson, G. Harman. The semantics of natural language. – Dordrecht: Reidel, 1972. – P. 356–379.
- Korzybski A.* Science and sanity. – Brooklyn, N.Y.: Institute of general semantics, 1958. – 806 p.
- Lotman M.* Pierce, Saussure and foundations of semiotics // Sun Yat-sen journal of humanities. – Kaohsiung, 2003. – N 16. – P. 77–88.
- Lotman M.* Verse as a semiotic system // Sign systems studies. – Tartu: Tartu univ. press, 2012. – Vol. 40 (1/2). – P. 18–51.
- Perry J.* Frege on demonstratives // Readings in the philosophy of language. – Cambridge: L.: The MIT Press, 1997. – P. 563–585.
- Semiotics* // Britannica. – б.г. – Mode of access: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/534099/semiotics> (Дата посещения: 24.07.2013.)
- Vendler Z.* The possibility of possible worlds // Canadian journal of philosophy. – Edmonton, 1975. – Vol. 5, N 1. – P. 57–72.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАТЕМАТИКА И СЕМИОТИКА: ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ДВА ПОЛЮСА ЕДИНОГО ОРГАНОНА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ?»

14 марта 2013 г. состоялся очередной роккановский семинар, посвященный соотношению математики и семиотики. Редакция ежегодника публикует запись дискуссии. Где это уместно, она дополнительно снабжена краткими подстраничными пояснениями или ссылками на литературу в квадратных скобках.

Михаил Васильевич Ильин (далее – *М.В.*). Сегодня у нас очередной роккановский семинар. Мы обсуждаем соотношение математики и семиотики, сосредоточивая при этом внимание на познавательных способностях и на инструментариях или органах научного знания. Дело в том, что в ближайшие три года наш Центр перспективных методологий будет делать проект, посвященный тому, что мы называем органами познания. Несколько слов об этом проекте и о постановке вопроса. Помимо предметных областей знания, например филологии, геологии, социологии, антропологии и пр., обладающих своим специфическим предметом и характерными именно для них методами, существуют и некие общие познавательные способности. Во многих науках осуществляются или сравнения, или подсчеты, или аналитические процедуры. Что стоит за этим? Всеобщие познавательные способности? Или особый инструментарий, органон для нескольких дисциплин? Споры на этот счет разгорелись в нашем Центре перспективных методологий. Мы обсуждали, в частности, могут ли отдельные познавательные способности быть развиты до такой степени, чтобы вне привязки к конкретным предметным областям стать инструментальными познавательными системами или некими познавательными органонами *per se*. Так сформировался исследовательский проект нашего центра, связанный с обоснованием и разработкой методологических систем, которые можно было бы рассматривать как своего рода органоны-интеграторы социально-гуманитарных наук. Естественно, когда я говорю мы, Центр и так далее, то за этим стоит сетевая структура. В проекте участвуют те, кто хочет участвовать. Мы приглашаем и со-

бравшихся здесь сегодня коллег включиться в разработку этих органонов-интеграторов.

Претендентами на роль данных органонов являются математика и логика, семиотика, когнитивистика, морфология, компаративистика. Список этот открыт и корректируется. Мы хотим начать с математики и семиотики и посмотреть, что их объединяет и разъединяет. Можно ли их рассматривать как части одного единого органа? Или же они, напротив, два контрастных явления, два полюса некоего единства и за каждым из них стоит своя правда?

Для нашей первой дискуссии мы пригласили Виктора Михайловича Сергеева. Лучшей кандидатуры для такой дискуссии найти было трудно. Виктор Михайлович – математик по своему базовому образованию. Он начинал свою научную карьеру с изучения компьютерных систем и имитации на компьютерах интеллектуальных моделей искусственного интеллекта. А потом он не просто обратился к гуманитарной проблематике и семиотике, но и стал одним из авторитетнейших семиотиков в нашей стране и за рубежом.

Я продолжу представление этой темы и хочу задать несколько вопросов. Сначала как будто обычных, а потом – все более озадачивающих, трудных. Давайте предположим, что у нас действительно есть один всеобщий орган. Что из этого следует? Он становится практически неограничен и охватывает и логику, и когнитивную науку. У него, в таком случае, должна быть общая структура, обнаруживающаяся также во всех отдельных сферах знания. Иными словами и у математики, и у семиотики, если оставаться в рамках сегодняшней дискуссии, должна появиться какая-то общая структура. Второе следствие: все наши познавательные способности имеют общую природу. Тогда возникает новый вопрос: в чем эта природа?

Взглянем теперь на альтернативу. Если существуют два разных органа, тогда познавательные способности должны четко противостоять хотя бы в чем-то или даже исключать друг друга. И наша задача в том, чтобы найти те моменты, где они очевидным образом исключают друг друга. Структура и состав органонов должны быть разными. Явно должны выделиться какие-то составные части в математике или семиотике, которые не соотносятся друг с другом. Тогда наши познавательные способности окажутся разнородными. Нам придется искать у каждой свою природу.

Еще одно маленькое пояснение. Пирс считал семиотику универсальной алгеброй отношений. Для него она очевидным образом продолжается в математике. В отличие от него Соссюр выделяет семиологию как в основе своей психологическую дисциплину, которая имеет отношение к тому, что происходит с человеком в его чувствах и мыслях, в его мозге и нервной системе, в его артикуляционном аппарате и так далее. И эта дисциплина увенчивает все гуманитарное знание – знание о человеке. Тогда

получается, что семиотика связана скорее с когнитивной наукой, а Соссюр – предтеча когнитивной революции.

Столь очевидное фундаментальное различие заставляет задуматься, что, вполне возможно, имело бы смысл пользоваться двумя этими различными терминами для обозначения принципиально разных познавательных способностей и проглядывающих за ними органов. Можно говорить о семиотике в пирсовском смысле, а также о семиологии в соссюрсовском смысле как о принципиально различных науках и методологических органах. Насколько оправдана столь радикальная позиция?

Следующий вопрос. Уже Чарльз Моррис четко различил чистую (pure) семиотику и ее приложения к различным предметным областям в виде дескриптивной (descriptive) и прикладной (applied) семиотик. Однако удивительным образом такое различие в мейнстриме семиотики – за редкими исключениями¹ – не поддерживается. Может быть это связано с тем, что очень четкое различие, которое проводил Моррис, на самом деле совсем не очевидно, а является абстрактным и предельным, а в жизни мы встречаемся с целой лестницей переходов.

Можно представить себе такую лестницу. Начать с самого верха. Там чистый органон вне времени и пространства. И даже без человека, а с каким-то виртуальным интеллектом, не отягощенным телом, биосферой. Ниже может быть обнаружен органон биосферно-человеческий. В таком случае, туда попадает когнитивная наука. Далее идут дисциплинарные органоны, т.е. органон плюс предметная сфера. Например, опускаемся в политику, получается политическая семиология. То же самое с математикой и с ее приложениями к физике, химии и т.д. Наконец, в самом низу лестницы появляются собственно прикладные дисциплинарные органоны, которые ко всему прочему связаны с некими специфически дисциплинарными познавательными возможностями. Только об этом можно говорить как о собственно прикладном органоне. Именно он оказывается вполне ясным, конкретным и прагматическим инструментарием, который можно довести до отчетливого набора методик.

Теперь я позволю себе задать несколько наивных, потому трудных вопросов.

Первый вопрос: можно ли перенести базовую структуру семиотики с ее делением на семантику, синтактику и прагматику на логику и математику? Для логики, как мне кажется, это сделать не очень трудно. Не исключая, что есть какие-то экзотические логики, которые этой системе не поддадутся, но для большей части логик, по-моему, это возможно. А для

¹ Единственное, пожалуй, исключение – статья о разделениях семиотики Ганса-Генриха Либя, который проанализировал подходы Карнапа, Хельмслева и некоторых других коллег и предложил переименовать чистую семиотику в общую, а описательную в специальную [Lieb, 1975]. См. также раздел 1.2.3 о теоретической и прикладной семиотике в авторитетном справочнике [Nöth, 1995].

математики, мне кажется, это выглядит затруднительно. Впрочем, и для формальной логики тоже. Возможно, это связано с редукцией и фактическим отсутствием прагматики.

Еще более наивный вопрос. Можно ли рассматривать познание и все его аспекты как коммуникативную деятельность? С одной стороны, такое решение напрашивается. Если мы ответим утвердительно, то тогда семиотика вырастает до каких-то грандиозных размеров. Мы должны будем подстраивать все под семиотику. Но при этой начальной духоподъемной реакции возникает масса сомнений. У всех ли способностей познания есть субъект? То есть субъект, конечно, есть, коль скоро мы есть, но не пытаемся ли мы его «уничтожить», когда притворяемся, будто действуем и судим «объективно»? Ведь научная ценность – это объективное познание, как если бы субъекта не было. Вот мы и стремимся удалить субъект с его нетерпимой «субъективностью». Выходит, мы, люди науки стремимся сделать свое познание бессубъектным и очень ценим эту бессубъектность, называя ее объективностью. Настоящее научное познание таким нам и кажется.

Однако если научные исследования, обмен их результатами и признание их в качестве истин оказывается не чем иным, как коммуникативной деятельностью, то установка на объективность и бессубъектность не так уж и бесспорна. Выходит, что существует некий идеал познавательной способности, который предполагает, будто субъект надлежит исключать, куда-то его удалять и допускать его только в случае, когда без него будет совсем уже не обойтись. Может ли существовать такое бессубъектное познание человека и человеческой действительности? Мы все помним веберовскую проблематику ценностно нейтрального познания. Однако это только поверхностный уровень, связанный со снижением предвзятости разного рода. Но можем ли мы отказаться не только от субъективности, но и субъектности? Может ли человек быть радикально редуцирован до «объективной» сила познания? Можно ли оставить от человека только некий познавательный обезчеловеченный инструмент? Не знаю. Сильно сомневаюсь.

И еще один наивный вопрос. Являются ли знаками числа и кванторы? Первый ответ – и совершенно, казалось бы, очевидный – да, являются. Тогда следующий вопрос: а знаками чего они являются? Что они обозначают? Когда начинаешь думать об этом, то появляются новые вопросы. Вроде, это и знаки, но какие-то особые. В какие семантические треугольники мы можем сложить числа и кванторы. Являются ли знаками числовые пространства, матрицы, множества? Даже говоря о натуральных числах, мы не всегда понимаем, что это значит, то что говорить о комплексных числах или о множествах. Чем являются измерения и размерности? У Виктора Михайловича есть статья по поводу голосования в думе [Voting in the Russian Parliament, 1999]. Там используется очень много размерностей. То ли 160, то ли 180 или даже больше. А чем они являлись? Что это с точки зрения семиотики?

Последний вопрос такой: что в математике является аналогом семиозису? Когда я задал себе этот вопрос, то первая реакция была: исчисление. Но чем больше я думал, тем больше было и сомнений. Поэтому вопрос открытый. Чем хорош такой вопрос, так это тем, что он, с моей точки зрения, является настоящим вопросом. Вопросы бывают разные – простые и трудные. Простые и неинтересные – это те, на которые мы знаем ответ заранее. Такое бывает и в науке. А вопрос, здесь поставленный, кажется мне очень интересным, поскольку он трудный. Ответ на него неочевиден. Ответы, которые приходят на ум, чем-то не годятся. И мечта, которая была у меня когда-то – что семиотика поглотит математику – кажется мне теперь немного детской и нелепой. Может, мы и можем что-то такое получить, но только пройдя серьезные испытания и ответив на многие трудные вопросы.

Виктор Михайлович Сергеев (далее – *В.С.*). Вы задали такое количество интереснейших вопросов, что отвечать на них можно бесконечно долго. Я попытаюсь показать свой взгляд на эти проблемы начиная с последнего вопроса – о семиозисе и исчислении. Дело в том, что вопрос этот очень сложный. Он многократно возникал в математике. Выделилась специальная область математики, которую стали называть метаматематика, которая близка к логике, но вроде и не совсем она. Например, что такое теорема Гёделя? Вы все знаете, что она о том, что в арифметике существуют утверждения, которые являются ни истинными, ни ложными.

Чистые, так сказать, математики семиотическими проблемами не интересуются, потому что считают, что эти проблемы не принадлежат сфере математики. Есть великие математики, которые считали совершенно наоборот: это чрезвычайно существенный для математики вопрос. Моя точка зрения состоит в том, что эти вопросы существенны и их изучение позволяет найти некоторые нетривиальные подходы к математическому знанию.

Есть тонкая граница между логикой и метаматематикой. Есть область перекрытия. К сожалению, люди, которые работают в этой области перекрытия, практически полностью игнорируют семиотические соображения.

В 1982 г. я со своим другом Яковом Дорфманом написал работу о парадоксах метаматематики. Несмотря на то, что я много работал в этой сфере и хорошо знаком был с разными людьми, опубликовать эту работу по выше указанной причине мне нигде не удалось. Она до сих так и лежит неопубликованой.

И.М. Так давайте ее в МЕТОДе и опубликуем.

В.С. Пожалуйста, с радостью. Эта работа [Дорфман, Сергеев, 2014] – попытка применить чисто семиотический метод к математике. Немедленно выясняется, что проблема парадоксов, например парадокс Рассела, оказывается с этой точки зрения в известном смысле заблуждением. Строго говоря, утверждение, представляющее парадокс Рассела, просто

ложно, если исходить из семиотического подхода. Такой подход снимает подобные проблемы, поэтому выводы, которые делаются в работе, сводятся к тому, что парадоксы порождаются игнорированием семиотических аспектов анализа текста.

М.И. Может быть, даже не семиотических вообще, а еще точнее – прагматических.

В.С. Да, конечно, прагматико-семиотических свойств объекта.

Мы взяли ряд утверждений из книги такого классика математической науки, как Давид Гильберт. Эти труды являются основополагающими в области математической логики. Содержащиеся там утверждения, с нашей точки зрения, содержат неявные предположения, которые не прояснены. А если их прояснить, то получается совершенно иная ситуация. То есть семиотика дает возможность углубить понимание как математики, так и логики. Причем именно в области, которая лежит между математикой и логикой, нужно семиотику стараться применить максимально полно, так как практически все парадоксы получаются из-за того, что какие-то утверждения оказываются неэксплицированными, т.е. их семиотическая природа не раскрывается.

Соответственно, мы имеем следующую вещь. В лингвистике есть понятие пиджин-языков. Пиджины – это языки, обладающие минимальной грамматикой. Пиджин-языки достаточно широко распространены. Многие из них стали государственными в некоторых экзотических странах. Так, в частности в Новой Гвинее *ток-писин* (*Tok Pisin*) стал государственным языком. При анализе этих пиджин-языков выявляется очень интересная вещь. Они практически лишены синтаксиса.

Математика в ее бурбакистском варианте тоже является пиджин-языком. Это сильное утверждение. В соответствии с идеологией Н. Бурбаки, математика стремится выразить свои утверждения, используя очень ограниченное число знаков, пытаясь элиминировать слова естественного языка. За псевдонимом Н. Бурбаки скрывались очень серьезные математики и они подписывались под этим. При этом происходит пиджинизация математики. Что такое пиджин? Это упрощение формального синтаксиса, но это и немислимое усложнение прагматики, потому что значительная часть содержания такого языка фактически переносится в прагматику.

М.И. Если я правильно понимаю, в пиджин-языках все держится на прагматике, но прагматических маркеров там тоже очень мало. Они ситуационные. Других там практически нет или крайне мало.

В.С. Да, ситуационные маркеры. С математикой пытались сделать такую же вещь. Математики и логики, пытаясь элиминировать естественный язык, попадают в ту же самую ситуацию, т.е. прагматическое знание становится неявной частью математического знания и передается из рук в руки. Попробуйте взять статью по современной математической логике – вы, даже будучи математиком, но не будучи специалистом в области ма-

тематической логики, в ней ничего не поймете. Вы не знаете конвенций, которые лежат в основе этого языка. Если этих конвенций не знать, то вообще ничего не понятно. В статье мы приводим пример, что, в частности, конвенция, состоящая в том, что отсутствие квантора в утверждениях означает что это утверждение истинно – это типичный пример пиджинизации, т.е. не зная этого утверждения, вы просто не понимаете математический текст. И очень тяжело это воспринять интуитивно. Потому что приучить себя к тому, что надо понимать формулы без кванторов как истинное утверждение – это очень нетривиальная вещь.

Является ли семиотика чем-то надматематическим? С моей точки зрения, да, является, но семиотика имеет свою собственную область применения, т.е., она занимается только некими специфическими отношениями между математическими знаками. Содержательные утверждения математики, например теоремы – это очень непростая вещь. Теоремами обычно считаются утверждения, которые можно вывести из постулатов. С моей точки зрения, это неадекватное определение, потому что вывод из постулатов может быть осуществлен механически. Кроме того, в достаточно сложной системе постулатов есть невыводимые утверждения. Это устанавливает теорема Гёделя. В практике формальных логических систем часто существуют очень сложные утверждения, которые просто невозможно интерпретировать. Если взять модальную логику, то там существуют различные кванторы – квантор возможности, долженствования и т.д. В принципе, можно эти кванторы расставить один за другим – возможно, должно, необходимо. Но если поставить 3–4 таких квантора вместе, то такое логическое утверждение просто невозможно будет интерпретировать. В модальных логиках многие так называемые теоремы, которые выводятся из постулатов, просто неинтерпретируемы.

В математике, помимо таких чисто формальных утверждений, полученных путем вывода из постулатов, существуют настоящие теоремы. Настоящие теоремы – это такие утверждения, которые можно получить, если использовать независимо две различные системы постулатов, утверждения, которые устанавливают нетривиальные взаимосвязи между этими системами. Скажем, что такое теорема Пифагора? Это утверждение, что прямоугольник, построенный на гипотенузе, по площади равен сумме прямоугольников, построенных на катетах. Но можно написать это как чисто алгебраическое утверждение $a^2 + b^2 = c^2$, где a , b , c – числа, соответствующие сторонам треугольника. Можно понимать теорему Пифагора и как геометрическое утверждение, доказывая ее через анализ геометрических построений. То есть теорема Пифагора – это настоящая теорема, потому что есть два языка, в которых ее можно записать, и она дает возможность проникновения из одного мира (алгебры) в другой мир (геометрии). Каждый мир постулатов это замкнутый мир. Но если у вас появляется настоящая теорема, то это означает, что можно проникнуть из одного мира в другой. Почему, скажем, теория чисел считается королевой математики?

Потому что теория чисел, казалось бы, имея дело с очень простыми вещами – числами, сложением, вычитанием, умножением, делением, позволяет сделать достаточно много нетривиальных утверждений выглядящих вполне элементарно. Высшая теория чисел широко использует математический анализ, метод тригонометрического разложения, теорию функций комплексных переменных и т.д. Совокупность утверждений, сделанных относительно всего числового ряда как целого, труднодоступна элементарным методам. Для того, чтобы сделать утверждение относительно всего числового ряда как целого, нужно перейти в другую систему постулатов, из другого мира посмотреть. А миры математического анализа к арифметике не сводятся. Это означает, что теория чисел обладает огромным потенциалом установления соответствия между различными математическими мирами.

Поэтому мне видится, что роль семиотики прежде всего в установлении отношений между различными математическими мирами. Математических миров много, математика неедина. Величайшее открытие Декарта было в том, что он установил соотношения между арифметикой и геометрией, введя представление о системе координат. Семиотика позволит, на мой взгляд, совершать в будущем подобные же открытия.

М.И. А если бы математики могли описать семиотику, то тогда была бы ровно противоположная ситуация.

В.С. Да. Мне представляется, что математика расслоена на сферы топологии, алгебры, геометрии, анализа и т.д. Это различные сферы, использующие различные аксиоматические модели. Но для нахождения взаимоотношения между этими сферами абсолютно необходима семиотика. Каждый раз, когда всерьез рассматриваются математические проблемы, без семиотики не обойтись. Я признаю, что это совершенно еретическая точка зрения. Большинство работающих математиков скажут, что это ерунда. Но, с моей точки зрения, это действительно так, потому что математики используют неосознанно методы семиотики, они просто молчат об этом, но используют. Семиотика входит в молчаливое знание работающих математиков. В качестве молчаливого знания она абсолютно необходима и присутствует в любом достаточно серьезном математическом исследовании. Если пытаться эксплицировать это знание, то надо отметить, что люди, которые занимаются математикой, обучаясь (как правило, серьезный математик возникает не сам по себе, а учится у других серьезных математиков) приобретают некоторые профессиональные секреты, которые не любят рассказывать, в частности лекторы по математике в университетах об этом молчат. Может, они даже не обладают концептуальным аппаратом для того, чтобы изложить это студентам, но как молчаливое знание это присутствует. И если сделать это знание явным, то, мне представляется, многие математические теории, которые недоступны простому уму, станут гораздо более доступными и, может быть, это одна из причин почему те из математиков, кто знает об этих семиотических секретах, о них по-малкивают. Потому что математики любят отгораживать свою сферу дея-

тельности забором от всех остальных, чтобы туда не лезли не прошедшие «математическую инициацию» люди. Молчаливое знание является, пожалуй, самым сильным из заборов, потому что без него невозможно понять, о чем пишут математики. Человеку со стороны нельзя зайти внутрь. Он не в состоянии понять проблематику. Есть люди, которые обучены этому – и они в состоянии понимать, что делает математика и как получать новые результаты. Но они обучены на примерах и не в состоянии эти знания выразить. Великие математики, действительно великие, были в состоянии это эксплицировать, например Вейль или Пуанкаре, которые совершенно серьезно занимались этой проблемой. Видно, что углубившись в семиотические исследования, математики приобретают гораздо большую способность к своей профессиональной деятельности. Самое крупное достижение математики – открытие нового исчисления. Людей, которые открывают новое исчисление, немного (хотя сейчас количество исчислений увеличивается стремительно). Новое исчисление – это фактически новый подход к математическому знанию, и его практически невозможно открыть, если человек не обладает рефлексией семиотических проблем. Семиотика сама по себе не дает никакого приращения математического знания, но она расположена над математикой как метод, который может быть применен для прояснения собственно математических проблем.

М.И. Спасибо. Очень интересное выступление, вызывающее кучу вопросов.

Софья Юльевна Семнова (далее – С.С.). У меня два вопроса, но они взаимосвязаны. Первый об аппарате. Семиотика вышла из обобщения двух наук – из лингвистики и отчасти из математической логики. Это молодая наука. А лингвистика старше. Если отсчитывать от Аристотеля и стоиков, то это IV в. до н.э.

В.С. И даже раньше. Индийцы. Панини.

С.С. Панини – середина первого тысячелетия, но точно мы не знаем. Начало математики столь же древнее. Обе науки имеют развитый аппарат. Математический даже более развит. Формирование более или менее строгого аппарата лингвистики отсчитывают от формирования компаративистики, даже не с самого начала, а с младограмматиков. А как же дело обстоит с аппаратом семиотики?

Второй вопрос. Очень интересно Вы говорили о математическом знании, о возможности интерпретировать одни математические построения другими, алгебры геометрией и т.п. Однако семиотика должна, видимо, заниматься не перетолковыванием с языка на язык, а соотношением с действительностью. Хотя тут два подхода могут быть. Один будет связан с переводом знания с языка на язык (Якобсон его придерживался), другой – с наблюдением над реальностью. Например, апория Зенона, что Ахиллес не догонит черепаху, логически звучит почти бесспорно, но понятно, что догонит. Парадокс возникает из-за того, что утверждение не привязано к действительности. За счет этого возникает парадоксальность. Может быть,

семиотика как раз должна работать над привязкой к действительности? Математические исчисления, та же теорема Гёделя, упираются в интерпретации. Как бы Вы оценили эти два подхода, – переинтерпретирование знаний с языка на язык и привязка их к действительности – что в конечном счете важнее? Мне кажется, что второе ценнее.

В.С. Относительно первого вопроса. Что собственно из себя представляет аппарат семиотики? С одной стороны, на первый взгляд, он очень прост и тривиален и в каком-то смысле концентрируется вокруг семиотического треугольника. А с другой стороны, этот аппарат в применении к конкретным проблемам оказывается очень нетривиален. Почему? Давайте посмотрим лингвистику. До конца XIX в. лингвистика занималась в основном чисто грамматическими проблемами, синтаксисом, морфологией, немного семантикой. Если мы посмотрим на лингвистику второй половины XX в. – то это почти сплошь семантика и очень значительное количество исследований прагматики. Прагматическая логика, которая раньше не рассматривалась как предмет, сейчас очень развита. Происходит, например, изучение правил написания бюрократических текстов. Ведь такие тексты пишутся по особым правилам, и непрофессионально написанный текст виден специалисту сразу. Но сам специалист перечислить правила им использованные будет не в состоянии. Экспликация этих правил выявляет очень сложную логическую систему. То есть здесь та же ситуация, что и в математике.

Когда вы начнете выявлять правила написания дипломатических текстов, то поймете, что это тоже огромная задача, причем задача, решение, формализация которой очень облегчит работу дипломатов. Я очень люблю приводить один пример студентам. Иногда манипулирование прагматическими правилами дает чудовищные по значимости результаты. В дипломатии такой случай произошел в переговорах между США и Японией в 20-е годы XX в., когда американцы в договоре хотели исключить политическое влияние Японии в Китае, т.е. упоминание слов «политическое влияние» и «политические интересы» в договоре не должно было быть. А японцы предложили разделить договор на две части: общие вопросы и экономические – и включили в первую часть слово «специальные интересы». После этого вмешательство Японии в дела Китая, оккупация Маньчжурии и т.п. обосновывалась этим договором. И все потому что там было словосочетание «специальные интересы» и потому что употреблялось оно в общей части, а не в экономической. Это пример явной прагматической манипуляции. То есть дипломатов надо учить очень тщательно му прагматическому анализу документов. Но никто этого не делает.

А аппарат семиотики очень зависит от того, что именно рассматривается. Поэтому что он есть сам по себе – очень сложно сказать. Он по существу не развит.

Относительно второго вашего вопроса могу сказать, что для семиотики важны обе задачи.

М.И. По первому вопросу, относительно аппарата, соглашаясь с Виктором Михайловичем, я бы уточнил, что развит аппарат семиотики очень неравномерно. Мы, подобно математикам, по умолчанию с помощью неявного знания рассуждаем о знаках. Но что мы называем знаком? Знаком мы называем то, что можно передать с помощью семиотического треугольника. Но это же только семантический знак. А синтаксические знаки – что это такое? Можно ли треугольником синтаксический знак интерпретировать? Не факт. Более того, по-хорошему оказывается, что синтаксические знаки мы должны описывать как находящееся сразу в измерении и семантики, и синтактики. Если добавить прагматику, то окажется, что прагматические знаки еще более сложны. В прагматическом знаке заключен семантический знак – с треугольником Фреге (причем еще не факт что треугольник исчерпывающим образом опишет это явление). Синтаксическая структура туда также включена, плюс еще и прагматическая структура, которая не описана. Сейчас бум прагматики в лингвистике. Но это бум прагматики, который меня ужасает, потому что это такая отсебятина, противоречащая всему моему филологическому чувству, этакий произвол. Нормальный филолог, воспитанный на сравнительно-историческом языкознании, к этому подошел бы как к чему-то совершенно ужасающему с научной точки зрения. В этом прагматическом аппарате нет никакой систематики. Хотя делаются и замечательные работы.

Слушатель. Что такое синтаксический знак? Рассматривается ведь знак как некое целое и его свойства – семантические, синтаксические и прагматические.

М.И. Ровно то, что вы сказали. Здесь опять-таки неявное знание, поскольку мы оказались как семиотики или лингвисты перед такими сложными вопросами, что мы должны их себе как-то объяснить, и мы говорим, что знак есть и у него есть свойства. Но это же уловка. Потому что мы знаем про структуру и прочее только семантического знака, только он корректно описан, только для него у нас есть хороший аппарат. А для следующих уровней нет. Поэтому мы берем это все свернутое вместе, приписывая ему какие-то свойства. Мы описываем только эффект. Черный ящик, в нем есть какие-то семантические свойства, они выглядят так-то, и это все. Мы в этот ящик не заезаем. Чтобы разработать этот аппарат, нам надо туда залезть, выстроить на одном, втором, третьем уровнях какие-то закономерности. Я сейчас начал курс по основам семиотики в Высшей школе экономики. Маленький, крошечный. Передо мной проблема: что я буду говорить, когда в этом курсе начнется разговор о синтактике и прагматике?

Слушатель. Можно ли пример синтаксического знака привести?

М.И. Синтаксический знак – это тот знак, который, например, отражает притяжательность. Когда я говорю «кошка», я знаю, что у меня есть идея, референт, звуковой комплекс – я могу из них построить треугольник. А как я знаю, что я выразил отношения принадлежности? Как они выражаются? Каким знаком обозначаются? Сказать – родительным падежом

или предлогом of в английском, значить уйти от ответа. Как устроен этот знак или маркер? То, что он есть, очевидно. Каково его устройство как знака, не исследовано. Мой ответ: знак есть, но ни мне, ни нам вместе его структура и функционирование не ясны.

Слушатель. А отношение принадлежности является семантическим отношением? Я имею в виду, отношение знака с миром: вот «это моя кошка» – я ее кормлю.

М.И. То, что вы кормите кошку, это прагматика, отношения между субъектами. Виктор Михайлович правильно сказал, там, в этом знаке, есть все. А вот отдельно синтаксический компонент не проанализирован. Его анализируют, но анализируют, как свойство. Но его никто не разложил, не сделал, не создал аппарата, который позволял бы работать с ним отдельно.

В.С. Смотрите, какая вещь с этими знаками. Скажем, вы используете правила. Запятая ставится в таких-то случаях. Перечисляются эти случаи. В принципе, изучение языка и сводится к изучению конкретного применения в каких-то случаях. В результате вы правильно ставите запятые или можете ошибиться, и вам тогда укажут, что в соответствии с таким-то правилом нужно поставить запятую. Но это неполное описание, потому что на самом деле нужно залезть в понимание того, что из себя представляет тот или иной случай, чтобы выявить правило расстановки запятых, потому что вы не можете сводить науку к перечислению казусов. Если это сведено к перечислению казусов, то это не теория. Если вы хотите понять теоретический смысл этого, то совершенно ясно, что постановка запятых чем-то регулируется в языке, какими-то общими правилами. Ведь неслучайно же в разных случаях ставятся запятые или точка с запятой и т.д. Эти случаи представляются не просто естественными, если мы хотим понять, что такое язык по существу, мы должны написать общие правила, из которых следовала бы расстановка запятых. А таких общих правил нет. И это предмет деятельности лингвистов. Насколько я понимаю, в 70–80-е годы огромное количество работ было посвящено тому, что такое союзы, предлоги. Исследовались конкретные случаи употребления союзов и из конкретного перечисления пытались выявить общие правила, и они выявлялись. Аппарат, таким образом, разрабатывался. Но это очень сложная вещь. Одно дело понимать, как употреблять союзы, но другое дело отрефлексировать это употребление и подняться на следующий уровень. Этот следующий уровень – совершенно другая вещь. Почему возникла необходимость в этом подъеме? Потому что когда стали изучать машинное понимание, то стало понятно, что машине ничего не объяснить с помощью примеров. Нужно выделять правила. Здесь попытки интерпретировать с помощью ЭВМ текста на естественном языке привели к огромному аппарату, который строится и в семантике, и в прагматике.

Слушатель. Получается этими правилами занимается лингвистика, в том числе компьютерная или теоретическая компьютерная лингвистика, но все-таки правила – это прерогатива лингвистики. Однако ваш пример с

договорами затрагивает как проблему лингвистики текста, так и проблему жанра (например, почему законы жанра таковы, каковы они есть?).

В.С. Проблему жанра надо рассматривать как семиотическую проблему. И такие работы есть. Если вы посмотрите на работы Проппа, одного из основателей этого направления исследований, то он и выявлял законы жанра волшебной сказки.

М.И. Если вы возьмете книгу Халлидея «Социальная семиотика», то найдете целую систему терминов. Они позволяют довольно адекватно описать не только непосредственные прагматические отношения между общающимися, но и социально опосредованные, трансцендированные по Канту. Халлидей рассматривает язык как социальный институт и создает функциональную грамматику, в которую включена и прагматика в широком смысле. Так что все это можно формализовать, были бы приложены усилия. Проблема в том, что вместо кропотливой формализации и выработки адекватного аппарата мы сразу устремляемся к обобщениям и содержательным суждениям. Мы полагаемся на принимаемое интуитивно молчаливое знание. Мы не эксплицируем методологический аппарат, а сразу переходим к получению результата, перескакивая это звено. Следует не перескакивать ступеньки на лестнице абстракции, а разрабатывать семиотический аппарат во всех его частях, в том числе и на сложных уровнях – в прагматике.

В.С. Очень хорошо известно, что хороший дипломат – это очень квалифицированный человек, приобретение высокой квалификации дипломата требует примерно 20 лет работы. Только после этого времени человек становится настоящим дипломатом, переговорщиком. Вопрос в том, можно ли этому научить за год или за два без экспликации правил, которые используются? Мне кажется что нельзя. Но если удастся правила эксплицировать, то можно.

Слушатель. У меня есть такое убеждение, что семиотика позиционируется как возможность перевести с одного языка на другой и тем самым помочь преодолеть это тайное знание, лучше его выразить. Но у меня складывается впечатление, что семиотика сама по себе является тайным знанием. И если мы говорим, что что-то в ней не развито, чего-то не хватает, возникает вопрос, а как метод или наука, которая сама себя не отрефлексовала и не прояснила, собирается помогать той же математике прояснить себя. Если я математик и я должна взять аппарат семиотики, чтобы самой себе помочь, то у меня тоже возникнет проблема, как и у семиотика, когда он возьмется за математику. Что с этим делать?

В.С. Конечно, семиотика сейчас не разработана. Многие области еще туманны, но туманность – это хорошо, потому что есть над чем работать. Математика 300 лет назад представляла собой сплошной туман, но потом пришли такие люди, как Лейбниц, Ньютон, Эйлер, Бернулли. Постепенно ситуация стала проясняться. В XIX в. математика стала высокопрофессиональным знанием, которое нужно было изучать очень основа-

тельно, целую жизнь, чтобы успешно работать. Та же ситуация с семиотикой. Сейчас какие-то куски более или менее известны, какие-то в полном тумане, например, семиотика дипломатических текстов. Это наоборот хорошо, с моей точки зрения, потому что есть прекрасная тема, над которой можно работать.

М.И. Если бы вы задали этот вопрос вчера или до начала этого семинара, я был бы в полном шоке и вынужден был бы поставить примерно в равное отношение математику и семиотику. Но сейчас, после того, как Виктор Михайлович предложил рассматривать их в некоем иерархическом отношении, то получается, что некоторые проблемы, которыми математика не занимается, можно с помощью семиотики заниматься – даже с таким туманным ее аппаратом.

Аппарат разрабатывается снизу начиная от семантики, а до прагматики мы еще, по сути, не добрались. Если взять семиотику, то все давит прагматика по количеству, но не по качеству. Потому что люди начинают заниматься полевыми исследованиями, брать какие-то примеры, получают что-то хорошее, осмысленное, но не имея формализованного языка, в отличие, например, от семантики, где у нас есть контент-анализ и т.д. Там все формализовано (хотя на самом деле и к контент-анализу у меня много вопросов).

В.С. На самом деле это надо рассматривать как общие методы представления знания. Их очень много и все это вместе является аппаратом семантики.

Владимир Сергеевич Авдонин (далее – **В.А.**). У меня есть два вопроса. Виктор Михайлович, Вы сказали, что математика выстраивает математические миры, различные их виды, которые между собой как-то соотносятся, и семиотика помогает им взаимодействовать. Вот эти миры математики, которые вы упомянули, – это чистые интеллектуальные, когнитивные миры, выражающие связи и отношения интеллекта, или они имеют какие-то аналоги в действительности, отражают связи самой действительности?

В.С. В той мере, в которой математика является аппаратом физических наук, можно говорить о том, что она проецируется на реальность. Скажем, геометрия. Геометрия имеет проекцию на реальность вполне хорошую, это – измерение площадей, времени, расстояний и т.д. Но есть и чистая геометрия. Появляются новые области – геометрическая алгебра, алгебраическая геометрия и т.д. В таких более сложных областях геометрия определяется уже какими-то совершенно абстрактными постулатами. Можно придумать такую геометрию, которая не будет иметь, так сказать, никаких «проекций на реальность».

В.А. То есть это могут быть чисто интеллектуальные математические миры, а могут быть и «не чистые», а как бы «смешанные», соприкасающиеся с реальностью, т.е. имеющие «проекции на реальность»?

В.С. Да. Есть чисто интеллектуальные миры, но в определенных случаях есть интеллектуальное воображение, которое находит отражение в реальности.

М.И. Я добавлю к этому. Помните, я рисовал схему, на которой сверху – чистая семиотика и математика, а дальше она погружается в предметность. По мере погружения она насыщается предметностью, но по мере вырастания, возвращения «наверх» она все отбрасывает и остается «чистота», чистая интеллектуальная способность.

В.А. Тогда – второй вопрос. Семиотика в этом случае трактуется как некий чистый и свободный интеллектуальный органон, чистая интеллектуальная способность, которая может охватывать все. Но, что с ней происходит, если она сталкивается с несоответствиями и структурностями самой реальности? Ведь предполагается, что реальность структурирована. В ней есть различные виды, формы, отношения, уровни. И получается, что, с одной стороны, мы имеем свободно парящий «чистый» органон, который способен переходить от самых общих принципов к конкретным вещам, а с другой – мы сталкиваемся с жестко структурированной реальностью!

М.И. Отличный вопрос, Владимир Сергеевич. Я об этом даже не думал раньше. Он подталкивает к важным вещам. Давайте возьмем претензию на всеобщность семиотики. Она возможна только там, где есть коммуникативные процессы. А если происходит, например, такой процесс, когда мы слили кислоту со щелочью и получили воду и соль. Можем ли мы описать это «семиотически»? Нет, не можем. Семиотика не имеет к этому никакого отношения. А математика описать это может.

В.С. Да, может. И тогда у нас получается иерархия. Какие-то процессы может описать только математика, а семиотика не может. Эти две области, или две способности познания взаимопроникают, но их пересечение совершенно прихотливо.

В.А. Но в этом пересечении семиотика «наверху»?

М.И. Не факт! Пока мы исходили из того, что видели мир как мир коммуникаций, как человеческий мир, то так он и выглядит. А теперь посмотрим на мир с другой стороны, «с точки зрения косной материи», где основу мира составляют кирпичи и гранит, и где появляется плесень в виде жизни, а потом еще и начинает мыслить. Вот, если мы смотрим с точки зрения материи, то главное – это математика, а семиотика – там где-то, на периферии.

В.А. Но, если семиотика способна помогать решать проблемы математики и метаматематики, а математика «пронизывает» и интеллектуальные миры и материальный мир, то семиотика в иерархии их отношений – выше!

М.И. Да, только если мы имеем в виду самих математиков, которые мыслят. Мышление – есть коммуникация. А если мы имеем в виду только численные соотношения, которые, например, описывают миграцию ионов во время химической реакции, то – нет. Помните, я спрашивал, а можно ли

создать науку без человека? Математики, на мой взгляд, попытались это сделать, объективировать знание. Математика есть героическая попытка это сделать, но неудачная.

В.С. Неудачная, верно.

М.И. Потому что это сделать невозможно. Но математики героически приближаются к этому идеалу, вероятно, ближе, чем кто-то другой.

В.С. Остается кусок, где математика вынуждена обращаться к семиотике. Хотя есть и огромное количество областей в математике, где к семиотике обращаться не надо. Это как башня, меняющая цвета. Семиотика, предположим, голубой цвет. Голубым цветом окрашена вершина башни. Ниже математика, она, предположим, красная. Где-то розово-голубая – на границе с семиотикой, а потом густо красная. Потом физика, где математика используется как аппарат. Там тоже есть своя специфика. Физика описывает явления, и из математики она никак не выводится. Есть химия, которая описывается физикой, но которая полностью из физики не выводится. Это – проблема онтологического разнообразия мира.

Кирилл Викторович Сергеев (далее – **К.С.**). Скажите несколько слов об отношениях между когнитивной наукой и семиотикой?

В.С. Это сложный вопрос, потому что в этой пирамиде наук, которую я попытался изобразить, мы приходим к семиотике, которая находится на вершине, но на самом деле это не пирамида, а кольцо. Чтобы заниматься семиотикой нужен разум. Разум укоренен в мозгу. Мозг описывается биологией. Биология описывается органической химией, дальше физика, математика. Кольцо замыкается.

М.И. Когда я готовил сегодняшнюю презентацию, я минут 40 потратил в безуспешных попытках найти картинку многосоставного Уробора. Есть такие символы. Змей хватается себя за хвост. Но чтобы несколько змей кусали себя за хвост и образовывали кольцо, не нашел. То, с чем мы сталкиваемся, это – что-то такое. Несколько змей кусают себя за хвост, и где конец и начало, не найдешь.

В.А. Не поможет ли когнитивная наука в какой-то степени ответить на предыдущий вопрос Михаила Васильевича о том, возможна ли наука без человека? Ведь она занимается, в том числе и вопросами искусственного интеллекта, т.е. возможностью создания разума, интеллекта на не биологических носителях и, следовательно, в какой-то мере вне человека.

В.С. Есть разница между когнитивной наукой и искусственным интеллектом. Это связанные вещи, но, что часть чего, это такой же вопрос, как и с кругами. Искусственный интеллект – это попытка моделировать естественные человеческие утверждения на нечеловеческом субстрате. Ясно, что все человеческие утверждения, как, например, поэзию, не удастся смоделировать никак. Есть разница между версификацией и поэзией. Версификация происходит по правилам, а поэзия – то, что нарушает все правила, воздействие чего нарушает все правила. Поэзия по определению не поддается подходу с точки зрения искусственного интеллекта. Вы

спрашивали, где разница между семиотикой и когнитивной наукой. Когнитивная наука имеет дело не только с имитацией мышления на нечеловеческом материале, она, вообще говоря, отвечает на вопросы о том, как устроен человеческий разум, что существенно сложнее, чем искусственный интеллект. К тому же, искусственный интеллект как специфическая дисциплина развивает свой метод, который может не иметь никакого отношения к тому, как человек действительно мыслит. И по большей части то, что делает искусственный интеллект – это имитация человеческого мышления, но сделанная совсем по-другому. А как работает человеческое мышление, мы здесь остаемся в таком же неведении, как и две тысячи лет назад.

М.И. Сила когнитивной науки не только в том, чтобы исследовать человеческие явления, но и в том, чтобы выявить обстоятельства, связанные с нашим телом и биосферой, которые влияют на наше мышление. Если мы возьмем Элеонор Рош, Марка Джонса – это все о том, как на нас влияет тело, откуда берутся логические отношения. Логические отношения, смыслы порождены элементарной психологией, физиологией, нашими телами, обстоятельствами жизни и тем, что существует всемирное тяготение. Мы вот не замечаем его, а оно существует, поэтому логическое отношение верх–низ задано нам биологически. Это основы когнитивной науки.

К.С. Я спросил о том, чем отличается семиотика и когнитивная наука. На мой взгляд, семиотика пытается решить проблемы языка как бы «изнутри», из самого языка. А когнитивная наука идет дальше, она делает это «извне», и у нее получается это лучше, так как ее подход шире. Например, в семиотике можно разработать десять правил для языка, а потом появятся люди, которые разработают еще 100 правил. Они просто придумают что-то другое.

В.С. Мне кажется, что когнитивная наука в известном смысле выходит за пределы семиотики. Но семиотика в силу своих задач решает вопросы, которые когнитивная наука не рассматривает. Та часть семиотики, которая затрагивает метаматематику, например рассматривает по-новому теоретико-множественные парадоксы, не затрагивает никак проблемы когнитивной науки. Но пересечение есть.

М.И. Введи или выведи ты туда человека с его окружением, разницы не будет. А если будет разница, то когнитивная наука должна с этим работать.

В.С. Эта змея, кусающая себя за хвост, как раз и создает такие трудности, потому что никакая наука не может в известном смысле существовать без других. Происходит своеобразная интеграция знания. Причем эта интеграция идет через периферические области. Скажем, математика существует в огромном своем объеме без всякой помощи семиотики, но некоторые проблемы математики невозможно решить без семиотики.

М.И. А некоторые проблемы семиотики нельзя решить без когнитивной науки.

В.А. Но не будет ли сведение проблематики одной науки к другой, более фундаментально, сталкиваться с редукционизмом?

В.С. Некоторые проблемы физики нельзя решить без математики. И это не редукционизм. Я бы сформулировал следующий тезис достаточно революционный. Попытки выводить все из чего-то, из каких-то элементарных постулатов, это редукционизм. Есть вообще три возможности. Сводить все к элементарным частицам, описать правила их взаимодействия – это одна возможность. Другая – это сводить все к элементарным частицам, которые принадлежат другому миру и принципиально ненаблюдаемы. Примером такого подхода являются кварки. Наблюдать их мы никак не можем, но есть утверждение, что значительная часть мира состоит из кварков. Уже из кварков состоят элементарные частицы и т.д. Такой ослабленный редукционизм. Есть вариант будстрепы – змея, кусающая себя за хвост. Когда никакая редукция к чему-то элементарному не кончается, потому что редуцируясь, мы возвращаемся обратно. Такой подход мне кажется наиболее естественным. Такой подход предполагает принципиальную множественность онтологий мира, т.е. из одной базисной онтологии построить мир нельзя.

Иван Владленович Фомин (далее – **И.Ф.**). Семиотика-конвертер, та роль, которую она играет в отношении математики – эта роль специфична для математики или в принципе она может сыграть ту же самую роль для других дисциплин при их взаимодействии друг с другом? Например, можем ли мы сказать, что в обществоведении существуют такие же миры, которые плохо соприкасаются друг с другом, где семиотика может помочь их связать?

В.С. С моей точки зрения, антропология и социология являются такого рода примерами, так как для них семиотика реально необходима. Можно сказать, что культурная антропология полностью построена по этой конструкции, в ней как раз широко используется семиотика.

М.И. Однако проблема в том, что зачастую она описывается не семиотическим языком.

И.Ф. Понятно, что культурная антропология пользуется своим собственным аппаратом, а есть ли такой пример, чтобы семиотика связывала разные области внутри обществоведения? Или где вообще она может такую роль сыграть?

М.И. Как я понимаю, культурная антропология пользуется своим собственным языком, но он оказывается недостаточным, социология пользуется тоже своим аппаратом, а вот на стыке им на помощь приходит семиотика. Я бы, наоборот, высказал здесь скорее сомнение, потому что если искать подобие с математикой, то нужно, чтобы был выход на что-то не коммуникативное, а я не представляю, где можно найти это в нашей человеческой действительности, наверно, можно, но мне пока ничего в голову не приходит.

В.С. Человеческое общество по определению коммуникативное.

М.И. Но общество это еще и своего рода тело. Вспомним Левиафана.

В.С. Каждый умирает в одиночку?

М.И. Почему же в одиночку, есть биосфера.

Слушатель. Если мы говорим о семиотике как о некоем интерпретаторе, который позволяет из одного языка переводить в другой, тогда можно вспомнить, что в свое время бинарная система позволила перевести человеческий мир в электронику. Не может ли семиотика стать таким же переводящим инструментом для искусственного интеллекта? Ведь в основе искусственного интеллекта лежит, в частности, распознавание образов, и здесь может помочь семиотика, если она в какой-то момент сможет сформулировать и выделить соответствующие правила.

В.С. Тут масса пересечений разных дисциплин. Возьмем, к примеру, историю искусства. Она изучает картины, скульптуры и т.д. Конечно, там работают семиотические методы, и более того, существует масса специалистов, которые активно этими методами пользуются. Эти методы позволяют выявлять различия в стилях. Что значит живопись высокого Ренессанса? Чем она отличается от барокко? Чтобы на такие вопросы отвечать, нужен семиотический анализ произведения искусства. Применение широкое. Там, где есть коммуникация, работает семиотический аппарат.

Слушатель. В XX в. в математике существовала разработанная методология, которая занималась вопросами о том, как аксиоматика и правила вывода в логике отвечают законам человеческого мышления. Сейчас мы ее отбрасываем? Как соотносится методология и семиотика?

В.С. Семиотика является орудием этой методологии. Если вы рассматриваете метаматематику, то видите, что она отвечает на вопрос, какие возможны множества. Но ответить на вопрос, какие возможны множества и какие возможны операции с множествами, реально невозможно, если вы не используете семиотические методы, ведь там очень важно отделить знак множества от реального множества. Множество всех множеств – это множество? Это известный парадокс. А почему этот парадокс возникает? Когда вы вводите множества, то приходится вводить иерархию классов множеств: множество как объект, которому можно дать имя, а множество всех множеств, далее множество всех множеств, которые в свою очередь состоят из множеств всех множеств и т.д.

М.И. Даже если взять поиски актуального множества в математике – что значит «актуальное множество»?

Слушатель. Но разве методология не задавалась такими вопросами?

М.И. Конечно, задавалась. Вот я с этого и начинал, ведь наш центр является Центром перспективных методологий, как раз поэтому мы и ставим вопрос об органах. Потому этот вопрос и возникает. Мы смотрим и на математику, и на семиотику, и на когнитивную науку, и на морфологию и компаративистику. Представьте себе задачу выделения чистой морфологии. Что такое лингвистическая морфология, мы понимаем. А что такое чистая форма, не имеющая отношения ни к лингвистике, ни к геологии, ни к чему – существующая сама по себе? Или что такое компаративистика?

Мы знаем сравнительно-историческое языкознание, сравнительную политологию. Но что такое сравнение вообще? А аппарат, который нейтрален по отношению к предмету сравнения, который предназначен, чтобы сравнивать вообще – мыслимо ли такое? Это немислимо на данном уровне развития методологии.

В.А. Платоновская форма – чистая форма, она сама по себе существует.

М.И. Не совсем так. Она существует не сама по себе вне всякой субстанции. Платоновская форма – это эйдосы, наглядно «видимые» и даже ощущаемые обобщения. Так еще очень много от мифа, от конкретности всеобщего и от всеобщности конкретного.

В.С. Можно рассматривать социальные системы как некую аналогию структуре биологических систем. Но как только вы начинаете это делать, появляется необходимость в абстрактной науке, которая стоит над этими науками, потому что возникает вопрос о том, что такое форма, а это уже философия.

М.И. Даже стыдно об этом говорить, так как тут сидит автор книг о социально-биологической эволюции Андрей Вадимович Коротчаев. Действительно, как соотносится эволюция социальная и биологическая? Где специфика одной исчезает и появляется специфика другой? Существует ли у нас возможность выделить морфологические универсалии? Сейчас у нас не хватает мозгов и опыта, чтобы даже подступиться к этой задаче. Хотя огромная работа уже проделана.

В.С. Существует на данный момент проблема определения биологических объектов, которые являются пограничными между разными царствами живых существ. Есть какие-то объекты, про которые трудно сказать, что это за существо. Анализ этот надо делать, и он, по-видимому, приведет к очень нетривиальным ответам на вопрос относительно того, что такое форма.

Литература

- Вейль Г.* Симметрия. – М.: Наука, 1968. – 192 с.
- Дорфман Я.Г., Сергеев В.М.* Морфогенез и скрытая смысловая структура текста // Вопросы кибернетики. Логика рассуждений и ее моделирование. – М., 1983. – С. 137–147.
- Дорфман Я.Г., Сергеев В.М.* Формальная логика как знаковая система // Настоящее издание.
- Моррис Ч.У.* Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. — М., 1983. – С. 37–89.
- Пропт В.Я.* Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 1998. – 512 с.
- Пуанкаре А.* О науке. – М.: Наука, 1990. – 736 с.
- Сергеев В.М.* Когнитивные методы в социальных исследованиях // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М., 1987. – С. 3–20.
- Хофштадтер Д.* Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. – М.: Бахрах-М, 2001. – 752 с.

- Voting in the Russian Parliament, 1990–93: The Spectrum of Political Forces and the Conflict between the Executive and the Legislative / V. Sergeev, A. Belyaev, Ya. Dranyov and J. Gleisner // Institutional Approach to Politics: Parliamentary and Presidential System / R. Shiratori (ed.). – Tokyo: Ashi Publishing Co., 1999. – P. 137–180. – (На японск. яз.)
- Lieb H.H. On subdividing semiotic // Pragmatics of natural languages. – Dordrecht: Springer Netherlands, 1975. – P. 94–119.
- Nöth W. Handbook of semiotics. – Bloomington: Indiana univ. press, 1995. – 576 p.

И.В. Фомин

ЭЛЕМЕНТЫ СЕМИОТИЧЕСКОГО ОРГАНОНА ДЛЯ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ: АНАЛИЗ ПОВЕСТВОВАНИЙ¹

Семиотика как проект органа-интегратора для социально-гуманитарных исследований

Текстом, в широком (семиотическом) понимании, может считаться любая последовательность знаков, используемых для передачи сообщения. И как и всякий сигнал, передающий информацию, текст имеет свойство исчерпывать количество энтропии в мире. Именно этим все то, что существует в тексте, отличается от существующего в физической реальности. Мир в его физическом измерении состоит из объектов, которые изменяются во времени в сторону нарастания энтропии. Мир, реализующийся в тексте и создаваемый посредством осмысленной деятельности, по мере своего развёртывания, напротив, накапливает негэнтропию (определенность)².

Человек с точки зрения этих наблюдений оказывается существом двойной природы, поскольку обитает одновременно в двух универсумах: в устремленной к энтропии физической *реальности* и в противоположно направленной, семиотически осмысленной *действительности*³. Человеческая жизнь, таким образом, оказывается, с одной стороны, подчинена законам физического мира – и в этом своем модусе стремится к распаду, к смерти.

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789, руководитель: М.В. Ильин).

² Подробнее см., например: [Руднев, 2000, с. 9–22].

³ Уместным здесь будет отметить, что по границе реальность / действительность проходит разделение условных «полей компетенции» математики и семиотики. Однако о полной изолированности этих полей речи не идет. Подробнее см.: [Круглый стол... б.г.].

С другой стороны, реализуясь в своем семиотическом измерении, она оказывается обращена ко все большему упорядочению и осмысленности¹.

При этом важно подчеркнуть, что проживание жизни в ее семиотическом измерении для человека с необходимостью влечет актуализацию необходимости существования Другого – Другого в роли Творца (Автора) или по меньшей мере в Другого в роли Наблюдателя (Читателя).

Необходимость человеческого существования внутри текста подталкивает нас к тому, чтобы изучать человека именно с позиций семиотической перспективы. Такого рода оптика может обеспечить получение как гуманитарного знания (знание о человеке-в-тексте), так и знания социального (знания о человеке-в-тексте-для-Другого). При этом всю совокупность методов, ориентированных на изучение текстов и знаков, мы можем назвать *семиотическим органом*.

На сегодняшний день едва ли можно говорить о семиотическом органе как о чем-то, что уже в полной мере сформировалось и реализовало весь свой потенциал, однако для развития семиотического инструментария можно усмотреть весьма богатые перспективы. И эти перспективы связаны не только с высоким аналитическим потенциалом семиотического органа, но и в силу возможной роли интегратора, которую он может сыграть в отношении разделенных дисциплинарными границами областей социально-гуманитарного знания. Иными словами, язык семиотики может стать тем общим языком для гуманитарных наук, каким стала математика для наук естественных.

В качестве одного из возможных метанаучных методологических интеграторов семиотика обсуждается уже в течение достаточно долгого времени. В частности, такая перспектива была намечена для нее американским семиологом Ч.У. Моррисом, который в своей работе 1938 г. «Основания теории знаков» пишет: «Понятие знака может оказаться важным для объединения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их отграничивают от наук физических и биологических» [Моррис, 1983, с. 38].

При этом Моррис также отмечает, что семиотика должна занять двойственное положение в системе наук: с одной стороны, стать наукой в ряду других наук, с другой – взять на себя роль унифицирующей метадисциплины, которая будет выступать основой всякой другой частной науки о знаках (лингвистики, логики, математики, риторики и т.д.) [Моррис, 1983, с. 38].

Впрочем, в своей максималистской версии намеченная Моррисом программа для семиотики на сегодня еще далека от реализации. Тем не

¹ «Каждый процесс, явление, событие (назовите это, как хотите), короче говоря, все, что происходит в Природе, означает увеличение энтропии в той части Вселенной, где это имеет место. Так и живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию, или, иначе, производит положительную энтропию и, таким образом, приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, представляющему собой смерть. Он может избежать этого состояния, т.е. оставаться живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды отрицательную энтропию...» [Шрёдингер, 2002, с. 75].

менее вследствие произошедшего в науке XX в. «лингвистического поворота», некоторые инструменты наук о знаках сегодня уже встроены в арсенал наук о человеке и обществе. Хотя и существуют семиотические инструменты в этом пространстве пока не как устоявшаяся единая система семиотических методов исследования, а как россыпь отдельных приемов, существующих в разных вариациях и разбросанных по различным дисциплинам, школам, направлениям и исследовательским традициям.

Делая попытку охватить взглядом все множество семиотически ориентированных исследовательских инструментов, применяемых сегодня в социально-гуманитарных исследованиях, мы можем отметить, что все такого рода приемы возможно представить расположенными на оси между двумя полюсами. И эти полюсы мы можем условно обозначить как «декриптивный» и «критический». При этом для всех обозреваемых с этой позиции подходов характерна объединяющая их ориентированность на исследование языка и речи (в широком смысле этих слов) в неразрывной связи с определенными социальными контекстами. Но если на «декриптивном» полюсе в фокусе внимания исследователей находятся по большей части интралингвистические вопросы, то в «критической» крайности в этом фокусе оказываются уже почти исключительно вопросы социальной ситуативной обусловленности порядка порождения текстов и знания.

Таким образом, вблизи «декриптивного» полюса располагаются преимущественно разного рода социолингвистические и тому подобные исследования, укорененные в непосредственном анализе текстов. А к «критическому» тяготеют постструктуралистские, деконструктивистские и постмодернистские подходы, являющиеся преимущественно размышлениями по поводу тех или иных социальных обусловленностей дискурсивных практик.

В настоящей статье мы не ставим перед собой цели подробно рассмотреть семиотический органон-интегратор во всей его полноте, а лишь предлагаем начать его обсуждение в таком качестве. При этом основное внимание сосредоточим лишь на одном из ответвлений семиотического органа, а именно на методологии изучения повествовательных текстов.

Уровни семиотического анализа

Выше уже было отмечено, что метадисциплинарная перспектива для семиотики была сформулирована американским ученым Ч.У. Моррисом. При этом одним из главных элементов моррисовской теоретической рамки, заданной для этой дисциплины, была предложенная им триада уровней семиотического анализа:

- 1) семантика;
- 2) синтактика;
- 3) прагматика.

Согласно этой схеме, в сферу семантики включаются отношения между знаками и означаемыми ими объектам, и синтактики – отношения знаков между собой, а прагматики – отношения между знаками и интерпретаторами [Моррис, 1983, с. 42].

Моррисовская система уровней, однако, не уникальна. Зачастую авторами в рамках семиотически ориентированных исследований предлагаются и иные схемы препарирования знаковой реальности.

Так, например, в работе Ц. Тодорова, посвященной поэтике, мы встречаем разделение на *словесный*, *синтаксический* и *семантический* аспекты анализа, которые Тодоров соотносит с традиционными для классической риторики аспектами: *elocutio*, *dispositio* и *inventio* [Тодоров, 1975, с. 48–50].

Т. ван Дейк, свою очередь, предлагает применительно к дискурсивному анализу говорить о *речевом* (*language use*), *коммуникационном* и *интеракционном* уровнях, выводя это членение из результатов препарирования ситуации социально контекстуализированной коммуникации – ситуации, в которой адресант и адресат взаимодействуют (интеракция), передавая информацию (коммуникация) при помощи языка (*language use*) [Dijk, 1997, p. 2, 5].

В рамках дискурс-исторического подхода в критическом дискурсе-анализе авторы предлагают еще одну схему членения, говоря о двух уровнях анализа: *тематическом* и *углубленном* [Krzyżanowski, 2010, p. 81]. При этом выделяемые уровни имеют отношение уже не столько к аспектам анализируемого текста, сколько к этапам применения тех или иных исследовательских техник.

При таком разнообразии подходов к разделению исследования на уровни, однако, не будет верным вести речь о какой-то фундаментальной фрагментированности поля семиотически ориентированных методов именно по этому основанию. Скорее имеет место плюральность языков методологического описания, которые, в ряде случаев вполне могут быть «переводимы» друг относительно друга. Кроме того, такое многообразие в значительной степени может быть оправданно разной фокусировкой внимания в тех или иных подходах, а не какой-то их принципиальной разнородностью.

Вместе с тем нельзя не отметить два важных преимущества, отличающих моррисовскую схему (семантика – синтактика – прагматика) от других предлагаемых систем членения. Во-первых, эта схема определенно не носит характера *ad hoc*, а напрямую выводится из базовых положений теории знаков. Во-вторых, она, ввиду своего крайне широкого охвата, обычно может без особых трудностей быть импортирована в ткань различных других подходов, не разрушая их внутренней логики, а лишь внося в них дополнительную упорядоченность. Кроме того, она вполне может претендовать на роль медиатора при решении тех самых задач «перевода» с одного методологического языка описания на другой.

В связи с этим можно сказать, что, если мы и можем вести речь о какой-то теоретической рамке, которая могла бы быть общей для всех методов, образующих семиотический органон, то моррисовская триада вполне может претендовать на роль одного из базовых элементов такого рода теоретической конструкции. Тем более, что она проектировалась именно в расчете на универсальный характер применения в рамках общей семиотики.

Масштабы семиотического анализа

Помимо вопроса об уровнях семиотического анализа, важно также обсудить вопрос о разных его масштабах. Это обсуждение важно, поскольку позволяет нам провести границу между узколингвистическими исследованиями и общесемиотическим анализом. Без выхода за пределы узколингвистического масштаба семиотический анализ вряд ли мог бы рассматриваться в качестве органа для общественных наук.

При этом, если говорить коротко, то граница между узколингвистическим и общесемиотическим проходит по линии между исследованиями, в которых речь идет об изучении отдельных предложений, и теми, в которых объектом внимания исследователя становятся тексты целиком. Важно, однако, подчеркнуть, говоря об объектах, больших, чем одно предложение, мы имеем в виду не их объем, а масштаб их рассмотрения. То есть речь идет не просто о количестве слов в анализируемых фрагментах и не об определенных знаках препинания, обозначающих их границы, а о том, на каких аспектах изучаемого предмета фокусируется исследователь.

Вполне можно, например, представить себе текст, состоящий лишь из одного предложения, но и для него рассмотрение будет возможно в двух различных масштабах. С одной стороны, это предложение может быть описано узколингвистически – как отрезок речи на определенном языке, в котором реализуются определенные закономерности лингвистического характера. С другой стороны, об этом предложении можно будет рассуждать и как о тексте (дискурсе), для которого характерен собственный набор единиц и собственная сюжетная «грамматика», регулируемая законами поэтики и риторики [Барт, 2000, с. 199].

Выход семиотики за пределы узколингвистической проблематики можно проследить, обратившись к рассмотрению развития идей, заложенных в качестве оснований лингвистики Фердинандом де Соссюром.

Одно из главных положений лингвистической концепции де Соссюра заключалось в том, что соединяющиеся в знаке означающее и означаемое не мотивированы друг другом. Обращаясь к вопросу о том, чем является языковой знак, де Соссюр указывал на необоснованность представления о знаке как о «названии», связанном с некоторой «вещью». По де Соссюру, языковой знак есть «психическая сущность» – соединение «понятия» и

«акустического образа», означаемого и означающего¹ (рис. 1). То есть ни та, ни другая сторона сосюрковского знака не являются материальными [Соссюр, 1977, с. 99].



Рис. 1
Знак по Ф. де Соссюру

При этом в своей оригинальной формулировке сосюрковское учение о знаках, однако, не предоставляло пространство для приложения аппарата семиотики за пределами одного предложения – в масштабах текста. Происходило это по той причине, что порядок выстраивания предложений в последовательность определяется, по де Соссюру, лишь волей говорящего и не подчиняется никакому структурному принципу [Lacoue, б.г., р. 2]. В таких условиях переход от в узком смысле лингвистической проблематики к семиологической оказывался существенно затруднен (несмотря на то, что идея формирования семиологии была заложена в сосюрковском проекте эксплицитно [Соссюр, 1977, с. 54]).

¹ Справедливым будет отметить, что такого рода концепция знака не была столь уж новым изобретением к моменту, когда ее озвучил Ф. де Соссюр. Роман Якобсон об этом пишет: «[Соссюрковской интерпретации знака] многократно воздавалась хвала за ее изумительную новизну, хотя давняя концепция вместе с терминологией была целиком перенесена из теории стоиков, существующей уже двадцать столетий. В учении стоиков знак (*sēmeion*) рассматривался как сущность, образуемая отношением означающего (*sēmainon*) и означаемого (*sēmamomenon*). Первое определялось как «воспринимаемое» (*aistheton*), а второе – как «понимаемое» (*noeton*) или, если выразиться более лингвистично, «переводимое». Кроме того, референция знака была четко отграничена от значения с помощью термина *tunkhānon* (схватываемое). Исследования стоиков в области знакообозначения (*semeiōsis*) были усвоены и получили дальнейшее развитие в трудах Августина; при этом использовались латинизированные термины, в частности *signum* (знак), который включал в себя и *signans*, и *signatum*» [Якобсон, 1983, с. 102].

Другое затруднение, с которым столкнулась концепция де Соссюра, было связано с противоречием между соссюрским принципом «язык есть форма, а не субстанция», и тем фактом, что, по де Соссюру, означающее и означаемое изоморфны, параллельны – одному означаемому может соответствовать только одно означающее [Соссюр, 1977, с. 146–152]. Ведь если язык – это всегда форма и никогда не субстанция, то различие между означаемым и означающим оказывается невалидным, ввиду того, что основывается на субстанциональных, а не формальных принципах.

Данное противоречие ставило под вопрос всю выстроенную Ф. де Соссюром концепцию, которая зиждилась именно на такого рода понимании языкового знака. Однако эту проблему удалось в дальнейшем преодолеть и произошло это в рамках наработок Пражской и Копенгагенской школ структурного формализма [Laclau, б.г., р. 3]. Формалистам удалось отойти от принципа изоморфизма означающего и означаемого, развив и радикализовав положения соссюрской теории. Это стало возможным, когда объектом исследовательского внимания оказались языковые единицы меньше слов. И.С. Трубецким и Р.О. Якобсоном была разработана теория фонемы – как пучка различительных признаков. А в рамках датской глоссемантики стало возможным применение аналогичных принципов к единицам плана содержания также за счет выделения единиц, меньших, чем слово (плерем). Таким образом, отход от изоморфизма стал возможен, поскольку удалось отойти от параллельности единиц плана выражения (означающего) и содержания (означаемого)¹. После отказа от изоморфизма стало возможным тотализировать действие соссюрского принципа формальной природы языка и тем самым снять описанное выше противоречие [Laclau, б.г., р. 3].

Структурный формализм, таким образом, окончательно разорвал связь между лингвистическими категориями и субстанцией, что сделало возможным общую семиотику и структурный анализ текстов [Laclau, б.г., р. 3]. Следует, однако, отметить, что в своем очищенном виде семиотика пока все же в полной мере не сложилась. Она часто по-прежнему вынуждена опираться на понятийный аппарат лингвистики (отягощаясь при этом некоторыми следовыми метафорами) и черпать материал для анализа из текстов на естественных языках.

Семиотика повествовательных текстов

В настоящей статье, как уже говорилось выше, мы не будем обсуждать семиотический органон во всей его полноте, а сфокусируем наше внимание лишь на одном из его аспектов – на семиотике повествовательных текстов.

¹ Поясним на примере: слово теленок в плане выражения состоит из семи фонем (звуков), а в плане содержания разлагается на «крупный рогатый скот», «самец», «молодой» и т.д.

Начать обсуждение схем анализа повествовательных текстов имеет смысл с вопроса о том, какие тексты мы можем отнести к категории повествовательных. И ответ на него можно обнаружить в плоскости дискурсивной синтактики. С синтаксической точки зрения повествовательным мы можем назвать такой текст, в котором преобладающим типом связей между смысловыми элементами являются связи временные. При этом временные связи могут дополняться и обычно повсеместно (до степени смешения) дополняются связями причинно-следственными [Тодоров, 1975, с. 79–80]. Противопоставить повествовательный текст в этом смысле можно текстам описательным и поэтическим, в которых доминирует не временная, а пространственная логика организации, а также текстам аргументативным, в которых приоритетом обладают причинно-следственные связи.

Семантика повествовательных текстов

Для понимания специфики семантических единиц, составляющих повествования, необходимо еще раз обратиться к вопросу об уровнях анализа и отметить, что для каждого из уровней характерен собственный набор единиц и правил их сочетания. При этом между собой уровни находятся в отношениях иерархического подчинения, и ни один из уровней не способен самостоятельно порождать значения. Любая единица уровня, будь то уровень семантики, синтактики или прагматики, получает смысл только тогда, когда входит в состав единицы более высокого уровня [Барт, 2000, с. 201; Бенвенист, 1974, с. 132]. При этом между элементами могут существовать два вида отношений: дистрибутивные – между элементами одного уровня и интегративные – между элементами разных уровней [Бенвенист, 1974, с. 134].

Как и всякий другой уровень, уровень семантики, рассмотренный в масштабе целостного повествования, располагает своим специфическим набором единиц. При этом важным вопросом оказывается проблема выявления такой семантической единицы, которую можно было бы считать элементарной по отношению к повествованию как целому. Таким образом, встает задача поиска атомарных единиц сюжета (эпизодов), которые, прирастая, обеспечивали бы его продвижение вперед.

Проблема поиска такого рода единиц была поставлена еще Александром Веселовским, русским историком литературы, предшественником русских формалистов. И он предлагал называть такую единицу «мотивом», неформально определяя ее как «формулу, отвечающую на первых порах общечеловеческим вопросам, которые природа всюду ставила человеку» [цит. по: Тодоров, 1975, с. 85]. Пример мотива для Веселовского – это, например, фраза: «Змей похищает дочь царя» [цит. по: Пропп, 1998, с. 15].

Однако уже В.Я. Проппом понимание мотива, использовавшееся Веселовским, было подвергнуто критике. По мнению Проппа, предложе-

ние, сообщающее о похищении царской дочери, не является простейшим, поскольку содержит в себе по крайней мере четыре более мелких элемента: «змей», «похищение», «дочь», «царь» [Пропп, 1998, с. 15; Тодоров, 1975, с. 85]. Предпринимая собственную попытку определить элементарные повествовательные единицы, Пропп вводит дополнительный критерий их отбора, связанный с понятиями постоянства и вариантности. При этом, однако, ему приходится отойти от обсуждения универсальных категорий изучения повествований и сосредоточиться на элементах, специфических для определенного жанра – русской волшебной сказки [Пропп, 1998; Тодоров, 1975, с. 85]. По результатам анализа – для Проппа в случае в похищении царской дочери постоянным и простейшим элементом повествования оказывается «вредительство». При этом похищение выступает лишь одним из вариативных случаев этого постоянного элемента и может заменяться, например, вампиризмом или иными действиями, ведущими к исчезновению. Конкретные акторы, включенные во «вредительство», также могут меняться – вместо змея может фигурировать Кощей, вместо царя – царский сын, вместо царской дочери – сестра, невеста, жена или мать и т.п. [Пропп, 1998, с. 15, 31].

Впрочем, как уже отмечалось, пропповское разделение на постоянные и вариативные элементы оказалось возможным лишь при рассмотрении одного конкретного жанра и не давало на выходе набора универсальных единиц, подходящих для любого повествовательного текста. В поисках способа избежать упреков, адресуемых Проппом Веселовскому, но не ограничиваясь при этом рамками изучения конкретного жанра, мы можем обратиться к трудам по поэтике Ц. Тодорова, который предлагает добиваться выделения элементарных частей повествования через дробление первоначального «мотива» (по Веселовскому) до множества элементарных предложений, или суждений (в логическом смысле слова): X – девушка. Y – отец, Z – змей, Z похищает X.

Вероятно, именно подходом Тодорова можно в общем случае пользоваться при изучении повествований в рамках социально-гуманитарных исследований – когда определение конкретных жанров зачастую затруднено или аналитически нецелесообразно. Впрочем, исследования по жанровой проблематике в рамках обществоведения также возможны [Georgakopoulou, 2008].

Отметим также, что семантическое измерение анализа повествований вообще-то отнюдь не исчерпывается задачами выделения в сюжете набора элементарных единиц. В рамках обществоведческой проблематики, пожалуй, даже куда более важной задачей часто оказывается изучение отношений между физической реальностью и репрезентующими эту реальность сюжетными единицами (как элементарными, так и более крупными). И здесь открывается очень широкое поле для возможных постановок исследовательских вопросов, поскольку, скажем, одни и те же физические (телесные) действия могут репрезентироваться в повествова-

нии очень разными способами. Например, физическое действие «некто оставляет при помощи шариковой ручки чернильный след на листе бумаги с напечатанным текстом» в пространстве повествования может представляться в виде различных нарративных эпизодов: подписание контракта, покупка дома и т.п. [Dijk, 1976, p. 551].

Также продуктивным с аналитической точки зрения может быть сравнение наборов повествовательных пропозиций не только с физической реальностью, но и с семиотической реальностью, конструируемой в других текстах. При этом наличие / отсутствие тех или иных эпизодов в повествовании или специфические приемы репрезентации событий в сюжете могут не только быть проанализированы семантически, но быть предметом обсуждения на уровне прагматики – как проявления тех или иных дискурсивных стратегий, реализуемых автором.

Синтактика повествовательных текстов

Уже упоминавшийся В.Я. Пропп выявляемые при анализе элементарные эпизоды предлагал называть функциями. Аналогичной же терминологией оперировал в своей работе, посвященной анализу повествовательных текстов, и Р. Барт [Барт, 2000]. Говоря о сюжетных элементах как о функциях, мы делаем акцент на их способности ступать с другими сюжетными элементами в отношении корреляции. То есть в каждой функции – и в этом ее сущность – заключена способность к «истребованию» появления некоторого содержательного элемента на том же самом либо на ином уровне анализа [Барт, 2000, с. 203].

Р. Барт предлагает выделять два основных типа функций, соответствующих двум основным типам корреляции между ними. Эти типы функций:

- 1) дистрибутивные функции, или функции-функции (функции в узком смысле слова) (коррелируют с элементами того же уровня);
- 2) интегративные функции, или функции-индексы (коррелируют с элементами более высокого уровня)¹.

При этом, как замечает Барт, функции-функции охватывают класс единиц, определяемый понятием «делать», а функции-индексы – класс, определяемый понятием «быть» [Барт, 2000, с. 206]. Важно, однако, понимать, что функции-функции не тождественны поступкам (глаголам), а индексы – свойствам (прилагательным) [Барт, 2000, с. 235]. Понятие «быть», характеризующее индексы, следует скорее понимать как «быть в определенной [грамматической] роли» (аналогия – «быть подлежащим», «быть дополнением» и т.д.).

Также надо отметить, что один и тот же сюжетный элемент в такой схеме может одновременно выполнять разные функции.

¹ Подробнее о типах и подтипах функций см.: [Барт, 2000, с. 205–210].

Для описания повествовательной синтактики существуют различные подходы, и один из них был также предложен В.Я. Проппом в его «Морфологии сказки». Анализируя материал русских волшебных сказок Пропп объединил элементарные повествовательные функции в так называемые «круги действий» и в результате получил семь инвариативных действующих лиц (актантов), характерных для всех текстов исследуемого жанра [Пропп, 1998; Греймас, 2000, с. 157]. И такая семиактантная модель (вредитель, даритель, помощник, искомый персонаж, отправитель, герой и ложный герой) оказалась достаточна для исследовательских задач Проппа, поскольку с ее помощью он смог определить русскую волшебную сказку с формальных позиций – как рассказ, подчиненный семиперсонажной схеме [Пропп, 1998, с. 76].

В плане применимости в социально-гуманитарных исследованиях подход Проппа можно считать вполне приемлемым в том плане, что исследователь может при анализе каждого жанра текстов формировать новый набор актантов. Для этого необходимо описать набор всех фигурирующих в тексте «актеров» (конкретных персонажей каждого конкретного текста) через описание их функций (действий) с последующим сведением классов таких «актеров» к набору актантов, специфическому для исследуемого дискурса.

Впрочем, жанровоспецифический подход Проппа не является единственным способом описания сюжетной синтактики. Более универсальное решение для этой задачи было, в частности, предложено А.-Ж. Греймасом [Греймас, 2000, с. 158–163], который выработал актантную схему, претендующую на применимость в отношении любого повествовательного текста, вне зависимости от его жанровой принадлежности.

Исходным пунктом для рассуждений Греймаса при этом выступала синтаксическая структура обычного повествовательного предложения, в которой есть «субъект», «объект», «обстоятельство» и «дополнение». В соответствии с этими элементами в модели Греймаса выделяются три семантические оси и шесть актантов:

- 1) ось желаний (Субъект – Объект);
- 2) ось испытаний (Помощник – Противник);
- 3) ось коммуникации (Адресант – Адресат) (рис. 2).

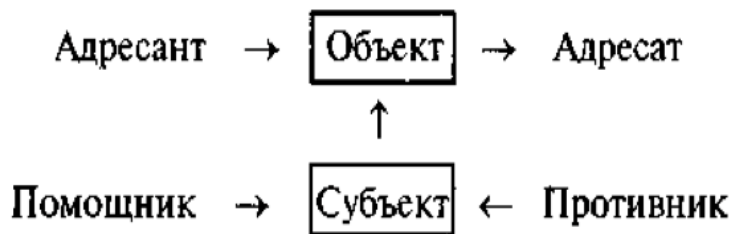


Рис. 2
Актантная схема А.-Ж. Греймаса

Поясним роли, характерные для каждого из актантов:

- Субъект направлен на Объект, стремится к установлению связи с ним (желает или ищет его);
- Помощник способствует установлению связи между Субъектом и Объектом;
- Противник препятствует установлению связи между Субъектом и Объектом;
- Адресант запрашивает установление связи между Субъектом и Объектом;
- Адресат выигрывает от установления связи между Субъектом и Объектом (Адресант и Адресат часто совпадают).

Важно понимать, что определенный актант включает целый класс персонажей и может воплощаться в самых различных «актерах», в том числе и в нескольких, а также может опускаться.

Помимо модели Греймаса, можно отметить и другие универсальные схемы повествовательной синтактики. Ц. Тодоров, например, предлагает вести речь о пяти позициях, в которых могут находиться элементарные единицы повествования, образуя целостный элемент сюжета (эпизод). Эти позиции: равновесие → нарушение равновесия → неравновесие → восстановление равновесия → новое равновесие [Тодоров, 1975, с. 88–89].

Также Тодоров выделяет три способа сочленения эпизодов в тексте:

- 1) обрамление (одна из пропозиций эпизода заменяется целым новым эпизодом);
- 2) сцепление (эпизоды следуют друг за другом);
- 3) чередование (пропозиции, относящиеся к двум разным эпизодам, чередуются в повествовании).

Вообще модели повествовательной синтактики, предлагающиеся различными авторами, демонстрируют большую степень сходства, различаясь в основном лишь небольшими деталями¹. И как отмечает В. Цымбурский, универсальным для них является проводимое или на уровне повествования в целом, или на уровне отдельных эпизодов аристотелевское членение сюжета на «начало», «развитие» и «конец». При этом любой из элементов схемы затем может рекурсивно преобразовываться во вложенную цепочку с собственным «началом», «развитием» и «концом» и т.д. [Цымбурский, б.г.].

¹ Согласно концепции Дж. Принса [Prince, 1973] и М. Райен [Ryan, 1979], любой эпизод или событие преобразуется в последовательность «исходное состояние + действие + конечное состояние». В повествовательной грамматике Дж. Мандлер и Н. Джонсон эпизод разбивается на «начало», «развитие» и «окончание» [Johnson, Mandler, 1977; Johnson, Mandler, 1980]. В модели П. Торндайка [Thorndyke, 1977; Thorndyke, Yekowich, 1980] повествование включает «тему» (исходное «событие» + «цель» персонажа), собственно «сюжет» и «заключение». При этом «сюжет» возникает как цепь эпизодов, каждый из которых имеет вид триады: «подцель» – «попытка» – «результат». В грамматике Б. Колби любая «минимальная история» членится на «мотивацию» и «ответ» [Colby, 1973] [подробнее см.: Цымбурский, б.г.].

Важным дополнением к такого рода концепциям повествовательных грамматик оказывается выводимое В. Цымбурским из критических работ Р. Бартона [Barton, 1985] разграничение двух видов сюжетов: процедурных (активных) и процессуальных (инактивных). Первые отражают деятельность героя по достижению поставленных перед собой целей, вторые – изменения внутреннего и внешнего состояния героя в результате углубляющегося переживания им процессов, не зависящих от его воли.

Продуктивным с методологической точки зрения продолжением этого подхода стала выработка В.М. Сергеевым типологии видов предзнания – культурно детерминированных когнитивных установок, ориентирующих на формирование сюжетов определенного типа – номиналистского, холистского (процессуального) или структурного. На основании такого рода дифференциации стала возможной разработка специфических способов кодирования в рамках одного из семиотических методов анализа – техники когнитивного картирования [Баранов, Сергеев, 1988; Bonham, Sergeev, Parshin, 1997].

Прагматика повествовательных текстов

В соответствии с концепцией автора термина «прагматика» Ч.У. Морриса, этот аспект семиотики изучает отношения между знаками и их интерпретаторами. Однако в лингвистической исследовательской практике сфера прагматического зачастую интерпретируется весьма широко, вбирая в себя вообще все, что мало походит на другие сферы знаний о языке [Баранов, 1990, с. 27]. Но если все же попытаться очертить поле прагматического более или менее четко, то к этому аспекту семиотического анализа следует отнести изучение отношений адресантов и адресатов текстов (1) к ситуациям коммуникации, (2) к самим текстам и (3) друг к другу.

В таком виде уровень прагматики предоставляет богатый материал для анализа, однако работа с этим материалом отчасти осложняется несовершенством исследовательских инструментов, ориентированных на анализ прагматического. Существенным методологическим изъяном на сегодняшний день оказывается отсутствие инструментария, который позволял бы описывать отношения на этом уровне формальным образом – так, как это можно делать на уровне семантики и синтактики.

Впрочем, некоторые наблюдения по поводу того, каким образом в повествовании кодируются адресант, адресат и ситуация коммуникации, все же возможны. Так, например, присутствие адресанта в тексте означает использование местоимений первого лица при повествовании. Кроме того, как один из знаков адресанта в тексте может рассматриваться расхождение между сюжетом (хронологическим порядком событий) и фабулой (порядком изложения событий) повествования.

Также надо отметить, что адресант текста репрезентируется в повествовании и через определенную точку зрения, с которой ведется рассказ. При этом положение такой точки почти всегда может быть определено по как минимум трем осям – временной, пространственной и аксиологической. Иными словами, анализируя повествование, мы можем сфокусироваться на поиске таких знаков, которые раскрывали бы позицию рассказывающего¹ по отношению к излагаемой истории: где он находится в пространстве повествования, каково его положение во времени, какова его оценочная позиция в отношении излагаемых событий.

Что касается знаков адресата, то они, как может показаться, менее заметны и многочисленны, нежели знаки повествователя. Однако в действительности знаки адресата просто более сложны. Помимо прямого указания на адресата («ты», «читатель»), на него также указывает, скажем, изложение в повествовании тех фактов, которое повествуемому и так известны, а значит – проговариваются они для адресата. То есть адресат репрезентуется, в частности, через знаки, указывающие на степень его осведомленности.

Также можно вести речь об анализе знаков, указывающих на ситуацию повествования. Такого рода знаки иногда могут быть эксплицитно кодифицированы, как это бывает, например, в случае сказок или классических риторических жанров. Или же они могут быть выявлены аналитически, если речь идет о формах дискурса с менее проявленными прагматическими правилами. В частности, в социальных и гуманитарных исследованиях довольно широко поле для изучения «законов жанра», характерных для тех или иных типов текстов (бюрократических, дипломатических, юридических документов, разного рода публичных заявлений, интервью, автобиографий и т.п.)².

При этом необходимо отметить, что, поскольку исследования на уровне прагматики тесно связаны с анализом конкретных ситуаций коммуникации, наборы категорий, используемых при анализе могут варьироваться в зависимости от изучаемой социальной проблематики и продиктованных ею задач.

Так, например, достаточно продуктивные методологические схемы прагматического анализа на материале социальной проблематики были выработаны в рамках критического дискурс-анализа (КДА). В рамках этих схем авторы, в частности, предлагают выстраивать прагматический анализ как исследование «дискурсивных стратегий». При этом такого рода стратегии понимаются как более или менее намеренно и последовательно реализуемые планы по систематическому использованию языка, направленные на достижение определенных социальных, политических, психологических и тому подобных целей [Reisigl, Wodak, 2001, p. 44]. Таким образом,

¹ При этом важно понимать, что (физический) автор текста не совпадает с рассказчиком. Повествующий адресант конструируется в семиотической реальности, а не существует как физический объект или личность в психологическом смысле [Барт, 2000, с. 220–221].

² См. также: [Круглый стол... б.г.].

делается попытка связать уровень повествовательной прагматики, как последний уровень анализа укладывающийся в пределах текста [Барт, 2000, с. 224], с другими системами (социальными, политическими, экономическими и т.п.).

Перспективы анализа повествований в социально-гуманитарных исследованиях

Выше мы рассмотрели некоторые базовые положения, которые можно представить в качестве основных элементов семиотического органа-интегратора. Однако что именно позволяет говорить о продуктивности изложенных выше концепций с точки зрения методологической интеграции пространства социально-гуманитарных исследований?

В первую очередь, мы можем здесь отметить тот факт, что исследование повествовательных текстов с применением изложенных выше концепций позволяет составлять систематизированные кодированные описания самых разных текстов. При этом «язык», на котором такого рода описания составляются, оказывается не зависим от дисциплинарных границ, продиктованных тематикой текстов или дисциплинарной принадлежностью исследователя.

Кроме того, поле применимости «повествовательной» логики является крайне широким. Изучение повествований оказывается актуальным в истории, социологии, психологии, антропологии, политической науке и международных отношениях, а также в других дисциплинах.

При этом применение аналитического аппарата, ориентированного на изучение повествовательных текстов, позволяет отчасти снять проблему идеографичности социальных и гуманитарных наук¹. Исследуемые тексты рассматриваются в рамках данной парадигмы не как полностью уникальные объекты, а как воплощения некоторых абстрактных закономерностей, диктующих правила составления повествований. Выяснение такого рода закономерностей по сути приближает гуманитарные науки к наукам номотетическим, т.е. позволяет вести речь о сформулированных на «языке» семиотики законах знаково освоенной действительности – подобно тому, как естественные науки оперируют законами, действующими в физической реальности, формулируя их на языке математики².

¹ О проблемах номотетического и идеографического в социально-гуманитарном знании см. также: [Коротаяев, б.г.].

² Один из примеров того, как семиотический анализ повествований реализуется в обществоведении можно найти в настоящем издании в статье Х. Алкера, В. Ленерта и Д. Шнайдера «Иисус А. Тойнби...» [Олкер, Ленерт, Шнайдер, б.г.]. В этой работе авторы, идя по пути выделения «аффективных сюжетных единиц» делают попытку вскрыть механизмы притягательности библейского повествования, обнаружить те характеристики евангельского текста, которые обеспечили его распространение в глобальных масштабах.

При этом именно изучение повествований, а не любых других текстов, оказывается особенно актуально для обществоведения. Ведь именно в форме историй как правило и воплощается социальная реальность. Именно становясь элементами повествований, разрозненные события обретают статус осмысленных эпизодов – встраиваются в более широкие картины социальных онтологий. Таким образом, через призму повествований становится возможным изучение объектов социальной реальности (семантика) и связей между ними (синтактика), а также исследование идентитарных, аксиологических и социально-критических вопросов (прагматика).

В качестве попытки реализации потенциала обществоведческого изучения повествований можно рассматривать опыт применения методов нарративного анализа. Вместе с тем, однако, нельзя не отметить, что в рамках нарративного подхода сложилась тенденция к тому, чтобы уделять наибольшее внимание прагматическому аспекту анализа. И в связи с этим само понятие *нарратив*, вероятно, уже нельзя считать полным эквивалентом понятия повествование. Поскольку первое зачастую определяется скорее прагматически – как текст, производимый в ситуации рассказывания, а последнее синтактически – как текст, характеризующийся преобладанием темпоральных связей между содержательными элементами.

Трудно отрицать, однако, что семиотический исследовательский аппарат в тех случаях, когда он применяется в социальных и гуманитарных исследованиях, зачастую действительно особенно привлекательным образом реализуется именно в своем прагматическом измерении. Ведь именно оно наиболее тесно связано с социальным контекстом. Однако полный отрыв прагматики от семантической и синтактической «почвы» с высокой долей вероятности может оказаться контрпродуктивен.

Также надо отметить, что «повествовательную» логику, как и всякую другую исследовательскую оптику, не следует абсолютизировать, делая выбор в пользу нее в ущерб другим аналитическим инструментам. Вероятно, в ряде случаев иные инструменты могут оказаться более адекватны возникающим в обществоведении задачам.

Впрочем, ширину потенциального поля применения семиотических инструментов анализа трудно переоценить. А задачи их разработки и внедрения задают один из наиболее перспективных векторов развития социально-гуманитарной методологии.

Литература

Баранов А.Н. Аргументация в процессе принятия решений (к типологии метаязыков описания аргументативного диалога) // Когнитивные исследования за рубежом. Методы искусственного интеллекта в моделировании политического мышления / Отв. ред. В.М. Сергеев. – М.: АН СССР: Ин-т США и Канады, 1990. – С. 19–33.

Баранов А.Н., Сергеев В.М. Когнитивные механизмы онтологизации знания в зеркале языка (к лингвистическому изучению аргументации) // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. –

- Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1988. – Вып. 793: Психологические проблемы познания действительности. Труды по искусственному интеллекту. – С. 21–41.
- Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М.: Прогресс, 2000. – С. 196–238.
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
- Кортаев А.В.* Беседа с редколлегией об отношении предмета и способа его изучения // Настоящее издание.
- Греймас А.-Ж.* Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – С. 153–170.
- Круглый стол «Математика и семиотика: две отдельные познавательные способности или два полюса единого органаона научного знания?» // Настоящее издание.
- Моррис Ч.У.* Основания теории знаков // Семиотика / под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37–89.
- Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В.Д., Шнайдер Д.К.* Иисус Арнольда Тойнби: Вычислительная герменевтика и непрерывная традиция классической средиземноморской цивилизации // Настоящее издание.
- Пропп В.Я.* Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 1998. – 512 с.
- Руднев В.П.* Прочь от реальности. – М.: Аграф, 2000. – 432 с.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с франц. под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31–273.
- Тодоров Ц.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 37–113.
- Цымбурский В.Л.* Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // Настоящее издание.
- Шрёдингер Э.* Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. – М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. – 92 с.
- Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 102–117.
- Barton R.W.* Plato-Freud-Mann: Narrative structure, undecidability, and the social text // *Semiotica*. – Amsterdam, 1985. – Vol. 54, N 3–4. – P. 351–386.
- Bonham G.M., Sergeev V.M., Parshin P.B.* The limited test-ban agreement: Emergence of new knowledge structures in international negotiation // *International studies quarterly*. – Cambridge [Mass.], 1997. – Vol. 41, N 2. – P. 215–240.
- Colby B.N.* A partial grammar of Eskimo folktales // *American anthropologist*. – Washington, 1973. – Vol. 75, N 3. – P. 645–662.
- Dijk T. A. van.* Discourse as structure and process. – L.: SAGE, 1997. – 356 p.
- Dijk T. A. van.* Narrative macro-structures // *PTL: A journal for descriptive poetics and theory of literature*. – Amsterdam, 1976. – N 1. – P. 547–568.
- Georgakopoulou A.* Narrative genre analysis // *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods*. – Thousand Oaks: SAGE, 2008. – P. 541–542.
- Johnson N.S., Mandler J.M.* Remembrance of things parsed: story structure and recall // *Cognitive psychology*. – San Diego, 1977. – Vol. 9, N 1. – P. 111–151.
- Johnson N.S., Mandler J.M.* A tale of two structures: underlying and surface forms in stories // *Poetics*. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 51–86.
- Krzyżanowski M.* The discursive construction of European identities: A multi-level approach to discourse and identity in the transforming European Union. – Frankfurt a.M.: Lang, 2010. – 232 p.
- Laclau E.* Philosophical roots of discourse theory // *Online papers / Centre for theoretical studies in the humanities and social sciences, Univ. of Essex*. – Mode of access: http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/documents_and_files/pdf/Laclau%20-%20philosophical%20roots%20of%20discourse%20theory.pdf (Дата обращения: 21.04.2011). – 6 p.

- Prince G.* A grammar of stories. – Hague; Paris: Mouton, 1973. – 106 p.
- Ryan M.-L.* Linguistic models in narratology: from structuralism to generative semantics // *Semiotica*. – The Hague, 1979. – Vol. 28, N 1–2. – P. 127–156.
- Reisigl M., Wodak R.* Discourse and discrimination. – L.: Routledge, 2001. – 298 p.
- Thorndyke P.W.* Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse // *Cognitive psychology*. – San Diego, 1977. – Vol. 9, N 1. – P. 77–110.
- Thorndyke P.W., Yekowich F.R.* A critique of schema-based theories of human story memory // *Poetics*. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 23–49.

В.Л. Цымбурский

**МАКРОСТРУКТУРА ПОВЕСТВОВАНИЯ
И МЕХАНИЗМЫ ЕГО СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ¹**

1. «Синтаксическая» парадигма в нарратологии (60–70-е годы)

Политологию структура повествования, так же как и оформление отдельного языкового высказывания, может интересовать, главным образом, в ключе семантическом и прагматическом. Иными словами, для нее могла бы представлять ценность такая теория, которая была бы в состоянии объяснить в виде четко обоснованного и воспроизводимого вывода конкретные случаи «препарирования» реальности в повествовании и особенности воздействия повествования на сознание читателей или слушателей. Надо признать, что наиболее влиятельная парадигма, властвовавшая в нарратологии на протяжении 60–70-х годов, ориентировала эту дисциплину на совершенно иные задачи – прежде всего на исследование «синтаксиса нарратива», «нейтральных в семантическом и прагматическом отношении внутренних закономерностей развертывания, присущих любому повествованию как таковому – «в себе и для себя».

При всем многообразии подходов и поисков в рамках этой парадигмы легко увидеть, что сложилась она, в основном, из слияния двух течений: одно ориентировалось почти исключительно на лингвистическую теорию порождающих трансформационных грамматик, другое – помимо этого, испытало сильное воздействие нарратологического формализма В.Я. Проппа. Для генеративного подхода, оформившегося в 70-е годы, характерно стремление возвести последовательность событий, описываемых в реально воспринимаемом повествовании, через серию промежуточных, все более аб-

¹ Печатается с исправлениями по: Цымбурский В.Л. Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // Когнитивные исследования за рубежом. Идеи и методы искусственного интеллекта в изучении политического мышления. – М.: Ин-т США и Канады АН СССР, 1990. – С. 34–61.

страгирующих уровней «свертывания» к первичному корневому знаку, символизирующему повествование в его целостности. Применяя к сюжету первоначально синтаксическую концепцию, т.е. работающую на уровне предложения (согласно Э. Бенвенисту – наибольшей единицы, доступной собственно лингвистическому анализу [Бенвенист, 1974, с. 138–140]), авторы теории нарративных грамматик попытались раздвинуть обозначенные Бенвенистом рубежи и выделить в повествовании единицу, управляемую строгими «синтаксическими» законами. Такой единицей, по общему согласию, оказался эпизод. Для нарративных грамматик исходной процедурой служит разбиение повествования на цепочку эпизодов, соединенных каузальными или конъюнктивными связками (попытка учесть результаты лингвистики текста). Помимо этого, повествовательные грамматики на уровне текста в целом различаются лишь небольшими деталями: например, грамматика Дж. Мандлер и Н. Джонсон допускает выделение, кроме событийной структуры, также морали и обрамления [Johnson, Mandler, 1977; Johnson, Mandler, 1980], а в грамматике Н. Торндайка с самого начала под названием «обрамления» (setting) выделялся генерализующий набор референтов, включая указания на место, время и состав персонажей [Thomdyke, 1977].

На уровне строения отдельных эпизодов все генеративные грамматики в концептуальном плане обнаруживают заметное сходство. В грамматике Дж. Принса [Prince, 1973], модифицированной М. Райен с учетом идей порождающей семантики Дж. Лакоффа [Ryan, 1979], любой эпизод или событие преобразуется в последовательность «исходное состояние + действие + конечное состояние», т.е. трактуется как процесс перехода от одного состояния к другому. По Мандлер–Джонсон, эпизод разбивается на «начало», «развитие» и «окончание»; «начало» отождествляется с неким «событием» (по-видимому, возмущающим исходное состояние); «развитие» мыслится как «реакция» героя вместе с выдвиганием им «цели» и последующим «путем к цели», разлагающимся на «попытку» и «результат»; окончанием эпизода должно быть некое завершающее состояние. Однако, согласно грамматике Мандлер–Джонсон, «начало» и «окончание» могут быть переписаны в виде отдельных эпизодов собственными «началами», «развитиями» и «окончаниями». Если мы учтем, что «развитие», по Мандлер–Джонсон, также имеет свое «начало» («реакцию»+ «цель»), свое «развитие» (= «попытку»), свое «окончание» (= «результат»), то ясно увидим, в чем, собственно, разница между этой грамматикой и грамматикой Принса–Райен: в версии Мандлер–Джонсон создается возможность теоретически бесконечного ветвления фабулы путем рекурсивного преобразования, любого элемента «тройки» «начало – развитие – окончание» в целую вставленную «тройку» того же вида (обсуждение этой грамматики см. в: [Олкер, 1987; Black, Wilensky, 1979]).

Грамматики П. Торндайка, Д. Румельхарта, Б. Колби при их внешнем разнообразии обнаруживают глубокую структурную близость к грам-

матикам Принса–Райен и Мандлер–Джонсон. По Торндайку [Thorndyke, 1977; Thorndyke, Yekowich, 1980], повествование включает «тему» (исходное «событие» + «цель» персонажа), собственно «сюжет» и «заключение». «Сюжет» представляет цепь эпизодов, каждый из которых имеет вид «тройки» «подцель» – «попытка» – «результат», причем «попытка» может быть преобразована в целый эпизод и т.д. [ср.: Ryan, 1979]. Ветвление в этой части идет аналогично схеме Мандлер–Джонсон, которая, однако, имеет то преимущество, что не предполагает неперемного единства «генеральной» цели персонажа на протяжении всего повествования. В грамматике Румельхарта [Rumelhart, 1975], где доминирует принцип бифуркативного правостороннего ветвления, в эпизоде вычленяется исходное «событие» и «реакция» героя, «реакция» разветвляется на внутреннее «намерение» и его «проявление», «проявление» – на «выработку плана» и «применение» его, а уже в рамках «применения» выделяются «действия» и «последствия». В отличие от Мандлер–Джонсон, у Румельхарта «событие» и «намерение» порождаются независимо друг от друга, а не выводятся из общего узла «начала». Любопытно, однако, что порождаемая последовательность «событие – намерение – выработка плана» вполне может трактоваться как результат представления «начала» в эпизоде в виде целой «тройки», генеративно противопоставляемой, как у Румельхарта, «действию» (или «развитию») и «последствиям». В грамматике Колби [Colby, 1973] для эскимосских сказок любой «ход», соответствующий «минимальной истории», членится на «мотивацию» и «ответ», а последний – на «действие» и «разрешение».

Итак, универсальным для нарративных грамматик является проводимое или на уровне повествования в целом, или на уровне отдельных эпизодов аристотелевское членение сюжета на «начало» (введение), «развитие» и «конец», затем либо «развитие», либо вообще любой из элементов схемы может рекурсивно преобразовываться во «вставленную» цепочку с «началом», «развитием» и «концом» и т.д. «Начало» обычно ассоциируется с событием, переживаемым героем, и выдвигаемым им планом, «развитие» – действия героя, «конец» – последствия этих действий, удачные или неудачные, так что схемы «переходов между состояниями» органично оборачиваются схемами «редукции проблем» [Black, 1980]. Легко видеть, что, несмотря на содержательную интерпретацию, приписываемую звеньям этих схем, и сами схемы, и их компоненты, взятые как обязательные категории при порождении любого повествования, превращаются в сугубо формальные синтаксические схемы, безразличные к семантике отраженных в тексте актуальных сюжетных отношений между персонажами.

Переходя к влиянию методики Проппа на нарратологию этого времени, отметим, что первоначальная установка Проппа на выделение для некоторого класса текстов набора инвариантных функций, сочетающихся в определенной последовательности, отнюдь не предполагала существования какого бы то ни было простого алгоритма, выводящего эту цепь

функций через промежуточные ступени из обобщенной идеи повествования данного класса. Такие непосредственные продолжатели методики Проппа в 60-е годы, как А. Дандис и Э. Дорфман, вычленив цепочки повторяющихся сюжетных ходов (первый – в североамериканских индейских сказках, второй – во франко-испанском эпосе XII в.), имеют целью лишь охарактеризовать эти классы текстов как целостные повествовательные типы, показательные для соответствующих культур [Дандис, 1980; Dorfman, 1969]. Похоже, что высокая стена встает между этими прямыми продолжателями традиции Проппа и теми авторами, которые уже в 60-е годы интерпретировали нарративные функции и корреляции между ними как универсальные высокоабстрактные схемы, обеспечивающие при различном порядке их применения порождение новых сюжетов. Эти авторы в рамках «пропповской» традиции обосновали ряд постулатов теории нарративных грамматик. В первую очередь назовем А. Греймаса [Греймас, 1985], приведшего схему Проппа для волшебной сказки к абстрактной формуле, в которой различаются инициальная часть (нарушение договора и накопление различных «недостач»), финальная (восстановление договора) и медиальная (переход с поэтапной ликвидацией недостатка, причем устранение каждой из них описывается стереотипной схемой «договор – борьба – победа»). Ясно, что такая редукция схемы Проппа, которая представляет эту схему в виде «инициаль» – «медиаль» – «финаль», где «медиаль» оказывается цепочкой эпизодов, состоящих из предпосылки, действия и результата, по способу «сворачивания» конкретных повествований вполне идентична, например, грамматике Торндайка.

Еще дальше в этом плане пошел К. Бремон с его разработками по логике повествования, которую он, по сути, смешивает с неким всеобъемлющим «синтаксисом» человеческих действий [Бремон, 1972; Бремон, 1983]. Минимальной единицей этого синтаксиса оказывается «тройка» вида «возможность» (включая исходные состояния, цели, планы и т.п.) – «актуализация / ее отсутствие» – «достигнутая / недостигнутая цель». Как и в нарративных грамматиках (или в формуле сказки у Греймаса), «инициаль» у Бремона увязывается с определением цели, «медиаль» – с путем к цели, «финаль» – с результатом. Аналогичным образом элементы этой «тройки» преобразуются в целые эпизоды того же вида: так, «процесс улучшения» переписывается в виде «тройки» «необходимость устранять препятствие» – «процесс устранения» – ««препятствие устранено»; в свою очередь, «процесс устранения» – в тройку «возможные средства» – «применение средства» – «успех» и т.д.

Очевидно, что в работах Бремона «пропповская» линия прямо слилась с линией нарративных грамматик. Более того, Бремон тонко уловил и попытался снять одну трудность, оставшуюся неопределимой для генеративистов. Дело в том, что для эпизодов, где одновременно действуют несколько персонажей с совершенно разными целями, построение базисной формулы вида «определение цели» – «действие» – «результат», описы-

вающей содержание эпизода в целом, принципиально невозможно (даже «начало», «развитие» и «конец» для разных персонажей могут не совпадать). Поэтому нереальны мечты о сквозном генеративном аппарате, связующем правила повествовательных грамматик с правилами порождения отдельных предложений [Ryan, 1979, p. 149]. Разбив свое представление сюжета на линии отдельных персонажей, строящиеся из нарративных «троек», Бремон дал ключ к определению того уровня, на котором действуют правила нарративного синтаксиса: это отнюдь не уровень изложения событий, как они разворачиваются по ходу повествования, но уровень «фабулы», на котором формально структурируются сами действия персонажей, участвующих в событиях. Рассмотренные схемы отражают не столько «синтаксис» человеческих действий, сколько ту сетку, которую априорно накладывают определенные виды повествований на изображение этих действий.

2. Критика формальной нарратологии и новые проблема (80-е годы)

«Синтаксическая» парадигма в нарратологии, сводившая к минимуму возможности использования ее результатов в сфере социальных, в том числе исторических, наук, пережила серьезный пересмотр на рубеже 70–80-х годов. Здесь сыграли роль и нарастающее количество фактов, крайне плохо интерпретируемых при помощи сложившихся формализмов, и участвовавшие прямые упреки в адрес генеративистов за отдаленность их результатов от процесса непосредственного восприятия повествования и запоминания сюжетов, иначе говоря, за пренебрежение реальными законами функционирования изучаемых объектов [Олкер, 1987, с. 420–421; Black, 1979; Stewart, 1976] и, наконец, требования, вставшие перед компьютерным анализом текста. В этой области достаточно быстро даже на лингвистическом уровне обнаружилась недостаточность аппарата формально-синтаксического анализа для выявления концептуальных связей, присутствующих в тексте, для решения многих задач машинного перевода и т.д. [Шенк, 1980, с. 10–26].

Оценить значимость и диапазон результатов, получаемых при рассмотрении этой парадигмы, можно на примере разбираемых ниже работ Р. Бартона и Э. Стюарт. В статье Р. Бартона «Платон – Фрейд – Манн: нарративная структура, неразрешимость и социальный текст» [Barton, 1985] демонстрируется неполнота этой парадигмы, существование целых классов нарративов, «бесформенных» по ее меркам или естественно допускающих такое прочтение, которое не укладывается в ее аксиоматику. Работа написана в остро «деконструктивной» манере, когда сама методика выступает объектом эксперимента: выявление «зазоров» между ней и интерпретируемым ею материалом становится индикатором для распознавания некритически принимаемых ею предпосылок. При этом сам Бартон вводит лишь одну аксиому, а именно: «Знак беспорядка в основе есть бес-

порядок знаков» – иначе говоря, если с точки зрения некой парадигмы какое-то вполне реальное положение вещей оказывается «кризисным» («абсурдным», «недопустимым») или имплицитно несет в себе несовместимые признаки, значит, в самой парадигме заложена некая внутренняя ущербность. «Абсурдная ситуация» есть ситуация, лежащая в той части семиотического спектра, которая не охватывается данной парадигмой. Следовательно, распознавание того, что эта парадигма считает «запретным», есть в то же время идентификация тех ее предпосылок, которые могут быть пересмотрены или, во всяком случае, осмыслены в качестве релятивных, контекстно связанных.

Объектом непосредственной атаки Бартона становится методика Греймаса, «деконструируемая» через приложение ее к анализу «Смерти в Венеции» Т. Манна. По-видимому, критиком неслучайно выбрана именно эта методика, обладающая значительными интерпретирующими способностями, прежде всего благодаря некоторым посылкам, сближающим ее с мифотворчеством языка художественной литературы. Установка на распознавание в нарративе какой-то выборки из шести попарно сгруппированных функций: «субъекта – объекта», «отправителя – адресата» и «помощника – вредителя» [Greimas, 1966, p. 172–191] позволяет модели Греймаса чрезвычайно легко справиться с пассажами типа «любовь гнала его», представляющими истинный крест для нарративных грамматик. Там, где те вынуждены вводить «внутреннее состояние», каузирующее «действие» героя, Греймас попросту отождествляет «любовь» с «отправителем» и включает ее в сюжетную схему на правах мифологического актанта. Итак, для «Смерти в Венеции» выделяются «субъект» (Густав фон Ашенбах), «объект» (юноша-поляк Тадзио, в которого тот влюбляется в Венеции), «отправитель» (неведомый путник, вызвавший у Ашенбаха тягу к путешествию), разнообразные «помощники» и «вредители» (среди последних – семья Ашенбаха, разум, социальный контроль, венецианская холера. Далее, начиная со встречи Ашенбаха и Тадзио конструируется дополнительная триада функций, где Тадзио как «анти-отправитель» толкает Ашенбаха навстречу смерти («анти-объекту»).

Точно следуя методике Греймаса, Бартон разлагает повествование на серию нарративных ходов («отправление субъекта в путь», «идентификация объекта», «интоксикация объектом», «неудачная попытка противостоять интоксикации», бежав из Венеции, «неудачные попытки установить контакт с объектом», т.е. провал «квалифицирующих тестов», которые могли бы утвердить героя в качестве претендента на обладание объектом, затем «слияние объекта и анти-объекта», т.е. отправление навстречу смерти, и, наконец, достижение ее). Вслед за этим виртуозным анализом, проследив глубинные оппозиции текста, такие как «жизнь» – «смерть» – «не-жизнь» (разум) – «не-смерть» (красота) и т.д., Бартон подходит к действительно роковому для всей этой методики вопросу: почему герой вообще должен погибнуть? Прделанный анализ связывает его ги-

бель с провалом «квалифицирующих тестов», невозможность войти в контакт с Тадзио, но это объяснение не кажется достоверным.

Все повествование, начиная с момента, когда героя охватывает тоска и он покидает свой дом и свою работу, может быть прочитано не как рассказ о поиске героем некоей цели, удачном или неудачном, а как история постепенного отчуждения Ашенбаха от себя самого, кончающаяся смертью, сдачей позиций, на которых он стоял всю жизнь. По мысли Бартона, не менее убедительно, чем в качестве повести о неудачном поиске Тадзио или удачном поиске смерти, новелла Т. Манна может быть представлена в виде сюжета о человеке, вообще ничего не ищущем, но переживающем независимое от его воли приключение, в ходе которого, открывшись «интоксифицирующим» его внешним силам, он теряет свои привычки, свои убеждения, разум, жизнь. Но при таком прочтении – как процесс, состоящий из вереницы потерь, – сюжет «Смерти в Венеции» не поддается формализации в системе Греймаса, как и вообще ни в одной из методик, принадлежащих к рассматриваемой парадигме¹.

Бартон тонко показывает, насколько толкование «Смерти в Венеции», диктуемое греймасовской методикой согласуется с «субъектоцентристскими» стереотипами, укоренившимися в европейском культурном сознании. Судьба Ашенбаха почти неизбежно прочитывается философски образованным читателем XX в. во фрейдистском или платоновском идеологическом ключе – и в обеих гибель героя связывается с неверным выбором им объекта: по Платону, подобный герой должен погибнуть из-за «зацикленности» на материальном объекте, не позволяющей ему возвыситься до идеи «воспитывающей» красоты, по Фрейду – из-за разрушительного начала, заключенного в аномальном влечении. Объяснения греймасовского, платоновского и фрейдовского типов объединяет трактовка страсти как отношения между субъектом и объектом. Соответственно, гибель она может нести либо из-за неверного выбора объекта, либо из-за неправильного обращения с ним. Объяснение, из которого исходит Бартон принципиально иное: страсть – безобъектное состояние, предсказуемое относительно субъекта и разрушительные ее свойства определяются лишь спецификой этого состояния и готовностью – неготовностью героя к нему.

Важнейшим результатом критики Бартона для нас является разграничение двух видов сюжетов (иногда это две трактовки одного сюжета), которые можно назвать активными и пассивными, или процессными (различие, прямо отвечающее оппозиции активных и стативно-процессных типов предложений во многих языках мира). Первые отражают деятельность героя по достижению им поставленных перед собой целей, вто-

¹ Модель К. Бремона предполагает описание процессов ухудшения, но у него этот процесс связывается с провалом попыток избавиться от уже наступившего ухудшения, которое вводится как данность. Процесс ухудшения сам по себе в общем случае независим от действий героя и никак не формализуем.

рые – изменения внутреннего и внешнего состояния героя в результате углубляющегося переживания им процессов, не зависящих от его воли. Сюда принадлежат отнюдь не только обычные в литературе истории умирающих, сходящих с ума, морально перерождающихся героев. Достаточно сопоставить «Замок» и «Процесс» Кафки, чтобы убедиться в их типологическом различии: «Замок» – повествование «активного» типа; герой появляется с заложенной в него целью проникнуть в замок, и весь роман – история построения и провалов различных сценариев достижения этой цели; «Процесс» – в полном смысле слова «процессный» роман; над героем идет суд, в который он вмешаться не в силах, и его роль сводится к сдаче позиций вплоть до соучастия в собственной казни. Разумеется, в сюжеты, построенные по «процессной» программе, могут включаться подпрограммы активного типа (тщетная попытка героя «Процесса» выяснить суть обвинения и т.п.), однако принципиально положения это не меняет. «Процессный» класс нарративов чрезвычайно трудно формализовать – отчасти из-за исключительной значимости для их понимания имплицитных дескрипторов исходных состояний. В истории болезни и постепенного умирания – как формализовать исходное состояние «здоровья»? В истории сумасшествия – как формализовать изначальный «здравый рассудок»?

Между тем существуют историко-политические сюжеты, для адекватного представления которых ответы на подобные вопросы обладают огромной практической значимостью. Таков, например, имеющий многотысячелетнюю историю сюжет «упадка и крушения держав-гегемонов». Если «возвышение» государства может быть описано как выдвижение и реализация целей, ведущих его к вершине могущества, то упадок – это не просто цепь неудачных попыток еще более улучшить свое положение (иначе нельзя было бы понять, почему к упадку относят длительные периоды стагнации без заметных катаклизмов). Не так давно Х. Олкер, Т. Бирстекер и Т. Иногучи в своей реконструкции сюжетных схем, описывающих историю сверхдержав XIX–XX вв. (Англия, Япония, Германия, отчасти США), противопоставляют фазу «максимального расширения» (территориальной экспансии, военно-политического и культурного влияния) фазе растущего внешнего сопротивления этому влиянию и «упадка», куда входят постепенное ослабление и раскол блоков, вереницы независимых частичных «ухудшений» и провалов очередных попыток экспансии, утрата верного понимания реальности и т.д. вплоть до перерождения бывших гегемонов в младших партнеров новых, возвышающихся претендентов на ведущую роль [Alker, Biersteker, Inoguchi, 1985]. Очевидно, что построение моделей для историй «упадка» или, например, для нарративов, которые описывают взаимоналожение экономических циклов различной длительности, трактуемых как «заболевания» с последующим частичным или полным «выздоровлением» отдельных сфер экономики, требует иных сюжетных схем, чем схемы «активного» типа в виде цепочек из

«замыслов», «действий» и удачных либо неудачных «результатов». В этом направлении некоторые возможности предоставляет предложенная еще в 70-х годах К. Брето и Н. Заньоли [Брето, Заньоли, 1985] методика анализа сюжета по диадам, когда любая функциональная связь между двумя персонажами позволяет преобразовать их в фабульную единицу – диаду. Диада может конституироваться, функционировать и разрушаться, причем разрушение может происходить как на эмбриональной стадии конституирования диады (кризис конституирования), так и на стадии функционирования (кризис функционирования). Нарратив разбивается не на эпизоды из возникающих перед персонажем проблем, реакций и результатов, а на ситуации, определяемые через возникновение или распад диады. При желании эта методика может быть связана с «синтаксической» парадигмой – ибо многие сюжеты подвергаются разложению на «исходные положения», «переходы» (включая «конституирования» с удачным или неудачным завершением и «кризисы») и «конечные положения»; аналогично генеративной схеме Дж. Принса. Однако существеннее то, что в варианте Брето–Заньоли между этими звеньями отсутствуют какие бы то ни было обязательные формальные связи: возможны нарративы, целиком описывающие функционирование диады (скажем, день в жизни некоего семейства как таковой) или целиком исчерпывающиеся описанием «кризиса конституирования» (например, несчастной влюбленности). Уже из этого видно, что методика Брето–Заньоли на самом деле «неграмматична»: она интерпретирует, ничего не предсказывая и не предписывая. Отличительное свойство этой методики состоит в ее глубокой приспособленности к описанию разнообразных процессов. Вообще, это методика, по преимуществу ориентированная не на «активное», а на «процессное» осмысление сюжета. Если объекты и свойства, которыми располагает объект, переписать в качестве вторых компонентов диад, конституируемых отношением отчуждаемой или неотчуждаемой собственности между этими компонентами и субъектом, тогда любой процесс «ухудшения» или «улучшения», сдачи или усиления позиций может быть описан в терминах истории таких диад (в частности, «распад» субъекта может быть представлен как кризис диад неотчуждаемой собственности).

С иных позиций, нежели Р. Бартон, критику очерченной парадигмы ведет Э. Стюарт, начинавшая в 70-х годах с яркой книги об эвристической роли изобразительных схем в лингвистике [Stewart, 1976], в недавней статье, развивающей идеи этой книги, она трактует «синтаксическое» направление в нарратологии не только как выражение ориентации нарратологов на лингвистические представления об устройстве любых продуктов речевой деятельности, но в равной мере – как следствие вторжения в новую область визуальных моделей, длительное время контролирующей формулировку и разработку самих лингвистических концепций [Stewart, 1987]. В качестве таких моделей Стюарт уже в первой книге рассматривала, наряду с матрицей и, в некоторой степени кубом, различные варианты

ориентированного графа, «ветвящегося дерева», ставшего едва ли не самой заразной и навязчивой метафорой в лингвистике XX в. Примером волновой теории света автор иллюстрирует ту мысль, что проведение параллелей между имплицитными свойствами метафорических моделей и признаками моделируемых объектов (отражение волн / отражение света, амплитуда / яркость, частота / цвет) естественно завершается уподоблением объектов моделям, конструированием «нейтральных аналогий», постулирующих для объектов признаки, которые для них не прослеживаются, но выводятся из устройства модели (идея эфира, обладающего плотностью и иными свойствами жидкости).

«Дерево» Стюарт рассматривает как графическую метафору с двумя важнейшими эвристическими свойствами: 1) различием элементов несовместимых и «не-несовместимых», причем первые, тянущиеся по одной линии от корня к терминальным узлам, могут противопоставляться между собой как «глубинные – поверхностные», «базисные – вторичные», «древние – новые» и т.п.; 2) идеей дивергенции, формирования новых единиц прежде всего путем некоего расщепления «базисной единицы», «единицы-источника» [Stewart, 1976, p. 14–15]. Три прообраза для «дерева» в лингвистике по Стюарт – генеалогические «деревья», «дерево происхождения видов» в биологии и текстологические стеммы – несут в себе оппозиции «предков / потомков» *гесп.* «оригиналов / списков», а также концепцию накопления изменений через дивергенцию при сохранении «наследственной основы», восходящей к узлу- «источнику».

Согласно материалам Стюарт, распространение метафоры «графического дерева» в лингвистике происходит двумя способами: либо перенос ее из одной области в другую сопровождается осмыслением предметных отношений внутри последней по образцу предыдущей стадии на пути метафоры, либо имеет место «свежее» осмысление неких структурных отношений через «внутреннюю форму» метафоры-модели. Случай первого рода – проникновение «дерева» из сравнительно-исторического языкознания в языковую таксономию и далее в компонентный анализ, когда каждый раз при новом переносе очередной объект метафоризации осмысляется по типу предыдущего – скажем, через идею филогенетической связи таксономически сопоставляемых объектов либо толкование компонентного анализа как типологии «в своем роде». Иной случай – «дерево» в грамматике непосредственно составляющих и в генеративной теории, где связанный с «деревом» концепт «порождения» стал метафорой для простого переписывания, подстановки одного знака (или группы знаков) на место другого. Возможно, этим обновлением метафоры вызвано и оживление коннотаций, сопряженных с самим словом «дерево» – отсюда отмечаемый Стюарт расцвет в англоязычной структурной лингвистике садоводческой терминологии вроде «прививок», «подрезок» и т.п. [Stewart, 1987, p. 94–101].

По мнению Стюарт [Stewart, 1987], моделирующим влиянием зрительной метафоры «дерева», ориентированного графа как в лингвистике,

так и в «инфицируемой» ей нарратологии, во многом определяется приписывание объектам этих дисциплин – структуре предложения и структуре повествования – по «нейтральной аналогии» свойств двумерности, временной линейности, дискретной и непрерывной последовательности элементов на каждом уровне, иерархичности отношений между «глубинными» и «поверхностными» *resp.* «порождающими» и «порождаемыми» элементами. В нарратологии такому видению объекта противоречит прежде всего возможность сосуществования в одном нарративе множества перебивающих друг друга сюжетных линий, благодаря чему эпизоды, появляющиеся один за другим перед слушателем или читателем во временной последовательности, могут не иметь между собой ничего общего в смысле последовательности фабульной. Очевидно, что правильное восприятие такого повествования читателем или слушателем возможно лишь, если обработка информации будет иметь нелинейный характер, так что он сможет соотносить возникающие эпизоды со всеми линиями повествования, хранимыми в его памяти, т.е. данные, принадлежащие к разным фабульным последовательностям, будут обрабатываться параллельно или одновременно [см. также: Ryan, 1987].

Под сомнение ставится и адекватность процедуры «разворачивания» сюжета, перехода от более глубинных слоев к более поверхностным для описания реальных процессов построения повествования или извлечения его из памяти, в самом деле, вспоминая сюжет, едва ли мы видим перед собой сперва некие цепи эпизодов, так чтобы затем эти эпизоды разбивались на «завязки», «развития» и «результаты», а в «завязках» выделялись чьи-то «реакции» и «выработки целей» – скорее, мы представляем некую динамичную совокупность отношений между персонажами и преобразования, которые она претерпевает по ходу рассказа, поэтому вызывает сочувствие замечание Стюарт о желательности при анализе повествования иметь возможность отхода от иерархических генеративных моделей в пользу иных схем: образцами таковых могут служить встречающиеся в лингвистических работах рисунки, представляющие связи внутри предложения в виде непосредственно заданных пучков отношений между его членами, где доминирование одних слов над другими, естественно, передается отношением центральности, а не дивергентной иерархии. Речь идет, конечно, не о механической трактовке сюжета как «большого предложения», но о выработке графических форм, которые могли бы закрепить иное, более адекватное видение данного аспекта «жизни» повествования.

Итак, критики теории нарративных грамматик выдвигают перед наукой о повествовании следующие проблемы, с которыми, на их взгляд, эта теория не справилась.

Во-первых, это разработка методик, позволяющих анализировать реальное восприятие повествования читателями и слушателями как восстановление сюжета из текста.

Во-вторых, это создание моделей, описывающих устройство хранимых в памяти «содержательных каркасов», прочитанных или услышанных текстов и процедуры извлечения из нее соответствующих сюжетов.

В-третьих, встает задача-максимум, выдвинутая Х. Олкером [Олкер, 1987, с. 410–413], – разработка интерпретирующих моделей, позволяющих объяснить способность подобных «семантических сверток» оседать в сознании людей в качестве мотиваций, побуждающих к действиям определенного рода (ср. прочтения сюжета «Смерти в Венеции», разобранные Р. Бартоном: «объектное» прочтение извлечет из текста, при всей его философской глубине, самый трюистический моральный урок о гибельности неправильного выбора объекта желаний либо неверного поведения по отношению к нему; «процессное» прочтение требует, осознавая гибельную силу влечений и независимость их от воли человека, быть готовым встретиться с ним так, чтобы при этом сохранить себя).

Наконец, в-четвертых, подобные исследования должны подвести к пониманию настоящей роли «синтаксических» фабульных схем в организации повествования. Весьма соблазнительна мысль об «отказе от абстрактных промежуточных категорий», о непосредственном преобразовании воспринимаемого текста в редуцированную семантическую структуру, из которой может быть получен его пересказ. Тем не менее повторяемость результатов, достигнутых столь многими исследователями, занимавшимися «синтаксисом» текста, исходя из различных посылок, более того – наличие общего инварианта, лежащего за схемами, на вид демонстрирующими значительное разнообразие, – все свидетельствует о реальном существовании и конструктивной значимости того уровня, на котором действует этот инвариант. Нарратологическая теория, игнорирующая этот уровень, будет неизбежно ущербна – хотя и по-другому, нежели теория, неспособная выйти за его пределы.

3. На подступах к общей теории повествования

Перехода от примеров критических атак против «синтаксической» парадигмы к качественно новым фундаментальным результатам, полученным за последнее десятилетие, можно отметить, что особенно активно еще на рубеже 70–80-х годов начала решаться вторая из очерченных проблем – проблема «сюжетных сверток», редукции повествования к такой базисной записи, из которой может быть порожден его пересказ. В работах Б. Брюса, Р. Виленского [Bruce, 1980; Thorndyke, Yekowich, 1980] и др. такая базисная запись трактовалась как отражающая цели и планы отдельных персонажей, их представления друг о друге и сценарии их столкновений в борьбе за достижение своих целей. Однако надо учитывать, что использование планов и сценариев ни в коей мере не составляет специфики повествования: те и другие являются универсальными формами представ-

ления знаний о мире [ср.: Schank, 1977]. Возникает вопрос: возможна ли такая свертка структуры повествования, которая, в отличие от универсальных схем, порождаемых нарративными грамматиками, обеспечивала бы сохранение всех существенных черт конкретного сюжета и в то же время не растворяла бы правил, которые необходимы для идентификации именно сюжетного нарративного каркаса, в совокупности знаний о мире вообще, используемых при восприятии текста?

На сей день наиболее совершенной методикой «свертывания» повествований, приведения их к виду собственно нарративных «генетических формул» следует считать разработанную У. Ленерт [Lehnert, 1981; Lehnert, 1982] методику выделения «аффективных сюжетных структур». Отечественному читателю эта методика во многом уже известна по ее пересказам в ряде оригинальных и переводных работ [Олкер, 1987; Сергеев, 1987]. В ее основе лежит анализ сюжетных линий отдельных персонажей с обобщенным выделением позитивных (+) и негативных (-) событий, а также класса внутренних ментальных состояний (М). Между событиями и состояниями устанавливаются пять возможных типов связей: 1) «актуализация» (а) ментальных состояний, кончающаяся успехом (+) или неудачей (-); 2) «мотивация» (м), отражающая возникновение нового ментального состояния (например, намерения на основе некоего предшествующего состояния или происшествия); 3) психологическая «эквивалентность» (е) между двумя ментальными состояниями или различными типами происшествий; 4) «терминация» (т), смена одного действия – или, соответственно, состояния – другим; 5) различные способы сочетания эмоциональных состояний для пар персонажей (диад).

Отметим, что в отличие от модели Брето–Заньоли, где диада есть функциональная связь персонажей, единица повествования, переживающая в нем свои «жизненные фазы», у Ленерт они лишь результат отношения, устанавливаемого в данный момент не между двумя персонажами как таковыми, а между событиями или состояниями в их «историях» (возможно, это различие, органически связанное с различием установок на активный vs процессный тип повествования. В итоге выделяются 20 «аффективных сюжетных единиц», каждая из которых получает особое название («Успех», «Неудача», «Упорство» и т.п.). Из этих простейших единиц образуется значительное число «молекулярных» сюжетных образований, также с особыми именами – скажем, сложное образование «Ускользящий Успех» складывается из последовательности «атомов» «Успех + Поражение», молекула «Отказ-от-Цели» – из трех атомов «Неудача + Проблема + Изменение Намерений» и проч. При кодировке текста в виде цепи «аффективных сюжетных единиц» каждому событию (+/-) или состоянию (М) приписывается словесная краткая формулировка, отражающая их реализацию в тексте.

Техника анализа, разработанная Ленерт, обнаружила исключительные возможности моделирования повествований различных, в основном

«активных», типов. Одна из важнейших задач, которые она позволяет решить, – это объяснение механизмов возникновения различных «неэквивалентных» изложений для одного и того же события или расходящихся пересказов одного сюжета. Скажем, сопоставление записей для двух пересказов «Истории о соперниках Джоне и Билле» – (1) «Джон победил Билла в продвижении по службе и тот, уйдя со службы, основал собственное дело; когда спустя три года Джон пришел просить у него работы, Билл из мести прогнал его» и (2) «Билл из мести принял Джона, который в свое время опередил его в продвижении по службе» – сразу вскрывает отсутствие в «аффективной структуре» второго пересказа трех важных единиц: выпадают «Проблема (=поиск нового приложения сил)», вставшая перед Биллом после служебной неудачи, «Успех» Билла и обеспечиваемая этим абстрактная «Возможность» для Джона получить работу у Билла. Во втором случае мы не знаем, в чем, собственно, Билл мог отказать Джону (возможно, тот просил у него займы денег?). Анализ текста по «аффективным сюжетным единицам» – единственный в своем роде объективный инструмент для сравнения разнородных интерпретаций событий, хотя, конечно, значение методики Ленерта этим не ограничивается (например, она позволяет выявлять более или менее связанные виды сюжетов, выделять различные сюжетные узлы, с которых можно начинать пересказ, представляя события в разных ракурсах, и т.п.).

На одном примере, заимствованном у Ленерта [Lehnert, 1982], можно хорошо показать соотношение между уровнем повествования, задаваемым «аффективными сюжетными структурами», и тем уровнем, закономерности организации которого описываются нарративными грамматиками. Это – анализ рассказа О'Генри «Дары волхвов». Очевидно, что если мы будем брать линии каждого из героев по отдельности, то часть фабулы до вручения подарков может быть списана по схеме: «исходное состояние – развитие – конечное состояние» или «замысел – исполнение – результат», где «исполнение» (покупка подарков) расчленилась на два хода, соответствующие достижению двух целей: продаже (героиней – волос, героем – часов) и покупке (ею – цепочки, им – украшения для волос)¹. Но как быть с конечным эпизодом встречи рождества? Если принять за исходное состояние для каждого из героев комбинированное «намерение преподнести подарок + готовность получить подарок от другого», то «развитием» оказывается обмен подарками и обнаружение их бесполезности. Последнее, однако, невозможно объяснить, оставаясь только в рамках данного эпизода, а то, каким образом в «развитие» данного эпизода, может быть включена информация из предыдущего эпизода (приобретения подарков) – ни одна повествовательная грамматика не объясняет. Далее, если описать «развитие» таким образом, как сказано выше, то конечным состоянием

¹ Что-то вроде греймасовской схемы для сказки с накоплением недостатков (отсутствие подарка + отсутствие денег) и поэтапным их снятием.

может быть только взаимное разочарование героев, а не их любовь и восхищение друг другом. Анализ по «аффективным сюжетным единицам» легко справляется с этими трудностями, представляя данный эпизод в следующем виде:

Делла			Джим
продает волосы	+	+	продает часы
.....	t	t
.....		
дарит цепочку	+	+	дарит украшение
получает украшение	-	-	получает цепочку
видит ненужность цепочки	-	e	e - видит ненужность украшения
видит любовь Джима	+	+	+ видит любовь Деллы

Значит ли это, однако, что схема «исходное состояние – развитие – конечное состояние» или «замысел – исполнение – результат» применительно к данному эпизоду не имеет силы? Конечно, это не так, поскольку в развитии сюжета выделяемы начальное и конечное состояние героев и переход между ними. Но ясно и то, что эта формальная регулятивная схема, определяющая «грамматические» требования к повествованию, вчитывается в уже наличную и глубоко индивидуальную «аффективную сюжетную структуру», компоненты которой распределяются между звеньями фабульной цепочки подобно тому, как между этими звеньями применительно к иным сюжетам способны распределяться компоненты самых разных «аффективных структур». Все это сильно напоминает соотношение между исключительным многообразием возможных комбинаций разных слов в предложениях и стереотипностью формальных синтаксических схем, заполняемых этими словами.

С другой стороны, думается, Ленерт напрасно сетует на огрубленность техники, различающей лишь «позитивные» события от «негативных», а те и другие вместе – от ментальных состояний, и надеется в дальнейшем усовершенствовать ее, выведя дефиниции более тонкие. Дело в том, что необходимость развития в этом направлении в рамках анализа нарративных структур, может быть, даже методологически проблематична: уже на данном этапе, ссылаясь на разработки Р. Шенка и Р. Абельсона [Schank, Abelson, 1977], при конкретизации того, что следует понимать под позитивными и т.д. событиями, Ленерт явно переходит от исследования собственно дискурса к организации знаний о мире, использованных в рамках этого дискурса. Именно этой организацией занимаются Шенк и

Абельсон, и неслучайно подобные определения по типу сходны с операциональными этологическими определениями в «Риторике» Аристотеля.

Нет оснований думать, будто нарратологический анализ может не считаться с этой информацией. Напротив, анализируя повествование в категориях «аффективных сюжетных структур», исследователь должен понимать пограничное положение последних; каждая из них, будучи представлена в тексте, соотносится в одном плане с формальной организацией фабулы, а в другом – с такими общими знаниями о моделируемом повествованием мире, которые как предмет анализа не составляют исключительного достояния нарратолога, но вполне описываются, например, в категориях концептуальных зависимостей Шенка. Аффективные единицы Ленерт еще и в том смысле подобны словам в языке, что за каждой из них закреплена совокупность как семантических (концептуальных), так и формально-синтаксических признаков.

Если анализ Ленерт по существу ведется на «дофабульном» уровне – на уровне тех комбинаций нарративных единиц, из обобщения и схематизации которых складывается представление о развитии фабулы, то интересы М.-Л. Райен в ее работе об «оконных структурах» повествования [Ryan, 1987] сосредоточены на переходе от фабулы к «сюжету» в опоязовском понимании [Тынянов, 1977, с. 317] – к воплощению фабулы в словесном материале, в цепи конкретных высказываний, воспринимаемых читателем. Метафора «окна», по замечанию Райен, в равной мере компьютерного и телевизионного происхождения. Когда текст просматривается на экране компьютера, «окно» – это часть текста, непосредственно выхватываемая экраном. По ходу просмотра содержание «окна» может переменяться либо целиком, либо постепенно – и тогда текст как бы скользит перед экраном. И точно так же при телепередаче одно изображение на экране может полностью замещаться другим или между изображениями сохраняется частичная связь: например, различные субъекты сменяют друг друга на фиксированном фоне, или камера следует за субъектом, в то время как фон меняется по мере передвижения его или, наконец, поле зрения то расширяется, то сужается до одной детали предшествующей картины. Используя выражение «оконная структура», Райен уподобляет сюжет последовательности «окон», фиксируемых воображаемой телекамерой.

Одно «окно» целиком замещается другим при полной перемене всего набора референтов – персонажей и места действия. Сюда же относятся переносы во времени – персонаж со скачкообразно измененным обликом, по-видимому, трактуется как иной персонаж (например, «старый Х.» vs «молодой Х.»). В иных случаях между «окнами» устанавливаются генетические связи по типу «расщепления» (когда повествование, подобно телекамере, фиксирует локальный фон или следует за одним персонажем, теряя из поля зрения остальных) или «слияния», если набор референтов предыдущего «окна» включается в набор референтов «окна» последующего (разумеется, возможны и комбинации «расщепления» со «слияниями»).

Между «окнами», замещающими друг друга, могут вводиться связки с помощью сигнальных оборотов (например: «А в это самое время...») или / и посредством приема «непрямого видения» («Что-то сейчас делает X? – подумал Y. – X был у себя дома...»).

«Окна», существующие независимо друг от друга, все равно – имеют между ними генетические связи или нет, Райен определяет как «латеральные» по отношению друг к другу, в отличие от «окон», «встроенных», «окон в окнах», каковы обрамленные рассказы персонажей. Однако ведь известно немало литературных приемов, когда персонаж из встроенного рассказа в дальнейшем прямо появляется на сцене и включается в действие. Мы могли бы назвать этот тип «окон» «встроенно-латеральными» или «окнами непрямого видения», имеющими амбивалентный статус: через одно «окно» видится другое, соотносимое с независимым отрезком той же фабулы. С другой стороны, Райен выделяет тип «виртуальных окон» (в отличие от «актуальных»), используемый, когда в рамках данного «окна» необходимо ретроспективно восстановить часть фабулы, не нашедшую воплощения ни в одном из предшествующих «окон» (пример – краткий рассказ о более раннем периоде жизни уже введенного в действие персонажа).

Как сюжетная «оконная структура» соотносится со структурой представляемой ею фабулы? Существенно, что, описывая процедуры выделения «окон», Райен постоянно то опирается на строение фабулы, то отталкивается от него. Сюжет определяется через отношение к фабуле. Для последней же выделяются два вида подструктур: во-первых, «линии повествования», цепочки эпизодов, каждая из которых соответствует истории одного персонажа. Во-вторых, по обычным схемам повествовательных грамматик из этих «линий» вычленяются «подсюжеты», имеющие вид: «проблема персонажа» + «попытки ее разрешения» + «контрэффект» (реакция со стороны других персонажей) + «результат» + «побочные эффекты», иначе говоря, «проблема» – «попытки» – «результат» в пределах одной линии вместе с возбуждающим действием этой триады на другие линии, если таковое прослеживается.

От сочетаний «линий повествования» зависит минимальное число «окон», актуальных или виртуальных, необходимое для воплощения данной фабулы. Процедура их подсчета выглядит так: связав все эпизоды с участием каких-либо персонажей линиями их судеб и соединив особыми линиями близкие во времени эпизоды, происходящие в одном месте, выработывают такой путь через граф, который прошел бы через все эпизоды, по возможности совпадая с уже проведенными линиями. Число вынужденных «перепрыгиваний» с одной линии на другую будет минимальным числом перемен «окон», необходимым для построения соответствующего сюжета. Иначе подсчитываются реальные переменные «окон» в наличном тексте. После вычерчивания связей между эпизодами последние нумеруются в порядке их появления в тексте. Число «перепрыгиваний» между линиями, которое необходимо для выработки пути, соответствующего по-

следовательности эпизодов в повествовании, и есть реальное число «окон» в нем. Ясно, что соотношение этих показателей определяет избыточную автономную усложненность сюжета по сравнению с требованиями, которые к нему предъявляет фабула.

Конечно, с точки зрения фабулы отличие «актуальных окон» от «виртуальных» несущественно, и трансформации, преобразующие «виртуальное окно» в «актуальное» (можно сперва кратко изложить более раннюю историю персонажа, а затем ввести его в действие), не затрагивают фабулы. Их оппозиция действительна лишь на уровне сюжета, где «виртуальность» «окна» однозначно определяет, в какой момент оно сольется с «управляющим окном». После слияния «виртуальные окна» трактуются как «мертвые», не подлежащие актуализации, и эта их особенность целиком определяется устройством «оконной структуры». Напротив, «актуальные окна» могут быть замещены как в «открытом», так и в «закрытом» состоянии, и определяется это соотношением «окна» с развитием фабулы; «окно», замещенное до развязки «подсюжета», до того, как попытка персонажа разрешить свою проблему обрела некий исход, *должно* в той или иной форме возникнуть в повествовании; с «окном» же, замещенным в момент развязки «подсюжета», это лишь *может* произойти.

Точно так же, в зависимости от того, исчерпан или нет «подсюжет», слияние «окна» с каким-то другим «окном» имеет «пассивный» или «активный» характер, и соответственно новообразованное «окно» либо просто поглощает своего предшественника, либо выступает его сюжетным продолжением. Это очень важный момент, обнаруживающий значимость опознания «синтаксической» фабульной развертки для адекватного восприятия текста читателем. На чисто семантических основаниях, например исходя из кодировки повествования в категориях аффективных сюжетных единиц, объяснить различие «открытых» и «закрытых окон» намного сложнее¹. Любопытно, что данное различие сформулировано лишь для активных сюжетных структур. А как обстоит дело с процессными сюжетами? Может ли для них критерием «открытости окна» служить замещение другим в момент перехода между двумя ясно определенными состояниями героя? Об этом следует еще думать.

¹ Касаясь «встроенных окон», отметим их функциональную близость к «окнам виртуальным» в смысле предполагаемого неизбежного возвращения к «управляющему окну». Тип «окна», не отмеченный Райен, который мы назвали «встроенно-латеральным», по сути, выполняет ту же роль, что «виртуальные окна», вводя в повествование часть фабулы не в том месте, где бы ей следовало стоять, исходя из развертывания этой фабулы во времени. На наш взгляд, по отношению к «встроенным окнам» оппозиция актуальности-виртуальности нейтрализуется, и предлагаемое Райен выделение «виртуальных встроенных окон» (вставные рассказы, передаваемые посредством косвенной речи) неоправданно. Специфично для «встроенных окон», как нам кажется, что они не вызывают никаких – ни позитивных, ни негативных – ожиданий относительно способа и самой возможности их слияния с иными «окнами». Типология этих ожиданий в данном случае нерелевантна.

Размышляя об устройстве «когнитивной структуры повествования», под которой Райен понимает особенности отображения мира нарратива в сознании его персонажей и читателя, она распределяет различные аспекты этой структуры между уровнями фабулы и сюжета. Если «внутренняя когнитивная структура нарратива», воплощенная в сознании персонажей, предопределена развитием фабулы (хотя и отраженным в расщеплении и склеивании «окон»), то «внешняя структура» – понимание повествования читателем в значительной степени обусловлена способом разложения фабулы по «окнам». Что до «смешанной когнитивной структуры нарратива» (доступа читателя к сознанию персонажей), то парадоксальный тип ее, когда читатель знает о происходящем меньше некоторых героев, задается отождествлением поля зрения читателя с «окном», открытым перед другими, «несведущими» героями. Например, реальные действия Шерлока Холмса так же, как обычное их изложение этим героем в заключении большинства новелл, могут быть представлены по «синтаксической» схеме «проблема – попытки решения – результат». Но поведение Холмса, воспринимаемое читателем из «окна» Ватсона, не представимо таким образом из-за фрагментарности восприятия Ватсона: по большей части он видит проблему, но не воспринимает действий Холмса как этапов на пути ее решения. Рассказ приобретает завершенность, коль скоро *post factum* сюжет ложится на четкий формально-фабульный каркас.

Надо заметить, что когнитивная структура повествования, помимо аспектов, указанных Райен, часто имеет еще один слой, во многом играющий регулятивную роль по отношению к базисной аффективной структуре текста. Это идеология, приписываемая героям, совокупность принципов интерпретации данных, ответственная, например, за выводы, которые делает Холмс, и за то, что бедствия Мармеладовых толкают Раскольникова на путь убийства. Интересное развитие методики Ленерт, позволяющее сочетать идеологическую модель сознания персонажа со схемой развертывания цепи его поступков, недавно предложено В.М. Сергеевым [Сергеев, 1987].

В конечном счете исследование Райен раскрывает не только механизмы образования сюжетного уровня, непосредственно доступного читателю, но и значение абстрактного синтаксиса фабулы в этих процессах. Однако вопрос о способах преобразования сюжетной структуры в семантическую структуру предложений, из которых складывается повествование, остается во многом непроясненным. Очевидно, что для ответа на него теория повествования должна вступить во взаимодействие с какой-то более общей теорией значения, способной ввести семантику предложений и даже синтагм в иерархию значений разных уровней, связующую текст в нарративное целое с единой темой, структурируемой по мере развертывания повествования. На роль такой общей теории претендует концепция психосемантической структуры повествования, свыше 20 лет развиваемая С. и Г. Крейтлерами [Kreitler, Kreitler, 1986].

Методики Ленерт и Райен, взятые в сравнении, обнаруживают замечательную взаимодополнительность. В настоящее время они могли бы

рассматриваться как части *общей теории повествования*, охватывающей все пространство между знаниями о мире, которыми располагает повествователь и которые он предполагает в своих читателях, и семантикой отдельных предложений, из которых он строит рассказ. Аффективные сюжетные структуры Ленерт составляют своего рода словарь, из которого может быть построено любое повествование. Единицы, включенные в этот словарь, «лексемы нарратива», двусторонни, соотносясь как с уровнем знаний о мире, воплощенным, например, в концептуальных зависимостях Шенка, так и с позициями, которыми оперируют «синтаксические» нарративные грамматики. Но двусторонни и «оконные структуры» Райен, которые обращены в одном аспекте к «синтаксису» фабулы, а в другом – к семантике отдельных высказываний, на которой смыкаются сюжетный и собственно языковой ярусы повествования. Правила образования «оконных структур» – это в своем роде «морфология нарратива». Ее единицы, имея «синтаксическую значимость», т.е. соотносясь с развитием отдельных звеньев фабулы, в то же время внутренне организуются в соответствии с принципами развертывания семантики сюжета в семантику отдельных предложений.

Ни методика Ленерт, ни сюжетный анализ Райен не отменяют результатов, полученных в теории нарративных грамматик, – напротив, лишь формальный синтаксис фабулы дает нам набор признаков, позволяющий соотнести единицы Ленерт и единицы Райен, подобно тому, как в описании языка без формальной грамматики чрезвычайно трудно было бы состыковать семантический тезаурус со списком морфонологических правил. Все достигнутое в теории нарративных грамматик сохраняет силу с той оговоркой, что речь может идти не о порождении *повествования*, но лишь о порождении *синтаксического яруса* повествования. Последний не отождествим ни со структурой содержания рассказа, ни с его формальным устройством, через которое читателю или слушателю открывается структура. Синтаксис фабулы – это не то, «что» воспринимается и не то, «через что» это происходит. Скорее, это совокупность достаточно абстрактных отношений, делающих «что» и «через что» соизмеримыми между собой.

Таковы предварительные ответы современной нарратологии на три (а именно – первый, второй и четвертый) из четырех намеченных выше ключевых вопросов, т.е. на те из них, которые относятся к функциональным структурам конкретного повествования с точки зрения его восприятия и порождения, а также соотношения между этими процессами.

4. «Аффективные сюжетные единицы» и мотивационная значимость повествований

До сих пор в статье не затрагивался вопрос, связанный с прагматикой сюжетных структур, с их способностью воздействовать на сознание и поведение читателей и слушателей. Но и в этой области в 80-е годы дос-

тигнуто немало, в первую очередь благодаря «встрече» концепции «аффективных сюжетных единиц», из композиции которых при достаточной ее сохранности в памяти всегда может быть порожден пересказ исходного сюжета, с проблемой так называемых самореплицирующихся структур. Последняя проблема получила немалую популярность благодаря серии публикаций Д. Хофстедтера в журнале «Сайентифик американ» (см. их подборку в: [Hofstadter, 1985, p. 5–69]). Предметом этих заметок исходно были разные формы автореферентных предложений, т.е. предложений, сообщающих нечто о себе самих, своей структуре («В этом предложении без глагола семь слов») или своей соотнесенности с внешним миром («Ты только что начал читать предложение, которое ты только что кончил читать»). На стыке этих двух классов, выделяясь даже, возможно, в третий, оказываются «самоисполняющиеся пророчества» вроде «Это предложение тебе напомнит об Агате Кристи» или «Это предложение оборвется раньше, чем ты успеешь. . .» В своем обзоре Хофстедтер предложил читателям попытаться построить не просто «самоисполняющееся пророчество», но предложение-аналог к саморепродуцирующимся автоматам фон Неймана, т.е. автоматам, строящим свои собственные копии из «сырого материала».

По Хофстедтеру, в таком предложении должны различаться «сырой материал» (seed) из графически выделенных букв или слов и «образующее правило» (building rule); соотношение этих компонентов должно быть таково, чтобы с применением «образующего правила» из «материала» формировалась копия целого предложения, с «правилом» и «материалом», готовая к последующему повторению «образующего цикла». Такое предложение сочетало бы свойства «самоисполняющегося пророчества» с высокопрагматичной отнесенностью к читателям как к посреднику, обеспечивающему структуре ее размножение.

Идея Хофстедтера получила отклик у читателей «Сайентифик американ», не только разработавших ряд самореплицирующихся предложений-инструкций на английском языке¹, но и побудивших автора к более широкому обсуждению роли саморепликации сюжетных и смысловых схем в человеческой культуре. С подачи Хофстедтера, указавшего на генный аппарат живой клетки как на естественный прообраз автоматов фон Неймана, в обсуждении широко использовались генные аналоги. Между тем, сравнивая письма корреспондентов Хофстедтера с его комментарием к ним, легко заметить, что стороны пользуются двумя далеко не совпадающими, хотя равно почерпнутыми из биологии, метафорами. Отсюда постоянное смысловое напряжение диалога, хотя внешне нигде и не переходящее в полемику.

¹Простейший случай: after alphabetizing decapitalize FOR AFTER WORDS STRING FINALLY UNORDERED UPPERCASE FGPBVKXQSZ NON VOCALIC DECAPITALIZE SUBSTITUTING ALPHABETIZING, finally for nonvocalic substituting uppercase words [Hofstadter, p. 62].

Хофстедтер активно оперирует метафорой «генов культуры», ссылаясь при этом на таких философствующих естествоиспытателей, как Р. Сперри, Ж. Моно (с его раздумьями о параллелях между эволюцией царства идей и биосферы и об инфицирующей силе идей, основанной на «структурах, ранее существовавших в мозгу, среди которых – идеи, уже имплантированные культурой, но также, несомненно, некоторые врожденные структуры» [цит. по: Hofstadter, 1985, p. 50]) и особенно на Р. Докинса [Dawkins, 1976], который ввел термин «мем» как аналог к понятию «гена», служащий для обозначения единиц наследственной памяти культуры, включая «идеи, лозунги, фасоны одежды, способы изготовления посуды» и т.д. Словечко *тете* не только созвучно «теме» или «схеме», как полагает Хофстедтер, но также графически перекликается с англ. *memory* «память» (единицы памяти!) и с франц. *même* «сам» (ср. название книги Докинса «Эгоистичный ген»), а на слух [mi:m] сближается и с *mimic* «подражать» (мемы – структуры, распространяемые через подражание людей друг другу). Хофстедтер подхватил у Докинса и этот броский неологизм, и аналогию между передачей мыслей из сознания в сознание и движением генов в популяциях, а также концепты борьбы мемов за интеллектуальное и информационное пространство, взаимоподкрепляющихся мемов и т.п.

Совокупность самореплицирующихся ментальных единиц для Хофстедтера – нормальный «генный аппарат» культуры, а состояние этой постоянно мутирующей совокупности на любой данный момент представляет установочную «схему вещей», сквозь которую человеку в это время видится мир. Однако в то же время корреспонденты Хофстедтера С. Уолтон и Д. Гоинг, обсуждая сам процесс вторжения самореплицирующейся структуры в сознание человека, используют иную – не «генную», а «вирусную» метафору (ср. выше цитату из Ж. Моно об «инфицирующей» силе идей), и именно от Уолтона идут термины «вирусоидное предложение» и «вирусоидный текст», проникшие из статьи Хофстедтера к политологам и специалистам по искусственному интеллекту. Создатель этих терминов полагал, что вторгающаяся в сознание человека вирусоидная схема имеет вид: информация X плюс указание «твой долг – передать X другим». В принципе эту формулу, наверное, можно было бы привести к более общему виду: X плюс сообщение «усвоив и воспроизведя X, ты обретаешь благо», где «благо» может быть самым разным – сознание исполненного долга, разрешение жизненных противоречий, более глубокое понимание мира, спасение души, удовольствие от внимания слушателей и т.д.

В качестве примеров информации X, передаваемой таким образом, Хофстедтером приводятся образцы идеологических конструктов построенных по схемам «Всякий, кто не уверует в А, сгорит в аду» и «Злодей Y притесняет жертву Z». Между прочим, пародийный пример последней схемы «Самореплицирующиеся идеи сговорились поработить наше сознание», включенный в ту же статью [Hofstadter, 1985, p. 56], парадоксально напоминает сюжет известного романа К. Уилсона «Паразиты сознания»

[Wilson, 1986]. В этом романе крохотные, сугубо ментальные образования, угнездившись в сознании человека, поглощают его энергию. Делать это они могут лишь при условии, что человек перестанет быть открытым сам для себя, не сможет проникнуть в глубь своего сознания, где засели эти встроенные чужеродные элементы, паразитирующие на его энергии. Поэтому они приковывают внимание человека к внешним, посторонним объектам, навязывают ему увлечение этими объектами, служение им и т.п. В этом сюжете удивительно (для 1967 г., когда вышел роман) предвосхищены и сведены вместе еще до своей научной постановки две проблемы: проблема, «внутренних пределов роста», во второй половине 70-х годов ставшая важнейшей темой исследований Римского клуба [Botkin, Elmanjra, Malitza, 1979; Laszlo, 1979], и проблема самореплицирующихся структур, видимо, витавшая в воздухе до публикаций Хофстедтера. Впрочем, мемы оказались «счастливее» «паразитов сознания»: для последних в разоблачении заключалась гибель, когда как идея «вирусоидных фраз», «вирусоидных текстов» и т.п., как замечает Хофстедтер, обладает немалой заразительностью и сейчас уже, по-видимому, превратилась в новый, исключительно живучий мем.

Рассмотренная выше формула приводит к любопытному заключению. Уже из того описания структуры самореплицирующихся предложений, которое дает автор, очевидно, что «сырой материал» не такой уж «сырой»: для того чтобы из него можно было образовать новое предложение, совокупность символов, входящих в этот материал, должна находиться в ясном соответствии с набором символов, из которых составлено «образующее правило». Разрушив это соответствие, например, переведя с английского на русский язык процитированную выше самореплицирующуюся конструкцию, где преобразование «материала» в «образующее правило» достигается перестановкой слов в алфавитном порядке, – и уничтожаем способность предложения к саморепликации.

Аналогично обстоит дело и с «вирусоидными» ментальными структурами. Если информацию X в приведенной формуле рассматривать как «сырой материал», то «образующие правила» для ее репликации не могут быть не чем иным, кроме как некоторыми встроенными схемами, соотносящих эту информацию с какими-то ценностями (видами «блага»). Более того, если мы видим, что реплицируется особенно охотно информация, передаваемая по определенным стереотипам («Верящий в A спасется от гибели», «Злодей Y угнетает Z»), естественно заключить, что эти стереотипы и могут нести те признаки, по которым устанавливается соответствие информации X ценностным схемам – «образующим правилам» для мемов. Иначе говоря, стереотипы вроде выявления «злодеев» и «жертв» в такой же мере служат ценностной ориентации сознания, в какой они являются средством истолкования действительности, вчитывания в нее определенного смысла. Информация о действительности, передаваемая при помощи самореплицирующихся сообщений, – это информация уже «мифологизированная»,

где имена людей, государств, социальных институтов суть лексические единицы, подставленные на место символов X, Y, Z в клишированных схемах, которые, таким образом материализуясь, приводят в действие механизм саморепликации.

Вообще, все эти выводы, к которым толкает чтение Хофстедтера, чрезвычайно созвучны некоторым положениям, выдвинутым в посмертно опубликованных работах отечественного культуролога Э. Голосовкера [Голосовкер, 1987, с. 125–129, 138–141]. По его мнению, культура вся проникнута «идеалами постоянства» (ценностями), на каковые, как бы гарантирующие человеку «символическое бессмертие» его преходящих дел, он и ориентируется в политической, культурной, научной и иной деятельности. Саму историю, историческое творчество он склонен рассматривать с точки зрения воплощения этих идеалов; так возникают исторические мифы, то, что Голосовкер называет «предметными иллюзиями», когда в деятельности отдельных лиц, в образе конкретных эпох усматривается воплощение идеалов постоянства (ср. образы Вождя, Провидца, Тирана, Узурпатора или Героической Эпохи, Эпохи Истоков, Эпохи Упадка и т.д.).

Есть две точки соприкосновения между концепцией Голосовкера и размышлениями Хофстедтера: 1) указание на то, что «предметные иллюзии» в отличие от «идеалов постоянства» как чисто ментальных схем плохо поддаются интеллектуальной критике и потому особенно заразительны, они воспринимаются как прямое, вещное воплощение некой ценности или антиценности в истории; 2) для превращения исторического лица или события в «предметную иллюзию» об этом лице или событии не нужно знать ровным счетом ничего, кроме, того, что в них отвечает «идеалам постоянства» (ср. замечания Хофстедтера [Hofstadter, 1985, p. 62] о безразличии идеального самореплицирующегося предложения к специфике «сырого материала», за вычетом тех его формальных характеристик, которые отвечают характеристикам «порождающих правил»).

Такое толкование хорошо отвечает «генной метафоре», трактующей историческую конкретику как строительный материал для самовоспроизводства «клеток культуры». Но оно не проясняет того феномена, который непосредственно выразила «вирусная метафора»: в то время как одни «предметные иллюзии» остаются уделом ограниченного числа людей, другие, формально образованные по тем же схемам и в тех же условиях, могут захватить сознание миллионов. Объяснить это явление можно, прибегнув к «нейтральной аналогии» (в терминах Э. Стюарт), вытекающей из «вирусной метафоры». Последняя вообще, в отличие от «генной метафоры», трактуя информацию X в самореплицирующейся схеме не как «сырой материал», но как активно действующий вирус, вклинивающийся в аппарат культурной наследственной памяти, скорее ухватывает принципиальную значимость конкретных структурных характеристик этой информации для судеб порождаемого исторического мифа, его репродуктивности.

В этом плане исключительное значение имеет работа В. Ленерт, Х. Олкера и Д. Шнейдера [Alker, Lehnert, Schneider, 1985], посвященная реконструкции и анализу на основе методики Ленерт базисной аффективной структуры для той интерпретации евангельского сюжета, которая предложена в известном исследовании А. Тойнби «Страсти Христовы» [Toynbee, 1948, p. 376–539]. Это исследование связано с размышлениями Тойнби на тему коллективных представлений о героях-спасителях, являющихся в эпоху заката цивилизаций с тем, чтобы вернуть эти цивилизации к их здоровым истокам («герои с машиной времени»). В евангельской истории жизни Иисуса Тойнби выделил 87 сюжетных мотивов, засвидетельствованных в сказаниях о трагически погибших в III–II вв. до н.э. героях – реформаторах политического строя Спарты и Рима (Агис и Клеомен, братья Гракхи) и о вождях сицилийских восстаний рабов, причем сюжетный параллелизм подкрепляется общностью языковых формул, предметных деталей и проч. В ряде случаев – в частности в сцене суда над героями – этот сюжетный комплекс перекликался также с более древним, но пользовавшимся популярностью на протяжении всей Античности сказанием о несправедном суде над Сократом.

Совокупность общих сюжетных ходов – таких, например, как царское, но не вполне законное происхождение героя, образ вдохновляющей его матери, его встреча с героем-предтечей, выступление против властей, проповедь нового царства, где верные ему вознаграждены по заслугам, а не по праву рождения, страх властей и провокации с их стороны, явление предателя, последний ужин героя с разоблачением предателя, последняя ночь, проведенная в духовных сомнениях, арест героя, который сам велит сподвижникам отказаться от кровопролития, суд, где герою инкриминируются претензии на царскую власть и истинные слова его толкуются ложно, но где он отвергает предлагаемую ему лазейку, смерть и обожествление, позорная смерть предателя и многое другое – составляет, по Тойнби, отголоски героической драмы на стыке истории и фольклора, постоянно разыгрывавшейся в сознании низов античного общества времен его заката. Американские исследователи поставили задачей, используя технику выделения «аффективных сюжетных единиц», определить соотношение версии Тойнби с исходным евангельским текстом и подойти к ответу на вопрос: почему из всех очерченных Тойнби версий той драмы именно история Иисуса оказала гигантское «инфицирующее» воздействие на миллионы людей, принадлежащих к различным социально-экономическим формациям, носителей разных убеждений, более того – извлекающих из этой истории различные, иногда прямо противоположные конкретно-политические следствия?

В соответствии с построениями Хофстедтера из этого следовало бы, что история Иисуса включает в себе «вирусодную» глубинную схему, способную, влияя на опыт и установки читателей или слушателей, прокладывать себе путь к воплощению в их поведении. Ленерт, Олкер и Шнейдер стремились выявить эту схему, вскрыть механизмы притяга-

тельности повествования; выделить элементы, которые могут быть осмыслены как «инфицирующие» рецепты поведения; показать, как за различием этих рецептов встает различие приписываемых повествованию аффективных интерпретаций. Предполагалось, что в будущем полученные результаты смогут быть проверены путем порождения различных модификаций сюжета и анализа вызываемых ими откликов. В то же время исследователи ставили перед собой и более конкретную цель: объяснить с когнитивной точки зрения особенности реконструкции Тойнби, ее правомерность и те трансформации, которые претерпел евангельский сюжет, будучи осмыслен как версия позднеантичной драмы о трагическом реформаторе, – что потеряно в сюжете, какие акценты смещены и как? Поэтому если Ленерт работала непосредственно со схемой Тойнби, то Олкер и Шнейдер, идя за этой схемой, кодировали контекст, на который тот опирался.

Ленерт, игнорируя описательные элементы, например царское происхождение Героя (серьезный недостаток, связанный с ориентацией ее методики на «активные» компоненты сюжета), представляет сюжет как совокупность действий следующих персонажей: Бога, Властей, самого Героя, Учеников, Народа, Предателя, Чужеземного Наместника (Пилат) и Проповедника, включающегося после смерти Героя (Павел). Соответственно, «молекулярные» сюжетные единицы распадаются на несколько пучков: помимо основного пучка – Жизнь Героя, выделяются пучки Герой – Ученики, Предатель – Ученики, Власти – Чужеземный Наместник и Деятельность Проповедника. В пределах основного пучка, где, по видимому, должна быть локализована «инфицирующая» часть, анализ выявляет три единицы, исчезновение каждой из которых вызвало бы распад более 10% пучка: 1) намерение Героя, обратившись к Народу, дискредитировать Власти; 2) успех Властей в неблагоприятных для них обстоятельствах (захват Иисуса после изгнания им торговцев из храма); 3) возмездие Герою за его ответы на суде, вызывающие у судей намерение убить его. Таким образом, в основе интерпретации Тойнби как инвариант реконструируемой им позднеантичной «героической драмы» восстанавливается формула: Намерение Героя – Сохранение-Своих-Возможностей для Властей – Соперничество (Герой vs Власти) – Возмездие (Бог vs Власти: изгнание отступников) – Успех-В-Плохих-Обстоятельствах (для Властей) – Возмездие (Власти vs Герой) – Тайное Блаженство, аффективная единица, устанавливающая эквивалентность негативного события событию позитивному (посмертному почитанию Героя) и успеху (выполнению исходного намерения Героя).

Итак, из схемы Тойнби в качестве рецепта поведения может быть извлечен исключительно принцип религиозно освященного восстания против «неправедной» власти, причем успех в этой борьбе трактуется как «тайное блаженство», достигаемое ценой собственной гибели. Заключительная часть этого «рецепта», прочитанная сама по себе (при отсутствии объекта, идентифицируемого с «неправедной» властью), выглядит как оп-

равдание телесных страданий человека, приравняемых к вознаграждаемому блаженством исполнению долга (разительное подтверждение наблюдения Тойнби, выявившего в своей 87-элементной схеме серию мотивов, находящихся параллели в мифе о подвигах Геракла). Очевидно, однако, что постулируемая схемой Тойнби «логика целей и средств», когда стремление Героя навстречу своей казни объясняется азартным желанием дискредитировать тираническую Власть, объясняет далеко не все известные версии христианского поведения и прямо несовместима с многими из них.

Кодировка Олкера и Шнейдера дала гораздо более дробную сюжетную проработку евангельского повествования: достаточно сказать, что в их версии выделено 315 сюжетных единиц против 120 у Ленерта. Более того, кодировка оказалась естественным образом членившейся на акты или сцены с переходами между ними. Тем самым аффективная сюжетная схема значительно приблизилась к стандартным формам, порождаемым грамматикой сюжета. Что конкретно дал переход от схемы Тойнби к стоящему за ней тексту, видно из двух трактовок сцены суда. У Ленерта мы видим презрение Героя к лжесвидетельствам и возбуждаемое этим презрением намерение судей погубить Героя. У Олкера–Шнейдера судьи открывают процесс с готовым намерением убить Иисуса, в свою очередь стремящегося показать несправедливость уже готового приговора и вместе с тем желающего заставить судей подтвердить его (Иисуса) божественность. Молчание в ответ на противоречивые лжесвидетельства – не повод для мести, а лишь основание для поиска судьями иных обвинений. Очевидно, что кодировка Олкера–Шнейдера точнее передает ход процесса, нежели мы видим это в интерпретации Тойнби–Ленерта.

Анализ всего сюжета в целом привел к результату нетривиальному, которому авторы, по всей видимости, не находят объяснения: единицами высшего уровня, имеющими наибольшее число связей с иными подобными единицами, оказываются одновременно Последовательные Подцели Иисуса (быть спасителем, принять жертвенную смерть, поступить в соответствии со своей верой) и в равной, если не в большей, степени последовательные и вставленные Подцели Пилата (стремящегося быть сразу и справедливым судьей, и дружелюбным к народу, к иудейским властям правителем). Надо сказать, что та исключительная роль, которую получает в «аффективной структуре повествования» как целого тема Пилата, не удивительна для читателей, знакомых с «инфицирующим» проявлением этой темы в огромной традиции [Müller, 1888], которая стоит за трактовкой Пилата в романе М.А. Булгакова. Более того, этот результат полностью согласуется с последующими выводами Олкера–Шнейдера, показавших, что при интерпретации повествования в качестве последовательности самостоятельных эпизодов аффективным элементом, связующим эпизоды, выступает упорство героя, его стремление стать спасителем и преуспеть, даже проигрывая, даже умирая страшной смертью. Тема главного героя

(абсолютная последовательность и «тайное блаженство» при внешней житейской катастрофе) и тема Пилата («соглашательская» раздвоенность цели и крах в самом успехе) «инфицируют» – одна прямо, другая от противоположного – один и тот же рецепт «истинного» поведения.

В конечном счете все ситуации повествования обнаруживают замечательное структурное единство. «Вирусный» характер текста проявляется в том, что на разных уровнях его смысловой организации воспроизводится одна и та же аффективная схема «тайного блаженства» как форма «истинного поведения». Поэтому Олкер и Шнейдер в конечном счете признали недостатком своей кодировки исключенное из нее, вопреки Тойнби, посмертное обожествление героя как отсутствующее непосредственно в сюжете: текст построен так, что проходящая через него насквозь схема «тайного блаженства» на уровне текста в целом неизбежно индуцирует мысль о величайшей победе героя, достигаемой через смерть, неотделимой от этой смерти и в то же время каким-то образом отрицающей ее. По признанию авторов, они, идя за Тойнби, из обеих кодировок устранили тему «воскресения», однако в обоих случаях она получает символические замены. В версии Олкера–Шнейдера, казалось бы, дошедшей в выхолащивании этой темы до предела, такой заменой оказывается принятие героем на себя обязательств, выходящих за рамки частной человеческой судьбы, которая получает ритуальную значимость, становясь выражением неких наивысших предписаний.

Итак, что же дает сопоставление двух кодировок? Оказывается, что «заразительность» аффективной схемы связана именно с неокончателюю ее определенностью, с ее способностью транспонироваться в самые различные контексты. Схема Олкера–Шнейдера, основанная на евангельском тексте, обладает этими качествами в гораздо большей степени, чем схема Ленерта, основанная на модели Тойнби; версия Тойнби–Ленерта применима к гораздо меньшему числу контекстов и способна приписать этическую ценность гораздо более узкому диапазону форм поведения. Но если исходить из того, что схема «позднеантичного героического действия» исходна по отношению к схеме, выявленной Олкером и Шнейдером, пришлось бы предположить, что складывание последней с ее резко возросшей «вирусной» мощью должно объясняться вклиниванием в культурную модель «судьбы трагического реформатора» такой внешней отсылки, которая, благодаря своим историческим особенностям, ослабила специализированность этой модели. На основе слияния этой отсылки с выявленным Тойнби «геном» позднеантичной культуры сложилась совершенно новая аффективная схема, обладающая практически неограниченной способностью вторжения в самые различные области жизни человека (в том числе в определенных условиях оживающая в генетически исходной версии «трагического реформаторства»). Исследования Ленерта, Олкера и Шнейдера могут рассматриваться как подтверждение большой значимости именно структуры

«отсылок», хофстедтеровского «сырого материала» для формирования и дальнейших судеб «мемов» – самореплицирующихся когнитивных структур.

* * *

Резюмируя обзор, естественно заключить, что в 80-е годы нарратология достигла немало. Отойдя от трактовки своего предмета как повествования «вообще», «в себе и для себя», она приблизилась к раскрытию механизмов ответственных за преобразование сюжета из базисной формы, «сюжетной свертки» (отражающей сюжет с позиций рассказчиков или сюжет, вызываемый из памяти) в форму, готовую к воплощению в смысловых структурах предложений и представляющую сюжет с позиций слушателя или читателя. Все яснее обозначается роль синтаксиса фабулы как структуры, опосредующей трансляцию пучков «аффективных сюжетных единиц» в единицы «сюжета воспринимаемого», подобные «окнам» М.-Л. Райен. К середине десятилетия появились первые работы, выходящие на проблему роли «аффективных сюжетных структур» в формировании человеческих мотиваций, а также роли «вирусоидных» самореплицирующихся схем в мышлении и поведении людей. На этом этапе нарратология все теснее смыкается с когнитивными исследованиями¹, а сферой приложения ее выводов становится компьютерный анализ текстов, проводимый, в частности, со все более уверенными попытками выделения политологически значимых импликаций.

Вообще политическому анализу конца XX – начала XXI в., несомненно, предстоит развиваться в условиях нарастающего престижа фундаментальных гуманитарных наук, подкрепляемого формализованным претворением их результатов в исследованиях по когнитологии, далеко простирающей свои интересы в глубь гуманитарной проблематики. «Человек и его тексты», «текст и человек в нем» – становятся ведущими проблемами времени, в котором многие современные авторы предвидят эпоху своеобразного «гуманитарного реванша». Уместно задуматься над тем, чем может способствовать этому процессу и что может выиграть на нем наука о том, как люди делают политику и как политика формирует людей.

Литература

Аристотель. Поэтика // Собр. соч.: В 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 645–680.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 446 с.

¹ О соотношении семиотики и когнитивных исследований см.: *Беседа...* // Настоящее издание. – *Прим. ред.*

- Бремон К.* Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствометрия. – М.: Мир, 1972. – С. 108–135.
- Бремон К.* Структурное изучение повествовательных текстов // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 429–436.
- Брето К., Заньоли Н.* Множественность смысла и иерархия подходов в анализе магрибской сказки // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М.: Наука, 1985. – С. 167–184.
- Голосовкер Я.Э.* Логика мифа. – М.: Наука, 1987. – 218 с.
- Греймас А.* В поисках трансформационных моделей // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М.: Наука, 1985. – С. 89–108.
- Дандис А.* Структурная типология индейских сказок Северной Америки // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М.: Наука, 1985. – С. 184–193.
- Олкер Х.Р.* Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. – С. 408–440.
- Сергеев В.М.* Когнитивные модели в исследовании мышления: структура и онтология знания // Интеллектуальные процессы и их моделирование. – М.: Наука, 1987. – С. 179–195.
- Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 576.
- Шенк Р.* Обработка концептуальной информации. – М.: Энергия, 1980. – С. 360.
- Alker H.R., jr., Biersteker Th.J., Inoguchi T.* The decline of the superstates: The rise of a new world order // Paper prepared for delivery at the World congress of political science / International political science association. – Paris, 1985.
- Alker H.R., jr., Lehnert W.G., Schneider D.K.* Two reinterpretations of Toynbee's Jesus: Explorations in computational hermeneutics // Quaderni di ricerca linguistica. – Parma, 1985. – N 6. – P. 49–94¹.
- Barton R.W.* Plato-Freud-Mann: Narrative structure, undecidability, and the social text // Semiotica. – Amsterdam, 1985. – Vol. 54, N 3–4. – P. 351–386.
- Black J.B., Bower C.H.* Story understanding as problem solving // Poetics. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 223–250.
- Black J.B., Wilensky R.* An evaluation of story grammars // Cognitive science. – Kidlington, 1979. – Vol. 3, N 3. – P. 213–229.
- Botkin J., Elmanjra M., Malitza M.* No limits to learning. Bringing the human gap. A report to the Club of Rome. – Oxford: Pergamon Pr., 1979. – 159 p.
- Bruce B.* Analysis of interacting plans as a guide to the understanding of story structure // Poetics. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 295–311.
- Colby B.N.* A partial grammar of Eskimo folktales // American anthropologist. – Washington, 1973. – Vol. 75, N 3. – P. 645–662.
- Dawkins R.* The selfish gene. – N.Y.: Oxford univ. press, 1976. – 224 p.
- Dorfman E.* The narreme in the medieval Romance epic: An introduction in narrative structures. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1969. – 259 p.
- Greimas A.J.* Sémantique structurale: Recherche de méthode. – Paris: Larousse, 1966. – 263 p.
- Hofstadter D.R.* Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern. – N.Y.: Basic books, 1985. – 852 p.

¹ См. на русском языке в настоящем издании. – Прим. ред.

- Johnson N.S., Mandler J.M.* Remembrance of things parsed: story structure and recall // *Cognitive psychology*. – San Diego, 1977. – Vol. 9, N 1. – P. 111–151.
- Johnson N.S., Mandler J.M.* A tale of two structures: underlying and surface forms in stories // *Poetics*. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 51–86.
- Kreitler S., Kreitler H.* The psychosemantic structure of narrative // *Semiotica*. – Amsterdam, 1986. – Vol. 58, N 3–4. – P. 217–243.
- Laszlo E.* Inner limits of mankind: Heretical reflections on today's values culture and politics. – Oxford: Pergamon press, 1978. – 79 p.
- Lehnert W.G.* Plot units and narrative summarization // *Cognitive science*. – Kidlington, 1981. – Vol. 5, N 4. – P. 293–331.
- Lehnert W.G.* Plot units: a narrative summarization strategy // *Strategies for natural language processing*. – Hillsdal: Erlbaum, 1982. – P. 375–412.
- Müller G.A.* Pontius Pilatus der fünfte Prokurator von Judäa und Richter Jesu von Nasareth. – Stuttgart, 1888. – 59 S.
- Prince G.* A grammar of stories. – The Hague; Paris: Mouton, 1973. – 106 p.
- Rumelhart D.E.* Notes on a schema for stories // *Representation and understanding: Studies in cognitive science*. – N.Y.: Academic press, 1975. – P. 211–236.
- Ryan M.-L.* Linguistic models in narratology: from structuralism to generative semantics // *Semiotica*. – The Hague, 1979. – Vol. 28, N 1–2. – P. 127–156.
- Ryan M.-L.* On the window structure of narrative discourse // *Semiotica*. – Amsterdam, 1987. – Vol. 64, N 1–2. – P. 59–81.
- Schank R.C., Abelson R.P.* Scripts, plans, goals, and understanding. – Hillsdale: Erlbaum, 1977. – 248 p.
- Stewart A.H.* Graphic representation of models in linguistic theory. – Bloomington; L.: Indiana univ. press, 1976. – 195 p.
- Stewart A.H.* Models of narrative structure // *Semiotica*. – Amsterdam, 1987. – Vol. 64, N 1–2. – P. 83–97.
- Thorndyke P.W.* Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse // *Cognitive psychology*. – San Diego, 1977. – Vol. 9, N 1. – P. 77–110.
- Thorndyke P.W., Yekowich F.R.* A critique of schema-based theories of human story memory // *Poetics*. – Amsterdam, 1980. – Vol. 9, N 1–3. – P. 23–49.
- Toynbee A.* A study of history. – L.: Oxford univ. press, 1948. – Vol. 6. – 633 p.
- Wilensky R.* Points: A theory of the structure of stories in memory // *Strategies for natural language processing*. – Hillsdale: Erlbaum, 1982. – P. 375–412.
- Wilson C.* The mind parasites. – Moscow: Raduga, 1986. – 332 p.

ТЕКТОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

К.П. Кокарев

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМЫ: САД РАСХОДЯЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТРОПОК*

Кратко о причинах и последствиях междисциплинарного знания

Междисциплинарность стала одной из основных характеристик современной социальной науки. Если раньше нормальным считалось работать в рамках одной дисциплины, то теперь, когда проблема значимости социальных наук для решения практических вопросов, стала более очевидной, обращения сразу к комплексу если не наук, то дисциплин и исследовательских подходов, считается чем-то само собой разумеющимся. Благодаря этому появились такие тематические поля, которые предполагают постоянные трансгрессии. И если некоторые могут показаться нам пока несколько странными, то ряд из них стал вполне признаваемым в академическом и экспертном сообществах. Давно уже никого не удивляет то, что экономисты высказывают свои авторитетные суждения не только по поводу экономической стратегии, но и по поводу устройства социальных и политических институтов. В нормальности междисциплинарности находится несколько оснований как фундаментального, так и ситуативного свойства. В статье будет предпринята попытка показать некоторые их них на примере развития такого направления как институционализм.

Прежде чем обратиться к ситуационным причинам, которые кажутся более интересными, поскольку описывают текущее состояние социальных наук, кратко отметим несколько фундаментальных причин вернувшейся междисциплинарности. Как отмечалось выше, одной из причин ее являются возросшие требования к социальным наукам. Несмотря на то что уче-

* Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789, руководитель: М.В. Ильин). Автор благодарит М.В. Ильина, С.В. Патрушева и В.М. Ефимова за замечания и комментарии.

ные, работающие в них, являются легитимными представителями академического сообщества, в последние годы они столкнулись с тем, что правительства и организации, активные в поле финансирования научных исследований (университеты, фонды и пр.), начали задумываться об экономике – и несмотря на то, что в первую очередь критика неэффективности коснулась гуманитарных наук, – обществоведов она задела не в меньшей степени. Это стало поводом для прояснения целей изучения общества и породило довольно интересную дискуссию, однако одновременно стало сигналом для начала кампании по утверждению в экспертном и общественном мнениях идеи о полезности социальных наук вообще. В результате в ряде стран от ученых стали требовать доказательства социальной значимости предполагаемых исследований. Одним из наиболее ярких примеров этого стала Великобритания, где процедуры измерения социальной значимости (social impact – трактуемой не только через библиографические показатели, но и через возможные практические решения по результатам исследования) стали нормальными не только в ходе внешней оценки исследований, но и во время принятия внутренних решений. Нередко это приводит к тому, что исследование начинают носить практически ориентированный характер: отчето и происходит смешение различных подходов.

Вторая причина фундаментального свойства состоит в том, что сама сетка дисциплинарности довольно относительна. За последние десятилетия мы стали свидетелями стремительного становления и развития массы очень узких дисциплин. Оно сопровождалось учреждением новых кафедр, выходом специализированных журналов и рождением исследовательских сообществ. Внутри новых дисциплин появлялись стандарты профессиональной деятельности, которые включали в себя и определение предметных областей и соотносимых с ними «верных» исследовательских подходов. Однако поскольку развитие наук – как естественных, так и социальных – происходило крайне быстро, общение между различными сообществами стало менее плотным. Поэтому результаты исследований в одной дисциплине могли оставаться какое-то (иногда продолжительное) время неизвестными представителям другой. При этом даже узкие методологические подходы нередко обнаруживали немалые исследовательские амбиции и начинали заниматься проблематикой значительно более широкой, чем та, на которой они зародились¹. В итоге один и тот же объект, который раньше мог исследоваться в рамках одной большой дисциплины, привлекал интерес представителей разных методологических сообществ и получал различные описания в зависимости от специфики используемых понятий. Поскольку такая ситуация повторялась чаще и чаще, все большее число исследователей верили в то, что объект может быть непротиворечиво исследован представителями разных методологий и дисциплин, и что особенно важно, – *это можно сделать непротиворечиво, т.е. найти такую*

¹ Такую динамику можно считать нормальной для научного процесса.

точку пересечения понятий, которая опирается на категоризацию более высокого уровня, разделяемую многими. Когда такие междисциплинарные взаимодействия были хорошо организованы, результат оказывался интересным представителям различных дисциплин. Когда проект не удавался, можно было говорить о том, что дело не в проблемах совместимости подходов, а в качестве работы команды (что, конечно, исключительно важно для любого проекта). В итоге у социальных наук появился опыт совмещения методологий, распространения принципов из одних областей на более широкие исследовательские проблематики. Все это становилось легитимным довольно легко, поскольку разделение на узкие дисциплины еще не стерло из памяти ученых идею о том, что есть большие науки.

Особенно ярким примером описанного процесса выглядит победное шествие экономической науки, которое некоторые исследователи окрестили «экономическим империализмом» [см.: Гуриев, 2008¹; Сапир, 2003]. Социология и политология отделились от политической экономии и философии истории и стали самостоятельными научными дисциплинами только в последней трети XIX в. Экономика стала отдельной наукой, отчужденной от социальных и политических проблем, приблизительно тогда же². К 1950-м годам, которые некоторыми считаются началом экспансии экономических подходов в другие социальные дисциплины, экономика хорошо освоила математический аппарат и моделирование. Также благодаря все большему количеству социально-экономической статистики, экономисты стали все активнее вовлекаться в процессы планирования и управления, что необходимым образом выводило их на проблематику, не являющуюся исключительно экономической. Вот и получилось, что хорошо институционализированная научная дисциплина вышла за рамки своих традиционных предметных полей с багажом методов, которые могли казаться универсальными из-за своего математического аппарата. Убедительности экономической «экспансии» добавляли некоторые исследовательские установки, которые тогда господствовали в экспертной и научной средах. В каком-то смысле «экономический империализм» можно считать попыткой вернуть сложный объект исследования, который был у политэкономии. Однако можно в этом видеть и попытку заменить все возможные логики исследования экономической рациональностью, которая многими давно стала восприниматься как рациональность *par excellence*. Однако вне зависимости от нашей оценки социальные науки испытали и испытывают значительное влияние со стороны экономических дисциплин, что стало пред-

¹ Статья С.М. Гуриева открывала дискуссию в журнале «Общественные науки и современность». В последующем в издании вышел ряд статей видных представителей социальных дисциплин.

² При этом политэкономическая традиция продолжала существовать в рамках традиционного и неомарксизма, а на внемарксистской основе стала развиваться в 1980–1990-е годы.

метод для критики не только со стороны представителей других дисциплин, но и самих экономистов [Ефимов, 2007 а; Ефимов, 2007 б; Ефимов, 2011].

В рамках критики «экономического империализма» в нашей стране нередко используется отсылка к тем направлениям экономической науки, которые по сути являются более «гуманитарными»: к богатой традиции новой институциональной экономики. Экономсоциолог С.Г. Кирдина из Института экономики РАН отмечает, что «институционализм означает привнесение в экономический анализ социологических идей и подходов, хотя не всегда ссылки на эту преемственность присутствуют» [Кирдина, 2004, с. 40]. Работы одного из самых видных представителей этого направления довольно быстро переводились на русский язык и стали часто цитироваться в литературе по всем социальным наукам: в политической науке ничуть не меньше, чем в экономической [Норт, 1997; Норт, 2010; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011]. Однако далеко не все противники использования моделей экономической рациональности в самых разных социальных дисциплинах согласны с тем, что критика, проводимая Д. Нортом и другими исследователями той же традиции, достигает своей цели, что она достаточна. Поэтому нередко можно услышать, что неоинституционалистская позиция имплицитно работает на ту же экономическую рациональность¹. Но в то же время понятно и то, что новая институциональная экономика неоинституционализму нетождественна [Олейник, 2004, с. 26–33], и несмотря на то, что какое-то движение в сторону более социологического и даже когнитивного толкования институтов Д. Нортом было сделано [Норт, 2010; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011], нельзя говорить о том, что насыщенная социологическими идеями новая институциональная экономика значительно уходит за рамки экономических моделей мышления. Хотя бесспорно, что у нее эти модели значительно более сложные, чем в неоклассике или неоинституциональной экономической теории. Сложность отношений даже среди экономических подходов можно подчеркнуть тем, что в предисловии к книге А.Н. Олейника известный экономист Р.М. Нуреев приводит другую классификацию, которая отказывается от *такого* жесткого разделения неоинституциональной экономики и новой институциональной экономики [Нуреев, 2004, с. 6].

Вопрос о том, насколько методологические установки новой институциональной экономики совпадают с установками неоклассической школы, интересен, однако во многом вторичен, поскольку заслоняет собой более фундаментальную проблему. Насколько мы можем утверждать, что в политическую науку или иную социальную дисциплину пришли методы и установки из экономики? Можно ли из большой популярности новой институциональной экономики делать выводы о том, что новый институцио-

¹ И эта позиция чаще высказывается экономистами [Нуреев, 2004, с. 5; Ефимов, 2011]. Впрочем, не только ими: см. статью А.М. Кузнецова «"Новый институционализм": Взгляд через призму дискурсивного анализа» в этом томе ежегодника «МЕТОД».

нализм стал эсперанто для социальных дисциплин? Действительно ли новый институционализм является единым исследовательским подходом, который разделяет во всех своих измерениях одни базовые подходы? Или это не предполагающий совмещения набор подходов из различных социальных дисциплин, которые совпадают только по наименованию?

Исследовательские «колеи» институционализмов

Новый институционализм стал одним из наиболее популярных методологических подходов. Однако он чаще заявляется, чем последовательно проводится в исследовании. Отчасти причиной тому может служить большое разнообразие подходов, которые именуют себя или называются другими этим названием. Большое разнообразие фиксируется не только при попытке сделать общенаучную классификацию видов институционализма, но и в классификациях в рамках отдельных дисциплин. Те же сложности, что мы видим в экономической науке, присутствуют и в других социальных науках.

Ни в 1980-е годы, когда в политической науке происходит возрождение интереса к проблематике институтов и развитию институциональной методологии, ни позднее, когда эта тематика стала одной из доминирующих, единого подхода не возникло [см.: *The Oxford handbook of political institutions*, 2004, p. xiii, p. 2–110].

Нужно понимать, что, несмотря на какие-то общие теоретические корни и практически одномоментное появление, институционализмы в разных науках появлялись в различных исследовательских ситуациях. Одной из важных характеристик этих ситуаций было то, с какими интеллектуальными течениями неоинституционалистской мысли приходилось соперничать. Наиболее показательным в этом отношении различие между экономической и политической науками. Для них понятие «старый» институционализм означает совершенно разные вещи. Для экономистов – это в первую очередь К. Маркс, Т. Веблен, Д. Коммонс, К. Поланьи и Дж. К. Гэлбрейт [Олейник, 2004, с. 28–30; см.: Шастико, 2002]. Для политической науки, с одной стороны, это будет старая традиция изучения деятельности отдельных политических институтов, из которой собственно и выросла политическая наука в конце XIX – начале XX в. [см., напр.: Острогорский, 2010], а с другой – работы Ф. Селзника [Selznick, 1949; Selznick, 1957], от которого и будут «отталкиваться» П. Дж. ДиМаджио и В.В. Пауэл во введении к обобщающему на тот момент социологическое направление нового институционализма труда [DiMaggio, Powell, 1991, p. 11–15]. Для политических наук предшественниками нового институционализма во многом стали исследователи, которые работали или в области экономической социологии, или продолжали традицию изучения политических институтов в истории. Поэтому в первом случае влияние идей ра-

ционального выбора (во всей сложности интерпретаций их в различные направлениях), которые связаны с работами К. Эрроу, М. Олсона и Э. Даунса, прослеживается очень сильно [Shepsle, 2004]. Во многом поэтому нередко критика нового институционализма в политической науке носит «антирациональный» характер. В случае же исторического институционализма его предшественниками стали такие ученые как А. де Токвиль, М. Вебер, М. Дюверже и др. [Sanders, 2004].

Довольно распространенное, однако не для всех направлений, мнение, что новый институционализм стал реакцией на издержки бихевиорального подхода в политической науке, в свете сказанного выше выглядит довольно спорно. Возможно, большее внимание к институционалистской парадигме появилось тогда, когда критика поведенческого подхода стала нарастать, однако сама по себе эта критика явно не была причиной развития различных направлений неoinституционализма. Возросшая популярность могла дать хороший импульс развитию подхода. Однако утверждать это можно только если неoinституциональные подходы использовались для критики бихевиоральных и сильно соперничали с ними. Но едва ли это можно утверждать. В случае исторического институционализма вообще нельзя говорить о том, что он возник или начал стремительно развиваться как антитеза чему бы то ни было. В сущности он представляет собой продолжающуюся традицию. Социологический институционализм в качестве антагониста воспринимал скорее теорию популяционной экологии (по крайней мере, это можно утверждать относительно одной из основных его версий, связанной с идеей изоморфизма) [Zucker, 1989; Baum, Oliver, 1991; Haveman, David, 2008]. Возможно, утверждение, что новый институционализм возник как реакция на бихевиоризм и что он явился одной из форм «экономического империализма» верен отчасти для нового институционализма рационального выбора [см.: Shepsle, 2004; Панов, 2006]. В качестве доказательства этого часто приводятся четыре тезиса, которые являются основанием для нового институционализма [March, Olsen, 1984; March, Olsen, 2006], поскольку бихевиорализм и теория рационального выбора там явно критикуются. Однако если мы посмотрим на еще более раннюю работу, которую можно отнести скорее к социологическому новому институционализму [Meyer, Rowan, 1977], то в ней мы не найдем того же предмета критики. Дж. В. Мейер и Б. Рован скорее выступают критиками технократического и довольно оптимистического подхода, который развивался во время выхода статьи, в социологии организаций.

Немного радикальным, но справедливым тезисом является утверждение, что разделение на «старый» и «новый» институционализмы неверно уже потому, что «старый» никуда не ушел. Он остается одним из распространенных подходов как в англо-американской, так и в иных политологических сообществах. Так, Р. Родс показывает, что к «старому» институционализму можно отнести труды в рамках модернистско-эмпирической, формально-легальной, идеалистической и марксистской традиций: и этот

список не претендует на завершенность [Rhodes, 2006]. При этом, по мнению Родса, в ситуации, когда в науке утверждается постмодернизм, в рамках которого могут сосуществовать различные исследовательские традиции, «институционализм старого образца со своим интересом к текстам, традициям, историческому и философскому анализам становится невероятно уместным» [Rhodes, 2006, p. 104].

Даже приведенные здесь замечания по поводу различий в условиях появления и направлениях, которые выступали антагонистами, показывает, что новый институционализм – явление очень разностороннее. Уже стала общепринятой классификация, которую предложили П.А. Холл и Р. Тейлор в 1996 г., которая разделяет все разнообразие исследовательских подходов на институционализм исторический, рационального выбора и социологический [Hall, Taylor, 1996]. Один из ярчайших представителей последнего – Дж. В. Мейер – разделяет социологический институционализм на две ветви: организационную и феноменологическую традиции¹ [Meuer, 2008, p. 971–793]. Есть авторы, которые пишут о нормативном институционализме, однако в литературе это понятие встречается реже других и более употребляемым названием будет социологический (К. Хэй пишет эти названия через «/») или даже организационный². Впоследствии к этим направлениям добавился дискурсивный институционализм, который сначала воспринимался как одна из версий конструктивистского, однако потом стал более влиятельным и стал восприниматься как самостоятельное методологическое направление³.

Дискурсивный институционализм, который можно считать «четвертым» неинституционализмом [Schmidt, 2010] возник как реакция на внешнюю критику институционалистского подхода, которая часто указывала на то, что основным предметом изучения является сохранение, а не изменение. Собственно об этом заявлялось и в одном из базовых текстов организационного институционализма [DiMaggio, Powell, 1983]. Этот момент часто возникал и в самокритике представителей этого подхода. Однако поскольку изучать стабильные состояния невозможно без косвенного изучения сил изменения, нельзя сказать, что указание на игнорирование динамики, можно было считать полностью обоснованным. Даже в рамках

¹ Конструктивистский институционализм, который описывает К. Хэй [Hay, 2006], можно считать попыткой увидеть приблизительно те же исследовательские интенции, но немного с другой точки зрения. Если посмотреть на работы самого К. Хэй, то его подход точнее может быть охарактеризован как попытка применить некоторые элементы социологического нового институционализма при решении тех проблем, которые обычно ставит себе исторический неинституционализм.

² Как, например, и произошло в 1991 и еще более явно в 2008 [см.: The new institutionalism in organizational analysis, 1991; The SAGE handbook of organizational institutionalism, 2008].

³ Выделение в отдельное признаваемое направление, в первую очередь, связано с тем, что появился корпус авторов, которые систематически развивали это направление исследований.

социологического институционализма в начале 1990-х годов созрело понимание, что без обращения к динамике направление будет выглядеть менее убедительным, поэтому около трети компендиума организационной институциональной теории было посвящено изменению [The new institutionalism in organizational analysis, 1991, p. vii, p. 27–33, p. 311–422]. Другой реакцией стало то, что К. Хэй называет конструктивистским институционализмом, основное отличие которого от социологического в том и состоит, что набор инструментов конструктивиста адаптирован для изучения изменений [Hay, 2006, p. 57–63]. Однако наиболее систематической реакцией стал институционализм дискурсивный, который изначально и начинался с попытки описать темпоральную динамику институтов, опираясь преимущественно на социологический институционализм [Lawrence, Winn, Jennings, 2001; Phillips, Hardy, 2002; Phillips, Lawrence, Hardy, 2004; Schmidt, 2008; Schmidt, 2010].

Выход в проблематику дискурса произошел не только у представителей организационных дисциплин. Вообще это можно считать одним из важных изменений во всех социальных дисциплинах. Но несмотря на то, что элементы дискурсивности теперь можно обнаружить практически в любом исследовании, которое проводится в рамках нового институционализма, едва ли это можно считать чем-то, что действительно скрепляет различные методологические подходы. «Языковой поворот» стал общим местом не только для различных версий нового институционализма, но и для многих других подходов к анализу социальной реальности.

* * *

Исследование различных версий институционального подхода, а также отношений этих версий показывает, что у каждого из них есть своя проблематика и своя динамика развития. Институционализмы преимущественно существуют в различных дисциплинарных полях и не смешиваются систематически. Если смешение и происходит, то в таких областях, которые могут изучаться различными дисциплинами, как это, например, случилось с политической наукой. В каком-то смысле политологи оказались в уникальном положении, когда свободно могли черпать свое методологическое вдохновение из экономических, социологических, исторических и любых других методологических источников. Однако и в этом случае продуктивное методологическое соединение, по нашему мнению, не происходит.

Можно выделить четыре новых институционализма, которые считаются основными: рационального выбора, исторический, социологический и дискурсивный. Каждое из них развивает свой взгляд. В их развитии можно найти и общие черты, однако, по моему мнению, говорит это больше не о методологическом сближении, а о том, что все направления суще-

ствуют в едином научном пространстве и поэтому пытаются реагировать на изменение научной «повестки дня». Конечно, можно выделить и некоторые общие черты: например, попытки все более сложного описания отношения формальных и неформальных отношений, большее внимание к процессу изменения, а также введение в анализ силовых отношений. В том или ином виде все это уже присутствовало и присутствует в различных направлениях старого и нового институционализмов, однако теперь эти дополнительные элементы стали проявляться во всех направлениях. Динамика освоения новых измерений институциональной и организационной жизни в большей степени связана с закреплением концептуальных ядер различных новых институционализмов. После того, как существование подхода становится более или менее устоявшимся, исследователи начинают работать с новыми, пока маргинальными темами, которые раньше не привлекали внимания, из-за необходимости утвердить «ядерные» положения.

Краткий обзор развития различных институционализмов показывает, что на данный момент говорить о нем, как о едином направлении не приходится, несмотря на то, что уже многие годы идет дискуссия о том, что большой разрыв между различными версиями, невозможность систематического синтеза подходов, создают трудности для исследователей, которые хотят использовать преимущества междисциплинарности. Объединение подходов по предмету представляет собой слабую форму взаимодействия различных дисциплин, при изучении сложных феноменов. Однако методологический синтез на том уровне абстракции, на котором существуют различные версии старого и нового институционализмов проблематичен. Вероятно, решение можно искать в области более высокой абстракции. Для институционализмов она хорошо вписывается в пространство термина «ТЕКТОЛОгия» [Богданов, 1989] или в область морфологии, понимаемой в самом общем непредметном смысле.

Говорить о том, к какому органону правильнее будет отнести тот или иной институционализм сейчас довольно проблематично. Соотнесение с тектологией сложно произвести, поскольку в этом направлении работали уже очень много исследователей: соотнесение институционализма с информатикой, системной теорией и другими направлениями мысли само по себе является работой сложной уже потому, что нужно сначала увидеть во всех из них тектологические особенности. Попытки связи институционализмов с морфологией сталкиваются с другой трудностью. Работа по осмыслению морфологии как трансдисциплинарной методологии находится в самом начале пути.

Литература

- Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. В 2-х кн. / Отд-е экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – Кн. 1. – 304 с.; Кн. 2. – 351 с.

- Гуриев С.М. Три источника – три составные части экономического империализма // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 3. – С. 134–141.
- Ефимов В.М. Дискурсивный анализ в экономике: пересмотр методологии и истории экономической науки // Экономическая социология. – М., 2011. – Т. 12, № 3. – С. 15–53.
- Ефимов В. Предмет и метод интерпретативной институциональной экономики // Вопросы экономики. – М., 2007 а. – С. 49–67.
- Ефимов В.М. Спор о методах и институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 2007 б. – Т. 5, № 3. – С. 18–36.
- Кирдина С.Г. Постсоветский институционализм в России: попытка обзора // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 2004. – Т. 2, № 2. – С. 40–54.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
- Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. – М.: Изд. дом гос. ун-та ВШЭ, 2010. – 253 с.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 478 с.
- Нуреев Р.М. Институционализм: вчера, сегодня и завтра // Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 4–18.
- Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
- Острогорский М.Я. Демократия и политические партии / Сост. А.Н. Медушевский. – М.: РОССПЭН, 2010. – 759 с.
- Панов П.В. Институционализм рационального выбора: потенциал и пределы возможностей // Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 43–92.
- Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы // Политическая наука. – М., 2001. – № 2. – С. 149–189.
- Патрушев С.В. Институционализм: понятия и концепции // Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 7–42.
- Постсоветский институционализм / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – 480 с. – Режим доступа: <http://institutional.narod.ru/kniga.pdf> (Дата посещения: 25.08.2013).
- Сапир Ж. Империализм экономической науки // Неприкосновенный запас. – М., 2003. – № 2. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2003/2/sa.html> (Дата посещения: 25.08.2013).
- Шастико А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.
- Baum J.A.C., Oliver C. Institutional linkages and organizational mortality // Administrative science quarterly. – Ithaca, N.Y., 1991. – Vol. 36, N 2. – P. 187–218.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. Introduction // The new institutionalism in organizational analysis / W.W. Powell, P.J. DiMaggio (eds.). – Chicago: Univ. of Chicago press, 1991. – P. 1–38.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // American sociological review. – Albany, N.Y., 1983. – Vol. 48, N 2. – P. 147–160.
- Hall P.A., Taylor R.C.R. Political science and three new institutionalisms // Political studies. – Oxford, 1996. – Vol. 44. – P. 936–957.
- Hardy C., Phillips N., Lawrence T.B. Resources, knowledge and influence: the organizational effects of interorganizational collaboration // Journal of management studies. – Oxford, 2003. – Vol. 40, N 2. – P. 321–347.
- Lawrence T.B. Rituals and resistance: membership dynamics in professional fields // Human relations. – N.Y., 2004. – Vol. 57, N 2. – P. 115–143.

- Lawrence T.B., Winn M.I., Jennings P.D.* The temporal dynamics of institutionalization // The academy of management review. – Ada, Ohio, 2001. – Vol. 26, N 4. – P. 624–644.
- March J.G., Olsen J.P.* The new institutionalism: organizational factors of political life // The American political science review. – Washington D.C., 1984. – Vol. 78, N. 3. – P. 734–749.
- Meyer J.W., Rowan B.* Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony // The American journal of sociology. – Chicago, 1977. – Vol. 83, N 2. – P. 340–363.
- Phillips N., Hardy C.* Discourse analysis: investigating processes of social construction. Los Angeles; L.: SAGE, 2002. – 104 p.
- Phillips N., Lawrence T.B., Hardy C.* Discourse and institutions // The academy of management review. – Ada, Ohio, 2004. – Vol. 29, N 4. – P. 635–652.
- Schmidt V.A.* Discursive institutionalism: the explanatory power of ideas and discourse // Annual review of political science. – Palo Alto, Calif., 2008. – Vol. 11, N 1. – P. 303–326.
- Schmidt V.A.* Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth «new institutionalism» // European political science review. – Cambridge, 2010. – Vol. 2, N 1. – P. 1–25.
- Selznick Ph.* Institutionalism «old» and «new» // Administrative science quarterly. – Ithaca, N.Y., 1996. – Vol. 41, N 2. – P. 270–277.
- Selznick Ph.* Leadership in organization: A sociological interpretation. – Evanston, IL: Row, Peterson, 1957. – 162 p.
- Selznick Ph.* TVA and the grass roots: A study in the sociology of formal organization. – Berkeley; Los Angeles: Univ. of California press, 1949. – viii, 274 p.
- Stinchcombe A.L.* On the virtues of old institutionalism // Annual Review of Sociology. – Palo Alto, Calif., 1997. – Vol. 23. – P. 1–18.
- The new institutionalism in organizational analysis / W.W. Powell, P.J. DiMaggio (eds.). – Chicago: Univ. of Chicago press, 1991. – 467 p.
- The Oxford handbook of political institutions / Rhodes R.A.W., Binder S.A., Rockman B.A. (eds.). – Oxford; N.Y.: Oxford univ. Press, 2006. – 836 p. – From the contents:
- March J.G., Olsen J.P.* Elaborating the «new institutionalism». – P. 3–20.
- Shepsle K.A.* Rational choice institutionalism. – P. 23–38.
- Sanders E.* Historical institutionalism. – P. 39–54.
- Hay C.* Constructivist institutionalism. – P. 56–74.
- Rhodes R.A.W.* Old institutionalism. – P. 90–108.
- The SAGE handbook of organizational institutionalism / R. Greenwood, R. Suddaby, K. Sahlin (eds.). – Los Angeles; L.: SAGE, 2008. – viii, 822 p. – From the contents:
- Cooper D.J., Ezzamel M., Willmott H.* Examining 'institutionalization': a critical theoretic perspective. – P. 673–701.
- Greenwood R., Oliver C., Sahlin K., Suddaby R.* Introduction. – P. 1–46.
- Haveman H.A., David R.J.* Ecologists and institutionalists: friends of foes? – P. 573–595.
- Meyer J.W.* Reflections on institutional theories of organizations. – P. 788–809.
- Phillips N., Malhotra N.* Taking social construction seriously: extending the discursive approach in institutional theory. – P. 702–720.
- Zucker L.G.* Combining institutional theory and population ecology: no legitimacy, no history // American sociological review. – Albany, N.Y., 1989. – Vol. 54, N 4. – P. 542–545.
- Zucker L.G.* The role of institutionalization in cultural persistence // American sociological review. – Albany, N.Y., 1977. – Vol. 42, N 5. – P. 726–743.

А.М. Кузнецов

**«НОВЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ»:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА**

**Ореол процветания и признаки
неблагополучия «нового институционализма»**

Одним из примечательно противоречивых явлений в области современной теории общественных наук можно считать возрождение институционального подхода, давшего начало, так называемому, «новому институционализму». Сама дефиниция такого рода заставляет нас вспомнить, что во второй половине XIX – первой половине XX в. уже существовала институциональная теория, вначале связанная с юридической наукой. Вскоре она была востребована в экономике и в других социальных дисциплинах. Неудивительно, что один из классиков этого периода Т. Веблен еще в 1898 г. ратовал за внедрение полидисциплинарного подхода в исследование институтов. Этот призыв тогда не удалось реализовать, так как, вероятно, сила правоведческой традиции, полагавшей институт как совокупность юридических норм, регулирующих социально-правовые отношения, оказалась более значимой. Как известно, в качестве основных институтов в это время было принято рассматривать государство, конституцию и т.д. Но затем, несмотря на поддержку К. Витфогеля, К. Поланьи, Ф. Селзника и некоторых других именитых авторов, институционализм не выдержал конкуренции с бихевиоризмом, другими действенно-ролевыми подходами и концепцией рациональности и отошел в тень. Тем не менее в конце 1970-х годов начинается период триумфального возвращения прежнего кумира уже в варианте «нового институционализма». Некоторые авторы полагают, что исходным пунктом этого процесса является выход в свет статьи Дж. Мейера и Б. Роуэна [Meurer, Rowan, 1977]. Как представляется, сама эта ситуация забвения, а потом новой востребованности институционализма в разных отраслях социального знания может стать предметом специального науковедческого и теоретического анализа.

Сегодня новый институционализм уже широко признан в экономической науке, и как следствие «экономического империализма» он снова охватил и другие отрасли социального знания [Норт, 1997; Knorikoski, Letinen, 2010]. Показательно, что некоторые специалисты уже отводят ему роль универсального интегратора разных дисциплин данной области знаний [Chmielewski, 2010]. Еще более высоко котируются возможности данного направления в конкретных дисциплинах. Так, по оценке компетентных авторов, «...в настоящее время институциональный подход доминирует в политической науке в целом и ее отдельных субдисциплинах» [Гудин, Клинегман, 1999, с. 43]. Сходная картина наблюдается в науке о международных отношениях, социологии, антропологии и ряде других социальных дисциплин. Неслучайно, распространенная точка зрения предлагает различать три основные течения неоинституционализма: исторический (экслективный), институционализм рационального выбора (перекликается с экономическим) и социальный [Hall, Taylor, 1996, p. 937]. Можно отметить также мнение, согласно которому сегодня неоинституционализм разделяется на: нормативный, исторический, социальный, структурный, международный и эмпирический [Патрушев, 2006]. Более развернутая классификация видов данного направления выглядит следующим образом. Институционализм рационального выбора, выросший из неоклассической экономики с ее установкой на методологический индивидуализм. Исторический институционализм, восходящий своими корнями к идеям К. Маркса и М. Вебера, отрицающий методологический индивидуализм. Организационный институционализм, явившийся критической реакцией на бихевиоризм и функционализм и больше тяготеющий к конструктивистским теориям феноменологии, символического интеракционизма и когнитивной психологии. Дискурсивный институционализм, связанный с работами К. Леви-Стросса и основоположников теории постмодернизма Ж. Дерриды и М. Фуко [Campbell, Pedersen, 2001]. Поскольку на сей счет существуют и другие точки зрения, то лучше будет просто ограничиться наблюдением: «Новых институционализмов у нас столько же сколько существует социальных дисциплин» [Dimaggio, Powell, 1991, p. 2]. При этом показательно, что авторы подают свои версии институционализма, то как не связанные друг с другом подходы, то как разные школы, а то и парадигмы.

Но подобные неувязки не очень повлияли на общий энтузиазм по поводу широких возможностей, открываемых новыми теоретическими веяниями. Например: «Институты – основание социальной жизни. Они утверждают формальные и неформальные правила, занимаются мониторингом и продвигают механизмы и системы значений, которые определяют контекст, в котором действуют и взаимодействуют друг с другом индивиды, корпорации, производственные объединения, нации-государства и другие организации... Без устойчивых институтов жизнь становится хаотичнее и труднее» [Campbell, 2004, p. 1]. Есть и более короткие, но от этого не менее емкие утверждения: «Основания политической науки связаны с

изучением институтов» [Peters, 2012, p. 1]. Поспорьте с такими заявлениями, когда известный американский политический философ Д. Ролз выражал уверенность в том, что именно «институт превращает людей из эгоистичных индивидов в сознательных граждан» [цит. по: Гудин, Клинегман, 1999, с. 166]. Неудивительно, что российские авторы безоговорочно приняли заверения в масштабности и фундаментальности нового приобретения: «Иными словами, пафос этого подхода состоит не столько в возвращении государства и других политических институтов в политическое исследование, сколько в стремлении “вспомнить все” – историческую, философскую, социокультурную и политическую традиции, значение человеческого поступка, ценностное содержание политики и человеческое измерение политического анализа, в умении использовать изощренные исследовательские методы и инструменты. Институциональный подход стремится осуществить методологический синтез» [Институционализм и политическая трансформация России, 2005].

Правда, нашлись все же некоторые недоброжелательные авторы, которые позволили себе усомниться, как в новизне, так и в сверхвозможностях нового институционализма. В частности, появились прямые указания в адрес его приверженцев на то, что у них нет ни четких определений, ни вразумительной методологии [Immergut, 1998]. Ироничный вопрос: «Не является ли новый институционализм переизобретением колеса?» – здесь не менее показателен [Thelen, Steinmo, 1992, p. 3].

Так что можно констатировать, что не все в сфере нового институционализма столь благополучно, как нас пытались уверить. Во всяком случае, этот подход, школы или, если хотите, парадигма точно уж нуждается в более углубленном исследовании с целью определения его (их) реальных возможностей и вклада в анализ актуальных проблем социально-политической реальности. Как представляется, поставленная задача может быть лучше всего решена средствами концепции дискурса, которые при анализе различных текстов по проблемам нового институционализма позволяют нам реконструировать основные дискурсивные практики и их основания, использованные при определении, описании и интерпретации феномена институтов. Моя уверенность в преимуществе предлагаемого подхода основывается, прежде всего, на эффективности имеющегося задела, подготовленного появлением ряда специальных публикаций. Они, например, обращают внимание на то обстоятельство, что «В нашем мире та же политика становится все более дискурсивной: она уже не может быть зафиксирована только с помощью удобных терминов общепринятых правил, так как каждый раз сознательно формируется» [Hajer, 2003, p. 176]. Еще более примечательным мне представляется ранее отмечавшийся факт появления в самом новом институционализме направления, которое осталось вне поля зрения наших исследователей – дискурсивного институционализма [Schmidt, 2008].

**«Дискурсивный институционализм»
и некоторые вопросы дискурсивного анализа**

Сторонники дискурсивного институционализма обосновывают необходимость его внедрения результатами исследований, полученных при реализации других подходов к изучению данного явления. Эти результаты дали повод констатировать, что «...продолжающиеся дебаты об эвристических возможностях парадигм, ранее применявшихся в таких областях социальных наук, как политическая экономия, историческая социология, сравнительная политология, международные отношения, анализ организаций и других, позволяет утверждать, что ни одна из соответствующих им парадигм так и не приобрела монополии на истину» [Campbell, Pedersen, 2001, p. 3]. Причину неудачи решения институциональных проблем в рамках отдельных дисциплин Д. Кэмпбел и О. Педерсен объяснили следующим образом: «...институты и институциональные изменения оказались более сложными образованиями, чем это пытались представлять каждая из отдельных парадигм. Теперь наступило время проанализировать, как эти парадигмы дополняют и связаны друг с другом, но сделать это нужно таким образом, чтобы можно было открыть новые возможности, если не вообще новую проблематику исследования институтов» [Campbell, Pedersen, 2001, p. 2]. Необходимый прорыв в изучении институтов эти авторы связывают именно с дискурсивным институционализмом, который должен показать, как проходит конфликт старых и новых дискурсивных норм, систем символических значений, закрепленных в языке, и как происходит перевод элементов одного дискурса в другой [Campbell, Pedersen, 2001, p. 2]. Американская представительница данного направления В. Шмидт уточнила: «Термин “институционализм” в дискурсивном институционализме указывает, что этот подход не сводится только к обмену идеями или текстами, но включает в себя также общеинституциональный контекст, в котором и посредством которого идеи коммуницируют через дискурс» [Schmidt, 2010, p. 4]. Вообще, по мнению данного автора, фокус исследования, если выдерживать требования рассматриваемого направления, должен быть сосредоточен, например, не на интересах, а на идеях об интересах.

Поскольку такой подход представляется мне очень эффективным, то точно так же меня будет интересовать не анализ самих институтов, а высказанные по поводу институтов идеи, положенные в использованные для их изучения теоретические соображения (если таковые были предложены). Ведь еще в начале 1990-х годов шведский специалист Б. Ротштейн уже констатировал: «институциональный подход обретает ценность лишь в рамках серьезной теории» [Rothstein, 1992, p. 34]. Некоторые авторы увидели высокий потенциал такого рода в самом институционализме [Dienneier, Krehbiel, 2003, p. 129]. Однако призывы к разработке новых теоретических внедрений в той же политической науке все равно продолжали появляться [Sabatier, 2007]. Поэтому назрела настоятельная необхо-

димось посмотреть, насколько строго обоснован собственно теоретический дискурс нового институционализма(ов).

Нашу верификационную процедуру лучше всего начать с обзора определений самого базового термина институт. Сразу оговорюсь, что таких определений огромное количество и приходится ограничивать свой обзор некоторыми, достаточно показательными образцами. Поскольку «законодательницей моды» на новый институционализм выступила экономическая наука, то будет оправданно сначала обратиться к ее достижениям. Согласно нобелевскому лауреату американскому экономисту Д. Норту, «Институты – это “правила игры” в обществе или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [Норт, 1997, с. 17]. С ним вполне солидарен другой автор, тяготеющий к историческому институционализму: «...институт – это система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно порождают регулярность (социального) поведения» [Грейф, 2012, с. 36]. Гарвардский политолог К. Шепсле все же решил не отрываться от корней. Для него политический институт – это такое «соглашение о структуре сотрудничества, которое позволяет сэкономить на транзакционных издержках... и увеличивает ожидание прибыли, благодаря сотрудничеству» [Shepsle, 1986, p. 74]. Другая представительница политической науки конкретизирует, что институт в узком смысле слова – «Формальное соглашение, достигнутое группой людей, поведение которых регламентируется применением четко определенных правил и процессом принятия решений и подкрепленных полномочиями одного лица или группы лиц, формально обладающих властью» [Levi, 1990, p. 405]. Один из ведущих теоретиков международных отношений вполне солидарен со своими предшественниками: институт – «набор правил, определяющих способы осуществления отношений сотрудничества и конкуренции между государствами» [Mearsheimer, 1994/95].

На первый взгляд, с определением института не существует особых проблем, так как все вышеприведенные примеры достаточно согласуются друг с другом. Однако более развернутый анализ позволил установить: «В политической науке (как и в социологии) под институтом в общем виде понимаются: 1) политическое установление – комплекс формальных и неформальных принципов, норм, правил, обуславливающих и регулирующих деятельность человека в политической области; 2) политическое образование, или учреждение, организация – определенным образом организованное объединение людей, та или иная политическая структура; 3) устойчивый тип политического поведения, выражающийся в определенной системе коллективных действий, процедуре, механизме» [Патрушев, 2006, с. 10]. Подобный плюрализм в трактовках уже сам по себе говорит о том, что положение дел даже с формулированием базового концепта нового направления, претендующего на интеграционно-методологическое значение, не вполне однозначное.

Обращает внимание и неопределенность в соотношении интересующего нас концепта с другими, например с той же организацией. Как в свое время заявил Ч. Перроу: «Общество любой развитой нации теперь превратилось из общества людей в общество организаций» [Perrow, 1991]. На необходимость принципиального различия между институтами и организациями, которые также структурируют отношения между людьми, указывал тот же Д. Норт. По его мнению: «в понятие “организация” входят политические органы и учреждения (политические партии, сенат, городской совет, контрольные ведомства), экономические структуры (фирмы, профсоюзы, семейные фирмы, кооперативы), общественные учреждения (церкви, клубы, спортивные ассоциации) и образовательные учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения)» [Норт, 1997, с. 19]. В конечном же счете для него организации – это группы людей, объединенные стремлением сообща достичь какие-либо цели [Норт, 1997, с. 20]. Однако, когда дело дошло до политологов, то выяснилось, что это политический институт создается для решения проблемы коллективного действия [Гудин, Клинегман, 1999, с. 170]. Другие представители этого цеха объяснили: политические партии являются ведущим игроками на политической арене, и, как и другие организации, могут рассматриваться в качестве институтов» [Deliberative policy analysis, 2003, p. 145]. Правда они озаботились и критерием различия: институты отличаются от организаций сроком давности, последние могут находиться на разных уровнях институционализации [Deliberative policy analysis, 2003, p. 145]. Социологи же привнесли свое видение ситуации, объявив: эффективная организация – это система, построенная на формальных правилах [Nee, 1998]. Специалисты по международным отношениям продолжили вариант компромисса в данном вопросе: «...все международные организации представляют собой международные институты, в рамках которых и развиваются современные международные отношения. Но не все международные институты являются международными организациями, т.е. понятие “международный институт” – шире и включает такие феномены международной жизни, как международные конференции» [Ланцов, 2011, с. 207]. (Здесь будет уместно напомнить, что признаваемые в качестве основоположников нового направления Мейер и Роуэн тоже говорили об институционализированных организациях.) Но подобные манипуляции привели лишь к появлению наблюдения: «институты, сети (и сходные с ними “политические объединения”) являются не чем иным, как альтернативными объяснениями одних и тех же явлений» [Jordan, 1990]. Не случайно даже такой убежденный институционалист, как Б.Г. Питерс, был вынужден признать: «Новый институционализм менее успешно объясняет природу самих институтов» [Peters, 2012, p. 185]. Поэтому категоричная оценка ситуации М. Леви, когда: «редукционным путем простого переименования протаскивают через “черный ход” под видом институтов то, что ими не является», уже не вызывает особого удивления [Levi, 1990, p. 404].

Что не так с концептуальными основами «нового институционализма»?

Установленные противоречия и пробелы в трактовке базовых концептов, как правило, обусловлены использованием различных подходов при их определении в разных вариантах нового институционализма. Как уже отметили Димаггио и Пауэлл, экономисты и теоретики общественного выбора уравнивают институты и их условия, социологи и теоретики организаций не делают этого. Экономисты и политологи видят институты лишь в правилах игры в экономике и политике, социологи же находят их везде: и в рукопожатиях, и в брачных нормах, и в отделах по стратегическому планированию. Тот же исторический институционализм призывает к учету исторических оснований институтов, социологический – еще отмечает роль культурных факторов, другие же направления не принимают такой призыв [Dimaggio, Powell, 1991]. По мнению Питерса, эмпирическая и историческая версии данного направления просто полагают институт как некую данность [Peters, 2012, p. 212]. Правда, следует снова обратить внимание, что со временем некоторые из представленных различий все же снимаются. По наблюдению одной из специалистов, это раньше можно было утверждать, что линия раздела между историческим институционализмом и институционализмом рационального выбора определялась различием между «эмпирическим» и «теоретическим». Теперь уже такое различие не столь актуально [Thelen, 1999, p. 372].

Принципиальной установкой нового институционализма в его экономической и политологической версиях является сдвиг фокуса исследований от анализа акторов к выяснению их интересов и предпочтений выбора. Методическая операция подобного рода позволяет некоторым авторам утверждать, что так им удастся преодолеть прежний недостаток в изучении той же экономики, когда она рассматривалась подобно циркуляции крови без тела. Признавая, что институты создают различные акторы: индивиды, организации, государства – эти авторы полагают, что институционализм и направлен на то самое, ранее остававшееся без внимания тело [Ingram, Clay, 2000, p. 528]. Тезис – «важно отличать игроков от правил» – последовательно отстаивал и Д. Норт [Норт, 1997, с. 19]. (Впрочем, учитывая засилье в той же политологии на предшествующей стадии ее развития бихевиористских настроений («поведенческая революция» 1950–1960-х годов), наверное, будет корректнее говорить о смещении этого фокуса от анализа поведения акторов к изучению правил их поведения в соответствующих обстоятельствах.) Представленная позиция была оформлена, например, следующим образом: «Политику делают не институты, а акторы. Последние рассматриваются в качестве рациональных индивидов, которые, выбирая вариант поведения (стратегию) сравнивают различные альтернативы и принимают решение, стремясь максимизировать собственную выгоду» [Панов, 2006, с. 52].

Сейчас появилось вполне достаточно заверений, согласно которым новый институционализм отошел от крайностей своего предшественника и признает ограниченность рациональности, обусловленной принятием решений в условиях рисков неопределенности, принуждения и того же оппортунизма. Однако и сторонники подобных позитивных перемен были вынуждены признать: «Даже, несмотря на то, что “мода” на теорию рационального выбора осталась в прошлом (пик ее пришелся на 1970-е годы), до сих пор в ведущих политологических журналах большинство работ, посвященных политическим институтам, выполнено в рамках этого подхода» [Панов, 2006, с. 43]. Между тем проблема рациональности (рациональных индивидов) остается одним из тех самых «камней преткновения» для современных теорий социально-гуманитарного знания. С одной стороны, есть, вроде бы, вполне здравые критерии для ее определения. Например: «Человек считается рациональным, когда он а) преследует непротиворечивые, согласующиеся между собой цели и б) использует средства, пригодные для достижения поставленных целей» [Алле, 1994, с. 227]. Распространено мнение, что на таких рациональных основаниях строится политика, политическое поведение и создаются институты. С другой стороны, не ослабевает и поток критики в адрес предлагаемых критериев и оснований общественно-политической жизни [Green, Shapiro, 1994, Elster, 1990]. В частности, К. Телен озадачилась вопросом: почему деятельность сугубо рациональных индивидов в сумме часто дает такие неэффективные результаты [Thelen, 1999]. Свое весомое слово здесь сказали и специалисты в области международных отношений. Так, еще в 1957 г. Г. Саймон показал, что не может быть рационально принятого решения на уровне глобальных проблем в силу сложности решений такого уровня и ограниченности познавательных возможностей человеческого разума [Simon, 1957]. Современные авторы еще более строги в отношении рассматриваемой установки: «Исследования и практика мировой политики в течение длительного времени были искажены теорией рационального выбора. Это конвенционально простая модель вводила в заблуждение целые поколения исследователей и творцов политики» [Smith, 2004, p. 501]. Присущая трактовкам рациональности упрощенность была справедливо отмечена и в ее движущих мотивах: «Значительная часть литературы по социальному выбору с ее проповедями об универсальном оппортунистическом поведении, похоже, просто не имеет никакого отношения к реальному миру, который в немалой степени держится на честности и чувстве долга» [Elster, 1991, p. 120]. Даже экономисты начинают признавать, что сейчас повсеместно критикуется стандартный подход примитивного рационализма с его замкнутостью на стремлении индивидов к максимизации выгоды [Hodson, 2003, p. 171]. Критики также развенчали претензии этой теории еще и на универсальность, констатируя: «Потенциально существует столько же рациональностей, сколько людей на свете» [Швери, 1997, с. 40].

Сложно понять высокую востребованность теории рационального выбора, если мы не будем учитывать второй концептуальной предпосылки разных вариантов институционализма: принципа «методологического индивидуализма». Он может быть, например, выражен следующим образом: «элементарной единицей социальной жизни являются индивидуальные действия человека. Для того, чтобы объяснять социальные институты и социальные изменения необходимо показать, как они возникают в результате действий и взаимодействий индивидов» [Elster, 1989, p. 13]. Эта вполне устоявшаяся позиция получает выражение и в несколько в ином виде: «Общим моментом для всех вариантов теории рационального выбора является утверждение, согласно которому все сложные социальные явления могут быть объяснены исходя из элементарных действий индивидов, из которых они состоят» [Scott, 2001, p. 183]. Перечень авторов, поддерживающих такую точку зрения, здесь может быть значительно расширен, но в этом нет необходимости. Существует уже и объяснение столь широкого признания принципа методологического индивидуализма, которое можно суммировать таким образом: групповые, коллективные явления даже зафиксировать очень сложно, поэтому все и сведено к изучению отдельных «реальных» индивидов [March, Olsen, 1984, p. 736]. Но методологический индивидуализм не получил всеобщего признания в существующих институциональных концепциях.

Анализ существующей литературы позволяет зафиксировать попытки макросоциологии, социальной истории и исследований культуры применить альтернативные концептуальные основы для разработки проблемы института. Ряд авторов отмечает, что в этих дисциплинах бихевиоризм никогда не был особенно распространен, а институт здесь рассматривался как основание социальной и политической жизни, которое все определяло, в том числе государство и гражданина [Dimaggio, Powell, 1991, p. 16]. Российская исследовательница вполне солидарна с такой позицией: «Социология строится на интриге дистанцированного взаимодействия. Ее главная загадка и проблема – существование институтов – специфических социальных структур, которые регулируют отношения людей, не связанных ситуацией непосредственного взаимодействия» [Шмерлина, 2008, с. 53]. Л. Зукер также рассматривала институционализацию в целом как «феноменологический процесс, в котором определенные социальные отношения и действия становятся разумеющимися сами по себе, так и положением дел, когда принятые условия определяют «что имеет значение и какие действия являются приемлемыми» [Zucker, 1983, p. 2].

Последователи исторического институционализма привнесли свое видение проблемы института, которая для них «включает как формальные организации, так и неформальные правила и процедуры, структурирующие образы действия». Определение «исторический» данное направление получило потому, что одной из главных его посылок стала идея зависимости институтов от их «прошлой траектории развития». В соответствии с

такой идеей, институты возникали в прошлом как реакция на произошедшие события и конкретные обстоятельства, иногда являвшиеся и совершенно случайными. Пройдя же определенный путь в своем развитии, они укреплялись и поэтому сегодня их трудно трансформировать по чьему бы то ни было желанию. Неслучайно, исторические институционалисты стремятся показать, например, «как политические столкновения опосредуются институциональным окружением, в котором они происходят» [Thelen, Steinmo, 1992, p. 2].

В целом же пускай самый общий обзор концептуальных оснований разных вариантов рассматриваемого направления позволяет констатировать, что институциональная парадигма или подход в своих претензиях на роль аналитического моста между разными дисциплинами вышли в поле проблем, которые остаются раздражителями для всего современного социально-гуманитарного знания. Во-первых, это проблема соотношения индивидуального и группового (коллективного) уровней общественно-политической реальности, над которой наука бьется, как минимум с XVIII столетия. Во-вторых, это проблема соотношения поведения (жизнедеятельности) живых (современных) людей с наследием предыдущих поколений, также имеющая не менее продолжительную традицию попыток ее решения. В дискуссиях по указанным поводам давно увязли социология, психология, политология, история и другие дисциплины в своих более общих, а не только институциональных вариантах. Но, как известно, не решив такие фундаментальные задачи трудно заниматься и более конкретными вопросами тех же институтов. Нельзя сказать, что все новые институционалисты не видят этих общих проблем. Наиболее дальновидные авторы отмечают разрыв между анализом макроуровневых явлений и изучением действий индивидуальных акторов [Katzenstein, 1996]. Для других представителей данного направления известна дилемма методологического индивидуализма и методологического коллективизма [Hodson, 2003, p. 16]. К сожалению, подобная информированность не всегда побуждает желание серьезно отнестись к данной проблеме.

Если согласиться с общим тезисом разных версий институционализма, что институты – это наборы правил, то необходимо обратиться и к этому часто используемому концепту. Обычно, его характеризуют очень пространно образом, например: «Институты определяют правила, соединенные с механизмами давления, которые определяют выбор акторов. Эти правила включают законы государств, политику организаций и нормы социальных групп» [Ingram, Clay, 2000, p. 526]. Приверженность правилам наиболее характерна для версии нормативного институционализма. Как нам сообщают известные представители этого направления Дж. Марч и Дж. Олсен: «Под правилами мы понимаем сложившейся порядок, процедуры, условности, роли, стратегии, организационные формы и технологии, на основе которых осуществляются политические действия. Мы также включаем сюда верования, парадигмы, коды культуры и знания, окру-

жающие, поддерживающие, развивающие и опровергающие эти роли и нормы» [March, Olsen, 1989, p. 22]. Приведенные и другие определения рассматриваемого концепта очень примечательны.

Я здесь не буду даже касаться дебатированного вопроса: определяют ли правила институт, или же это институт формирует свои правила? Более важным для меня представляется другое обстоятельство: как рассмотренные трактовки самого концепта институт, так и приведенные формулировки правил заставляют согласиться с уже высказанными наблюдениями о «скрытых свойствах институтов» (Г. Хадсон). Другие авторы еще более категоричны: в отличие от реальных акторов сам институт почти невидим [Ostrom, 2007, Newman, 2010]. Но в таком случае, учитывая претензии на всеобъемлющий характер своих правил и предельную виртуализацию, сам институт оказывается в пространстве, традиционно отводимом также не очень четко определенному полю культуры. Показательно, что вопрос о соотношении института и культуры уже стал предметом обсуждения в литературе. Что же было делать, если даже Д. Норт пишет: «Культуру можно определить как передачу путем обучения и имитации от одного поколения к другому знаний, ценностей и других факторов, влияющих на поведение» [Норт, 1997, с. 57]. Неудивительно, что его критики сразу нашли повод «придраться»: «Если, как отмечал Д. Норт, культура есть не что иное, как набор неформальных институциональных правил..., то получается, что нет никакой возможности отличить формальные политические институты и другие социальные факты. Так, например, оказывается, что нет точки отсчета при анализе роли различных конституций в получении тех или иных политических результатов, поскольку такое широкое понимание политических институтов объединяет в себе и формальные конституции, и общую культуру общества» [Гудин, Клинегман, 1999, с. 160]. Институционалисты попытались защититься, переопределив на гребне «когнитивного поворота» «саму культуру как «институт» [Zucker, 1991]. На необходимость признания фактора культуры в решении различных общественно-политических проблем признает и один из лидеров исторического институционализма – американская исследовательница Т. Скочпол [Scocpol, 1985]. Основоположники нового институционализма Дж. Мейер и Б. Роуэн представляли «формальные структуры многих организаций в постиндустриальных обществах» как «миф институционализированной окружающей среды, а не требования своей производственной деятельности» [Meuer, Rowan, 1977, p. 341]. Категория «миф» была и остается одной из важнейших для культуры. Впрочем, и миф можно объявить всего лишь неформальным институтом. Можно констатировать, что проблема соотношения с культурой остается одним из пробелов теорий нового институционализма.

Трудности с культурой – еще не главный концептуальный недостаток нового институционализма. В течение длительного периода, охватившего, по крайней мере, значительную часть XX в., социальные науки были озабочены анализом функций, действий, поведения, ролей. Авторитет

Э. Дюркгейма, Б. Малиновского, Т. Парсонса и других классиков оставался в этом отношении непререкаемым. Сегодня преимущественная ставка на поведение уже получает и другие оценки, например: «Подобно новому институционализму, исследования политического поведения критиковались за то, что оставалось неясным, какие методы, теории и исследовательские сюжеты предлагал “бихевиористский” подход. Точно так же сам термин политическое поведение практически не был определен (как и институт) – он мог включать в себя все и был обо всем» [Immergut, 1998, p. 6]. Тем не менее проскальзывающие формулировки – «институт – повторяющееся поведение» (Гудин, Клинегман) – здесь очень показательны.

Конечно, институционализм в новой редакции сделал определенный шаг вперед, показав важность для изучения данных явлений формальных и неформальных правил. Однако для того, чтобы решать все новые исследовательские задачи ему вскоре потребовались дополнительные категории и, в частности, институциональный дизайн [Goodin, 1996; Pierson, 2000]. Об этой «изящной» категории часто пишут и говорят, например: «Институциональный дизайн можно рассматривать как результат устойчивого набора взаимосвязанных правил и стимулов, которые образуют понятный образ действий, направленных на достижение поставленной цели» [Weimer, 1995, p. 8]. Вероятно, в силу сложности понимания институционального оформления того же политического поведения был сделан важный вывод: «Общество состоит из множества институтов, находящихся в сложных взаимосвязях» [Weimer, 1995, p. 12].

Значение связующей функции становится более очевидным в контексте другого замечания: «Последние 20 лет демонстрируют отход от теории социального действия Т. Парсонса, отталкивающейся от психологии З. Фрейда, к теории практических действий, базирующейся на этнометодологии и когнитивной революции в психологии» [Dimaggio, Powell, 1991, p. 15]. Если положиться на оценку этими же авторами вклада Г. Гарфинкеля как идеи, согласно которой социальный порядок формируется в практической активности социальных взаимодействий, то намечающийся робкий переход от исследований действий к взаимодействиям как таковым представляется мне знаменательным. Однако нельзя и переоценивать его значение. Ведь некоторые авторы продолжали настаивать на том, что в той же социологии, где «концепт институт заменил собой категорию роль, сам институт все же остается социальным действием» [Nee, 1998].

Столь непреклонная приверженность институционализма к действиям связана с вполне определенным отношением к идее структуры в современных социальных науках. Рассмотрим несколько примеров, проливающих свет на положение дел в этой сфере. Уже известный нам Б.Г. Питерс остается уверен: «Поскольку термин “институт” появился в значении структуры, то в данном случае структура становится более виртуальной, так как она скорее означает общие представления и, возможно, верования,

а не иерархические формальные структуры» [Peters, 2012, p. 113]. Также упоминавшиеся поборники нормативного институционализма вполне солидарны с этим автором: «Под политической структурой мы подразумеваем набор институтов, правил, норм, поведения, ролей, физических устройств, зданий...» [March, Olsen, 1984, p. 741]. Не выходят за обозначенные рамки и другие политические институционалисты. Для них организационная структура – те же формальные и неформальные процедуры, правила, нормы, установившийся порядок [Hall, Taylor, p. 938]. Но, может быть, представленная позиция разделяется лишь специалистами, причастными к политической сфере? Нет, тон задали еще корифеи направления: «Формальная структура – это план деятельности, который включает, прежде всего, схему организации, перечень офисов, отделов, позиций программ. Эти элементы объединены эксплицированными целями и политиками...» [Meyer, Rowan, 1977, p. 341–342]. В целом же идея отождествления института и структуры остается доминирующей в основной массе институционалистской литературы. В этом меня убеждает и отношение к последней монографии классика американской политологии, одного из создателей теории политической системы Д. Истона [Easton, 1990].

Так что же такого примечательного было прописано в работе Д. Истона? Как мне представляется, – отход от представленной трактовки концепта «политическая структура». Это притом, что автор рассматривал структуру как определенный набор свойств, как целостность, обособленную от других элементов. Говорил он о ней и как о процессе, включающем в себя состояния флюктуация – стабильность – нестабильность, централизация – децентрализация. Но затем Истон выходит на понимание структуры как «набора связей»: «...структура – это эмпирически описываемые свойства, референтные устойчивым отношениям среди частей объекта и самими объектами» [Easton, 1990, p. 41]. При всей неоднозначности позиции этого автора его последняя трактовка структуры выводит нас за рамки традиционного поля институционалистских исследований в новые теоретико-методологические пространства.

Может быть, в силу языковых барьеров, из-за ограничений в доступе к информации, трудностей с нормальным профессиональным общением, у меня сложилось убеждение, что концепции нового институционализма остаются в значительной мере детищем англо-саксонской научной традиции. Заключение о существовании ограничений такого рода теперь получило дополнительное обоснование в идее «методологического национализма», разрабатываемой в европейской социологии [Beyond the methodological nationalism, 2012]. Ведь существуют и другие традиции, в частности в понимании структуры, которую несколько условно можно назвать французской. Эта традиция начинается в конце XIX в. с лингвистических, литературоведческих (Ф. де Соссюр), а затем антропологических исследований. Завершилась она оформлением философского структурализма Кл. Леви-Стросса. Проблемы структуры успешно разрабатывались и в нашей стране

(В.Я. Пропп). Для рассматриваемой традиции характерно представление структуры именно как набора «устойчивых связей и отношений», а не просто функций, ролей, действий и т.д. [Пропп, 1928; Леви-Стросс, 1985]. Однако, чрезмерные претензии на универсализм, в конце концов, позволили поставить структурализм под град острой критики другой группы французских интеллектуалов, позиционировавших себя сначала как пост-структуралистов, а затем и постмодернистов (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко). В результате был выявлен и разоблачен «большой нарратив», показаны особенности дискурсов социально-гуманитарных наук с их отсутствием критериев научности (достоверности) и вообще дискредитировано значение теории [Деррида, 2000; Лиотар, 1998]. В сложившейся в 1970-х годах ситуации тот же методологический индивидуализм оказывался более соответствующим предложенным приоритетам. В качестве нового достижения была также выставлена методология анализа конкретных ситуаций (case studies). Однако попытку заместить концепт структуры в значении набора устойчивых связей и отношений на институт как комплекс правил трудно признать удачной. Примечательно, что в последнее время наблюдается возрождение интереса и к проблеме того же нарратива, который теперь может рассматриваться «как способ структурирования нашего понимания мира и коммуницирования по этому поводу» [Shankar, Jones, McBeth, 2011, p. 539]. Явно пришла пора вернуться и к собственно «структуралистской» трактовке идеи структуры.

Кстати, одна из причин, способствовавших возрождению институционализма, была связана с крахом предшествующих теорий, в том числе структурного функционализма, в попытках объяснить причины неудач с развивающимися странами, следовавших их рецептам [Campbell, Pedersen, 2001]. Очевидный провал новой волны демократического транзита, несмотря на повсеместное внедрение демократических институтов на постсоветском и посткоммунистическом пространстве, еще вызовет свои «неудобные вопросы» и к новому институционализму. Например, о причинах появления того же «выборного авторитаризма». Как хорошо знакомому с англо-саксонской научной традицией, но не склонному переоценивать ее значение исследователю, мне представляется, что уподобление института / организации структуре, а также недостаточное внимание значению исторического наследия определяют следующие недочеты в теории нового институционализма. Главная причина, почему эти недочеты не устраняются, может быть связана не просто с привязанностью нового институционализма к англо-саксонской традиции, но как отмечал ряд авторов, и ориентацией данного направления на неолиберальные установки [Campbell, Pedersen, 2001; Goodin, 1996, p. 19; Katzenstein, 1990]. Подобные установки отвечают реалиям западного демократического общества с его признанием ценности отдельного индивида и традициями гражданского общества. Но существуют и другие страны, где индивид еще не получил такого статуса,

да и с гражданским обществом не все понятно. Почему же и в этом случае должны применяться идеи, адаптированные к условиям иной реальности?

Выше уже было продемонстрировано, что принципиальный момент нового институционализма заключается в его стремлении дистанцироваться от акторов, в том числе и человека. Однако разрушительный удар постмодернистского вызова, сделавшего акцент на субъективной активности данного актора, во многом был обусловлен игнорированием в социально-гуманитарном знании роли человека в определенных областях общественно-политической реальности. Впрочем, институционалистам с их установками на методологический индивидуализм и рациональный выбор не удалось полностью уйти от проблемы человека. Поскольку эта проблема, вроде бы является, в первую очередь, полем деятельности общей антропологии, то можно поставить вопрос и о существовании некоей «антропологии институционализма». Не буду скрывать, что некоторые профессионалы из этого цеха уже покаялись за позднее проявление интереса к возрождению исследований институтов и методологическому индивидуализму [Ensminger, 1998]. Дело в том, что ранее эта дисциплина поддерживала другое видение института. Например, один из классиков антропологии Б. Малиновский представлял в 1944 г. данное явление как особую функциональную единицу: «...институты равно как и те конкретные виды деятельности, которые в них протекают, связаны либо с первичными (или биологическими), либо с производными (или культурными) потребностями. Следовательно, под функцией всегда подразумевается удовлетворение потребности...» [Малиновский, 1997, с. 690]. Столь расширенное понимание института 1940-х годов не удовлетворяет современных специалистов. Для нужд той же экономики была разработана модель «экономического человека», который стремится минимизировать свои затраты и добиться собственной максимальной выгоды. В других дисциплинах также не прочь порассуждать о «человеческом факторе», «человеческом капитале» и т.д. Однако формулировки подобного рода несут на себе нехороший отпечаток «антропоморфизации», выхолащивающей существо проблем.

Некоторые близкие к проблемам институционального подхода авторы уже снова озаботились «проблемой истинной природы человека» [Immergut, 1998, p. 10]. Своим собственным путем некоторые из них пришли к очень важному выводу: «Мы основываемся от утверждения, согласно которому социально-экономические системы не просто создают новые продукты и восприятие. Они также создают и перевоссоздают новых индивидов» [Hodson, 2003, p. 162]. Более того, нашлись и явные «диссиденты», вроде Р. Графштейна, договорившиеся до такого: «Я определил институты в категориях живых, во плоти и крови, индивидов, в то время как некоторые определения фокусируются на определенных абстрактных поведенческих отношениях между ними» [Grafstein, 1992; цит. по: Шерлина, 2008, с. 67]. Поэтому направление, которое углубленно занималось бы

разработкой вопросов роли конкретных людей и их объединений в создании и поддержании функционирования институтов, становится все более насущным требованием. В свете приведенных обстоятельств мне видится примечательным наблюдение, согласно которому старый институционализм был больше направлен на изучение локальных сообществ, новый – на профессиональные или национальные общности [Dimaggio, Powell, 1991, p. 14].

Однако возвращение человека как абстрактного (универсального) индивида уже не отвечает современным требованиям. Постмодернистский вызов заставляет быть очень чувствительными к расовым, гендерным, возрастным, религиозным, культурным и другим особенностям, как индивидов, так и их общностей. Неслучайно в своей критике недостатков предшествующих институционализму концепций некоторые авторы вышли на очень важную проблему: «... почему все это политическое поведение, его признаки и практика распределения ресурсов самих соперничающих групп так отличается от страны к стране... В то время как период процветания 1950–1960-х годов мог скрывать источник национального разнообразия в политиках и их реализации ведущих индустриальных стран, экономический шок начала 1970-х дал толчок проявлению разнообразия ответов на него, которое постепенно дискредитировало призывы теории конвергенции 1960-х» [Thelen, Steinmo, 1992, p. 5]. В более конкретном выражении данная проблема была сформулирована следующим образом: «Одно из различий культурологического и рационального подходов состоит в ответе на вопрос: отличаются ли психологические характеристики индивидов разных обществ, например традиционного и индустриального» [Патрушев, 2006, с. 185]. Зафиксированные различия подобного рода могут корректно обсуждаться уже в рамках национальных и этнических проблем, которые слишком масштабны, чтобы сколь-нибудь вразумительно осветить их в данной работе. Пока что ограничусь констатацией влияния национальных и этнических контекстов на различные институты. В любом случае, данные подобного рода девальвируют экономическую модель человека, которая слишком отдает либеральными настроениями. А специалистам, активно воспринявшим общие постулаты этой модели, полезно не забывать предупреждение П. Ордершука: «... политическая наука уже имеет длительную историю заимствования интеллектуальных течений из других дисциплин, которые, случалось, ее осчастливливали, но иногда делали и жертвой» [Ordershook, 1990, p. 9].

Поиски альтернативных оснований синтеза

В целом же на основе анализа литературы, представляющей базовые идеи нового институционализма и конкретные исследования, выполненные на их основе, можно сделать несколько выводов. Сразу обращает

внимание тот факт, что, несмотря на продолжающиеся с конца XIX в. призывы к полидисциплинарности в изучении институтов, основная масса публикаций по данной проблематике носит сугубо конкретный характер. Можно утверждать, что данное обстоятельство, наряду с ранее отмеченной тенденцией к редукционизму в исследуемых дискурсах, вероятнее всего, и обусловило появление разных вариантов нового институционализма. Ведь они, как правило, сфокусированы на обсуждении одной определенной составляющей или стороны проблем институтов. Недостатки подобного рода заложены уже в наиболее распространенном определении института как наборе формальных и неформальных правил. Конечно, столь упрощенный критерий поспособствовал быстрому признанию институционализма в различных дисциплинах. Изучение правил, которые ранее не особо принимались во внимание, дало импульс к появлению добротных эмпирических исследований, например посвященных конгрессу США [Shepsle, 2009]. Однако в силу своей «заостренности» на одном из прежде неисследованных аспектов общественно-политической жизни, данное направление скоро исчерпает свой эвристический потенциал. Тогда на смену институционализму придет новое направление, которое обнаружит еще один неизученный вопрос и т.д. К тому же, другие недостатки, присущие концептуальным основаниям рассматриваемой «парадигмы» не способствуют улучшению качества проводимых на их основе исследований. Показательно, что в отношении того же конгресса США при использовании других подходов могли быть сделаны и отличные от институционалистских выводы [Weatherford, 1981]. Так что, институционализм явно не может оправдать ожиданий, рассматривающих его в качестве «интегратора различных дисциплин». Уж слишком явно он старается упрощать представление о реальности.

Правда, анализ вопроса о взаимодействии концептуальных оснований нового институционализма с предшествующими ему теоретическими бихевиористско-ролевыми установками позволяет показать более реалистичный сценарий развития событий. Когда тема института начнет себя явно исчерпывать, или когда будет признана какая-то новая составляющая в разных видах поведения и ролей, тогда вместо термина институт будет введен некий новый, вариант возвращения одного из ранее употреблявшихся терминов тоже не исключается. В результате возникнет видимость прорыва в анализе социально-политической реальности. Но поскольку речь не идет о принципиальных достижениях в разработке концептуальных оснований такого анализа, все это будет значить, фактически, лишь очередную смену научного жаргона. Подобная знаменательная перемена названий уже зафиксирована в разных отраслях науки. В частности, как показал российский исследователь, в сфере международных отношений в 1970-х годах основное внимание уделялось изучению международных режимов. Согласно классическому определению С. Краснера, режим – это тоже «правила, нормы, принципы и процедуры, структурирующие ожида-

ния международных акторов в отношении поведения друг друга в определенных областях» [International Regimes, 1983]. Но затем по поводу этого термина начался тот самый «плюрализм мнений», который закончился всеобщим разочарованием в нем и тогда его заменили на институт. Примечательно, что вся эта ситуация была описана с использованием понятия «мода» [Сафонов, 2003].

Наблюдающаяся практика использования в дискурсах институционализма разной терминологии для описания одних и тех же явлений, неоправданное дублирование уже высказанных положений в разных дисциплинах и ряд других причин подвигли некоторых авторов предложить конкретные шаги по устранению подобного рода недостатков. Основное содержание этих мер может быть сформулировано как отход от редуционизма и поиска объединяющих начал для всех направлений и вариантов институционализма. Предлагается, например, не разделять институционализм на «старый» и «новый», а рассматривать его как единую традицию [Immergut, 1998, p. 8]. Как уже было указано, все настойчивее звучит призыв к рассмотрению возможностей объединения разных вариантов институционализма [Campbell, 2004, p. 4]. Сделаны своевременные выводы в отношении важности учета занимаемой исследовательской позиции: «По существу же перед нами одно и то же явление, но рассмотренное с разных пространственно-временных позиций. Политическое образование, рассматриваемое изнутри, с точки зрения действующих в нем правил, является политическим институтом, а во взаимодействии с другими – политической организацией» [Патрушев, 2006, с. 10–11]. Показана сложность реальности, которую мы исследуем средствами институционализма, включающей: нормы права, установки обыденного сознания, поведенческие статусно-ролевые практики и организации. Далее эта реальность еще может быть распределена между поведенческими-ментальными и формальными-неформальными измерениями [Шмерлина, 2008]. Соответственно, делаются выводы о необходимости новых исследовательских средств анализа сложной реальности: «...можно сказать, что развитие политической науки завершило полный цикл и вернулось к необходимости детального анализа культурных истоков и исторической последовательности, происходящих в политических институтах изменений» [Остром Э. – цит. по: Гудин, Клинегман, 1999, с. 168]. Более определенно поставлен вопрос о необходимости исследования когнитивно-психологической составляющей концепции институционализма [Шмерлина, 2008, с. 67].

Следует обратить внимание на новые грани обсуждения проблемы соотношения разных уровней реальности в исследовательских процедурах. Раньше ее могли отнести к особенностям отдельных дисциплин. Например, еще один антропологический классик полагал в конце 1920-х годов: «Таким образом, различие между психологией и социальной антропологией в целом можно определить, сказав, что первая занимается изучением индивидуального поведения и его связи с конкретным индивидом, а вто-

рая – изучением поведения групп или коллективов индивидов и его связи с группой» [Радклиф-Браун, 1997, с. 614]. В настоящее время, вроде бы, признается актуальность этой проблемы для каждой отдельной дисциплины. Однако противники многомерности социально-политической реальности по-прежнему не намерены сдавать свои позиции: «... обладание социальной идентичностью полностью консистентно с бытованием в качестве физического объекта. Анализ на различных “уровнях” остается анализом той же самой вещи, описанной различным способом. Различные уровни анализа, таким образом, не означают различных уровней реальности... действия и реакции участников институционального отношения, таких как хозяин и раб, вписаны в тела этих акторов и других относящихся сторон. Так же как с уровнями анализа, поведенческие диспозиции каждого могут быть поняты в категориях непосредственного описания вовлеченных в институциональный процесс людей. Нет необходимости обращаться к возрастающей сложной иерархии уровней реальности» [Grafstein, 1992; цит. по: Шмерлина, 2008, с. 67].

Кстати, – это одна из редких апелляций к идентичности в институционалистском дискурсе. Обычно ей сейчас придают гораздо большее значение, фактически, замещающее всю антропологическую составляющую различных проблем. Между тем сам концепт идентичность, так же как этничность, национальность и др., обладает примечательной особенностью. Уже своей морфологической конструкцией они указывают на соотнесенность в качестве признака с обладающими ими субъектами (акторами). Распространенные варианты представленных концептов, такие как: этнические, национальные, коллективные, как будто, подтверждают их привязку к разным уровням общественно-политической реальности. К сожалению, подобное заключение чаще всего будет ошибочным. Наверное, рекомендация великого просветителя Б. Паскаля, из его «Писем к провинциалу»: «Народ в черед веков... надо воспринимать как одного человека, непрерывно существующего и все время усваивающего уроки прошлого», до сих пор обладает гораздо большим влиянием на наших современных зарубежных исследователей. Это хорошо понимает немецкий теоретик: антропоморфизация нации является основной причиной востребованности той же идентичности [Хюбнер, 2001, с. 291].

Не надо особенно и напрягаться, чтобы увидеть за всеми такими «потугами» сведения любых проблем к анализу единственно доступной нам реальности, требование методологического индивидуализма. Однако опыт исторической науки показывает нам, что исторический институционализм сможет успешно решать свои исследовательские задачи в том случае, если он будет анализировать траектории развития институтов и в рамках концепта культуры. Ведь при всей неоднозначности своих трактовок именно этот концепт в снятом виде аккумулирует в себе опыт, знания, мысли и даже действия прошлых поколений. В силу того обстоятельства, что все указанные явления сами могут существенно отличаться на разных

этапах исторического развития следует признать актуальным еще одно методологическое условие: анализ различий между капиталистическими и докапиталистическими обществами может производиться только на основе совершенно другой, чем институционализм, исследовательской стратегии [Thelen, Steinmo, 1992, p. 1]. Точно так же при переходе от индивидуального уровня социально-политической реальности к исследованиям следующих ее уровней мы должны сменить прежние концептуальные основания и методологические установки. Тогда место концепта этничность займет категории этническое (этнос), национальность – национальное (нация), идентичность – общественное (коллективное) самосознание и др. Понятно, что вопрос здесь заключается не в замене терминов, а в выполнении необходимых методологических процедур, в соответствии с требованиями базовых теоретических установок.

Таким образом, анализ различных текстов нового институционализма и сформировавших их различных дискурсов позволяет констатировать, что деконструированные на основе этих данных правила отличаются редуционистской ограниченностью в подходе к исследованию проблемы института. Грешат они и примитивной антропоморфизацией объекта своих исследований. Не придается в них должного значения фактору культуры. Не имеют они под собой убедительных ответов на вопросы о соотношении настоящих явлений с их прошлыми состояниями. Поэтому, освоив разные области социально-политической реальности, эти правила не были озабочены разработкой обоснованной методологии анализа разных уровней этой реальности. Отсюда понятен и зафиксированный разрыв между качеством теоретических наработок институционализма и выполненными эмпирическими исследованиями. В значительной степени указанные недостатки можно связать с условиями формирования институционализма в рамках преимущественно либеральной (неолиберальной) англо-саксонской традиции изучения социально-политических явлений. Эта традиция прошла через серьезное испытание постмодернистского вызова и отказалась от метанарратива и больших теорий. Однако она так и не смогла предложить адекватную альтернативу для изучения сложных явлений.

Новые вызовы и задачи последнего времени актуализировали более высокие требования к теоретическим основаниям и методологии анализа социально-политических проблем. В свете этих требований перед тем же институционализмом, неважно новым или старым, стоит задача не только вычленять для аналитического рассмотрения реальности отдельные ее «кирпичики», но и удерживать целостное видение тех явлений (объектов), из которых эти «кирпичики» были взяты. Как мне представляется, решение последней задачи возможно только при корректном использовании средств системной парадигмы. Конечно, эта парадигма сегодня не в особой чести в той же политической науке. Но в данном случае я говорю не о вариантах системной теории Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и их ана-

логов, которые игнорировали значение структуры (в структуралистском ее понимании), и основывались на примитивной антропологии. Нам нужен новый вариант системной теории, учитывающий специфику социально-политической реальности, пронизанной различными видами связей и взаимодействий, а также активную роль в ней субъекта – реального человека и его объединений. Тогда становится ясно, что задача теории институционализма заключается не в отделении акторов от правил, институтов от культуры, истории и т.д., а как раз в интеграции всех этих сторон реальности, которая связана с различными индивидами, объединенными в организации на основе тех же правил.

В таком случае институт можно определить как организованное, благодаря исторически сложившимся устойчивым связям и взаимоотношениям, объединение людей с целью решения некоторых общественных задач. Способы и варианты решения этих задач обусловлены заданными этническим (национальным), культурным и историческим контекстами существования института. Роль и значение института зависит от сложившегося набора связей и взаимоотношений с другими институтами и объединениями разного уровня. Следовательно, как справедливо показали Д. Кэмпбелл и О. Педерсен, институт является более сложным явлением, чем это пытались ранее показать институционалисты. Понятно также, что предложенная формулировка существенно усложняет саму процедуру институционального исследования, так как она предполагает синхронный или последовательный анализ не одного, а нескольких измерений изучаемого института. Однако только выполнение этого требования может обеспечить качественные результаты. В любом же случае, сегодня мы вправе сделать вывод: несмотря на свою значимость, изучение институтов позволяет нам понять только один из уровней современной общественно-политической реальности, которая все же не сводится полностью к этому уровню.

Литература

- Алле М.* Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов американской школы // THESIS. – М., 1994. – № 5. – С. 217–241.
- Грейф А.* Институты и путь к современной экономике: уроки средневековой торговли // Экономическая социология. – М., 2012. – Т. 13, № 2. – С. 35–58.
- Гудин Р.И., Клинегман Х.-Д.* Политическая наука как дисциплина // Политическая наука: Новые направления. – М.: Вече, 1999. – С. 29–68.
- Деррида Ж.* О грамматики. – М.: Ad Marginem, 2000. – 512 с.
- Институционализм и политическая трансформация России: Доклад / Айвазова С.Г., Панов П.В., Патрушев С.В., Хлопин А.Д. – М.: РАПН, 2005. – Режим доступа: <http://gendocs.ru/v19564/?download2=file> (Дата обращения: 1.12.2013).

- Ланцов С.А. Институциональные факторы в мировой политике (анализ основных направлений современных теорий международных отношений) // Политэкс. – СПб., 2011. – Т. 7, № 1. – С. 207–221.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.
- Малиновский Б. Функциональный анализ // Антология исследований культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1: Интерпретация культуры. – С. 681–702.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
- Панов П.В. Институционализм рационального выбора: потенциал и пределы возможностей // Институциональная политология: современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 43–92.
- Патрушев С.В. Институционализм в политической науке /// Институциональная политология: современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 7–42.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л.: Academia, 1928. – 152 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – 536 с.
- Радклиф-Браун. А. Методы этнологии и социальной антропологии /// Антология исследований культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1: Интерпретация культуры. – С. 605–615.
- Сафонов М. Современные подходы к изучению международных отношений на примере исследований «Большой восьмерки» // Полис. – М., 2003. – № 3. – С. 58–66.
- Хьюбнер К. Нация. – М.: КАНОН СИ «Реабилитация», 2001. – 396 с.
- Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм // Вопросы экономики. – М., 1997. – № 7. – С. 35–51.
- Шмерлина И.А. Понятие «социальный институт»: анализ исследовательских подходов // Социологический журнал. – М., 2008. – № 4. – С. 53–69.
- Beyond the methodological nationalism. Nationalism research methodologies for cross border studies / A. Amelina, D. Nergiz, T. Faist, N. Glick Schiller (eds.). – N.Y.; L.: Routledge, 2012. – ix, 259 p.
- Campbell J. Institutional change and globalization. – Princeton: Princeton Univ. Press, 2004. – xiv, 247 p.
- Campbell J., Pedersen O. Introduction // The rise of neoliberalism and institutional analysis. – Princeton: Princeton Univ. Press, 2001. – P. 1–23.
- Chmielewski P. New institutionalism: A platform for productive integration in social science // Warwas forum of economic sociology. – Warsaw, 2010. – Vol. 1, N 1. – P. 9–88.
- Deliberative policy analysis: Understanding governance in a network society. Theories of institution design / A. Hajerm, H. Wagenaar (eds.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. – xv, 307 p.
- Dienneier D., Krehbiel K. Institutionalism as a methodology // Journal of theoretical politics. – L., 2003. – Vol. 15, N 2. – P. 123–144.
- DiMaggio P.J., Powell W.W. Introduction // The new institutionalism in organizational analysis / W.W. Powel, P.J. DiMaggio (eds.). – Chicago: Chicago univ. Press, 1991. – P. 1–38.
- Easton D. The analysis of political structure. – N.Y.; L.: Routledge, 1990. – 336 p.
- Elster J. The cement of society. A study of social order. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. – viii, 311 p.
- Elster J. The possibility of rational choice // Political theory today / D. Held (ed.). – Oxford: Polity Press, 1991. – P. 110–145.

- Elster J.* When rationality fails // The limits of rationality / K. Cook, M. Levi (eds.). – Univ. of Chicago Press, 1990. – P. 19–50.
- Ensminger J.* Anthropology and the new institutionalism // Journal of institutional and theoretical economics. – Tübingen, 1998. – Vol. 154. – P. 774–789.
- Goodin R.* Institutions and their design. The theory of institutional design / R. Goodin (ed.). – Cambridge Univ. Press, 1996. – P. 1–53.
- Grafstein R.* Institutional realism: The social and political constraints on rational actors. – New Haven; L.: Yale Univ. Press, 1992. – xii, 244 p.
- Green D., Shapiro J.* Pathologies of rational choice theory: A critique applications in political science. – Yale Univ. Press, 1994. – 239 p.
- Hajer M.A.* Policy without polity? Policy analysis and the institutional void // Policy sciences. – Amsterdam, 2003. – Vol. 36. – P. 175–195.
- Hall P.A., Taylor R.C.R.* Political science and three new institutionalisms // Political studies. – Oxford, 1996. – Vol. 44. – P. 936–957.
- Hodson G.* The hidden persuaders: institutions and individuals in economic theory // Cambridge Journal of Economics. – Oxford, 2003. – Vol. 27. – P. 159–175.
- Immergut E.* The theoretical core of the new institutionalism // Politics & society. – Los Altos, Calif., 1998. – Vol. 1. – P. 5–34.
- Ingram P., Clay K.* Choice-within-constraints. New institutionalism and implications for sociology // Annual review of sociology. – Palo Alto, Calif., 2000. – Vol. 26. – P. 525–546.
- International regimes / S.D. Krasner (ed.). – N.Y.: Cornell Univ. Press, 1983. – x, 372 p.
- Jordan A.G.* Policy community realism versus «new institutionalism» ambiguity // Political studies. – Oxford, 1990. – Vol. 38. – P. 470–484.
- Katzenstein P.* Analyzing change in international politics: The new institutionalism and the international approach: Guest lecture // MPIFG: Discussion Paper. – 1990. – N 90/10. – Mode of access: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp90-10.pdf (Дата обращения: 1.12.2013.)
- Katzenstein P.* The role of theory in comparative politics: A symposium // World Politics. – Baltimore, 1996. – Vol. 48, N 1. – P. 10–15.
- Knorikowski J., Letinen A.* Economic imperialism and solution concepts in political science // Philosophy of the social sciences. – Newbury Park, 2010. – Vol. 1, N 40. – P. 347–374.
- Kreik D.* David Easton and the analysis of political structure // Journal of theoretical politics. – L., 1995. – Vol. 7. – P. 29–39.
- Levi M.* A logic of institutions change // The limits of rationality / K.S. Cook, M. Levi (eds.). – Chicago; L.: The Univ. of Chicago Press, 1990. – P. 402–418.
- Lichbach I.* Is rational choice theory all of social science? – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 2003. – xx, 315 p.
- March J., Olsen J.* Rediscovering institutions. The organizational basis of politics. – N.Y.: The Free Press, 1989. – vii, 227 p.
- March J., Olsen J.* The new institutionalism: Organizational factors in political life // The American political science review. – Baltimore, 1984. – Vol. 78, N 3. – P. 734–749.
- Mearsheimer J.J.* The false promise of international institutions // International security. – Cambridge, MA, 1994/95. – Vol. 19, N 3. – P. 5–49.
- Meyer J., Rowan B.* Institutional organizations: Formal structures as myth and ceremony // American journal of sociology. – Chicago, 1977. – Vol. 83, N. 2. – P. 340–363.

- Nee V.* Sources of the new institutionalism // The new institutionalism in sociology / M. Brinton, V. Nee (eds.). – Stanford: Stanford Univ. Press, 1998. – P. 1–16.
- Newman M.* The imaginative institution: Planning and governance in Madrid. – Farnham, Surrey; Burlington, VT.: Ashgate pub. co., 2010. – xiii, 238 p.
- Ordershook P.* The emerging discipline of political economy // Perspectives on positive political economy / J. Alt, K. Shepsle (eds.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. – P. 9–30.
- Ostrom E.* Institutional rational choice: An assessment of the institutional analysis and development framework // Theories of the policy process / P. Sabatier (ed.). – Boulder: Westview Press, 2007. – P. 21–64.
- Perrow C.* A Society of organizations // Theory and society. – Dordrecht, 1991. – Vol. 20, N 6. – P. 725–762.
- Peters B.G.* Institutional theory in political science: the new institutionalism. – N.Y.: The Continuum International publ. group, 2012. – 222 p.
- Pierson P.* The limits of design: Explaining institutional origins and change // Governance: An international journal of policy and administration. – Oxford, 2000. – Vol. 13, N 4. – P. 475–499.
- Pyrcz G.* The analysis of political structure. David Easton. N.Y., 1990. pp. xv, 336 // Canadian journal of political science. – Toronto, 1991. – Vol. 24, N 4. – P. 872–873.
- Rothstein B.* Labor market and institutions working-class strength // Structuring politics: Historical institutionalism in a comparative perspective. – N.Y.: Cambridge Univ. Press, 1992. – P. 33–56.
- Sabatier P.* The need for better theories // Theories of the policy process / P. Sabatier (ed.). – Boulder: Westview Press, 2007. – P. 3–20.
- Schmidt V.A.* Discursive institutionalism: the explanatory power of ideas and discourse // Annual review of political science. – Palo Alto, Calif., 2008. – Vol. 11, N 1. – P. 303–326.
- Schmidt V.A.* Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth ‘new institutionalism’ // European political science review. – Cambridge, 2010. – Vol. 2, N 1. – P. 1–25.
- Scocpol T.* Bringing the state back in. Strategies of analysis in current research // Bringing the state back in // P. Evans, D. Rueschemeyer, T. Scocpol (ed.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985. – P. 3–43.
- Scott W.* Institutions and organizations. – 2 nd ed. – L.: Sage Publications, 2001. – xxii, 255 p.
- Shankan E., Jones M., McBeth M.* Policy narratives and policy process // Policy studies journal. – Malden, Mass., 2011. – Vol. 39, N 3. – P. 535–561.
- Shepsle K.* Dysfunctional congress? // Boston univ. law review. – Boston, 2009. – Vol. 89, N 371. – P. 371–386.
- Shepsle K.* Institutional equilibrium and equilibrium institutions // Political science: The Science of Politics // H. Weisbery (ed.). – N.Y.: Agathon, 1986. – P. 51–81.
- Simon H.A.* Models of man: Social and rational: Mathematical essays on rational human behavior in a social setting. – N.Y.: Wiley, 1957. – xiv, 287 p.
- Smith S.* Singing our world into existence: International relations theory and September 11 // International studies quarterly. – Beverly Hills, Calif., 2004. – Vol. 48, N 3. – P. 499–515.
- Thelen K.* Historical institutionalism in comparative politics // Annual review of political science. – Palo Alto, Calif., 1999. – Vol. 2. – P. 369–404.
- Thelen K., Steinmo S.* Historical institutionalism in comparative politics // Structuring politics: Historical institutionalism in a comparative perspective / S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth (eds.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. – P. 1–32.
- Weatherford J. Mc.* Tribes on the Hill. – N.Y.: Rawson, Wade, 1981. – xi, 300 p.

- Weimer D.* Institutional design. – Boston; Dordrecht, L.: Kluger Academic Publishers, 1995. – x, 187 p.
- Zucker L.* Organizations as institutions // Research in sociology of organizations. – Greenwich, Conn., 1983. – Vol. 2, N 1. – P. 1–47.
- Zucker L.G.* The role of institutionalization in cultural persistence // The new institutionalism in organizational analysis / W.W. Powel, P.J. DiMaggio (eds.). – Chicago: Chicago univ. press, 1991. – P. 83–107.

Вернер Дж. Патцельт
ПРОЧТЕНИЕ ИСТОРИИ:
ОЧЕРК ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ*

I. В каком изучении истории нуждается политическая наука?

Способна ли историческая наука на нечто большее, чем простой пересказ событий? И может ли прочтение истории выявить порядок в потоке меняющихся обликов институтов, режимов, империй? Можно ли расширить масштаб систематических сравнительно-исторических исследований и выйти за пределы провидений традиционной «философии истории»?

1. Краткий диалог с историками

Многие историки отреагируют встречным вопросом – а зачем вообще нужно нечто подобное? А потом они бы заявили, что (а) обработка исторических документов и написание исторических нарративов, т.е. «изложение истории» само по себе является достаточно сложным вызовом. Они бы добавили, что (b) они и в самом деле ищут закономерности, такие как взлет и падение режимов, расширение и сжатие империй либо взаимодействие между культурой, экономикой, обществом и политикой. Затем они бы заметили, что (c) многие структуры подобного рода, которые предполагается обнаружить «среди фактов», скорее «вытекают из ментальных состояний исследователя», попавшего в ловушки мышления своего времени. Нетрудно показать, что (d) сложные исторические нарративы не единожды переписывались и что история предстает иначе перед каждым новым поколением историков. В завершение многие историки подытожат свои рассуждения доводом, что (e) мы узнаем гораздо больше о логике

* Перевод статьи выполнен в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789, руководитель: М.В. Ильин).

развития наших идей, чем о контурах исторического процесса, когда мы всматриваемся в историю и историографию. И к этому еще бы добавили, что (f) лучше всего мы можем понять в истории то, как идеи способны (иногда) повлиять на поведение людей столь сильно, что это может (иногда) сказаться на ходе истории.

В этих утверждениях нет ничего порочного. Однако их следует рассмотреть в более широком контексте, чтобы их смысл и пределы могли стать понятнее.

Утверждение (a) описывает основной вклад историков в науку, в том числе политическую. Мы нуждаемся в этой работе историков. Никто лучше их не сможет этого сделать.

Утверждение (b) относится к вызовам, с которыми сталкиваются историки. С теми же вызовами сталкиваются и политологи, правда, в основном на современном материале. Однако отклик на вызовы различен. Большинство политологов для выявления структур используют отчетливые, обобщающие, а порой даже хорошо проверенные теории. Большинство же историков при разгадывании скрытых фактурой паттернов полагаются на просвещенный здравый смысл собственного времени и изучаемой эпохи. Иногда эти различия переносятся с метода на предмет, на трактовку изучаемых времен. Тогда можно услышать, будто современные теории годятся только для современности, тогда как средневековые теории, пригодные для своей эпохи, ничего не способны добавить к объяснению особенностей нашего времени. Главный аргумент гласит: каждая эпоха нуждается в своей и для себя пригодной теории, тогда как использование концепций и теорий иных времен порождает «анахронизмы». При всем том, что реконструкция сознания, двигавшего действиями людей в определенную пору, требует тщательного отображения структуры знаний и эмоциональных предпочтений соответствующего времени, не стоит принимать этот аргумент безоговорочно. С одной стороны, большая часть политической теории Аристотеля («благая жизнь» как цель политики) по-прежнему справедлива и сегодня. С другой стороны, никто не сомневается, что современная медицина может помочь понять, какие нарушения здоровья были распространены во времена фараонов, а современные технологии узнать, с чем приходилось сталкиваться при строительстве пирамид. Мои собственные требования состоят в том, что политологи лучше бы справлялись со своим делом, если бы пытались сформулировать адекватные теории конструкций социальной действительности и политического порядка, а также развития институтов и режимов на всем протяжении человеческой истории. Точно так же я утверждаю, что историки получили бы гораздо больше аналитических результатов овладения фактами, помещая свои выводы в рамки обобщающих теорий социальных наук, касающихся устройства действительности и институционального развития.

Утверждение (c) верно в любом случае. Все заключения о фактах вытекают из теоретических оснований, какими бы неполными они ни бы-

ли. Однако существует важное различие, которое не следует упускать из виду. Одно дело изменения выводов, которые вытекают из новой теоретической парадигмы, совсем другие изменения вытекают из меняющихся устремлений и моды повседневной жизни. В первом случае мы имеем дело с обычным ходом науки, будь это медленное приращение устоявшейся науки или те быстрые сдвиги теории, которые указывают на «научную революцию» [см.: Kuhn, 2012]. Здесь ученые в известной мере выступают как господа своих теорий. Они могут управлять соотношением между теоретическими предположениями и свидетельствами данных. Во втором случае ученые ведут себя скорее как слуги. Ими движут актуальность, новая интеллектуальная мода, общественные интересы, выделяемые фондами средства, новые можно и нельзя, навязанные злободневными мнениями, которые по разным причинам оказались господствующими. Хотя перед этими изменяющимися стимулами или ограничениями допустимо склониться, абсолютно неприемлемо для ученых отказаться от осмысления того, как подобное давление влияет на наше видение истории. По зрелому размышлению становится ясно, что не история изменилась, а лишь стандарты или требования обсуждения и осмысления истории. Таким образом, утверждение (d) не может служить основанием для произвольного изменения исторической интерпретации. Только такое переписывание истории можно принять, которое помогает нам лучше узнать и лучше понять, «что же на самом деле произошло», – знаменитая формула немецкого историка XIX в. Леопольда Ранке [Mommsen, 1988]. Можно сказать иначе. Рассмотренные в другом свете интерпретации и переосмысления истории должны отвечать советам Карла Поппера об увязке смелых предположений и эмпирически обоснованных опровержений.

На этом фоне утверждение (e) является слишком простым, чтобы быть приемлемым в его нынешнем виде. Когда смотришь на развитие и изменение наших знаний об истории с течением времени, становятся понятны развитие наших представлений, а также изменения внутри наших научных теорий и их смена друг другом. Но из этого не следует, будто всякий раз, когда наше видение истории изменится, история также станет другой. Так будут утверждать только конструктивисты в онтологическом смысле, т.е. те немногие ученые, которые считают, что нет никакой реальности вне нашего представления о ней¹. Большинство других ученых, однако, приводят следующий тройной аргумент. Во-первых, при изучении истории происходит множество проб и ошибок, как и при изучении природы, так что нам необходимо снова и снова изменять наши описания и пояснения. Во-вторых, история обрела определенный ход, именно этот – и никакой другой, совершенно независимо от того, что мы думаем о ней.

¹ Но даже они обычно воздерживаются от того, чтобы утверждать, что раковая опухоль исчезает, как только кто-то перестает верить в истинность соответствующего диагноза, поставленного врачом.

Поэтому, в-третьих, мы несомненно имеем возможность – но не гарантию – выяснять те пути, которые люди действительно прошли в процессе своей истории. Другими словами, мы смеем надеяться, что сможем выявить те слои знания, навыков, культуры и институтов, которые были созданы людьми, но уничтожались, оставались, забывались или, наоборот, передавались новым поколениям на протяжении всей истории. Несомненно, постоянно были и будут происходить изменения в том, что мы знаем или предполагаем обо всем, изменения в выводах, корректировки в организации наших знаний. Но на самом деле мы получаем намного больше от прошлого, чем только *идеи об истории*, по крайней мере до тех пор, пока исследования истории эмпирических исследований осуществляются в рамках достоверных и надежных результатов качественной методологии.

Что же до утверждения (f) о связях между идеями и историей, то не может быть никаких серьезных сомнений, что культура и общество, а также институты в качестве их «твердого ядра» создаются и поддерживаются, изменяются или разрушаются в результате деятельности человека. Эта деятельность обусловлена идеями, эмоциями и нашими природными особенностями, включая стремление к половому удовлетворению, материальным благам, высокому положению и контролю над определенной территорией [см.: Volland, 2007; 2009]. Аналитический подход к социальной действительности под названием социальный конструктивизм сосредоточивает внимание на действиях, которые эта действительность вместе с культурой создает и поддерживает. Эта идея была рассмотрена в различных теориях социального конструирования реальности [Berger, Luckmann, 2012; Giddens, 2009; Patzelt, 1987] и глубоко отличается от онтологического конструктивизма. Общее и различное в данном подходе можно представить следующим образом: в социальной действительности нет ничего, что «дано естественно», но есть что-то, *сделанное людьми*. Все это, конечно, существует вне нашего сознания и не зависит от желаний отдельного человека. Одного примера должно быть достаточно. Нацистский режим был создан и управлялся людьми. И к краху его привели люди. Однако он стал тем, чем был, только потому, что многие немцы (и некоторые другие) неправильно воспринимали его цели и действия. И не исчезал, как только некоторые немцы (и многие другие) возжелали избавиться от него.

2. Задачи на будущее

Как обществоведы, мы должны извлечь несколько уроков, касающихся того, как обращаться с историей и как читать работы историков. Во-первых, мы должны тщательно изучить, как социальная действительность и политический порядок были сформированы конкретными действиями в конкретных ситуациях и в конкретных местах. Для решения этой задачи у нас под рукой есть много теорий конструирования реальности.

Во-вторых, мы должны разрабатывать гипотезу, что конструирование социальной действительности и политического порядка оставалось неизменным на протяжении всей человеческой истории, хотя форма была обусловлена различными наборами знаний, вызовов и возможностей, предоставляемых материальной культурой. В конце концов, нет никаких доказательств того, что человеческая природа, возможно, изменилась за последние десятки тысяч лет. Идеи социобиологии и эволюционной психологии могут и должны быть использованы, поскольку эмпирическая основа антропологии должна корениться в конкретной теории социального конструирования реальности или политического порядка.

В-третьих, мы должны принять то, что история – от «большого взрыва» до недавнего кризиса евро – создала структурные слои действительности [см.: Patzelt, 2007, p. 184–193]. Ничто не возникло по мановению волшебной палочки, ничто не упало к нам на Землю с небес: ни виды, ни языки, ни религиозные убеждения, ни экономические структуры, ни социальные институты, ни политические режимы. Все они основаны на предпосылках и вышли из предварительных условий, которые либо материализовались в конкретной ситуации, либо не смогли сделать этого. Говоря простым языком, наложение структур может быть представлено следующим образом. Основу составляют атомы и молекулы. На следующем уровне находятся живые существа, которые эволюционировали по-разному, движимые «генетической программой» нахождения партнеров для размножения, воспитания или защиты от врагов. Далее люди, а не гоминиды добавили к этому слою культуру (знания, навыки, артефакты...). На этом уровне новые поколения за поколением рождаются и социализируются («культурно программируются») в определенной конкретной культуре. Движимые своей «генетической программой» и руководствуясь своей культурой, они формируют связки социальных ролей. Такие связки могут стать сложными. Некоторые ролевые структуры получаются особенно стабильными за счет их институционализации (см. ниже). За счет институтов возникает надежный политический порядок. В следующем слое возникают империи и государства. Затем государства вместе с неправительственными организациями создают системы международных отношений, которые развиваются в своей собственной логике. В этой структуре слоев социальной действительности нижние слои обеспечивают «строительный материал» или «компонент» для каждого следующего слоя, в то время как более высокие уровни, возникнув однажды, устанавливают ограничения для своих компонентов и каналов создания будущих слоев. Очевидно, что события на этих различных слоях идут с разной скоростью. Вероятно, атомы и молекулы нашего мира неизменны на протяжении 14 млрд лет. Человеческая природа, которая воспроизводится в каждом новом поколении нашими генами, не претерпела существенных изменений за десятки тысяч лет. Значительная часть культуры изменилась с течением веков и создала некоторые институты, такие как религиозные ор-

дена или армия. В то же время большинство других структур, таких как бизнес-предприятия или международные режимы, имеют гораздо более короткий жизненный цикл или более быстрый темп развития.

Структурные слои были описаны и проанализированы и в других областях философами – Николаем Гартманом, биологами – Рупертом Ридлом, историческими институционалистами – Кэтлин Телен [Thelen, 2009] и, конечно, историками и политологами (см. подробнее: [Patzelt, 2007, p. 194–193]). Широко известны концепции французского историка Фернана Броделя [см.: Braudel, 2011 (1980)], касающиеся различных временных структур в различных слоях реальности. По его мнению, основные структуры, например геологические формации или человеческая природа, выглядят вполне «стабильными», если они анализируются во временном диапазоне десятков тысяч лет. Они на самом деле изменяются только в темпе «больших длительностей» («longue durée»). Структуры в следующем слое, например в геоэкономических и геополитических параметрах общественных структур, также развиваются в более быстром темпе сотни лет. *Их взлеты и падения (так называемые «конъюнктуры») иногда даже мы можем ощущать в рамках собственной жизни.* На верхнем слое социальной действительности, независимо от того, сколько разных слоев может быть между «низом» и «верхом», мы находим короткоживущие явления повседневной жизни, которые мы знаем как «нормальный бизнес» или «повседневная политика». Бродель называл их *histoire événementielle*.

Глядя на динамические процессы, которые происходят внутри этих структурных слоев, нетрудно признать, что вновь и вновь в различных слоях возникают исторические процессы. Они имеют свои масштабы, временной диапазон, длительность (*durée*). Человеческий род и его общества возникли и продолжают развитие. Империи типа Римской и Османской переживали взлеты и падения и наконец ушли с исторической сцены. Отдельные политические режимы сменяют друг друга зачастую на протяжении жизни одного поколения. Смена сессий парламентов запрограммирована в четкие сроки.

Мы также видим, что некоторые возникающие структуры создают предпосылки для дальнейшего развития. Между континентами возникают прогалы, прерывая миграцию человеческих популяций на протяжении тысяч лет с довольно заметными биологическими и культурными последствиями. Мы даже обнаружили, что некоторые результаты «исторического становления» кажутся «замороженными» на протяжении длительного времени, например доминирования человеческого рода, или в течение более короткой эпохи двухполюсного мира – конфликта Восток – Запад. Подобным образом мы замечаем «оттепели» или, по крайней мере, податливость структур на отдельных, обычно коротких периодах истории. Иногда мы видим внезапный крах режимов, общественного порядка, культуры или даже исчезновение популяций. Возникают вопросы поиска общих причин для такого «ускорения истории». В итоге «видение» типов этих

процессов выявляет гораздо больше порядка в истории (и даже в настоящем, которое станет прошлым довольно скоро), чем мы могли бы заметить, когда бы ограничивались описаниями того, «какой была жизнь в определенное время» или «как этот конкретный человек приобрел и потерял власть». Очевидно, что мы также распознаем факторы формирования нынешнего состояния мира, который станет историческим миром довольно скоро, если будем рассматривать наличную действительность как «исторически выросшую» в слоистой структуре мира. В конце концов, основы поздних слоев лежат не где-нибудь, а в прошлом, и в целом «архитектуру» нашего настоящего положения можно «расшифровать» только при рассмотрении всего диапазона истории, в ходе которого она появилась на свет. Таким образом, мы должны смотреть на все структуры, которые мы находим в современном мире, так же как геолог смотрит на различные слои геологических отложений. Внизу он находит старые структуры, вверху самые последние. Глядя на них, он может достоверно восстановить историю этого особого места в мире. И сделать он это может, не полагаясь на то, что кто-то был свидетелем этих процессов и оставил нам данные на этот счет.

На этом фоне в целом мы можем обоснованно утверждать, что политическая наука должна разобраться в себе и стать – в какой-то своей части – эволюционной дисциплиной, подобно геологии. Наша дисциплина на деле упускает многие возможности, когда ограничивает себя описанием нынешнего «пейзажа», опросами, статистическим анализом и формальными моделями. Однако для утверждения эволюционной и исторической политологии нам необходимы аналитические инструменты, способные раскрыть функционирование различных слоев социальной действительности, их взаимодействие. Нам следует научиться понимать, как процессы развития снова и снова позволяют осаждаться новым слоям, как они непрерывно преобразовываются, что происходит в разных слоях – иногда с удивительной скоростью. Ясно, что простое описание структур политического порядка, будь они современными или историческими, является всего лишь аналогом фотографии или геологического обнажения. Вместо этого нам необходима теория исторических процессов, *которая позволит нам «читать» слои структуры социальной действительности и наслаивание процессов.*

Потребность в подобной теории ощущалась на протяжении веков. Сегодняшние историки и политологи далеко не первые, кто захотел узнать, откуда мы пришли и на какой перемещенной «тектонической плите» нам приходится жить. Мы также не первые, кто надеется, что такое знание может помочь нам понять, что происходит в настоящее время. Мы не первые, кто задумался, можно ли использовать процессы, которые начались до или, по крайней мере, без нас, как «повлиять» на них. Хорошо известны аристотелевская теория конституционных циклов и политически влиятельная теорема исторического материализма. Едва ли менее известны

разновидности теории модернизации, проводящие различие между несовременным и современным обществом или режимом, и теории подъема и упадка мировых держав (см. недавнюю монографию: [Morris, 2011]).

Особое семейство теорий, касающихся подобных трансформационных процессов, называется историческим институционализмом [Thelen, 1999; Structuring politics, 2002]. Его конечная цель не сводится к анализу конкретного исторического процесса или к предвидению ближайшего будущего. Ключевой вопрос состоит в том, как в *обобщенных* терминах (general terms) осмыслить то, что *обычно* происходит в открытых процессах и что можно ожидать, ясно проявится в конкретном изучаемом случае. Ключевыми понятиями в связи с этим становятся «тропа зависимости», «критическая развилка», «прерывистое равновесие», «конъюнктура», «институциональные слои» или «институциональные преобразования». В таких случаях понятие «эволюция» играет важную роль. Иногда это понятие означает не более чем «постепенное разворачивание» политических процессов, т.е. их протекание не в форме революции. Иногда возникают аналогии с биологической эволюцией.

В некоторых случаях, однако, идея становится центральной, и понятие «эволюция» становится не чем иным, как сокращенным выражением комплексной теории преемственности поколений развития структуры в изменяющихся условиях. Далеко идущая теория развития и структура слоев общественного порядка была сформулирована вокруг этой идеи под названием эволюционный институционализм¹. Она включает в себя теорию меметической репликации, институциональной архитектуры, институционального развития и реформ, а также эволюционной морфологии. Эта последняя, четвертая часть эволюционного институционализма позволяет обнаружить в истории (1) «слои» с развивающимися возможностями, идеями и структурой, (2) ограниченные степени свободы даже в неслучайных процессах развития по тропе зависимости, (3), взаимодействие темпоральных структур на различных слоях социальной действительности. «Прочтение истории», таким образом, со временем будет превращаться в эволюционную морфологию. В следующих двух разделах излагаются основные идеи как эволюционного институционализма в целом, так и эволюционной морфологии в особенности. Завершающий раздел посвящен наиболее серьезным проблемам усвоения и применения морфологии в политической науке.

¹ Данная дисциплина разрабатывается в Дрездене в рамках исследовательского проекта «Институциональность и историчность». Основные публикации сделаны на немецком языке [Patzelt, 2007; 2010; 2012]. На английском языке – краткое введение и пример использования см.: [Patzelt, 2011].

II. Эволюционный институционализм

Институты – это «твердое ядро» социальной действительности и политического порядка. В структурных слоях реальности они могут быть найдены в переходной зоне между микроуровнем социальной действительности (от нашей биологической природы до культурно *формируемого* образования ролей) и ее макроуровнем, начиная с империй и государств. Поэтому вполне оправдано фокусирование на них исторического центра политической науки. Эволюционный институционализм определяет институт как набор формальных и неформальных правил, которым следуют и, тем самым, придают стабильную форму взаимодействиям людей. Подобное взаимодействие в процессе создания и воспроизводства наборов ролей и позиций обычно организуется в виде иерархий. Возникающий набор правил и ролей, который закрепляется с помощью символического выражения основных идей и принципов соединения, получил название *институциональная форма*. Эту форму мы часто можем обнаружить в законах и постоянно действующих правилах. Мы также можем найти ее в этнографическом анализе неформальных институтов. Эта институциональная форма может использоваться включенными в соответствующие институты людьми, обладающими различными навыками и приоритетами. В результате любая «практикующаяся» институциональная форма становится гораздо конкретней и насыщенней «институциональной формы самой по себе» (*institutional form proper*) за счет привнесения темпоральных, человеческих (*member*) и ресурсных особенностей.

Институционализация – это процесс, который обладает рядом признаков:

1) она делает направляющую идею или комплекс таких идей привлекательной для последователей и притягивает новых членов или сторонников к практикованию института;

2) она проясняет, какие правила и роли действительно будут полезны для обеспечения целей, определенных набором направляющих идей, а также реализует правила и роли, так чтобы «компетентные» члены организации соблюдали правила и уважали роли и чтобы такие члены могли отличаться от «чужаков» или «лазутчиков»;

3) она закрепляет согласие с помощью (а) символического, эмоционально привлекательного и обязывающего выражения руководящей идеи или идей, (б) создания коллективных карт сознания (*collective mind maps*), в котором руководящая идея или идеи, правила и роли формирующегося института появляются – хотя бы для «компетентных членов» (*competent members*) института – как «безусловно очевидные факты» (*simply sound facts*), не нуждающиеся в непрерывном обсуждении и пересмотре, (с) гарантирования путем применения власти, что коллективные карты сознания не подвергаются сомнению, установленные правила соблюдаются, роли исполняются, а

те, кто ощущает и ведет себя иначе, оказываются маргинализированы как чужаки или даже вытеснены как враждебные элементы;

4) она помогает передавать правила соблюдения институциональных норм и ролей, а также руководящие идеи, вокруг которых они сосредоточены, от одного «поколения» компетентных институциональных членов к следующему поколению.

Именно *такое* понимание «институционального поколения» имеет решающее значение для эволюционного институционализма. Никогда это понятие не относилось к различным «фазам» или «этапам» в истории институтов, даже если создание современных парламентов было сделано «предыдущими поколениями». Всегда «институциональные поколения» означают когорту институциональных первокурсников или «новичков», которые входят в институт (например, парламент или партии, религиозные ордена или армии), получают более или менее успешную институциональную социализацию и становятся (возможно) компетентными институциональными членами; это будет способствовать (более или менее) поддержанию формы их института и передаст в один прекрасный день эти культурные модели, которые используются для функционирования института и воспроизведения, в новую когорту институциональных первокурсников. Обычно в институтах существует сотрудничество многих когорт опытных институциональных членов с уже более или менее полностью социализированными преемниками и первокурсниками. Все они, если не выпадут из института по какой-либо причине, пройдут через него определенный путь. Институты зависят от определенного числа активных, компетентных членов, но не зависят от отдельных людей. Отдельные люди приходят и уходят, но институты остаются. Они не умирают – *universitas non moritur*. Так гласит средневековая формула.

При таком понимании поколений весь теоретический аппарат теории эволюции становится доступным для институциональных исследований. Требуются, несомненно, серьезные усилия по абстрагированию от биологических аналогий и для конкретизации полученных абстракций в обществоведении. Кроме того, необходимо еще одно концептуальное изменение. Причина последнего очевидна. Нам неизвестны гены или генетические «чертежи» или «рецепты», передающиеся от одного институционального поколения к следующему. Есть нечто иное. Это информация о правилах, которым необходимо следовать, отношении к роли, которое должно соблюдаться, и руководящие идеи, которые, по крайней мере эмоционально, разделяются. Если нам не нравится по уважительным причинам использовать такое строго метафорическое понятие, как «институциональный ген», то нам необходимо найти другое слово для обозначения тех «чертежей» или «рецептов», которые используются поколениями и передаются от одного к другому. Для этого мы можем воспользоваться похоже звучащим термином *мем* (*mete*). Более чем два десятка лет назад он был предложен британским эволюционистом Ричардом Докинзом [Dawkins, 1989]. Позд-

нее обозначаемое им понятие было популяризировано Сьюзен Блэкмор [Blackmore, 1999]. Соответствующее слово в единственном (meme) и множественном числе (memes) означает не что иное, как «культурный образец», который может быть распознан и использован для оформления собственных мыслей или действий¹. Одиночные мемы (конкретные правила, определенные паттерны поведения или элементы руководящей идеи и т.п.) могут быть объединены в настоящем или, возможно, «срастись» в прошлом, в более сложной меметической структуре, в «комплексе взаимосвязанных мемов», который называется «мемплекс» (memplex). А где мемы существуют? Они переносятся и распространяются «носителями» (vehicles) – мыслями и речами людей, текстами и фотографиями, ритуалами и религиозными церемониями, такими институтами, как политические партии или кафедры политической науки.

Таким образом, институциональная эволюция основана на передаче меметических чертежей / рецептов (например, при помощи институциональной социализации) для воспроизводства нормативных и поведенческих моделей (т.е. институциональной формы) в процессе замены одной институциональной генерации следующей. Хотя мы знали в течение многих десятилетий, что биологические виды используют для репликации генетической информации свою биологическую структуру, мы только сейчас начинаем понимать в подобных простых терминах, что институты просто полагаются на меметическую репликацию информации для выстраивания социальных структур. Верно, что некоторые институты сочетают биологическую и меметическую репликацию, например в династических монархиях. Но большинство институтов полагается исключительно на меметическую репликацию, например через политические партии и религиозные ордена.

¹ Здесь следует отметить, что в понятии «мем» и в самом факте существования мемов нет никакой загадки. Все явления, которые могут быть отнесены к числу мемов – от культурных паттернов, таких как идеи или «образы мысли», и до мелодий, ритмов, танцевальных па и стихотворных размеров, – хорошо известны сами по себе, как известны и практики по их передаче от одного поколения (философов, композиторов, танцоров и поэтов) другому. Дело лишь в том, что здесь они рассматриваются в гораздо более абстрактном плане, нежели это принято в их привычных сферах и дисциплинах, где они выступают «общепризнанной коммуникативной валютой». Таким образом, использование языка меметики похоже, например, на использование языка теории систем. Там тоже масса привычных вещей рассматривается в очень абстрактном виде и представляется на особом языке: речь начинает идти о системах, подсистемах, входах, выходах, обратной связи и т.п. Смысл обсуждения в такого рода терминах заключается не в том, чтобы подыскать названия для эмпирических объектов, которые не имеют ясных обозначений в повседневном языке или в научном вокабуляре, а в том, чтобы открыть новые и в некоторых отношениях более аналитически продуктивные способы рассмотрения тех или иных вещей. Тому же служит и язык меметики.

Как только происходит процесс репликации или социализации, начинает работать *алгоритм эволюции*¹. Похоже, что его работа в мире культуры и общества не многим отличается от работы в мире природы.

1. Всякий раз, когда генетическая картина «скопирована», или всякий раз, когда меметическая картина «имитируется» или «восстанавливается по ранее изученным правилам», могут происходить некоторые изменения.

2. Не все версии будут иметь одинаковые шансы быть сохраненными и стать основой для дальнейших строительных конструкций. Отбор пройдет и приведет к вариации, и лишь некоторые будут сохранены. Сохранившиеся вариации можно назвать культурными или институциональными «мутациями».

3. В процессе отбора в первую очередь включаются внутренние факторы селекции. Изменения будут иметь больше шансов быть сохраненными, если они соответствуют уже существующей структуре конструкции, будь то одно из животных или институтов. В результате контингент изменения в фундаментальных структурах редко будет сохранен, но изменения, не обязательно в будущем, в поверхностных структурах могут сохраняться довольно часто. Таким образом, новые «слои» существующей структуры накладываются поверх существующей структуры или новые связи создаются между существующими элементами системы. Хотя такие изменения могут повлиять только на определенную деталь, они будут иногда открывать совершенно новые и непредусмотренные, и даже удивительные пути дальнейшего развития.

4. Затем включаются внешние факторы селекции. Сохраняются изменения, которые не поддаются отключению «цепочкой услуг и возврата» между институтом и его окружающей средой или нишей². Если изменения открывают новые возможные функции, которые институт может выполнить, тем самым привлекая все больше ресурсов для института и ее членов. Если появляется «функционально нейтральный» вариант, т.е. не произойдет уменьшение ресурсов, которые институт получает в качестве компенсации за услуги, которые он оказывает в своей нише, то модификация имеет шанс остаться сохраненной. Однако если изменение отрежет доступ к ранее существующим ресурсам, то оно останется в силе только тогда, когда существует компенсация за ресурсы, которые больше не доступны из-за этого изменения.

Результатом этого двойного процесса селекции становится асимметричная «архитектура» того или иного института. Дальнейшая институционализация или институциональное развитие включается в тропу зависимости. С точки зрения структуры всегда будут некоторые сравнительно старые основные структуры или нижележащие слои элементов, которые все дру-

¹ Подробнее о разработке этого понятия см.: [Dennett, 1996].

² Окружающая среда – это все, находящееся за пределами института. Ниша института – это только та часть среды, которая по тем или иным причинам важна для института.

гие («высшие») институциональные слои несут как «бремя». Это приводит к тому что «верхняя часть» института зависит от поддержки со стороны своих «нижних частей». Отсюда вытекают два следствия. Первое заключается в том, что случайные изменения в верхних слоях «институциональной архитектуры» по сравнению с изменениями в базовой структуре имеют больше шансов встроиться и согласоваться (fit with) с остальными частями института. Суть второго следствия состоит в том, что изменения в высших слоях институциональной формы будут иметь больше шансов пройти через внутренние селекционные процессы, чем произвести изменения в нижних или в более базовых слоях института.

Данный процесс известен как «структурная инерция», которая неизбежно работает, даже если изменения в окружающей среде организации необходимы для быстрой и глубокой адаптации. С точки зрения функций эти механизмы работают следующим образом: в каждом сложном институте существует несколько основных функций, которые должны быть выполнены для того, чтобы более зависимые институциональные функции были выполнены надлежащим образом. Таким образом, любая организация может быть рассмотрена как пучок «функциональной цепи». Случайные изменения на «свободных концах» (far ends) таких функциональных цепочек имеют значительно больше шансов быть сохраненными, чем на «закрепленных концах» (fixed ends) функциональной цепи. Это приводит к «функциональной инерции», которая является вторым источником или формой «институциональной инерции».

Инерция, однако, дает лишь альтернативный способ представить различные скорости развития. Поэтому в пересчете на скорость мы находим основные слои политического порядка, которые по своей основе человеческой природы меняются достаточно медленно, если вообще меняются. Основные слои институтов изменяются медленно или исчезают вместе с институтом, который больше не вписывается в свою нишу и потерял ресурсы для репродукции. Верхние слои институтов изменяются с гораздо более высокой скоростью, так как они несут гораздо меньше нагрузки, а значит, имеют гораздо больше свободы для изменений. Таким же образом практикуемые формы институтов меняются куда быстрее, чем надлежащие формы институтов. С самой высокой скоростью изменяются элементы политического порядка, которые не являются ни биологически зафиксированными, ни институциональными. Представляется, что мемы меняются быстрее всего. Видимо, это связано с тем, что они просто являются «символами связи». Действия изменяются при значительно более низкой скорости, поскольку они используют стабилизированные взаимодействия, в которых они укоренены.

Функциональные требования к системе, порожденные окружением или нишей, меняются произвольно, иногда даже турбулентным образом. В результате асимметрия функциональных цепей не способствует развитию по тропе зависимости, как это делает асимметрия структурных слоев.

Другой важный эффект заключается в том, что двойные структурные асимметрии нагрузки и функции цепи показывают то, что не все варианты структур и функций на самом деле имеют равные шансы быть сохраненными, чтобы произвести «мутацию» институциональной формы. Вместо этого, определенные пути развития системы всегда более вероятны, чем другие. Вот почему мы признаем так много «направленных процессов» при взгляде на историю. Равным образом далеко не всякое мыслимое будущее действительно «открыто» в каждый момент времени. Даже контроль над громадной экономической и политической мощью не обеспечит ни любой желательной институциональной трансформации, ни любой привлекательной институционализации – во всяком случае, не в любой момент и не надежным образом.

Алгоритм эволюции работает во всех формах институционализации или институциональной истории. Следует учесть, однако, что эволюция вообще не предполагает телеологического «генерального плана». Действительно, институциональная приспособленность *может* возникнуть, но это отнюдь не «необходимый» (necessary) процесс или результат. Напротив, мы очень часто можем наблюдать, что институты ставят «эволюцию в тупик» (например, французское Национальное собрание IV Республики) или порождают «регулятивные катастрофы» (как рейхстаг Веймарской республики). Институционализации – даже связанные тропами зависимости – не являются принципиально «необратимыми». Если меметическая репликация не является достаточно эффективной, то институты могут «разрушаться», т.е. они все больше и больше будут страдать от двусмысленных правил, и все меньше и меньше будет ясности в тех ролях, которые должны играть компетентные институциональные члены.

Конечно, институты могут *научиться* улучшать свои организационно-правовые формы и поддерживать институциональную пригодность [ср.: Demuth, 2003]. В некоторых случаях это может быть сделано умышленно. Гораздо чаще институциональное обучение, даже если предпочтения институциональных субъектов противятся этому, выливается в одну из следующих форм: 1) «институциональное наслоение», 2) «институциональное преобразование», 3) «институциональный дрейф», 4) «институциональное смещение»¹. Изменения в окружающей среде системы могут радикально изменить шансы на сохранение, которые происходят в функциях цепи и конструкциях институтов. Причина в том, что изменения, которые, возможно, были вредны для определения ресурсов института вчера, завтра могут открыть новые пути развития. Если это произойдет, то (1) новые институциональные структуры будут созданы более старыми или (2) старые структуры под воздействием изменят свои функциональные требования и преобразуются для служения новым целям. Также институты могут

¹ Эти формы были выделены и описаны (но не были по-настоящему объяснены) в: [Thelen, 2003].

сохранить большую часть структурной архитектуры, даже если архитектура была изменена в нескольких точках в течение долгого времени так, что теперь она может работать совершенно иначе (3), и это несмотря на то, что эти институты (части института) выглядят очень похоже на то, как они выглядели прежде. И если часть института (или сам институт) хорошо зарекомендовала себя для достижения определенных целей в данных условиях, можно попытаться перевести проверенные институциональные решения для решения функциональной проблемы от этих установок к совершенно другим (4). В этом случае институциональные проекты будут «экспортированы» или «импортированы», и меметическая репликация не пойдет «вертикальным путем», т.е. от предшествующего поколения к поколению преемника, но пойдет «горизонтальным путем» – от одной социальной или культурной среды к другой.

Мы и подошли к тому, что известно в сравнительных исследованиях как проблема Гэлтона [см.: Schaefer, 1974]. Ее можно сформулировать следующим образом: если институциональные особенности при двух разных ситуациях аналогичны, значит ли это, что сходства вытекают из *адаптации различных структур к аналогичным вызовам со стороны среды* (в следующем разделе это называется «аналогичными сходствами» и требует «функционального объяснения»), или же их сходства вытекают из общих «чертежей» или «рецептов», т.е. из схожих мемов или мемплексов, которые были использованы для создания тех институциональных структур под разные наборы вызовов со стороны среды (это называется «гомологичным сходством» и требует «культурологического объяснения»)? Работу с проблемой Гэлтона, как с подходом к сравнительному анализу режима, мы разрешаем в области морфологии.

III. Эволюционная морфология

1. Основы

Понятие «морфология» было введено в науку и в живой язык Иоганном Вольфгангом Гёте еще в XVIII в. С его помощью описывались исследования и их результаты, которые нацелены на:

- «распознавание образов», или «гештальтраспознавание», т.е. вычленение значимых конфигураций;
- анализ *развития* соответствующих конфигураций или структур (patterns);
- *соотношения между соответствующими конфигурациями* (они же объединены общей историей).

При таком понимании морфология означает не что иное, как *сравнительный анализ структур* (*comparative pattern analysis*), и включает в себя как *исторические*, так и *нынешние* конфигурации¹.

Под разными названиями морфологические исследования довольно распространены в сфере истории искусства, языков, идей, правовых институтов и живых существ в целом. Неожиданным в свое время открытием стала реконструкция «индоевропейского языка», который оказался предком санскрита и большинства европейских языков. Величайший триумф морфологии был достигнут в естествознании. Зоологам удалось в течение века или чуть больше классифицировать около 2 млн видов животных, при этом не только их «семейная принадлежность» была отражена без особых противоречий, но и удалось обосновать всю историю жизни на Земле на основе классификации ее форм. Это весьма убедительно свидетельствует о том, что шансы морфологии раскрывать «порядок в развитии» (*developing order*) *весьма близки к фактам*.

Обратите внимание, что исследования не опирались ни на исторические документы, ни на генетический анализ. Они были основаны исключительно на рассмотрении окаменелостей и живых тел, а также на использовании процедур самокоррекции сравнений по мере обновления баз данных, что было потом отчасти методологически осмыслено в рамках так называемого *укоренения в данных теории* (*grounded theory*) [Glaser, 2011]. Это позволило сначала *обнаружить*, а затем и *объяснить* паттерны, морфологические структуры. Вряд ли сегодня найдутся зоологи и биологи, которые рискнут переделать линнеевскую классификацию животных и растений как «научную фантастику». Напротив, анализ генетического родства подтверждает то, что за десятилетия до того было в основном обнаружено путем распознавания паттернов. Таким образом, мы не должны отказываться от использования морфологических идей и методов классификации исторических и современных режимов. Такие же по сути идеи и методы помогли сравнительной зоологии и лингвистике в выявлении реальных (исторических) порядков во всем многообразии их проявлений. При анализе общественных институтов и политических режимов подобные решения сходных задач должны быть даже проще, чем это было в зоологии и в лингвистике. Нам не только приходится *наблюдать* явления. Мы еще и обладаем историческими источниками, которые могут *рассказать* нам о том, что же произошло.

2. Морфологические понятия и их фоновые теории

Основные понятия морфологии – «гомология» и «аналогия». Отталкиваясь от них, можно ввести понятие «гомойология». Рассмотрение более

¹ Именно это означает слово «морфология»: по-древнегречески *morphé* – это «образ» или «форма», а «-logia» – учение (как в словах *биология*, *геология* и т.п.).

глубоких уровней подводит нас к понятиям «гомодинамия» и «гомонимия». В конечном счете мы усваиваем понятия мозаичной и параллельной эволюции и относим их к широкому понятию «институциональная архитектура» и его структурной рамке, предназначенной для анализа различных «скоростей» эволюционных процессов.

Вне сомнения, очень широко распространено использование слова *аналогия*. Однако оно остается неясным и способно ввести в заблуждение в повседневной речи. Также слово *гомология*, не говоря уже об этом понятии, используется довольно редко даже в научной среде. Такова же и реальность для понятий мозаичной и параллельной эволюций, хотя они кажутся интуитивно доступными. Однако понятия гомойологии (или гомоаналогии), гомодинамии и гомонимии в основном неизвестны даже в обычной научной речи. Их странно звучащие греческие названия могут служить препятствием к их использованию. Возможно, однажды кто-то найдет более интуитивно понятные и привлекательные слова. Тем не менее уже сейчас нам необходимо их понимать.

А. Гомология

Гомология означает сходство, вытекающее из общей истории. В терминах общих генов и мемов она возникает в связи с генетическими и метемическими чередами повторений, начавшимися однажды с единого предка. Двух примеров может быть достаточно. Если посмотреть на скелет с некоторой долей экспертных знаний, видно, что передняя часть лошади и человека во многом похожи. В этом случае результаты эволюционного исследования говорят нам о том, что оба вида имеют одинаковое происхождение в истории позвоночных животных. В результате мы заявляем о том, что они – гомологии. Более того, когда мы рассматриваем политические институты с учетом исторических знаний, мы осознаем, что Имперский сейм Священной Римской империи германской нации и Федеральный совет как императорской Германии, так и нынешней Федеративной Республики Германии созданы по единому образцу: послы, иногда главы правительств, составные части федеративной империи или республики собираются для совместного рассмотрения и принятия законов. Именно это представляет собой гомологическое сходство.

Подходящая формула звучит следующим образом: гомология представляет собой «сходство в глубинных структурах», поскольку они созданы структурообразующими процессами в соответствии с общими «образцами» и «способами». Подобное сходство не может измениться, оно лишь может быть скрыто, в частности путем трансформации исходной формы или дополнительными «слоями» поверхностных структур, которые развиваются с течением времени и будут рассмотрены в следующем разделе. Например, члены германского Федерального совета являются «нормаль-

ными политиками», в то время как члены Императорского федерального совета – дипломаты. Данному изменению при найме в одинаковые институциональные формы приходится столкнуться с адаптацией Федерального совета как к измененной структуре режима в целом, так и к новым возможностям легкого перемещения между столицей и другими частями Германии. Подобные *различия в поверхностных структурах* довольно часто скрывают *общие глубинные структуры*. Это может проявиться столь сильно, что ключевое сходство, восходящее к общему «чертежу» или рецепту, перестает распознаваться «наивной установкой» (*naïve attitude*) повседневного мышления и может быть раскрыто лишь в результате аналитических усилий.

Приведем еще два примера для разъяснения этого момента. Крылья птицы и передние ноги лошади представляются «совершенно различными» для всех, кто не знаком со строением скелета позвоночного животного. Однако те, кто знает историю позвоночных животных, с легкостью увидят одинаковое строение, т.е. передние ноги, начавшие выполнять другие функции миллионы лет назад. В результате это одинаковое базовое строение было изменено в соответствии с новыми функциями и снабжено дополнительными хорошо подходящими поверхностными структурами в ходе длительного эволюционного процесса совершения проб, ошибок и характерной репродукции. Это верно и для законодательных органов в либеральных и (ранее существовавших) социалистических государствах. Они формируются (или формировались) по тому же образцу выборной представительной ассамблеи. Но они встраиваются (или встраивались) в различные общие структуры политического режима, в котором им приходилось выполнять различные функции. Следовательно, они претерпевали изменения с течением времени и приобретали разнообразные формы в зависимости от различных функций и в то же время не прекращали разделять ту же унаследованную форму.

Данное различие более значимо для конкретного исследования, нежели для теории, поднимающей вопросы о том, были ли гомологии созданы путем генетической (как в природе) или меметической (как в культуре) репликации. Во время изучения человеческой истории мы часто узнаем о меметических репликационных цепочках. В частности, это верно, если культура пользуется шрифтом, который мы не можем прочесть, и создает достаточно текстов, со временем раскрывающих развитие этих институтов, законов и идей. В подобных случаях, например в европейской и китайской культурах, тексты отображают происхождение юридических законов, а исторические архивы помогают нам следовать традициям и понимать, как армии, административные органы или партии были преобразованы из ранних форм в более поздние и таким образом приобрели дополнительные качества и черты. Но чем сильнее мы углубляемся в историю, тем меньше мы обнаруживаем текстов и исторических записей, подтверждающих, что один институт, закон или идея происходит от пре-

дыдущего института, закона или идеи, т.е. разделяет гомологическое сходство. И всякий раз, когда мы не находим ни одного текста, в котором эти структурообразующие образцы и методы (т.е. мемы или мемплексы) не могут быть обнаружены, мы просто не можем подтвердить, что гомологическое сходство существует. Во всех этих случаях нам приходится полагаться на наблюдение и толкование, т.е. на герменевтику. Это то, чем занимались зоологи и биологи, когда они столь успешно создавали классификацию животных и растений. Их работы основывались исключительно на распознавании образцов, и они построили «обоснованную теорию» на допущениях, сделанных на основе толкования подобных образцов. Лишь 200 лет спустя, после развития биохимической генетики, стало возможно «объективно» определить степень генетической согласованности среди всех созданий, т.е. степени их гомологического сходства. Как всем нам известно, это изменение в методе лишь подтвердило то, что мы ранее выявили.

Не только успех биологов показал, что герменевтическое исследование может привести к действительным и достоверным результатам, которые «без сомнений» могут считаться достоверными. В действительности это подтвердили ученые в области развития архитектурных форм (таких, как соборы и мечети), живописи (вспомните сюжет Рождества, проходящий сквозь эпохи и стили) и музыки (подобно эволюции мотета от Жоскена до Баха). Все эти ученые перестроили историю изучаемых форм путем поиска гомологического сходства в их данных. И когда бы они ни отыскивали дополнительные письменные источники о том, как «образцы» и «способы» создания этих форм передавались от одного поколения архитекторов, художников и композиторов к другому, они обычно подтверждали то, что уже было «увидено», «услышано» и упорядочено интерпретацией. Это верно и для ученых в области ранней истории и преистории. Они имеют и желание и возможность перестроить целые культуры и торговые системы – от гончарного дела или от признаков человеческих жилищ. Говоря языком герменевтического анализа информации, они ничем не отличаются от таких биологов, как Карл Линней, который пытался найти закономерности среди огромного разнообразия растений и животных.

Биологам пришлось начинать при более сложных обстоятельствах. Шрифты и тексты как «образцы» и «способы» культурных и социальных структур и как «двигатели» культурных форм «читаемы» и понимаемы уже 4000 лет. В действительности их внимательный анализ проводится в течение многих столетий. Но даже существование ДНК в качестве ключевого «образца» или «способа» в природе, не говоря уже о его грамматике и значении, было совершенно неизвестным еще менее века назад. Тем не менее биологи чрезвычайно преуспели в формулировании правильных утверждений о цепочках генетических репликаций, в частности в виде утверждений о гомологических сходствах. Но каким образом они могли преуспеть? Очевидно, что животноводческие навыки, т.е. опыт в области

«практической генетической репликации», обеспечили их некоторыми базовыми идеями. До сих пор решающим было то, что они четко следовали методологии, ныне известной как морфология. С течением времени данный подход стал систематизированным и был сделан доступным благодаря Адольфу Ремане, Руперту Риедлу и др. На эту методологию, не располагающую текстами, прямо раскрывающими гомологии, будет разумно полагаться также и социологам.

Существуют три испытанных критерия, делающих возможным выявление гомологического сходства даже при отсутствии доступа к генетическим или меметическим шрифтам, которые физически передают «образцы» и «способы» от поколения к поколению. Все они полагаются на исчисление вероятностей. Эта базовая идея заключается в гипотетическом допущении гомологического сходства, всякий раз, когда представляется совершенно невероятным, что рассматриваемое структурное сходство будет развиваться случайно, т.е. не будет существовать из-за общего «предка», независимо от того, насколько далеким он может быть. Следует отметить, что существует важная модификация базовой идеи «репликации по образцу», которую мы применяем в области социально-культурной эволюции. Генетическая репликация – за исключением случаев искусственного оплодотворения – нуждается в присутствии донора и акцептора «образца». Однако в случае меметической репликации мемы могут перескакивать через время (усвоение Фомой Аквинским идей Аристотеля после многовекового периода их забвения на латинском Западе) и пространство (институциональные формы британского парламента в бывших британских колониях). Благодаря этой модификации вероятного значения «общего предка» следующий критерий должен оказаться полезным для сравнительного анализа в гуманитарных науках, коим он уже оказался для зоологии:

– положение структуры в принимающей структуре. Находим ли мы структуры, гомологические сходства которых мы выбираем, в одних местах и с разными скелетами или видами соборов, институтов и т.д., в которых мы их размещаем? Если так, тогда существует вероятность, что это происходит не случайно, а по причине того, что «образцы» и «способы», на которых построена эта структура внутри слагаемой структуры, являются по меньшей мере в основном одинаковыми во всех случаях. Вытекающий отсюда вопрос заключается в том, как эти «образцы» и «способы» совершили «путешествие» между различными местами и «слагаемыми структурами», где мы их обнаруживаем теперь. В гуманитарных науках это привело бы нас к анализу процессов культурной диссимилиации;

– специальное качество. Отражают ли структуры, гомологические сходства которых мы выбираем, одинаковую «архитектуру» сквозь все различные скелеты и институты, или формы религиозных строений, или музыкальные композиции, которые мы сопоставляем? Если так, есть вероятность того, что это возникает не случайно, а в связи с тем, что «образ-

цы» и «способы», на которых построена структура, одинаковы во всех случаях. Тогда нам снова необходимо узнать, как этот структурообразующий ген или мем совершил свое «путешествие»;

– существование переходных форм. Если мы все способны найти переходные формы между ныне существующими структурами и предшествующими, предположительно «наследственными» структурами, тогда гомологическое сходство весьма вероятно. Тогда мы можем допустить ее существование, даже несмотря на то, что нынешняя структура выглядит иначе, нежели более ранняя, и / или она интегрирована в довольно отличающееся окружение. Среди впечатляющих примеров подобных гомологических сходств существуют три человеческих слуховых косточки и челюстная кость акулы. Несмотря на то, что на первый взгляд неправдоподобно, что между ними есть нечто общее, можно установить, что первые произошли от последних миллионы лет назад. Тем же способом можно выяснить, что современные парламенты произошли от государственных ассамблей, хотя эти институты представляются довольно различными.

Структуры, отвечающие по крайней мере последнему критерию, могут считаться гомологиями без каких-либо серьезных сомнений. Если структуры отвечают первым двум критериям, существует высокая вероятность того, что мы имеем дело с гомологическим сходством. И во многих случаях даже соответствие одному из первых двух критериев будет доказательством подобному притязанию.

Б. Аналогия

Мы привыкли называть аналогиями любые сходства и вспоминаем о них по любому случаю. Однако это особый класс сходств. Их выявление – весьма сложный процесс и требует тщательного осмысления. Неудивительно, что возникает немалое количество нестыковок при представлении или применении аналогий. Основная причина этих трудностей заключается в том, что необходимо исключить гомологическое сходство, прежде чем наверняка приписывать данную форму сходства двум или более сопоставляемым структурам. Это условие становится очевидным, когда мы рассматриваем ключевые черты аналогичного сходства.

Аналогия означает сходство, происходящее от адаптации структур различного происхождения к похожим вызовам их окружающей среды. Другими словами, аналогичное сходство представляет собой сходство в поверхностных структурах и является результатом процесса адаптации, тогда как гомологическое сходство – это сходство в глубинных структурах, возникающее в результате генетических и меметических репликаций.

Двух примеров должно быть достаточно. Крылья птиц и насекомых имеют довольно различное происхождение, но они кажутся и даже явля-

ются очень похожими, поскольку обеим структурам многие поколения приходилось развиваться, сталкиваясь с одинаковыми трудностями, а именно с тем, чтобы поднять тело в воздух и заставить его лететь. В мире политических институтов сенат США и Федеральный совет Германии кажутся очень схожими, если присутствовать на пленарном заседании или заседании комитета. Таким образом, они склоняют наивных наблюдателей к тому, чтобы они поверили в их принадлежность к одному типу «федеральной представительной ассамблеи». Но на самом деле у них довольно разные «предки», изначально состоящие из представителей от законодательных органов штата в случае США и представителей от государственных правительств во втором случае.

Поскольку аналогичное сходство – результат взаимодействия между различными структурами с одинаковой природой, оно появляется и исчезает в зависимости от изменяющихся функций данной структуры и от количества структурных трудностей, с которыми ей приходится бороться. Поэтому рассмотрение аналогий помогает нам распознать, каково влияние изменяющейся среды, и функциональные условия могут вызвать развитие весьма отличных друг от друга форм даже исходно идентичных структур. Другими словами, аналогии обучают нас многому, что касается внешнего процесса отбора и важных факторов дифференциальной репродукции. Поэтому Конрад Лоренц в своей знаменитой речи, произнесенной после вручения Нобелевской премии, назвал аналогии «источником знаний» [Lorenz, б.г.]. На этом фоне становится неудивительным, что историки, социологи и политические деятели склонны выявлять аналогии и стараются извлечь из них знания. Однако столь же верно и то, что они редко достигают соглашения относительно того, какая именно аналогия «действительно» способна научить, и разногласия возникают даже в отношении того, является отстаиваемая аналогия достоверной или же вводящей в заблуждение.

Какова причина подобных проблем, характерных для наиболее распространенных ярлыков рассматриваемого и растолкованного сходства? Основная причина заключается в том, что поиск аналогии обычно производится интуитивным, методологически не контролируемым способом. Это обосновывается тем, что большинство людей, и даже ученые, не владеют ясным представлением о понятии гомологии. В результате они не проводят и не излагают важное различие между «сходством по происхождению» (т.е. гомологическим сходством) и «сходством по адаптации» (т.е. аналогичным сходством). Вместо этого понятие идеологии используется в качестве универсального ярлыка для всех типов сходств. Однако поскольку существуют различные типы сходств, всегда существуют хорошие поводы заявить, что так называемая аналогия вовсе не является столь же подобной, сколь это утверждалось и использовалось при аргументации, поскольку у нее есть сходные с чем-либо еще черты. В конце концов сходство по происхождению, покрытое различными дополнительными струк-

турными слоями, которые адаптируют его к различным условиям, представляется чем-то довольно отличающимся от сходства, созданного адаптацией различных структур к одинаковым условиям. Поэтому неудивительно, что те, кому не хватает словарного запаса для выражения этих различий, то и дело оказываются втянутыми в бесполезные разговоры о «неправильных аналогиях» и «вводящих в заблуждение примерах», т.е. о том, существует ли «действительное» или хотя бы «достаточное» сходство между двумя и более случаями.

В наихудшем случае человека перестает устраивать сравнительное исследование в целом. Он воздерживается даже от поиска сходств, по меньшей мере, до тех пор, пока сопоставляемые случаи или структуры будут изначально считаться «похожими вне всякого сомнения». Но эмпирический смысл в значительной степени основывается на сравнениях, и ничего, кроме сравнений, не может показать, существует ли сходство. Поэтому нам просто необходимы четкие понятия для понимания различным форм сходств. Среди прочих понятия гомологии и аналогии помогают нам справиться с этой проблемой. Тем не менее этого недостаточно.

В. Гомойология или «гомоаналогия»

Может ли случиться, что сходные вызовы среды будут направлены на структуры, которые уже подобны благодаря происхождению? Конечно! Такого рода эффекты взаимодействия, т.е. формирования аналогичных сходств на основании уже существующих гомологических сходств, получили в биологии название *гомойология*, хотя мне кажется более удачным название *гомоаналогия*. В подобных случаях адаптивное принуждение к уподоблению применяется к структурам, которые уже сходны. В результате возникают очень эффективные и потому легко поддающиеся пониманию формы. Например, в либеральных демократиях мы обнаруживаем такого рода сходства среди свободно избираемых многопартийных парламентов, которые выполняют привычные функции, в частности контролируют правительство, законодательство и обмен информацией. Здесь сходные вызовы сходных условий воздействуют на институты общего происхождения и ведут к возникновению ассамблей, которые мы обычно называем «полноценным» или даже «действительным» парламентом.

Те исследователи, занимающиеся сравнительным анализом, кто заявляет, что «сопоставимость» требует «достаточного сходства», кажется, имеют в виду именно эту комбинацию из двух взаимно укрепляющихся форм сходства¹. Однако довольно часто примеры сходства «только» по происхождению или «лишь» по адаптации к похожим трудностям были исключены из анализа вследствие их «недостаточного сходства». Конечно,

¹ «Номоіος» в переводе с древнегреческого означает «похожий».

это лишает нас как изучения аналогий, так и реконструкции «скрытых отношений», т.е. гомологической схожести, стоящей за иначе адаптированными структурами. Например, при исследовании законодательных органов некоторые ученые утверждают, что только парламенты в странах с либеральной демократией могут подвергаться надлежащему сравнению, в то время как сопоставление их с социалистическими законодательными органами или с сословными собраниями неизбежно приводит к искаженным или даже абсолютно неверным результатам. Я решительно отвергаю данный тезис и считаю, что сравнительный анализ развивался бы качественнее и быстрее, если бы прекратил исключать негомоналогичные случаи из сравнения. В дополнение мы могли бы избавиться от бесполезного обсуждения «недопустимых аналогий», если бы мы использовали понятие гомоналогии для отделения тех случаев, когда дана «только» *одна* форма сходства, от примеров как гомологического, так и аналогичного сходства.

Г. Гомодинамия

Гомодинамии отличаются от гомологий, аналогий и гомоналогий тем, что обладают *сходными способностями* вызывать (trigger) процессы структурообразования. В результате использования таких способностей возникают сходные структуры. Основной механизм состоит в том, что запускается определенная «программа», которая является врожденной (in-born) или усвоенной (in-trained). Ее может запустить любой триггер, но потом процесс идет в соответствии с врожденной генетической программой или усвоенным меметическим алгоритмом.

В биологии наиболее широко известным примером гомодинамии является онтогенез эмбриона. Однажды начатый и не прекращенный извне или по причине «серьезных ошибок» в процессе структурообразования¹, он продолжается до тех пор, пока не приводит к появлению схожего индивида. Их сходство объясняется однажды установленными и примененными «программами», которые действуют одинаковым образом всегда и везде.

В социальном мире и, следовательно, на более высоком уровне структурообразования, нежели на уровне биологии, социобиологии и эволюционной психологии, было обнаружено одинаковое явление: ранее люди одинаково реагировали на гендерные раздражители, на физические угрозы, на объекты, которыми бы им хотелось владеть или защитить их, и они даже использовали схожие формы общения и сотрудничества. Поэтому не все сходства, рассматриваемые нами, уходят корнями в гомологию, аналогию или во взаимодействие двух форм, однако по этой причине некоторые сходства возникают в связи с разнообразными индивидуальными способностями к «реализации программ», которые нужно лишь запустить.

¹ Именно это называется «внутренним отбором».

Поэтому если мы хотим избежать заключения неверных выводов о причинах рассматриваемого «порядка социальной действительности», мы должны выделить то сходство, которое происходит от гомодинамий. Впоследствии нам придется объяснить оставшиеся сходства.

Д. Гомономия

В отличие от гомодинамических *программ* порождения сходных структур гомономии, как и другие формы сходств, сами являются структурами как таковыми. Кажется, что в природе и в культуре многие *базовые формы* рутинно возникают на основе гомодинамий, которые впоследствии могут встраиваться в совершенно другие структуры и могут взять на себя огромное количество разнообразных функций.

В биологии примером являются формы, подобные ногам многоножки или многим типам волосяного покрова наших тел, начиная с пучка волос в ушах, являющегося распознавателем звуков, и заканчивая волосами на коже. На уровне же организации общества мы обнаруживаем, например, что люди основывают «комитеты» всякий раз, когда необходимо решать общественные проблемы, или что они с той же целью предоставляют власть вождю, таким образом устанавливая отношения вида «вождь – последователи». По большей части благодаря гомодинамическим процессам подобные структуры называют «гомомомиями».

Е. Мозаичная эволюция

Мозаичная эволюция означает, что некоторые части в рамках эволюционирующей структуры могут быть каким-либо образом «заморожены» на очень длительные периоды, в то время как другие части общей структуры претерпевают значительные изменения. Например, позвоночник, являющийся центральной частью в «архитектуре» позвоночных животных, практически не изменился за 450 млн лет, тогда как многие другие части позвоночных животных изменились кардинально. Другим примером может служить двуногое хождение. Оно развивалось на протяжении эволюции млекопитающих совместно с изменениями тазового пояса и продолжалось до тех пор, пока не изменились остальные части человеческого тела. Говоря о примерах из социальной действительности, можно отметить, что в римско-католических церквях до сих пор существует разделение ролей между мирянами и священниками, хотя многие другие организационные черты – синоды, Римская курия – были добавлены или подверглись глубокой трансформации.

Внутри мозаичной эволюции действуют эффекты «структурной архитектуры», определяющие процессы зависимости от первоначально выбранно-

го пути. Это происходит примерно таким образом. Формируются некие базовые структуры. Со временем эти структуры обрамляются новыми слоями дополнительных структур. Эти дополнительные структуры или последующие новые слои поверх них приспособливают базовую структуру к изменяющейся среде и новым функциональным требованиям. По ходу этих процессов происходит отбор. Только те новые структуры имеют шанс стать «прародителями» для дополнительных структур, которые по мере своего возникновения (emerging) встраиваются в базовую структуру, частью которой становятся («внутренний отбор»), а затем, уже как возникшие (emerged), они оказываются способными содействовать выполнению жизненно важных для возникающей системы функций («внешний отбор»). В результате многие не нагруженные «кусочками мозаики» всей системы изменяются, а тяжело нагруженная базовая структура остается неизменной. Если рассмотреть эволюцию административных органов, армий, религиозных порядков и т.д., то эта форма макроэволюции видна совершенно отчетливо.

Ж. Параллельная эволюция

Параллельная эволюция – понятие, применяемое в контексте анализа макроэволюционных процессов, однако имеющее отношение к видам или структурам. В действительности происходит следующее: представители одного и того же вида попадают в разные условия развития; с течением времени они вынужденно адаптируются к этим условиям, в результате параллельно начинают развиваться две (или более) версии начального организма, т.е. два или более новых подвида. В итоге некоторые характеристики исходного вида сохраняются неизменными, в то время как другие претерпевают (зачастую глубокие) преобразования или создают новые элементы вокруг себя. Этот феномен получил название «параллельная эволюция», когда сохранившиеся гомологичные структуры видов создают эти параллели у разных подвидов. *Thylacinus cynocephalus* (сумчатый волк), являющийся сумчатым, и *Canis lupus lupus* (евразийский волк), являющийся млекопитающим, как раз примеры такого типа эволюционного развития. Они имеют общего предка из семейства псовых, однако, вынужденные развиваться обособленно на протяжении миллионов лет, они претерпели значительные изменения, в результате которых один вид сегодня стал представителем сумчатых, а второй – млекопитающих. Однако у них все же сохранилось множество черт общего предка: к примеру, количество зубов и их расположение. В этом случае генетически обусловленные пути адаптации, в узких рамках вынужденные вписываться в специфические условия ареала распространения, остаются неизменными, в то время как другие элементы общей структуры являются менее необходимыми или не вписываются в условия данного ареала.

Рассматривая тот же принцип в рамках государственных структур, можно привести схожие аналогии: некоторые парламенты сохранили, возможно частично, элементы «родительских» коллегиальных структур, в чем в дальнейшем и проявилось их гомологическое сходство, пускай даже один парламент сейчас работает в рамках либерально-демократической среды, а другой – социалистической диктатуры. Параллельная эволюция при этом может считаться условным названием для всего макроэволюционного процесса, когда появляется новый вид или создается новый парламент, при условии сохранения исходных форм предка, в чем как раз и проявляется это гомологическое сходство подвидов. Однако по-прежнему открытым остается вопрос, до какой степени схожими должны считаться организмы, чтобы их развитие подпадало под понятие «параллельная эволюция».

3. Как следует осуществлять морфологический анализ

Морфология не дает готовых классификаций, таксономий или типологий. Она может предложить крайне мощные орудия для развития подобных «схем систематизации». Ее исключительная ценность для эмпирических сравнительных исследований заключается в способности довольно тесно связать «построенную систематизацию» с «методологически обозримой последовательностью», а также настолько, насколько это представляется возможным, близко свести последнюю к действительности существующим порядковым структурам природного и социокультурного миров. Поскольку морфология с помощью таких ключевых понятий, как «гомология» и «гомодинамия», охватывает процесс эволюции в целом, все создаваемые морфологическим анализом классификации, таксономии и типологии уходят корнями глубоко в историю, по крайней мере, настолько глубоко, насколько это позволяет доступная информация.

В дополнение морфологическое исследование проводится по четкому и подлежащему обучению пути. Ниже представлены его этапы.

- Определить круг институтов, «упорядоченные отношения» которых подлежат изучению. Таковыми институтами могут являться партии и парламенты, армии или же административные ведомства, правовые системы или целые системы государственного управления. Отдельные институты кажутся наилучшей возможной «единицей анализа» для проведения сравнительного анализа режима, как в связи с тем, что институты являются ядром каждого режима, так и поскольку весь понятийный аппарат эволюционного институционализма с легкостью может быть применен в этом случае.

- Приблизиться к предмету изучения путем приобретения знаний из книг и доскональных обсуждений. Морфологический анализ является не «герменевтическим избавлением» от эмпирического исследования, а способом применить эмпирическое исследование для распознавания и разъяснения образцов.

- Достичь распознавания образцов с помощью сенсibiliзирующих понятий при чтении и обсуждении: гомодинамию и гомономию, гомологию, аналогию, гомоаналогию, мозаичную и параллельную эволюцию, «институциональную архитектуру» с «наслаивающимися структурами» и «системы функций».

С приходом понимания того, что дальнейшее чтение не изменяет общую картину, необходимо применить ключевые этапы морфологического анализа.

- Попробуйте найти те структуры изучаемого феномена, которые создаются гомодинамиями. Попробуйте на подобных примерах понять, как человеческая природа взаимодействует с такими социокультурно созданными структурами, как институты. С этой целью используйте те, которые значимы для социобиологии или эволюционной психологии.

- Основываясь на результатах своих поисков, попробуйте выделить гомономию и аналитическим путем отстранить их от следующих этапов анализа.

- В остающемся явлении попробуйте обнаружить гомологии в рамках тех партий, парламентов и административных органов, сравнение которых вы проводите. Для этого обратите внимание на меметические репликационные процессы и культурное распространение. Если информация не позволяет верифицировать системы меметических репликаций, воспользуйтесь тремя проверенными критериями достоверных гипотез о предоставленных или отсутствующих гомологических сходствах: существование переходных форм, специальное «архитектурное» качество сравниваемых структур, их положение во встраиваемых структурах.

- В сохраняющейся совокупности сходств разыскивайте аналогии, т.е. сходства, происходящие из адаптации различных структур, из схожей среды и условий. Используйте подобные аналогии для того, чтобы распознать обменные процессы между сопоставляемыми структурами или системами в относящихся к ним окружающих условиях. Таким образом, будьте предельно внимательны и к изменениям, происходящим в нише изучаемых систем, и к их адаптационным процессам.

Располагая достоверными сведениями о гомологиях и аналогиях, гомономиях и гомодинамиях в подвергавшихся сравнению случаях, упорядочите материалы и догадки по двум измерениям.

- Первое из них – гомологическое сходство, т.е. «меметическая близость», в качестве степени, в которой структуры основываются на одних и тех же мемах или мемплексах. В ходе упорядочивания материалов и догадок на основе этих измерений сведите к порядку структуры, отражающие исторические отношения вида «предок – потомок» и / или культурное распространение.

- Второе измерение является аналогичным сходством, т.е. сходством, возникшим вследствие более ранних или нынешних окружающих условий.

Описывая свои материалы и объясняя свои догадки в подобном двухмерном имущественном пространстве, выделяйте все случаи, отображающие и гомологическое, и аналогичное сходства, т.е. гомоаналогичное сходство. По мере возможности расположите эти случаи в центре графического образа аналитически возникающей порядковой структуры, для того чтобы отделять и связывать их с подобными случаями только с гомологическим или аналогичным сходством.

В разработанных соответствующим образом морфологических графиках, таблицах или схемах ищите феномен мозаичной или параллельной эволюции. Когда бы вы ни обнаружили подобный феномен, попытайтесь объяснить его путем перестроения стоящей за ним «институциональной архитектуры». В дополнение растолковывайте и обнаруженные гомодинамии и гомонии в свете своих находок в области параллельной и мозаичной эволюции.

В заключение попытайтесь выявить «целостные конфигурации» (overall patterns), раскрываемые с помощью всех предложенных выше способов анализа. Запишите и объясните их. Используйте при этом теорию эволюционного институционализма¹. После этого у вас может даже появиться возможность совершить оценку ex ante некогда задуманных или хотя бы мыслимых реформ [см.: Lempp, 2007, Patzelt, 2012 a].

4. Некоторые проблемы морфологического подхода

Несмотря на то что эта четко определенная и простая в применении методология морфологического исследования может быть с легкостью выделена и хотя морфология была столь успешна в сравнительной зоологии, в истории искусства и музыки, в сравнительной лингвистике и даже в предьстории и археологии, многие социологи до сих пор очень неохотно пользуются этим подходом. В дополнение к небольшому количеству литературы о морфологии как подходу к исторической сравнительной общественной науке существуют как минимум четыре важные причины для подобного пренебрежения или нерасположения.

Во-первых, действующие эмпирическим способом социологи раньше концентрировались на объяснении этого феномена. Обычно они принимают как должное существование и даже адекватное установление границ своего экспланадума. Основываясь на этом, они концентрируются на развитии и тестировании сложных наборов независимых и промежуточных переменных, предназначенных для объяснения самого появления и значений зависимой переменной. Но гораздо меньше усилий вкладывается в распознавание образцов, т.е. в выяснение и подробное описание того,

¹ Первые примеры такого рода исследований представлены в: [Patzelt, 2007 a, 2009, 2012; Heer, 2012].

какие в реальности существующие порядковые структуры следует считать экспанадумом, т.е. зависимой переменной. В этом контексте весь подход морфологического мышления представляется несвойственным для многих «традиционно обученных» социологов.

Это ведет ко второй причине. Во-вторых, действенное и надежное распознавание образца нуждается в систематическом герменевтическом подходе. Однако систематическая герменевтика гораздо реже преподается на уроках методологии, нежели статистический анализ или построение модели рационального выбора. Более того, герменевтика считается «мягким» качественным исследованием в нашей современной научной культуре и ценится в меньшей степени, чем «жесткое» количественное исследование. На этом фоне морфология воспринимается как «простая интуиция», т.е. скорее как «искусство», а не «наука». При подобных обстоятельствах ученому представляется не очень привлекательным заниматься морфологией.

В-третьих, ценность морфологии может быть в должной мере учтена, в частности, тогда, когда нет доступных прямых указателей на взаимоотношения феноменов. Тогда рассмотрение «внешних форм», распознавание образца и поиск порядковых структур среди обнаруженных образцов – в этой последовательности – являются наиболее многообещающими шагами на пути к новым открытиям. Именно такой была ситуация в зоологии и биологии, прежде чем механизм генетической репликации был обнаружен. В догенетическую эпоху морфология была единственным способом обнаружить порядковые структуры и положить начало «системе» растений и животных. С другой стороны, биологическая морфология пришла в упадок, когда стало возможным количественное измерение генетического содержания и генетика начала преобладать над биологией.

Однако традиционной историографии, использующей письменные источники, и социальным наукам, основывающимся на информации и опросах, произведенных на основе событий, никогда не приходилось полагаться на морфологию для проведения своих исследований. Обычно из исторических записей и из информации, полученной из событий, совершенно ясно, какие структуры, правила или идеи происходят из каких других структур, правил или идей. При таких обстоятельствах морфология может казаться тривиальной и излишней. Но когда обращение к морфологии столь бесполезно, исследованию приходится ограничиваться теми временными промежутками и режимами, по которым доступно достаточно документов. Тогда политологи превратились в специалистов по современным режимам и стали пренебрегать всеми уроками, которые они могли бы извлечь из всего ряда существующих режимов. Историки, напротив, привыкли проводить идеографические анализы. Для подобных исследований им не нужно ни всеохватывающих классификаций, ни обобщений теорий. Следовательно, они склонны полагать, что эти инструменты не представляют для них интереса. В результате они располагают столь же малым количеством стимулов для использования морфологии, как и со-

циологи, несмотря на то что они тоже могли бы сделать гораздо больше систематических догадок, основанных на истории, чем они делают, используя свои инструменты.

В-четвертых, язык, используемый в научных дискурсах, в истории и в социальных науках, в любом случае не является действительно полезным для тех обширных сравнений, которые побуждают к применению морфологии. Для вышеперечисленных причин все еще не существует установленного способа убедительного формулирования существующих различий и отношений между довольно различными форм и причин для сходств. В результате каждый подход, следующий за обнаружением, объяснением и упорядочиванием даже скрытых сходств, оказывается безосновательным, вводящим в заблуждение и таковым, которого лучше избегать. Находясь в страхе перед критикой за «неправильные аналогии» и «предвзятые примеры», историки и социологи просто предпочитают пренебрегать морфологией, хотя именно этот подход мог бы избавить их от проблем.

Осознавая эту неудовлетворительную ситуацию, я попытался продемонстрировать, почему нам следует использовать морфологию в качестве подхода политологов и в качестве моста через пропасть между работами историков и исследовательскими трудами политологов. В конечном счете и прошлое и настоящее предстает перед нами с тем, чтобы быть исследованными морфологически. Не нужно ничего делать, кроме как напитаться вдохновением из этой статьи и заняться исследованием, которое проверит обещанное. Почему бы нам не пойти на столь малый риск, если значимые открытия и более тесные отношения между политологией и историей кажутся достигаемыми?

Литература

- Berger P., Luckmann T.* Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie [The social construction of reality. A theory on the sociology of knowledge]. – 24 ed. – Frankfurt: Fischer, 2012. – 217 S.
- Blackmore S.* The meme machine. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1999. – xx, 264 p.
- Braudel F.* History and the Social Sciences: The Longue Durée [1980] / Cultural theory. An anthology / I. Szeman, T. Kaposy (ed.). – Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. – P. 364–375.
- Dawkins R.* The selfish gene. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. – xi, 352 p.
- Demuth C.* Institutionelles Lernen. Der Deutsche Bundestag als Beispiel [Institutional Learning. The German Bundestag as a Case in Point] // Evolutorischer Institutionalismus. Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit / Patzelt W.J. (ed.) [Evolutionary Institutionalism. Theory and empirical studies in institutionality and historicity]. – Würzburg: Ergon Verlag, 2007. – S. 641–687.
- Dennett D.* Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the meanings of life. – N.Y.: Simon and Schuster, 1996. – 586 p.
- Giddens A.* The constitution of society. Outline of the theory of structuration. – Cambridge: Polity Press, 2009. – XXXVII, 402 p.

- Glaser B.G.* Getting out of the data. Grounded theory conceptualization. – Mill Valley: Sociology Press, 2012. – 201 p.
- Heer S.* Herausbildung parlamentarischer Steuerungsstrukturen im deutschen Parlamentarismus seit 1871 [The evolution of parliamentary steering structures in German parliamentarism since 1871] = still unpublished doctoral dissertation, Dresden, 2012.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – 4th ed., 50th anniversary ed. – Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2012. – xlvi, 217 S.
- Lemp J.* Ein evolutionstheoretisches Modell zur Analyse institutioneller Reformen [An evolutionary model for the analysis of institutional reforms] // *Evolutorischer Institutionalismus. Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit* / Patzelt W.J. (ed.) [Evolutionary Institutionalism. Theory and empirical studies in institutionality and historicity]. – Würzburg: Ergon Verlag, 2007. – S. 599–639
- Lorenz K.* Analogy as a source of knowledge. – Mode of access: <http://www.nobel.se/medicine/laureates/1973/lorenz-lecture.pdf> (Дата обращения: 11.10.2013.)
- Leopold von Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft* / Mommsen W.J. (ed.) [Leopold von Ranke and modern historiography], Stuttgart: Klett-Cotta, 1988. – 270 S.
- Morris I.* Why the West rules – for now. The patterns of history and what they reveal about the future. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2010. – xiii, 750 p.
- Patzelt W.J.* Grundlagen der Ethnomethodologie. Theorie, Empirie und politikwissenschaftlicher Nutzen einer Soziologie des Alltags [The basics of ethnomethodology. Theory, empirical studies, and the use for political science of ethnomethodology]. – München: W. Fink, 1987. – 384 S.
- Evolutorischer Institutionalismus. Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit* / Patzelt W.J. (ed.) [Evolutionary Institutionalism. Theory and empirical studies in institutionality and historicity]. – Würzburg: Ergon Verlag, 2007. – 735 S.
- Patzelt W.J.* Grundriss einer Morphologie der Parlamente [An outline of parliamentary morphology] // *Evolutorischer Institutionalismus. Theorie und empirische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit* / Patzelt W.J. (ed.) [Evolutionary Institutionalism. Theory and empirical studies in institutionality and historicity]. – Würzburg: Ergon Verlag, 2007 a. – S. 483–564.
- Patzelt W.J.* Was soll und wie betreibt man vergleichende Diktaturforschung? Ein programmatischer Essay in evolutorischer Perspektive [What is and how is done comparative research in dictatorships? A programmatic essay in evolutionary perspective] // *Totalitarismus und Demokratie*. – Göttingen, 2009. – Vol. 6. – P. 167–207.
- Patzelt W.J.* Evolutionstheorie als Geschichtstheorie. Ein neuer Ansatz historischer Institutionenforschung [The theory of evolution as theory of history. A new approach to historical institutionalism] // *Der Mensch – Evolution, Natur und Kultur. Beiträge zu unserem heutigen Menschenbild* / J. Oehler (ed.). – Heidelberg u.a.: Springer, 2010. – P. 175–212.
- Patzelt W.J.* «Blueprints» and institution-building. Former East Germany and its present state parliaments as a case in point // *Democratic institutionalism = Journal of East European and Asian Studies*. – Leiden, 2011. – Vol. 2/1, Special Issue. – P. 17–40.
- Parlamente und ihre Evolution. Forschungskontext und Fallstudien* / Patzelt W.J. (ed.). [Parliaments and their evolution. Research framework and case studies]. Baden-Baden: Nomos. – 357 S.
- Patzelt W.J.* Evolutionary institutionalism and innovation. Conceptual framework and areas of application in social science and society. Presentation prepared for the Conference of the Eurasia business and economics society, Istanbul, May 2012. – 2012 a. – Available from the author.
- Riedl R.* Riedls Kulturgeschichte der Evolution [Riedl's cultural history of evolution]. – Berlin e.a.: Springer, 2003. – xi, 236 S.
- Studies in cultural diffusion: Galton's problem* / Schaefer J.M. (ed.). – New Haven: Human Relations Area Files, 1974. – 279 p.

- Structuring politics. Historical institutionalism in comparative analysis / S. Steinmo, K.A. Thelen, F. Longstreth (eds.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002. – xiii, 258 p.
- Thelen K.* Historical institutionalism in comparative politics // The annual review of political science. – Palo Alto, Calif., 1999.– Vol. 2. – P. 369–404.
- Thelen K.* How institutions evolve. Insights from comparative-historical analysis // Comparative historical analysis in the social sciences / James Mahoney (ed.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009. – P. 208–240.
- Voland E.* Die Natur des Menschen. Grundkurs Soziobiologie [Human nature. Basics of sociobiology]. – München: Beck, 2007. – 174 S.
- Voland, Eckart, 2009:* Soziobiologie. Die Evolution von Kooperation und Konkurrenz [Sociobiology. The evolution of cooperation and competition]. – 3 ed. Heidelberg: Spektrum. – 352 S.
- Перевод Н. Михайловой, И. Фомина, Т. Шленской*

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Н.С. Розов

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ И МАКРОСОЦИОЛОГИИ¹

Философия истории, которая, начиная с трудов Тюрго и Кондорсе, Гердера и Канта до Шпенглера и Тойнби, Гемпеля и Берлина, была одним из важнейших центров интеллектуального внимания, примерно с 1960–1970-х годов была сдвинута на периферию. Отчасти ее место заняла историческая макросоциология (от М. Вебера и П. Сорокина до М. Манна, Ч. Тилли, И. Валлерстайна и Р. Коллинза) [см.: Время мира, 2000; Вебер, 1990; Валлерстайн, 2001; Турчин, 2007; Розов, 2009; Розов, 2002; Tilly, 1990; Collins, 1999; Goldstone, 1991; Mann, 1987; Mann, 1993; Sanderson, 1995], отчасти историософские проблемы стали обсуждаться в таких направлениях, как интеллектуальная история, постмодернизм, постструктурализм, нарративизм и др.

Продолжается размежевание по линии *Methodenstreit* (В. Дильтей, В. Виндельбанд) и «двух культур» (Ч. Сноу), что приняло форму взаимного отчуждения между «позитивистской» (сциентистской) и «риторической» (нарративистской) установками в отношении к истории, сущности и предназначению исторических описаний и объяснений [Fay, 1998].

В то же время даже представители «позитивистского» направления в философии истории, как правило, не уделяют внимания мощному расцвету (продолжающемуся «Золотому веку», по Р. Коллинзу [Коллинз, 2000]) исторической макросоциологии, тогда как сами макросоциологи полностью игнорируют интеллектуальную традицию философии истории как отжившую.

Следует отметить также почти полное отчуждение обсуждаемых проблем современной философии истории от актуальных тем публичного дискурса (экономические кризисы, миграции, межэтнические конфликты,

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789; руководитель М.В. Ильин).

терроризм, насилие, традиционные ценности и новые жизненные практики, экология и т.д.).

В данной работе будет сделана попытка наметить такой состав взаимосвязанных проблем (каркас) будущей философии истории и макро-социологии, который позволил бы им войти в центр интеллектуального внимания и публичного дискурса.

Поле интеллектуального внимания в современной философии истории: Задача интеграции

Поле интеллектуального внимания – это темы и проблемы, служащие предметами обсуждения в живых дискуссиях и публикациях творческих интеллектуалов [Коллинз, 2002]. Это поле может быть единым, связным, с яркими диспутами, идеями, фигурами, статьями и книгами, на которые все ссылаются и о которых все говорят. И тогда поле внимания характеризует периоды интенсивного интеллектуального творчества: «золотые века» философской или научной традиций. Однако поле внимания бывает и рассеянным на множество изолированных друг от друга секторов. Такое состояние характеризует фазы усталой «осени» (по О. Шпенглеру).

По всем признакам после подъема в 1950–1960-х годов аналитической философии истории и обсуждения (преимущественно критического) идеи К. Гемпеля об «охватывающих законах» («covering laws» [Гемпель, 1998]) философия истории переживает затянувшийся период «осени» с рассеянным полем интеллектуального внимания.

Поле внимания интегрируется, когда ведущие интеллектуалы из разных лагерей и их амбициозные молодые ученики выходят за пределы привычных узких тем и начинают обсуждать «горячие проблемы», позволяющие превратить ранее накопленный потенциал (концептуальные, логические, методические и прочие ресурсы) в новые решения, яркие тезисы и концепции и тем самым увеличить свою интеллектуальную репутацию.

«Горячие проблемы» подвержены закономерностям моды, после яркой вспышки они могут угаснуть – терять внимание. Какими же качествами должны обладать проблемы, чтобы долго и успешно привлекать внимание творческих интеллектуалов? Представим перечень таких требований для проблем философии истории.

- Связь с наиболее конфликтными и обсуждаемыми, связанными с историей, *темами публичного дискурса*. Гибкая способность переключаться на новые темы. Например, в сегодняшней России такими темами являются историческая политика в области образования («нужен или нет единый учебник истории?»), оценка советского периода, особенно достижений и преступлений сталинского режима, отношение к «европейскому» или «особому» пути исторического развития России и др. В Европе по-прежнему актуальна тема колониализма и его последствий, отношения к

иммигрантам, тема соотношения локального, национального и общеевропейского. В США больше внимания уделяют проблемам этничности, гендера, отношения к религии, что всегда имеет значимый исторический аспект.

● Связь с объективными вызовами – причинами и источниками сильного долговременного дискомфорта, кризисов, а также способность отвечать на запросы держателей ресурсов, способных поддерживать организационную основу философии истории. Главные проблемы современного мира хорошо известны: экономические и социально-политические кризисы, экологические проблемы загрязнения среды и дефицита ресурсов, тлеющие международные конфликты и вспыхивающие войны, голод и насилие в различных регионах, массовые миграции и межэтнические распри, массовая безработица, распространение социальных болезней (алкоголизм, наркомания, преступность), – все эти вызовы будут действовать еще в течение многих десятилетий [Валлерстайн, 2001; Ильин, 1997; Розов, 2009].

Формулировки проблем должны быть привлекательны для представителей разных, ныне разделенных «лагерей» философии истории. Проблемы должны быть и достаточно знакомыми, узнаваемыми (иначе не будут восприняты), и обещающими новизну – выход в новые предметные и смысловые пространства с выгодным использованием накопленного потенциала внутри каждого «лагеря». Проблемы должны, с одной стороны, давать возможность частичных, альтернативных и развивающихся решений, с другой стороны, исключать возможность простых окончательных решений, соответственно быстрого угасания интереса к ним. Напротив, проблемы в идеале должны порождать новые проблемы – глубокие затруднения как в самой философии истории, так и в смежных дисциплинах (истории, социологии, антропологии, политических науках, экономике, географии, философии).

Из самих по себе требований не вытекает содержания искомых проблем. Подсказку должны дать разрывы, «узкие места», нарушения в публичной коммуникации и социальных, политических, идеологических процессах и взаимодействиях, связанные с историей. Эти разрывы и трудности, переформулированные в качестве смысловых, концептуальных дефицитов, и будут представлять собой перспективные проблемы современной философии истории и исторической макросоциологии.

Дефицит доверия к истории

Уже давно никто не жалуется на отсутствие или падение публичного интереса к истории. Публичный спрос на историю велик, прежде всего, со стороны различных политико-идеологических лагерей, но этот спрос рождает специфическое предложение, которое можно назвать заказными (или сервильными) историческими концепциями. Такова «историческая политика» в первоначальном негативном смысле слова: представление про-

шлого в свете, нужном заказчику, в пределе – создание ложного, но «полезного» исторического мифа (таков, в частности, был призыв нынешнего министра культуры в России В. Мединского).

Серьезные историки в соответствии с этосом интеллектуалов в наибольшей мере заинтересованы в сохранении и повышении личной репутации среди своих коллег, поэтому чураются заказной, сервильной истории. Редко они утруждают себя даже критикой таких поделок, предпочитая заниматься собственными узкими, часто понятными только немногим специалистам темами. Такие профессиональные работы, как правило, не выходят за пределы узкого круга специалистов. В публичном пространстве об истории больше начинают судить по тенденциозным работам. Все чаще поднимаются вопросы типа: кому было нужно такое представление событий прошлого; на чью мельницу воду льют; ради чего это делается? и т. д.

В результате произошел системный сдвиг – подорвано доверие к истории и историкам. В этой ситуации любые умствования относительно истории становятся тщетными и бессмысленными. Естественной стратегической целью становится *восстановление доверия к истории*. Практическая проблема состоит в поиске путей такого восстановления. Стандартный подход состоит в разработке критериев оценки и требований к историческим публикациям, в том числе (даже прежде всего), рассчитанным на широкую публику. Проблема же философии истории состоит в исследовании и разработке оснований для таких критериев и требований.

Оставим на потом вопросы ценностей и моральных оценок. Что значит доверять историческому тексту? Сюда включается как минимум:

1) доверие изложенным *фактам* (все значимые явления прошлого представлены адекватно, нет тенденциозных умолчаний);

2) доверие причинным или каким-либо иным *объяснениям* (представленные причины не являются произвольными домыслами, но могут быть каким-то образом подтверждены и обоснованы);

3) доверие *языку, нарративу* (выбранные слова, фразеология, тропы, стиль не искажают предмет изложения, но позволяют лучше его понять).

В самой исторической науке есть разработанные стандарты только в отношении корректности изложения фактов, соответствия суждений источникам. Но даже здесь многое остается неясным, расплывчатым, зачастую произвольным, как-то: выбор угла зрения, критерии отделения значимого от незначимого, способы и правила увязывания фактов между собой, определение уровня доверия к прежней историографии по той же теме и т. д.

Вопросы причинных, структурных, функциональных, статистических, нарративных и прочих объяснений известны и широко обсуждаемы в философии истории. Беда в том, что после дружного опровержения концепции «универсальных (покрывающих) законов» К. Гемпеля никакой общепризнанной альтернативы так и не было создано. Понятно, что отрицающие саму возможность адекватного объяснения в истории (постмодернисты и крайние конструктивисты) или признающие только уникаль-

ные ситуативные объяснения *ad hoc* могут помочь только своей критикой. Зато приверженцы других моделей объяснения вполне могли бы представить свои позиции в виде свода правил, критериев корректности, снабженных примерами, что послужило бы образцами для будущих попыток исторических объяснений.

Рассмотрим проблематику восстановления доверия к истории с точки зрения заявленных в начале статьи требований.

Не следует думать, что политическим и идеологическим силам, сражающимся в пространстве публичного дискурса, естественным образом нужна достоверная история. Скорее, *каждой стороне нужен выгодный ей исторический миф*. Нынешнюю ситуацию в публичном дискурсе можно смело характеризовать как *перепроизводство мифов о прошлом*, переизбыток и обесценение образов прошлого, создаваемых для подтверждения какой-либо политической стратегии или идеологической позиции.

В экономике инфляционные процессы при рыночном обмене увеличивают спрос на какую-либо «твердую валюту» (золотой стандарт, драгоценные металлы). Таким же образом переизбыток различных, часто противоречащих друг другу исторических версий приводит к спросу на надежное знание о прошлом, но не всегда, а при условии своего особого рыночного обмена – диалога и дискуссии по правилам. Поэтому спрос на достоверную историю будет повышаться там и тогда, где и когда политико-идеологические дискуссии будут вестись на уровне, исключающем грубые софизмы, демагогию и апелляцию историческим мифам.

Кому же доверять и на каком основании? Неизбежно встает вопрос о *критериях достоверности исторического знания*. Философская и методологическая разработка таких критериев, дискуссии об их содержании и основаниях как раз и будут ответом философии истории на реальный спрос читающей публики на ту историю, которой можно доверять.

Каким образом может помочь восстановление доверия к истории в понимании и решении актуальных проблем современного глобализованного мира? Как мы увидим, этот вопрос напрямую связан и со спросом держателей ресурсов на достоверную историю, что открывает возможности обеспечения организационных основ для философии истории (финансирование исследований, поддержка конференций, журналов, книжных серий).

Каждое решение включает некую картину реальности и стратегию действий с элементами реальности, понятиями согласно этой картине. Вопрос в том, какова временная протяженность (историческая глубина) такой картины. Малая глубина (годы и даже десятилетия) обуславливает реактивные ответы на дискомфорт, побочными следствиями которых могут быть усугубление ущерба и дискомфорта в более длительной перспективе.

Кроме того, человечество все чаще сталкивается с новыми, беспрецедентными трудностями. Журналистский штамп состоит в том, что никакая прежняя мудрость не поможет при столкновении с будущим. Однако в мировой истории народы и государства зачастую сталкивались с новым и не-

ведомым. Кто-то проигрывал и погибал, кто-то справлялся и даже выходил на новый эволюционный уровень благодаря адекватному ответу на вызов.

Сегодняшние глобальные и национальные проблемы требуют больших вложений для практического решения. Идет естественная конкуренция за ресурсы, поэтому появляются и будут множиться заказные исторические работы, «обосновывающие» ту или иную стратегию (своеобразный «исторический лоббизм»). Здесь как раз и возникает высокий объективный спрос, прежде всего со стороны держателей ресурсов (государств, международных организаций, частных фондов), на *достоверную историю*.

Почему работа по восстановлению доверия к истории может стать интересной для современных и будущих философов истории? Нужно сказать, что последние примерно 60 лет философия истории, намеренно или нет, *работала на подрыв такого доверия*. Критика неопозитивистского призыва К. Гемпеля, аналитизм, лингвистический поворот, развенчание наивного исторического реализма как у Ранке, метаистория и исследование исторических нарративов, постмодернистские нападки на науку и научность вообще, тем более, в сфере истории, – все это превращало исторические описания из привычного способа узнать что-то о прошлом в смутное и подозрительное нагромождение интерпретаций, литературных жанров и тропов, личных предпочтений историка, его идеологических предубеждений и т.д.

Разумеется, речь не может идти о лозунге «Назад – к Ранке!». Накопленные представления о способах написания истории, о сложности и многослойности исторических нарративов закрывают возможность возвращения наивного реализма в истории. При этом не пора ли совершить поворот на 90° – применить эти метаисторические представления не к подрыву, а к восстановлению доверия к истории?

Разумеется, крайние антиреалистичные позиции (радикальные конструктивизм и постмодернизм) не могут быть в этом заинтересованы, поскольку восстановление доверия означает признание исторической реальности именно как реальности, а не как сугубо воображаемой «химеры» или миража «языковых игр», ведущихся историками. Зато критические атаки со стороны таких радикалов весьма полезны для разработки критериев оправдания, обоснования исторических суждений.

Как только за такими суждениями признается реальность прошлого, сразу возникают известные вопросы о ее онтологическом статусе, о базовых сущностях, об эссенциализме и антиэссенциализме, о возможностях и ограничениях в описании этой реальности [Gorman, 2007]. Именно с пониманием реальности прошлого, его онтологии и адекватного представления связаны главные глубокие затруднения будущей философии истории.

Действительно, как можно говорить о самой этой реальности с учетом накопленных представлений об условности, ограниченности, сконструированности, теоретической и идеологической нагруженности средств и способов исторического описания?

Прежде чем что-то описывать в прошлом, мы выбираем слова, а значит, неизбежно классифицируем, но возможностей для классифицирования много, категории, понятия, сам научный язык меняются со временем, что позволяет некоторым исследователям говорить о множественности прошлого («the pasts») [Roth, 2012].

Вряд ли самих историков и приверженцев научного реализма в философии истории устроит столь радикальный взгляд: прошлых было много. Однако есть и более мягкие позиции. Прошлое (подобно Кантовой «вещи-в-себе») – одно, зато объяснений его может и должно быть много (экспланаторный плюрализм [Bowel, Weber, 2008]) либо много его равноправных представлений (согласно «внутреннему реализму» Патнэма и Лоренца [Lorenz, 1998]).

Признание множественности «прошлых» («the pasts»), даже оправдание множественности не связанных между собой объяснений, казалось бы, решают проблему, примиряют между собой разные позиции, но на самом деле такой подход является тупиковым в смысле развития исторического познания и общего интеллектуального осмысления прошлого. Развитие происходит как раз тогда, когда задаются «неудобные» вопросы: какое из представленных «прошлых» было реальностью? Как соотносятся между собой различные объяснения одного и того же исторического явления?

Область глубоких затруднений, таким образом, будет связана с противоречием между множественностью исторических описаний, объяснений, интерпретаций одной и той же группы явлений (периода, эпохи) и стремлением получить осмысленное представление об этом предмете исторического исследования как о единой реальности прошлого.

Проблема совместимости исторических описаний

Если есть какой-либо консенсус в философии исторического нарратива (метаистории в широком смысле), то он заключается в том, что историю всегда писали, пишут и будут писать существенно по-разному. Это разнообразие способов и стилей иногда доводится до предела (сколько историков, столько историй), чаще речь идет о типах повествования, стилях исторических школ, парадигмальных единствах: прогрессизм, эволюционизм, марксизм, веберизм, теория модернизации, миросистемный анализ, цивилизационный подход и т.д.

Кроме того, имеются такие разительные отличия в подходах к реконструкции и описанию явлений прошлого, как микроистория и макроистория (в том числе, мировая история и историческая макросоциология), сам нарративный (дискурсивный) подход и численные методы (клиометрия и клиодинамика как математическое моделирование исторических процессов на основе численных или как-либо формализованных данных [Турчин, 2007]), историческая память личностей, популярная история и профессиональная история.

Неудача великой неопозитивистской программы «Венского кружка» по созданию единого безупречного научного языка, к которому могли бы быть сведены все иные языки, оставляет два принципиальных выхода: либо принятие этого разнобоя как неустранимой данности и свидетельства принципиальной несовместимости языков описания истории и подходов к ее изучению, либо попытки найти способы их интеграции.

Первая альтернатива является продолжением известных идей позднего Л. Витгенштейна о несводимых друг к другу языковых играх [Витгенштейн, 1994], Т. Куна – о несоизмеримых парадигмах [Кун, 1977], Сепира и Уорфа – о зависимости восприятия реальности (или даже самой реальности) от языка описания [Уорф, 1960]. На этом пути не видно перспективных проблем для сосредоточения интеллектуального внимания.

Вторая альтернатива является крайне трудной и не обещает быстрых решений. Этот путь полон препятствий и подводных камней, зато открывает новые большие пространства для множества разнообразных проектов интеграции, ни одному из которых не суждено оказаться удовлетворяющим всех и окончательным.

Подход к интеграции прямо зависит от принимаемой онтологии в треугольнике «историческая реальность – описание 1 – описание 2». Наиболее очевидны пять вариантов (хотя список открыт): скрытое единство содержания, взаимодополнительность, фактологический конфликт, теоретический конфликт и парадигмальный конфликт.

Скрытое единство содержания означает, что два или более исторических описания только кажутся совершенно различными, на самом же деле различия ограничиваются формой – риторической подачей, тогда как через процедуры реконструкции обнаруживается если не тождество, то существенное сходство содержания. Такие случаи возможны. Фило-софской сложности в раскрытии инвариантного содержания нет, поскольку вполне достаточно филологических приемов. Определенную трудность представляет доказательство содержательного сходства в двух или более внешне различных исторических текстах, посвященных одному предмету (пространственно-временному фрагменту прошлого).

Такое «обнаружение» единства всегда является и его «конструированием». Получившаяся конструкция (как бы единая «тема» – совокупность суждений о фрагменте реальной истории) должна быть обоснована в качестве скрытого в разных текстах содержания, в том, что такая «интеграция» не является произвольным домыслом «интегратора». Обычно здесь используются «мягкие» текстологические приемы сравнений, однако есть и более «жесткие» методы.

Например, перспективным представляется использование подхода «генеративной поэтики», развитого А.К. Жолковским и Ю.К. Щегловым еще в 1970–1980-х годах [Жолковский, Щеглов, 1996]. Здесь все риторические фигуры и тропы, о которых, в частности, писал в то же время Хейден Уайт в своей «Метаистории» [Уайт, 2002], формализуются как сочетания

небольшого числа строго определенных приемов выразительности (совмещение, сокращение, увеличение и т.д.). Идея Жолковского и Щеглова состоит в том, что каждый литературный текст может быть объяснен как продукт последовательного применения этих приемов выразительности и их сочетаний к исходной теме. Поскольку каждый исторический нарратив является в то же время литературным текстом (Х. Уайт), то в данной схеме интеграция как выявление скрытого единства выглядит таким образом.

Рассматриваются два исторических нарратива, относящихся к одному фрагменту реальной истории: Текст-1 и Текст-2. Выдвигается гипотеза о том, что при всем их различии оба текста выражают одну и ту же тему, содержащую определенный набор компонентов, которые могут быть представлены как ясно сформулированные тезисы. Если гипотеза верна, должно быть продемонстрировано корректное пошаговое получение Текста-1 и Текста-2 из одной Темы (набора тезисов), причем только путем последовательного применения малого арсенала одних и тех же «приемов выразительности». Разумеется, в полном объеме такая работа не может быть выполнена (даже для кратких литературных текстов у Жолковского и Щеглова получались весьма громоздкие цепи преобразований), но общая стратегия представляется адекватной.

Взаимодополнительность исторических текстов, относящихся к одному фрагменту прошлого, означает, что смыслы этих текстов разные, но они не противоречат друг другу, а раскрывают разные грани одной и той же группы явлений реальной истории. Есть множество вариантов такой взаимодополнительности, включая самые простые и известные:

- *по сферам* (политическая история, экономическая история, военная история, история культуры, история технологий и т.д.);

- *по социальному масштабу* (история континента, история страны, история провинции, история поселения, история рода, индивидуальная биография);

- *по позиции наблюдателя* (изнутри или извне, снизу или сверху социальной иерархии, с точки зрения мужчины или женщины, местного или пришлого и т.д.);

Также взаимодополнительными могут быть исторические тексты, различающиеся по главным выделяемым:

- *аспектам* (события, процессы, ситуации, практики, уклады и режимы, персонажи, ценности, правила, институты, ресурсы, тенденции, механизмы, численные данные);

- *охватывающим контекстам* (международный, этнический, конфессиональный, политико-экономический, экологический, социально-эволюционный и др.);

- *закономерностям* (причинные, структурные или функциональные, материальные, социальные, психологические или культурные, кратковременные паттерны или долговременные тренды).

Интеграция взаимодополнительных компонентов – это нечто большее, чем их суммирование. Примером последнего являются классические учебники истории, где по каждому крупному периоду каждой страны даются последовательно разделы: социально-экономическое устройство, внешняя политика, хозяйство, развитие технологий, культура.

Гердер и Гегель, Маркс и Энгельс, Данилевский и Савицкий, Милль и Спенсер, Шпенглер и Тойнби, Зомбарт и Вебер, Сорокин и Парсонс, Февр и Бродель, Барг и Дьяконов, Тилли и Валлерстайн – все эти крупнейшие мыслители по-своему проводили интеграцию различных социальных сфер в истории стран и народов. Однако даже в этой самой очевидной взаимодополнительности социальных сфер до сих пор не достигнуто согласия относительно базовой интегративной онтологии. Что уж говорить о зияющей пропасти между личными историями, событийной историей и макроисторией мировых трендов.

Сторонники междисциплинарности очень любят притчу о слепых, которые ощупывали разные части слона. При этом подразумевается, что, соединив частичные описания, можно тут же получить искомый целостный образ. Ничего подобного! «Слон» интегративной истории еще должен быть получен (обнаружен / сконструирован). Тем более это касается интеграции аспектов, социальных масштабов, контекстов и закономерностей.

Фактологический конфликт – это наличие существенных противоречий между частными суждениями о явлениях прошлого в двух или более исторических описаниях. Решение такого рода проблем упирается в наличие и доступность дополнительных данных (документов, артефактов, свидетельств), с помощью которых можно было бы подкрепить одни фактические суждения и отвергнуть другие. Такая работа входит в функции эмпирической истории, и философское осмысление здесь не требуется. Часто требуемые данные отсутствуют. Тогда интеграция описаний вынуждена включать места с неопределенностью – дилеммой или целым веером фактологических версий.

Теоретический конфликт – наличие существенных противоречий между общими суждениями с едиными (или сопоставимыми) онтологическими предпосылками и базовыми категориями, между суждениями, которые касаются причин и закономерностей, объясняющих явления прошлого в двух или более исторических описаниях. Конкуренция между теориями в истории – это, скорее, задача науки (исторической макросоциологии), а не философии. Аналогом критического эксперимента здесь служат теоретические выборки исторических случаев, позволяющие подкреплять одни теоретические гипотезы и отвергать другие. Задача интеграции исторических описаний здесь приводит к планированию новых сравнительно-исторических и макросоциологических исследований.

Парадигмальный конфликт – наличие существенных противоречий между общими суждениями о явлениях прошлого в двух или более исторических описаниях, между суждениями, основанными на принципиально

различных онтологических предпосылках, системах базовых категорий (парадигмах). Такого рода проблемы интеграции описаний наиболее трудны, зато открывают широкое пространство для философской работы. Сам выбор между парадигмами осмысления прошлого – важная проблема философии истории. Для ее решения нужно достичь согласия между приверженцами разных парадигм о критериях их оценки и выбора. Если отвлечься от сугубо моральных или религиозных оснований, то критерии должны каким-то образом приводить к возможности проверки суждений на основе эмпирических данных. Значит, во весь рост встают *задачи операционализации*. Сомнительно, что какие-то частные факты могут отвергнуть парадигму исторического процесса как систему категорий. Речь должна идти о промежуточном уровне теоретических описаний, выявляющих общие причины и закономерности исторических явлений.

Так, базовой идеей для критериев оценки и выбора парадигм истории может быть *сравнение объяснительной силы теорий, построенных на онтологических предпосылках той или иной парадигмы*. Это сравнение воспроизводит ситуацию теоретического конфликта (см. выше) и осуществляется научными (макросоциологическими) методами. Зато вся работа по операционализации, по экспликации абстрактных парадигм истории в форме проверяемых теоретических гипотез имеет сугубо философский характер. Таким образом, здесь открывается обширное поле для продуктивного сотрудничества между философами истории, макросоциологами и традиционными эмпирическими историками – многообещающая замена застарелому взаимному отчуждению и дисциплинарным перегородкам.

Как соотносится проблематика совместимости описаний с интересами публичного дискурса? Вряд ли кого-то помимо профессиональных историков и философов заинтересуют тонкости совмещения взаимодополнительных описаний. Зато читающая публика всегда с интересом воспринимает конфликты, будь то противоположные суждения о значимых исторических фактах, конкурирующие теории или даже парадигмы, поскольку последние всегда связаны с мировоззрением и политико-идеологической квалификацией прошлого и настоящего.

Ключевым фактором успешного решения проблем общественной практики является наличие адекватной картины реальности и верное понимание причин вызовов. Интеграция исторических описания прямо не дает такую картину и понимание, зато производит мощный арсенал познавательных средств для их получения.

Действительно, если обнаруживается, что в двух нарративах об одной группе явлений (периоде, фрагменте) прошлого говорится примерно одно и то же, пусть в разных стилях, понятиях, научных языках, то для выражения этого «одного и того же» требуется особый интегративный язык, облегчающий коммуникацию и взаимопонимание представителей разных научных традиций.

Такой интегративный язык дополняется более развитым и широким понятийным аппаратом, когда требуется интеграция взаимодополнительных исторических описаний. Например, такой аппарат начинает включать сложные связи между понятийными конструкциями, описывающими экологические, технологические, социально-экономические и политико-правовые реалии (обычно разнесенные по разным дисциплинарным «квартирам»).

Особую значимость для проблем общественной практики обретает разрешение интеллектуальных конфликтов в истории: фактологических, теоретических и парадигмальных. Каждое такое разрешение предполагает развитие исследовательских методов, приводит к более глубокому пониманию сути явлений и причинных связей, дает более широкую и гибкую общую картину социальных и исторических процессов.

Накопление историографии и продолжающееся переосмысление прошлого

С трудностями совместимости исторических описаний тесно связана еще одна большая проблема. Работа десятков тысяч профессиональных историков в мире приводит к умножению объема историографии – росту слоев исторических интерпретаций по каждому значимому событию и периоду мировой истории.

Во многом этот рост имеет механический характер в том смысле, что последующие историки хоть и ссылаются обычно на предыдущих, не «снимают» их в гегелевском смысле, т.е. не включают и не «растворяют» достижения предшественников в собственных достижениях. При отсутствии консенсуса среди историков (и даже выраженного стремления к такому) эта гора историографии обретает угрожающие размеры. Яркие примеры – исторические интерпретации причин падения Римской империи, становления капитализма в Европе, Французской революции, Первой мировой войны, распада Советского блока и СССР.

По мере роста тяжести этого историографического «навеса» будут громче звучать призывы к упорядочению его содержания, нахождению исторического консенсуса относительно «единой реальности», которая уже не раскрывается, а скрывается этими разнородными слоями интерпретаций.

Здесь релевантной представляется метафора Р. Коллинза о *сдвигающемся фронте проблем* в математике и естественных науках [Коллинз, 2002]. Это поступательное развитие стало возможным благодаря тому, что по каждой горячей проблеме рано или поздно удавалось достигать согласия между специалистами, после чего они обращались к новым проблемам, тогда как обсуждение прежних решенных обретало статус «старой шляпы».

Возможна ли такая модель поступательного развития знания в сфере истории? Пока это неизвестно, но попытки совмещения исторических

описаний всегда являются попытками поиска консенсуса. Кроме того, нахождение такого консенсуса будет лучшим способом утвердить *доверие к истории*. Поэтому этот путь развития исторической науки представляется магистральным, соответственно философы истории могут и должны максимально ему способствовать, а возможно, даже прокладывать интеллектуальные (онтологические, эпистемологические, ценностные) карты для такого продвижения.

Отметим, что на данном пути нас поджидает еще одна большая трудность. Математические и естественно-научные понятия могут оставаться неизменными на протяжении десятилетий и даже столетий. Однако общество постоянно переосмысляет себя, а значит, и свою историю. Этот процесс обрел поистине индустриальную мощь после появления в середине XIX в. социологии, бурного развития всех социальных наук в XX в. Как совместить нормальное стремление к познанию «единой реальности» прошлого с неизбежностью концептуального и даже парадигмального переосмысления социальных и исторических явлений и процессов? Вероятно, именно в этой области находятся будущие россыпи глубоких затруднений для философии истории.

Простые аналогии со сменой парадигм в математике (от арифметики к алгебре и далее к теории множеств), в физике (от механики Ньютона к теории относительности Эйнштейна) подсказывают общее направление: *каждая последующая парадигма осмысления общества и истории должна включать предыдущие в качестве своих частных фрагментов*. Ясно, однако, что за этой простой формулировкой скрываются огромные интеллектуальные трудности, причем не столько эмпирического, сколько теоретического, методологического и философского порядка.

Корректность исторических оценок

История и ценности – традиционная тема философии истории. Сегодня вряд ли кто-то будет утверждать возможность и необходимость полной «свободы от ценностей», дистиллированной «чистоты» и «нейтральности» истории. Ценностная нагруженность, присутствие ценностей всегда явно или неявно имеют место в историческом дискурсе. В то же время сами ценности появляются и развиваются в истории, более или менее известно, когда и каким образом. Самые бурные споры относительно прошлого всегда связаны с ценностями, тогда как споры относительно ценностей нередко ведутся с апелляцией к истории.

Можно ли оценивать деяния прошлого с позиций сегодняшних ценностей? Если нет, то означает ли это возможность полного оправдания очевидных злодеяний, жестокости, пыток, предательства, подлости, поскольку все это совершалось в рамках прежних ценностных представлений?

Следует смириться с тем, что история была и будет полем моральных битв. Вопрос состоит в том, как эти ценностные конфликты, связанные с историей, сделать продуктивными и упорядоченными. Внесение порядка в конфликтные взаимодействия, включая споры относительно ценностей и оценок событий и деяний прошлого, всегда подразумевает правила. Такие правила нельзя дедуцировать ни из самой исторической дисциплины, ни из теории ценностей. Правила исторических оценок, правила ведения дискуссий относительно таких оценок, установление оснований для таких правил – это очевидная обязанность философии истории, которая, однако, до сих пор не очень хорошо с ней справляется.

Проблема корректности исторических оценок никогда не будет решена окончательно. Но уже сейчас можно указать на спектр ценностных платформ, которые нельзя не учитывать при любом походе к ее решению:

- современные ценности, претендующие на универсальность (как правило, связанные с гуманизмом, защитой достоинства, свободы и личности) [Розов, 1998];
- современные национальные ценности разных обществ, ценности религиозных конфессий и моральных учений;
- собственные мировоззренческие, в том числе ценностные, установки участников прошлых исторических событий, основных акторов;
- тогдашние ценности, принятые, преобладающие в обществах, где происходили эти события;
- состояние и уровень ценностей в наиболее крупных, развитых, влиятельных обществах той же эпохи.

Ценности и оценки – всегда актуальная тема публичного дискурса, особенно когда эти вопросы вплетены в идейные и политические конфликты. Исторические оценки завоевывают внимание, если обсуждаемые исторические акторы (лидеры, политические группы, сословия, народы) хотя бы потенциально составляют основу для формирования идентичности современных социальных групп.

Экзистенциальные вопросы «кто я?», «кто мы?» всегда явно или неявно подразумевают вопросы «кто мои предшественники?», «чьи идеи и дела мы продолжаем?». Естественное стремление к созданию собственного «ретроспективного канона» и возвеличиванию плеяды предшественников ведет к порождению исторических мифов [Историческая политика, 2012]. Такие мифы могут быть распространенными и устойчивыми, когда подкрепляют легитимность монополю доминирующей политической силы; либо могут служить оружием в идеологической борьбе двух и более конфликтующих сил. Научная история всегда имеет расхождение с историческими мифами. Ее критическая функция объективно значима в обоих типах случаев: как возвращение к реальности и трезвому взгляду на прошлое при доминировании единого мифа, как арбитр и держатель критериев научной обоснованности в ситуациях идеологического противоборства с использованием разных тенденциозных образов прошлого. При этом ком-

петенция исторической науки ограничивается указанием на факты и закономерности. В отношении горячих и конфликтных тем оценок и ценностей историки иногда стараются выдерживать нейтральную позицию, иногда сами делают оценки, принимая ту или иную сторону в споре [Лиакос, 2013]. Систематическое и глубокое рассмотрение ценностного аспекта отношения к прошлому доступно только философии: пересечению теории ценностей (аксиологии) и философии истории.

Выбор стратегий в решении актуальных проблем общественной практики (экономические кризисы, экология, социальные болезни, межэтнические конфликты и пр.) всегда предполагает оценку правомерности и результативности прошлых стратегий. Острая борьба за общественные ресурсы по решению этих проблем выражается, в частности, в борьбе оценок относительно прошлых попыток решения, причин их успехов или неудач. Продолжающиеся споры порождают потребность в разработке общих, приемлемых для сторон оснований, в данном случае – ценностных. Таким образом, проблематика ценностей и оценок в истории оказывается востребованной и в этой сфере – области насущных проблем общественной практики.

Способы и основания структурирования истории

Если проблемы обоснования и интеграции исторических суждений, проблемы исторических оценок хорошо знакомы философам истории, активно обсуждаются в той или иной форме, то другие важнейшие проблемные сферы осмысления человеческого прошлого примерно с середины XX в. выпали из философско-исторического дискурса.

Одной из таких сфер является сложнейшая проблематика *структурирования истории*, включающая вертикальное деление на эры, эпохи, стадии, периоды (периодизация) и горизонтальное деление на цивилизации, миросистемы, общества, культуры [Время мира, 2001]. В каждом историческом компендиуме, учебной программе такое структурирование проводится, воспроизводится или заимствуется.

Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, явно предлагаемая или подразумеваемая структура истории (в частности, та или иная периодизация) всегда имеет громадное суггестивное значение, фактически формирует весь образ прошлого с границами между частями мировой истории, имена которых уже наполнены множеством коннотаций; с другой стороны, оправдание и обоснование того или иного варианта структурирования истории крайне редко тематизируются, т.е. становятся предметом целенаправленного систематического исследования.

Понятно, почему обычно это не делают историки: по долгу службы они устремлены прежде всего к содержательной исследовательской работе – выявлению, описанию, объяснению исторических явлений и процессов, для которых любая структура является лишь внешней, часто условной

рамкой. Историков интересует картина определенной выделенной части прошлого, а к вопросу о разделительных линиях они относятся как к вспомогательному и второстепенному. Некоторые историки позволяют себе покритиковать упрощенные и искажающие общепринятые структуры (например, деление на эпохи или цивилизации), но крайне редко предлагают свои варианты и еще реже их обосновывают.

Также понятно, почему вопросами структурирования истории практически не занимаются современные философы истории. Почти все они – наследники послевоенного взлета аналитической философии истории, позднейших поворотов к метаистории, нарративизму, постмодернизму и т.п. В этом стиле мышления есть известная общность – отрицание сциентизма со строгими понятиями и классифицированием, больших фундаментальных дискурсов, самой идеи строгого научного обоснования. Кроме того, прокламирование аналитической философии истории строилось во многом на отрицании прежней «спекулятивной» философии истории, которая связывалась с «дурной» традицией континентальной философии. С точки зрения аналитизма предметом философии истории вообще не может быть реальное историческое прошлое, но только тексты историков либо окологисторический дискурс [Уайт, 2002]. Поэтому, насколько мне известно, в философско-исторической литературе последних десятилетий вопрос о структурировании истории практически не поднимался, а отдельные публикации не получали резонанса и развития. Почему же при всем этом проблема структуры мировой истории представляется сейчас актуальной и перспективной для философско-исторических исследований?

Накопилось множество претензий к прежним классическим способам периодизации и социально-пространственного деления. Претензии связаны с преодолением европоцентризма, существенным усложнением взглядов на казавшиеся ранее вполне ясными границы между Древностью, Средневековьем и Новым временем, между Востоком и Западом, между цивилизациями [Грин, 2001; Стернз, 2001]. Огромный постколониальный мир требует своих разделений, для которых часто не хватает традиционных географических, языковых, конфессиональных и этнических границ. Множество предложенных альтернативных способов структурирования истории (П. Стернз, А.Г. Франк, И. Валлерстайн, И.М. Дьяконов и др. [Дьяконов, 1994; Время мира, 2001]) остались как бы «подвешенными», не получили должного объема обсуждения, критики или подтверждения. Структура общечеловеческого прошлого остается зыбкой и размытой. Поскольку «природа не терпит пустоты», множатся сугубо идеологические, тенденциозные схемы мировой истории, которые профессиональные историки, макросоциологи, философы не обсуждают, считая это ниже своего достоинства, но немалая часть публики воспринимает за «новую истину» именно из-за зыбкости, смутности структуры истории в общественном сознании и в самой профессиональной среде исследователей прошлого.

Ход, направленность и смысл истории

Все, что было сказано о причинах затянувшейся непопулярности проблематики структурирования истории, относится еще в большей степени к проблемам хода, направленности и смысла истории. А ведь именно эти темы составляли главное идейное содержание, интеллектуальную ценность и славу прежних трудов по философии истории – от Гердера, Канта и Гегеля до Шпенглера и Тойнби [Кант, 1994; Гегель, 1993; Шпенглер, 1993; Вебер, 1990; Тойнби, 1991].

Следует отметить, что, начиная с Макса Вебера и особенно в последние десятилетия, нишу исследований общих закономерностей и хода истории вполне солидно заняла историческая макросоциология, или «макроистория» (А.Г. Франк, И. Валлерстайн, Ч. Тилли, Р. Коллинз, М. Манн, Дж. Голдстоун и др.). Философы истории относятся к этой традиции скептически, отстраненно, зачастую предпочитают ее вовсе не замечать. Эта скрытая досада вполне понятна, поскольку именно макросоциологи и крупнейшие смелые историки (В. Макнил, Ф. Бродель, И.М. Дьяконов) отвечают на те важнейшие вопросы осмысления прошлого, которые раньше адресовались философам истории [McNeill, 1963; Бродель, 1992; Дьяконов, 1994].

Действительно, во всех проблемах, касающихся исторических закономерностей и долговременных тенденций, основанных на эмпирических данных, историческая макросоциология имеет существенное преимущество над всеми смежными дисциплинами, включающими и философию истории. Однако вопросы общего хода истории (поступательность, цикличность, волны), связанные с ее вертикальным и горизонтальным структурированием (см. выше), тем более, вопросы направленности и смысла истории, всегда связанные ценностями, принципиально не решаются методами и средствами науки, в том числе, макросоциологии.

Отсюда следует вполне очевидная мораль для философов истории: перестать чураться достижений исторической макросоциологии, брать их в качестве отправных точек для собственных рассуждений уже не о текстах, а о самой реальной истории, ее основаниях, сущности и смысле.

* * *

Слухи о безнадежно устаревшем характере, тем более смерти философии истории, следует считать преждевременными. Она вполне способна на достойное будущее, не уступающее ее славному прошлому, но в той мере, в какой будет способна ставить и решать фундаментальные проблемы доверия к истории, совместимости исторических описаний, проблемы ценностей и оценок в истории, проблемы структурирования, хода и смысла истории, причем не в изоляции, а в тесном сотрудничестве с традици-

онной эмпирической историей и всем комплексом социальных наук, прежде всего – исторической макросоциологией.

Литература

- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. – М.: Прогресс, 1992. – Т. 3: Время мира. – 679 с.
- Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
- Вебер М.* Избр. произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
- Витгенштейн Л.* Феноменология. Герменевтика. Философия языка. – М.: Гнозис, 1994. – Ч. 1. – 520 с.
- Время мира: Историческая макросоциология в XX веке.* – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. – Вып. 1. – 360 с.
- Гегель Г.В.Ф.* Лекции по философии истории. – СПб.: Наука, 1993. – 480 с.
- Гемпель К.* Функция общих законов в истории // Гемпель К.Г. Логика объяснения. – М.: Дом интеллектуальной книги: Русское феноменологическое общество, 1998. – С. 16–31.
- Грин В.* Периодизация в европейской и мировой истории // *Время мира. Альманах.* – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 39–79.
- Дьяконов И.* Пути истории. – М.: Вост. лит., 1994. – 382 с.
- Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности. Инварианты – Тема – Приемы – Текст. – М.: Прогресс: Универс, 1996. – 344 с.
- Ильин М.В.* Глобализация политики и эволюция политических систем // *Глобальные социальные и политические проблемы в мире / Под ред. А.Ю. Мельвиля.* – М.: ФМС: МГИМО, 1997.
- Историческая политика в XXI веке: Сб. статей / Под ред. А. Миллер, М. Липман.* – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 648 с.
- Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // *Кант И. Сочинения: В 7 т. – М.; Марбург, 1994. – Т. 1. – С. 79–123.*
- Коллинз Р.* «Золотой век» макроисторической социологии // *Время мира: Историческая макросоциология в XX веке.* – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. – Вып. 1. – С. 72–89.
- Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – 1280 с.
- Кун Т.* Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.
- Лиакос А.* Войны за историю: записки с поля боя // *Гефтер. Ру.* – Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/7700> (Дата обращения: 18.02.2013.)
- Розов Н.С.* Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск, Новосиб. гос. ун-т, 1998. – 292 с.
- Розов Н.С.* Глобальный кризис в контексте мегатенденции мирового развития и перспектив российской политики // *Полис.* – М., 2009. – № 3. – С. 34–46.
- Розов Н.С.* Философия и теория истории. – М.: Логос, 2002. – Кн. 1: Прологомены. – 656 с.
- Розов Н.С.* Историческая макросоциология: Методология и методы. Новосибирск: НГУ, 2009. – 412 с.
- Стернз П.* Периодизация в преподавании мировой истории: выявление крупных изменений // *Время мира. Альманах.* – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – С. 149–170.
- Время мира. Альманах.* – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – Вып. 2: Структуры истории. – 520 с.
- Тойнби А.* Постигание истории. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.

- Турчин П.В.* Историческая динамика. На пути к теоретической истории. – М.: ЛКИ/УРСС, 2007. – 368 с.
- Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 528 с.
- Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – Вып. 1. – С. 135–168.
- Шпенглер О.* Закат Европы: В 2 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 1: Гештальт и действительность. – 666 с.
- Collins R.* Macrohistory: Essays in sociology of the long run. – Stanford: Stanford univ. press, 1999. – 312 p.
- Fay B.* Introduction: The linguistic turn and beyond the contemporary theory of history // History and theory: Contemporary readings / B. Fay, Ph. Pomper, R.T. Vann (eds.). – Malden, Mass.: Blackwell, 1998. – P. 1–12.
- Goldstone J.* Revolution and rebellion in the early modern world. – Berkeley: Univ. of California Press, 1991. – xxix, 608 p.
- Gorman J.* Historical judgment: the limits of historiographical choice. – Stocksfield: Acumen, 2007. – XI, 258 p.
- Lorenz C.* Historical knowledge and historical reality: A plea for «Internal Realism» // History and theory: Contemporary readings / B. Fay, Ph. Pomper, R.T. Vann (eds.). – Malden, Mass.: Blackwell, 1998. – P. 342–376.
- Mann M.* The sources of social power. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987. – Vol. 1: A history of power from the beginning to A.D. 1760. – 9, 549 p., Cambridge Univ. Press, 1987; Vol. II: The rise of classes and nation-states, 1760–1914. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1993. – x, 826 p.
- McNeill W.* The rise of the West: A history of the human community. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1963. – 829 p.
- Roth P.A.* The pasts // History and theory. – The Hague, the Netherlands, 2012. – Vol. 51, N 3. – P. 313–339.
- Sanderson S.* Social transformations: A general theory of historical development. – Oxford, UK; Cambridge, Mass.: Blackwell, 1995. – xii, 452 p.
- Tilly C.* Coercion, capital, and European states, AD 990–1990. – Oxford: Basil Blackwell, 1990. – xi, 269 p.

Арнасон Й.

ПОНИМАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ: ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ¹

Основные понятия и ключевые допущения

Тема нашей конференции определена как «цивилизационная динамика современных обществ». Если мы обратимся к соответствующей литературе, где предпринимаются попытки дать диагноз нашего времени, объяснить недавнюю историю или сконструировать сценарии ближайшего будущего, там не будет недостатка в цивилизационной тематике, хотя уровень ее артикуляции и содержание будут различаться. Наиболее наглядным примером служит предложенное С. Хантингтоном видение пост-идеологического мира, более не являющегося биполярным, как арены столкновения цивилизаций, которые вернулись к своим истокам после временного распространения модернизационных процессов и их идеологических проекций. Здесь не место обсуждать утверждения Хантингтона, но следует отметить, что, хотя его понимание цивилизаций обладало существенными недостатками, его анализ мировой политики был не столь оторван от действительности, как это хотелось бы показать многим критикам. Его подход к данной проблеме находился в процессе развития и должен рассматриваться в контексте всего обширного наследия Хантингтона. Но среди его противников (включая тех, кто предлагал альтернативные модели, не вступая с ним в полемику) можно выделить тех, кто принимал цивилизационный подход всерьез, и тех, кто полностью его отвергал. Среди сторонников цивилизационного подхода сформировалось по меньшей мере три различные позиции. Есть те, кто подчеркивает «диалог цивилизаций» и следует оптимистическому взгляду на его перспективы. Возникающая в результате модель мирового порядка, по-видимому, может быть описана как расширенная версия мультикультурализма. Сторонники такой

¹ Arnason J.P. Understanding intercivilizational encounters // Thesis eleven. – Thousand Oaks, 2006. – Vol. 86, N 1. – P. 39–53. Ст. перевод с английского М.В. Масловского.

точки зрения – Анвар Абдель-Малек и бывший президент Ирана Мухаммед Хаттами. Совершенно иной позиции придерживаются те, кто предсказывает возвышение глобальной цивилизации в результате процессов взаимодействия и интеграции, которые привели к более тесному контакту различных культурных миров. Такой подход, не всегда явно выраженный, встречается в описаниях глобализации. Наконец, интерес может быть сосредоточен на наследии цивилизаций, а не на самих цивилизациях как целостностях. В этом случае выделяются социокультурные рамки, влияющие на ход модернизации и формирование модерна, а не самодостаточные единицы, вновь вышедшие на первый план. Иными словами, имеется в виду связь цивилизационной проблематики с дискуссиями о множественности модерна, о чем пойдет речь далее.

Другой набор цивилизационных подходов более тесно связан с критическим анализом современного общества. Размышления, вызванные кризисом 2008 г. и его последствиями, нередко сопровождались сомнениями относительно жизнеспособности всего цивилизационного комплекса, для которого характерна непрерывная экономическая экспансия. Но критика неолиберализма как неспособной к устойчивому развитию цивилизационной модели выдвигалась еще до начала кризиса (например, в работах норвежского экономиста С. Скирбекка [Skirbekk, 2005]; она содержится и в трудах К. Касториадиса [Castoriadis, 1997], хотя последний и не использовал терминологию цивилизационного анализа). Другая разновидность цивилизационной критики встречается в экологическом дискурсе о современном обществе, в частности, в тех его версиях, которые отвергают неспособную к устойчивому развитию форму жизни как источник сегодняшних экологических проблем.

Как показывает этот краткий обзор, анализ современных обществ часто приобретает цивилизационный уклон, а приводимая аргументация ранжируется от защиты доминирующих социальных и геополитических структур до более или менее радикальной критики существующего порядка. Частое, но далеко не всегда последовательное обращение к таким идеям свидетельствует о необходимости более тщательного изучения их оснований и способов оправдания. Это было бы первым шагом к лучшему пониманию и более адекватному использованию этих идей. Наше обсуждение начнется поэтому с размышлений об основных целях и положениях цивилизационного анализа, затем перейдет к вопросу о его значимости для современного мира и завершится кратким обзором влияния цивилизационных факторов на формирование и динамику современных обществ.

Наилучшим исходным пунктом для такого обсуждения является положение, сформулированное Ш. Эйзенштадтом в его поздней, но имевшей программный характер работе [Eisenstadt, 2000]. Как отмечал Эйзенштадт, «цивилизационное измерение человеческих обществ» может быть определено с точки зрения двух различных, но взаимосвязанных аспектов: с одной стороны, культурной артикуляции / интерпретации мира, а с другой –

определения, разграничения и регулирования сфер (или, как называл их Эйзенштадт, «арен») социальной жизни. Обозначенное таким образом поле выходит далеко за рамки преобладающего в социологии акцента на культурных ценностях и социальных нормах. Для нас существенно, что утверждение Эйзенштадта вносит коррективы в более традиционные способы осмысления цивилизаций. Известные работы, посвященные данной проблеме, часто начинались в менее рефлексивном ключе: существование социокультурных или социально-исторических единиц, описываемых как цивилизации, предполагалось или иллюстрировалось, а случаи для сравнительного исследования затем выбирались на интуитивной основе (основной пример – список цивилизаций Хантингтона). Если вместо этого мы начнем с измерения, определенного на более абстрактном уровне, дальнейший анализ будет в меньшей степени искажен непроясненными понятиями и образами, которые часто сопровождали идею цивилизаций во множественном числе. Соединение двух вышеупомянутых аспектов, скорее всего, не приведет к какой-то единой модели. Поэтому допустимо предположить существование разнообразия цивилизационных формаций, причем некоторые из них будут в большей степени напоминать «цивилизации» в привычном значении этого термина, чем другие. Такой подход в определенной степени напоминает возражения против традиционного для социологии понятия общества, которые сформулировали ряд теоретиков в 1970–1980-е годы. Для социологии в целом и цивилизационного анализа в частности важно выйти за пределы перегруженных понятий с оттенком тотальности, но это необходимо сделать, не потеряв из виду скрывающейся за ними проблематики. Сколь бы ни было открыто для критики понятие цивилизации, отказаться от него ничуть не проще, чем от понятия общества.

Предложенное Эйзенштадтом определение цивилизационного измерения – хороший исходный пункт для анализа, который стремится избежать некоторых традиционных ловушек. Но нам следует также выйти за его рамки и выделить соответствующий ему контекст. Первый шаг в этом направлении состоит в том, чтобы приблизить две взаимосвязанные определяющие характеристики к социально-историческим структурам и процессам. Соединения интерпретативных и институциональных образцов – это прежде всего констелляции культуры и власти, а на этом уровне достаточно беглого взгляда на цивилизационные исследования, а также на другие виды сравнительной истории, чтобы увидеть особое значение связи между религиозными и политическими структурами. Религиозно-политическая взаимосвязь становится поэтому преимущественной темой цивилизационного анализа.

С другой стороны, герменевтический подход к данной проблематике (с нашей точки зрения, только он является адекватным) должен связать программный тезис Эйзенштадта с традицией цивилизационного анализа. Мы должны, иными словами, учесть другие точки зрения на цивилизационное измерение, представленные в трудах классических и постклассиче-

ских авторов. Во-первых, следует заметить, что уместным было бы более сбалансированное обращение к наследию классической социологии. Хотя было бы неверно рассматривать Эйзенштадта как веберианца в полном смысле слова, нет сомнений в том, что его концепция цивилизационного измерения представляет собой модифицированную и переформулированную версию тех идей, которые были наиболее плодотворно выражены в трудах Макса Вебера. Существенно дополняет эти идеи в меньшей степени применявшаяся в эмпирических исследованиях, но явно ориентированная на создание исследовательской программы французская традиция, которая формировалась в то же самое время. Э. Дюркгейм и М. Мосс определяли цивилизации как «семейства обществ» в синхронном, а также и кроссгенерационном смысле, т.е. как крупные совокупности обществ, существующие длительное время и отличающиеся особыми формами взаимодействия, интеграции и дифференциации. Такой подход, очевидно, основывался на европейском опыте, но столь же ясно, что Дюркгейм и Мосс предусматривали сравнительный анализ, который привел бы к типологии цивилизационных форм, конструируемых в соответствии с указанными принципами. Следует добавить, что последующее развитие науки не сопровождалось значительным прогрессом в этом направлении. Сфера, обозначенная Дюркгеймом и Моссом, может рассматриваться как внешняя сторона цивилизационного измерения, в отличие от выделенной Эйзенштадтом внутренней стороны.

Другое направление цивилизационного анализа также может быть выделено на основе французских источников. Фернан Бродель часто упоминается в качестве примера историка, который серьезно воспринимал цивилизации, но, насколько нам известно, систематических попыток прояснить и объединить его многочисленные ссылки на цивилизационное поле не предпринималось. Несомненно, это было бы весьма обескураживающим занятием. Броделевские цивилизации сложно определить. В некоторых случаях религии или ментальности явно выступают определяющим фактором. Но в данном случае нас больше интересуют указания на другой конец спектра, который представлен в контексте броделевского анализа «материальной жизни». Как помнят читатели его работ, этот термин использовался для описания экономических практик и институтов на самом элементарном уровне, т.е. до развития рыночных структур. Согласно Броделю, капитализм представлял третий уровень, логика которого отличалась от двух других. Цивилизационные характеристики упоминаются также в связи с сетями обмена, и для наших целей кажется оправданным соединить эти два уровня посредством понятия экономических форм жизни. Если мы интерпретируем Броделя таким образом, его исторический анализ предполагает альтернативу более редуccionистским концепциям экономической сферы, будь то марксистское понятие способа производства, модели теории рационального выбора, которые отказываются от самой идеи институционализированного смысла, либо конструкции, опираю-

щиеся на системную теорию. Сравнительные исследования экономических форм жизни видятся наиболее многообещающим подходом в той сфере, которая остается недостаточно развитой в рамках цивилизационного анализа. В связи с этим может оказаться полезным обращение к истории цивилизационной парадигмы.

Классический проект *par excellence* – сравнительное исследование цивилизационного треугольника Европы, Индии и Китая в трудах Макса Вебера – начинался с вопросов о хозяйственной этике, ее религиозных истоках и влиянии на экономическое поведение, а также и на более общее отношение к миру. Можно утверждать, принимая во внимание продолжающиеся дискуссии, что последующие вариации на веберовские темы породили сомнения относительно непосредственной связи между религией и экономикой и сделали больший акцент на других компонентах сложных социально-исторических констелляций, особо выделяя политическую сферу. Вебер в некоторой степени предвосхитил эту тенденцию. Хотя он сохранил понятие хозяйственной этики (*Wirtschaftsethik*) как общего обозначения для рассмотренных случаев, более близкий контакт с различными культурными мирами и разнообразным историческим опытом привел его к разработке более многостороннего подхода, который так и не получил адекватного выражения на уровне основных понятий.

С другой стороны, его попытки усовершенствовать и адаптировать идею «хозяйственной этики мировых религий» до сих пор бросают вызов сторонникам цивилизационного анализа. Наше понимание цивилизационных аспектов экономической жизни отставало от других направлений исследований (если привести известный пример, в избранных трудах Эйзенштадта по проблемам цивилизаций и модерна значительно меньше говорится об экономической сфере, чем о культурной и политической).

Есть и еще одна причина, чтобы подчеркивать значение экономических образцов, – они свидетельствуют о явной связи между цивилизационными проблемами и новыми подходами в экологической истории. Сближение этих двух направлений исследований является одной из наиболее неотложных задач в социальных науках. Оно принесло бы больший смысл экологическому подходу и большую объяснительную силу цивилизационному. Среди недавних достижений экологической истории некоторые в большей степени открыты для такого сближения.

Чтобы завершить это обсуждение путей расширения и контекстуализации цивилизационного измерения, следует кратко упомянуть некоторые другие темы, а именно три направления сравнительной истории, которые пересекаются с цивилизационным анализом, но не сводятся к нему. Самый очевидный пример – сравнительное религиоведение (некоторая неопределенность относительно масштабов и статуса этой исследовательской программы, возможно, отражается в том, что в разных языках она называется по-разному – *Religionswissenschaft*, *religious studies* и т.д.). Как бы то ни было, одно из самых распространенных возражений против са-

мой идеи цивилизационного анализа состоит в том, что он просто представляет собой новое название для *religious studies*, и нам поэтому следует более точно определить отношение между ними.

Конечно же, нельзя отрицать центральную роль религии в цивилизационном образе человеческих обществ. Вспоминаем ли мы Вебера и Дюркгейма или тех, кто возродил их проекты в последние десятилетия XX в., интерпретативные горизонты и практические следствия религии занимали центральное место в данной сфере исследований. Тем не менее можно утверждать, на наш взгляд, достаточно убедительно, что мы имеем дело скорее с частичным пересечением, а не с полным совпадением.

С одной стороны, цивилизационный подход к религии выделяет ее роль как «метаинститута» в дюркгеймовском смысле, т.е. как рамок для формирования других институтов, развивая этот классический подход посредством идеи религиозно-политической взаимосвязи (как отмечалось выше) и допуская сдвиг в сторону политики. С другой стороны, цивилизационный анализ учитывает изменения, вызванные другими способами артикуляции (философскими размышлениями или научными исследованиями, если упомянуть лишь самые очевидные из них), вторгающимися в сферу, которая ранее принадлежала религии, а также и более двусмысленные трансформации, которые происходят, когда иные социокультурные сферы заменяют религию, но в то же самое время приобретают сакральные черты (это относится к проблематике «секулярных религий»). Вместе с тем сравнительное религиоведение выходит за рамки сравнительного изучения цивилизаций и дополняет его, и этот более широкий спектр становится наиболее очевидным, когда мы имеем дело с «мировыми религиями». Не вдаваясь в дискуссии вокруг этого понятия, можно заметить, что обозначаемые таким образом формы религии ставили особенно значимые проблемы перед сторонниками цивилизационного анализа. Их исторические судьбы и динамика могут быть поняты только в цивилизационном контексте, но в то же время они сами по себе образуют макроисторические единицы, и не существует простого ответа на вопрос об их отношении к цивилизационным формациям. В этом отношении траектории ислама, христианства и буддизма действительно выглядят совершенно различными.

Однако существует и другая сторона трансцивилизационного значения исследований религии. Если эта различным образом именуемая дисциплина сталкивается с вопросом об общих антропологических ориентациях и характеристиках, которые определяют религиозную сферу, она объединяется с другими подходами к общим основаниям, лежащим за множественностью цивилизаций. Проведенные исследования говорят о том, что неявные антропологические допущения столь же неизбежны в этой сфере, как и в других, но чрезвычайно сложно прийти к соглашению о точных определениях. В этом смысле сравнительное религиоведение

ние непосредственно включено в дискуссии об антропологическом введении в цивилизационный анализ.

Можно упомянуть и два других направления сравнительной истории. С нашей точки зрения, они во многом аналогичны обсуждавшейся выше религиозной сфере, но они привели к формированию подобных ей специализированных направлений исследований. Сравнительная история – или историческая социология – империй сыграла важную роль в возрождении цивилизационного анализа. Книга Ш. Эйзенштадта о политических системах империй (опубликованная в 1963 г., она по сей день остается наиболее значительной монографией по этой теме) выросла из попыток преодолеть налагающее ограничения понятие традиционного общества и проложила путь к цивилизационному повороту. Эйзенштадт пришел к выводу, что цивилизационные образцы являлись ключевыми факторами, определявшими форму имперских проектов, традиций и режимов. Он никогда не возвращался к систематическому изучению этого предмета, но общий подход виден в его более поздних работах, и он остается верным. Империи в очень значительной степени зависят от цивилизационных предпосылок и контекста. Другая сторона медали – постоянное формирование и очень значительное историческое влияние империй, охватывающих несколько цивилизаций. Очевидным примером служит Римская империя не только в силу греко-римского дуализма, который отличал ее зрелую стадию, но и ввиду цивилизационного столкновения с иудаизмом и цивилизационного компромисса с христианством. Другим примером может служить империя Цин (1644–1911), которая стала не только окончательной версией китайской империи, но синтезом китайской и центральноазиатской имперских традиций. Это относится и к трансокеанским империям, созданным в ходе европейской экспансии, в особенности к Британской империи с ее индийскими владениями.

Коротко говоря, сравнительная история империй должна отводить соответствующее место их особой мультисоциетальной структуре, не сводимой к структуре цивилизаций, и глобальным притязаниям, которые развиваются по мере их экспансии. Кроме того, здесь есть определенная параллель с антропологическим подтекстом исследования религий. Более тщательное изучение имперской власти может пролить свет на власть как таковую и привести к выводам, которые не были бы получены другим способом.

Наконец, есть третья категория, относящаяся к этой сфере, и она возвращает нас к Броделю. Он создал понятие «мир-экономика» (*economies-mondes*) для описания мультисоциетальных и не имеющих единого центра единиц, интегрированных посредством сетей обмена, которые возникают в различные моменты времени в разных частях земного шара (как Средиземноморье в некоторые периоды своей истории, Индийский океан, а европейская экспансия создала новый масштаб мир-экономики). Перевод «мировая экономика» часто используется, но вводит

в заблуждение, поскольку он подразумевает эволюционные шаги на пути к современной и действительно мировой экономике. В любом случае суть в том, что мы имеем дело с крупномасштабными и существующими длительное время формациями, несомненно, определяемыми цивилизационными факторами (цивилизации различаются своей способностью создавать и поддерживать мир-экономики), но также основанными на межцивилизационных связях и динамике. Значение этих мир-экономик состоит не в последнюю очередь в открытии новых возможностей экономического развития с соответствующим видением богатства и механизмов накопления. Если упомянуть лишь самый известный пример, прорыв к промышленному капитализму, несомненно, может анализироваться с цивилизационной точки зрения, т.е. как результат внутренней европейской динамики, но он должен быть также помещен в контекст мир-экономики раннего модерна, которая выросла из европейской экспансии и ответов на нее. Соперничающие «интернационалистские» и «экстерналистские» подходы слишком часто разделяли эти два аспекта сложной картины.

Эти общие замечания относительно цивилизационной парадигмы должны помочь прояснить вопрос о ее значении для теории и сравнительного анализа модерна. Данная проблема чаще всего поднималась в связи с дискуссиями о множественности модерна, но в этом контексте возникли и недопонимания, которые нам следует преодолеть.

Три момента кажутся здесь существенными. Сама идея множественности модерна – это первый момент – иногда понимается таким образом, как если бы она была сводима к аргументам о цивилизационном наследии и его длительном воздействии на модернизационные процессы. Но различные цивилизационные основания – это лишь один из нескольких факторов, которые следует принимать во внимание. Силы, вовлеченные в умножение числа форм модерна, включают (если упомянуть лишь наиболее очевидные случаи) геополитические, геоэкономические и геокультурные констелляции глобального или регионального характера, но также борьбу и альянсы внутри отдельных обществ, наконец, случайные исторические события часто имеют значительный вес. Иллюстрацией здесь может послужить обращение к современной истории. Страны, относящиеся к группе БРИК, часто рассматриваются сегодня как столпы многополярного мира. Как нам думается, было бы легко показать, что они представляют различные версии общества модерна и модернизационной динамики, и по меньшей мере интуитивно кажется допустимым, что роль и сравнительный вес цивилизационных факторов существенно различаются от случая к случаю. Они особенно заметны в формировании китайского модерна; в случаях Индии и России картина более сложная (по причине колониального опыта Индии и длительной истории вестернизации России); в обществах переселенцев, как Бразилия и Южная Африка, совсем не просто выделить цивилизационные аспекты, а вопрос об этом до сих пор едва ли когда-то ставился должным образом.

Коротко говоря, множественность модерна включает в себя не только цивилизационный фактор. Но и последний включает в себя больше, чем эффект умножения. Цивилизационный подход может – и это второй из выделенных нами моментов – пролить свет на отношение между понятиями модерна в единственном и множественном числе. Критики концепции множественности модерна часто утверждали, что она предполагает понимание модерна в единственном числе, но не высказывает этого. Ответ на данное возражение, по нашему мнению, может быть найден – но лишь в неразвитом состоянии – в размышлениях Эйзенштадта о цивилизационном измерении модерна. Это идея модерна как новой цивилизации или нового типа цивилизации (Эйзенштадт использовал обе формулировки, и вторая из них представляется более радикальной, чем первая). Следует сказать несколько слов об основных последствиях такого подхода. Новая цивилизация прежде всего основывается на новой культурной ориентации такого масштаба, что она изменяет всю структуру человеческого бытия в мире. Если использовать термин, который встречается в работах Эйзенштадта, но не применяется в них систематическим образом, определяющей ориентацией модерна является значительно возросшее видение человеческой автономии. Это следует понимать в очень широком смысле, включая осознанное воздействие на мир и методическое стремление к пониманию его устройства, расширившееся господство над миром и радикальную реконструкцию общества. Видение автономии становится вполне сформировавшимся цивилизационным образцом благодаря его трансляции в политические и, более опосредованно, в экономические институты и практики. В то же время лежащая в основании культурная ориентация достаточно сложна, чтобы поддерживать различные интерпретации, артикулируемые на нескольких уровнях: как философские концепции, идеологические и политические проекты и институциональные модели. Эти расходящиеся интерпретации достигают своей высшей точки в «антиномиях модерна», которые особенно интересовали Эйзенштадта. Наконец, новый цивилизационный образец взаимодействует с сохраняющимися более или менее длительное время логикой и наследием прежних образцов. Диверсификация культур и обществ модерна, таким образом, происходит благодаря сложности нового цивилизационного образца, а также и многообразия его комбинаций с другими источниками.

Третий и последний момент относится к связи множественности форм модерна в целом и их цивилизационных компонентов в частности с глобализационными процессами. Неверно описывать идею множественности модерна как диаметрально противоположную понятию глобализации; скорее, нам следует думать о различных глобализирующих подходах, тенденциях и стратегиях, связанных с разными версиями модерна и их цивилизационными структурами. Идея глобализации как антагониста и разрушителя множественности модерна особенно активно отстаивается теми, кто предполагает существование или близкую победу единой мировой ци-

визации, которая обычно считается основанной на слиянии науки и технологии (хотя индивидуализм иногда рассматривается как общий знаменатель). Альтернативный подход, который также в общих чертах обозначен Эйзенштадтом, допускает возможность множественности глобализаций и продолжающееся соперничество между ними. Как отмечалось нами в другой работе, советская модель модерна была, помимо всего прочего, неудавшейся формой глобализации [Arnason, 1995]. Восточную Азию следует рассматривать здесь как основной пример для сравнительного анализа.

Цивилизационное видение автономии

Дальнейший анализ модерна как новой и особой цивилизации следует начинать с понятия автономии. Оно кажется предпочтительным по сравнению с более идеологизированным понятием свободы. Но его не следует смешивать с нормативной идеей автономии, которая широко представлена в философских дискуссиях, чаще всего в более или менее кантовских версиях. Цивилизационное понимание автономии, как уже отмечалось, является значительно более широким, и оно не допускает нормативного использования. С другой стороны, представляется недостаточным различие нормативистских и ненормативистских концепций модерна, часто предлагавшееся теми, кто считал нормативистские подходы слишком ограничивающими. Понятие автономии, которое требуется для целей цивилизационного анализа, можно было бы обозначить как метанормативное в том смысле, что оно содержит ценностные коннотации, которые неизбежно преобразуются в противоборствующие нормативные принципы. Эти множественные проекции (один из источников множественности модерна) играют двойную роль (создавая и трансформируя существующий порядок) в историческом развертывании модерна. Один из способов понимания характерного для модерна возрастания автономии заключается в том, чтобы рассматривать его как переход к более высокому уровню способности к самоопределению, которую Чарльз Тэйлор выделял в качестве фундаментальной категории гуманитарных наук. Но другой стороной такого перехода представляется возрастающее осознание проблематичности человеческого существования. Переход к модерну может, таким образом, рассматриваться как новая стадия в «возникновении проблематичности», если использовать термин, который Ян Паточка предложил для изобретения философии в античной Греции.

Чтобы указать на исторические масштабы этой заново определенной автономии, можно отметить некоторые ориентиры. В нашем понимании это понятие охватывает глобальное стремление к власти и богатству, наиболее впечатляюще проявившееся в европейской экспансии, так же как и видение основанного на знании господства над природой. Более спорно, что формы артикуляции автономии включают новые направления аккумуля-

лирования богатства и власти, но также и возросшую способность человеческих обществ к самотрансформации. Стремление к автономии играет центральную роль в процессах демократизации, которые занимают значительное место в политической истории модерна; более косвенным образом оно присутствует в тоталитарных проектах.

В целом мы могли бы сказать, что спектр инноваций модерна служит примером (но в более крупном масштабе) близости автономии и высокомерия (*hubris*), – знакомой тем, кто обращался к опыту античной Греции. Представить это таким образом, конечно же, означает поставить нормативный вопрос: как отличить подлинную автономию от крайностей высокомерия? Цивилизационный подход с его акцентом на фундаментальной амбивалентности, заложенной в самом понятии автономии, не позволяет дать какой-то простой или определенный ответ, но это не означает, что исключаются любые нормативные соображения. Они могут стать предметом обсуждения в качестве производных и в более экспериментальной форме, чем это имело место в нормативистских интерпретациях модерна. Но прежде чем перейти непосредственно к этому вопросу, следует больше сказать о социальных тенденциях и структурах, которые сформировали историю модерна. Любые утверждения о лежащих в основе цивилизационных предпосылках должны быть уточнены в этом контексте.

Одна из ключевых тем социологической традиции, различным образом разрабатывавшаяся классиками и выделенная в качестве общей для них историками этой дисциплины, заключается в парадоксе человеческого действия: одновременное расширение возможностей трансформации посредством человеческого действия и формирование массивных структур, которые подавляют стремящихся к свободе индивидов. Огромные «машины» модерна (капитализм, бюрократия, организованная наука), к которым обращался Макс Вебер, воплощают вторую из данных тенденций. Что отличает эту загадку модерна от более общей проблемы действия и структуры, так это поляризующаяся радикализация обеих сторон. Если этим была обеспокоена уже классическая социология, мы могли бы задать вопрос о том, что может добавить к такой картине интерпретация модерна как новой цивилизации. Ответ, по-видимому, состоит в том, что она помогает объяснить попытки преодоления этой дилеммы. Они включают утопию классового сознания, способного заполнить разрыв между частными и общими интересами, которая была возведена на уровень научного знания и тем самым позволила захватить власть аппаратам, остававшимся вне контроля снизу. Совсем иной вариацией на данную тему стал образ, точнее призрак, харизматического лидера, обладающего миссией и последователями, достаточно сильными, чтобы подчинить силы безличной рациональности и организационные ограничения.

Размышления Макса Вебера на эту тему хорошо известны, и в критических комментариях к ним нередко отмечалось вызывающее беспокойство сходство с реальными диктаторами. Наконец, неолиберальное поня-

тие предустановленной гармонии между индивидуальными интересами и рыночными механизмами, сопровождающейся отступлением государства, также принадлежит к идеологическому семейству проектов, направленных на преодоление вышеупомянутой дилеммы. Во всех трех случаях, сколь бы они ни различались между собой, цивилизационная тема автономии развита в видение господства над противоречиями модерна.

Эти противостоящие друг другу, но взаимосвязанные идеологические модели порождают еще один вопрос. Их конфликты служат примером антиномий модерна. Как уже отмечалось, Эйзенштадт часто подчеркивал этот аспект современного мира, но требуется некоторое прояснение данной идеи. Общепринятая философская идея антиномии, очевидно, неприменима в этом контексте; данный термин используется здесь менее строго и может быть понят как относящийся к противоречащим друг другу интерпретациям общих культурных предпосылок. Основным примером для Эйзенштадта выступал конфликт между тотализирующей и плюралистической концепциями рациональности: первая порождает парадигмы когнитивной закрытости и всеобъемлющей организации, тогда как вторая допускает существование особых форм рациональности различных социокультурных сфер и продолжающуюся конфронтацию между ними. Кажется очевидным, что это обсуждение включает автономию наряду с рациональностью: стремление артикулировать определенные рамки, холистские или плюралистические, предполагает утверждение способности к самоориентации. Более непосредственным образом автономия становится полем столкновения между индивидуалистическими и коллективистскими интерпретациями, и их воздействие на соперничающие версии модерна было очень значительным.

Следует по крайней мере упомянуть еще один плюрализирующий фактор. Множественность социокультурных сфер (миропорядков, как называл их Макс Вебер), которая не является характерной исключительно для модерна, но значительно более выражена в эту эпоху, чем когда-либо ранее, выступает не просто чертой, усиленной определенными интерпретациями. На более фундаментальном уровне она является источником различных значений, которые могут транслироваться в соответствующие образы модерна.

Экономическая, политическая и интеллектуальная (научная) сферы социальной жизни – если упомянуть лишь наиболее важные – также могут рассматриваться как рамки опыта, интерпретации и воображения; в таком качестве они создают основу различных способов понимания человеческого бытия в мире и его современных трансформаций. Это было очевидно уже в различных версиях классической теории модернизации и стало более явным с переходом к теориям модерна. На уровне исторических формаций эта порождающая разнообразие динамика взаимодействует с другими источниками множественности модерна, включая наследие до-

модерновых цивилизаций. Но дальнейшее исследование данной сферы выходит за пределы этого краткого очерка.

Литература

- Arnason J.* The Soviet model as a mode of globalization // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, CA, 1995. – Vol. 41. – P. 36–53.
- Castoriadis C.* The Castoriadis reader / D.A. Curtis (ed.). – Oxford: Blackwell, 1997. – xxv, 470 p.
- Eisenstadt S.* The civilizational dimension in sociological analysis // Thesis Eleven. Thousand Oaks, CA, 2000. – Vol. 62. – P. 1–21.
- Skirbekk S.* Dysfunctional culture. – Lanham, MD: Univ. press of America, 2005. – 184 p.

М.В. Масловский

**ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ Й. АРНАСОНА:
ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКУЮ ИСТОРИЮ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Цивилизационный подход получил весьма широкое распространение в отечественной литературе в 1990-е годы. В этот период значительное внимание уделялось идеям А. Тойнби, П.А. Сорокина, представителей евразийства, а затем наступило массовое увлечение концепцией столкновения цивилизаций С. Хантингтона. Следует отметить, что волна политической публицистики вокруг тезиса Хантингтона если и не полностью дискредитировала цивилизационный подход, то породила серьезные сомнения в его адекватности. Вместе с тем работы представителей цивилизационного анализа в современной исторической социологии в основном игнорировались отечественными авторами. Так, российские исследователи в редких случаях обращались к анализу идей Ш. Эйзенштадта и главным образом к положениям, выдвинутым в его трудах 70–80-х годов [Ерасов, 1999]. Цивилизационный анализ как теоретическое направление современной социологии начал систематически рассматриваться российскими учеными лишь в самое недавнее время [Браславский, 2011]. Кроме того, публиковались переводы отдельных работ представителей цивилизационного анализа [Эйзенштадт, 1999; Виттрок, 2002; Арнасон, 2011 а; Арнасон, 2011 б].

Примером слабого знакомства определенной части российских обществоведов с новейшими тенденциями развития мировой социальной мысли может служить следующее утверждение: «В мировой науке (в отличие от российской) цивилизационные концепции пользовались популярностью в основном в конце XIX – первой половине XX столетия <...> а попытка их реанимации на этапе глобализации и становления нового мироустройства после “холодной войны” в целом не удалась и осталась маргинальной. Сложно назвать в последние двадцать лет хотя бы одну претендующую на научную новизну и цельность цивилизационную теорию, за исключением точки зрения Хантингтона, отмеченной, впрочем, крайней идеологизированностью и политизированностью» [В порядке полемики,

2010, с. 455]. Единственное, с чем можно здесь согласиться, – это с характеристикой концепции Хантингтона. Но суть дела заключается в том, что именно в последние 20 лет происходило становление цивилизационного анализа как новой парадигмы мировой исторической социологии [Arnason, 2003; Eisenstadt, 2003; Knoebl, 2011; Spohn, 2011].

Теоретические истоки современного цивилизационного анализа восходят к классическим традициям западной социологии, представленным, в частности, концепцией цивилизации Э. Дюркгейма и М. Мосса. Но ключевую роль в становлении этой парадигмы сыграло переосмысление ряда положений социологии мировых религий и политической социологии М. Вебера. В конечном итоге цивилизационный анализ подчеркивает роль конфликтов в процессе политических изменений, выделяя прежде всего культурные противоречия. С точки зрения данного подхода «различные цивилизационные основания и рамки порождают разнообразные программы политического модерна и процессы политической модернизации» [Spohn, 2010, p. 60]. Ведущими представителями цивилизационного анализа в 1990–2000-е годы являлись Ш. Эйзенштадт и Й. Арнасон. В целом в качестве двух основных направлений цивилизационного анализа в современной социологии можно выделить «линию Эйзенштадта», которую развивал В. Шпон [Spohn, 2003], и «линию Арнасона», которой следует, например, В. Кнебль [Knoebl, 2010].

В ходе дискуссии о современном значении идей Эйзенштадта всестороннюю оценку его вклада в социологическую теорию представил немецкий социолог В. Шпон. Как отмечает этот исследователь, критики концепции Эйзенштадта, выступавшие с позиций неомарксизма, постмодернизма и постколониализма, видели в ней лишь один из вариантов теории модернизации, но они явно недооценивали новаторский подход израильского социолога. В отличие от ранних версий теории модернизации концепция Эйзенштадта подчеркивает контингентный, противоречивый и даже антиномичный характер этого процесса. Эйзенштадт рассматривал цивилизации не как замкнутые целостности, но как «цивилизационные комплексы со своим центром и периферией, доминирующими и подчиненными уровнями, напряжением и противоречиями, межцивилизационными и транскивилизационными взаимосвязями и взаимодействиями» [Spohn, 2011, p. 286].

Вместе с тем подход Эйзенштадта подвергался критике за то, что он сосредоточен почти исключительно на культурных факторах и их влиянии на политическую сферу [Wagner, 2010]. По сравнению с Эйзенштадтом Й. Арнасон в большей степени ориентируется на проблематику политической социологии. Логика концепции Эйзенштадта, проявившаяся в его исследованиях цивилизаций «осевого времени», неизбежно приводит к выделению «зависимости от колес» как фактора преемственности в развитии цивилизаций. В то же время Арнасон указывал на проблемы, связанные с таким пониманием цивилизационной динамики. Как отмечает не-

мецкий социолог В. Кнебль, работы Арнасона по проблемам цивилизационного анализа могут быть интерпретированы как непрерывный диалог с Эйзенштадтом, причем в ходе этого диалога сам Эйзенштадт был вынужден изменить свою точку зрения по ряду вопросов [Knoebl, 2011, p. 15].

В целом Арнасон соглашается с Эйзенштадтом в том, что цивилизации следует определять на основе религиозных и политических критериев. Он не возражает и против выделения «осевого времени» в качестве ключевого момента в формировании ряда цивилизаций. Вместе с тем Арнасон не считает, что дальнейшая эволюция цивилизаций полностью определялась в эпоху «осевого времени». Арнасон понимает культуру не как «застывшую целостность», но как «констелляцию», в рамках которой креативность социального действия и влияние случайных событий могут существенно изменить траекторию цивилизационной динамики [Knoebl, 2011, p. 18].

Кроме того, Арнасон делает акцент на формировании цивилизаций, последовательно сменяющих одна другую. В связи с этим он уделяет особое внимание периоду, когда на смену Римской империи пришли цивилизации Западного и Восточного христианства, а затем и Исламская цивилизация.

Арнасон задает вопрос о том, что обеспечивает стабильность культурных черт определенной цивилизации. С его точки зрения, необходимо более подробно рассмотреть процессы формирования государств и в особенности – империй. Хотя в одной из своих ранних работ Эйзенштадт исследовал политические системы империй [Eisenstadt, 1963], он не возвращался к систематическому изучению этой проблематики. Как пишет Арнасон, «империи в очень значительной степени зависят от цивилизационных предпосылок и контекста. Другой стороной медали является постоянное формирование и очень значительное историческое влияние империй, охватывающих несколько цивилизаций. Очевидным примером служит Римская империя не только в силу греко-римского дуализма, который отличал ее зрелую стадию, но и ввиду цивилизационного столкновения с иудаизмом и цивилизационного компромисса с христианством. Другим примером является империя Цин (1644–1911), которая стала не только окончательной версией Китайской империи, но синтезом китайской и центральноазиатской имперских традиций. Это относится и к трансокеанским империям, созданным в ходе европейской экспансии, в особенности к Британской империи с ее индийскими владениями. Коротко говоря, сравнительная история империй должна отводить соответствующее место их особой мультисоциетальной структуре, не сводимой к структуре цивилизаций, и глобальным притязаниям, которые развиваются по мере их экспансии» [Арнасон, 2011 б, с. 26].

По сравнению с Эйзенштадтом Арнасон в большей степени подчеркивал значение межкультурного взаимодействия (intercivilizational encounters). О такого рода взаимодействиях писал уже А. Тойнби. Британский историк различал взаимодействия, протекавшие в пространстве и во

времени (ренессансы). При этом он особо выделял те процессы взаимодействия, которые привели к возникновению мировых религий, выходящих за рамки отдельной цивилизации. Но, как отмечает Арнасон, когда Тойнби обратился к данной проблематике, его исследовательский проект претерпевал изменения, но концептуальные основания этого проекта оставались «не проясненными» [Arnason, 2001, p. 400]. В дальнейшем были выдвинуты два варианта концепции междивизиационного взаимодействия. У. Макнил сводил эти процессы прежде всего к передаче навыков и технологий от одной цивилизации к другой [McNeill, 1998]. В отличие от этого, Б. Нельсон делал акцент на взаимодействии «структур сознания» [Nelson, 1981].

Как указывает Арнасон, характеризуя подход Нельсона, «...некоторые взаимодействия ведут к односторонней ассимиляции, другие способствуют инновациям, которые могут воздействовать на центральные структуры сознания, но сравнительные исследования должны учитывать также и взаимодействия, указывающие на удаленность и диссонанс между расходящимися культурными мирами» [Arnason, 2006, p. 46]. В то же время Нельсон сосредоточил внимание на междивизиационных взаимодействиях домодерновых эпох и периода раннего модерна. Так, он подробно рассматривал взаимоотношения средневекового Запада с Византией и исламским миром, а затем взаимодействие Запада и Китая. Арнасон развивает этот подход в своей статье «Понимание междивизиационного взаимодействия» и других работах.

Характерно, что Арнасон является одним из немногих представителей современной исторической социологии, обративших пристальное внимание на социокультурные процессы в Византийской империи. В данном случае он обсуждает и проблему воздействия византийского политического и культурного наследия на российское государство. Как считает этот социолог, влияние византийской традиции на российскую историю часто преувеличивалось, что нашло отражение, в частности, в тезисе А. Тойнби о византийских истоках тоталитарного государства. Арнасон отвергает миф о непрерывной и фундаментальной преемственности между Византией и Россией на уровне культурных образцов [Arnason, 2000, p. 57]. По его мнению, рецепция Московским государством византийского наследия была «выборочной и незавершенной» (selective and inconclusive), что явилось результатом «взаимодействия имперского и цивилизационного образцов в процессе государственного строительства» [Arnason, 1993, p. 45].

Арнасон рассматривает уже допетровскую Россию как находившуюся на «перекрестке цивилизаций» [Arnason, 2003, p. 34] и испытывавшую византийское, монгольское и западное влияния. При этом отсылка к византийскому наследию служила цели смягчить и отчасти затушевать зависимость от других моделей – прежде всего монгольского образца политической организации. В то же время, как указывает Арнасон, селективное заимствование монгольских политических форм стало более зна-

чимым, когда Московское государство обладало уже большей степенью автономии. Таким образом, на формирование этого государства повлияли как центральноазиатская имперская традиция, так и византийское культурное наследие. Но в конечном итоге монгольские и византийские источники имели значение «лишь как ингредиенты меняющейся комбинации в новом контексте Московской эпохи» [Arnason, 1993, p. 46].

В целом Арнасон характеризует Россию Московского периода как «композиционную» цивилизацию. Он утверждает, что западное влияние на российское государство уже в XVI в. было достаточно заметным, чтобы рассматривать его наряду с византийским и монгольским. Как отмечает Арнасон, в правление Ивана Грозного «ренессансные рационализации, завоевания и нарушения норм стали частью его культурного окружения» [Arnason, 1993, p. 48]. В XVII столетии, несмотря на расширение контактов с Европой, проявилась и тенденция к росту изоляционизма. В этот период в большей степени, чем когда-либо ранее, Россия выступала как «по существу композиционная цивилизация, но неспособная признать себя в качестве таковой» [Arnason, 1993, p. 50]. Тем не менее были заложены предпосылки для Петровских реформ, ознаменовавших переход к раннему модерну.

Хотя западное влияние проявилось задолго до Петра I, а формирование более стабильной системы бюрократического управления происходило на протяжении XVII столетия, Арнасон подчеркивает, что способ соединения рационализации государственного управления и большей открытости Западу, который отличал Петровскую эпоху, являлся подлинно революционным. Арнасон ссылается на работы ряда историков, в частности М. Раева, показавших зависимость петровских преобразований от заимствованной с Запада модели «хорошо управляемого полицейского государства». Однако западная версия государства раннего модерна опиралась на целый комплекс социальных сил и институтов, отсутствовавших в России. «Хорошо управляемое полицейское государство не заменило служилое государство; скорее некоторые основные принципы первого были привиты к наиболее устойчивым структурам последнего, и хотя это сочетание было достаточно гибким, чтобы допустить дальнейшие изменения, его внутренние напряжения и неустойчивость были воспроизведены на последующих стадиях модернизационного процесса» [Arnason, 1993, p. 51].

Согласно Арнасону, какое-либо византийское влияние в России в период после Петровских реформ было крайне слабо выраженным. «Очевидно, православная церковь сохранялась, но ее роль стала настолько подчиненной, что едва ли можно назвать ее цивилизационным ядром. Важная, но неуловимая связь, вероятно, может быть установлена на уровне политической культуры: видение транснациональной империи, легко адаптируемое к идее исторической миссии, несло на себе печать византийского происхождения. <...> Можно также утверждать, что сохранение этой имперской воображаемости являлось значительным препятствием для разви-

тия националистической идеологии. Здесь мы можем говорить о чрезвычайно устойчивом цивилизационном подводном течении, но сходства по обе стороны исторических разломов слишком незначительны, чтобы считать их свидетельством цивилизационной идентичности» [Arnason, 2000, p. 61].

По мнению Арнасона, понятие межцивилизационного взаимодействия вполне применимо и для изучения социальных процессов периода модерна. Этот социолог характеризует взаимоотношения Запада с другими цивилизациями как «взаимодействие местных традиций (часто с их собственными предвосхищениями модерна), западных традиций (со свойственной им проблематикой), динамики и различных видений трансформации модерна, а также форм контрмодерна (в том числе тоталитарных), которые выросли из западных субкультур» [Arnason, 2006, p. 46]. Согласно Арнасону, на эволюцию российского общества повлияло сочетание всех перечисленных факторов. Он отмечает, что особенности российской традиции, которая «сочетала периферийное положение в западном мире с некоторыми чертами особой цивилизации», способствовали формированию установки, соединявшей «отрицание западного модерна с претензиями на то, чтобы превзойти его» [Arnason, 1993, p. 18].

Арнасон обсуждает вопрос о том, можно ли говорить об особом коммунистическом проекте модерна. Согласно Арнасону, марксистско-ленинская идеология «опиралась на революционную и утопическую традицию, импортированную с Запада, но адаптированную к местным условиям таким образом, чтобы она позволила синтезировать противоречившие друг другу элементы российской традиции» [Arnason, 1993, p. 101]. Как указывает социолог, большевистское правительство унаследовало не только геополитическое положение и внутренние структурные проблемы Российской империи, но также и традицию осуществляемой сверху социальной трансформации. «И наследие революции сверху как стратегии государственного строительства, и утопия радикальной революции как пути к свободе были преобразованы в новые идеологические модели, которые претендовали на обладание универсальной, исключительной и окончательной истиной. В таком качестве воссозданная и заново артикулированная традиция <...> послужила структурированию особого варианта модерна» [Арнасон, 2011 а, с. 34–35].

Анализ советской версии модерна представлен прежде всего в книге Арнасона «Несбывшееся будущее. Происхождение и судьбы советской модели» [Arnason, 1993]. Однако данная работа была написана в тот период, когда цивилизационный подход социолога еще находился в процессе формирования. Кроме того, промежуток времени, отделявший выход этой книги от крушения советской модели, был слишком невелик, чтобы позволить осуществить ее всесторонний анализ. Но в дальнейшем Арнасон неоднократно возвращался к проблематике коммунистического модерна. В частности, он рассмотрел распространение советской модели как форму глобализации [Arnason, 1995]. Наиболее глубокий теоретический анализ

феномена коммунизма содержит его статья «Коммунизм и модерн», которая была опубликована в 2000 г. в номере журнала «Дедалус», посвященном проблеме множественности модерна [Арнасон, 2011 а]. В отечественной литературе последних лет особое внимание уделялось именно осуществленному Арнасоном анализу советской модели модерна [Масловский, 2011; Масловский, 2012].

В исследовании советской модели Арнасон выделяет три основных аспекта: роль социального движения, имперскую традицию и цивилизационные характеристики самой модели. Особое внимание он обращает на цивилизационные аспекты советской версии модерна. Как подчеркивает этот социолог, претензии на создание новой цивилизации, превосходящей западный модерн, играли ключевую роль в советском «идеологическом арсенале» [Arnason, 1995, p. 45]. Тем не менее, с точки зрения Арнасона, можно говорить не о советской цивилизации, а о коммунистической модели модерна, обладавшей лишь некоторыми цивилизационными характеристиками. Анализируя советскую модель, он отмечал, что «политическая религия» марксизма-ленинизма «не проникала в общество столь же глубоко, сколь исторические религии» [Арнасон, 2011 а, с. 18]. В отличие от С. Коткина и других историков, рассматривавших сталинизм как цивилизацию [Hedin, 2004], Арнасон делает акцент скорее на брежневском периоде. Обращаясь к периоду с середины 60-х по середину 80-х годов, он характеризует «ретрадиционализацию» как одну из основных тенденций эволюции советской модели [Arnason, 1993, p. 213]. Речь идет о попытках представить «советский образ жизни» в качестве особой традиции. Однако эти попытки так и не привели к созданию устойчивой цивилизационной модели.

В качестве второй основной тенденции, проявившейся в рассматриваемый период, выступает «глобализация» советской модели. Эта тенденция проявилась в расширении системы социализма и росте влияния международного коммунистического движения. «Глобальное присутствие и престиж советского режима были чрезвычайно важны для его легитимации внутри страны; это было связано не только со статусом сверхдержавы после 1945 г., но и – в разной степени в различные периоды – с претензиями советской модели на универсализм и контролем над международным движением» [Арнасон, 2011 а, с. 29]. Вместе с тем советская система оказывала влияние на политические силы, которые не отождествляли себя полностью с коммунистической идеологией. Так, политические элиты ряда постколониальных стран в той или иной степени ориентировались на советскую модель, приспосабливая ее к местным условиям, результатом чего стали такие идеологические течения, как «афромарксизм».

Арнасон выделяет элементы межкультурного взаимодействия, характеризуя конфликты внутри социалистического лагеря, в особенности советско-китайский раскол. Он отмечает, что советская гегемония была поставлена под сомнение, когда «самый серьезный вызов был брошен

единственной страной, которая могла стремиться стать альтернативным идеологическим и геополитическим центром. Маоистская ересь угрожала превратиться в соперничающую ортодоксию другой сверхдержавы, и, хотя она не достигла этой цели, ее подрывное влияние на саму идею коммунизма как объединительного процесса не следует недооценивать» [Арнасон, 2011 а, с. 29]. Как утверждает Арнасон, можно говорить о цивилизационном аспекте советско-китайского раскола, а также и кризиса 1968 г. в Чехословакии. В обоих случаях вовлеченные в конфликт силы «не только преследовали различные стратегические цели, но и были разделены культурными барьерами коммуникации» [Arnason, 1995, p. 48].

Рассматривая восприятие советской модели на Западе, Арнасон указывает, что «западные наблюдатели преувеличивали масштабы и потенциал альтернативной версии модерна. Иными словами, советская модель представляла собой цивилизационный мираж. Лишь немногие интерпретации такого рода явно основывались на понятии новой или особой цивилизации, но этот термин казался уместным сторонникам как положительной, так и негативной оценки данного явления» [Арнасон, 2011 а, с. 30]. В целом для западных исследователей была характерна тенденция считать советскую систему более устойчивой, чем она оказалась в действительности. «В ретроспективе кажется сложно отрицать, что восприятие коммунизма в качестве угрожающей альтернативы приводило к переоценке его силы. Это относится к его идеологической динамике в начальной стадии холодной войны <...> значительному преувеличению перспектив его экономического роста в хрущевский период и военной мощи в последние два десятилетия его истории» [Арнасон, 2011 а, с. 31].

До настоящего времени ведущие представители цивилизационного анализа в мировой социологии не уделяли существенного внимания процессам социальной трансформации в постсоветской России. Так, Й. Арнасон ограничился лишь отдельными замечаниями относительно характера этих процессов. Как подчеркивал Арнасон еще в 1993 г., их следовало рассматривать «скорее как новую фазу в продолжающемся взаимодействии между российской и западной траекториями развития, а не как возникновение эндогенного общества или перенесение импортированной модели» [Arnason, 1993, p. 211]. Но следует отметить, что идеи этого социолога успешно использовались для анализа социально-политических изменений в странах Восточной Европы [Blokker, 2005; Блоккер, 2009].

Таким образом, в работах Арнасона российская история рассматривается в контексте межкультурного взаимодействия. Как считает этот социолог, если и можно в какой-то момент говорить об особой российской цивилизации, то следует учитывать ее «композитный» характер. Московское государство испытало влияние византийской культурной традиции и центральноазиатского имперского наследия, а затем и возрастающее западное влияние. В период после Петровских реформ Россия сочетала периферийное положение в западном мире с некоторыми чертами

особой цивилизации. Наибольшее внимание Арнасон уделяет советскому периоду российской истории. С его точки зрения, советский модернизационный проект характеризовался соединением заимствованной с Запада, но адаптированной версии марксистской идеологии и имперской традиции осуществляемых сверху преобразований. Арнасон рассматривает советскую модель модерна, обладавшую некоторыми цивилизационными характеристиками, но, по его мнению, в советский период так и не сложилось устойчивой цивилизационной модели. В то же время он выделяет цивилизационные аспекты во взаимоотношениях СССР со странами Запада и государствами социалистического лагеря, прежде всего с Китаем.

Концепция Арнасона может рассматриваться как альтернативная по отношению к двум влиятельным подходам к изучению, с одной стороны, советской истории 30–50-х годов, а с другой стороны, системы международных отношений в период после окончания «холодной войны». Речь идет об исследовании «сталинизма как цивилизации» С. Коткина и концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. По сравнению с этими подходами концепцию Арнасона отличает гораздо более основательная проработка теоретических проблем. Опираясь на веберовскую традицию в исторической социологии, идеи Ш. Эйзенштадта и Б. Нельсона, этот социолог предложил оригинальный взгляд на межкультурные взаимодействия периода модерна. Безусловно, концепция Арнасона заслуживает самого пристального внимания и серьезного обсуждения со стороны российских исследователей.

Литература

- Арнасон Й.* Коммунизм и модерн // Социологический журнал. – М., 2011 а. – № 1. – С. 10–35.
- Арнасон Й.* Понимание цивилизационной динамики: вводные замечания // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2011 б. – Т. 14, № 6 (59). – С. 20–31.
- Блоккер П.* Сталкиваясь с модернизацией: открытость и закрытость другой Европы // Новое литературное обозрение. – М., 2009. – № 6. – С. 18–34.
- Браславский Р.Г.* Цивилизационная перспектива в социологическом анализе современных обществ // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2011. – Т. 14, № 6 (59). – С. 32–50.
- Виттрок Б.* Современность: одна, ни одной или множество? Европейские истоки и современность как всеобщее состояние // Полис. – М., 2002. – № 1. – С. 141–159.
- В порядке полемики (Отзывы на статьи и ответы на них) // Вопросы социальной теории: Научный альманах / Под ред. Ю.М. Резника и М.В. Толстановой. – М., 2010. – Т. 4: Человек в поисках идентичности. – С. 415–480.
- Ерасов А.Б.* Ш. Эйзенштадт и его концепция общества и истории // Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999. – С. 5–22.
- Масловский М.В.* Анализ советской версии модерна в исторической социологии Йохана Арнасона // Социологический журнал. – М., 2011. – № 1. – С. 5–9.

- Масловский М.В. Цивилизационный анализ Й. Арнасона: Советская модель модерна // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 3: Возможное и действительное в социальной практике и научных исследованиях / Ред. и сост. вып. Ильин М.В. – С. 346–359.
- Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 416 с.
- Arnason J. The future that failed: Origins and destinies of the Soviet model. – L.: Routledge, 1993. – x, 239 p.
- Arnason J. The Soviet model as a mode of globalization // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, CA, 1995. – N 41. – P. 36–53.
- Arnason J. Approaching Byzantium: Identity, predicament and afterlife // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, CA, 2000. – N 62. – P. 39–69.
- Arnason J. Civilizational patterns and civilizing processes // International sociology. – L., 2001. – Vol. 16, N 3. – P. 387–405.
- Arnason J. Civilizations in dispute: Historical questions and theoretical traditions. – Leiden: Brill, 2003. – XIV, 380 p.
- Arnason J. Understanding intercivilizational encounters // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, CA, 2006. – N 86. – P. 39–53.
- Blokker P. Post-communist modernization, transition studies and diversity in Europe // European journal of social theory. – L., 2005. – Vol. 8, N 4. – P. 503–525.
- Eisenstadt S. The political systems of empires. – N.Y.: The Free Press, 1963. – 524 p.
- Eisenstadt S. Comparative civilizations and multiple modernities. – Leiden: Brill, 2003. – Vol. 1. – xi, 1–488 p.; Vol. 2. – VI, p. [493]–1055.
- Hedin A. Stalinism as a civilization: New perspectives on communist regimes // Political studies review. – L., 2004. – Vol. 2, N 2. – P. 166–84.
- Knoebl W. Path dependency and civilizational analysis: Methodological challenges and theoretical tasks // European journal of social theory. – L., 2010. – Vol. 13, N 1. – P. 83–97.
- Knoebl W. Contingency and modernity in the thought of J.P. Arnason // European journal of social theory. – L., 2011. – Vol. 14, N 1. – P. 9–22.
- McNeill W. World history and the rise and fall of the West // Journal of world history. – Honolulu, 1998. – Vol. 9, N 2. – P. 215–236.
- Nelson B. On the roads to modernity: Conscience, science and civilizations. – Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1981. – xxiii, 316 p.
- Spohn W. Multiple modernity, nationalism and religion: a global perspective // Current sociology. – L., 2003. – Vol. 51, N 3/4. – P. 256–286.
- Spohn W. Political sociology: Between civilizations and modernities. A multiple modernities perspective // European journal of social theory. – L., 2010. – Vol. 13, N 1. – P. 49–66.
- Spohn W. An appraisal of Shmuel Noah Eisenstadt's global historical sociology // Journal of classical sociology. – L., 2011. – Vol. 11, N 3. – P. 281–301.
- Wagner P. Multiple trajectories of modernity: Why social theory needs historical sociology // Thesis Eleven. – Thousand Oaks, CA, 2010. – N 100. – P. 53–60.

А.В. Баранов

**ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА:
ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
В ИЗУЧЕНИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ**

Исторический подход часто упоминается в российских политологических исследованиях. К сожалению, редко можно найти работы политологов, в которых знание концепций исторической науки сочетается с их корректным и практически полезным применением. Сказывается стереотип восприятия, при котором произвольный набор фактов прошлого «подгоняется» под априорно заданные выводы. Злободневны слова В.О. Ключевского: «Политика должна быть не более и не менее как прикладной историей. Теперь же она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение» [Ключевский, 1968, с. 375].

Со своей стороны, российские историки слабо используют понятийный аппарат политической науки; существует тенденция «деполитизировать» исторический анализ [Бродовская, 2013, с. 36; Курьянович, 2001, с. 35]. Это объяснимо аллергией на идеологическую цензуру, но вряд ли полезно. Междисциплинарность воспринимается подчас исследователями как проявление публицистики, а не потребность в более глубоком «стереоскопическом» осмыслении реальности.

На наш взгляд, политологу не следует бояться обвинений в «историзме». Любое общественное, в том числе политическое, явление развивается во времени и пространстве. Современность можно осмысливать в данном контексте как «текущую историю», а совокупность политических институтов, процессов и ментальных проявлений политики – как проявление исторического развития.

Тема актуальна в нескольких аспектах. Прежде всего, человечество в начале XXI в. переживает глобальные трансформации настолько глубинного свойства, что многие исследователи вводят для определения стадии политического развития понятия «постсовременность», «постцивилизация» [Неклесса, 2001, с. 34]. Сдвиги подобной степени можно адекватно осмыслить, только перейдя от эмпирических описаний и случайных догадок к историко-политическому синтезу. Одной из ключевых категорий

такого исследования является «цивилизация» [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 8–25].

Цель статьи – выявить предметное поле междисциплинарного синтеза истории и политической науки в исследовании цивилизации.

Исходный смысл категории «цивилизация», впервые употребленной в историософских трудах просветителей XVIII в., этноцентричен. Цивилизация воспринималась П.А. Гольбахом, А.Р. Тюрго, Ж.А. Кондорсе как общество, ставшее высококультурным и нравственным. Такой стадийный уровень присущ-де только западному обществу, идущему по пути прогресса и определяющему единый путь развития человечества. Остальные – Россия, Азия, Африка, Латинская Америка – именовались «неисторическими народами», способными лишь заимствовать с запозданием «передовые» достижения Запада [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 8–25; Философия истории, 1995, с. 38–48, 57–99].

Со второй половины XIX в. формируются две отчетливо выраженные концепции исследования цивилизаций. Одна из них, совершенствуя доводы европоцентризма, выразилась в теориях единой мировой цивилизации (О. Конт, Г. Спенсер, У. Ростоу, О. Тоффлер, Ш. Эйзенштадт) [Философия истории, 1995, с. 116–130; Спенсер, 1999; Rostow, 1960; Тоффлер, 2002; Эйзенштадт, 1999]. Своеобразие «незападных миров» объяснялось в категориях «отсталости», «эшелонов / волн модернизации» и т.п. Другая парадигма проявилась в теориях локальных цивилизаций (И.Г. Гердер, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон) [Философия истории, 1995, с. 49–56, 158–186, 220–231; Данилевский, 1995; Тойнби, 1991; Huntington, 1996]. По ним человечество – это сложная макросистема, обособленными самобытными элементами которой являются локальные цивилизации. Каждая из них – общество, создавшее неповторимую систему ценностей мировоззрения и традиций. Этим вызван путь развития цивилизаций, циклический по траектории. Контакты цивилизаций считаются в данной концепции преимущественно негативными, так как они порождают взаимное обеднение и упадок участников контакта, поглощение более сильной цивилизацией соперниц.

Скептическое отношение политологов к цивилизационному анализу современности вызвано противоречивостью использования термина. Сейчас наиболее употребительны две трактовки цивилизации. Первая, применяемая чаще всего в культурологии, трактует термин как особую систему материальных и духовных ценностей общества либо социальной группы; уровень или этап развития культуры, более высокий в сравнении с догосударственным «варварством» [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 27–33, 79–125]. Вторая трактовка свободна от эволюционизма, она основана на социокультурном анализе [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 36–78; Данилевский, 1995; Тойнби, 1991]. С ее точки зрения цивилизация – это социальная общность макроуровня, объединяющая индивидов на основе мировоззрения («духовного ядра»). Данная система

имеет неповторимое сочетание проявлений «духовного ядра»: ценностей, ориентаций и способов деятельности людей по экзистенциальным для общества вопросам (о смысле жизни, об устройстве природы и общества, о важнейших категориях бытия и сознания, о добре и зле и т.д.). «Духовное ядро» составляет важнейший структурообразующий фактор цивилизации. От него зависят способ взаимодействия общества с природой, экономическая, социальная, политическая, социокультурная подсистемы социума. Тип жизнедеятельности, присущий цивилизации, отличает ее от других. Разумеется, самобытность – явление историческое, подверженное изменениям. Но «духовное ядро» остается устойчивым, за исключением ситуаций системного кризиса. Ядро сообщает преемственность, устойчивость различным подсистемам общества, в том числе и политической.

«Духовное ядро» включает в себя, согласно Э. Шилзу, следующие компоненты: общую «картину мира»; смысловую трактовку жизни и смерти, добра и зла, успеха и неуспеха; религиозные ценности; осмысление власти и права; понимание соотношения «индивид – группа – общество – человечество». На основе «центральной», осевой системы ценностей исторически складываются и передаются от поколения к поколению социокультурные традиции. Они проявляются повседневно в форме установок и стереотипов деятельности [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 162–165, 171–175].

«Ядро» цивилизации связано с «периферийными» подсистемами ценностей, которые обеспечивают возникновение и адаптацию новшеств в пределах традиции. «Ядро» цивилизации исторически изменчиво, в каждом случае оно имеет своеобразное содержание и степень однородности. «Духовное ядро» цивилизации выполняет такие функции, как воспроизводство самобытной (идентичной) традиции; интеграция и структурирование общества; адаптация новшеств. Значение политической компоненты «ядра» в том, что именно она обеспечивает принятие стратегических решений и управляет их реализацией во всех подсистемах общества.

Проблема предполагает ценностный выбор. Плюрализм концепций цивилизаций ведет к альтернативности выводов. Так, факт глобального лидерства постиндустриального Запада может интерпретироваться в противоположных системах ценностей. У ряда исследователей (Ф. Фукуяма, А.С. Ахиезер) проявилась эйфория «глобализма», породившая оптимистические представления о победе либеральной цивилизации, о грядущей «смене цивилизационной идентичности» незападных стран [Фукуяма, 2004, с. 27–29; Ахиезер, 1991, с. 62–63]. На наш взгляд, развитие мира после 1991 г. не дает доказательств подобных надежд. Напротив, только признание «многополярности» человечества, вбирающего в себя самобытные «миры» – цивилизации со своей собственной направленностью развития, может дать реалистичную оценку мировой политики.

Убеждение во всемирном единстве политических проявлений цивилизации нельзя рассматривать всерьез. С. Хантингтон резонно отмечал:

«Выживание Запада зависит от способности американцев утвердить свою западную идентичность и способности Запада принять свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную...» Предотвращение мировой войны требует, по мнению Хантингтона, поддерживать «многоцивилизационный характер мировой политики». Попытки насадить «цивилизационный универсализм» на почве глобализаций разрушают механизмы саморегуляции обществ [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 509].

Другой актуальный вопрос: сводится ли «палитра» обществ к противопоставлениям «Восток – Запад» и таких их контрастных качеств, как застой или динамика, сакральность – секулярность, коллективизм – индивидуализм, несправедливость – законность и т.д.? Или существует сложное множество политик, проявления которых не сводимы к бинарной оппозиции «Восток – Запад»? Ответ может дать создание теорий локальных цивилизаций как на уровне объяснения их исторически уникальных качеств, так и на уровне сравнительного анализа их политического развития и взаимодействий.

Абстрагируясь от весомых исторических различий в развитии стран Европы и Северной Америки, можно определить политические константы западной цивилизации. Это – индивидуализм и антропоцентризм, верховенство закона во всех сферах жизни, демократия, дуализм общества и государства, плюрализм. «Генотип» данного образа жизни зародился в античной Греции, а к XX в. политический порядок Запада приобрел зрелые и концептуально оформленные черты. Важное условие его успеха на протяжении многих веков – экспансионизм, стремление Запада к мировому господству [Laue, 1987, p. 203]. Будучи многие века христианскими (деление на католический и протестантский мир субцивилизационно по значимости), современные общества Запада все более становятся религиозно эклектичными, что весомо влияет на смысл политической системы. А.И. Неклесса прав, определяя современный Запад как постхристианскую, неоязыческую цивилизацию, «четвертый Рим» [Неклесса, 2001, с. 42].

Совокупный Восток качественно более мозаичен, чем Запад. Общие черты восточных цивилизаций – корпоративизм и социоцентризм, этико-религиозный детерминизм поведения, нерасчлененность общества и государства, самодостаточность (в контрасте с колониализмом Запада). Самобытный тип развития – преимущественно циклический, а не прогрессирующий. Но данный «генотип» испытал многократные деформирующие воздействия в эпоху Нового и Новейшего времени. В итоге появились модели «догоняющего» зависимого развития, «колониальной демократии», «принуждения к прогрессу» и т.д. Одни группы стран смогли успешно синтезировать самобытные и западные политические ценности (Япония, Южная Корея, Индия), что зависело более всего от сходства религиозных и этнических систем. Другие сообщества, и их большинство, не смогли создать органический симбиоз традиций и переживают затяжной кризис идентичности (Тропическая Африка, исламский мир и т.д.). Теоретически

эти процессы объяснены в концепциях модернизации незападных обществ (Н.Н. Зарубина, С. Эйзенштадт) [Зарубина, 1998, с. 126–133; Эйзенштадт, 1999]; в мир-системном анализе И. Валлерстайна [Валлерстайн, 2001].

Часто цивилизации имеют «мозаичное» или расколотое ядро базовых ценностей, что аргументировано на российском материале А.С. Ахиезером [Ахиезер А.С., 1991, с. 141–142]. Сформировались две структурообразующие, системные концепции проблемы [В поисках своего пути, 1997].

Одна из них истолковывает политическое пространство России как «исторический конгломерат народов, относящихся к разным типам развития, объединенных мощным, централизованным государством с великорусским ядром». Россия воспринимается как несамостоятельное пространство, как периферия Запада и Востока – «дрейфующее общество» [Яковенко, 2012, с. 246]. А.С. Ахиезер расценивал историческую динамику России как «глобальный инверсионный цикл», т.е. рывки из крайности в крайность – от восточной соборности к западному индивидуализму. Медиация (гармоничный синтез полярных ценностей) очень редка и представляет краткий эпизод в инверсионном цикле, причем общество не может ни вернуться к традиционному типу, ни совершить прорыв к либеральной (западной) цивилизации – к глобальному будущему [Ахиезер, 1991, с. 51–64].

Противоположная парадигма может быть названа «россиецентричной». Она основана на принципах преемственности исторического пути страны, выявления внутренних факторов идентичности, осмысления России как геополитической закономерности евразийского пространства, «страны-континента» [Ерасов, 2001; Цымбурский, 2000]. Политическая традиция России трактуется либо этноцентрично (на основе русской системы ценностей) [см.: Соловей, Соловей, 2009], либо надэтнически (на основе имперского симбиоза традиций) [Каспэ, 2001]. На наш взгляд, вторая трактовка ближе к истине.

Политическая «матрица» российского общества включает в себя систему идей и ценностей, выросших на почве православного мировоззрения: соборность, единство духовной и светской власти (симфонию), морализм права, «добротолюбие». В исторических исследованиях показано, что данный выбор не был случайностью, а диктовался экологическими условиями жизни в Северной Евразии [Милов, 1998]. По истокам политическая «матрица» России близка традиционалистскому восточному типу. В основе политической системы до 1861 г. было не самоорганизованное гражданское общество, как на Западе, а «государство правды», контролирующее основные потоки власти и собственности. Такая система обеспечивала самостоятельность России в системе государств Европы, создавала условия выживания и интеграции общества [Моцелков, 1996, с. 33, 54, 69–70; Шутов, 1994, с. 45–57]. Но она же блокировала политическую модернизацию, порождая феномен «Русской Власти», неразделимой на ветви, не соблюдающей законность, обессиливающей общество [Пивоваров, 2006].

Современная политическая динамика цивилизаций интерпретируется в категориях типологии общественного развития. Можно выделить дихотомичные типы: циклическое либо прогрессирующее / регрессирующее развитие; реформы либо революции; модернизация либо архаизация. Вопреки заблуждениям, тип развития современных обществ внутренне неоднороден, что побуждает наиболее прозорливых исследователей говорить об «эклетиическом мире» [Цымбурский, 2000, с. 186], о «глобальной смуте» [Некlessа, 2001, с. 37], о «множественных современностях» [Капустин, 2001, с. 6–8]. Поэтому обострилась проблема познавательной ценности привычных категорий и терминов, характеризующих смысл и траекторию политического развития. Дискуссия сосредоточилась вокруг концепций модернизации, выдвинутых в работах 1950–1960-х годов (Р. Арон, У. Ростоу, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 207–213, 237–240].

В первоначальном смысле термин «модернизация» означал прогрессирующее развитие западной цивилизации, распространяющей своей «эталонный» путь роста на остальной мир. В более широком и идеологически нейтральном смысле модернизация понималась как длительный переход от традиционного общества к современному, от аграрного состояния к индустриальному. Данный процесс охватывает все сферы и проявления общественной жизни. В политической сфере утверждается правовое государство на основе гражданского общества, верховенства законов, равенства возможностей всех индивидов. Но эти инновации могут идти и укореняться только на почве экономических перемен: универсализации рынка и товарно-денежных отношений, роста производительности труда, научно-технического прогресса, индустриализации. Социальное «измерение» модернизации включает в себя переход от сословной к классовой модели стратификации, рост мобильности, повышение уровня жизни, внедрение социального обеспечения для масс. Социокультурное «измерение» перемен – утверждение индивидуализма, секуляризация, всеобщая образованность, рациональное мировоззрение. Начавшись на северо-западе Европы в XV–XVI вв., модернизация обрела глобальный размах, но еще далека от завершения на периферии мировой системы.

Исходные принципы теорий модернизации страдали упрощенной, одномерной трактовкой прогресса и вестернизаторством. Поэтому в конце 1960-х годов потребовался серьезный пересмотр всей парадигмы. Ш. Эйзенштадт был вынужден признать, что разрушение традиционного общества автоматически не ведет к жизнеспособности нового. Напротив, часто крах многовековых отношений и структур вызывает дезинтеграцию и хаос. Новая, западная по корням система ценностей насаждается в своих внешних проявлениях, но вступает в конфликт с «цивилизационным ядром» общества-реципиента и поэтому может отторгаться [Eisenstadt, 1973, p. 58–59, 99]. Ф. Риггс обратил внимание на «переходное общество», которое способно долго сохранять самобытные механизмы регуляции в

ходе перемен «извне». Опыт России и многих стран Востока доказывает, что подобное «переходное» состояние может длиться веками [см.: Лурье, 1997, с. 173; Shanin, 1985, р. 23]. Этот вывод коррелирует с обоснованной в российских исследованиях истории XX в. теорией многоукладности [Многоукладность России, 2009].

Начав с признания многообразия вариантов модернизации в странах различного уровня развития («эшелонов» модернизации), сторонники данной теории были вынуждены пересмотреть отношение к локальным системам ценностей. Ш. Эйзенштадт, Р. Арон, О. Тоффлер, Г. Мюрдаль, А. Турен признавали эффективность и инновационные способности реформируемых незападных обществ, которые могут стать основой жизнеспособного синтеза национальных и общемировых ценностей [см. обзор: Зарубина, 1998, с. 126–133]. Ф. Бродель считал, что наивно думать, будто модернизация устранит «плюрализм исторических культур». Напротив, она усилит их и уменьшит силы Запада [Сравнительное изучение цивилизаций, 1998, с. 480–481]. Отсюда – модель «модернизации в обход modernity», т.е. на самобытной незападной основе, выдвинутая в 1980-х годах Ш. Эйзенштадтом, С. Хантингтоном и др. [Эйзенштадт, 1999; Хантингтон, 2003]. Но сохраняется негативная оценка самобытных моделей развития, что проявляется в термине «контрмодернизация» (по-советски, по-ирански, по-китайски и т.д.). Во многом обновленные трактовки модернизации признали цивилизационную специфику фактором траектории преобразований, подчеркнули роль социокультурных факторов, учли затяжной и дискретный характер модернизации в незападных обществах.

Качественные сдвиги в системе обществ Запада, совпавшие с крахом социалистической альтернативы в СССР и Восточной Европе, вызвали рецидив представлений об исключительности и эталонности вестернизации. В течение 1990–2000-х годов укоренились концепции, сходные в понимании сущности глобализации [см.: Чешков, 1999; Иноземцев, 2001, с. 131–139; Гидденс, 2004]. Последняя определяется как процесс интеграции человечества во всех сферах жизни на основе информационных технологий, транснациональных финансово-экономических и политических институтов, синкретизма социокультурных инноваций. В политическом измерении глобализация означает доминирование наднациональных форм власти, организованных в рамках западных ценностей. Современные технологии коммуникации делают избыточными формы демократии и гражданского общества, выработанные в эпоху модерна. Во внешней политике глобализация проявляется в установлении мирового военно-стратегического и дипломатического господства Запада, в его настойчивой стратегической экспансии вглубь Евразии.

Важно отличать объективные процессы общественного развития, одной из макротенденций которых действительно является глобализация (наряду и вопреки защите суверенитета крупнейших государств мира), от

идеологического обеспечения экспансии Запада [Шепелев, Бариская, Шмелева, 2001, с. 160–164].

Вызов глобализации должен быть осмыслен в категориях цивилизационного диалога, а не фатального триумфа вестернизации. Многие исследователи (С. Хантингтон, В.Л. Иноземцев и др.) считают глобальную победу Запада в соперничестве цивилизаций краткой [Huntington, 1996; Иноземцев, Кузнецова, 2001, с. 131–139].

Все чаще звучат мнения о чрезмерных перегрузках экономики «Вашингтонского консенсуса», о грядущем кризисе «виртуальной экономики». Демографический баланс в ближайшие полвека – безусловно в пользу глобального Юга, особенно Африки, Азии, Ближнего Востока. По мнению Б.Г. Капустина, разочарование элит новых индустриальных стран в моделях вестернизации почти наверняка подтолкнет их на путь национализма, милитаризма и возрождения религиозной идентичности [Капустин, 2001, с. 22–24]. Ареал западной цивилизации может не выдержать сверхнапряжения «имперского бремени» и размежеваться по культурно-историческим границам на группы стран. Космополитичный проект в особенности грозит Европе дезинтеграцией национальных государств на политические регионы, что наметилось после расширения Европейского союза в 2004 и 2007 гг.

Подводя итоги, можно сделать выводы о сфере применения и эвристическом потенциале цивилизационного подхода в политической науке.

Зародившись в качестве историсофской рефлексии об исключительности Европы, термин «цивилизация» постепенно обрел противоположный исходному смысл. Ныне цивилизация трактуется как макросоциокультурная система, присущая надэтническому и надгосударственному сообществу в силу самобытности его системы мировоззрения. Политические идеалы, ценности и ориентации деятельности входят как неотъемлемый компонент в «духовное ядро» цивилизации. Этим определяется соотношение цивилизационного подхода с другими исследовательскими стратегиями: историко-нарративной, политической, правовой, социологической, культурологической. Образно говоря, цивилизационный подход позволяет выявить «черты вечного» в краткосрочном политическом процессе; дает возможность сравнить проявления преемственности и новшеств в политических фактах и явлениях.

Цивилизационный подход применим во всех субдисциплинах и на всех уровнях политических исследований. Кратко обозначим отрасли политической науки, в которых цивилизационный подход дал наиболее зримые плоды либо вызвал актуальные и глобально значимые дискуссии. Это – цивилизационная компонента политических учений и политической философии; социокультурный контекст политических решений; анализ типов власти и политических систем; центр-периферийное территориальное взаимодействие; глобальные факторы развития мировой политики и международных отношений. Перечисленные сюжеты могут стать темой углубленного специализированного исследования.

Литература

- Ахиезер А.С.* Социокультурная динамика России: К методологии исследования // *Полис*. – М., 1991. – № 5. – С. 51–64.
- Ахиезер А.С.* Россия: Критика исторического опыта. – М.: Филос. общ-во СССР, 1991. – Т. 1. – 319 с.
- В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия по российской общественной мысли XIX–XX веков / Сост. и коммент. Н.Г. Федоровского. – М.: Логос, 1997. – 751 с.
- Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
- Гидденс Э.* Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: Весь мир, 2004. – 116 с.
- Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германско-Романскому. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та: Глаголь, 1995. – 552 с.
- Ерасов Б.С.* Социокультурные и геополитические принципы евразийства // *Полис*. – М., 2001. – № 5. – С. 65–74.
- Зарубина Н.Н.* Социокультурные факторы хозяйственного развития: Вебер и современные теории модернизации. – СПб.: Изд-во Рос. христианск. гуманитарн. ин-та, 1998. – 288 с.
- Иноземцев В.А., Кузнецова Е.С.* Глобальный конфликт XXI в. // *Полис*. – М., 2001. – № 6. – С. 131–139.
- Капустин Б.Г.* Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // *Полис*. – М., 2001. – № 4. – С. 6–26.
- Каспэ С.И.* Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. – М.: РОССПЭН, 2001. – 256 с.
- Ключевский В.О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. – М.: Наука, 1968. – 525 с.
- Курьянович А.В.* История повседневности: особенности подхода, цели и методы // *История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества: Материалы международной интернет-конференции*. – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – С. 35–44.
- Лурье С.В.* Историческая этнология. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 448 с.
- Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 1998. – 573 с.
- Многоукладность России: исторические корни, состояние и перспективы: Сборник / Отв. ред. Т.Е. Кузнецова. – М.: Ин-т экономики РАН, 2009. – 285 с.
- Моцелков Е.Н.* Переходные процессы в России. Опыт ретроспективно-компаративного анализа социальной и политической динамики. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 151 с.
- Неклесса А.И.* A la Carte // *Полис*. – М., 2001. – № 3. – С. 34–46.
- Пивоваров Ю.С.* Русская власть и публичная политика: заметки историка о причинах неудачи демократического транзита // *Полис*. – М., 2006. – № 1. – С. 12–32.
- Соловей В.Д., Соловей Т.Д.* Несостоявшаяся революция: исторические смыслы русского национализма. – М.: Феория, 2009. – 440 с.
- Спенсер Г.* Опыты философские, общественные и политические. – М.: Современный литератор, 1999. – 1408 с.
- Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия / Сост. Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 556 с.
- Тойнби А.* Постигание истории: Сборник / Сост. А.П. Огурцов. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.

- Тоффлер О.* Шок будущего. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с.
- Философия истории: Антология / Сост., ред. и вступ. ст. Ю.А. Кимелева. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
- Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. – М.: АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с.
- Хантингтон С.* Третья волна. Демократизация в конце XX века. – М.: РОССПЭН, 2003. – 368 с.
- Цымбурский В.Л.* Сколько цивилизаций? (С Ламанским, Шпенглером и Тойнби над картой XXI века) // Pro et contra. – М., 2000. – Т. 5, № 3. – С. 173–197.
- Чешиков М.А.* Глобальный контекст постсоветской России: Очерки теории и методологии мироцелостности. – М.: Моск. обществ. научн. фонд, 1999. – 297 с.
- Шепелев М.А., Бариская А.Т., Шмелева М.И.* Цивилизационное измерение геоэкономики // Полис. – М., 2001. – № 3. – С. 160–164.
- Шутов А.Ю.* Политический процесс. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 80 с.
- Эйзенштадт С.* Революция и трансформация общества: сравнительный анализ цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 416 с.
- Яковенко И.Г.* Познание России: Цивилизационный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РОССПЭН, 2012. – 672 с.
- Eisenstadt S.N.* Patterns of modernity: Beyond the West. – N.Y.: N.Y. univ. press, 1987. – Vol. 2. – 185 p.
- Eisenstadt S.N.* Tradition, change and modernity. – N.Y.: John Wiley & Sons, 1973. – 367 p.
- Huntington S.P.* The clash of civilizations and remarking of the world order. – N.Y.: Simon and Schuster, 1996. – 367 p.
- Laue Th. von.* The world revolution of westernization: The twentieth century in global perspective. – N.Y.: Oxford univ. press, 1987. – XX, 396 p.
- Rostow W.* The stages of economic growth. A non-communist manifesto. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1960. – XII, 179 p.
- Shanin T.* Russia as a «developing society»: The root of otherness. – Basingstoke; L.: Macmillan, 1985. – Vol. 1. – XVI, 268 p.

РОККАНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ

Л.В. Сморгунюв

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В СОВРЕМЕННОЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ*

Сравнительная политология, активно развивающаяся под влиянием позитивистской методологии бихевиоризма и структурного функционализма в 1950–1960-е годы, в начале следующего десятилетия попала под огонь критики. Можно выделить несколько ее направлений. Во-первых, политическая наука в целом и сравнительная политология в частности оказались невосприимчивыми к новым социальным и политическим переменам, которые так бурно выявились в конце 1960-х – начале 1970-х годов в виде контркультурных движений, постиндустриальной революции, коммуникационных трансформаций. Во-вторых, попытка создать на основе бихевиоризма и структурного функционализма политическую науку, лишенную ценностной нагрузки, фактически привела к господству лишь одной теоретической парадигмы, связанной фактически с идеологией «буржуазного либерализма». В-третьих, оказалось, что эти методологии сравнительного анализа, ориентирующиеся на поиск закономерных связей и подобий, вели к созданию картины политического мира, лишенной значительной доли уникальности и многообразия. В-четвертых, преобладание количественных методов анализа в сравнительной политологии хотя и создавало возможность для проверки гипотез, но одновременно приводило к их обеднению. Путем статистической проверки утверждались зачастую либо довольно банальные истины, либо уже известные зависимости. В-пятых, хотя сравнительная политология и включала в свое поле зрения страны Азии, Африки и Латинской Америки, но сформированная телеологическая концепция зависимого развития вызывала протест как у западных компаративистов, так и у исследователей незападных стран.

После кризиса 1970-х годов сравнительная политология потеряла значение однородной с точки зрения методологии отрасли и развивалась

* В лекции использованы статьи автора, опубликованные в последние годы в журналах «Полис», «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6», «Политэкс», «МЕТОД».

то под влиянием намерений найти новую методологическую парадигму, то под воздействием изменений в самом объекте исследования. В этом отношении два десятилетия сравнительная политология сохраняла статус весьма дифференцированной отрасли и по предмету, и по методам исследования. Методология неинституционализма, которая получила распространение в политической науке в результате экономического империализма, все же не изменила общей картины. Третья волна демократизации позволила продвинуть дальше некоторые теоретические конструкты без радикального преобразования отрасли. Противостояния различных традиций исследования на плюралистическом этапе развития перестали удовлетворять критериям научной достоверности выводов сравнительной политологии.

В конце прошлого века возникает набирающая силу тенденция к синтезу противостоящих методологий и поиску новых синтезированных оснований политологического сравнения. «Ослабевающие различия» связаны с понижением уровня противостояния дюркгеймовской и веберовской традиций, количественных и качественных методов, объяснения и понимания, выяснения причин и простого описания, позитивизма и герменевтики. В целом в сравнительной политологии начинает господствовать убеждение, что метод должен быть подчинен исследовательской субстанции, т.е. политике; следует искать такие подходы, которые базировались бы на особенностях политической реальности. Не упрощение исследовательских политических моделей, а усиление сложности и взаимозависимости в сравнительных исследованиях становится необходимостью.

В этом движении к синтезу особую роль начинают играть когнитивные составляющие политического процесса, идеи, которыми люди руководствуются в политике, качественные степенные политические различия, исторические уникальные событийные политические процессы. В центре этих изменений лежит переход от фактуального к событийному политическому знанию. Категория «политическое событие» приобретает онтологический и гносеологический статус, позволяющий разрешить проблему методологического синтеза. Изменение объекта компаративного исследования (политика в условиях глобализма, коммуникативной революции и общества знания) повышает роль и значение таких методологических подходов в сравнительных исследованиях, как конструктивизм, конфигурационный подход (качественные исследования на основе булевой алгебры и логики нечетких множеств), интерпретативизм и историзм, case-ориентированное сравнение. Обоснование синтезированного характера этих методологий решается, как правило, на пути аддитивного подхода, который понижает уровень обоснования их эвристической значимости в сравнительной политологии. Представляется, что поиск холистской основы позволит разрешить ряд проблем методологического синтеза и усилить его роль в трансформационных процессах в современной сравнительной политологии, повысив ее аналитические и объяснительные возможности.

Плюралистический период сравнительной политологии (1980–1990) показал, что методологическое многообразие и противостояние различных подходов к политологическому сравнению понижают научную результативность. Новое оживление в сравнительной политологии начинается в конце прошлого – начале нынешнего столетия. Появляются обобщающие работы, в которых сделана попытка подвести определенные итоги развитию сравнительной политологии в послекризисный период. Вновь развивается дискуссия о соотношении количественной и качественной методологии сравнительного исследования. На первый план некоторые исследователи выдвигают проблемы герменевтического понимания политического действия и интерпретативного подхода к политике и управлению. При этом указывают на принципиальное различие между сциентистской американской традицией политических исследований и британской политологией, отмечая в последней акцент на историческое познание и интерпретативизм. Что еще более знаменательно, так это стремление всех участников дискуссии не противопоставлять различные подходы и традиции, а попытаться найти некоторую синтетическую основу для их взаимодействия и взаимообогащения. Преодоление различий выражается в появлении и обосновании новых методологических подходов, которые претендуют на разрешение проблем противостояния количественных и качественных, интерпретативных и объяснительных исследовательских ориентаций. Особое место здесь занимают конструктивистская методология, конфигуративный анализ (или качественный сравнительный анализ на основе использования логики нечетких множеств), case-ориентированное сравнение. Все эти методологические подходы в сравнительной политологии опираются на более фундаментальные философские основания, выраженные в концепциях «научного реализма», «аналитического нарратива», «когнитивного подхода».

Достоинства и ограниченность неоинституциональной методологии

Если на плюралистическом этапе в развитии сравнительной политологии (1970–1980) неоинституциональная методология исследования политических процессов составляла лишь одну тенденцию наряду со многими другими, то в последние два десятилетия (1990–2010) она стала доминирующей и позволила преобразовать отрасль сравнительной политологии в направлении ее большей строгости и четкости, правда, с потерей некоторого политического содержания. Неоинституционализм как господствующая методологическая парадигма в сравнительной политологии определил ряд особенностей современного этапа развития этой отрасли.

Во-первых, *сравнительная политология получила значительный импульс к усилению междисциплинарности исследований.* Учитывая много-

образе версий неoinституционализма (экономический, социологический, исторический, организационный, нормативный, дискурсивный, конфликтологический и т.д.), можно говорить о том, что сравнительные политические исследования стали междисциплинарной сферой изучения формирования и действия разнообразных институтов, а политика как институционализованная сфера стала анализироваться с использованием различных тематико-методологических подходов.

Во-вторых, *неоинституционализм повысил роль и значение концептуализации и моделирования в сравнительной политологии*. Это позволило поднять значение сравнительной политологии как теоретической дисциплины и придать строгость и целостность компаративным политическим исследованиям. Вместе с тем «экономический империализм» привел и к негативным результатам. Можно даже сказать, что понятия и принципы неоинституционализма стали своеобразным клише, используя которые компаративист маркировал политическую практику. И эти понятия выступали не инструментом анализа, а выражением самой политической реальности. В значительной мере под влиянием неоинституциональной методологии политика перестала отличаться от экономики, а политическая деятельность от торговли на рынке. Нормальный политический процесс соглашений приобрел значение «торговли голосами» и «картельных сделок», а политическая власть – значимого капитала, который можно пустить в рост.

В-третьих, *повысилась степень реализации объяснительной функции сравнительных исследований*. Неоинституционализм во всех его формах старался показать не только то, что происходит в политике, но и почему. В этом отношении многообразие форм институционализма явилось своеобразным выражением поиска различных причин институционализации политики, будь то рациональная калькуляция потерь и выгод, историческая «тропа зависимости», принятость культурных норм, следование идеям и т.д.

В-четвертых, Г. Алмонд в свое время отмечал, что структурный функционализм 1950–1960-х годов позволил *включить в орбиту сравнительных исследований все многообразие стран*, а не только самую развитую его часть.

Неоинституционализм в этом отношении был еще более радикальным. Он позволял анализировать условия возникновения институтов в различных культурных контекстах и получать универсальные обобщения, с одной стороны, или объяснять особенность институционального строения различных политик с помощью универсальных моделей – с другой.

В-пятых, 1980–1990-е годы – период третьей волны демократизации, захватившей многие страны мира. Этот период приходится на господство неоинституциональной методологии в сравнительных исследованиях (вторая половина 1980-х и далее). В этом отношении сравнительная политология на данном этапе не только получила значимую методологию, но и *тематически оживилась за счет демократических переходов*, в которых

преобладающую роль играли процессы институциональной трансформации и консолидации. Можно сказать, что объект, предмет и методология исследований находились в созвучии, что позволило сравнительной политологии не потерять, а приобрести дополнительные аргументы для позиционирования себя в рамках политической науки в целом как ведущей субдисциплины.

В настоящее время (в XXI в.) в методологии сравнительных исследований вновь появились определенные тревожные ноты. И раньше исследователи обращали внимание на некоторые пределы неинституциональной методологии, но теперь усиливается критика «экономического империализма» в целом. Неинституционализм эволюционировал в отношении добавления к нему сетевого подхода и когнитивных составляющих. Однако аддитивный тренд выявил свои пределы. Он позволял преодолевать ряд ограничений неинституциональной методологии, но не решал проблему кризиса радикально. Закончившаяся «третья волна демократизации» (и перспективы возможной «четвертой») заставляет компаративистов обратить внимание на другие формы политического процесса, и вдруг обнаруживается, что неинституционализм не совсем способен справиться с ними, например, феномен «цветных революций» или «рациональное поведение» при выборе недемократических институтов, т.е. заведомо неэффективных с позиции господствующей методологии.

Ни плюрализм методологических подходов в сравнительных политических исследованиях, ни преобладание неинституционализма более не рассматривается в качестве нормального состояния сравнительной политологии. *Анализ продемонстрировал, что преодоление кризиса возможно на пути синтеза ряда теоретико-методологических традиций.* Однако возникают проблемы пределов синтеза и научной результативности совместимости качественных и количественных, интерпретативных и позитивистских, институциональных и когнитивистских, статистических и case-ориентированных подходов в сравнительной политологии.

Событийное знание

С большой долей обоснованности можно утверждать, что использование концепции «политического события» позволяет разрешить проблемы методологического синтеза в сравнительной политологии, что трансформирует решение онтологических и методологических вопросов.

В онтологическом отношении *событийность самой политики является ее отличительным признаком от происходящего в других сферах жизнедеятельности общества.* Событийная природа политики анализировалась в работах Х. Арндт, Ж.-Л. Нанси, А. Рено, П. Рикера, А. Бадью и др. Событийное понимание политики связывает ее прежде всего с деятельностью и поступком, которые, конечно, осуществляются в материаль-

ных и культурных условиях, но не являются однозначно определенными ими. Нельзя сказать, что политическое событие абсолютно свободно, но нельзя и забывать о том, что человеческая деятельность вносит в политический процесс много неопределенного. Здесь воля и намерение играют существенную роль, и они трансформируют действительность часто случайным образом. Поэтому политическая наука, если ее представители хотят быть не просто наблюдателями или экспертами, а политиками-учеными, должна быть чувствительной к экстраординарному, случайному и протестному в политике.

В методологическом отношении стратегии политического исследования должны учитывать эту событийную природу политики. Не изучение механизмов (процессов) взаимосвязи причины и следствия, средств и целей, что характерно для фактуального знания (а неонституционализм относится к нему), а исследование того, как люди действуют в определенных обстоятельствах, когда в этом сочетании структур и поступков структуры и поступки трансформируются и возникает событие, непредвещавшееся никакими обстоятельствами. *В области методологии можно говорить о продуктивности следующих направлений анализа: а) эпистемологическое содержание категории «политическое событие» на основе анализа соотношения понятийного и имажинативного мышления; б) общие принципы событийного подхода; в) его отличия от фактуального и интерпретативного знания; г) соотношение конструктивистской и событийной методологий; д) его модификации в таких методологиях, как «исследование отдельного случая» и конфигуративные методы.*

Эпистемологическое содержание категории «политическое событие». На наш взгляд, можно выделить основные тенденции смены рациональной парадигмы политики как проявления воли в борьбе за господство концепцией событийности политики, в основе которой лежит идея свободы как атрибута власти воображения. Рассматривая критику кантовской идеи продуктивного воображения в современной политической философии, можно утвердительно говорить о ее значимости для доказательства событийной природы политики и событийного политического знания. В центре доказательства – обоснование созерцательности политического познания как репрезентации политического события и как проекта политической практики. В связи с этим выявляется, что если природа политики событийна, т.е. связана со случайностью и партикулярностью, а политическое событие разворачивается перед нами во всей своей сложности, неопределенности и длительности, то познание политики может быть скорее созерцательным, а не экспериментальным.

Созерцательная парадигма науки базируется на беспристрастности исследователя, его незаинтересованной позиции, а следовательно, на возможности делать суждения о предмете так, как он представляет себя перед ним. Здесь беспристрастность не означает безразличия, но свидетельствует о недетерминированности наших суждений в противоположность сужде-

ниям о понятиях рассудка, т.е. об их свободной игре для нас, позволяя вещам появляться перед нами так, как они есть. Созерцательная политическая наука не тождественна некритической науке. Хотя способность суждения является скорее способностью налаживать контакты в плюральном мире, однако ее потенциал раскрытия действительности как она есть можно рассматривать в качестве мощного критического орудия познания и практики. Критическая наука связана со свободой произносить суждения о мире и на этой основе вступать в практическое отношение с ним, формируя на основе воображения проективность действия.

Общие принципы событийного подхода. Событийное познание руководствуется следующими основными принципами: нераздельность структурного и агентского факторов политического события; трансформация структурного и агентского факторов в ходе политического события; темпорально-ситуационная сложность политического события, его определенность условиями политического действия; нелинейность развертывания политического события; принципиальная открытость политического события к его результатам; перспективизм политического события; формирование смысла политического события по его ходу.

Отличия событийного знания от фактуального и интерпретативного. Событийный подход к исследованию означает, что происходящее как объект исследования рассматривается не в качестве противопоставленной субъекту вещи и не как предмет возможной интерпретации, а в виде некоторого феномена, подверженного нашему интенциональному опыту и развертывающемуся перед нами в своем осуществлении. Хотя в познании событий возможен детерминистский подход, направленный на поиск процессов и механизмов, или возможна интерпретация событий с позиции разнообразия ценностных суждений, однако сутью событийного знания выступает обнаружение идеи события, т.е. существа происходящего самого по себе. Здесь, кажется, можно провести различие между смыслом как целью понимания и идеей как целью обнаружения. Идея как схватывание существа происходящего в мысли адекватно воспроизводится не в понятии или суждении, а только повествованием в рассказе. Событийное знание имеет ориентационное значение, и исследователь здесь выполняет скорее функцию «практического философа», т.е. политика, деятельность которого по обнаружению идей становится по преимуществу деятельностью авторитетной, а значит – политической.

Соотношение конструктивистской и событийной методологии

Конструктивизм как методология политического исследования наиболее близко соотносится с событийным знанием. В этом отношении общими предпосылками конструктивистского подхода можно выделить следующие положения: социальные системы могут быть объяснены в

качестве социальных конструктов, возникающих в процессе социального действия; социальное действие не является индивидуальным актом, а представляет собой «интерсубъективную» структуру, т.е. систему взаимодействий людей; хотя люди посредством социального действия добиваются реализации определенных интересов и целей, однако последние не берутся в качестве само собой разумеющихся исходных оснований деятельности; интересы и цели также суть социальные конструкты; люди в своем взаимодействии выступают как ценностно-рациональные субъекты, ценностная структура которых определяется тем, как люди понимают тот мир, в котором они живут, а социальные факты выступают выражением тех ценностей, которые совместно выбирают люди; люди соглашаются считать то или иное ценным в результате серии коммуникативных практик, т.е. достигнутого согласия относительно обсуждаемого предмета; в процессе коммуникативных практик люди обмениваются идеями и формируют совместное знание, лежащее в основании достигнутого согласия о ценностях; в этом отношении идеи имеют значение и являются конститутивными для так понятой социальной реальности. Можно сказать, что идеи и коммуникация составляют существо конструктивистского подхода к анализу социальных фактов и процессов. Идеи не могут выполнить своей конститутивной роли без коммуникации, которая делает их совместными для людей. Вместе с тем событийное знание и событийный подход в отличие от конструктивизма по-иному обосновывает онтологию политики и делает акцент не на идеях, а на действиях и поступках, в рамках которых идеи оказываются конструктивными.

Исследование отдельного случая

На основе дискуссии об особенностях исследования отдельного случая в сравнительной политологии можно выделить основания связи современных подходов с событийным знанием. Отличия этой дискуссии от предыдущих связываются с инновационной постановкой ряда вопросов и утверждением значимости качественных методов: 1) разработка новых подходов: контрфактуальный анализ, отбор противоположных случаев, метод повторного отбора усовершенствованных понятий; 2) выявление соотношений со статистическими и формальными методами и разработка мультиметодологического подхода; 3) профессионализация в области использования качественных методов; 4) институциональное развитие сообщества исследователей, ориентирующихся на качественные методы. В этом отношении обоснованы событийная природа отдельного случая; причинная сложность отдельного случая; роль идеи и качественный политический анализ отдельного случая; созерцательный характер политической науки. В связи с этим следует обратить внимание на принципы контекстуальности, причинной сложности феномена, холизм. В этом отношении в основе тематики сравнительных исследований лежит трактовка политики

с акцентом на политическом действии, а не на институтах. Рутинная практика выбора эффективных политических институтов при таком подходе является лишь следствием более существенных, политически значимых событий и процессов, которые определяются логикой экстраординарности, случайности и протеста. Именно они определяют перспективы институционального строительства и его стабилизации на определенный период, пока сохраняется потенциал исходного политического действия, оформленного как политическое событие.

Конфигуративные методы

Исследование соотношения конфигуративных методов (булева алгебра и логика нечетких множеств, примененные к сравнительному исследованию) с событийной методологией продемонстрировали, что есть явные преимущества объединения разных исследовательских стратегий в так называемые «множественные методы», «мультиметоды», или «смешанные методы», которые более соотносимы со сложной структурой событийной политики. Можно говорить, как отмечается в литературе, о следующих преимуществах объединения различных методов: во-первых, такая стратегия позволяет расширить перспективу рассмотрения изучаемой проблемы и, следовательно, повысить обстоятельность исследования; во-вторых, смешанные методы могут компенсировать многие несовершенства, связанные с использованием только одного метода; в-третьих, использование различных методов в единстве позволяет повысить общую силу и обоснованность исследовательской стратегии. Однако смешанная методология редко проработана основательно. Наиболее серьезной и фундаментальной проблемой является то, что лежащие в основе предпосылки различных объединяемых методов могут подрывать друг друга и противостоять друг другу. Есть также практический риск объединения, так как исследователь подвергается атаке со стороны множества подходов в случае неудачного объединения методов, тогда как использование одного хорошо проработанного метода может не вызвать таких нареканий.

Важно также, что конфигуративные методы отличаются от обычных статистических подходов тем, что они полагаются на другие онтологические допущения, которые соотносимы с событийным подходом. В фактуальном знании с использованием статистики закон больших чисел, вероятность, линейная зависимость между переменными, более-менее строгая взаимосвязь причины и следствия заставляют говорить об изучаемой реальности как о системе упорядоченных, более-менее однозначно определенных, гомогенных отношениях между элементами. Средние значения, характеризующие динамику развития систем, допускают интерпретацию отклоняющихся случаев как несистемных и нехарактерных. Исчезающее многообразие компенсируется силой, установленной статистической зави-

симости. Наоборот, в событийном и конфигуративном анализах действительность рассматривается в множестве условий и действий, а сочетание причин и следствий порождает множество моделей адаптации к окружающей среде. В этом отношении феномены рассматриваются сопряженными и стохастическими, а не линейными и аддитивными; отсюда многоколлинеарность не рассматривается в качестве проблемы.

Использование конфигуративных методов при проведении сравнительных исследований позволяет решать ряд задач. Во-первых, булева алгебра позволяет осуществлять фальсификацию и определение гипотез исследования. В общем, минимизация таблицы истинности является непосредственной попыткой фальсификации первоначальных гипотез, тогда как получение основных импликантов позволяет определить гипотетический минимум условий определенного следствия. В этом смысле фальсификация и определение гипотез с помощью булевой алгебры позволяют проверить большее число случаев, которые по разным причинам исследователь-компаративист не смог включить в рассмотрение (в том числе и теоретически возможные случаи).

Во-вторых, они позволяют обращаться к сложным каузальным предположениям, увеличивая число условий, подлежащих анализу. В сущности, этот подход начинается с предпосылки максимизации причинной сложности, тогда как статистический метод начинается с предпосылки простоты взаимосвязи. Конечно, булев анализ по сравнению с «case-study» подходом не характеризуется максимальным вниманием к историческим деталям, но он позволяет включить в рассмотрение максимальное число возможных комбинаций условий, и он более надежен с точки зрения получения теоретических обобщений. Одновременно с этим данная техника позволяет (если это нужно) производить экономное объяснение каузальных взаимосвязей. Экономное объяснение достигается определением наибольших классов условий, для которых характерен определенный результат. В-третьих, конфигуративный подход позволяет осуществлять типологию процессов и феноменов, вовлеченных в исследование. При этом следует заметить, что этот подход в целом применим к формированию теоретических типологий наряду с историческими. В принципе логические комбинации условий, наблюдаются они исследователем в действительности или нет, покрывают все возможные теоретические комбинации, которые путем минимизации можно сгруппировать в некоторые теоретические типы. Другой вопрос – их интерпретация. Но здесь, как уже подчеркивалось, данный подход должен идти вместе с теорией; он не заменяет интерпретационный анализ, а является его помощником. В-четвертых, существование многих концептуальных схем относительно политических процессов часто требует проверки относительно их взаимодополнительности. К тому же многие концепции противостоят друг другу, выдвигая исключаящие предположения и выводы. Конфигуративный подход позволяет осуществить оценку взаимодействующих или конкури-

рующих концепций. В-пятых, техника конфигуративного анализа позволяет одновременно осуществлять исследование в целостности причин и следствий изучаемого явления, а также изучать отдельные составляющие этой целостности. В этом отношении она включает в себя ориентацию на холизм и на индуктивный анализ, что соответствует событийному подходу к сравнительному исследованию.

* * *

Сравнительная политология – это лишь одна из отраслей научного знания, в которой явно обозначен поворот в сторону поиска синтетических методологий. Можно утверждать, что в общественной науке в целом наблюдаются аналогичные тенденции. В этом отношении сравнительная политология выступает модельным образцом, так как именно сравнительный метод выступал в политической науке (и в общественной науке) заменителем эксперимента – стандартного инструмента научного исследования. Неоинституционализм, который ввел в широкий оборот моделирование, не смог разрешить проблемы экспериментальной науки. Он стал комбинироваться с сетевым подходом, конструктивизмом, аксиологией. Однако простое аддитивное решение тоже являлось промежуточным. Появился интерес к холизму и синтезу. Поиск синтетических методологий сопровождался переоценкой роли онтологии, повышением ее значимости в ходе методологической эволюции. В этом отношении в основании стремления к методологическому синтезу лежит синтез онтологии и методологии, который, на наш взгляд, достаточно определенно выразился в обращении к событийной природе политики.

ХЕЙУАРД РОУЗ АЛКЕР-МЛ. (1937–2007) БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Хейуард Роуз Алкер-мл.¹ (Hayward Rose Alker, jr.) – выдающийся американский ученый-обществовед, внесший свой вклад в широкий спектр политических наук. В сферу интересов Х. Алкера входили вопросы теории политической науки и методологии социальных исследований, а также теоретические проблемы из области международных исследований, мировой политики и международной безопасности.

Родился Х. Алкер в 1937 г. в Нью-Йорке, а детство провел в городе Гринвич (штат Коннектикут). Там же он окончил школу – Брансуикскую школу для мальчиков, став ее первым выпускником-отличником [Lewis, 2007].

Получив в 1959 г. степень бакалавра математики в Массачусетском технологическом институте (MIT), Х. Алкер поступил в Йельский университет, где изучал политическую науку. В 1960 г. он получил степень магистра политологии, а в 1963 г. – степень доктора философии в области политологии. После этого он остался преподавать в Йеле и уже в возрасте 29 лет получил звание полного профессора. [Lewis, 2007].

Занимаясь вопросами применения математических методов в политологии, в середине 1960-х Алкер выпустил книгу «Мировая политика на Генеральной Ассамблее ООН» (в соавторстве с Брюсом Рассетом) [Alker, Russett, 1967], а также опубликовал монографию «Математика и политика» [Alker, 1965].

В 1968 г. он вернулся в Массачусетский технологический институт и преподавал там политологию вплоть до 1995 г. В этот период вышли в свет написанные им в соавторстве книги «Изучение коалиционного пове-

¹ В русскоязычной литературе сегодня отсутствует устоявшаяся традиция передачи на письме имени Хейуарда (Хейварда) Алкера (Олкера). Редакция ежегодника «МЕТОД» после консультаций с англоязычными коллегами, в том числе знавшими Х. Алкера лично, приняла решение отдать предпочтение варианту Хейуард Алкер как наиболее соответствующему реальному звучанию имени в американском английском. В настоящем издании, за исключением перепечатываемых материалов, используется именно такой вариант написания.

дения» [The study... 1970], «Всемирный справочник политических и социальных индикаторов» [World handbook... 1972], «Математические подходы к изучению политики» [Mathematical approaches... 1973] и «Анализ глобальной взаимозависимости» [Alker, Bloomfield, Choucri, 1974]. Также Х. Алкером был в то время опубликован целый ряд статей в журналах и сборниках [подробнее см.: Ильин, Фомин, б.г.]. В частности, вышли переведенные впоследствии на русский язык статьи, посвященные анализу повествований в общественных науках, – «Иисус Арнольда Тойнби» [Алкер, Ленерт, Шнайдер, 2013] и «Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории» [Олкер, 1987].

Хейуард Алкер активно участвовал в деятельности Ассоциации международных исследований, в 1992–1993 гг. был президентом этого научного объединения.

После ухода из MIT в 1995 г. он стал профессором Южно-Калифорнийского университета. В качестве приглашенного профессора работал также в Уппсальском университете, Стокгольмском университете, Брауновском университете и в Институте Санта-Фе (SFI) [Lewis, 2007].

В 1990–2000-х годах Алкер опубликовал книги «Вызов границам...» [Alker H. Challenging boundaries... 1996] и «Путешествие через конфликт...» [Alker, 2001]. Крупным вкладом в науку стал сборник его статей, посвященный методологическому обновлению науки и названный «Открывать и формулировать заново. Гуманистические методологии для международных исследований» [Alker H. Rediscoveries and reformulations... 1996].

Умер Хейуард Алкер 24 августа 2007 г. в возрасте 69 лет, оставив трех дочерей и шесть внуков. Супруга Х. Алкера – Дж. Энн Тикнер, профессор Южно-Калифорнийского университета, крупный ученый-международник, в 2006–2007 гг. была президентом Ассоциации международных исследований [Lewis, 2007].

*И. Фомин*¹

Литература

Алкер Х.Р., Ленерт В. Дж., Шнайдер Д.К. Иисус Арнольда Тойнби: Вычислительная герменевтика и непрерывная традиция классической средиземномоской цивилизации // Настоящее издание.

Ильин М.В., Фомин И.В. Избранная библиография Хейуарда Алкера // Настоящее издание.

Олкер Х.Р. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.: Прогресс, 1987. – С. 408–440.

Alker H.R. Challenging boundaries: Global flows, territorial identities / H.R. Alker. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1996. – 493 p.

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789; руководитель М.В. Ильин).

- Alker H.R.* Journeys through conflict: narratives and lessons. – Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 2001. – 462 p.
- Alker H.R.* Mathematics and politics. – N.Y.: Macmillan, 1965. – 152 p.
- Alker H.R., Bloomfield L.P., Choucri N.* Analyzing global interdependence. – Cambridge: Massachusetts institute of technology, Center for international studies, 1974. – Vol. 4. – vii, 192 p.
- Alker H.R., Russett B.M.* World politics in the General Assembly. – New Haven: Yale univ. press, 1967. – 326 p.
- Alker H.R.* Rediscoveries and reformulations: humanistic methodologies for international studies. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – 464 p.
- Lewis W.* In memoriam: Hayward Alker. – 2007. – August 1. – Mode of access: <http://dornsife.usc.edu/news/stories/390/in-memoriam-hayward-alker/> (Дата посещения: 20.02.2013.)
- Mathematical approaches to politics / K.W. Deutsch, A.H. Stoetzel, H.R. Alker (eds.). – Amsterdam: Elsevier scientific, 1973. – 475 p.
- The study of coalition behavior: theoretical perspectives and cases from four continents / S. Groennings, E.W. Kelley, M.A. Leiserson (eds.), H.R. Alker. – N.Y.: Rinehart and Winston, 1970. – 489 p.
- World handbook of political and social indicators / B.M. Russett, H.R. Alker, Jr., K.W. Deutsch, H. D. Lasswell (eds.). – New Haven: Yale univ. press, 1972. – xiv, 443 p.

ХЕЙУАРД РОУЗ АЛКЕР-МЛ. ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

На английском языке

- Alker H.R., jr.* A typology of ecological fallacies // Quantitative ecological analysis in the social sciences. – Cambridge: M.I.T. press, 1969. – P. 69–86.
- Alker H.R., jr., Bloomfield L.P., Choucri N.* Analyzing global interdependence. – Cambridge: Massachusetts institute of technology, Center for international studies, 1974. – 4 Vol.
- Alker H.R., jr.* Causal inference and political analysis // Mathematical applications in political science. – Dallas: SMU press, 1966. – 2. – P. 3–43.
- Alker H.R., jr.* Challenging boundaries: Global flows, territorial identities. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1996. – 493 p.
- Alker H.R., jr.* Designing information resources for transboundary conflict early warning networks // Digital formations: IT and new architectures in the global realm. – Princeton: Princeton univ. press, 2009. – P. 215–241.
- Alker H.R., jr.* Dimensions of conflict in the General Assembly // The American political science review. – Washington, DC, 1964. – Vol. 58, N 3. – P. 642–657.
- Alker H.R., jr.* Emancipation in the critical security studies project // Critical security studies and world politics. – L.: Lynne Rienner, 2005. – P. 189–214.
- Alker H.R., jr.* Emancipatory empiricism: Toward the renewal of empirical peace research // Peace research: Achievements and challenges. – L.: Westview, 1988. – P. 219–241.
- Alker H.R., jr., Christensen C.* From causal modeling to artificial intelligence: the evolution of a un peace-making simulation // Experimentation and simulation in political science. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1972. – P. 177–224.
- Alker H.R., jr.* From political cybernetics to global modeling // From national development to global community. – L.: Allan and Undwin, 1981. – P. 353–378.
- Alker H.R., jr., Bennett J., Mefford D.* Generalized precedent logics for resolving insecurity dilemmas // International interactions. – L., 1980. – Vol. 7, N 2. – P. 165–206.
- Alker H.R., jr.* If not Huntington's «Civilizations,» then whose? // Review (Fernand Braudel center). – Binghamton: Fernand Braudel center for the study of economics, historical systems, and civilizations, 1995. – Vol. 18, N 4. – P. 533–562.

- Alker H.R., jr., Russett B.M.* Indices for comparing inequality // *Comparing nations*. – New Haven: Yale univ. press, 1966. – P. 349–372.
- Hayashi C., Kuroda Y., Alker H.R., jr.* *Japanese culture in comparative perspective*. – Westport: Praeger, 1997. – 215 p.
- Alker H.R., jr.* *Journeys through conflict: narratives and lessons*. – Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 2001. – 462 p.
- Alker H.R., jr., Hosticka C., Mitchell M.* Jury selection as a biased social process // *Law and society review*. – Denver, 1976. – Vol. 11, N 1. – P. 9–41.
- Alker H.R., jr.* Logic, dialectics, politics: some recent controversies in dialectical logics for the political sciences // *Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities*. – Amsterdam: Rodopi, 1982. – Vol. 7. – P. 65–94.
- Mathematical approaches to politics / K.W. Deutsch, A.H. Stoetzel, H.R. Alker, jr. (eds.)*. – San Francisco: Jossey-Bass, 1973. – 475 p.
- Alker H.R., jr.* *Mathematics and politics*. – N.Y.: Macmillan, 1965. – 152 p.
- On measuring inequality / Alker H.R., jr., Russett B.M.* // *Behavioral science*. – Baltimore, 1964. – Vol. 9, N 3. – P. 207–218.
- Alker H.R., jr.* On securitization politics as contexted texts and talk // *Journal of international relations and development*. – Basingstoke, 2006. – Vol. 9, N 1. – P. 70–80.
- Alker H.R., jr.* Polimetrics: Its descriptive foundations // *Handbook of political science*. – Reading: Addison-Wesley, 1975. – Vol. 7. – P. 140–210.
- Alker H.R., jr.* Political methodology, old and new // *A new handbook of political science / R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.)*. – Oxford: Oxford univ. Press, 1996. – P. 787–799.
- Alker H.R., jr.* Rediscoveries and reformulations: humanistic methodologies for international studies. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – 464 p.
- Alker H.R., jr.* Rescuing «Reason» from the «Rationalists»: Reading Vico, Marx and Weber as Reflective Institutionalists // *Millennium: Journal of international studies*. – L., 1990. – Vol. 19, N 2. – P. 161–184.
- Alker H.R., jr.* Statistics and politics: The need for causal data analysis // *Politics and the social sciences*. – N.Y., Oxford univ. press, 1969. – P. 244–313.
- Alker H.R., jr.* The comparison of aggregate political and social data: potentialities and problems // *Social science information*. – L., 1966. – Vol. 5, N 3. – P. 63–80.
- Alker H.R., jr.* The dialectical logic of Thucydides' melian dialogue // *The American political science review*. – Baltimore, 1988. – P. 805–820.
- Alker H.R., jr., Biersteker T.J.* The dialectics of world order: notes for a future archeologist of international savoir faire // *International studies quarterly*. – Oxford, 1984. – P. 121–142.
- Schubert G., Alker H.R., jr., Zinnes D.* The evolution of political science: paradigms of physics, biology, and politics [with commentaries] // *Politics and the life sciences*. – DeKalb, 1983. – Vol. 1, N 2. – P. 97–124.
- Alker H.R., jr.* The humanistic moment in international studies: reflections on Machiavelli and Las Casas: 1992 presidential address // *International studies quarterly*. – Oxford, 1992. – Vol. 36, N 4. – P. 347–371.
- Alker H.R., jr.* The long road to international relations theory // *World politics*. – Cambridge, 1966. – Vol. 18. – P. 623–655.

- Alker H.R., jr., Biersteker T.* The powers and pathologies of networks insights from the political cybernetics of Karl W. Deutsch and Norbert Wiener // *European journal of international relations*. – L., 2011. – Vol. 17, N 2. – P. 351–378.
- The study of coalition behavior: theoretical perspectives and cases from four continents / S. Groennings, E.W. Kelley, M.A. Leiserson, H.R. Alker, jr.. – N.Y.: Rinehart and Winston, 1970. – 489 p.
- World handbook of political and social indicators / B.M. Russett, H.R. Alker, jr., K.W. Deutsch, H.D. Lasswell. – New Haven: Yale univ. press, 1972. – 373 p.
- Alker H.R., jr., Russett B.M.* World politics in the General Assembly. – New Haven: Yale univ. press, 1967. – 326 p.

На русском языке

- Олкер Х.Р.-мл.* Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // *Язык и моделирование социального взаимодействия*. – М.: Прогресс, 1987. – С. 408–440.
- Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В.Д., Шнайдер Д.К.* Иисус Арнольда Тойнби: Вычислительная герменевтика и непрерывная традиция классической средиземноморской цивилизации / Пер. с англ. П. Б. Паршина // *Полис*. – М., 2001. – № 6. – С. 65–96.
- Алкер Х.Р.-мл.* Политическая методология: вчера и сегодня // *Политическая наука: новые направления* / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – С. 766–778.
- Составили М. Ильин, И. Фомин*

В.М. Сергеев

**ХЕЙУАРД АЛКЕР-МЛ.
КАК ТЕОРЕТИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ**

Хейуард Алкер-мл. (1937–2007) стал одним из наиболее выдающихся представителей современной политической науки. Получив математическое образование в Массачусетском технологическом институте (MIT), он рано заинтересовался политическими проблемами. Целью всей его дальнейшей жизни стало превращение политической науки в то, что в США называют «hard science» – что можно перевести как «точное знание».

Став бакалавром MIT, он поступил в Йельский университет, где и получил магистерскую степень, а затем и Ph.D по политическим наукам. В тот период Алкером (совместно с Брюсом Рассетом) была опубликована книга, посвященная применению методов многомерной статистики к голосованиям в Генеральной Ассамблее ООН. Эта книга стала эталоном применения математических методов к политической науке, и ее широкая известность привела к избранию Х. Алкера вице-президентом Международной ассоциации политических наук. В 29 лет он стал полным профессором Массачусетского технологического института, что в США почти невозможное дело. Можно было бы ожидать, что этот первый успех и определит дальнейшее направление его деятельности. Но этого не случилось. Заинтересовавшись анализом событий, Х. Алкер опубликовал ряд статей, содержащих радикально новые идеи относительно того, как следует анализировать политические акции. Для этого он стал применять только что вошедшие в научный оборот идеи когнитивной науки и искусственного интеллекта.

Основным методом работы с событиями Х. Алкер сделал методы представления знаний, которые активно разрабатывались в тот период группой ученых во главе с Р. Абельсоном, пытавшихся строить модели политического мышления.

Идея оказалась исключительно плодотворной, и в течение следующих лет Х. Алкер исследовал «дилемму заключенного», опираясь на описания участников игры, содержащие интерпретацию их собственных действий. Этот анализ служил чем-то вроде простейшей модели того, что

можно понимать под «политическим действием». В процессе работы он создал в МІТ группу сотрудников, активно занимавшихся развитием его идей.

В середине 80-х годов Х. Алкер опубликовал серию статей, в которых прокламировал новый «гуманистический» подход к социальным наукам, основанный на идее герменевтики. Одной из центральных проблем в этом подходе была попытка понять, почему одни тексты воздействуют на сознание людей существенно сильнее, чем другие. В частности, с этой целью Х. Алкер в сотрудничестве с В. Леннерт и Д. Шнайдером предпринял фундаментальные исследования евангельских текстов. Это привело его к идее «вирусов», содержащихся в текстах и получивших чрезвычайно широкое распространение. В частности, для евангельского текста он предпринял попытку выделить такой «вирус», т.е. сжать сюжет до некоего минимального значения, сохранявшего притягательность. Нельзя сказать, что этот цикл работ Х. Алкера встретил полное понимание в американском сообществе политической науки. Алкер, по-видимому, очень сильно опередил свое время. Тем не менее он пользовался высочайшей профессиональной репутацией, и в 1991 г. на конференции Ассоциации международных исследований, объединяющей широкий круг исследователей международных отношений, он был избран президентом Ассоциации.

В конце 1990-х годов Х. Алкер покинул МІТ, что произошло во многом в связи с отсутствием взаимопонимания с коллегами. По словам самого Алкера, в этот момент политические науки в МІТ были на уровне «второсортного Гарварда». Он переехал в Калифорнию, где стал профессором Южно-Калифорнийского университета, и оставался им до конца жизни. Его многочисленные ученики рассеялись по американским университетам.

Оценивая деятельность Х. Алкера в целом, можно назвать его жизнь в определенной степени трагической. Приобретая в молодости исключительно высокую профессиональную репутацию, добившись почетного положения внутри американской политической науки, Алкер во вторую половину жизни жаловался на непонимание со стороны коллег, которые попросту не дотягивались до тонкостей используемого им аппарата. Именно в связи с этим Алкер во второй половине жизни испытывал определенные трудности с публикацией статей, огромное количество которых было напечатано в «непрофильных» для политической науки журналах.

В 1996 г. Алкер опубликовал свою вторую книгу в исключительно престижном издательстве Кембриджского университета. Эта книга представляла собой по существу сборник его статей, написанных в 80–90-е годы. Идеи Алкера очень сильно повлияли на исследования в области международных отношений, оставив равнодушными большинство членов американской Ассоциации политических наук. Именно под его влиянием в значительной степени сформировалось течение «конструктивизма», возобладавшее среди членов Ассоциации международных исследований в противовес политическому реализму. Это течение явно доминировало

среди членов Ассоциации международных отношений во второй половине 90-х годов.

В центре методологии, предложенной Алкером, находился «рефлексивизм» – т.е. попытка посмотреть на теорию международных отношений как на взаимодействие разумов участвующих в них политиков. Такой подход естественно вел Алкера к глубокому анализу политической культуры, и именно это определяло его отношение к наиболее известным социальным философам и исследователям. Особенно ясно это проявилось в одной из его статей – «Спасая “разум” от “рационалистов”: читая Вико, Маркса и Вебера как рефлексивных институционалистов», – напечатанной в его кембриджской книге, имевшей очень характерное название, трудно переводимое на русский язык, – «Rediscoveries and reformulations» – «Открытия заново и переформулировки», с подзаголовком «Гуманистические методологии для международных исследований». Алкер оказал огромное влияние на исследования международных отношений не столько через прямое применение предложенных им методов, сколько через постоянное внедрение инновативного подхода, воплощая собой «дух инноваций».

Необходимо сказать несколько слов о чисто человеческих качествах Хейуарда Алкера. Трудно было найти профессора, который бы с такой любовью относился к студентам и ученикам, так остро реагировал на любую инновативную мысль, предложенную коллегами, так чутко откликался на их просьбы. Зная Алкера и поддерживая с ним тесные дружеские отношения на протяжении 28 лет, я уверен, что его идеи еще будут остро востребованы не только в области исследования международных отношений, но и в социальной науке в целом, одним из самых блестящих представителей которой он был.

А.П. Цыганков

ВСТРЕЧИ С АЛКЕРОМ

Хейуард Алкер или просто Хейуард, как называли его коллеги и студенты-докторанты, останется в памяти исследователей-международников по многим причинам. Скажу лишь о некоторых его запомнившихся мне качествах, не претендуя на создание всеобъемлющего портрета этого чрезвычайно многогранного человека.

Во-первых, были уникальны его познания, способность вести беседу и даже публиковаться в самых разных областях общественного знания: от античной политической теории до построения компьютерных моделей искусственного интеллекта и современной интеллектуальной истории. Не будет преувеличением сказать, что с его уходом в западном мире международников не осталось людей, столь начитанных и широко образованных.

Начав свое образование со статистики и математики в Массачусетском институте технологии, Хейуард вскоре заинтересовался общественными дисциплинами и быстро выдвинулся в число наиболее молодых и перспективных специалистов-международников, начав свое преподавание в престижном Йельском университете в то время, как многие его сверстники еще только начинали учебу в докторантуре. Однако молодого профессора никогда не интересовала карьера во имя карьеры. Вопросы, которые он задавал, и книги, до которых дотягивался, заставили его двинуться в совершенно новом направлении. Уже в конце 1970-х, задолго до так называемого постструктуралистского поворота в теории международных отношений, Хейуард с небольшой группой соавторов писал и преподавал то, что предвосхитило и во многом подготовило возникновение критического направления в западной дисциплине обществоведов-международников. Во многом поэтому он постепенно отошел от мейнстрима и воспринимался многими его представителями как чужак, но зато он навсегда закрепил за собой авторитет настоящего ученого, которого интересовало развитие мысли, прежде всего, и во всех ее проявлениях.

Во-вторых, в мире обществоведов нечасто можно встретить людей, обладающих столь мощным потоком спонтанной позитивной энергии и столь впечатляющим, непонятно откуда взявшимся желанием убедить,

отспорить и просветить. Один из учеников Хейуарда метко охарактеризовал его как стихийное явление, действовавшее вопреки всему, подобно буре или наводнению. Где бы он ни появлялся, он сразу заставлял окружающих слушать себя. По своему опыту могу сказать, что не только занятия с ним, но и личные встречи были огромным источником познаний и интеллектуальной энергии. Уже в первые десять минут, как правило, длительных разговоров я хватался ручку, жадно стремясь как-то записать, зафиксировать или набросать извилистые повороты его мысли. Его манера объяснять захватывала, почти гипнотизировала. Постоянное жестикулирование, громкая, саркастическая речь с нередким прибавлением крепких эпитетов и выражений изумляли и завораживали: «Разве так можно говорить о скучных обществоведческих реалиях?». Если я был приглашен на университетскую вечеринку с участием Хейуарда, то, приближаясь, как правило, слышал его голос издали, выделяя его из всех остальных. Если приходилось быть участником семинара, в числе слушателей которого был и Хейуард, то обязательно хотелось знать его мнение, будучи уверенным, что он не отмолчится, будет как всегда эмоционален и скажет все, что думает.

В-третьих, Хейуард обожал помогать своим ученикам, коллегам и вообще всем, кто советовался с ним. Его авторитет в мире международных был огромен, часто непререкаем, и любая просьба с его стороны встречала понимание и поддержку. Хейуард обожал путешествовать и объехал весь мир, везде оставляя учеников и последователей, которых заражал своей страстью и интеллектом. Вообще, учениками он считал не только тех, кто учился у него в классах, но и тех, на кого сумел как-то повлиять – через своих учеников и личное знакомство и беседы. В карьере учеников он принимал самое непосредственное участие – писал бесконечные рекомендательные письма (причем никогда, как было известно, они не были отпиской), звонил и убеждал потенциальных работодателей взять на работу его студента, а также постоянно советовался с учениками, заражал их идеями совместных публикаций и проектов. Несмотря на его занятость – а Хейуард вел полную и насыщенную жизнь отца троих детей, певчего в хоре, прихожанина в церкви квакеров, – можно без преувеличения сказать, что он жил студентами, относясь к ним по-своему тактично и уважительно. По-своему, потому что не придавал значения манерам (вполне мог в спешке не поздороваться или делал это сквозь зубы и бегом), и потому, что знал и видел чрезвычайно много, сразу улавливая направление мысли студента и, как никто, имея возможность повлиять на него. Опять-таки, исходя из своего опыта, могу сказать, что при всей своей прозорливости он никогда не давил авторитетом, а лишь стремился предоставить студенту весь набор доступной и известной ему аргументации. Он хотел не того, чтобы с ним соглашались, а того, чтобы диссертация или статья его студента была аргументирована максимально качественно.

Лично его интересовала любая теория, если она была нестандартно сформулирована и подкреплена оригинальными данными.

Мое знакомство с Хейуардом Алкером началось осенью 1995 г. в университете Южной Калифорнии, на официальном приеме по случаю нового класса докторантов. Ко времени моего прибытия в Лос-Анджелес для учебы в USC (University of Southern California) Алкер и его жена Энн Тикнер уже несколько лет преподавали в Департаменте международных отношений, где мне предстояло учиться. Энн преподавала основной курс по теории международных отношений осенью, а Хейуард принимал ее эстафету весной. Помню как всегда шумное присутствие Хейуарда, активно знакомящегося с каждым докторантом во время общения группами и допытывавшегося у нас о том, что мы читали и чем бы мы хотели заниматься в программе. Являясь активным сторонником научных методов в международных отношениях, Хейуард, едва познакомившись со мной, с восторгом представил мне одну из наших студенток-стажеров. Предметом его восторга было то, что студентка прибыла в USC со степенью магистра по математике. Хотя я слышал об Алкере и раньше, я подумал тогда, что мой новый знакомый профессор – вероятно, типичный сторонник количественных методик и подходов. Однако в личном разговоре он сразу же проявил неподдельный интерес и солидные познания в области западной и российской истории и политики, совершенно сбив меня с толку. Никакой классификации Хейуард не поддавался, и я смог лучше понять его как ученого и человека лишь в ходе учебы в его курсе, посвященном современным направлениям теории международных отношений.

Среди студентов-докторантов о курсе Хейуарда было немало совершенно противоречащих друг другу слухов. Говорили, например, что у него нет никакой системы преподавания, а все построено на импровизациях, связанных с его гигантскими познаниями. Это пугало, поскольку было очевидно, что угнаться за ним не будет никакой возможности, а также непонятно было, какую он нам симпровизирует оценку. Другие утверждали, что Алкер привержен строгости логического мышления и потому будет, прежде всего, требовать от нас четкости формулировок в выступлениях и письменных работах. Я с некоторой тоской ожидал продолжения уже наскучивших тем западной теории международных отношений, с которыми познакомился в курсе Энн Тикнер, – реализм, неореализм, либерализм, неолиберализм и много других разных «нео», непонятно как соотносящихся с интересовавшими меня реалиями российского и евразийского развития. Понимая, что западную теорию знать было необходимо, я все же склонялся к тому, что примерять ее к нашим проблемам означало нечто близкое к примерке седла на корову.

К счастью, курс Алкера сразу же опрокинул все наши представления и опасения. Система в курсе была, и достаточно четкой. Читать и готовиться приходилось гораздо больше, чем в других курсах, причем материал казался гораздо более разрозненным и разнообразным. Каждую неделю

делались доклады на казавшиеся несвязанными друг с другом темы по рекомендованным Хейуардом книгам, опубликованным на английском языке, но отнюдь не только англоязычными авторами. Мне, например, достался доклад по книге «Мир и война» французского социолога Р. Арона. Вся несвязанность и разрозненность материала устранялась в процессе совместного обсуждения, в ходе которого Хейуард атаковал нас, чрезвычайно напористо требуя не только знания основной аргументации прочитанного, но и его нетривиальной интерпретации в незнакомых доселе контекстах. Мозги плавилась, Хейуард яростно жестикулировал и, не скупясь на похвалы и ругательства, вбивал в наши (и свою) головы искусство импровизации и нетрадиционного понимания западного мышления о мире. Все прежде прочитанные нами авторы виделись теперь совершенно в ином свете, а амбиции западного разума на универсальность, истину и пр. представлялись необоснованно претенциозными и даже просто смехотворными.

Дело в том, что Хейуарда интересовала западная теория международных отношений не как универсальное, а как локальное явление и проявление западного мышления о мировом порядке. В отличие от подавляющего большинства своих американских коллег, он преподавал и исследовал международные отношения в глобальном контексте, с полной серьезностью относясь к изучению культурно-философских оснований знаний о мире за пределами западного мира. Под теорией международных отношений Хейуард понимал систему аналитических и культурно укорененных представлений и размышлений о мире, включая в сферу своих интересов не только западные, но и мусульманские, православные и иные системы представлений о мировом порядке. Так называемая интеллектуальная гегемония Запада представлялась ему феноменом прежде всего политико-экономическим, и он был очень далек от хорошо знакомых миру стремлений западных обществоведов научить других, как «правильно» думать.

В курсе Алкера началось мое близкое знакомство с популярной впоследствии теорией столкновения цивилизаций Сэмюэла Хантингтона. Алкер не только отнесся к теории со всей серьезностью, но и заставил нас изучить вопрос ее восприятия в различных культурных контекстах – тех самых, которые Хантингтон представлял в виде относительно сложившихся цивилизаций. Считая идею столкновения цивилизаций опасно этноцентричной, Алкер надеялся показать, что и в незападных контекстах есть немало тех, кто относится к ней критически и поддерживает идеи глобального общества как диалектического взаимообогащения культур и цивилизаций. Хотя на том этапе проект Хейуарда не реализовался, позднее он не раз возвращался к попыткам осмыслить мировой порядок не через призму западного разума, а на основе кросскультурного обсуждения главных тем современности. Список этих тем был гораздо шире тех, что интересовали и интересуют западный мейнстрим, и включал в себя народ-

ные войны, отношения национального и интернационального, культурное восприятие глобализации, борьбу с империализмом и технологическим детерминизмом, экономические основания государственного суверенитета и региональной самодостаточности. Насколько мне известно, книга о 12 основных дебатах о мировом порядке на протяжении последних 150 лет готовится сейчас к печати учениками Хейуарда. Ее основные идеи были высказаны Алкером в докладах конца 1990-х – начала 2000-х годов, сделанных в Европе, Азии и России¹.

Хотя Хейуарда ни в коем случае нельзя причислить к специалистам по России, его чрезвычайно интересовало развитие международных отношений в России – он поддерживал активные связи с МГИМО, выступал на российских конгрессах и даже помогал российским исследователям в осуществлении их проектов и идей. Идеи Алкера должны быть созвучны российскому сообществу международных, которое во многом только формируется после засилья сначала официального марксизма, а затем периода так называемого «подключения к западной цивилизации». Из многочисленных уроков Алкера для международных я бы выделил три взаимосвязанные и особенно важные для России идеи.

Во-первых, это идея плюрализма мировых порядков и социоментальных систем о мире, которые непросто сопоставить друг с другом. Непросто потому, что каждая из этих систем выросла из своего собственного культурного и эпистемологического контекста и обладает собственными незримыми и требующими к себе уважения границами социального познания.

Во-вторых, это идея диалектики научного роста или аккумуляции познания (knowledge cumulation), как любил говорить Хейуард. Он был убежден в том, что задача международных не сводится к изучению ментальных систем мирового порядка как относительно замкнутых в себе. Наоборот, мы обязаны постоянно сопоставлять эти системы друг с другом, стимулируя совместные глобальные проекты с обсуждением подлинно глобальных тем. Как жаль, что в век американской «однополярности», пусть даже уходящей, таких проектов чрезвычайно мало! Сопоставление различных проектов миропорядка необходимо для выявления точек возможного научного роста, а затем – на его основе – сохранения и упрочения мира и стабильности в глобальном сообществе. Диалектика и столкновение идей в процессе их обсуждения виделись Хейуарду способом предотвращения пресловутого «столкновения цивилизаций».

В-третьих, Алкер являлся сторонником не только научных, но и гуманистических принципов социального познания. Его гуманизм требовал не только независимости, отстраненности исследователя от изучаемого им материала, но и четкого понимания нашей погруженности в социальную

¹ См., в частности: [Twelve world order debates, б.г.]. См. также новую книгу об Алкере, подготовленную в основном его учениками: [Alker... 2012].

реальность. Такая погруженность не только не позволяет нам полностью освободиться от влияния социального контекста, но и предполагает, по мере возможности, нашу способность влиять на мир. Влиять не столько в Марксовом смысле отыскания класса – носителя революционных перемен, сколько в смысле додумывания наших теорий до их практических импликаций, этических императивов и политических рекомендаций. Сам Хейуард никогда не скрывал своих убеждений, обожал споры, при этом хорошо понимая и уважая аргументацию противоположной стороны.

Возможно, не будет очень большим преувеличением сказать, что для российских международников идеи Алкера представляют собой не использованную еще возможность выстроить здание международной теории на национально-культурных основаниях, не противопоставляя ее развитию знаний о мире в его остальных частях. Осознание Россией самостоятельности своих политико-экономических, исторических и культурных ценностей не должно означать, что у нее нет общих ценностей с другими странами и регионами: в трансконтинентальной стране, какой является Россия, западничество может сочетаться и даже органически соединяться с плодотворным сотрудничеством с другими частями мировой системы. Россия может сближаться как с Западом, так и Востоком, оставаясь при этом Россией. Цивилизации или образы мирового порядка не только конкурируют, но и пересекаются, и активно взаимодействуют друг с другом. У России как страны, находящейся на географическом пересечении Запада, Востока и Азии, имеются особые возможности для диалога с другими. В каких-то аспектах России будет легче находить общий язык с одними странами, а в каких-то – с другими. Например, в вопросах прав человека и либеральной демократии трения с западными странами будут неизбежны, но у России есть немало общего с Западом с точки зрения общей истории, культуры и стремления создавать ответственное государство. Подобного рода ценностные иерархии следует выстраивать и в отношениях с другими странами. В целом мир ценностей будет напоминать не хантингтоновскую картину столкновения цивилизаций, а сложную картину их взаимопересечения и иерархического взаимодействия.

Надеюсь, что уроки Алкера не останутся невыученными российским сообществом международников. Этому сообществу предстоит освоить и переработать сообразно времени значительный массив русской мысли и размышлений о мире, которые вполне укладываются в широкое понимание теории международных отношений Хейуарда Алкера. Способствуя развитию глобального плюралистического сообщества международников, Алкер тем самым внес неоцененный пока в полной мере вклад и в развитие российской международной теории.

Литература

- Twelve world order debates which have made our days / Alker H.R., jr., Amin T., Biersteker T., Inoguchi T. – S.l., S.a. – Mode of access: <http://www.webcitation.org/6I6dNYiCs> (Дата посещения: 14.07.2013.)
- Alker and IR: global studies in an interconnected world / R. Marlin-Bennett (ed.). – L.: Routledge, 2012. – 224 p.

М.В. Ильин

ОВЛАДЕНИЕ МАСШТАБОМ¹

Первую встречу с Хейуардом помню очень отчетливо, хотя не помню, где и когда. Было это, кажется, на какой-то из встреч концептологов еще в 90-е годы. Тогда же я встретился и с Бьерном Виттроком – тоже очень широким по своим интересам и очень глубоким ученым. Отчетливо вспоминаю, как мы стояли втроем, обсуждали возможности аналитического и исторического анализа концептов. Вспомнили и общего знакомого – Витю Сергеева. И обсуждение весьма отвлеченных методологических проблем как-то сразу стало очень близким и дружеским, почти «семейным».

Хейуард сразу произвел на меня сильнейшее впечатление широтой и неожиданностью суждений. Однако по-настоящему мне удалось узнать Хейуарда немного позднее, на XX Всемирном конгрессе в Квебек-сити в 2000 г. Мы столкнулись с ним на каком-то заседании или даже в коридоре. Возможности поговорить не было, так что решили встретиться за ужином. Хейуард предложил мне и моей жене Елене Юрьевне Мелешкиной зайти в какой-то маленький ресторанчик с ближневосточной кухней, кажется, марокканской. Хейуард расспрашивал Лену о ее исследованиях и научных интересах. И тут же в ответ сообщил массу интересного и неизвестного мне из социологии, электоральных исследований и моделирования политических процессов. Вспомнил, например, об интересе к математическому моделированию своего научного патрона Карла Дойча и о своей первой книжке относительно приложения математических методов в политических исследованиях [Alker, 1965]. Упомянул мимоходом, как о частной детали, хотя эта написанная им фактически в аспирантские годы книга знаменовала поворот к математизации политической науки.

А когда мы помянули в ответ знаменитый справочник политических индикаторов [World handbook... 1964] и сообщили заодно, что уже создали Московский роккановский центр, то начал вспоминать, как им с Брюсом

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789; руководитель М.В. Ильин).

(Рассеттом) и Стейном (Рокканом) по молодости было весело создавать «все эти скучнейшие базы данных».

Ужин затянулся, а потом перешел в прогулку. Разговор прихотливо менял курс от обсуждения достоинства экзотических кухонь и пищевых обычаев к различным аспектам науки – не только политической, затем к путешествиям по городам и странам, потом к общим знакомым, наконец, к философским и даже религиозным сюжетам. Было удивительно интересно. И чувствовалось, что Хейуарду тоже было интересно с нами. Мы тоже многое ему рассказали. Среди упомянутых мною вещей была идея создания многоязычного журнала «Космополис». Мы в «Полисе» выпустили к тому времени два ежегодника с помощью МГИМО, но сил и средств на журнал не хватало. Да и нас завершался грант Фонда Форда, который позволял журналу не только выживать, но и «субсидировать» подписчиков благодаря подписной цене ниже себестоимости. И это невзначай брошенное замечание получило неожиданное для меня продолжение.

Грант

Года через полтора я получил от Хейуарда письмо по электронной почте. Он написал, что у него есть доставшиеся в наследство средства, которые бы он хотел использовать для поддержки «Полиса» и его новых проектов, включая создание «Космополиса». Этот небольшой грант не будет ограничивать журнал в выборе конкретных проектов, но несколько облегчит свободу маневра финансовыми средствами. А потом пришло и официальное грантовое письмо по почте. Деньги действительно были большие – порядка 1–2 тыс. долл. в квартал, – но крайне важные. Они действительно позволяли немного потратить то на зарплаты, когда эта статья бюджета совсем уж ужималась, то на типографию, когда не оставалось денег на эти затраты, то на редактирование первых статей для «Космополиса» или на разработку дизайна его обложки и оформления (вскоре заботы о нем взял на себя МГИМО). Это была палочка-выручалочка, которая помогала нам в течение трех, кажется, лет. И мне лично Хейуард сделал подарок – из тех же средств оплатил трехлетнее членство в Ассоциации международных исследований (ISA), что включало подписку на ежеквартальник международных исследований и на ежегодник ассоциации. Они сейчас в Центре перспективных методологий в ИНИОНе. Коллеги могут ими пользоваться, как и другой периодикой и литературой, что мы накапливаем там. Заходите.

Я вспоминаю об этом обычном для Хейуарда деле (мне известно о еще нескольких подобных примерах, включая поддержку виртуальной мастерской В.М. Сергеева по когнитивному моделированию) не только в благодарность за него. Для меня это еще и свидетельство его человеческой широты, готовности поддержать и деньгами, и делом, и мыслью любые

затеи, которые ему казались ценными и важными. В этом американец Алкер оказывался вполне русским всечеловеком или космополитом в духе Канта, способным воспринимать повседневность со всемирно-гражданской (*weltbürgerliche*) точки зрения. Наши заботы он воспринял как свои, понимая культурную и историческую значимость полисовского проекта – не для России только, но для мира.

Должен признать, что помощь Хэйуарда лично для меня ощущается как очень родной и человеческий жест даже на фоне более значительных по суммам вкладов в развитие отечественной науки иностранных коллег – прямо или через различные фонды. Вообще, должен заметить, что от наших российских политиков, начальников и публицистов немало слышится слов о ценности науки и образования. Однако наших собственных российских денег или помощи ни для «Полиса», ни для РАПН, ни для Московского роккановского центра не видно – разве что от РГНФ. А вот не раз заклеимленный «патриотами» и «государственниками» Фонд Сороса дважды буквально спасал «Полис», когда в результате банкротства одного банка, а затем и другого журнал лишился собранных подпиской средств. И это не единственный пример, когда инициативы коллег по развитию политической науки и образования в нашем Отечестве получали поддержку друзей из-за рубежа. Они руководствовались не тем, чтобы «помочь своим» или «оказать влияние», а вполне естественным для современных людей пониманием того, что развитие науки и культуры в одной части планеты обогащает в конечном счете всех нас. Хэйуард никогда таких высоких слов не произносил, но на деле проявил себя большим российским патриотом, чем иные самозванцы. Он просто действовал ради приращения знания и культуры без оглядки на границы и корпоративную принадлежность.

Последняя встреча

Очень отчетливо запомнил нашу с Хэйуардом встречу на стамбульском конвенте Всемирного комитета по международным исследованиям летом 2005 г. Возможно, мы где-то еще бегло пересеклись и после этого, однако именно ее я воспринимаю как последнюю встречу. Были обычные для подобных мероприятий разговоры и дискуссии. Зашел Алкер и на наш с двумя Андрееми – Кортуновым и Мельвилем – «круглый стол» о значении постсоветских трансформаций для мира и мировой динамики для постсоветских трансформаций. Потом мы несколько раз встречались и беседовали «под горой» в университете Билги (в переводе «Знание» – частный университет с преподаванием многих программ на английском языке), где и проходили заседания. Один раз вместе прогулялись в расположенном неподалеку «на горе» саду Гизи рядом с площадью Таксим. В том самом, где молодежь недавно протестовала против разрушения этого сада, памятников,

исламизации и политического насилия. Обсуждали идею соотнесения («соединения») времен и пространств разного масштаба [Ильин, 1997]. А также «уловку» – взглянуть на нынешние дела из отдаленного будущего, как если бы делалась реконструкция «археологии сегодняшнего дня». Хейуард еще за несколько лет до этого опубликовал вместе с Томом Бирстекером статью об археологии нынешней «сметливости», или *savoir-faire*¹, дословно «знать-делать» – молчаливого знания того, как жить и действовать [Alker, Bierstecker, 1984]. А я, в свою очередь, рассказал Хейуарду о своих попытках расширить масштаб и посмотреть на нынешнюю глобализацию из века так XXIII как на срединный момент между ним и концом XV столетия, когда только началась модернизация, пошло книгопечатание, открыли Америку... И о подготовке Конвента Российской ассоциации международных исследований на тему «Пространство и время в мировой политике», которую мы с Андреем Мельвилем придумали для того, чтобы обсудить как раз такие подходы.

Особенно запомнилась последняя встреча не учеными разговорами, а несколькими фразами и взглядами во время прогулки на кораблике по Босфору в последний день конференции. Это был как раз мой день рождения. Настроение у меня было, мягко говоря, неважное, накопился груз проблем от экзистенциальных до житейских, было страшно одиноко. Друзья – Андрей Мельвиль, Витя и Марина Сергеевы, Марина и Володя Лебедевы – меня всячески развлекали. Я им подыгрывал. Но потом на пару минут отошел в сторону и стал смотреть на волны. Ко мне подошел Хейуард, положил руку на плечо и сказал: «Всяко бывает, Миша, но не забывай, есть люди, которые тебя любят». Потом молча постоял рядом пару минут и добавил: «И это самое главное. Раздели любовь с ними». И тихо отошел в сторону, чтобы не мешать. А я почувствовал, как одиночество отступает.

Масштаб личности

Таким я запомнил Хейуарда Алкера. У него было огромное множество друзей. Для многих он сделал и значил, возможно, куда больше. Однако для всех нас, его друзей и коллег, а также для тех, кому не повезло близко общаться с ним или даже узнать лично, для нынешних студентов, например, Алкер останется интересен и значим как человек, который научился управляться с масштабом и управлять масштабом своих дел. Он сумел показать это умение на примере. Он смог соединять внимание к деталям с ее видением в многовековой перспективе или в ретроспективе. Он видел, как работа коллег на маленькой делянке становится частью общего

¹ Это очень точное французское выражение, вошедшее без перевода в английский язык, хорошо бы принять и нам, хотя бы в форме «знать, как жить».

стремления «возделывать свой сад» (*faut cultiver son jardin*) по Панглосу, Вольтеру и Яну-Амосу Коменскому. И скучнейшее собрание баз данных органично радостно воспринимал как вполне естественное участие во всемирном приращении знаний (*advancement of learning*) уже по Френсису Бэкону.

Чтобы овладеть масштабом, нужно немало. И самое главное условие – это масштаб личности. Однако этот масштаб только и может возникнуть в неустанных усилиях управляться с разномасштабными делами. Будем учиться этому искусству у Хейуарда Алкера.

Литература

- Alker H.R., jr.* Mathematics and politics. – N.Y.: Macmillan, 1965. – 152 p.
- Alker H.R., jr., Biersteker T.J.* The dialectics of world order: notes for a future archeologist of international savoir faire // *International studies quarterly*. – Oxford, 1984. – С. 121–142.
- World handbook of political and social indicators / В.М. Russett, H.R. Alker, jr., K.W. Deutsch, H. D. Lasswell. – New Haven: Yale univ. press, 1972. – 373 p.
- Ильин М.В.* Геохронополитика – соединение времен и пространств // *Вестник Московского ун-та. Сер. 12. Политические науки*. – М., 1997. – С. 28–44.

Алкер Х.Р.-мл.
**ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ¹**

§ 1. Комплекс неполноценности политической методологии

Хотя многие специалисты в области политической методологии ныне достигли материального благополучия на кафедрах политологических факультетов, порой их начинает одолевать некая тревога, определить причину которой непросто. Отчасти снedaющее их беспокойство можно объяснить критикой в адрес выдвигаемых ими научных притязаний, особенно в отношении не поддающихся гносеологической и онтологической проверке предпосылок, из которых они исходят. В результате специалисты по политической методологии либо занимают оборонительные позиции, стремясь отстоять свои убеждения, либо с негодованием выступают против интеллектуальных источников критицизма, который называют по-разному: «интерпретационным», «конструктивистским», «постструктуралистским», «постпозитивистским» или «постмодернистским». В беседах со своими более восприимчивыми коллегами специалисты по политической методологии с обоснованной гордостью рассказывают о последних скромных достижениях в области технических приемов исследований, которые в основном носят статистический характер. Бывает, правда, что среди коллег-методологов они иногда досадуют на ощущение некоторой дисциплинарной неполноценности. Поэтому, как мне представляется – ниже я попытаюсь обосновать свою точку зрения, – их тревогу можно было бы определить как «отсутствие дисциплинарной аутентичности».

¹ Alker H.R., jr. Political methodology, old and new // A new handbook of political science / ed. by Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann. – Oxford: Oxford univ. press, 1996. – P. 787–799.

Перевод печатается по: Алкер Х.Р. Политическая методология: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – С. 766–778.

Метафорическое отвращение К. Ахена, которое он испытывал, присутствуя на «распродаже» товаров, предлагаемых методологами других дисциплин [Achen, 1983], видимо, не осталось без сочувствия¹, что заставило меня усомниться в только что поставленном диагнозе. Складывается впечатление, что представители других дисциплин не хотят покупать предложенные нами продукты даже в тех случаях, когда в целях быстрой «распродажи» их цена сильно занижена и они не облагаются налогом. Ахен справедливо задает вопрос о том, кто придет на эту устраиваемую политической методологией «распродажу», если заранее известно, что на ней можно найти лишь подержанные, переделанные инструменты, которые в свое время были созданы методологами других дисциплин для решения важнейших стоявших в свое время перед ними проблем².

Л. Бартелз и Г. Брейди в своем очень компетентном, но чересчур безапелляционном обзоре политической методологии, разрабатывающей количественные методы исследования, вновь выразили это ощущение отсутствия аутентичности, своего рода дисциплинарной неполноценности этой науки [Bartels, Brady, 1993]. Однако, как это ни парадоксально, одновременно эти авторы косвенно предложили выход из сложившегося положения. В ответ на утверждения Ахена [Achen, 1983, p. 69] они заявили о том, что существует новое, пока еще весьма скромное направление разработки оригинальных продуктов, которые мы, политические методологи, можем теперь продавать в наших собственных, хотя еще и небольших магазинчиках: «Пока специалисты в области политической методологии все еще “не сделали ничего, отдаленно сопоставимого” с изобретением факторного анализа в психометрии или методов структурного уравнения в эконометрии... они изобрели, приспособили или усовершенствовали разнообразные полезные технические приемы для применения событийного счета... пространственных моделей... квазиопросов общественного мнения... моделей ложных определений... изменения параметров... совокупных данных... избирательных предубеждений... произвольных ошибок при измерениях... пропавших данных... и анализа данных динамического ряда...» [Bartels, Brady, 1993, p. 121].

Технология системы уравнений была и остается замечательным способом решения вопросов, связанных со сложными проблемами оценки отношений одновременного оперативного спроса и предложения. Многофакторный анализ позволил эмпирически определить и измерить непо-

¹ Так, Дж. Джексон, подобно Г. Кингу, Л. Бартелзу и Г. Брейди, выражает большое беспокойство по поводу тех возможностей, которые не были использованы, и тех путей, которые не были пройдены [Jackson, 1998; King, 1991; Bartels, Brady, 1993].

² Подходя к проблеме с качественных позиций, к списку заимствованных приемов вполне можно прибавить воображаемое использование логических инструментов – булевой алгебры, развитой и применяемой при количественном социологическом анализе, небольших выборок социальных или политических единиц, о чем пишут Ч. Рейджин, Д. Берг-Шлоссер и Ж. Де Мер [Ragin, 1996].

средственно не проявляющиеся, *многочисленные* отличительные параметры человеческого интеллекта – центральной проблемы, связанной с обеспечением научной и общественной поддержки, необходимой для статистически регулируемого психологического исследования человеческих способностей. Тем не менее основной смысл той информации, которую потребители, к сожалению, скорее всего, почерпнут из разностороннего перечня Бартелза и Брейди, сведется к тому, что новые продукты политической методологии все еще серьезно страдают отсутствием основополагающих отличительных особенностей, связанных с характером самой дисциплины. Рекламная кампания, «организованная самими политическими методологами», вряд ли поможет им продать свой товар.

Немалая часть этого беспокойства, как представляется, связана с отсутствием ясности в вопросе, касающемся определений: как следовало бы обозначить и смоделировать ту субстанцию политического феномена, с которой они постоянно работают? Так, Бартелз и Брейди в том же обзоре признают, что «по иронии судьбы, когда политические методологи приобрели более серьезный опыт, у них стало возникать все больше вопросов, связанных с фундаментальными проблемами нечеткости определений» [Bartels, Brady, 1993, p. 140]. После этого они перечисляют некоторые из упоминавшихся выше инструментов, изобретенных эконометристами, психометристами и специалистами в области статистики – «комплексные системы уравнений, факторный анализ и ковариантные структурные модели», – и пишут, что применение этих методов «получает все более широкое распространение в различных областях политической науки...». Основываясь на такой интерпретации, авторы в заключение отмечают, что в качестве побочного эффекта существующей сложности существенно возрастают «трудности, связанные с произвольностью суждений при решении вопроса определений», которые обусловлены применением таких инструментов [Bartels, Brady, 1993, p. 140].

Представляется, что предложенный Бартелзом и Брейди длинный перечень усовершенствованных инструментальных приемов от событийного счета до анализа данных динамического ряда не вполне явно связан с фундаментальными проблемами нашей дисциплины, к числу которых относятся вопросы оценки степени власти и влияния, справедливость и несправедливость, способность к оказанию все более действенной общественной поддержки, смысловое и институциональное наполнение демократических ожиданий и борьба с коррупцией, оправданное насильственное вмешательство в международных отношениях и поддержка социального, экономического и политического развития в рамках мировой экономики, приобретающей все более глобальный характер. Речь идет о проблемах, которые в равной степени волнуют как простых граждан, так и профессиональных политологов.

Достижения, о которых упоминают Бартелз и Брейди, скорее, связаны с комплексом разнообразных статистических проблем, возникающих у

специалистов разных направлений, которые занимаются социальными и естественными науками и представляют многие, но не конкретные дисциплины. Таким образом, «статистика», которая некогда означала «эмпирически обоснованное изучение государств» и служила обоснованием для различных теоретических суждений об обществе и специфике национального развития, видимо, утратила свои политические основы [Alker, 1975]. Будем надеяться, что без риска потеряться в прошлом мы сможем найти способ вновь обрести эти утраченные основы, дать им новую оценку и – в тех случаях, когда это представляется уместным, – новые определения.

§ 2. Целительное средство: Философское обоснование необходимости новых определений

А. От поли (с) метрики к политической методологии

Стремясь вернуть политическую методологию к тем исходным основам, на которых строили свои умозаключения классики политических исследований, в изданном в 1975 г. учебнике «Политическая наука» я предложил назвать это направление исследований «полиметрия». Такое название содержит в себе (подобно «psyche» в термине «психометрика») упоминание о «полисе», греческом городе-государстве, – кратком определении, выступающем как емкий символ для обозначения того более широкого, более многообразного типа правления, основные параметры которого нам хотелось определить [Alker, 1975]. Поскольку такое обоснование оказалось не вполне ясным, я выдвинул предложение внимательнее взглянуть на жизнь с феноменологических позиций, чтобы более глубоко уяснить сущность этой формы правления и переосмыслить описательные основы нашей дисциплины. Если принять во внимание то обстоятельство, что отношение к политике как к особому виду социального действия в рамках нашей дисциплины связано с объяснением и осмыслением практической деятельности людей, становится очевидным, что все эти проблемы тесно взаимосвязаны.

Как и в других своих работах, я исходил из веберовского приоритета непосредственного «понимания» того, что мы изучаем, в доходчивых, раскрывающих смысл выражениях над причинным «объяснением» того, что перед этим было правильно понято [Alker, 1974; 1984]. На мой взгляд, суть моей главы, опубликованной в учебнике «Политическая наука» в 1975 г., сводилась к предложению неких относительно новых, потенциально важных разнообразных возможностей для разработки необходимых определений, соответствующих целям, которые в свое время ставил М. Вебер. Для обоснования поставленной задачи я обратился к онтологическим взглядам Р. Даля, К. Дойча, Ю. Хабермаса, Г. Лассвелла, Т. Парсонса и самого М. Вебера. Поскольку все

они уделяли большое внимание условиям социального действия, их идеи могут служить приемлемой основой для решения поставленной задачи.

При обсуждении этих идей многие специалисты в области политической методологии ссылались на приписываемое У. Райкеру замечание, что корень слова «поли» не точно отражает дисциплинарное понятие. Если буква «с» в слове «полис» опущена, действительно, может возникнуть некоторая неясность, поскольку его можно спутать со словом «поли-» («много»), характеризующим вещи, что не имеет никакого отношения к политике. Хотя, конечно, понятие «полис» неприменимо в современную эпоху национальных государств – еще ученик Аристотеля Александр Македонский, создав империю, способствовал выведению его из употребления в качестве единицы политического исследования, – поэтому проблема здесь гораздо глубже, чем простая игра слов. Принимая более современный новый термин «политическая методология», получивший ныне широкое распространение, я хотел бы тем не менее и изложить некоторые основные причины, определившие как мое исходное стремление к введению термина «поли (с) метрика», так и последующий отказ от этого намерения.

Чтобы понять причины такого отказа, достаточно лишь внимательно проанализировать идеи главного авторитета политической науки западной цивилизации – Аристотеля. Обратимся, например, к следующим его высказываниям: «Тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек; его и Гомер поносит; такой человек по своей природе только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске. Что человек есть существо общественное, ясно из следующего: один человек из всех живых существ одарен речью. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства»; или: «Поскольку наука о государстве пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких воздерживаться, то ее цель включает, видимо, цели других наук, а следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей [вообще]... Поскольку всякое познание и всякий выбор направлены к благу, [то рассмотрим] к чему стремится наука о государстве и что есть высшее из всех благ, осуществляемых в поступках» [Аристотель. Политика. 1253a; Никомахова этика. 1094b, 1095a].

Если проанализировать эти высказывания Аристотеля, то станет ясно, что он отрицательно относился к проявлениям индивидуализма, смешивал нормативное и эмпирическое начала, связывал между собой этические и политические понятия (в то время как *realpolitik*, как известно, учит нас их разделять).

Если бы мне представилась возможность ответить, я (так и не убежденный экономистами в том, что «слова недорого стоят») отметил бы, что

в феноменологическом, политическом плане Аристотель стремится сосредоточить внимание на доводах, имеющих непосредственное отношение к проблеме общественного достояния. Аналогичный методологический опыт, основанный на таком специально дисциплинарном подходе, можно получить как на базе таких традиционных дисциплин, как логика, риторика и диалектика, так и исходя из современных (или постмодернистских?!) концепций герменевтики, лингвистики, дискурсивного анализа и даже критической философии. Однако эконометрия в этом списке отсутствует! Более того, говоря о коллективных действиях как о составной части естественного проявления человеческих склонностей, Аристотель как будто намеренно уводит нас в сторону, противоположную изучению политического поведения, понимаемого как результат случайно меняющихся настроений или навязанных извне политических установок, каждая из которых по-разному трактует представление о добре и зле.

Размышляя над этим условным противопоставлением – вовсе не таким, о котором нередко можно услышать на встречах, где обсуждаются проблемы современной политической науки, – я был поражен тем, насколько сильно отразилась тревога об отсутствии дисциплинарной аутентичности, о которой говорилось выше, во взглядах противников поли (с) метрики. Эконометрия, как и практическая экономика, могут удовлетворить лишь таких политических аналитиков, которые удалили из сферы своих научных интересов понятие «политическая субстанция» (справедливой или несправедливой практики общественных отношений или политического сообщества), политические суждения и образ мысли, этические основы формирования общественного волеизъявления, общественные действия, направленные на достижение благородных целей, которые Аристотель считал сутью политической деятельности, ставящей своей целью реализацию политической стороны человеческой природы.

Феноменологическое отсутствие такого сущностного содержания в технической работе этих специалистов по политической методологии, отрицание справедливости постмодернистских утверждений относительно онтологического распада, неспособность наряду со своими коллегами принять компетентное участие в дебатах по современным гносеологическим проблемам, как представляется, обрекают таких методологов лишь на прозябание, на попытку выживания в мире, лишенном гуманистических принципов Аристотеля и Гомера, где они уподобляются одиноким, алчным, «одержимым войной» людям, не имеющим своего полиса.

Б. Некоторые достоинства неоаристотелизма

Г. фон Райт прослеживает основы общественно-научного исследования: от противоречия «*verstehen – erklären*» («понимание – объяснение») к двум важным старым традициям, восходящим к идеям Аристотеля и Га-

лилея [Von Wright, 1971, ch. 1]. В современной методологической работе Г. Кинга, Р. Кеохейна и С. Вербы, широко обсуждавшейся специалистами, также уделяется серьезное внимание проблемам толкования, или «описательного» умозаключения [King, Keohane, Verba, 1994]. Однако эти авторы практически обходят стороной труды по феноменологии, гносеологии, методологии и проблемам определений, изданные как до, так и после интерпретации Вебером этого круга традиционно обсуждаемых проблем. Поэтому основополагающие неаристотелевские положения – о целенаправленной речи, о том, что правильно, а что неправильно, о целевом и практическом назначении коллективов, об обратной связи и адаптивном или неадаптивном функционировании и в целом об организационной сложности – не стали главными проблемами политической методологии в галилеевском подходе, который в остальном очень к ним близок. Очевидно, что при попытках выделения методологических компонентов *политической науки* более предпочтителен творческий синтез как аристотелевских, так и галилеевских основополагающих посылок, хотя при этом представляется уместной их корректировка на основе предшествующей традиции.

Феноменологическая убежденность Аристотеля, явственно проявляющаяся в приведенной выше цитате из «Никомаховой этики», позволяет исследователям его политической методологии стать космополитическими потребителями, не испытывающими никакого комплекса неполноценности. Поскольку политика является или может являться сферой наивысшего проявления индивидуальной и коллективной самореализации людей, вклад других дисциплин в достижение этой цели следует рассматривать в тех случаях, где это представляется уместным, но никак не на тех основаниях, на которых проводится «распродажа по сниженным ценам».

Выражая этот тезис в современных понятиях, можно было бы сказать, что поскольку продукты научной деятельности получают общественное признание через публикацию, постольку легитимизация дисциплины и приоритеты открытия, как мне кажется, не должны представлять собой существенной проблемы. Хорошее законодательство должно состояться на основе достижений всех дисциплин без исключения. Как отдаленные потомки Аристотеля мы, специалисты в области политических наук, – равно как и наши предшественники в других методологических дисциплинах, – имеем право пользоваться *всеми, что может оказать помощь в решении наших главных проблем и достижении наших методологических целей*, прибегая к любым источникам, которые могут быть в этом полезны. Тем не менее мы не можем позволить себе роскошь онтологической уверенности, характерной для Аристотеля. В наше время следует быть подготовленным к тому, чтобы относиться к феноменологическим проблемам осмотрительно, конструктивно, непредвзято и достаточно компетентно.

Поскольку философы, занимающиеся изучением социальных наук, и ученые-обществоведы на протяжении долгого времени многое сделали

для изучения проблем политической причинности, функциональности и коллективных целей, очень важно иметь полное представление обо всех точках зрения по этим проблемам¹. Представление о тех условиях прошлых эпох, в которых делали свои открытия представители неoarистотелизма и неогалилеизма, помогает нам понять те возможности и ограничения, которые определяются иным, более новым контекстом их применения. Это дает нам большую свободу, помогает сегодня и в будущем избежать допущенных в прошлом практических ошибок. При этом нам вовсе не обязательно быть приверженцами неoarистотелизма, чтобы дать этим соображениям должную оценку².

То, что я намеревался сделать в учебнике «Политическая наука» в 1975 г., теперь представляется особенно актуальным. Мне хотелось предложить новые направления пересмотра феноменологических и интерпретационных основ политической методологии. При этом я исходил из того, что достижения психометрии и эконометрии должны были оказать определенное воздействие на проблемы и творческие методологические подходы в рамках нашей сферы исследований. Эти успехи дали прекрасную возможность для того, чтобы продвинуться вперед в таких областях, как политическая психология и социология, вычислительная лингвистика, когнитивистика и политический дискурсивный анализ.

В. Восстановление связи политической методологии с политической феноменологией, ориентированной на коммуникацию

Основываясь на феноменологическом подходе Дж.Д. Муна [Moon, 1975], философски компетентном комплексном подходе к позитивистской и герменевтической (в критической интерпретации) логике политического исследования и его использовании для объяснения и понимания в работах Г. фон Райта и Ю. Хабермаса, я сосредоточил внимание на примерах, в которых главную политическую проблему составляют власть и влияние, системы их взаимоотношений или оправдание коллективных действий. Ретроспективно я выступал в пользу как новых, так и старых коммуникативно ориентированных представительных или определительных стратегических направлений, подобных тем, которые соответствовали бы аристотелевской или хабермасовской концепции «отражения» [Kratockwil, 1989]. Моя попытка возродить «разумный анализ» раннего европейского рыночного исследования, проведенный политическим социологом

¹ [Mill, 1843; Diesing, 1971; Dallmayr, McCarthy, 1979; Elster, 1989; Walton, 1990; Hollis, 1994; Schiffin, 1994].

² О дальнейшей разработке проблем неoarистотелизма см.: [Alker, 1974; 1984; 1993; 1996]. Эти работы являются важными источниками для многих приводимых в данной главе доводов.

П. Лазарсфельдом и др., предвосхитила некоторые более современные в методологическом отношении работы по логической аргументации, выбору и политическому действию [Sniderman, Brody, Tetlock, 1991]. В то же время последние работы могли бы значительно выиграть, если бы они использовали более амбициозные представительные определения, вроде тех, которые изучали В. Хадсон или С. Слейд [Artificial intelligence and international politics, 1991; Slade, 1994].

Г. Перспективы альтернативного формального представительства

В приведенной выше цитате из работы Бартелза и Брейди отчетливо прослеживается мысль о настоятельной необходимости в разработке новых определений политических отношений, которые облегчили бы их эмпирические исследования. О коммуникативно ориентированном комплексе определений политических процессов, *inter alia*, идет речь и в работах Дж. Крисайна, а также Х. Алкера и У. Гринберга, в которых обсуждается процесс решения проблем на государственном уровне с применением идей моделирования [Cresine, 1969; Alker, Greenberg, 1977]. Тот же круг вопросов затрагивался в работе Г. Саймона и его коллег, специализирующихся в области общественного управления и когнитивистики, и при этом не возникло никаких проблем, связанных с отсутствием дисциплинарной аутентичности! Точно так же использование формализма концептуальной зависимости Шанка – Абельсона с целью лучше разобраться в высказываниях и действиях, которые применяют представители политических идеологий для того, чтобы сформировать наши взгляды на то, что правильно, а что нет, как мне представляется, оказалось весьма своевременным, чтобы стимулировать развитие новаторского сотрудничества между психологами, занимающимися изучением социально-политических процессов, и специалистами по вычислительной лингвистике [Alter, 1975; Schank, Abelson, 1977]. Это направление работы впоследствии было продолжено и развито рядом авторов, использующих инструменты искусственного разума. Об их творческом вкладе в разработку и переосмысление данных проблем написано немало трудов [Walton, 1990; Artificial intelligence and international politics, 1991; Taber, 1992; Duffy, Tucker, 1995]. С. Слейд, ученик Р. Абельсона и Р. Шанка, применил их принцип формального представительства, или определение политической психологической аргументации, для изучения голосования в Конгрессе по вопросам, связанным с процессом принятия решений [Slade, 1994]. Результаты оказались весьма впечатляющими.

Анализ Дж. Джексоном критического самосознания, касающийся ограничений индивидуалистических моделей подхода к исследованию политико-институциональных изменений, основанных на равновесии, также направлен на разработку новых определений в неоаристотелевском духе. В его главе уделяется значительное внимание необычным определениям

политических явлений с интересных позиций, отражающих возможные неуравновешенные пат-зависимые категории; не оставляет он без внимания и порой непростые проблемы статистической оценки, возникающие при подобном подходе [Jackson, 1996].

Глава Джексона представляется особенно интересной за счет содержательных, хотя и слишком кратких упоминаний об изменении состава демократической и республиканской партий. Обращаясь к возможностям новых определений благодаря предложениям русских кибернетиков, американских экономистов и специалистов в области системной теории, а также использованию ранее опубликованных работ по динамике партийных систем, он сделал важный шаг в направлении переосмысления истории политических методологий применительно к проблемам организационной сложности.

Обращение к качественным методам макрополитологического исследования, содержащихся в работах Ч. Райджина, Д. Берг-Шлоссера и Ж. де Мёр, также носит новаторский, философски завершённый характер [Ragin, 1996]. Их интерес к специфически конкретным и специфически временным политическим проблемам, как и к вопросам конъюнктурной причинности, свидетельствует об отходе от статистически универсальных, вневременных обобщений. Скорее, он несет в себе аристотелевское ощущение случайного, определяемого ситуацией характера большей части политических истин. Эти авторы наглядно применяют компьютеризированную версию более ранней переработки булевых алгебраических представлений о проблеме новой объяснительной трактовки качественных определителей падения демократических режимов в Европе в период между мировыми войнами [Ragin, 1987].

Поразительно сходство отражения причинной сложности в работе Райджина и его сотрудников с тем отношением к проблеме, которое характерно для А. Джорджа с его стремлением к развитию новых методов исторических моноисследований [George, 1979]. Хорошим отправным пунктом для каждого исследователя является компетентное суждение Дж.С. Милля об «обратно дедуктивном или историческом методе» в IV книге его «Системы логики», которая носит название «О логике моральных наук» [Mill, 1843]. Это суждение, проникнутое скептицизмом относительно простого использования экспериментальных методов при изучении сложных исторических явлений, способствовало началу дебатов о «*verstehen – erklären*».

В каждом из упомянутых выше примеров лингвистическо-процессуальным способностям в целом и политическому обоснованию в частности, и / или социально организованным историческим процессам, были даны определения, в которых использовался представительный формализм, отличный от вероятностных, статистических моделей, известных специалистам в области статистики или эконометрии. Тем не менее проблемы отсутствия аутентичности не кажутся слишком тяжелыми – исследования по данному вопросу затрагивают вопросы, явно связанные с политической субстанцией, при-

чем это делается коммуникативно, исторически, творчески и критически. Такой подход представляется хорошей основой для будущего политической методологии, сочетающей в себе идеи Галилея и Аристотеля.

§ 3. Будущее политической методологии

Отметив, что в политическую методологию уже был внесен ряд методологических инноваций многими мыслителями (от Аристотеля до Вебера и других ученых, живших в переходные исторические эпохи, о которых мы не упоминали), в числе наиболее влиятельных современных авторов я хотел бы назвать Р. Абельсона, А. Джорджа, Ю. Хабермаса, П. Лазарфельда и Г. Саймона. Этот (отчасти пристрастный) перечень легко дополнить ссылками на отдельные работы Р. Аксельрода, Л. Блумфилда, Д. Кемпбелла, Н. Хомски, К. Дойча, П. Дзинга, Г. Гуцкова, Дж. Лакоффа, Г. Лассвелла, Л. Полани, У. Райкера и А. Рапопорта. Далее он может быть продолжен, если отправиться за океан в Европу и обратить внимание на глубокие философские труды таких всесторонне эрудированных и дающих читателю богатую пищу для размышлений авторов, как Й. Элстер, А. Грамши, М. Фуко, Ю. Гальтунг, М. Холлис и К. Поппер. Опираясь на столь выдающихся предшественников, политическим методологам не к лицу испытывать комплекс неполноценности.

Вместе с тем специалистам в области политической методологии следовало бы преодолеть антипатию к философским течениям в рамках социальных наук и к теоретическим и практическим спорам, начатым еще классиками политических исследований. Понятие политической методологии достаточно емкое, чтобы вобрать в себя труды этих авторов. Как мне кажется, это обстоятельство является лучшим средством для преодоления беспокойства по поводу отсутствия аутентичности в области политической методологии, определение которой как политической статистики слишком узко. Возможно, в соответствии с таким подходом методология может рассматриваться как прикладная гносеология или как прикладная философия исследования. Следует помнить, что существуют различные философские направления социальных и политических исследований, и обычно такие философские направления связаны *политическими феноменологиями* и *политическими теориями* – это с очевидностью следует, в частности, из работ Х. Арндт, Аристотеля, Т. Гоббса, К. Маркса, М. Вебера, Г. Лассвелла и К. Поппера.

Хотя теорию и практику для пользы дела принято различать, различие между ними не является абсолютным. Как правило, политические теории связаны с определенными взглядами или поддержкой определенных программ политической деятельности. Связь политических теорий с конкретными политическими условиями служит также для того, чтобы ввести значимые понятия и сущностные проблемы в свою область исследования, прослеживая способы их решения в более или менее разработанных философских концепциях политических изысканий, которые применяются в

качестве методологической основы политических исследований. Поскольку Дж.Д. Мун написал прекрасную вводную работу об установлении некоторых из таких связей [Moon, 1975], а мною была предпринята попытка более глубокого исследования этих проблем в других работах, я не буду на них останавливаться здесь более подробно.

В заключение мне хотелось бы предложить более широкий подход к понятию «наука» в политологии, который в дальнейшем сможет соответствовать тому образу будущего политической методологии, который я имею в виду. Не противореча идеям Аристотеля и Лассвелла¹, эта педагогическая схема заполняет некоторые пробелы, связывая понимание и объяснение, политически ориентированные и «научные» подходы, конструктивистский и натуралистический стили политического исследования. Это – широкое, глубоко гуманистическое понимание социальных наук, которое включает в себя исследования проблем мирного существования и политических наук, предложенное Ю. Гальтунгом.

В сборнике методологических очерков Гальтунга, к которому обращаются незаслуженно редко, мне особенно импонирует одна из его блестящих работ «Эмпиризм, критицизм, конструктивизм: три аспекта научной деятельности». В ней автор выдвигает трехчастную концепцию науки как воплощение аспектов, названных в заглавии его труда [Galtung, 1977–1988, vol. I, p. 41–71]. Геометрически отдельные фигуры и таблицы можно объединить в схему, изображенную на рисунке 1.

Существует шесть стадий нормальной последовательности практической деятельности, связанной с гальтунговской интегральной критическо-эмпирической-конструктивистской концепцией социальных наук. После феноменологического *критического осмысления* связей между эмпирическими данными и соответствующими ценностями, полученными на основе «критической компетенции», проводится классический эмпирический анализ, на основе которого исследователь пытается *понять*, почему эмпирический мир таков, каким он является, и *предвидеть*, *ceteris paribus*, его возможное будущее развитие. Далее ценности и теория объединяются в решении задач, связанных с *постановкой цели и разработкой теории*, создавая образ предпочтительного будущего и теории, которая способна сформировать представление о потенциальном мире будущего, образ которого включается в нее как возможность. Затем *конструктивистский анализ* объединяет эти теории и ценности, чтобы обеспечить жизнеспособность и возможность достижения предпочтительного мира через выработку и анализ предложений по проведению изменений. В заключение может быть частично осуществлена «часть действия», которую Гальтунг называет *творение реальности* или *разрыв инвариантности*. Однако я назвал бы эту стадию скромнее – *исправлением реальности*, или потенци-

¹ Об использовании идей Г. Лассвелла см.: [Namenwirth, Weber, 1987].

альным исполнением. В этом случае наука и политика объединяются в своем стремлении к достижению более высокой степени соответствия между наблюдаемым, предвидимым и предпочтительным.



Рис. 1
Интегральная концепция социальных наук Гальтунга

Труды, на основе которых возникла рассматриваемая идея, отличает стремление к объединению западных и незападных идей космологии и социальных наук, включая христианские и буддистские представления о поисках истины, о действии и созерцании, о развитии и мире. Расширение нашего понимания политической науки в этом направлении, его сосредоточение на общих и разнообразных политических надеждах, свершениях и неудачах наших сограждан во всем мире является неплохим рецептом для дальнейшего развития политической методологии.

Литература

- Achen C.H.* Towards theories of data: The state of political methodology // *Political science: The state of the discipline* / A.W. Finifter (ed.). – Washington, D.C.: American Political Science Association, 1983. – P. 69–94.
- Alker H.R.* Are there structural models of voluntaristic social action? // *Quality and Quantity*. – Amsterdam, 1974. – Vol. 8. – P. 199–246.
- Alker H.R.* Polimetrics: Its descriptive foundations // *Handbook of political science*. – Reading: Addison-Wesley, 1975. – Vol. 7. – P. 140–210.
- Alker H.R.* Historical argumentation and statistical inference: Towards more appropriate logics for historical research // *Historical methods*. – Abingdon, 1984. – Vol. 17. – P. 164–173 [Erratum. – Vol. 17, N 4. – P. 270].
- Alker H.R.* Making peaceful sense of the news: Institutionalizing international conflict-management event reporting using frame-based interpretive routines // *International Event-Data*

- Developments: DDIR Phase II / R.L. Merritt, R.G. Muncaster, D.A. Zinnes (eds.). – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1993. – P. 141–159.
- Alker H.R.* Rediscoveries and reformulations: humanistic methodologies for international studies. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – 464 p.
- Alker H.R., Greenberg W.J.* On simulating collective security regime alternatives // Thought and Action in Foreign Policy / G.M. Bonham, M.J. Shapiro (eds.). – Basel: Birkhauser Veriag, 1977. – P. 263–305.
- Battels L.M., Brady H.E.* The state of quantitative political methodology // Political science: The state of the discipline, II / A.W. Finifter (ed.). – Washington, D.C.: American Political Science Association, 1993. – P. 121–159.
- Crecine J.P.* Governmental problem-solving: A computer simulation of municipal budgeting. – Chicago: Rand McNally, 1969. – xx, 338 p.
- Duffy G.N., Tucker S.A.* Political science: Artificial intelligence applications // Social Science Computer Review. – Durham, 1995. – Vol. 13, N 1. – P. 1–19.
- Understanding and social inquiry / Dallmayr F.R., McCarthy T.A. (eds.). – Notre Dame (Ind.): Univ. of Notre Dame Press, 1979. – vi, 365 p.
- Diesing P.* Patterns of discovery in the social sciences. – Chicago: Aldine-Atherton, 1971. – x, 350 p.
- Elster J.* Nuts and bolts for the social sciences. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. – viii, 184 p.
- Galtung J.* Essays in methodology. – Copenhagen: Christian Ejlers, 1977–1988. – Vol. 1: Methodology and ideology; Vol. 2: Papers on methodology; Vol. 3: Methodology and development.
- George A.L.* Case studies and theory development: The method of structured focused comparison // Diplomacy: New Approaches in History, Theory, and Policy / P.G. Lauren (ed.). – N.Y.: Free Press, 1979. – P. 43–63.
- Handbook of political science / Greenstein F.I., Polsby N.W. (eds.). – Reading (Mass.): Addison-Wesley, 1975. – Vol. 9.
- Hollis M.* The philosophy of social science: An introduction. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1994. – x, 268 p.
- Artificial intelligence and international politics / Hudson V.M. (ed.). – Boulder (Col.) Westview Press, 1991. – x, 268 p.
- Jackson J.E.* Political methodology: an overview // A new handbook of political science / R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 1996. – P. 717–748¹.
- King G.* Unifying political methodology: The likelihood theory of statistical inference – Cambridge: Cambridge univ. press, 1994. – 274 p.
- King G., Keohane R.O., Verba S.* Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative; research. – Princeton (N.J.): Princeton univ. press, 1994. – xi, 245 p.
- Kratochwil F.V.* Rules, norms, and decisions: On the conditions of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. – x, 317 p.
- Mill J.S.* A system of logic, ratiocinative and inductive. – L.: Longmans, Green. 1843. – Vol. 1 xvi, 580; Vol. 2 xii, 624 p.
- Moon J.D.* The logic of political inquiry: A synthesis of opposed perspectives // Handbook of political science. – Reading: Addison-Wesley, 1975. – Vol: 1. – P. 131–228.
- Aristotle The basic works of Aristotle / R. McKeon (ed.). – N.Y.: Random House, 1941. – xxxix, 1487 p.
- Namenwirth J.Z., Weber R.P.* Dynamics of culture. – Boston: Allen and Unwin, 1987. – ix, 293 p.

¹ На русском языке: Джексон Дж.И. Политическая методология: общие проблемы // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – С. 699–728.

- Ragin C.C., Berg-Schlosser D., Meur G. de.* Political methodology: Qualitative methods // A new handbook of political science / R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 1996. P. 749–768¹.
- Ragin C.C.* The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. – Berkeley: University of California Press, 1987. – xvii, 185 p.
- Schank R., Abelson R.* Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge structures. – Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum, 1977. – 248 p.
- Schiffirin D.* Approaches to discourse. – Oxford: Blackwell, 1994. – x, 470 p.
- Slade S.* Goal-based decision making: An interpersonal model. – Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum, 1994. – xiv, 285 p.
- Sniderman P.M., Brody R.A., Tetlock P.E.* Reasoning and choice: Explorations in political psychology. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1991. – xiv, 306 p.
- Taber C.S.* POLI: An expert system model of U.S. foreign policy belief systems // American political science review. – Baltimore, 1992. – Vol. 86. – P. 888–904.
- Von Wright G.H.* Explanation and understanding. – L.: Routledge and Kegan Paul, 1971. – xvii, 230 p.
- Walton D.N.* Practical reasoning: goal-driven, knowledge-based, action-guiding argumentation. – Savage (Md.): Rowman and Littlefield, 1990. – xvi, 395 p.

¹ На русском языке: Рэйджин Ч., Берг-Шлоссер Д., Мёр Ж. де. Политическая методология: качественные методы // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – С. 729–747.

Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В.Дж., Шнайдер Д.К.

**ИИСУС АРНОЛЬДА ТОЙНБИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ГЕРМЕНЕВТИКА И НЕПРЕРЫВНАЯ ТРАДИЦИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ¹**

В работе «Предназначение волшебства» Б. Бетельгейм утверждает, что «величайшая наша потребность и самая трудноразрешимая задача – найти смысл в своей жизни» [Bettelheim, 1977, р. 3]. Похоже, что большинство американцев уже достигли этой цели – по крайней мере частично – благодаря Иисусу Христу. Из 1509 опрошенных в ходе недавнего обследования Института Гэллапа американцев 9/10 признались, что Иисус повлиял на них как духовный и нравственный учитель, 3/4 верили, что Иисус жив и пребывает на небесах, почти столько же указали, что их личное общение с Богом углубляется, а 2/3 полагали, что без веры в Христа невозможно обрести вечную жизнь. «По свидетельству Института Гэллапа, при выборке в 1500 человек предел погрешности составляет от 2 до 3%» [Briggs, 1983]².

¹ Alker H.R.jr., Lehnert W.G., Schneider D.K. Toynbee's Jesus: Computational hermeneutics and continuing presence of classical Mediterranean civilization // Alker H.R. Rediscoveries and reformulations. Humanistic methodologies for international studies. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996. – P. 104–144.

Перевод печатается по: Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В.Д., Шнайдер Д.К. Иисус Арнольда Тойнби: Вычислительная герменевтика и непрерывная традиция классической средиземномоской цивилизации / Пер. с англ. П. Б. Паршина // Полис. – 2001. – № 6. – С. 65–96.

Настоящий текст представляет собой пересмотренные и исправленные извлечения из коллективной работы [Alker, Lehnert, Schneider, 1985], подготовленной при поддержке Национального научного фонда США (грант IST-8217502). Принимая во внимание чрезвычайно существенный вклад моих соавторов, я во всех соответствующих местах сохранил местоимение первого лица множественного числа «мы». Вместе с тем я не обращался к ним с просьбой санкционировать внесенные мною изменения, за погрешности которых они, тем самым, не несут никакой ответственности.

² Приводимые цитаты и цифры взяты из статьи Бриггза, который, в свою очередь, ссылается на доклад Института Гэллапа.

Но смысл христианского послания куда более расплывчат и вариативен, нежели можно предположить на основании данной выборки. Из того же опроса Гэллапа следует, что в мире найдется немного стран, которые были бы столь же набожными, как Америка, и одновременно столь же невежественными в том, что касается догматов христианской религии. Почти три пятых американских респондентов не имели представления о Нагорной проповеди, а 46% не смогли назвать четыре Евангелия, в которых все ученые видят важнейший из сохранившихся источник сведений о жизни и учении Христа. Более того, треть респондентов «полагала возможным обрести вечную жизнь и без веры в Иисуса, а почти четверть считала, что можно быть “истинным христианином”, не веря при этом в божественную сущность Христа» [Briggs, 1983].

Если бы мы попытались провести аналогичный опрос где-нибудь за пределами США или же попробовали мысленно реконструировать результаты, которое дало бы подобное обследование 100, 500 либо 1900 лет тому назад, то, безусловно, обнаружили бы еще более глубокие различия и расхождения. Вместе с тем не исключено, что отчасти именно многообразие интерпретаций обеспечило истории Иисуса столь поразительный успех в качестве духовного путеводителя, политического учения или культурного идеала. Ни один другой текст в истории западной цивилизации – будь то художественный или научный, религиозный или светский – так часто, широко и устойчиво не наполнял смыслом жизни отдельных индивидов и / или крупные исторические движения. При всех серьезных модификациях его влияние сказалось как минимум на четырех фундаментально разных способах производства (на античном рабовладении, феодализме, капитализме начала Нового времени и восточноевропейском социализме).

Когда в качестве специалистов в области социальных дисциплин и информатики мы размышляем над собственной религиозной социализацией, то неизбежно упираемся в следующие вопросы. Какие адекватные научные методы – в свете как традиционных, так и более новых исследовательских подходов – позволили бы точно установить те смыслы и значения, которые мы и другие люди находим и чувствуем в истории Иисуса? В чем вдохновляющая сила и притягательность этой истории, или «мифа»?¹ Какой базовой структуре (или структурам) и каким инфицирующим,

¹ Мы употребляем слова «миф», «героическая история», «легенда», «волшебная сказка» и «фольклор» как сугубо технические термины гуманитарных наук, без какого-либо предвзятого мнения по поводу конечной, религиозной обоснованности христианства. Вообще, нам хотелось бы, чтобы нас рассматривали в рамках «гуманистической» традиции, которая стремится к независимости в определении предмета и критериев научного изучения религиозных проблем, и гуманитарных наук, претендующих на автономию по отношению к естественным наукам в плане познавательных задач, методологии и исследовательского инструментария.

самореплицирующимся, «вирусным» свойствам¹ обязана она своей силой? Возможно ли воспроизводимым образом выявить некоторые из механизмов, посредством которых эта глубинная структура была преобразована во «внешние» тексты, и эмпирически проверить полученные результаты? Или же эти «переработки», обсуждением которых заняты многие традиционалистски настроенные ученые, различаются в своей основе? Какие версии истории Христа (если видеть в ней поддающуюся воспроизведению героическую историю) и в каких личностных, культурных, экономических и политических контекстах – современных или исторических – обладали большей либо меньшей притягательностью? В частности, почему так много американцев, да и не только американцев, считают историю Иисуса преисполненной значения для себя лично даже в тех случаях, когда весьма поверхностно знакомы со Священным Писанием? Как – с методологической точки зрения – отобразить эти значения истории Иисуса или других харизматических религиозных и политических фигур на культурной и политической карте мира? Перечисленные вопросы настолько важны, что одно это уже служит оправданием наших бесспорно гуманитарных и, конечно же, несовершенных научных попыток найти на них адекватные ответы.

В настоящей статье представлено комплексное обоснование нашего подхода, в котором делается упор не на исследовании данных опросов, а на выявлении аналитически воспроизводимых, суггестивных мотивационно сюжетных структур, имплицитно присутствующих в текстах истории Иисуса, когда их читают или слушают самые разные люди. Здесь будут приведены и критическо-герменевтическим образом сравнены две независимо составленные и проанализированные с помощью компьютерных методов кодировки, без какого-либо априорного предположения о том, что *в действительности* истинна только одна из них. Кодировка истории Иисуса В. Ленерт отталкивается от схематического очерка А. Тойнби, опубликованного в приложении к книге «Постижение истории»; более пространная кодировка Олкера-Шнайдера опирается, помимо этого, на цитируемые Тойнби стихи из Библии [Тоунбее, 1946, р. 376–539]. Наши выводы указывают на преемственность между использованной нами формой герменевтического исследования на основе компьютерных методов, т.е. вычислительной герменевтикой, и более традиционными для социальных наук формами анализа текстов, зачинателем которых выступил Тойнби. Настаивая на необходимости соединения в герменевтическом анализе исследовательских усилий человека и возможностей компьютера, мы полагаем, что предлагаемый подход – со всеми необходимыми поправками – может внести методологический вклад в эмпирическое, критическое и конструк-

¹ Некоторые из этих биологических терминов почерпнуты нами из дерзкой, но не лишенной серьезных изысков фантазии «Метамагические темы: вирусоподобные предложения и самореплицирующиеся структуры» Д. Хофстадтера [Hofstadter, 1983].

тивное обсуждение многообразных проявлений неизменного присутствия в нашей (и не только в нашей) жизни классической средиземноморской цивилизации.

Новый подход к старой теме

Учитывая, сколь велик объем научной литературы, посвященной исследованию значений и смыслов истории Иисуса, было бы трудно оправдать какой-либо новый подход, не выявив его связей с прежними подходами и – одновременно – наличия в этих последних лакун. Наш подход ориентирован на разъяснение ряда нерешенных вопросов, обнаруженных нами в некоторых весьма почтенных гуманитарных традициях, а именно: в религиозной истории, психоанализе и герменевтической философии. Он предполагает (и использует) соединение традиционного поиска миметических сюжетных структур с новой, еще только развивающейся компьютерной методологией нарративного резюмирования (*narrative summarization*) и анализом эмоциональных сюжетных единиц (*affective plot units*) [Lehnert, 1981; Lehnertetal, 1981; Lehnert, Loisselle, 1985]¹. Это делается в надежде на то, что эксплицитность, гибкость форм и потенциальная кумулятивность методов компьютерного анализа текстов сможет поднять на новый уровень конструктивную строгость критического изучения как самих классических текстов и более поздних их интерпретаций, так и кросс-национального и кросскультурного распространения этих текстов, их изменчивости и долговечности.

¹ Более полный обзор так или иначе сопоставимых и поддающихся эмпирической проверке подходов к резюмированию и интерпретации повествовательных структур приведен в восьмой главе книги, в которую входит настоящая работа. Ранние версии данной главы, изначально называвшейся «Волшебные сказки и способы изложения мировой истории», были написаны в 1970-х – начале 1980-х годов, еще до того, как я натолкнулся на работы Ленерт. Поэтому, хотя в конечном итоге эта глава была опубликована в 1987 г. [Alker, 1987], т.е. после появления первой версии представленного здесь материала [Alker, Lehnert, Schneider, 1985], она может служить компаративным введением к нему. Мы с Ленерт учились у Р. Абельсона и были восторженными поклонниками как связанного с его и Р. Шенка именами направления в компьютерном моделировании понимания текста, так и более частных работ Абельсона по динамике политически релевантных систем убеждений [см.: Abelson, Reich, 1969; Schank, Abelson, 1977].

[Работа Олкера «Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории» вышла в русском переводе в 1987 г. в сборнике «Язык и моделирование социального взаимодействия» (М.: Прогресс); там же с некоторыми сокращениями была опубликована работа Р. Абельсона 1973 г. «Структуры убеждений», фактически являющаяся предварительной краткой версией упомянутой выше работы 1977 г. Термины «*summary*» и «*summarization*» в переводе 1987 г. передавались специально созданными неологизмами «свертка» и «сворачивание». В настоящем переводе используются более привычные выражения – «резюме» и «резюмирование» с их скорее семантическими, нежели синтаксическими коннотациями. – *Прим. пер.*]

Религиозная история

Религиозная история стремится удовлетворить потребность своих слушателей или читателей в постижении смысла жизни через описания замыслов и деяний Бога (или богов), а также тех, кем двигало божественное вдохновение. Конечно, стремление увидеть Божий промысел или провидение в великих исторических событиях, получившее широкое развитие в иудеохристианской традиции, было присуще не только ей. Хорошо известен миссионерский пыл ранней (и современной) исламской цивилизации; то же самое относится и к весьма туманному «Небесному Мандату», легитимировавшему власть ранних китайских правителей. Гегельянская философия рассматривает историю как разворачивающееся самопознание Разума. Марксистская философия, несмотря на свою атеистическую позицию, тоже содержит в себе драматические поворотные моменты в духе христианства: она предрекает замещение старого порядка новым после героической борьбы, в которой рабочий класс примет на себя роль спасителя человечества. В рамках всех этих традиций в той или иной мере присутствуют писанные истории, почитаемые рассказы о ключевых персонажах или группах, жизнеописания которых предлагаются в качестве средства более глубокого постижения (сути учения) самими его последователями и модели, в соответствии с которой те должны строить собственную жизнь. Тем не менее, согласно Й. Галтунгу, восприятие истории как развития с кризисными поворотными моментами и кладущими ей конец сошествиями Бога на Землю – отличительная черта западных, но не восточных «социальных космологий» [Galtung, 1980].

С точки зрения целей данной работы в предлагаемой Тойнби религиозной трактовке истории особый интерес представляет даже не многоступенчатая сравнительная концептуализация цивилизационной истории, где различные героические фигуры добиваются или не добиваются успеха в формировании обновляющих ответов на вызовы, с которыми сталкиваются их цивилизации. Гораздо важнее его производный и более конкретный тезис, а также аргументация, касающиеся роли Евангелий в развитии единой и относительно устойчивой эллинистическо-сирийско-христианской народной культуры в пределах греко-римского мира. Выявление тех компонентов истории Иисуса, которые делают ее притягательной сегодня, есть способ изучения непрерывности и трансформаций в таких цивилизационных сообществах.

Сопоставление исходных черт повествований о Сократе и Геракле, о героических спартанских царях, римских реформаторах (особенно о Гракхах), о предводителях восстаний рабов и об Иисусе приводит Тойнби к заключению, что «из самих переключек [между этими описаниями] вырисовывается одна и та же драма, которая, похоже, лежит – по крайней мере в наиболее существенных и общих своих чертах – в основе всей этой группы героических историй, как языческих, так и христианских» [Тоун-

bee, 1946, p. 406]. Почему это так? «Евангелия содержат значительное число встроенных в них разнообразных элементов, которые были принесены туда потоком [эллинистической, сирийской и т.д.] “народной памяти”» из «изменчивых подземных течений находящейся в вечном движении примитивной психической жизни» [Тоунбее, 1946, p. 457]. Из этих подземных течений примитивной психической жизни «элементы, присущие одной культуре, могут проникать в тело другой культуры даже в те времена, когда на утонченной поверхности жизни две культуры, которые таким образом эффективно коммуницируют [на народном, или пролетарском уровне]... сознательно враждебны по отношению друг к другу» [Тоунбее, 1946, p. 447]. Взятые вместе, эти элементы было бы, наверное, правильно охарактеризовать как «эпический цикл эллинистического внутреннего пролетариата; а эпическая поэзия находится [где-то] посередине между ментальными областями “фольклора” и истории» [Тоунбее, 1946, p. 448].

Нельзя сказать, чтобы тойнбиевская рамка героического повествования в одинаковой степени подходила ко всем реконструкциям раннехристианского опыта. Если в самом начале христиане, по-видимому, сражались главным образом с иудейскими властями, то вопрос о мере ответственности за казнь Иисуса иудейских и римских властей до сих пор не имеет ответа, оставаясь дискуссионным. Высказывался довод о том, что относительно неблагоприятная трактовка Евангелиями иудейских властей есть явная попытка скрыть поддержку Иисусом еврейских «зелотов», восставших против Рима [Brandon, 1979¹]. Вместе с тем очевидно, что главной мишенью первых мучеников, вдохновленных Иисусом, была власть римского императора².

Религиозная история также указывает склонному к рефлексии ученому на то, что христианские интерпретации наделяли значением самые разные политические движения. Появление более долгосрочной, менее хилястической и пацифистской, более консервативной трактовки римского владычества примерно совпало по времени с обращением в христианство императора Константина. После этого самыми серьезными врагами христианской истории стали те, кто атаковал Римскую империю (или защищался от нее). Средневековые представления о пропасти между Градом Божиим и Градом земным поддерживали религиозное отступление в направлении более совершенных (но авторитарных) монашеских сообществ и подготовки к первостепенно важной потусторонней жизни на небесах или в аду. Новая эра ассоциируется с переориентацией религиозной энергии с Крестовых походов христианского мира против «неверных турок» на тотальные священные войны между католиками и протестантами или даже

¹ Мы признательны У.Д. Бернхему за то, что он обратил наше внимание на это исследование.

² Очень яркое, глубокое по мысли и подкрепленное источниками описание мученичества в раннехристианской церкви [см.: Pagels, 1979, ch. 4].

на преследование одного протестантского течения другим, как это было накануне и во время гражданской войны в Англии [см. особенно: Johnson, 1975, 1981]. Отсюда бегство пилигримов и основание Нового Иерусалима, «града на холме». Другие новые города получили названия типа Провиденс («Провидение») и Филадельфия (греч. «братская любовь»). Этим событиям отведено важное место в литературе по американской истории.

Психоаналитические трактовки волшебных сказок, мифов, сновидений и утопий

Несмотря на многочисленные критические замечания, которые нам или кому-либо еще хотелось бы высказать по поводу приложения к монографии Тойнби, мы считаем продемонстрированный там исследовательский подход как достойным подражания примером действительно строгого гуманитарного научного исследования, так и предвестником многих гораздо более поздних работ. Например, обратимся снова к известному психоаналитическому сочинению Б. Бетельгейма, где рассматривается роль мифов, волшебных сказок и фольклорных легенд в удовлетворении нашей потребности в придании жизни смысла. Никак не цитируя Тойнби, Бетельгейм примечательным образом дополняет его аргументацию и тем самым усиливает ее.

«Мифы и тесно связанные с ними религиозные сказания дают материал, из которого дети формируют свои представления о происхождении мира и его назначении, а также о социальных идеалах, которым ребенок мог бы следовать... Таковы образы непокоренного героя Ахиллеса и хитроумного Одиссея; Геракла, чье жизнеописание показывает, что чистка самых грязных конюшен не унижает достоинства сильнейшего человека; святого Мартина, который разрезал свой плащ пополам, чтобы одеть несчастного нищего... Миф, подобно волшебной сказке, может в символической форме выразить внутренний конфликт и подсказывать, как этот конфликт мог бы быть разрешен... Миф величественно подает свой предмет; он исполнен духовной мощи, а божественное представлено и переживается в нем в виде обладающих сверхъестественными возможностями героев, предъявляющих постоянные требования к простым смертным» [Bettelheim, 1977, p. 24–26]¹.

¹ Иную психоаналитическую трактовку мифов о герое-спасителе см.: [Edelman, 1967, p. 217–228]. Эдельман доказывает, что «мифы и метафоры позволяют людям жить в мире, где причины просты и четко очерчены, а лекарства очевидны. На место сложного для понимания эмпирического мира человек ставит относительно немногочисленные, простые, классические, архетипические мифы, в центре которых находятся враг-заговорщик и всемогущий герой-спаситель» [Edelman, 1967, p. 228]. Конформистскому взгляду Эдельмана следует противопоставить радикальные и консервативные подходы, которые будут рассмотрены ниже.

И историк, и психиатр находят в сфере бессознательного индивидуальной психики, со всеми ее мощными символами, фундаментальными конфликтами и интегрирующими компромиссами, релевантную основу устойчивых религиозных мифов. Черпая примеры как из эллинистической, так и из иудеохристианской традиции, оба они считают, что социальные потребности – возрождение дезинтегрирующихся цивилизаций или же социализация будущих поколений в их культурном наследии – дифференциально удовлетворяются героическими сказаниями казалось бы детского, или «примитивного», фольклора. И оба позитивно оценивают поиски интегративных, направляющих смыслов человеческого бытия через анализ мифологических или литературных повествований, взаимодействующих с жизнью своих аудиторий¹.

Герменевтическая философия

Сторонник новаторских методов в области гуманитарных наук В. Дильтей видел в герменевтике искусство интерпретации текстов. Герменевтической философии он определил родственную задачу – «поиск объективных методов, которые могли бы подтвердить intersubjectивность посредством критической интерпретации используемых людьми оборотов речи» [Makkgeel, 1975, p. 258–260, 327, 345–357]². Выдающийся современный практик такого искусства и такой философии П. Рикёр утверждал, что «способность строить и воспринимать нарративные схемы – искусство, скрытое в глубинах человеческой души, и извлечь его подлинный механизм из природы, дабы иметь перед глазами, всегда будет трудно» [Ricoeur, 1981]. Тем не менее его метод критического герменевтического анализа иллюстрирует третью гуманитарную традицию – герменевтическую философию. Эта традиция оказывается для нас особенно полезной, когда мы пытаемся очертить контуры тойнбиевско-бетельгеймовской области мифа и фольклора, расположенной где-то между поэтическим вымыслом, глубинно-психологическими символическими значениями, научной историей и культурологическими исследованиями.

Подобно своим предшественникам, Рикёр стремится обнаружить ту реальность, ту подлинную истину мифологических или легендарных повествований, которые не поддаются адекватному, эмпирически аккуратному

¹ Стоит отметить религиозное обоснование такой трактовки, предлагаемое Тойнби: «Но можно ли поверить в то, что Бог должен проявлять себя в фольклоре?.. Именно в фольклоре, если где-либо вообще – ибо уж точно не в избирательных бюллетенях – “глас народа” становится “гласом Божиим”... “В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение” (Лука х. 21; Матфей хі. 25–26)» [Тоунбее, 1946, p. 538].

² Указаны страницы, откуда взяты приводимые в данном разделе цитаты и пересказываемые положения.

историческому анализу. Он хочет найти освобожденный от мистического ореола способ отличать историю от художественного вымысла при сохранении более широкого их единства и присущих им специфических значений истинности (truth values). «Раскрывая нас по отношению к чему-то иному, – утверждает Рикёр, – история открывает нас возможному, тогда как художественная литература, раскрывая нас по отношению к воображаемому, подводит нас к тому, без чего нет реальности» [Ricoeur, 1981, p. 296].

В схематической форме аргументацию Рикёра можно передать следующим образом. Принимая некую разновидность тезиса У. Гэлли о том, что «история – лишь вид по отношению к повествованию как роду» [цит. по: Ricoeur, 1981, p. 272], Рикёр признает наличие сложной проблемы, связанной с конфликтом между возможными психоаналитическими интерпретациями одних и тех же свидетельств. Ни неопозитивистские версии исторического объяснения, ни вневременные структуралистские модели нарративной структуры не кажутся ему адекватными. Как в исторических и художественных сочинениях, так и в опыте их слушателя / читателя Рикёр усматривает конфигуративный, последовательный элемент нарратива. Обе формы нарратива предопределяют также чувствительную к контексту (но не привязанную к нему) когнитивную заинтересованность в коммуникативном понимании.

Дильтей говорил, что «поэт – это провидец, интуитивно постигающий смысл жизни». Он согласился бы с точкой зрения Рикёра, что у исторических сочинений есть свои «поэтические» свойства, и поддержал бы его поиск сюжетоподобных организационных схем. По мнению Рикёра, к ним относятся: четыре фундаментальных типа «сюжетных воплощений» (фраевские романтические сочинения, трагедии, комедии и сатиры); различная формальная аргументация (позитивистские или диалектические логические законы); противостоящие друг другу гипотезы о мироустройстве (вроде формизма, органицизма, механицизма и контекстуализма С. Пеппера¹) и альтернативные идеологические мобилизующие схемы (такие, как консерватизм, радикализм, либерализм и анархизм по К. Мангейму). Художественная литература – это аристотелевский *mimesis*, не просто имитационное копирование, но «продуктивное воображение», «реактивация человеческих действий», «образное приращение» («*iconic augmentation*») реального, расширяющее присущие ему возможности. *Mimesis* возникает лишь тогда, когда поэтическая деятельность создает сюжеты, подобные *mythos* («что означает речь, вымысел и сюжет, вместе взятые») трагической поэмы. «Таким образом, с помощью понятия *mythos* из аристотелевской “Поэтики” мы открываем то, что существенно в нашей концепции

¹ Эти гипотезы, основанные на четырех не поддающихся логическому основанию «базовых метафорах» («сходство», «организм», «машина», «историческое событие»), были предложены в кн.: Pepper S. World Hypotheses. A Study in Evidence. Berkeley, Los Angeles, 1942. – Прим. пер.

сюжета в истории: соединение вероятности и результата, хронологии и конфигурации, последовательности и следствия» [Ricoeur, 1981, p. 292–294].

В последние годы Рикёр углубил и расширил свои представления о миметических сюжетных структурах. Вместе с тем в его позднейших книгах, включая «Живую метафору» и «Время и повествование», по-прежнему виден интерес к порождающим и синтетическим семантическим структурам. «Семантическая инновация, – говорит он по поводу нарративов, – заключается в изобретении некоего сюжета, что само по себе является синтезом: благодаря сюжету цели, причины и случайности объединяются в рамках темпорального единства всеобъемлющего и завершенного действия. Именно этот синтез *разнородности* позволяет сравнивать нарратив и метафору» [Ricoeur, 1983, p. 15]¹.

При всех очевидных различиях в референции вымышленные повествования и традиционные исторические сочинения связываются весьма сходными конфигурационными элементами. Рикёр дает обзор дебатов между Броделем, Дреем, Гэлли, Гемпелем и их последователями, используя для дальнейшего развития своей позиции расширенное, трехступенчатое понятие *мимесиса* как префигурационной, конфигурационной и рефигурационной имитации жизни.

Переформулировка проблематики

Хотя мы и не исчерпали всего списка релевантных гуманитарных прозрений, приведенный выше комплексный обзор указывает на некоторые сходящиеся пути, позволяющие подступить к поставленным нами вопросам. Если мотивационно продуктивные миметические сюжетоподобные структуры помогают наполнить смыслом рассказы для детей, религиозные мифы и исторические повествования, то основной научной целью должна стать их операциональная идентификация посредством тщательного анализа текстов. Когда такая идентификация проведена, требуется рассмотреть, каким образом «повествовательный схематизм» проецирует эти структуры в жизнь соответствующих слушателей / читателей.

Несмотря на то что настоящее изыскание заимствует у традиционных подходов герменевтический прием подробного текстуального анализа и отталкивается от тойнбиевского списка из 87 элементов повествования, сконструированные этим ученым схематические резюме историй об античных героях ставят перед ориентированным на использование компьютерных методов аналитиком текста множество проблем. Есть немало во-

¹ Рикёр пространно обсуждает аристотелевские теории поэтики, гэлливское понятие «следуемости» («followability») в повествовательных текстах, гемпелевскую номологическую трактовку исторических законов и «квазисюжет» броделевской истории структур, циклов и событий [Ricoeur, 1983, p. 298 ff.].

просов, не получивших в исследовании Тойнби удовлетворительных ответов. Например, как мы должны репрезентировать и идентифицировать смысловые компоненты истории Иисуса? Все пронумерованные Тойнби элементы представляются весьма сложными, но не в одинаковой степени. Нет ли в его героической версии истории Иисуса таких характерных или ключевых элементов, которые были автором проигнорированы, неверно постулированы или чрезмерно акцентированы? Не являются ли какие-то из элементов более «необходимыми», чем другие, более существенными или первичными? Можно ли экономнее или глубже передать анализ самого Тойнби? Если мы найдем некую привлекательную глубинную сюжетоподобную структуру данной истории, как мы узнаем, что это – корректная, самая глубокая, самая истинная, абсолютно или хотя бы относительно лучшая интерпретация сложного «внешнего» текста? Не будут ли читатели, принадлежащие разным культурным средам, но читающие одни и те же Евангелия, усматривать разное содержание в выделенных Тойнби эпизодах? Как на уровне индивидуальных жизней проверить его обобщения относительно средиземноморской цивилизации? И где следует поставить под сомнение его культурологическую реинтерпретацию самой истории Иисуса?

Новые подходы, несомненно, могут оказаться полезными в заполнении этих лакун. Поэтому, заинтересовавшись смыслом истории Иисуса, мы обратились к появившейся в последние годы литературе по компьютерному резюмированию повествований и моделированию аналогической и метафорической аргументации, результатом чего и стало сотрудничество авторов настоящей работы. Мы надеемся, что, используя содержащиеся в этой литературе выводы, конвенциональные нормы, технические приемы и программы, мы сумеем совместно выработать некоторые ответы на перечисленные вопросы.

Теперь можно более четко подвести итог предшествующему обсуждению, сформулировав несколько пожеланий относительно дальнейшего научного исследования поставленной проблемы¹.

1. Позитивистское рассмотрение элементов истории Иисуса как истинных или ложных (что подлежит выяснению) утверждений упускает из виду их исторически подтвержденную мотивационную притягательность, символически проявляющуюся, по крайней мере отчасти, на досознательном или бессознательном психическом уровне. Эмоциональная структура истории Иисуса требует дальнейшего, более детального исследования.

2. Описательные элементы повествования должны прочитываться как поддающиеся воспроизведению и при этом модифицируемые рецепты человеческого поведения.

¹ Приводимый ниже список пожеланий, как и следующий раздел настоящей работы, взяты (с определенными изменениями) из предварительного отчета о нашем исследовании [Lehnert, Alker, Schneider, 1983, p. 358–367].

3. Разнообразие исторических контекстов, в которых проявлялась упомянутая мотивационная сила (на основе одних и тех же или почти одних и тех же евангельских текстов, хотя и не всегда одинаково эффективно), убедительно свидетельствует о наличии одной или нескольких глубинно-структурных репрезентаций ее существенных элементов, которые могут быть по-новому переписаны во многих, но не во всех конкретных ситуациях.

4. Тем главным глубинным источником инфицирующей, «вирусной», самореплицирующейся силы истории Иисуса, поисками которого мы занимаемся, вполне может оказаться некая разновидность миметической сюжетной структуры.

5. Удостоверившись в существовании точных версий базовых текстов, необходимо рассмотреть операциональные стратегии обнаружения глубинных сюжетоподобных структур и рационализированные процедуры выявления относительных достоинств последних как инструментов резюмирования более сложных текстов.

6. Если для структурной характеристики соответствующих повествований используется индуктивная стратегия, следует ясно и четко разъяснить процедуры распознавания и комбинирования первичных тематических элементов.

7. При изучении соперничающих и / или сближающихся интерпретаций мотивационной притягательности базовых религиозных повествований целесообразно подвергнуть каждый такой текст в отдельности воспроизводимым процедурам резюмирования эмоционального сюжета. Конечно, извечных герменевтических споров подобные резюме не разрешат, но они должны обеспечить точные и строгие основания для дальнейшего обсуждения и последующих обобщающих исследований.

Резюмирование на базе сюжетных единиц как способ удовлетворить пожелания к научному исследованию поставленной проблемы

К счастью, поиск миметической сюжетной структуры истории Иисуса оказался если и не во всех деталях, то уж, во всяком случае, в существенных чертах близок исследовательской программе резюмирования повествования с использованием эмоциональных сюжетных единиц (affective plot units), развернувшейся с начала 1980-х годов (при участии Ленерт) [Lehnert, 1981]. Задействованные в ней ученые кодируют элементы повествования в эмоциональных терминах; более того – субстантивным оказывается и выведение из детальных кодировок текста обобщающих сюжетных структур. Это отличает их модели от типичных для иницированного Д. Румельхартом подхода, строящегося на «грамматиках повествования» (story grammars), синтаксических моделей [Rumelhart, 1975, 1977]. Вместе с тем онтологически важным свойством любого *описания*

сюжетных единиц на языке LISP является то, что оно легко допускает рецептоподобную *процедурную* интерпретацию. Поэтому можно утверждать, что такой подход открывает потенциальные возможности для реализации первых двух из перечисленных выше пожеланий.

А как обстоит дело с третьим и четвертым нашими пожеланиями, т.е. с миметической адекватностью получаемой на основе сюжетных единиц характеристики повествования и перспективой «реалистического» переписывания этой глубинной структурной характеристики – как минимум в идеализированных версиях различных (но не всех) личностных и исторических контекстов? Предварительные эмпирические сопоставления с грамматико-повествовательными репрезентациями показали, что эмоциональные сюжетные структуры лучше предвычисляют хранимые в памяти повествования, чем «грамматические» резюме [Lehnertetal, 1981]. Из этого следует, что подход Ленерт действительно в какой-то мере схватывает эмоциональную организацию человеческой памяти о рассказанном. В дальнейшем мы подробнее расскажем об инфицирующих, «вирусоподобных» свойствах резюме на базе сюжетных единиц, однако несомненно, что исключительное мотивационное воздействие истории Иисуса во многом обусловлено именно ими. Учитывая недостаточную тонкость методов разграничения эмоциональных состояний, которыми располагают сегодня исследователи имеющих эмоциональные корни сюжетных структур, а также радикальное понижение когнитивной содержательности текста вследствие подобного кодирования, рассчитывать на получение в скором времени окончательных результатов не приходится. Было бы воистину замечательно, если бы заранее разработанные процедуры выведения резюмирующих сюжетных структур оказались в состоянии значимо и красиво справляться со столь же сложными сводами повествований, как те, с которыми имел дело Тойнби.

Очевидно, что конкретные исследования миметической (или «имитационной») адекватности определяются нашей способностью моделировать контекстно-зависимые переписывания сюжета и – в пределах достоверности – тестировать их мобилизующие эффекты. Более того, эти эффекты станут поддаваться научному анализу только при условии надлежащей экспликации синтаксиса, семантики и прагматики человеческого опыта генерирования и понимания повествований. Поскольку многие попытки решить сходную задачу на основе других глубинно-структурных характеристик сюжета увенчались успехом, по крайней мере частично¹, и был достигнут прогресс в конструировании порождающих грамматик повествования для опирающихся на сюжетные единицы резюме [см.: Tonfoni, 1985], мы верим, что в итоге такого рода генеративная апробация

¹ Дж. Миэн [Meehan, б.г.] ссылается на давнюю работу Ш. Клайна из Висконсинского университета в Мэдисоне; кроме того, мы имеем в виду труды П. Уинстона, Б. Катца и их коллег из Массачусетского технологического института [см.: Winston, 1982].

извлеченных из текста сюжетных структур окажется возможной и, вероятно, даст вполне конкретные и поддающиеся обобщению результаты.

Достоинством повествовательно-резюмирующего подхода Ленерт является не только легкость эмпирического сопоставления используемых в нем кодировочных процедур с другими аналогичными методами. Его дополнительное преимущество заключается в том, что сперва вводится открытый для исправлений перечень четко определенных первичных и комплексных сюжетных компонентов, а также сопутствующий набор воспроизводимых процедур для индуктивного составления более или менее интегрированного сюжетного резюме текста конкретного повествования. И то, и другое было полностью представлено в предшествующих публикациях Ленерт, особенно в ее совместной работе с С. Луазель [см.: Lehnert, Loiseau, 1985]. Таким образом, данный подход вполне отвечает пятому и шестому из высказанных нами пожеланий.

Чрезвычайно интересные (и противоречивые) аргументы, выдвинутые Тойнби на основе его собственного нарративного резюме истории Иисуса, делает сам этот схематический текст весьма заманчивым объектом разумной величины для нашей первой попытки провести повествовательное резюмирование. Затем путем более пространного анализа библейских текстов, цитируемых ученым в подкрепление своего резюмирующего изложения, будет исследован вопрос о том, воспроизводимы ли независимым образом резюме Тойнби и наши его кодировки. Тем самым, в конечном счете может быть удовлетворено и последнее из перечисленных выше пожеланий – но только в контексте более широких герменевтических обсуждений.

Первый поиск миметической сюжетной структуры

Первоначальное кодирование истории Иисуса, осуществленное Ленерт

Когда мы обратились к Ленерт с вопросом, нельзя ли закодировать тойнбиевское 87-членное схематическое изложение истории Иисуса, ее ответом стало двоякого рода сотрудничество: она решила не только провести кодирование сама, но и обучить двух других авторов настоящей работы необходимым процедурам, с тем чтобы обеспечить возможность независимого воспроизведения результатов. В данном разделе представлена наша совместная интерпретация первоначальных результатов Ленерт, а в следующем приведен краткий отчет о кодировании Олкера – Шнайдера, дополнивших тойнбиевскую схематическую версию истории Иисуса прочтением цитируемых им библейских текстов.

Используемые процедуры не предполагают различения оттенков эмоциональных состояний; фиксируются лишь грубые различия между «позитивными» и «негативными» событиями, а также ментальными собы-

тиями с нейтральной или нулевой эмоциональной составляющей; вместе с тем эти события маркируются с позиций каждого из включенных в рассмотрение существенно важных акторов. В соответствии с четкими процедурами, описанными в ее работе 1981 г. [см.: Lehnert, 1981], первым кодировочным решением Ленерт стало выделение следующих особых акторов повествования: Бог; существующие (иудейские) религиозные / политические Власти; Герой (Иисус); Массы (жители Иудеи и Самарии), к которым Герой изначально обращается; его Ученики; Предатель (Иуда); Иноземный Властелин (Пилат) и Фанатичный Последователь (Павел), который играет столь важную роль после смерти Героя¹.

Затем был построен результирующий граф из 37 позитивных, 28 негативных и 55 эмоционально нейтральных ментальных состояний, а эти эмоциональные состояния, соответственно, соединены теми пятью видами связей, которые на данный момент допускает анализ по сюжетным единицам: мотивационными (помечаемыми буквой «m»), актуализационными («a»), терминационными («t»), эквивалентности состояний («e») и недифференцированными межличностными (e-связи Ленерт – Луазель, оставленные без маркировки). Таблица 1 отражает синтаксически возможные типы связей и, кроме того, дает мнемонические имена первичным сюжетным единицам, используемым при анализе. Здесь следует заметить, что элементы текста, содержащие лишь описательные подробности (вроде ссылок на царское происхождение героя и его генеалогию), равно как и чисто визуальные его компоненты (тойнбиевские иллюстрации), в кодировочных процедурах Ленерт явным образом игнорировались.

Кодирование эмоциональных состояний и связей между ними требует высокой квалификации, и этот важный этап проведенного Ленерт анализа текста тойнбиевского схематического резюме заслуживает некоторых комментариев. Во-первых, следует подчеркнуть, что при выделении сюжетных единиц делался упор на эмоционально насыщенное и ориентированное на достижение некой цели поведение, сопряженное с личным успехом или неудачей, с межличностным сотрудничеством или соперничеством. Включение в граф любой конкретной связи фактически означает признание того, что в рассматриваемом тексте присутствует первичная сюжетная единица – одна из перечисленных в таблице 1. Именно из таких эмоционально насыщенных и предполагающих ориентацию достижения

¹ Эта терминология, отчетливо выраженная в тойнбиевском резюме, предопределяет те способы, которыми ученый пытается обобщить историю Иисуса и сопоставить ее с другими современными ей героическими историями. Хотя при выделении акторов учитывались некоторые общие принципы (связанные с вероятной ролью данных персонажей как независимых агентов, влияющих на развитие сюжета), принятое Ленерт решение все же заставило нас задуматься о том, не следует ли отдельно закодировать тойнбиевскую роль «Предшественника» (Иоанн Креститель) и ограничить Римских Солдат (как потенциальных будущих христиан и символических членов греко-римского внутреннего пролетариата) от иудейских Масс и Властелина (римского наместника).

цели (affective and purposive) первичных сюжетных единиц на основе заранее установленного списка возможных комплексных единиц конструируются все более сложные сюжетные структуры.

Таблица 1

Первичные сюжетные единицы				
<i>А. Монадические (задаваемые в терминах связей между эмоциональными состояниями одного персонажа)</i>				
M ↓ a + Успех	M ↓ a - Неудача	- ↓ m M Проблема	+ ↓ m M Активация	M ↓ m M Мотивация
M ↑ e M Упорство	+ ↑ e - Двусмысленное благо	- ↑ e + Скрытое благо	- ↑ e - Негативный комплекс	+ ↑ e + Позитивный комплекс
- ↑ t + Решимость	+ ↑ t - Утрата	+ ↑ t + Позитивный компромисс	- ↑ t - Негативный компромисс	M ↑ t M Изменение намерений
<i>Б. Диадические (задаваемые в терминах связей между эмоциональными состояниями двух персонажей)</i>				
? - Негативная реакция	? + Позитивная реакция	- M Внешняя проблема	+ M Данная извне возможность	M M Внешняя мотивация

Во-вторых, исследование показало, что обычный читатель / слушатель привносит в любой новый текст некий набор когнитивных структур высшего порядка или «предельного уровня», используемых при интерпретации данного текста. Поэтому квалифицированный кодировщик должен быть хорошо знаком с рядом сложных сюжетных единиц и искать их в тексте. При аккуратном осуществлении подобного кодирования шансы на успех последующего поиска сюжетных единиц высшего порядка (или более глубоких) возрастают.

В-третьих, при построении графа эмоциональных состояний существует важное грамматическое ограничение, заключающееся в том, что любое отображаемое там конкретное эмоциональное состояние не может соединяться с другими более чем одной исходящей от него или направленной к нему связью каждого из допустимых типов. Неопытные кодировщики часто исчерпывают лимит вариантов для установления некоторых связей (особенно т-связей) до того, как осознают наличие более важных повествовательных сопряжений. В результате им приходится проводить процедуру заново.

Вместе с тем даже многоопытным кодировщикам зачастую приходится делать трудный выбор между несколькими возможными связями, символически предполагаемыми некоторыми текстами. В настоящее время для большинства подобного рода случаев имеются достаточно точные и надежные эвристические и грамматические правила кодирования, однако полностью запрограммированные и проверенные в работе кодировочные алгоритмы отсутствуют. При первоначальных обсуждениях ленертовских правил кодирования (которые Олкер и Шнайдер, прежде чем подступиться к библейским текстам, применили под ее руководством к одной хорошо известной сказке) особенно интересным оказалось для нас то, как е-связи позволяют отображать символически богатые эмоциональные эквивалентности и противоречия. Наиболее важными на этом этапе кодирования были, пожалуй, расхождения в количестве и типах е-связей, следствием которых могли стать серьезные различия в топологической структуре взаимосвязей сюжетных единиц, попадающих в центр внимания на более поздних этапах ленертовского анализа. Поэтому можно говорить о том, что потребность в реалистичной и детальной разработке определенных ограничений (и, возможно, модификации существующих) на использование е-связей, маркирующих эквивалентность состояний, сверх тех, которые отмечены в работе Ленерт и Луазель, все еще сохраняется.

Автоматическое выведение резюмирующей эмоциональной сюжетной структуры

На этом этапе важную роль в нашем исследовании сыграла йельская версия разработанного Ленерт Генератора Графов Сюжетных Единиц (ГСЕ). На основании ранее определенного множества из 45 возможных комплексных сюжетных единиц (по большей части входивших в более детальный перечень комплексных сюжетных единиц, приведенный в Приложении к работе Ленерт и Луазель) компьютерными методами были выявлены все комплексные единицы, содержащиеся в графе эмоциональных состояний рассматриваемого текста. В ленертовской кодировке «Страстей Господних» присутствуют 199 молекулоподобных структур с эмоциональным значением, половину которых (реально – 100) компьютерный алгоритм поиска позднее отнес к «единицам высшего уровня» (т.е. к свободным от доминирования со стороны других единиц).

К счастью для нас, восемь сюжетных единиц высшего уровня, включенных в ленертовскую кодировку истории Иисуса, оказались, как видно из рисунка 1, сопряжены друг с другом, что отражает очевидную повествовательную когерентность стержневых компонентов жизни Христа. Кроме того, были обнаружены еще пять кластеров сюжетных единиц высшего уровня: десять связанных между собой единиц, касающихся действий Фанатичного последователя (Павла); состоящая из семи единиц совокупность взаимоот-

ношений между иудейскими Властями и Властелином (римским наместником); два небольших кластера, затрагивающих Иисуса и его Учеников, и один – Иуду и Учеников. В чем-то нарушающая равновесие (и одновременно – упрощающая ситуацию) раздельность этих кластеров послужила стимулом к добавлению дополнительных е-связей к текущей версии программы ГТСЕ.

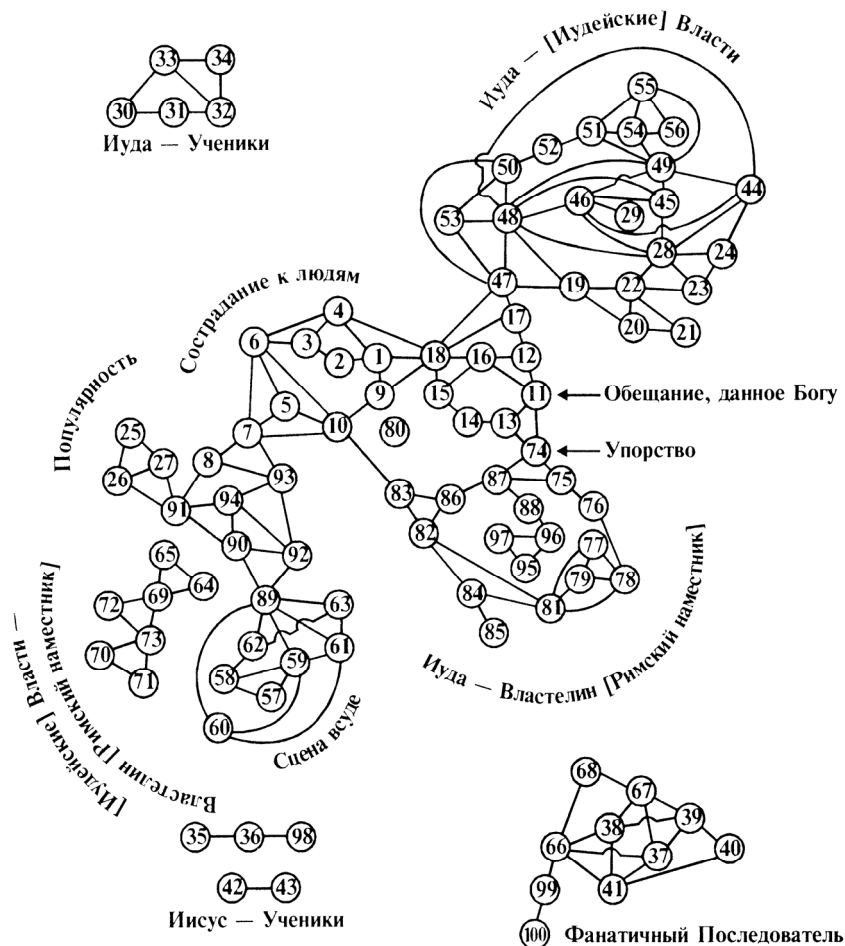


Рис. 1
Страсти Христовы в интерпретации А. Тойнби (шесть кластеров сюжетных единиц высшего уровня в кодировке В. Ленерт)

Что находится в центре главного нарративного кластера, представленного на рис. 1? Содержится ли в этой сложной конфигурации что-либо такое, что можно было бы считать базовой цепочкой мотивационных кодонов¹, «вирусной», крайне инфекционной, самореплицирующейся стержневой молекулярной структурой [Hofstadter, 1983]? Придерживаясь стратегии, разработанной для резюмирования наиболее мотивационно значимых элементов в сложных нарративных структурах, Ленерт выделила три единицы высшего уровня в качестве ключевых – в том смысле, что их исчезновение рассоединило бы более 10% единиц высшего уровня в оставшейся части главного нарративного кластера.

Данным свойством обладают следующие единицы: МОТИВАЦИЯ Иисуса воззвать к массам, РОЖДЕННЫЙ-ИЗ-НЕПРИЯТНОСТЕЙ-УСПЕХ (SUCCESS-BORN-OF-ADVERSITY)² властей, которым все-таки удалось схватить его, и их ВОЗМЕЗДИЕ (RETALIATION) Иисусу за его дерзкие ответы через вынесение ему смертного приговора. Эти единицы с указанием кратчайшего пути между ними выделены на рис. 1 и отрезюмированы в табл. 2. В более дробном и детализированном виде эти три сюжетные единицы (одна атомарная, или первичная, другие молекулярные, или комплексные) представлены на рис. 1 а.

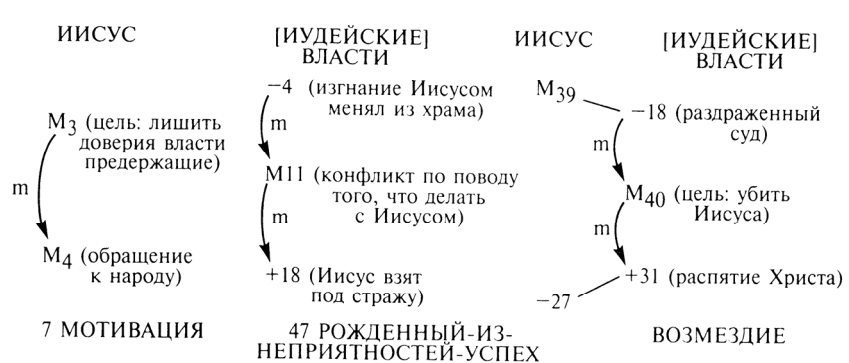


Рис. 1 а

Три ключевые сюжетные единицы в кодировке В. Ленерт

Следующий шаг заключался в поиске кратчайшего пути, связывающего эти ключевые сюжетные единицы, для индуктивного выведения мотивационного ядра эмоциональных сюжетных единиц высшего уровня. Хотя компьютерной программы для проведения такой процедуры пока

¹ Кодон – единица генетического кода, образуемая последовательностью из трех нуклеотидов в молекуле ДНК или РНК. – Прим. перев.

² Более адекватно смысл данного определения, вероятно, передает выражение: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». – Прим. перев.

нет, ее результаты были однозначно детерминированы. Эти крайне многообещающие результаты отражены в таблице 2. Восемь приведенных там сюжетных единиц не только передают суть истории Иисуса, который был послан Богом сразиться с действующими, но незаконными властями, но и указывают на воистину политический характер его конфликта с властями, а также на важную в религиозном (и мотивационном) плане сопряженность его целей с его собственным (несправедливым) распятием. Предание казни, предусмотренной для тех, кто восстает против римских властей, парадоксальным образом обернулось для Иисуса успехом с точки зрения его исходных устремлений, к которым, согласно первоначальной кодировке Ленерт, относилось и стремление быть Спасителем, имеющим религиозных последователей. Особого внимания заслуживает СКРЫТОЕ БЛАГО, ассоциированное с этим актом самопожертвования, – е-связь, соединяющая смерть Иисуса с последующим поклонением ему. Можно предположить, что эта эмоционально мощная особенность Иисусова мифа обнаружится и в других христианских повествованиях, хотя «эгоистический» аспект мученичества вряд ли будет входить в них в качестве бесспорного компонента.

Предварительная оценка полученных результатов

Ленертовская версия глубинной эмоциональной сюжетной структуры героической истории Иисуса оказывается, таким образом, чрезвычайно важным и весьма неожиданным открытием – во всяком случае, для тех, кто обучался в воскресных школах, отодвигавших на задний план радикальные политические интерпретации истории Иисуса. Полученные Ленерт результаты подтверждают те политические и религиозные трактовки христианского мифа, которые подчеркивают легитимированный свыше революционный историко-политический характер содержащихся там рецептов преисполненного смыслом действия, поддающихся воспроизведению, но при этом модифицируемых. Именно поэтому в предыдущем своем докладе мы утверждали, что приблизились к «инфицирующей» стержневой структуре «Иисусова вируса» (термин, подсказанный работой Хофстадтера [Hofstadter, 1983]).

Беглый обзор ряда исторических конфликтов указывает на несколько случаев довольно эффективного использования такого рода рецептов, «вирусных текстов», героических моделей или миметических сюжетных структур: разрыв раннего христианства с иудаизмом; сопротивление первых христианских мучеников римским властям, требовавшим признания императора богом; начальные этапы лютеранской и кальвинистской Реформаций, направленных против продажного папства; противостояние «Солидарности» советско-польской коммунистической партийной ортодоксии. И хотя мы склонны отвергнуть подобную трактовку крестовых

походов (в том числе попытки отвоевать Иерусалим), на ум все же приходят и такие примеры, как «теология освобождения», поддержанное священнослужителями восстание против Сомосы в Никарагуа и резкие выступления многих христианских лидеров против властей, высказывавшихся в период «холодной войны» в защиту ядерных стратегий ведения военных действий.

Эта интерпретация тойнбиевской истории Иисуса с помощью компьютерных методов подтверждает психоаналитическую догадку о том, что религиозные мифы ориентированы прежде всего на развитие супер-эго. Минусы для «ид» (как, например, телесные страдания) сопряжены с моральными и духовными плюсами (скажем, с праведным поведением). В построенном Ленертом эмоциональном графе Иисус обретает духовное вознаграждение в виде посмертного поклонения, что знаменует собой частичное достижение его высших целей. Ленертовское резюме этого графа высвечивает молекулу СКРЫТОГО БЛАГА, чью психоаналитическую значимость мы только что обосновали.

Получив такой результат, мы достигли первого приближения к искомой многогранной миметической сюжетной структуре героической истории Иисуса. И это позволяет нам поставить другие существенные вопросы по поводу только что описанной миметической сюжетной структуры Тойнби – Ленерта. Прежде всего, радикально пуританский характер структуры, представленной в таблице 2, гармонирует с точкой зрения о том, что христианство должно быть более эффективным при оппозиции незаконным властям, нежели при их поддержке. Таким образом, таблица 2 раскрывает суть того, что стало одним из наиболее важных «формирующих сообщество (community-creating) политических мифов» современной эпохи.

Консервативные религиозные мыслители, несомненно, найдут основания, чтобы оспорить такое суждение¹. Э. Вёглин, например, стал бы утверждать, что таблица 2 отражает радикальные взгляды тех пуритан (а также их либеральных и марксистских последователей), которые разделяют «гностическое заблуждение», будто «опыт [революционного] выхода за пределы бытия... отвечает природе человека» [цит. по: McKnight, 1978; Aufrecht, 1978]².

¹ В своей весьма полезной для нас рецензии на первоначальный вариант данной работы А. Вилдавски упрекнул тойнби-ленертовскую интерпретацию в том, что согласно ей в Царствие Небесное войдут только радикалы!

² В передаче С. Макнайта одобрительно цитируемое Вёглином хукеровское ироническое изложение сути пуританства выглядит следующим образом: «Политическое движение инициируется кем-то, у кого есть “дело” (“cause”) и кто стремится осуществить его, привлекая на свою сторону “массы” путем указания на социальное зло и жесткой критики высших слоев общества. Затем он направит враждебность масс против существующего правительства. После того как доверие к этому правительству окажется в достаточной мере подорвано, будет предложена новая форма правления. Пуританин старается изложить свое

Таблица 2

Глубинная структура Иисуса как героя в кодировке В.Ленерт

Связи между сюжетными единицами	Сюжетные единицы (с указанием акторов)	Текстуальное резюме (с указанием релевантных элементов по А.Тойнби)
7*	МОТИВАЦИЯ (Иисус)	Цель лишить доверия власти предержавшие мотивирует его обращение к народу (Т 7, 8, 9, 10)
9	ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ([Иудейские] Власти) СОПЕРНИЧЕСТВО (Иисус против [иудейских] Властей)	Признание их власти мотивирует желание удержать власть (Т 18 и т.п.) Мотивированное, принципиальное и вызывающе дерзкое поведение Иисуса направлено на дискредитацию властей, т.е. соперничает с поведением, которое движимо желанием удержать власть (Т 7, 14, 18 и т.п.)
10		
18	ВОЗМЕЗДИЕ (Бог против [иудейских] Властей)	Недостаточное почтение к Богу, обусловленное признанием незаконных властей, мотивирует Его цель вернуть себе уважение. Его воля исполняется, когда Иисус изгоняет менял из храма (Т 7, 17 и т.п.)
47*	РОЖДЕННЫЙ-ИЗ-НЕПРИЯТНОСТЕЙ-УСПЕХ([Иудейские] Власти)	Действия Иисуса, оскорбляющие власти, приводят к спорам по поводу того, что с ним делать, которые разрешаются посредством взятия его под стражу (Т 17, 18, 49 и т.п.)
89*	ВОЗМЕЗДИЕ ([Иудейские] Власти против Иисуса)	Вызывающие ответы Иисуса мотивируют стремление властей убить его, которое осуществляется с преданием его смерти через распятие на кресте (Т 52, 53, 69, 74)
92	СКРЫТОЕ БЛАГО (Иисус)	Казнь Иисуса компенсируется поклонением ему (Т 69, 74, 76, 83)
93	УСПЕХ (Иисус)	Своевременное обращение Иисуса к народу вознаграждается поклонением ему (Т 10, 76, 83)

* Удаление любого из этих ключевых узлов приведет к разрушению как минимум 10% связей основного графа, представленного на рисунке 1.

Ленертское резюме на основе сюжетных единиц схематического текста Тойнби смыкается с ним еще в одном важном отношении. Тойнби-

“дело” в письменной или печатной форме, дабы завоевать приверженцев, которые это “дело” слепо примут» [McKnight, 1978, p. 53].

Данный пассаж тут же вызывает в памяти «теологию освобождения» и сводное резюме Тойнби – Ленерт, равно как и практику апостола Павла и пуритан. Вместе с тем он далеко не полностью корреспондирует с действиями иудеохристиан (Jewish Christians) [см.: Brandon, 1979], которые сохраняли связи с религиозными властями Иерусалимского храма, веря не в божественность природы Христа, а в то, что он был обещанным еврейскому народу Мессией. Тем не менее, поскольку эта категория христиан открыто поддержала восстание против Рима, инспирированное zealotами через несколько лет после смерти Иисуса, к моменту разрушения Иерусалимского храма (70 г. н.э.) она была полностью истреблена.

евская трактовка Иисуса-героя опускает его воскресение, но зато включает в себя тот факт, что он (подобно другим античным героям) стал в дальнейшем объектом поклонения. В чем-то аналогичным образом крайне инструменталистская, целевая ориентация Йельской школы искусственного интеллекта находит отражение в целевой¹ направленности анализа по сюжетным единицам, который фиксирует скорее то, что Вебер назвал бы рациональностью целей и средств, чем логику абсолютных целей (*logic of absolute ends*). Поэтому Ленерт смогла обойти остающийся спорным вопрос о том, чего добивался Иисус, провоцируя собственное распятие (с психоаналитической точки зрения – это суицидальный мазохизм, тогда как с религиозной – вера в то, что такова Божья воля, и, возможно, в последующее воскресение), постулировав изначальное мотивационное состояние «идеалистических целей», из которого была выведена подцель «борьба с системой». (В кодировке Олкера – Шнайдера, обсуждаемой ниже, Иисусу аналогичным образом приписывается цель «быть Спасителем».) Присутствие в наших независимо выполненных кодировках финальной части истории Иисуса, несмотря на многочисленность несомненно негативных для него событий, молекул «СКРЫТОГО БЛАГА» и «УСПЕХА», указывает на внутренне противоречивый, ориентированный на драматическое развитие ситуации мотивационный комплекс. Однако ни тойнбиевская рамка классической героической истории, ни наши ее кодировки, ни психоаналитические теории не ухватывают в полной мере непостижимой мощи этой драмы. Мы вернемся к обсуждению комической, трагической или трагикомической значимости этих повествовательных развязок в заключительном разделе нашей работы.

**Второй поиск миметической сюжетной структуры.
Кодирование тойнбиевской схемы и связанных
с ней библейских текстов, осуществленное Олкером и Шнайдером**

Выбранные Олкером и Шнайдером «персонажи» тоже во многом отвечали тойнбиевской общей номенклатуре главных ролей во фрейме героической истории, хотя в их состав были дополнительно введены Римские Солдаты и Мать Иисуса в качестве особых, пусть редко появляющихся персонажей. Гораздо более важным было другое. Использование Олкером и Шнайдером цитируемых Тойнби евангельских текстов (при появлении ссылок на несколько библейских источников особое внимание уделялось Евангелиям от Марка и Матфея) означало существенное увеличение размеров созданного ими графа эмоциональных состояний. Свою

¹ В оригинале используется выражение *purposive*, подчеркивающее не столько достижение абстрактной внешней цели, сколько реализацию некоторого внутреннего замысла. – Прим. перев.

роль в этом сыграло и включение в поле анализа тойнбиевских иллюстраций (отброшенных Ленерт на том основании, что в них не отражалось никаких действий) за счет предпосланных им библейских текстов.

Олкер и Шнайдер провели немало часов, обсуждая с Ленерт свои предварительные результаты, и под влиянием ее критики перекодировали в своем графе ряд мест. В конечном итоге был построен граф из 109 позитивных, 57 негативных и 149 эмоционально нейтральных ментальных состояний. Иными словами, полученный граф оказался более чем в три раза объемнее ленертовского; и воспроизвести его в настоящей работе невозможно. Особо следует отметить, что Олкер и Шнайдер создали в пять с лишним раз больше *m*-узлов, чем Ленерт.

Специального внимания заслуживает и тот факт, что в процессе кодирования Олкеру и Шнайдеру удалось довольно естественным образом разбить рассматриваемый текст и эмоциональные взаимодействия в его пределах на ряд содержательно мотивированных частей повествования – сцен, или актов. Иногда эти части оказывались тесно связанными, иногда между ними находилось несколько переходных узлов. Предложенные для этих сцен названия (в последовательном порядке) таковы: Рождество и Крещение; Раннее Пастырство Иисуса; Нападки Властей (Старейшин) и Предательство Иуды; Тайная Вечеря; Гефсимань и Арест Иисуса; (Первый) Суд [Trial] Властей; (Второй) Суд Пилата; (Третий) Суд Толпы; Распятие и Похороны; Исполнение [Fulfillment].

В качестве основы для обсуждения серьезных различий в соответствующих уровнях сложности мы приводим одну сцену, или акт, из истории Иисуса, закодированную двумя разными способами. Воспитанные в позитивизме социальные исследователи видят в подобных сопоставлениях главным образом способ измерения надежности независимого воспроизведения кодировочных процедур. Помня о такого рода соображениях, но не забывая при этом и герменевтический тезис о том, что изменение угла зрения может дать обоснованно разные прочтения одного и того же текста, а также сознавая, что в кодировке Олкера – Шнайдера была использована более богатая текстовая база, мы представляем для сравнительного обсуждения рисунки 2 и 3, каждый из которых отталкивается от текста, приведенного в таблице 3.

В таблице 3 представлены пять элементов сцены допроса и осуждения Иисуса иудейскими Властями, извлеченных из исходного тойнбиевского перечня компонентов обобщенной истории Иисуса, с соответствующими ссылками на Библию. Хотя мы не приводили выписок из Библии, каждому, кто внимательно читал цитируемые тексты, будет ясно, что одному элементу Тойнби обычно сопутствует несколько стихов, часто в чем-то отличных по расстановке акцентов.

Таблица 3

Пять выделенных А. Тойнби элементов, относящихся к суду над Иисусом (с указанием соответствующих ссылок на Библию)

(Т 49)	Героя берут под стражу и в ту же ночь предают импровизированному суду. Матф. xxvi. 57, Марк xiv. 53, Лука xxii. 54, Иоанн xviii. 13, 24
(Т 50)	Враги бессовестно искажают истинное высказывание героя, вкладывая в него крайне дискредитирующий последнего смысл. Матф. xxiv. 1–2, Марк xiii. 1–2, Лука xxi. 5–6 Матф. xii. 6 Матф. xxvi. 60–61, Марк xiv. 57–58
(Т51)	На дознании власти бранят героя за неуважение к суду. Матф. xxvi. 62–63, Марк xiv. 60–61
(Т52)	Когда герою задается вопрос, открывающий перед ним путь к отступлению, тот не использует предоставленную ему возможность, но вместо этого умышленно выбирает вариант ответа, который вызовет максимальное раздражение суда. Матф. xxvi. 63–64, Марк xiv. 61–62, Лука xxii. 66–70
(Т 53)	На основании ответов героя на два контрольных вопроса суд незамедлительно выносит ему смертный приговор. Матф. xxvi. 65–66, Марк xiv. 63–64, Лука xxii. 71

Источник: Toynbee A. A Study of History. – L.; N.Y., 1946. – Vol. 6, part 5. – С. (ii). – P. 392–395.

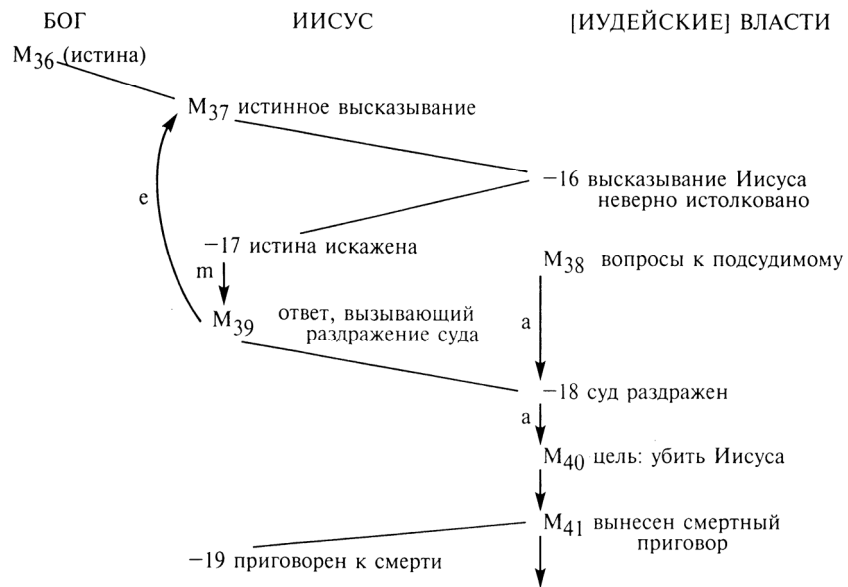


Рис. 2
Сцена первого суда (кодировка В. Ленерт)

Кодировка элемента T51 из таблицы 3 в его сопряжении с другими элементами позволяет обнаружить четко выраженное различие между ленертовской и олкери-шнайдеровской кодировками 87-членной схемы Тойнби. В диаграмме на рисунке 2 Ленерт объединяет презрительное молчание Иисуса (T51) с его отказом опровергнуть утверждение о своей божественной природе (T52), вызвавшим раздражение властей. Согласно ее трактовке этого объединенного действия, такой провоцирующий ответ был мотивирован переживанием Иисусом лжесвидетельства; далее предполагается, что реакцией суда на ответ Иисуса стала новая цель – убить его. Ни одна из этих объединяющих, или мотивационных, связей не представлена в тексте Тойнби в явном виде, хотя каждую из них можно обоснованно из него вывести.

Рисунок 3 отражает довольно отличающуюся от предыдущей концепцию, основанную как на более детальной декомпозиции элементов тойнбиевской схемы, так и на прочтении сопутствующих библейских текстов. Во-первых, обратите внимание, насколько более сценична диаграмма на рисунке 3 (в том смысле, что начальные цели двух главных акторов заявлены в самом начале их взаимодействия). Во-вторых, две трехступенчатые цепочки ментальных состояний (обозначаемые, напомним, знаком «M») соединяют общие «сценические» цели с гораздо более подробным, «трехсерийным» описанием суда над Иисусом. По Марку (xiv. 56; у Матфея упоминания об этом нет), лжесвидетели по большей части опровергали сами себя, давая противоречивые показания, – отсюда состояние «-1», вытекающее (на рис. 3) из состояния «M2» и символизирующее НЕУДАЧУ [иудейских] Властей. Что же касается презрительного молчания, которое демонстрирует Иисус и которое Олкер и Шнайдер точно кодируют, то ни один из цитируемых отрывков из Библии (Матфей xxvi. 62–3, Марк xiv. 60–1) явным образом не указывает на подразумеваемое Тойнби (T51) выражение презрения, упоминая лишь раздражение Властей молчанием Иисуса и их решимость попробовать осудить его другим способом. Несомненно, что мотивация отомстить Иисусу возникает у них задолго до середины этой сцены.

Поединок между Иисусом и Властями занимает центральное место как в ленертовском резюме, так и в расширенной кодировке Олкера и Шнайдера. Обсуждая сцену за сценой, Олкер и Шнайдер делают акцент на мотивационной преемственности между ними. Поэтому они считают, что мотивация Иисуса к подтверждению своей божественности («M9») тоже родилась намного раньше. На рисунке 3 эта связь показана с помощью пунктирной линии, идущей от неких неспецифицированных предшествующих ментальных состояний («ms») к состоянию «M9». В кодировке Олкера и Шнайдера и Иисус, и Власти проявляют настойчивость, упорствуя в стремлении достичь своих целей.

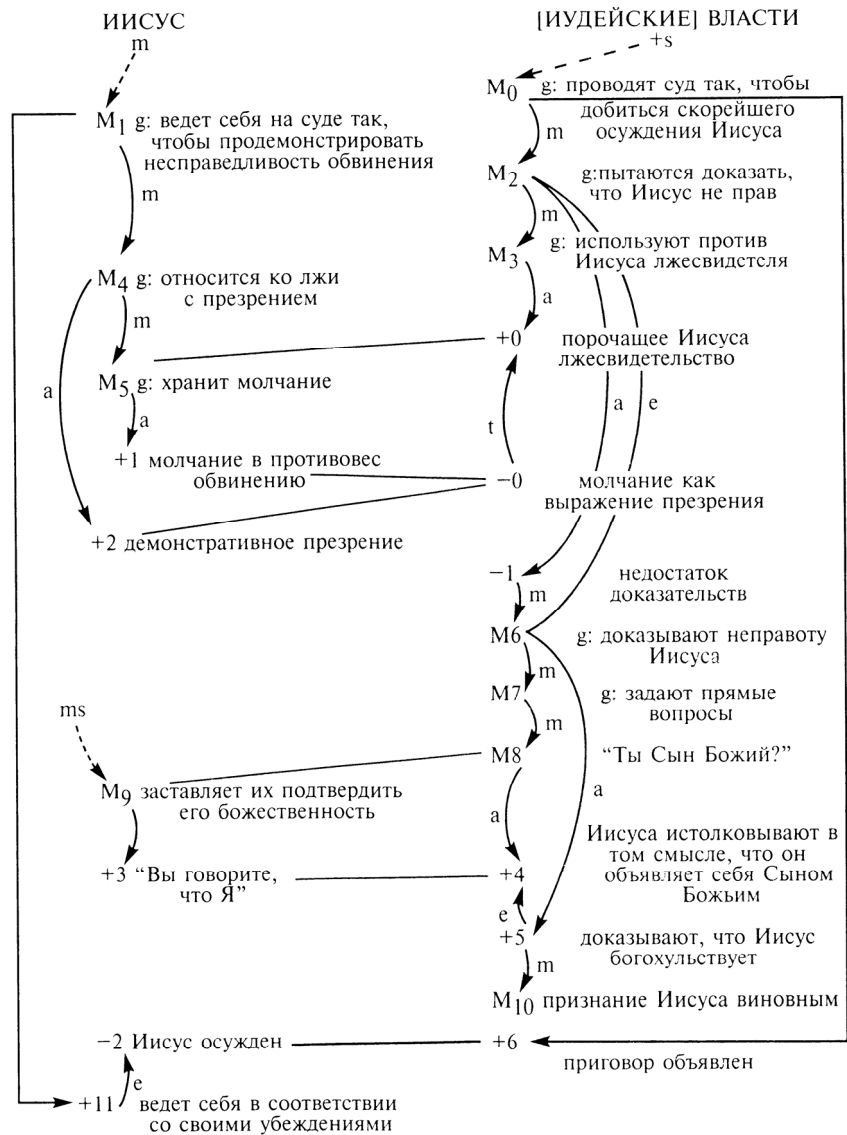


Рис. 3
Первая сцена суда (кодировка Олкера – Шайдера)

Трактовке Олкера – Шайдера присущи и другие свойства драматического произведения. Заметьте, как кодируется обмен аргументами между Иисусом и Властями. Обратите внимание на исключительно мощный риторический ход Иисуса, упомянутый Матфеем (ххvi. 64), но не Марком.

Иисус прерывает молчание словами «Ты сказал», чтобы вынудить власти подтвердить его фамильное родство с Богом, самому не совершив богохульства. Он заставляет своих оппонентов произнести соответствующие слова так, что они указывают на его правоту. В глазах сторонников христианства он «побеждает» в этой сцене, хотя в буквальном смысле и проигрывает (будучи осужден и распят)¹.

Таким образом, успеха добиваются и Иисус, и Власти, но каждая сторона по-своему. Драма антагонистических целей продолжается. Более того, в конце этой сцены (и некоторых других в расширенной кодировке) возникает СКРЫТОЕ БЛАГО для Иисуса. Здесь мы получаем ритуалистическое напоминание об обобщающем резюме евангельского сюжета по Ленерту: за некоей версией представленного там фундаментального антагонизма между Иисусом и властями следует успех этих последних, который Иисус каким-то образом обращает в свою пользу. По крайней мере, в одном отношении рис. 2, несмотря на опущенные там детали, лучше, чем рис. 3, отражает основообразующее качество сводного нарративного резюме Ленерт, приведенного в табл. 2: обе ее кодировки начинаются с посланий от Бога. Некоторые компоненты этого миметического качества, схваченного в ее резюме, похоже, воспроизводятся в отдельных сценах истории Иисуса. Мы поражены глубинной самореплицирующей силы нарративного резюме, которое было создано в результате ленертовской первоначальной кодировки и последующего синтеза².

¹ Согласно С. Брандон [Brandon, 1979], в реальной истории иудейские власти вовсе не обязаны были обращаться к римскому наместнику за утверждением всех смертных приговоров. Так, они могли приговаривать к смерти через побивание камнями за серьезные религиозные преступления. Поэтому центральное место сцены у Пилата в истории Иисуса, скорее всего, объясняется какими-то другими причинами, в частности необходимостью примирить тот факт, что Иисус был подвергнут наказанию (распятию), предусмотренному для политических бунтовщиков, со стремлением христиан обратить в свою веру последователей римской государственной религии. В нашей кодировке сцены у Пилата и ее последствий (далее здесь не обсуждаемой), безусловно, больше положительных связей между христианами и римлянами, чем между христианами и иудеями. Тем самым она во многом подтверждает брандоновскую интерпретацию библейского рассказа о суде над Иисусом в указанных политических терминах.

² Эта монадическая идея основообразующей части, воспроизводящей культурное целое, безусловно, занимает центральное место в иудеохристианских представлениях о божественном порядке и в христианском ритуале причастия. Будучи главной в художественных исследованиях культурных единств, она проявляется при разборе многих эпизодов героических повествований у Тойнби, К. Берка, Дж. Кэмпбелла и др. См., в особенности, слова У. Эко о Супермене: «Сегодня мы видим в его жесте манифестацию универсальной культурной модели, способной обновляться в каждом из своих мельчайших аспектов» [Есо, 1976, р. 35; в оригинале цитируется по-французски].

**Резюме главного связного подграфа Олкера – Шнайдера,
полученное смешанным методом**

Поскольку резюмирование сцены первого суда над Иисусом [см.: Alker et al, 1985, fig. 4–5] дало пробуждающие мысли, но не вполне удовлетворительные результаты, не приходилось рассчитывать, что при применении сходных процедур резюмирования к наибольшему связному подграфу, автоматически выведенному из олкеро-шнайдеровской кодировки всей той-нибиевской версии истории Иисуса, позволит получить нечто равноценное. Следовало ожидать, что более сложные структуры олкеро-шнайдеровского графа также потребуют неких методологических инноваций.

Проблемы, связанные с этим начинанием, были громадными, но удивительная когерентность результатов заставляет нас думать, что игра стоила свеч. Здесь представлено лишь краткое предварительное описание [его итогов]. При первом проходе было идентифицировано не менее 504 сюжетных единиц, 197 из которых были единицами высшего уровня, а 138 входили в главный связный подграф, где в качестве первой и последней единицы выступали УСПЕХ Бога и УСПЕХ Иисуса. Соотношение 138 к 80¹ говорит о структуре, высший уровень которой примерно вдвое сложнее сопоставимой структуры Ленерт, отображенной на рисунке 1. Проведение этого грандиозного анализа с использованием подмножества сложных сюжетных единиц 2.0 ГГСЕ и гибких определений единиц при опущении сложностей, связанных с транзитивностью е-связей, и соблюдении условия Ленерт – Луазель, исключающего трактовку элементарных диадических связей как единиц высшего уровня, потребовало почти двух часов компьютерного времени. Здесь будут представлены его сводные результаты [более пространное обсуждение см.: Alker et al, 1985].

Прежде чем приступить к сюжетному резюмированию, Олкер и Шнайдер воспользовались смешанным методом сценической идентификации. В итоге обнаружилось, что стержневые смысловые единицы должны вычисляться с учетом специфики конкретных сцен (а может, и точек зрения конкретных акторов). Тогда центральное место Пилата в его «большой сцене», а Иисуса – в сцене Распятия будут выглядеть более естественно. Отдельные сцены обычно выделялись исходя из высших уровней их тематической взаимосвязанности. При этом, однако, нередко возникали трудности с определением момента завершения одной сцены и начала (не обязательно синхронного) другой – что-то вроде тех разрывов, которые были зафиксированы Олкером и Шнайдером при исходной маркировке сцен в ходе кодирования истории Иисуса. Представляется, например, что новые сцены часто отграничиваются от старых связями эквивалентности состояний, конституирующими подтверждение целей, и существует уме-

¹ 80 узлов содержит главный связный подграф на рисунке 1. – *Прим. перев.*

ренно сложная переходная последовательность, соединяющая сцены первого и второго судов над Иисусом.

Таблица 4

**Некоторые центральные и переходные сюжетные единицы
в тематическом резюме Олкера – Шнайдера**

Акт и его обозначение	Сюжетные единицы высшего уровня и их основные персонажи
I Ранее пастырство Иисуса	Будучи МОТИВИРОВАН целью быть Спасителем, Иисус пропагандирует новый порядок, требует себе сана Царя Небесного и проявляет УПОРСТВО в своих действиях.
II [Иудейские] Власти жаждут мести	Имея целью уничтожить Иисуса, Власти демонстрируют УПОРСТВО ПОСЛЕ НЕУДАЧИ и устойчивую МОТИВАЦИЮ схватить и осудить его.
III Тайная Вечера	Иисус выказывает УПОРСТВО и МОТИВАЦИЮ в достижении своих целей (быть Спасителем, претерпеть несправедливую жертвенную смерть, готовиться к аресту и смерти).
IV Предательство в Гефсимани	Достижение целей Вечери приводит к ре-АКТИВАЦИИ Иисусовой цели подготовки к аресту и смерти.
V Арест и ПЕРЕХОД	Иуда, преследуя цель заключить «делку» с Властями, оказывает УСЛУГУ ЗА УСЛУГУ, найдя и опознав Иисуса в обмен на 30 сребреников.
VI Суд [Иудейских] Властей и ПЕРЕХОД	Иисус проявляет УПОРСТВО в подготовке к аресту и несправедливой жертвенной смерти.
VII Суд перед лицом Пилата и народа	Власти УБИВАЮТ ДВУХ ЗАЙЦЕВ СРАЗУ, заставив Иисуса подтвердить свою божественную сущность и совершить богохульство; одновременно с реализацией своих целей (вести себя так, чтобы его осуждение выглядело несправедливым и чтобы его действия согласовывались с его убеждениями) Иисус достигает и ВЛЮЖЕННЫХ ПОДЦЕЛЕЙ-2.
VIII Распятие на кресте	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДЦЕЛИ Пилата, заключающиеся в том, чтобы быть добрым правителем, приводят его к признанию Иисуса невиновным и к обращению, в соответствии с обычаем, ко мнению толпы.
	В поведении Иисуса проявляются его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДЦЕЛИ, а именно: быть несправедливо обвиненным, следовать своим убеждениям, претерпеть незаслуженную жертвенную смерть, умереть как подобает Спасителю; дурные предзнаменования во время его казни.

Вводная, промежуточная и итоговая (postscript) темы были идентифицированы с помощью программы качественного поиска критических, или переходных, узлов повествования. При этом критически важной редко оказывалась какая-то отдельная сюжетная единица, гораздо чаще практически полностью отвечающими за фильтрацию, выстраивание последовательности и подтверждение целей высшего уровня представляли две смежные единицы. Иногда «топологически» полезным для определения границ

между сценами оказывалось направление связей между единицами, например, когда они были обращены в самую сердцевину новой сцены. Наконец, в некоторых неоднозначных случаях помогало знание специфического содержания глубинных сюжетных единиц или эмоциональных состояний, выступавшее в качестве последнего средства относительно четкого разграничения сцен. Примерные границы сцен с присвоенными им названиями (в основном аналогичными тем, что вошли в первоначально предложенный список) приведены в таблице 4. Дабы больше гармонизировать с величавым размахом и драматичностью Иисусовой эпопеи, для обозначения основных сцен мы используем слово «акт».

Для идентификации центральных действующих лиц и сюжетных единиц, представленных в таблице 4, были взяты максимально связанные сюжетные единицы в каждом из этих актов; результат оказался на редкость осмысленным. Отвлечитесь пока от сюжетных единиц, помеченных как переходные, и обратите внимание на персонажей и сюжетные единицы в центральной – ядерной, или стержневой – части каждой сцены. При наличии определений сложных молекул (приведенных на рис. 3а) большинство позиций в таблице 4 самоочевидны [см. также: Lehnert, Loisel, 1985].



Рис. 3а
**Некоторые сложные сюжетные единицы
 в кодировке Олкера – Шнайдера**

Отметив, что текст для смысловой молекулы ВЛОЖЕННЫЕ ПОДЦЕЛИ-2, расположенной в крайне правой части рис. 3а, может быть воссоздан из рисунка 3, мы предлагаем читателю, отталкиваясь от приводимых нами деталей, попытаться реконструировать операциональные основы олкеро-шнайдеровского резюме истории Иисуса, представленного в таблице 4. Эти детали расширяют рамки данного резюме вполне ожидаемым обра-

зом. Вместе с тем специфическое содержание сцены Ареста (Акт V) представлено в нем не лучшим образом. В глазах христианина центрообразующим в этой сцене, где звучит, несомненно, одно из самых поворотных, пацифистских высказываний Иисуса: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей xxvi. 52) – опять же оказывается упорство последнего.

Здесь мы отошли от прежней ленертовской структурной сфокусированности на ключевых единицах, дабы учесть те единицы или пары единиц, удаление которых полностью или почти полностью разъединило бы крупные блоки главного связного подграфа. Процедура выявления подобного рода ключевых, или переходных, единиц не была абсолютно строго топологической – при ее проведении принималось во внимание и содержание сюжетных единиц, которые могли трактоваться в качестве таковых.

В комплексной диаграмме поддавались идентификации четыре ключевых, или переходных, узла [см.: Aker et al, 1985, p. 83 ff.]. Обнаружилось (и это весьма примечательно), что каждое из ключевых звеньев касалось упорной, превосходящей самую себя мотивации Иисуса достичь преобразующей ситуацию победы даже в поражении, «выиграть» и умирая унижительной смертью. Таким образом, мы вышли на критически важную для всей истории Иисуса тему воскресения даже тогда, когда (вслед за Тойнби) опустили в ней само Воскресение!

Если бы невероятно упорная мотивация Иисуса в каком-либо из указанных пунктов рухнула, это изменило бы его историю до неузнаваемости. В этом (по меньшей мере), похоже, и состоит сущностное значение ключевых, или переходных, узлов в графе сюжетных единиц высшего уровня. Коль скоро каждая ключевая / переходная единица предполагает устойчивую мотивацию, которая была выведена Олкером и Шнайдером для того, чтобы смонтировать события в рамках конкретной сцены или последовательности сцен, справедливо утверждать, что в этом варианте вычислительной герменевтики человеческие интерпретации кодировки занимают не менее важное место, чем в классическом анализе текста. Тем не менее то поразительное структурное единство, которое подобные мотивации придают сцене за сценой в истории Иисуса, оказалось неожиданным открытием.

Сравнительный комментарий

Насколько различны и насколько сопоставимы приведенные выше интерпретации Тойнби – Ленерт и Тойнби – Олкера – Шнайдера, основанные, соответственно, на таблице 2 и таблице 4? Хотя кодировались не полностью идентичные корпуса текстов, мы все же можем – исходя из заявления Тойнби, что он резюмировал цитируемые им выдержки из Евангелий, – задать вопрос: действительно ли наша вторая кодировка надежно подтверждает первую либо она, напротив, опровергает ее? Или же, в более

герменевтическом ключе, мы можем поставить вопрос о различных интерпретационных перспективах, получаемых при графическом отображении наших когнитивно-эмоциональных представлений. Позволяет ли передача тойнбиевской интерпретации с точки зрения эмоциональных сюжетных единиц сказать что-либо дополнительно о ней самой? Здесь будет уместно сделать несколько замечаний.

В основе обеих интерпретаций лежало предположение, что история жизни Иисуса фактически была его откровением. И это не только онтологическая тенденция программирования на языке LISP в искусственном интеллекте, когда данные могут рассматриваться как процедуры, но и постулат о том, что правильно понятый Иисусов текст был бы, наверное, весьма миметическим во многих, но не во всех ситуациях. Тогда встает более широкая проблема: созвучна ли жизнь Иисуса, как она резюмирована здесь в проактивных, морально суггестивных, эмоциональных терминах или представлена у Тойнби либо в самой Библии, идеям, этическим нормам, иносказаниям, принципам, которые он, насколько можно судить, реально проповедовал?

В качестве некоего приближения при применении ленертовских синтетических резюмирующих процедур возникло то, что мы назвали «вирусным текстом», инфицирующим, способным репродуцироваться в других местах и ситуациях, но требующим иных биологических «хозяев». Олкеру и Шнайдеру действительно удалось найти ряд подобных тематических структур, воспроизводившихся в нескольких независимо закодированных ими сценах, однако копирование не было буквальным: особенно интересно, что, как показано на рис. 3, эти сцены часто завершались СКРЫТЫМ БЛАГОМ и превратным, двусмысленным успехом. Кроме того, следует отметить, что в завершающей части олкеро-шнайдеровского эмоционального графа истории Иисуса присутствуют плюсы и минусы, УСПЕХИ и НЕУДАЧИ, но там нет подлинно синтетического СКРЫТОГО БЛАГА – возможно потому, что из анализа выпущено Воскресение.

Олкеро-шнайдеровская интерпретация, ассоциирующаяся с таблицей 4, отличалась от ленертовской тем, что ее смысловые элементы концентрировались в нескольких местах: 1) в ключевых / переходных молекулах, состоявших обычно из выведенных кодировщиком целей внутри М-состояний; 2) в посценовых резюме (как в табл. 4), которые писались «вокруг» особых содержательных резюме (contentsummaries), связанных с выявленными посредством кластеризующих топологических процедур центральными молекулами, после того как сами сцены были надлежащим образом установлены; 3) в символических названиях, которые, подобно ритуальным остановкам на крестном пути, использовались для обозначения последовательности сцен.

Учитывая сложности, с которыми столкнулись Олкер и Шнайдер при поиске в списке Ленерт – Луазель центральных интерперсональных значимых единиц высшего уровня, способных адекватно резюмировать их версию тойнбиевского повествования, необходимо продолжить работу по

детальному разъяснению культурно-специфических и кросскультурно значимых интерперсональных тем. Пожалуй, можно было бы отказаться от жесткого следования исходной посылке, согласно которой первичные интерперсональные эмоциональные единицы не должны рассматриваться как сущности высшего уровня, или же дать этим единицам более богатые определения (в русле тех соображений, которые будут изложены ниже). Уточнение формулировки кодировочных эвристик, вероятно, могло бы обеспечить построение графических изображений, более тесно корреспондирующих друг с другом, нежели две кодировки первой сцены суда, представленные на рисунках 2 и 3, однако было бы неразумно рассчитывать на достижение полного согласия между кодировщиками относительно самих правил кодирования или получаемых в результате их применения высокоуровневых кодировок. Огромная герменевтическая сила ленертовской процедуры проистекает как раз из ее ориентированности на пробуждение заложенных в человеке сил: и эмоциональные сюжетные отношения, и «вручную» установленные сущностные целевые узлы были вызваны к жизни применявшими ее людьми. Поэтому не следует под предлогом научности ожидать, что в результате кодирования *непрерывно* обнаружатся одни и те же структуры восприятий.

Возникает впечатление более сложной и дифференцированной биохимии миметических эффектов. Ситуация развивается почти так, как если бы в голове Иисуса было все идейное содержание (message) рассматриваемого повествования, да и вся история его жизни: его превосходящие самих себя и возвышающиеся над обстоятельствами обязательства (self-and situation-transcending commitments) занимали центральное место в олкеро-шнайдеровском интерпретационном синтезе. Их, Олкера и Шнайдера, трактовка истории Иисуса была в чем-то интровертнее, духовнее, тогда как ленертовская – экстравертнее и революционнее. И обе эти трактовки отражали особые темы в протестантской социализации авторов. Для полной реализации наших реконструктивно-аналитических целей может понадобиться более масштабное, многомерное богатство рекурсивной самореплицирующейся структуры.

При более глубоком изучении внутренних смыслов жизни Иисуса мы были поражены тем, что ни в одной из основанных на Тойнби кодировок нет эпизода Воскресения. Возможно, проявившаяся в версии Олкера – Шнайдера тенденция к воссозданию этого центрального «тайнства» Иисусовой драмы также говорит о ее большей интерпретационной неоднозначности, допускающей множество различных личностных и исторических толкований. Задумаясь, например, над разнообразием убедительных «христианских» трактовок личностного уровня, отталкивающихся от уроков воскресной школы, которые, вероятно, изобиловали сентенциями и моральными притчами, приписываемыми Иисусу, а также посвященными ему псалмами и отрывками из Писания. Христианских солдат учат, подобно мученикам, идти в бой, не страшась смерти. Больные изумляются чудесной целительной силе Иисуса,

«чуду» второго рождения. Юные любовники узнают свою собственную трансцендентную радость в высказывании «Бог есть любовь». Набожные спортсмены, свершая свои сверхъестественные подвиги, ликующе думают об «огненных колесницах»¹. Радикалы презирают неправедных властителей или помышляют об изгнании менял из храма. Мать, заботящаяся о ребенке-калеке, превозмогает свое горе, воображая себя Марией.

Согласно пиетистской интерпретации истории Христа, Иисус – не просто (или, как сказали бы иные консерваторы, совсем не) революционный политический деятель, поднявшийся над окружающей его действительностью, а, скорее, та фигура, благоговейное подражание которой меняет ритуалистический смысл нашей собственной жизни. Если принять во внимание широкий комплекс социальных и исторических причин, обусловивших взлет и упадок христианства в Америке, подобный довод, функционально говоря, помогает объяснить парадоксальные результаты опросов общественного мнения, упоминавшиеся в начале работы. В свою очередь, сила второй из приведенных выше трактовок заключается в том, что ее сфокусированность на различных формах самопреодоления указывает именно в этом направлении – с учетом тех ограничений, которые накладывают несамореферентные репрезентации значения сюжетных единиц.

В обеих интерпретациях, однако, почти совсем не зафиксировано столкновение мотивов, внутренняя борьба в умах Иисуса и [иудейских] Властей, наличие которой естественно было бы предположить. Несомненно, что драматическая сила рассматриваемой истории, ее способность проникать в своих читателей / слушателей и мотивировать их отчасти обусловлена теми дилеммами принципиального поведения, которые вставляли прежде всего перед Иисусом. Хотя богатство противоречивых целей Пилата (быть справедливым правителем и при этом уживаться с иудейскими властями) и нашло некоторое отражение в олкери-шнайдеровской кодировке сцены Суда перед Пилатом, по отношению к Иисусу упоминания о чем-либо подобном уже по большей части отсутствуют; а в случае иудейских властей их нет вообще. Эмоциональные, внекогнитивные ментальные состояния не в состоянии отдать должное этим порождаемым рефлексией травмам: сюжетные единицы не сочатся кровью.

Особо следует отметить (и это, пожалуй, наиболее важно для политологов), что ни одна из основанных на тойнбиевской схеме трактовок не выявила в истории Иисуса конфликта между кодировкой его *действий* как агрессивных, нацеленных на соперничество, даже злонамеренных и нашей интерпретацией того, что он *говорил*, в особенности политического пафоса его Нагорной проповеди. В частности, нам не удалось в полной мере отразить его сознательное смирение в момент ареста. Его собственное послание – это (по крайней мере отчасти) революционная политика; в то же

¹ Имеется в виду коллизия из своеобразной спортивно-религиозной драмы – фильма режиссера Х. Хадсона «Огненные колесницы» (Великобритания, 1981). – *Прим. перев.*

время содержанием этого послания, до того как оно исторически трансформировалось в конвенциональную религию, было и этическое, жертвенное, революционное ненасилие, вдохновлявшее впоследствии столь несхожие фигуры, как Св. Франциск, Ганди, Мартин Лютер Кинг-мл., Л. Валенса и Б. Акино. Нагорная проповедь включает в себя парадоксальное, но страстное предписание: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфей v. 44). Добавление ЛЕНЕРТ и ЛУАЗЕЛЬ ЖЕРТВЫ к входившим в их изначальный список сложных сюжетных единиц БЛАГОДЕЯНИЮ и ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОМОЩИ хотя и знаменует собой шаг к установлению различных сочетаний эгоистической, самоотверженной и возвышающейся над ситуацией любви, вряд ли исчерпывает тему [в связи с этим см.: Yoder, 1972; Haley, 1969].

Следующие шаги

Выходя за пределы настоящего анализа, мы хотели бы наметить некоторые более общие направления последующей работы. Ни одно из них нельзя назвать очень простым, и все они стимулированы нынешней попыткой обнаружить миметическую сюжетную структуру в ярком религиозно-политическом тексте. Каждое из них предполагает новые шаги в рамках программы искусственного интеллекта, нацеленной на выявление и резюмирование эмоциональных сюжетных единиц. Иными словами, мы помышляем о дальнейшей работе в области компьютеризированной герменевтики. Два предшествующих опыта интерпретации отчетливо показали, что компьютеры могут оказаться весьма полезными на стадиях фокусировки, прояснения, критической оценки и экспликации, но они не в состоянии заменить человека-интерпретатора.

Одно из принципиальных различий между двумя представленными выше интерпретациями заключалось в том, что во второй из них был сделан больший акцент на эпизодной структуре повествования. Грамматические правила, касающиеся последовательностей эпизодов, являются ядром современных грамматик повествования. Поэтому, чтобы иметь возможность отличать «синтаксическое» содержание от «семантического», выделять формально и субстантивно важные переходные сюжетные единицы, видимо, необходимо соединить эти правила с сущностно ориентированным подходом, предполагающим анализ по сюжетным единицам. Это могло бы нам, например, справиться со сложной проблемой определения границ между эпизодами, с которой мы столкнулись на подготовительном этапе олкеро-шнайдеровского анализа. Вероятно, был бы уместен синтез двух подходов к организации памяти и пробуждению в ней нарративных воспоминаний – по крайней мере для некоторых целей [Black, Wilensky, 1979, p. 213–229; Mandler, Johnson, 1980, p. 305–312].

Возможности рекурсивного переписывания

В вышеприведенном обсуждении нам часто приходилось распутывать структуры последовательных и вложенных целей, дабы добраться до содержания глубинных смысловых или эмоциональных атомов. Было бы интересно посмотреть, можно ли сделать используемые при этом поисковые операции более рекурсивными, с частично определенными молекулами, имеющими не вполне специфицированные «слоты», которые бы заполнялись в процессе пополнения выведенных значений. Не исключено, что это позволило бы уменьшить разнообразие независимо выделенных сюжетных единиц в приложении к работе Ленерт – Луазель. Конечно, здесь может возникнуть множество вычислительных сложностей, но идея заслуживает изучения [Abelson, Reich, 1969].

Иногда выводные значения, обнаруженные посредством стандартных процедур резюмирования, требуют осмысления всей рассматриваемой сцены. При описании миметических сюжетных структур отмечалось, что они могут порождать новые интерпретации в некоторых, но не во всех новых контекстах. Однако для реализации такой возможности тоже нужна определенная способность к рекурсивному переписыванию. Мы подозреваем, что при наличии некоего мотивационного «вирусного текста» удачные программы генерирования повествования в конце концов «научатся» самореференциальным образом осуществлять рефлексивное самопереписывание.

Следует, однако, добавить, что, как показали наши предварительные изыскания, основополагающие идеи, составляющие ядро важных религиозно-политических текстов, с трудом и далеко не полностью поддаются подобным усилиям. Плодотворная символическая неоднозначность помогает мимесису через различных людей и в различных контекстах. Религиозная вера и приверженность политической законности отнюдь не обязательно нейтральны в содержательном плане (content-free). Остается проблема адекватного отображения морального, когнитивного и эмоционального содержания, осложненная необходимостью установить, какие ситуационные особенности помогают внушать, вызывать к жизни трансцендентные, приспособленные для коллективного использования сценарии действий или предотвращать их появление.

К более богатой эмоциональной таксономии различных возможностей сюжетного воплощения

Одна из сильных сторон ленертовских формализмов заключается в том, что они, похоже, часто отслеживают те потаенные дефекты, те целевые и эмоциональные особенности, которые организуют наши воспоминания. Кроме того, ее метод помогает отыскивать морально или политически

«заряженные» тексты, связанные с эмоциональными и когнитивными состояниями, имеющими первостепенное, критически важное значение для последующих действий. Полученные результаты допускают множественные толкования, и в этом смысле они миметически неоднозначны, но герменевтически и практически надежны.

Задумавшись, например, над той центральной ролью, которую играет молекула СКРЫТОГО БЛАГА в столь многих христианских рассказах – включая рассказ О’Генри «Дары волхвов», каким он предстает из анализа Ленерт [Lehnert, 1981]¹. Выше мы предложили несколько различных вариантов того, как религиозные или политические процессы самопреодоления и / или преобразования ситуации могут увенчиваться успехом и в дальнейшем интерпретироваться именно в терминах успеха. Но в условиях, когда структурные репрезентации во многом определялись цепочками неослабных – вложенных и последовательных – целей, было сложно *содержательно* дифференцировать эмоциональные сюжетные единицы.

Еще одна проблема возникла, когда мы попытались на языке эмоциональных сюжетных единиц установить, является ли история Иисуса «трагедией», «комедией» или (если в финале представлены комплексные эмоциональные состояния ДВУСМЫСЛЕННОГО либо СКРЫТОГО БЛАГА) «трагикомедией». Удалось ли нам адекватно определить эти жанровые категории в терминах эмоциональных сюжетных единиц? Подозреваем, что нет. Вспомните гипотезу Рикёра о наличии такого измерения «сюжетного воплощения», где комедии отличаются от трагедий, сатир и романтической литературы. Как приспособить к нашим целям последние две категории?

В поиске ответов на эти вопросы может оказаться полезным рисунок 4, в основу которого положен осуществленный П. Хернади синтез литературоведческих работ по поэтике «жанров». Синтез этот опирается на идеи некоторых из тех теоретиков литературы, на которых ссылается Рикёр. Позвольте нам объяснить этот рисунок, а затем предложить использовать его в последующих исследованиях эмоциональных сюжетных единиц.

Рисунок 4 легко поддается интерпретации в переводе на язык смеющихся и плачущих масок древнегреческих комедии и трагедии при различении смеха или плача с кем-то, с одной стороны, и смеха над кем-то и плача по кому-то – с другой. Так, Аристотель в своей «Поэтике» характеризует трагедию с точки зрения оппозиции и синтеза эмоций, связанных с плачем с кем-то (страх) и плачем по кому-то (жалость). Провести такие различия при использовании нынешних методов кодирования по сюжетным единицам или правил анализа невозможно, не добавив по меньшей мере еще одно измерение.

¹ Изложение и интерпретацию этого анализа см.: Цымбурский В.Л. Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // Настоящее издание. – Прим. ред.

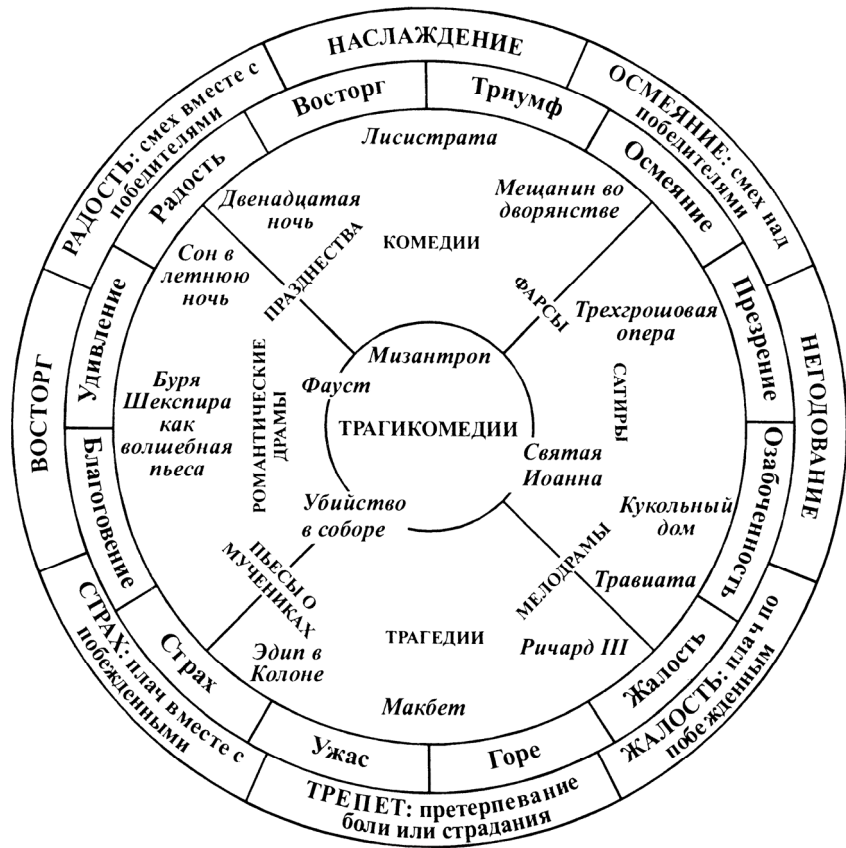


Рис. 4
Непрерывная классификация драматических жанров с точки зрения эмоционального отклика аудитории на их развлекательские обязательства

Пояснение. Вертикальная ось отделяет то, что доставляет удовольствие, от того, что неизбежно приносит страдание, исходя из самоутверждающей ориентации на долговечность. Горизонтальная ось задает ориентацию на самопреодолевающую приверженность изменениям. Справа расположены пьесы, в которых предложены (или подразумеваются) рецепты корректирующих социальных или политических действий, слева – те, которые направлены на поиск личного или религиозного самопреодоления.

Источник: Рисунок построен на основе материала работы: Hernadi P. Entertaining commitments: A reception theory of literary genres // Poetics. – Amsterdam, 1981. – Vol. 10. – P. 195–211.

Несколько по-иному эксплицировать основу хернадиевской непрерывной таксономии вариантов эмоциональной притягательности драматических произведений, а следовательно – и самих этих произведений, можно следующим образом. Представьте себе кого-либо, получающего удовольствие или переживающего лишения, т.е. находящегося в позитивном («+») или негативном («–») эмоциональном состоянии. Используя политическую терминологию, это различие можно описать как различие между «победителями» и «побежденными», которые обычно (но не всегда) выступают в паре. Как вы, читатель, определите свою позицию по отношению к этим двум сторонам? С кем вы солидаризуетесь – в принципе или в каком-либо конкретном случае – с победителями или с побежденными? Если вы отождествляете себя с победителями, довольными, счастливыми, то поместите себя в верхнюю половину круга; но ежели вам ведомы боль и страдания (хочется надеяться, облагораживающие), выпадающие на долю побежденных, ваше место – в нижнем полукружии.

Теперь спросите себя, как вообще, в самых общих чертах относитесь к победителям и побежденным: любите ли вы их, разделяете ли их счастье и радость или же вы их ненавидите, презираете и испытываете к ним отвращение? Там самым будет введено второе измерение эмоциональной ориентации. В описании Хернади это измерение является в высшем смысле религиозным и политическим. Революционная приверженность изменению мира как одна крайность противостоит почтительным, конформистским религиозным или личностным переоценкам самих себя; и обе эти позиции сопряжены с самопреодолевающим (и, потенциально, преобразующим ситуацию) изменением. Это разграничение удивительно созвучно, если не идентично, той теме, которая обозначилась у нас в ходе сравнительного обсуждения разницы в акцентах в анализе Ленерта и Олкера – Шнайдера.

Непрерывно сменяющим друг друга сочетаниям того, что Хернади обобщающе определил как страх, жалость, радость и осмеяние, обязаны своим появлением все двенадцать эмоциональных состояний, или настроений аудитории, отображенных на рисунке. Обычный анализ по сюжетным единицам и близко не подходит к такому богатству координат, ибо имеет дело только с одной (вертикальной на этом рисунке) осью удовольствий-лишений.

На наш взгляд, описанные нами двусоставные эмоциональные состояния позволяют распознавать различные типы миметического сюжетного воплощения. В свете эмоциональной таксономии, представленной на рис. 4, перечитайте, например, приведенный выше список персональных «воскресений» – от солдата, преодолевающего страх, до матери, преодолевающей отчаяние, вызванное тем, что ее ребенок оказался калеккой. Сам Хернади классифицирует в указанных терминах многие квазирелигиозные драматические произведения; названия этих и некоторых других пьес приведены на рисунке 4 с целью проиллюстрировать такое прочтение драматиче-

ской литературы. Таким образом, поединки Фауста с дьяволом, мученичество Эдипа, наполненная чудесами и весьма католическая Шекспирова «Буря», радикальная и сатирическая «Святая Иоанна» Шоу могут быть проанализированы с точки зрения характерных для них эмоциональных посылов.

Как и большинство других великих эпоей, история Иисуса является трагикомической, содержащей важные элементы трагедии, комедии, социальной или политической сатиры и романтического сочинения. Прочтенная как драма, она предлагает большое разнообразие конкретных сюжетных воплощений. Непреходящие смыслы Иисусова СКРЫТОГО БЛАГА, безусловно, допускают все эти интерпретации. Неоднозначность этой истории с точки зрения моральных норм, ее развлеченческая и убежденческая притягательность (термины Хернади) способствуют ее отображению на все квадранты схемы Хернади – на празднества, равно как и на пьесы о мучениках, на сатиры и романтические сочинения. Можно было бы предположить, что представленная выше интерпретация Тойнби – Ленерт относится скорее к сфере социальной и политической сатиры, тогда как интерпретация Тойнби – Олкера – Шнайдера, в чем-то более трагикомическая по своему суммарному воздействию, больше походит на фаустианский роман. В некотором смысле сродни фаустианскому роману и сама наша исследовательская деятельность: наше «развлеченческое обязательство» [entertaining-commitment] заключалось в том, чтобы объединить Прометееву науку (искусственный интеллект или компьютерный анализ текста) с невыразимостью любви, эгоистической и возвышающейся над собой.

Мы были в достаточной степени воодушевлены и одновременно посрамлены приведенными выше результатами, чтобы наметить на этих нескольких последних страницах направления дальнейшего развития и углубления нашего анализа. Наше унижение усугублялось осознанием того, что философы-герменевты давным-давно очертили общие контуры того интерпретационного пути, на который мы ступили. В лучшем случае, мы можем надеяться на то, что нам удалось найти способы, позволяющие в более точной и поддающейся эмпирической проверке манере определять многообразие такого рода интерпретаций. Взыскуя объективных методов, которые могли бы подтвердить общность интерпретаций, Дильтей утверждал, что конечная цель герменевтики заключается в том, чтобы проанализировать исходную точку любых возможных правил понимания [Makkreel, 1975, p. 259]. Именно этим мы и занимались, разрабатывая и применяя лексику и грамматику анализа по сюжетным единицам. Более того, без малого век назад Дильтей, развивая свою мысль, отмечал: «Если мы хотим, чтобы объяснение приносило максимально возможный результат для нашего знания духовного мира, важнее всего подтвердить обоснованность этой формы в ее автономии. Драматическое представление состоялось... После этого объяснение обращается на контекст сюжета, на характеры протагонистов, на комбинацию тех моментов, которые предопределили

изменение судьбы» [Makkree], 1975, p. 327]. Как же близко наше собственное понимание вычислительной герменевтики подошло к такой точке зрения!

Предлагаемые нами дальнейшие шаги обусловлены как ощущением того, что анализ сюжетных единиц действительно эффективно вскрывает основные и даже порождающие смыслы в широком разнообразии нарративных текстов, так и осознанием его нынешних недостатков. Его грубые эмоциональные разграничения и упрощенная комбинаторная грамматика при отсутствии конкретного когнитивного содержания в правилах автоматической обработки ограничивают точность, на которую могут уверенно претендовать резюме типа представленных на рис. 4 и в табл. 2 и 4. Но с учетом того более глубокого понимания, которого мы добились, создавая и пересматривая приведенные выше интерпретации, мы с энтузиазмом смотрим на дальнейшую работу в области вычислительной герменевтики и приложение ее усовершенствованной методологии к кросскультурным контекстам¹. С помощью подобных исследований могут быть более точно (и эмпирически) установлены масштабы, разнообразие и пределы тех форм, в которых морально-политически-религиозные образцы тойнбиевской классической средиземноморской культуры, или цивилизации, продолжают наполнять смыслом жизни наших современников.

Литература

- Abelson R.P., Reich C.M.* Implication Molecules: A Method for Extracting Meaning from Input Sentences // *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence / Walker D.E., Norton L.M. (eds.)*. – Boston, 1969.
- Alker H.R., Jr.* Fairy Tales, Tragedies and World Histories: Towards Interpretive Story Grammars of Possibilist World Models // *Bihaviormetrika*. – 1987. – Vol. 21.
- Alker H.R., Jr., Lehnert W.G., Schneider D.K.* 1985. Two Reinterpretations of Toynbee's Jesus: Explorations in Computational Hermeneutics. – Tonfoni G. (ed.) *Artificial Intelligence and Text Understanding: Plot Units and Summarization Procedures. Quaderni di RicercaLinguistica* 6. Turin.

¹ В этом отношении наиболее важным для нас был, пожалуй, интерес со стороны А. Вежбицкой, лингвиста из Австралийского национального университета. В ходе глубокого, но еще не окончательного исследования элементарных значимых единиц (семантических примитивов) в различных культурных сообществах она и ее сотрудники идентифицировали как языковые универсалии, так и специфические культурные особенности, выраженные в этих первотерминах [Wierzbicka, 1992 a,b]. Во время встречи с Олкером в августе 1993 г. Вежбицкая выразила желание попытаться представить идейный смысл истории Иисуса или хотя бы некоторых из его речей через собственную универсалистскую версию кросскультурных когнитивно-эмоциональных языковых примитивов. Полученные ею результаты подтверждают (с кое-какими интересными модификациями) ряд заключений Р. Шенка. В своих усилиях по выражению культурно-специфических чувств и нравов в терминах универсально применимого концептуального языка Вежбицкая следует лебницианскому образцу, что не может не вызвать восхищения у адептов вычислительной герменевтики.

- Aufricht H.* 1978. A Restatement of Political Theory: A Note on Voegelin's «The New Science of Politics». – McKnight S.A. (ed.) Eric Voegelin's Search for Order in History. Baton Rouge, L.
- Bettelheim B.* 1977. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. N.Y.
- Black J.B., Wilensky R.* 1979. An Evaluation of Story Grammars. – Cognitive Science, vol. 3.
- Brandon S.G.* 1979. The Trial of Jesus of Nazareth. N.Y.
- Briggs K.A.* 1983. Gallup Poll Finds Image of Jesus Somewhat Murky. – N.Y. Times, 3.04.
- Eco U.* 1976. Le Mythe de Superman. – Communications, vol. 24.
- Edelman M.* 1967. The Symbolic Uses of Politics. Chicago.
- Galtung J.* 1980. Western Social Cosmologies. Cambridge, MA.
- Haley J.* 1969. The Power Tactics of Jesus Christ and Other Essays. N.Y.
- Hofstadter D.R.* 1983. Metamagical Themes: Virus-Like Sentences and Self-Replicating Structures. – Scientific American, vol. 218, № 1.
- Johnson J.T.* 1975. Ideology, Reason, and the Limitation of War. Princeton.
- Johnson J.T.* 1981. Just War Tradition and the Restraint of War. Princeton.
- Lehnert W.G.* 1981. Plot Units and Narrative Summarizations. – Cognitive Science, vol. 4.
- Lehnert W.G., Black J.B., Reiser B.J.* 1981. Summarizing Narratives. Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Intelligence. Vancouver.
- Lehnert W.G., Alker H.R., Jr., Schneider D.K.* 1983. The Heroic Jesus: The Affective Plot Structure of Toynbee's «ChristusPatiens». – Burton S.K., Short D.D. (eds.) Proceedings of the Sixth International Conference on Computers and the Humanities. Rockville.
- Lehnert W.G., Loisel C.* 1985. Plot Unit Recognition for Narratives. – Tonfoni G. (ed.) Artificial Intelligence and Text Understanding. Quaderni di RicercaLinguistica 6. Turin.
- Makkreel R.A.* 1975. Dilthey: Philosopher of the Human Studies. Princeton.
- Mandler J.M., Johnson N.S.* 1980. On Throwing Out the Baby with the Bathwater: A Reply to Black and Wilensky's Evaluation of Story Grammars. – Cognitive Science, vol. 4.
- McKnight S.A.* (ed.) 1978. Eric Voegelin's Search for Order in History. Baton Rouge, L.
- Meehan J.R.* (6.r.). Using Planning Structures to Generate Stories. – American Journal of Computational Linguistics, Microfiche 33.
- Pagels E.* 1979. The Gnostic Gospels. N.Y.
- Ricoeur P.* 1981. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge.
- Ricoeur P.* 1983. Temps etrecit. Paris.
- Rumelhart D.F.* 1975. Notes on a Schema for Stories. – Bobrow D.G., Collins A.M. (eds.) Representation and Understanding. N.Y.
- Rumelhart D.F.* 1977. Understanding and Summarizing Brief Stories. – Laberge D., Samuels S. (eds.) Basic Processing in Reading, Perception and Comprehension. Hillsdale.
- Schank R.C., Abelson R.P.* 1977. Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale.
- Tonfoni G.* (ed.) 1985. Artificial Intelligence and Text Understanding: Plot Units and Summarization Procedures. Quaderni di RicercaLinguistica 6. Turin.
- Toynbee A.* 1946. A Study of History. Vol. VI, Part V.L., N.Y.
- Wierzbicka A.* 1992 a. Defining Emotional Concepts. – Cognitive Science, vol. 16.
- Wierzbicka A.* 1992 b. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. N.Y.
- Winston P.H.* 1982. Learning New Principles from Precedents and Exercises. – Artificial Intelligence, vol. 19.
- Yoder J.H.* 1972. The Politics of Jesus. Grand Rapids.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЦИЯ

И.М. Локшин

20 ЛЕТ ДИСКУССИИ ОБ ОБНОВЛЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ОБЗОР)

Нынешний выпуск «Библиографической лоции» посвящен обзору четырех монографий, написанных авторами с мировой известностью и вызвавших большой резонанс в академических кругах. Три из них непосредственно связаны с дискуссией по проблеме обновления методологии современных социальных наук и рассматриваются как более или менее удачные попытки внести вклад в это обновление. В них также отражены особенности критического контекста, в котором происходит формирование и развитие методологических новаций. Включенная в обзор четвертая работа – монография Джона Геринга – пытается очертить круг «минимального согласия» по вопросам методологии в современных социальных наук.

King G., Keohane R., Verba S.

**Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. –
Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.**

Книга Гэри Кинга, Роберта Кеохэйна и Сиднея Вербы (ниже для краткости мы будем сокращать имена авторов до аббревиатуры ККВ) «Designing Social Inquiry» (в дальнейшем – *DSI*) имела в западном академическом сообществе большой успех, но при этом вызвала мощную волну критики. Такой противоречивый прием *DSI* был обусловлен как задачей, которую ставили перед собой авторы, так и выбранным ими способом ее решения.

Уже несколько десятков лет в общественных науках продуктивно применяются два методологических подхода; один из них основан на качественных методах исследования, а другой – получивший широкое распространение после бихевиоралистской революции 1950-х годов – на количественных методах. Оба подхода имеют явные преимущества и

недостатки, и потому одно из важных направлений в современных науках об обществе в целом – это попытка синтезировать качественные и количественные методы и / или преодолеть их ограничения. *DSI* преследует именно такую амбициозную цель.

Основная идея книги *ККВ* заключается в том, что и количественные, и качественные методы в главном фундаментально схожи: они пролагают путь к строгому научному знанию, и поэтому исследовательский дизайн, применяемый в границах этих подходов, на глубинном уровне может быть одинаковым. Авторы пытаются применить к двум научным традициям, до сих пор существующим во многом обособленно, одну и ту же логику научного вывода и показать плодотворность применения этой единой логики.

Спорный тезис, выдвигаемый *ККВ*, состоит в том, что универсальная логика и проистекающий из нее универсальный исследовательский дизайн должны быть большей частью заимствованы из количественных (говоря конкретнее, статистических) методов.

Ниже мы раскроем основные, с нашей точки зрения, положения *DSI* (полезность каждого из которых будет ясна сама по себе) и наметим критику этих положений.

Начало книги в основном посвящено определению критериев хорошего исследования с точки зрения выдвигаемой авторами единой логики научного вывода. *ККВ* обсуждают такие темы, как исследовательский вопрос, теория, качество анализируемых данных и характеристики оценок влияния объясняющей переменной на зависимую.

Конкретных рецептов для интересного исследовательского вопроса, как справедливо отмечают авторы, не существует; однако они приводят несколько эвристических приемов, которые могли бы помочь в поиске «хорошей» проблемы исследования. В частности, авторы предлагают обращать внимание на сомнительные допущения, искать в теориях лакуны, проводить параллели и аналогии между предметами возможных исследований и т.д. [King, Keohane, Verba, 1994, p. 16–17].

Кроме того, *ККВ* выделяют несколько характеристик «хорошей» теории. Она должна: 1) быть фальсифицируемой; 2) иметь как можно больше наблюдаемых следствий; 3) быть максимально конкретной [King, Keohane, Verba, 1994, p. 19–20].

Эти признаки дают понять, что авторы *DSI* во многом полагались на философию науки Карла Поппера [Popper, 2005]. В сущности, за точку отсчета здесь принимаются естественные науки (или, скорее, идеальное представление о них), и в этом смысле проект *DSI* призван приблизить социальные исследования к дисциплинам, добывающимся очень конкретного и строго обоснованного знания. Данный взгляд, во многих отношениях безусловно плодотворный, имеет импликации и иного свойства. Во-первых, погоня за как можно большей строгостью вывода может негативно сказаться на других компонентах научного исследования, например

резко сократить число релевантных наблюдений, если большая их часть по каким-либо причинам не удовлетворяет жестким допущениям – жестким именно в силу стремления выстроить строгий дизайн исследования.

Во-вторых, признание в качестве единственной легитимной цели обнаружения новых (или подтверждение уже известных) причинно-следственных связей заставляет вспомнить, что факты или явления желательны не только объяснять, но и понимать. Взгляд на явление с новой точки зрения часто предполагает помещение его не в цепь наблюдаемых причинно-следственных отношений, а в совершенно иной порядок зависимостей и связей. Без такого «особого» взгляда, например, едва ли существовала бы политическая теория. Возможно, затянувшееся «молчание» последней (длящееся уже десятилетия отсутствие в этой области идей, открывающих новые горизонты) отчасти обусловлено решительным перемещением акцента с открытия не замеченных прежде путей понимания явлений на формулирование и проверку фальсифицируемых теорий – на объяснение по образцу естественных наук.

В *DSI* отмечается, что неотъемлемый компонент хорошего исследования – высокое качество данных, на которых оно построено. Так, важно описывать процесс, посредством которого были получены данные [King, Keohane, Verba, 1994, p. 23]; собирать информацию о наблюдаемых следствиях из теории [King, Keohane, Verba, 1994, p. 25]; повышать валидность и надежность данных; обеспечивать воспроизводимость исследования – прежде всего через размещение данных в открытом доступе или их подробное описание [King, Keohane, Verba, 1994, p. 26].

Далее авторы вводят два заимствованных из математической статистики концепта, характеризующих качественное использование данных: «несмещенность» (это означает, в трактовке ККВ, что полученный вывод «верен в среднем» [King, Keohane, Verba, 1994, p. 27]) и «эффективность» (которая, в интерпретации авторов, определяется использованием всей доступной информации для получения вывода [King, Keohane, Verba, 1994, p. 28]).

Выделение признаков «хорошего» исследования, предпринятое в *DSI*, без сомнения, полезно: обобщение и стандартизацию правил грамотной научной работы в общественных науках в целом и в политологии в частности можно только приветствовать. Однако не все рекомендации ККВ в одинаковой степени несомненны: если не сообщается процедура сбора данных и не обеспечивается воспроизводимость исследования, научный труд можно заподозрить в некоторой недобросовестности, но если он выполнен не по стандартам, пусть и понимаемым широко, статистических методов, это едва ли многое говорит о его качестве.

Последнее наше замечание кажется особенно справедливым при рассмотрении основополагающего элемента *DSI* – трактовки причинности.

Вопрос, которым задаются авторы книги, – это вопрос о том, чем определяется (и в количественном, и в качественном подходах) вывод стро-

гого научного знания, какова универсальная «логика умозаключения» («logic of inferences») [King, Keohane, Verba, 1994, p. IX]. Поэтому проблема причинности оказывается для Кинга, Кеохэйна и Вербы центральной.

Как ясно из сказанного выше, ККВ заимствуют трактовку причинности, сформировавшуюся внутри количественной парадигмы: «Эффект, который оказывает причина, есть разница между систематическим [*неслучайным, воспроизводимым*. – И.Л.] компонентом наблюдений [*имеются в виду наблюдаемые реализации зависимой переменной*. – И.Л.], когда объясняющая переменная принимает одно значение, и систематическим компонентом схожих наблюдений, когда объясняющая переменная принимает иное значение» [King, Keohane, Verba, 1994, p. 81–82].

Несмотря на интуитивную естественность этого определения причинности, едва ли верно считать его исчерпывающим. На основе работ Рубина [Rubin, 1974, p. 688–701] и Холланда [Holland, 1986, p. 945–960], а также «методов» умозаключений, сформулированных Джоном Стюартом Миллем [Милль, 2011, с. 310–324], так понятая причинность может быть надежно установлена разве что в вымышленном мире – настолько трудно соблюсти необходимые для этого допущения [King, Keohane, Verba, 1994, p. 91–97]. Во многом благодаря своей строгости и точности, а также близости к идеалам естественных наук, в которых возможен контролируемый эксперимент, такая интерпретация причинности приобрела особый статус и в науках общественных. Однако это еще не указывает на ее исчерпывающий характер.

Любопытно, что ККВ упоминают иные модели причинности, но только для того, чтобы показать: они не входят в противоречие с «основной» моделью [King, Keohane, Verba, 1994, p. 85–91]. Между тем альтернативы заслуживают более пристального внимания. Так, идея прослеживания причинного механизма («causal mechanisms» и «process-tracing») играет особенно заметную роль в традиции качественных исследований, при этом существенно отличаясь от модели причинности, популяризируемой ККВ; отличие это столь глубоко, что даже элементы информации, на которых строятся выводы в этих двух моделях, различны: в количественном подходе это «наблюдение из базы данных» («data-set observation»), а в качественном – «наблюдение о процессе причинности» («causal-process observation») [Collier, Brady, Seawright, 2004, p. 252–256]. Однозначный акцент на традиции количественных исследований привел к тому, что прослеживание причинного механизма осталось в *DSI* без внимания.

Другой подход к причинности, о котором в рассматриваемой книге есть лишь упоминание, подчеркивает множественность констелляций факторов, необходимых и / или достаточных для того или иного исхода (в терминах ККВ – для того, чтобы зависимая переменная принимала то или иное значение). Эту множественность способен учесть метод QCA (qualitative comparative analysis), разрабатываемый Чарльзом Рэгином [Ragin, 2008]; кроме того, QCA оценивает не изолированный эффект объясняю-

щего фактора на зависимую переменную, а совместное воздействие на нее набора предикторов; такая постановка задачи не вполне традиционна для конвенционального количественного анализа, и хотя технически в границах последнего она выполнима, QCA предоставляет для этого более простой (хотя и более грубый) инструментарий.

Еще один сюжет, рассматриваемый ККВ, – это правила сбора данных. Основное внимание авторы уделяют распространенной, по их мнению, ошибке: наблюдения выбираются так, что изменчивость в значениях зависимой переменной мала или отсутствует вовсе. В результате имеет место искажение в выводах о влиянии объясняющей переменной, а иногда и невозможность прийти к какому-либо выводу о причинности.

Думается, эта критика в большинстве случаев справедлива, однако некоторые исследователи замечают, что рецепт ККВ все же не универсален: рассмотрение кейсов с одним и тем же значением зависимой переменной может быть продуктивным, если это помогает лучше проследить механизм причинности (цепь событий и факторов, ведущих к наличному исходу) или если во внимание приняты аномальные случаи [Rogowski, 2004, p. 80–81] (аномалия, рассмотренная на фоне нормы, нередко предполагает изменчивость в зависимой переменной).

Проблема, с которой сталкивается исследователь, часто состоит в недостатке наблюдений для анализа; ККВ дают рекомендации и по этой теме. Они выделяют следующие способы увеличения числа наблюдений: 1) получение нескольких наблюдений из одного посредством деления пространства [King, Keohane, Verba, p. 219]; 2) тот же результат может быть достигнут через деление одного временного периода на части [King, Keohane, Verba, p. 221]; 3) увеличение числа наблюдений через принятие в расчет новых следствий исходной теории [King, Keohane, Verba, p. 223]; 4) наконец, можно комбинировать рецепты из пунктов 1–3 [King, Keohane, Verba, p. 234].

Однако ККВ идут дальше этих рекомендаций и отмечают, что увеличение числа наблюдений зачастую является мощным инструментом повышения качества исследования, так как это позволяет получать более надежные умозаключения о причинности [King, Keohane, Verba, p. 229]. Данный тезис предсказуемо вызвал критику: для качественных исследований, которым присущ детальный анализ всего лишь нескольких (иногда даже одного) случаев, такая рекомендация видится нелогичной; как замечает другая тройка авторов – Дэвид Кольер, Генри Брэйди и Джейсон Сирайт – Кинг, Кеохэйн и Верба предлагают решить проблемы исследований, основанных на анализе небольшого числа казусов, через увеличение этого числа [Collier, Brady, Seawright, 2004, p. 225]

Еще один раздел *DSI* посвящен распространенным ошибкам в дизайне исследования. Во-первых, ККВ обсуждают систематическую ошибку измерения, которая приводит к искажению оценок влияния объясняющей переменной на зависимую [King, Keohane, Verba, 1994, p. 156].

Во-вторых, авторы рассматривают последствия (1) невключения в анализ значимой объясняющей переменной, коррелирующей с уже учтенной объясняющей переменной [King, Keohane, Verba, 1994, p. 168–170], и (2) включения в анализ незначимой (нерелевантной) объясняющей переменной, коррелирующей с уже учтенным предиктором [King, Keohane, Verba, 1994, p. 182–185]. Последствие первой из названных ошибок заключается в смещенности оценок влияния объясняющих переменных, а второй – в неэффективности оценок. Кроме того, ККВ обсуждают часто осложняющую работу исследователя проблему эндогенности; эта проблема возникает, когда объясняющая и зависимая переменные влияют друг на друга. В книге даются конкретные рекомендации по смягчению негативных последствий эндогенности и по способам ее ликвидации [King, Keohane, Verba, 1994, p. 185–196].

Выделим еще два направления критики *DSI*.

Несмотря на пристальное внимание ко многим техническим вопросам, Кинг, Кеохэйн и Верба практически полностью игнорируют тему концептуализации и измерения, хотя от качества этих процедур корректность выводов зависит не меньше, чем от степени смещенности и эффективности оценок влияния предикторов на зависимую переменную [Brady, 2004, p. 62].

Кроме того, преувеличенными можно посчитать опасности, связываемые ККВ с искажением результатов исследования, проистекающим из «неудачного» выбора случаев (в англоязычной литературе эта проблема носит название «selection bias»); опасения по этому поводу, упомянутые в *DSI*, видятся иллюзорными, если в качестве модели причинности используется не та, что заимствована из естественных наук, а модель причинных механизмов [Collier, Brady, Seawright, 2004, p. 210].

Подводя итог обзору «*Designing Social Inquiry*», еще раз укажем на противоречивость этой книги. С одной стороны, в ней – и довольно успешно! – предпринята попытка высветить универсальную логику научного вывода, применимую в науках об обществе; большинство рецептов, которые дают Кинг, Кеохэйн и Верба, следует по меньшей мере иметь в виду при проведении исследования – и сейчас понимание этих рецептов все чаще оказывается неотъемлемой частью политологического или социологического образования. Больше того, в западных университетах «*Designing Social Inquiry*» стала настольной книгой для преподавателей методологических дисциплин, читаемых на младших курсах университетов.

С другой стороны, в «*Designing Social Inquiry*» ясно выразился дух времени: то, что несколько десятков лет назад считалось смелым новшеством, для многих теперь почти превратилось в догму или, по крайней мере, в общее место. Именно так можно обрисовать историю восприятия статистических методов в политической науке. Невозможно спорить с тем, что эти методы бывают чрезвычайно полезны и что они открыли новые горизонты. Опасно, однако, держать в поле зрения только их и не обращать

внимание на остальное. Количественные методы формируют лишь одну из парадигм в науках об обществе, и здравый смысл подсказывает, что успешное развитие последних должно быть связано с сосуществованием – пусть и временами конфликтным – разных методологических традиций. Оптимизм внушает как то, что рефлексия исследователей поднялась до уровня, на котором можно пытаться реконструировать универсальную логику строгого научного вывода, так и то, что неочевидный способ этой реконструкции вызвал полемику и был подвергнут сомнению.

Литература

- Милль Д.* Система логики силлогистической и индуктивной: изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. – М.: Ленанд, 2011. – 832 с.
- Brady H.* Doing good and doing better: How far does the quantitative template get us? // *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* / H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2004. – P. 53–68.
- Collier D., Brady H., Seawright J.* Critiques, responses, and trade-offs: Drawing together and debate // *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* / H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield publishers, 2004. – P. 191–228.
- Collier D., Brady H., Seawright J.* Sources of leverage in causal inference: Toward an alternative view of methodology // *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* / H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield publishers, 2004. – P. 229–266.
- Holland P.* Statistics and causal inference // *Journal of the American statistical association*. – N.Y., 1986. – Vol. 81, N 396. – P. 945–960.
- King G., Keohane R., Verba S.* Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.
- Popper K.* The logic of scientific discovery. – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – 513 p.
- Ragin C.* Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2008. – 240 p.
- Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* / H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield publishers, 2004. – 354 p.
- Rogowski R.* How inference in the social (but not the physical) sciences neglects theoretical anomaly // *Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards* / H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield publishers, 2004. – P. 75–84.
- Rubin D.* Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies // *Journal of educational sociology*. – N.Y., 1974. – N 66. – P. 688–701.

**Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards /
H.E. Brady, D. Collier (eds.). – Lanham: Rowman
and Littlefield publishers, 2004. – 354 p.**

Сборник «Rethinking Social Inquiry» занимает в современной литературе по методологии общественных наук (и прежде всего – политологии) особое место; эта «особость» обусловлена не предметом рассуждения ав-

торов сборника¹ – сегодня методологические вопросы в политологии и смежных дисциплинах затрагиваются часто, – но интонацией и интенцией, с какими этот сборник составлен.

Смысловая направленность «Rethinking Social Inquiry» – поиск баланса между разными методологическими традициями. Уже само название прямо отсылает читателя к другой работе – книге Гэри Кинга, Роберта Кеохэйна и Сиднея Вербы «Designing Social Inquiry» [King, Keohane, Verba, 1994] (в дальнейшем – DSI). Впервые опубликованная в 1994 г., DSI вызвала в западном академическом сообществе бурную реакцию, и притом противоречивую: многими она была принята как стандартный справочник по методологии на долгие годы вперед, в то время как другие увидели в ней слишком оптимистичную и чрезмерно узкую трактовку методологических вопросов. «Rethinking Social Inquiry» полностью посвящена критике DSI, а потому первую книгу трудно понять без хотя бы общего представления о второй, о спорности многих положений которой шла речь в предшествующей рецензии.

«Rethinking Social Inquiry» подводит итог критике DSI (а вместе с этим и очень оптимистичному восприятию эконометрических методов), накопившейся за 10 лет (с 1994 по 2004 г.).

Выделим черты подхода, реализованного в DSI, которые, по нашему мнению, больше других освещены в «Rethinking Social Inquiry». Во-первых, речь идет о спорном основании для синтеза качественных и количественных методов, причем спорном вдвойне: 1) не очевидно, что этим фундаментом должна быть логика строгого научного вывода и, в сущности, – понятие причинности; 2) сомнения вызывает принятая авторами DSI узкая трактовка причинности, с позиций которой они осуществляли свой план.

Во-вторых, объектом критики является оптимизм Кинга, Кеохэйна и Вербы относительно количественных методов; несмотря на признанную мощь последних, им присуще немало ограничений, и в этом смысле авторы DSI обещают больше, чем могут дать [Rethinking Social Inquiry, p. 74]

Третий предмет обсуждения «Rethinking Social Inquiry» – это качественные методы как таковые и их импликации, напрасно не затронутые в DSI. Сделав акцент на количественном подходе, Кинг, Кеохэйн и Верба умолчали о преимуществах иной методологической традиции, и одна из задач рассматриваемого сборника состоит в том, чтобы восстановить пошатнувшееся равновесие.

Ниже все три направления критики, очерченные в «Rethinking Social Inquiry», рассматриваются подробнее.

¹ Авторы «Rethinking Social Inquiry» – ведущие американские политологи, работающие как с количественными, так и с качественными методами; редакторы Генри Брэйди и Дэвид Кольер – исследователи с мировым признанием, немало работ посвятившие не только проблемам политологии как таковой, но и методологическим вопросам.

1. Узость подхода DSI, основанного на (специфической трактовке) причинности

Хорошее научное исследование авторы DSI определяют, в сущности, как такое, в котором делается обоснованный вывод о причинно-следственных связях. Критика этого положения довольно проста: существует немало не только хороших, но даже выдающихся трудов, в которых такой вывод не занимает центрального места (Ларри Бартельс указывает в этом списке «Политические партии» Роберта Михельса, «Великую трансформацию» Карла Поланьи, «Политическую идеологию» Роберта Лэйна и др. [Rethinking Social Inquiry, p. 70]). Обнаружение причинно-следственной связи может, разумеется, быть главной целью политологического, социологического, антропологического или иного исследования, но это еще не значит, что она может быть единственной его целью.

Второй пункт критики DSI состоит в том, что за стремлением отыскать причинно-следственные связи скрывается мотив еще более глубокий – стремление к пониманию или объяснению. Но открытие причины есть не единственный путь к объяснению; как отмечает Генри Брэйди, даже в естественных науках (идеально типичское представление о которых авторы DSI держат в уме на протяжении всей книги) распространено объяснение явления через отнесение его к какому-либо типу или классу (в пример приводится Периодическая таблица Менделеева) [Rethinking Social Inquiry, p. 57]; в пору юности естественных наук знание очень часто существовало именно в таком виде (ярчайший пример делает «Система природы» Линнея), а не в виде законов. Призыв всегда ставить перед науками об обществе задачу отыскания причинных связей еще требует обсуждения и проблематизации [Rethinking Social Inquiry, p. 57].

Поскольку цель Кинга, Кеохэйна и Вербы состоит в распознавании универсальной логики научного вывода, а последняя оказывается неразрывно связанной с идеей причинности, эта идея занимает в DSI центральное место. Тем важнее то, как интерпретируется причинность. Авторы DSI обращают внимание на разницу между систематическим компонентом наблюдений, когда объясняющая переменная принимает одно значение, и систематическим компонентом схожих наблюдений, когда объясняющая переменная принимает иное значение [King, Keohane, Verba, 1994, p. 81–82].

В этой интерпретации есть важное умолчание: если обнаружить эффект причинности и на этом остановиться, не будет ясно, как именно он производится; другими словами, в тени останется причинный механизм – цепь событий, соединяющая причину с эффектом. Но если этот механизм не раскрыт, понимание явления едва ли может считаться полным. Более того, в таком случае причинный эффект может быть известным, но ничего не объяснять [Rethinking Social Inquiry, p. 58]. Слишком узкая трактовка причинности – еще одна черта DSI, подвергнутая критике в «Rethinking Social Inquiry».

Конвенциональные статистические методы, на которые ориентируются авторы DSI, заточены в основном на то, чтобы оценивать индивидуальный, изолированный вклад предиктора в изменчивость зависимой переменной. Между тем совместное действие нескольких предикторов может быть значительно больше изолированных эффектов. Для оценивания такого совместного влияния, не учитываемого в явной форме Кингом, Кеохэйном и Вербой, может использоваться качественный сравнительный анализ (QCA) [Rethinking Social Inquiry, p. 110; Regin, 2008].

2. Оптимизм по поводу количественных методов

Второе направление критики DSI касается излишнего, по мнению авторов «Rethinking Social Inquiry», оптимизма Кинга, Кеохэйна и Вербы в отношении количественных методов.

Во-первых, отмечается, что DSI поднимает ряд острых для современных наук об обществе методологических проблем – таких, как вопрос о причинности, ошибка измерения, искажение, вызванное отбором казусов (selection bias), и т.д. Однако авторы DSI утверждают, что эти проблемы уже разрешены внутри количественного подхода. Известный американский исследователь Ларри Бартельс (специализирующийся как раз на инструментах количественного анализа) указывает, что Кинг, Кеохэйн и Верба не вполне точно описали нынешнее положение дел: современная статистика и эконометрика в самом деле могут разрешить многие методологические трудности, но ответы получены пока на упрощенные версии ключевых вопросов. По мнению Бартельса, считать, что методологические проблемы, рассматриваемые в DSI, уже вполне сняты в количественной парадигме, – преждевременно [Rethinking Social Inquiry, p. 69–74].

Генри Брэйди – другой авторитетный исследователь, работающий, как и Бартельс, преимущественно с количественными методами, – обращает внимание на жесткость допущений модели причинности, взятой на вооружение в DSI. Эти допущения обеспечивают строгость и точность вывода, но имеют высокую цену: строго и точно соблюсти требования модели причинности, описываемой в DSI, чрезвычайно тяжело [Rethinking Social Inquiry, p. 61]. Хуже того, нередко исследователь даже не будет знать с полной достоверностью, удалось ли ему не нарушить этих базовых допущений или нет. Брэйди задается вопросом: насколько продуктивна такая модель причинности? Не бывает ли иногда полезнее пожертвовать теоретической строгостью вывода ради удобства его эмпирической проверки? Кинг, Кеохэйн и Верба делают понятие причинности основой своих методологических (и методических) построений и возводят на этом фундаменте стройное и функционально удобное здание, но фундамент может оказаться так зыбок, что опираться на него опасно.

3. Невнимание к преимуществам качественных методов

Легким следствием сильного акцента на количественных методах, сделанного в DSI, явилось невнимание к методам качественным.

Херардо Манк отмечает, что традиция качественных методов имеет в своем распоряжении инструменты, с помощью которых можно довольно успешно решать многие задачи, поставленные в DSI, и предлагает краткий обзор этих инструментов [Rethinking Social Inquiry, p. 105–121].

Рональд Роговски критикует авторов DSI за то, что те слишком акцентируют внимание на строгости умозаключения и лежащим в основе такого умозаключения допущениям и потому несправедливо оценивают исследовательские дизайны, которые плохи с точки зрения несоблюдения этих допущений, но хороши в других смыслах. В частности, Роговски реабилитирует казусные исследования (case studies), в том числе те, которые выполнены на наблюдениях, отобранных по зависимой переменной [Rethinking Social Inquiry, p. 75–83], что для Кинга, Кеохэйна и Вербы является неприемлемым.

Некоторые проблемы, остро стоящие для модели причинности, которая используется в количественных методах, в иных моделях причинности могут не существовать вовсе. Так, искажение, вызванное специфическим отбором примеров (selection bias), представляет серьезную угрозу для корректности количественного исследования (cross-case analysis), но в случае углубленного изучения причинных механизмов (within-case analysis) такой угрозы уже нет [Rethinking Social Inquiry, p. 85–102]. Другими словами, опасения, высказанные в DSI, авторы «Rethinking Social Inquiry» считают преувеличенными.

Далее Генри Брэйди отмечает, что в DSI упущено одно из важнейших звеньев работы «количественника» – концептуализация. Без грамотно проведенной операционализации таких сложных понятий, как «демократия», «государство», «гражданское общество» и др., невозможно получить надежные выводы о соответствующих явлениях. Между тем концептуализация давно вошла в стандартный арсенал качественных методов.

Еще одно преимущественно качественных методов перед количественными, проигнорированное в DSI, – это внимание к контекстуальной специфике [Rethinking Social Inquiry, p. 141]. Один из главных советов Кинга, Кеохэйна и Вербы состоит в увеличении числа наблюдений – благодаря этому легче соблюсти некоторые допущения применяемой в DSI модели причинности [King, Keohane, Verba, 1994, p. 229]. Однако цена увеличения числа наблюдений, формирующих статистическую базу данных, заключается как в риске концептной натяжки [Sartori, 1970, p. 1033–1053], так и в сокращении контекстуального знания о рассматриваемых кейсах (или, в терминах, введенных Колье, Брэйди и Сирайтом, – в сокращении числа наблюдений о причинных процессах [Rethinking Social Inquiry, p. 229–266]). Как и во многих предыдущих случаях, авторы «Re-

thinking Social Inquiry» указывают на неуниверсальную применимость простых рецептов и подчеркивают, что всякий раз исследователь должен искать баланс между разными критериями качества своей работы.

* * *

Из сказанного выше видно, что сборник «Rethinking Social Inquiry» должен был оказаться заметным явлением в полемике по поводу методологии общественных наук. Многие исследователи, усматривая огромную плодотворность и мощь количественных инструментов, заявили об универсальности стандартов научности, соответствующих этим инструментам. Роль «Rethinking Social Inquiry» видится двоякой: она состоит как в снижении градуса оптимизма, возникшего вследствие увлечения количественными методами, так и в реабилитации качественных методов, почти сброшенных в DSI с корабля современности.

Тем не менее сборнику «Rethinking Social Inquiry» тоже можно предъявить некоторые претензии.

Во-первых, книга полностью посвящена критике одного и только одного труда. Несомненно, «Designing Social Inquiry» занимает в методологической литературе последних 20 лет особое место, однако читатель мог бы надеяться на более широкое освещение сравнительных недостатков и преимуществ качественных и количественных методов.

Во-вторых, «Designing Social Inquiry» имеет весьма амбициозную цель: предложить основание для синтеза двух обособленных методологических традиций. «Rethinking Social Inquiry» довольно убедительно показывает, что эксперимент, проведенный в DSI, содержит множество изъянов и, на взгляд строгого судьи, не вполне успешен. Но, активно (и небезосновательно) критикуя DSI, «Rethinking Social Inquiry» не предлагает новаторской и детально разработанной конструктивной программы. С точки зрения основной цели, поставленной в DSI, рассматриваемый сборник не делает заметного шага вперед, а только демонстрирует, что шаги, предпринятые Кингом, Кеохэйном и Вербой, были направлены не в ту сторону. В этом смысле, прочитав «Rethinking Social Inquiry», взыскательный читатель остается на том же месте, где и начинал путь.

Однако и здесь есть повод для оптимизма: когда 5 тыс. экспериментов по изобретению лампы накаливания не привели к нужному результату, Томас Эдисон заметил, что теперь он на 5 тыс. попыток ближе к успеху. После «Rethinking Social Inquiry» эксперименты по глубокому синтезу качественных и количественных методов будут, думается, менее прямолинейными и более изощренными, чем в DSI.

Но возможно, главный аргумент в пользу близкого знакомства с «Rethinking Social Inquiry» состоит в том, что этот сборник суммирует большую часть последних методологических разработок в области обще-

ственных наук и способен заметно поднять уровень подготовки как начинающего, так и опытного исследователя.

Литература

- Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards / Brady H., Collier D. (eds.). – Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2004. – 354 p.
- Bartels L. Some unfulfilled promises of quantitative imperialism // Rethinking social inquiry. – P. 69–74.
- Brady H. Doing good and doing better: How far does the quantitative template get us? // Rethinking social inquiry. – P. 53–68.
- Collier D., Brady H., Seawright J. Sources of leverage in causal inference: Toward an alternative view of methodology // Rethinking social inquiry. – P. 229–266.
- Collier D., Mahoney J., Seawright J. Claiming too much: Warnings about selection bias // Rethinking social inquiry. – P. 85–102.
- King G., Keohane R., Verba S. Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.
- McKeown T. Case studies and the limits of the quantitative worldview // Rethinking social inquiry. – P. 137–152.
- Munck G. Tools for qualitative research // Rethinking social inquiry. – P. 105–121.
- Ragin C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2008. – 240 p.
- Rogowski R. How inference in the social (but not the physical) sciences neglects theoretical anomaly // Rethinking social inquiry. – P. 75–83.
- Sartori G. Concept misformation in comparative politics // The American political science review. – Baltimore, 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053.

Ragin C.

Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2008. – 240 p.

Монография Чарльза Рэгина «Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond» подводит промежуточный итог поискам ученого в сфере методологии общественных наук – поискам, которые он вел на протяжении почти 30 лет¹. Результатом размышлений Рэгина оказалась целостная исследовательская стратегия, не сводящаяся к «общепринятым» количественным или качественным методам.

Центральный тезис Рэгина состоит в том, что общественные науки основываются на теоретико-множественных отношениях и что данный факт не был еще должным образом осмыслен учеными. Применение парадигмы теории множеств способно, согласно Рэгину, «преодолеть ограни-

¹ Первая монография Ч. Рэгина в области методологии («The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies») вышла еще в 1987 г.

чения конвенциональных количественных и качественных методов» [Ragin, 2008, p. 2].

Общая идея подхода Рэгина заключается в том, чтобы рассматривать отношения множеств, определенных через интересующие исследователя характеристики. Так, вопрос о связи между демократией и экономическим развитием решается в рамках стратегии Рэгина посредством расчета того, в какой мере верно, что множество высокоразвитых стран является подмножеством полноценных демократий (или наоборот).

Сомнения относительно продуктивности теоретико-множественного подхода часто высказываются из-за, казалось бы, присущего ему упрощения политической (или какой-либо иной) реальности: дихотомические переменные, при помощи которых легче всего формализуются множества, в самом деле создают чрезмерно грубую картину. Чтобы преодолеть это ограничение, Чарльз Рэгин вводит в свой метод «fuzzy sets» – «размытые, нечеткие множества». В этом случае наблюдению, например, стране может быть приписана любая степень членства в определяемом множестве. Так, при использовании дихотомической переменной демократии (что конституирует два «четких» множества) современная Португалия была бы включена, вероятно, в число демократий, но в примере Рэгина с размытыми множествами Португалия оказывается членом клуба демократий только на 77% [Ragin, 2008, p. 89]. О способах создания размытых множеств подробно сказано в книге, и они без труда могут быть применены читателем.

Большая часть монографии посвящена рассмотрению различных приложений теоретико-множественного подхода с размытыми множествами. Основное внимание при этом уделено уже распространенному в политической науке (благодаря усилиям Рэгина) методу QCA (qualitative comparative analysis); он заключается в том, чтобы исследовать «рецепты» (совокупности факторов), необходимые, достаточные или необходимые и достаточные одновременно для определенного отклика (например, для того, чтобы страна оказалась полноценной демократией). В обсуждаемой монографии Рэгин пытается учесть критику QCA, высказанную ранее, и много внимания уделяет fsQCA (fuzzy sets QCA), позволяющему оценивать степень влияния конкретных причин (а не только факт их наличия) на интересующий исследователя исход.

Как уже отмечалась, книга Чарльза Рэгина нацелена на преодоление ограничений методов (или даже методологических подходов), в настоящее время применяющихся в общественных науках. Рассмотрим важнейшие, на наш взгляд, преимущества предлагаемой Рэгином стратегии.

Во-первых, подход Рэгина в явной форме учитывает, что один и тот же результат может быть достигнут разными способами: так, допускается несколько путей к демократии, в том числе и не основанных на высоком экономическом развитии. В то же время стандартные количественные методы, применяемые не вполне аккуратно, легко могут затемнять наличие разных способов получения одного исхода. Это особенно верно, когда

между переменными имеет место корреляция средней силы. Действительно, средняя сила связи может указывать как на то, что такая связь имеет место на всей области значений переменных, так и на то, что на одном отрезке области значений связь слаба, а на другом – сильна.

Рассмотрим для примера две диаграммы рассеяния (рис. 1 и рис. 2), построенных на произвольных данных. В обоих случаях коэффициент корреляции Пирсона равен 0,5, но соотношение переменных, несмотря на это, весьма различно. На рисунке 1 переменные по-разному связаны друг с другом на разных участках: на одном из них (в нижней части диаграммы) связь практически отсутствует, в то время как наблюдения в правом верхнем углу (обведены овалом) коррелируют между собой очень сильно. Если бы Переменная 1 была показателем уровня экономического развития, а Переменная 2 отражала уровень демократичности, теоретико-множественный подход Рэгина зафиксировал бы, что высокий уровень экономического развития есть способ достижения высокого уровня демократичности (именно такая направленность причинно-следственной связи, как и само постулирование последней, проблематичны, но сейчас мы не принимаем это в расчет), но что это не единственный способ, поскольку в правой части диаграммы есть наблюдения, не обведенные овалом. Между тем простой расчет коэффициента корреляции указал бы на то, что связь между показателями точно такая, какая имеется на рисунке 2, где связь между переменными формирует совершенно иной паттерн.

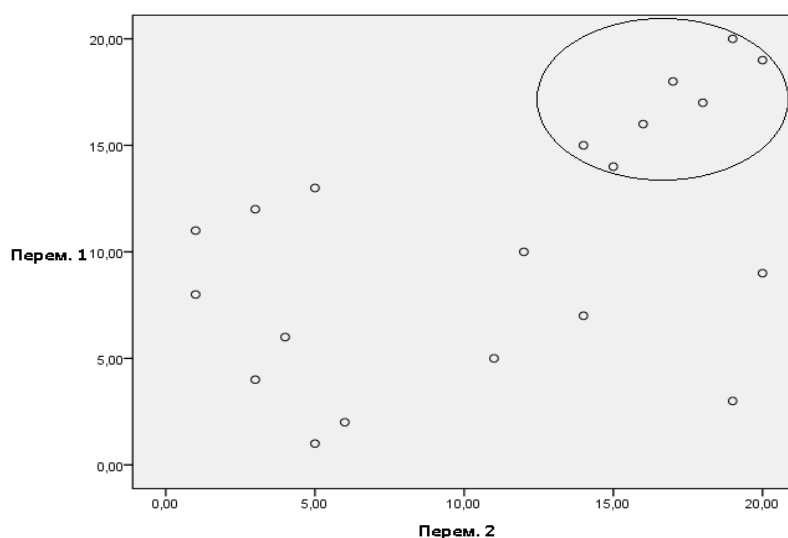


Рис. 1

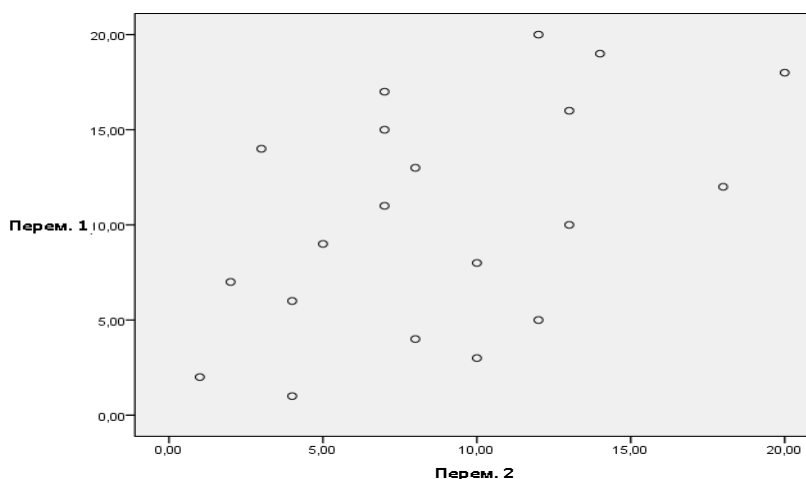


Рис. 2

Приведенный пример чрезвычайно прост, но даже он показывает, что внимание к возможной множественности рецептов, пригодных для достижения одного и того же результата, действительно способно поместить в поле зрения те аспекты соотношений между переменными, которые в конвенциональном количественном анализе нередко находятся в слепом пятне.

Во-вторых, QCA, в основании которого лежит внимание к множественности «рецептов», позволяет хотя и в более общем виде, но посредством гораздо более простой процедуры, чем в количественных методах, уловить совместный эффект переменных на отклик; это особенно важно тогда, когда эффект каждой переменной по отдельности слаб.

В-третьих, QCA удобен для выявления общих паттернов связи между откликом и его предикторами и, следовательно, для формулирования гипотез, которые можно тестировать как оставаясь в рамках подхода Рэгина, так и применяя иные методы.

В-четвертых, количественный анализ показывает силу связи предиктора и зависимой переменной, но зачастую ничего не говорит о *качестве* этой связи. Теоретико-множественный подход восполняет этот пробел, позволяя выносить эмпирически подкрепленные суждения о предикторах или их совокупностях в терминах необходимых и достаточных условий.

Методы, разрабатываемые Рэгином, безусловно, способны углубить наше понимание общественных процессов и явлений, но следует указать и на те замечания Рэгина, которые вызывают сомнения.

Одна из ключевых идей книги заключается в использовании «размытых множеств». Размытое множество – такое множество, в которое наблюдение может не только полностью входить или полностью не входить,

но и входит частично (например, на 77% – как современная Португалия, по оценке Рэгина, входит в клуб полноценных демократий). В свою очередь, приписывание наблюдению «промежуточного» (между 0 и 1) численного значения требует «калибровки», т.е. установления критических значений, при помощи которых будет интерпретироваться весь массив данных [Ragin, 2008, p. 71]. Такие критические значения должны в идеальном случае задаваться раз и навсегда, а не зависеть от особенностей каждой конкретной выборки. Рэгин приводит пример из физики: точка кипения и точка замерзания воды задают естественный контекст для интерпретации показателей температуры по шкале Цельсия [Ragin, 2008, p. 71]. Аналогично, говорит Рэгин, должно обстоять дело и с демократией: нужно договориться о критических значениях демократичности, и тогда политическая наука получит в свое распоряжение количественное измерение демократичности, основанное на глубоком «качественном» знании.

Несмотря на то что с общим посылом Рэгина о синтезе преимуществ количественных и качественных измерений трудно не согласиться, обозначенная выше идея сомнительна, и вот почему: в отличие от естественных наук, в политологии полный консенсус о наиболее сложных явлениях (к каковым относится, без сомнения, и демократия) встречается крайне редко. Это значит, что любая договоренность о «критических точках» не будет иметь под собой достаточного фундамента, чтобы не быть пересмотренной в любой момент времени. Демократия (как и власть, государство и некоторые иные ключевые для политологии концепты) относится к числу «сущностно оспариваемых понятий» [Gallie, 1956, p. 167–198], в силу чего заключить конвенцию о точке, с которой начинается «полноценная» демократия, было бы не только чрезвычайно сложно, но и даже противно насыщенной пересмотрами истории идей о демократии; кроме того, нелегко договориться о конкретной критической точке на некоторой шкале демократичности, когда сама эта шкала – точнее, способ измерения демократичности – является предметом жарких дискуссий [Bernhagen, 2009, p. 24–40].

Далее следует обратить внимание на то, как формулируются в подходах, предлагаемых Рэгином, закономерности: «Множество наблюдений, обладающих характеристикой X, является подмножеством множества наблюдений, обладающих характеристикой Y». Пример такой закономерности – «развитые страны являются демократиями». Важная особенность закономерностей этого вида заключается в их «статичности»: методы Рэгина затрудняют¹ формулировку закономерностей вида «чем..., тем», которые бы при этом имели ясную «физическую» интерпретацию. Однако не

¹ Причина в том, что: 1) для процедуры приведения показателей наблюдений к шкале от 0 до 1 используется нелинейное [Ragin, 2008, p. 85–108] преобразование и 2) процедура калибровки сомнительна

вызывает сомнений, что такие «динамические» закономерности бывают чрезвычайно полезны и интересны.

Подводя итог обзору монографии Чарльза Рэгина, следует обратить внимание на контекст, в котором она появилась. Само название книги – «Redesigning Social Inquiry» – есть недвусмысленная аллюзия на известную работу Гэри Кинга, Роберта Кеохэйна и Сидни Вербы «Designing Social Inquiry» [King, Keohane, Verba, 1994], изданную в 1994 г. и обострившую полемику о методах в политической науке; пафос книги Кинга, Кеохэйна и Вербы заключается в том, что конвенциональные количественные методы предлагают общие стандарты политологического исследования и что, в сущности, эти стандарты не только лучше других, но и исчерпывающи. Работа Чарльза Рэгина призвана поколебать однобокий взгляд, популяризированный ККВ. Предлагая новаторские, находящиеся на рубеже количественных и качественных стратегий методы, книга Рэгина достигает своей цели.

Литература

- Ragin C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2008. – 240 p.
- King G., Keohane R., Verba S. Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.
- Bernhagen P. Measuring democracy and democratization // Democratization / C.W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. Inglehart, C. Welzel. – Oxford: Oxford univ. press, 2009. – 400 p.
- Gallie W.B. Essentially contested concepts // Proceedings of the Aristotelian society. – L., 1956. – N 1. – P. 167–198.

Gerring J.

Social science methodology: A unified framework. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – 522 p.

В предисловии к книге «Social science methodology: A unified framework» Джон Герринг проницательно замечает: «Создается впечатление, что важнейшие размежевания в современных общественных науках проходят по методологическим, а не идеологическим границам» [Gerring, 2012, p. XX]. Автор прибавляет к этому, что понятия, обозначающие разные методологические направления и школы, иногда уже применяются в полемике как бранные [Gerring, 2012, p. XIX], – в чем тоже нетрудно заметить сходство с идеологической борьбой.

Между методологией и идеологией как границами, определяющими расхождение во мнениях, есть, однако, и важное различие: за идеологическим разногласием нередко скрывается ценностный раскол, и потому оно почти никогда не может быть снято; разница же в методологических под-

ходах должна быть менее драматической, коль скоро каждый такой подход имеет целью получить на основе поддающихся рациональному анализу процедур некоторое истинное суждение. Внеценностный, опирающийся на рациональность и логику компонент методологии указывает на общую точку, которая может послужить опорой для примирения конкурирующих подходов.

Цель своей книги Джон Герринг обозначил как «сведение существующих методологических правил и норм в единую систему (framework), которая была бы лаконичной, точной и ясной» [Gerring, 2012, p. 11].

Актуальность замысла Герринга несомненна: в современных науках об обществе (в том числе, в политологии – «родной» для Герринга области) уживаются сразу несколько крупных методологических подходов, не вовсе отграниченных друг от друга, но и не подготовивших еще какого-либо синтетического направления, в котором исключались бы недостатки разных исследовательских стратегий, но сочетались бы их преимущества.

Попытки предложить единые для общественных наук методологические рамки уже предпринимались, в том числе коллегами Джона Герринга: так, в 1994 г. в свет вышла книга «Designing Social Inquiry» Гэри Кинга, Роберта Кеохэйна и Сиднея Вербы [King, Keohane, Verba, 1994], всколыхнувшая западное академическое сообщество своим амбициозным, но спорным проектом (он заключался в том, чтобы сделать стандарты научной строгости и понятийный аппарат математической статистики и эконометрики основой методологического синтеза). Однако многие исследователи восприняли этот проект скептически и предоставили в поддержку своего мнения глубокий критический анализ «Designing Social Inquiry» [Collier, Brady, Seawright, 2004], убедительно показавший, что замысел Кинга, Кеохэйна и Вербы имеет не одни только достоинства.

Идеи, стоящие за «Social Science Methodology», трудно оценить в полной мере, не обратив внимания на очерченный выше контекст: книга Герринга и по своему назначению, и по некоторым конкретным положениям ясно соотносится с уже накопленным опытом по примирению разных методологических школ. Тем любопытнее усмотреть особенности в книге Герринга.

Содержательный стержень «Social Science Methodology» – рассмотрение ключевых этапов исследования с трех позиций: 1) задач, стоящих перед ученым; 2) стратегий, пригодных для достижения этих задач; 3) критериев, по которым можно оценить качество выполнения задач при помощи той или иной стратегии [Gerring, 2012, p. 12]. Д. Герринг обсуждает следующие компоненты научной работы: поиск проблемы исследования; обоснование и аргументация; анализ данных; концептуализация; инструменты описания данных; квантификация (измерение); установление причинно-следственных связей (этой теме посвящена почти половина книги).

В качестве основных принципов, которым Герринг стремился подчинить свою работу, можно назвать универсальность и охват: сюжеты, рассмотренные в книге, должны быть одинаково хорошо знакомы антропологу и экономисту, политологу и социологу; при этом Герринг так или иначе затрагивает все этапы исследования и хотя бы вкратце обсуждает все основные подходы к тем или иным проблемам. В сущности, «Social Science Methodology» – своего рода энциклопедия: обобщающая работа, проведенная автором, действительно впечатляет.

Особо стоит отметить нейтральность книги Герринга в отношении конкурирующих методологических школ, хотя эта нейтральность и предполагается самим замыслом монографии. В отличие от упоминавшейся уже «Designing Social Inquiry» книга Герринга не провоцирует жарких дискуссий и несхожа с «Rethinking Social Inquiry» отсутствием критического пафоса – все углы сглажены, все позиции учтены. В этом смысле «Social Science Methodology» – очень корректный, полный, обстоятельный труд, но в том, что именно таковы главные добродетели научного текста, уже можно усмотреть недостаток.

В одном месте Герринг ссылается на известное правило об обратном соотношении объема и содержания понятий [Gerring, 2012, p. 122], которое можно применить и к самой книге: универсальность данных в ней рекомендаций столь велика, что почти все они оказываются выхолощенными и банальными. «Social Science Methodology» целиком посвящена обобщению уже известных результатов и, по возможности, описанию их на одном языке, и ждать от книги какой-либо новизны и неожиданных решений не приходится.

Между тем «Social Science Methodology» отличается ясностью изложения: каждый тезис рассматривается тщательно и подробно, с примерами (чаще абстрактными, но иногда Герринг обращается и к конкретным исследованиям) и пояснениями.

На это, однако, можно ответить, что простота изложения проистекает из простоты предмета. Книгу Герринга, содержащую массу общих, универсальных рекомендаций, легко уподобить кулинарной книге, рассказывающей о том, как готовить вкусные супы, – без рецептов конкретных супов, но с советами по приготовлению всех вообще вкусных супов. В такой книге наверняка было бы сказано, что для вкусного супа нужно подобрать свежие продукты (и следовал бы раздел о том, какие продукты считать свежими), что необходима, помимо этого, подходящая посуда (и были бы даны критерии подходящей для приготовления супов посуды), а также какие-нибудь овощи (часть книги непременно была бы посвящена тому, как отличить овощи от прочей провизии). Несомненно, для человека, никогда не слышавшего о приготовлении пищи, эти рекомендации были бы очень полезны, но опытный повар легко может обойтись и без них. Конечно, разница между проведением исследования и приготовлением вкусного супа огромна: людей, никогда не занимавшихся первым, много

больше, чем тех, кому не пришлось заниматься вторым. Потому книга Герринга важнее и нужнее описанной кулинарной энциклопедии – но начинающим исследователям она принесет гораздо больше пользы, чем опытным.

Явное отличие монографии Герринга от не раз уже упоминавшейся «*Designing Social Inquiry*» заключается в том, что последняя содержит очень спорную, но последовательную и связную программу синтеза разных методологических подходов, в то время как «*Social Science Methodology*» содержит ряд практически бесспорных, но слабо связанных друг с другом рекомендаций. Хотя подзаголовок книги («*A unified framework*») и предполагает хорошо согласованную систему, в которую будут вписаны правила и нормы ведения исследования, такую систему из труда Герринга вычлениить нелегко – если только не понимать под согласованностью отсутствие противоречий между разными правилами и нормами. Последние не связаны друг с другом никакой внутренней логикой, не проникнуты никаким единым принципом, не проистекают из единой общей идеи – Герринг не предлагает новой и конструктивной программы методологического синтеза. Вместо этого он, в сущности, пытается показать, что такой программы вовсе не нужно, – для разных подходов можно найти общий знаменатель, уничтожающий все возможные противоречия.

Вероятно, это положение, не сформулированное нигде в книге явно, но проскальзывающее между строк, – одно из немногих, способных породить полемику. Поиск методологического подхода, который объединял бы в себе преимущества разных исследовательских стратегий или просто был бы универсальным, продолжается в общественных науках вообще и в политологии в частности уже не одно десятилетие, но, может быть, стоит задуматься: существуют ли между исследовательскими стратегиями столь большие различия, чтобы вести к серьезному *Methodenstreit*, или же эти различия не так уж велики, коль скоро каждый влиятельный подход основывается на универсальной логике научного вывода и пользуется в равной мере эффективными и корректными инструментами?

Тем не менее поиск общего знаменателя, предпринятый Геррингом, имеет важную особенность. Альберт Эйнштейн отмечал, что ни одну проблему нельзя разрешить на том же уровне, на котором она возникла. Джон Герринг, осознанно или нет, следует этому совету и ведет рассуждения при помощи весьма абстрактных, общих понятий; он явно перемещается на уровень более высокий, чем тот, на котором сталкиваются разные методологические подходы. Но дьявол, как известно, – в деталях: Герринг рассуждает не на том уровне, который позволил бы разрешить проблему, а на том, на котором она еще не возникла.

В качестве примера можно привести тезис о числе наблюдений: Джон Герринг утверждает, что «лучше иметь больше наблюдений, чем меньше; отсюда большое “N” (размер выборки) предпочтительнее меньшего “N”, при прочих равных условиях» [Gerding, 2012, p. 88]. Схожий

тезис выдвигали Кинг, Кеохэйн и Верба: чем больше выборка, тем точнее будут статистические оценки коэффициентов в регрессионной модели [King, Keohane, Verba, 1994, p. 216]. Авторы «*Designing Social Inquiry*» советовали увеличивать число наблюдений не только в количественных, но и в качественных исследованиях, полагая, что и там большее число наблюдений приведет к более точным выводам [King, Keohane, Verba, 1994, p. 229]. Этот взгляд, однако, был подвергнут критике: качественным исследованиям присуще быть ограниченными небольшим числом наблюдений (рассматриваемых кейсов), и расширение выборки будет иметь множество негативных последствий [Collier, Brady, Seawright, 2004, p. 229–266] (снижение числа наблюдений иного рода – о каузальном механизме, связывающем причину с эффектом [Collier, Brady, Seawright, 2004, p. 229–266]; потеря знаний о контексте; концептная натяжка [Sartori, 1970, 1033–1053]; снижение глубины анализа каждого кейса и т.д.). Таким образом, большое число наблюдений в выборке имеет свою цену, и проблема заключается в нахождении баланса между положительными и отрицательными последствиями увеличения выборки.

Однако «*Social Science Methodology*» дальше, создается иллюзия, что отмеченного противоречия нет: Герринг указывает, что «N», о котором он писал выше, может пониматься и как число наблюдений в статистической выборке, и как наблюдения о причинном механизме [Gerring, 2012, p. 88]. Очевидно, что проблема, указанная в предыдущем абзаце, не разрешается, а только затушевывается, причем посредством своеобразной концептной натяжки, когда «N» означает и размер выборки, и объем информации о контексте.

Этот пример так подробно рассмотрен потому, что он довольно типичен для «*Social Science Methodology*», – острые методологические проблемы переводятся на столь общие термины, что любые противоречия пропадают и тем самым создается иллюзия, что этих проблем вовсе нет.

Наряду с отмеченными выше недостатками «*Social Science Methodology*» обладает, конечно, и достоинствами, часть из которых была отмечена выше. Отдельно стоит сказать об одном разделе, неожиданно включенном Геррингом в свою книгу. Дело в том, что труды по методологии обычно не содержат рекомендации по «нулевой» стадии исследования – когда исследовательский вопрос еще не сформулирован. Например, Кинг, Кеохэйн и Верба пишут, ссылаясь на Карла Поппера, что «нет такой вещи, как логический метод поиска новых идей... Открытие содержит “иррациональный элемент”, “творческую интуицию»» [King, Keohane, Verba, 1994, p. 14]. В результате эта стадия научной работы игнорируется книгами по методологии. Иной подход выбрал Герринг: в «*Social Science Methodology*» есть довольно большой и, по нашему мнению, превосходный по содержанию раздел об эвристике научного открытия – эта деталь выгодно отличает монографию от прочих книг по схожей тематике.

Итак, кому и когда следует читать «Social Science Methodology»? Это труд довольно банальный по содержанию, но замечательный универсальностью подхода и широтой тематического охвата, простотой и ясностью изложения, удавшимся разделом по эвристике открытия. Любопытно, что в конце книги помещена дополнительная глава об обосновании или даже оправдании (justifications) замысла книги; Герринг пишет: «Я надеюсь, читателю бросается в глаза, что мой подход к методологии общественных наук от начала и до конца основан на здравом смысле... С этой точки зрения настоящая книга предстает собранием трюизмов. Первое и, возможно, важнейшее обоснование (justification) предложенного подхода состоит в том, что он формализует уже известное нам» [Gerring, 2012, p. 394].

Едва ли эта формализация окажет большую помощь уже опытному исследователю – подобно тому, как книга о вкусных супах вообще не пригодится выдавшему виды повару. Но для начинающих исследователей, для преподавателей методологии на младших курсах университетов, тех, кто желает заглянуть в справочник для восполнения или уточнения своих знаний по какому-либо вопросу, книга Герринга не только придется кстати, но и будет большим подспорьем.

Литература

- Gerring J.* Social science methodology: A unified framework. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – 522 p.
- King G., Keohane R., Verba S.* Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.
- Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards / Brady H., Collier D. (eds.). – Rowmanand Littlefield Publishers, 2004. – 354 p.
- Collier D., Brady H., Seawright J.* Sources of leverage in causal inference: Toward an alternative view of methodology // Rethinking social inquiry. – P. 229–266.
- Sartori G.* Concept misformation in comparative politics // The American political science review. – Baltimore, 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053.

И.М. Локишин

ДОСЬЕ

В.С. Авдонин

ЦЕНТРЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ В ГЕРМАНИИ, ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ (ОБЗОР)*

Тенденции интеграции науки, как и сама наука, имеют сегодня глобальный характер. Тем не менее на фоне общих глобальных процессов в современной науке выделяются национальные и региональные сегменты или кластеры, отличающиеся особой интенсивностью протекания процессов и приобретающие лидирующий статус. В области научного развития такой статус сегодня имеют североамериканский (США и Канада) и европейский кластеры. В ситуации конкуренции между ними по многим наукометрическим показателям пока выигрывает американский кластер. Но европейцы не хотят отставать. Развитию науки, в том числе ее рефлексивному осмыслению, анализу ее традиций, тенденций, проблем, в Европе придается огромное значение. И европейские исследователи науки имеют в этом плане определенное преимущество, так как являются непосредственными наследниками великой европейской науки Нового времени, собственно, и породившей современную науку и связанную с ней научно-техническую цивилизацию.

В обзоре исследований науки в европейском регионе мы остановимся на центральной географической зоне континента и на находящихся там научных центрах и учреждениях Германии, Швейцарии и Австрии. Условно ее можно было бы обозначить также как «немецкоязычное научное пространство», и отчасти это действительно так. Но глобальный язык современной науки – английский, и это относится ко всем странам, поэтому привязка регионов науки к каким-либо языковым пространствам сегодня вряд ли возможна и продуктивна. И тем не менее указанная группа стран выделяется не случайно. В историческом плане она наследует то, что, по крайней мере с середины XIX и в первой половине XX в., являлось одним

* Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789; руководитель М.В. Ильин).

из самых успешных и продуктивных в научном плане регионов мира. Выражение «германская (или германоязычная) наука» было тогда вполне привычным и статусным, как и ее конкуренция с «англо-американской наукой», в которой первая (с точки зрения современных наукометрических показателей) демонстрировала определенные преимущества. И хотя сегодня положение несколько иное, данная группа стран продолжает занимать исключительно важное положение в европейской науке по многим направлениям исследований и играть важнейшую роль в производстве научных знаний в современной Европе.

Германия

В Германии традиции рефлексивного изучения науки, научного знания и научной рациональности идут еще со времен немецкой классической философии, если не удаляться на еще большую историческую глубину – в эпохи средневековой учености и Ренессанса, в которые само понятие «Германия» было весьма условным. Кант, Гегель и другие представители немецкой классики предпринимали попытки рефлексивного осмысления научного разума, выдвигали варианты классификации наук и проекты интеграции научного знания. В конце XIX – начале XX в. в немецких университетах сложились влиятельные школы неокантианства, развивавшие идеи о двух типах наук (науки о природе и о духе) и соответствующих методах (номотетическом и идеографическом). В XX в. рефлексивным осмыслением науки активно занимались в Германии направления феноменологии, критического рационализма, а также сложившаяся несколько позднее социология науки. В рамках последней, в частности, формировалось представление о социальных науках как о «третьей научной культуре», призванной преодолеть раскол двух вышеупомянутых научных культур, идущий от классического неокантианства.

В современных условиях тематика исследования науки, в том числе тематика методологической интеграции наук, представлена в Германии в рамках трех научных отраслей: философии (теории) науки, истории науки и социологии науки. В основном исследования по этим направлениям интегрированы в университетских подразделениях, но кроме них существуют и внеуниверситетские центры, учреждения и проекты, созданные при различных научных и академических сообществах.

Берлин является одним из важнейших центров исследований науки в современной Германии. Здесь расположены сразу несколько университетских и внеуниверситетских центров, ведущих работы по этой тематике и находящихся в устойчивой и достаточно разносторонней кооперации. При этом можно отметить, что исследования науки в Берлине получили импульс развития еще во времена ГДР, где в 60–80-е годы прошлого века

в рамках Академии наук ГДР были созданы исследовательские подразделения с соответствующей тематикой.

В современном Берлине, прежде всего, следует отметить «Общество исследований науки» (*Gesellschaft für Wissenschaftsforschung*), созданное в 1996 г. и имеющее статус общественного объединения ученых, специалистов и университетских преподавателей, как занимающихся исследованиями науки в качестве своей основной профессиональной деятельности, так и просто проявляющих к ним устойчивый интерес. В принципе это объединение является общегерманским и даже международным, включая самый широкий круг участников. Но, как и многое в Германии, оно имеет некий регионально-земельный оттенок, объединяя преимущественно исследователей из северной, северо-восточной и центральной частей страны с опорой на регион Берлин – Бранденбург и прилегающие к нему территории. Общество не обладает развитой административной структурой и административно управляемыми исследовательскими подразделениями с утверждаемой тематикой. Его главная задача – следить за развитием сферы исследований науки в Германии, а также в Европе и в мире, организовывать научную коммуникацию по актуальным проблемам этой области, намечать и стимулировать в информационном и экспертном плане наиболее перспективные направления исследований.

Среди тем ежегодных симпозиумов Общества можно назвать: «Наука и технологии в теоретической рефлексии», «Цифровые технологии в гуманитарных науках: вопросы взаимопонимания», «Управление знаниями в науке», «Самоорганизация в науке и технике», «Междисциплинарность и институционализация науки» и др. По итогам симпозиумов выпускаются одноименные ежегодники.

Среди многочисленных связей Общества особенно тесна и устойчива его кооперация со структурными подразделениями университетов и других центров по исследованиям науки, расположенных в Берлине.

Университет Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) является еще одной площадкой исследований науки в немецкой столице. Из трех крупнейших вузов Берлина (также Свободный университет Берлина и Технический университет) именно в Университете Гумбольдта исследования науки представлены наиболее заметно. С этой тематикой связаны исследовательские программы *Института библиотековедения и информатики* и *Института социальных наук*. Причем последний предлагает также магистерский курс по исследованиям науки (*Wissenschaftsforschung*). Акцент в его исследовательской программе сделан на комплексное изучение науки в единстве ее эпистемологических, исторических, институциональных, методологических и количественных (наукометрических) аспектов.

Институт истории науки Общества Макса Планка в Берлине (Das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, MPWG) – это один из крупнейших центров в сфере исследований науки не только в Берлине, но и во всей Германии. Он входит в число почти 80 исследовательских институтов

Общества Макса Планка, которые, как принято считать, создают своим сотрудникам наиболее благоприятные условия для проведения качественных и передовых исследований во многих областях науки. Престиж практически всех институтов Общества Макса Планка очень высок. Преимущественно эти институты занимаются исследованиями в области естественных наук. Но в последние десятилетия среди них развивается и кластер институтов исторических и социальных наук. Институт истории науки в этом плане занимает особое положение. С одной стороны, упор в его исследовательских программах сделан на историю естествознания, с другой – он базируется на методологии исторических социальных и философских наук, что сближает его с институтами социального кластера.

Институт насчитывает более 100 научных сотрудников и включает три основных научных подразделения: отдел «*Структурные изменения в системах знаний*», отдел «*Идеалы и практики рациональности*», отдел «*Экспериментальные системы и пространства знаний*». Отделы объединяют и координируют работу исследовательских групп, занимающихся проектами по соответствующей тематике. Кроме того, в институте созданы и отдельные рабочие группы, ведущие исследования по специальным темам.

Исследования института ориентируются на изучение истории науки в широком историко-культурном, технологическом и институциональном контекстах и в методологическом плане базируются на концепциях исторической эпистемологии. Важное место в них занимают вопросы методологии изучения научного знания, его базовых структур и понятий, проблемы становления, функционирования и трансформации систем научных знаний, соотношения современной науки с научными системами прошлых эпох. В отделе «*Структурные изменения в системах знаний*» идут исследования по интегральным направлениям «*Историческая эпистемология в действии*», «*Циклы длительной протяженности в развитии познания*», «*Глобализация познания*», «*Концепции, методы и история исторической эпистемологии*». В рамках этих направлений разрабатываются более конкретные темы и проекты, в том числе относящиеся к интеграции наук.

Например, на основе концепции длительных циклов развития познания изучается трансформация представлений о пространстве в различных познавательных парадигмах (от древнейших до современных), исследуется эволюция понятий в космологии, механике, квантовой физике, теории относительности. В направлении «*Историческая эпистемология в действии*» акцент сделан на концепции развития науки как комплексной системы, включающей также системы представления знаний – от устных и письменных языков до современных компьютерных технологий, тоже входящих в эволюцию систем знаний. На этой основе осуществляются изучение и разработка принципов представления научного знания, в том числе научного наследия прошлого, в цифровой форме, а также способов работы с ним в интернет-пространстве. В частности, в 2000-е годы институт был одним из главных участников общеевропейского проекта ЕСНО

(Европейское культурное наследие в Интернете), вдохновленного концепцией введения исторической эпистемологии в интернет-пространство. И сегодня работа в этом направлении активно продолжается.

Одна из тенденций исследований науки в современном Берлине – все более тесная кооперация усилий расположенных здесь научно-исследовательских и образовательных центров, общественных объединений и культурно-просветительских учреждений. Примером может служить так называемый интеграционный «проект высокого уровня» (Exzellenzcluster) «Топосы. Формирование и трансформация пространства и познания в древних цивилизациях» (*Topoi. The formation and transformation of space and knowledge in ancient civilisations*) В нем объединены усилия Института Макса Планка, всех университетов Берлина, научных обществ и музейного комплекса немецкой столицы. Проект исследует многообразные отношения между пространством и знанием в цивилизациях Средиземноморья и Передней Азии на протяжении 1 тыс. лет (с 500 г. до н.э. до 500 г. н.э.).

Нельзя также не упомянуть еще об одном центре исследования науки, находящемся в Берлине. Это – *Институт Лейбница по междисциплинарным исследованиям (Leibniz-Institut für interdisziplinäre Studien, LIFIS)*, созданный в 2002 г. Институт не располагает собственной исследовательской базой, а выполняет функцию «сетевой структуры», занимающейся организацией коммуникации между научными организациями различного профиля, отдельными учеными и специалистами экономики, политики и социальной сферы, а также общественностью. Финансируется из членских взносов и частных пожертвований. Формы работы – организация Лейбниц-форумов, поддержка междисциплинарных исследовательских проектов, издательская, образовательная, просветительская деятельность. Приоритетные задачи – поддержка междисциплинарных исследований в актуальных областях науки (новые материалы, новые источники энергии, микроэлектроника и др.), а также рефлексивные исследования науки в духе концепции «науки в контексте». Институт привлекает к участию в форумах и обеспечивает публикацию работ известных немецких и зарубежных специалистов в области философии, социологии и истории науки, издает сетевой журнал «LIFIS ONLINE» (<http://www.leibniz-institut.de/page/index.php>), сотрудничает с другими центрами исследования наук в Берлине.

Помимо Берлина видный центр исследований науки сложился в *Университете Билефельда*. Этот университет относится к числу «молодых» университетов Германии. Он был открыт в 1969 г. в период бурных событий в социальной, политической и культурной истории ФРГ, связанных с подъемом массовых социальных движений и проведением политических преобразований. Это наложило отпечаток на учебный и исследовательский профиль этого университетского центра. С самого начала в нем был сделан упор на обучение и исследования в области социальных наук, а важный вклад в их становление внесли видные немецкие социологи Хельмут Шельский и Никлас Луман. В дальнейшем социологические ис-

следовательские подразделения университета приобрели не только общегерманскую, но и международную известность.

При университете был создан *Центр междисциплинарных исследований (ZiS)*, который предоставляет условия для работы исследовательским группам, в том числе международным, для проведения инновационных междисциплинарных исследований. Разработку программ и проектов исследований осуществляют сами участники, а центр оказывает им содействие, создавая условия для исследований. За время существования центра в нем работали многие известные ученые в области социально-политических, экономических, естественных наук, ориентированные на междисциплинарную интеграцию исследовательской работы. Концепция работы центра, совершенствование и развитие принципов его организации были разработаны научными подразделениями университета, занимающимися социологией науки. А изучение непосредственной практики работы междисциплинарных исследовательских групп позволило углублять эти исследования, которые ведутся в основном на базе этнометодологии и методологии «исследования науки и технологий» (STS).

В качестве примера можно привести темы междисциплинарных исследований, проводившихся в ZiS в 2010–2012 гг.: «Коммуникация в условиях катастроф», «Культурная конструкция каузальной когниции», «Месседж квантовой физики – попытка синтеза», «Стохастическая динамика: математическая теория и области применения», «Конкуренция и контроль в духовной сфере и в мозгу: новые перспективы исследования внимания и зрения», «Нормативные аспекты общественного здоровья», «Равновесие религиозной аккомодации и прав человека при разработке конституций». (Последние три группы продолжают исследования до 2014 г.)

Социологические подразделения Университета издают «Журнал по социологии» (*Zeitschrift für Soziologie* <http://zfs-online.org/index.php/zfs/article/view>), являющийся весьма авторитетным изданием этого профиля в Европе, где тематике социологии науки уделяется заметное место.

Еще один центр исследования наук, о котором следует сказать, был создан сравнительно недавно в *Университете им. Шиллера в Йене*. В отличие от Университета Билефельда этот немецкий университет – старинный, он имеет богатую историю, связанную, в том числе, с работой там классика немецкой философии Гегеля, а также известного немецкого логика и математика Готтлоба Фреге, занимавшегося разработкой логических основ математических наук. Именно традициям изучения в университете основ логики и математики был обязан своим учреждением *Центр изучения структурных наук*, получивший имя Фреге (*Frege Centre for Structural Sciences*). При этом в заявлении по поводу открытия центра в 2008 г. также сказано, что Фреге-центр в Университете Шиллера в Йене является первым в мире специальным центром изучения структурных наук, и это связано с возрастающей ролью этих наук в развитии современно-

го научного мышления. Руководитель центра Бернд-Олаф Кюпперс отмечает, что изучение структурных наук, к числу которых относятся не только логика, математика, общая теория систем, но и кибернетика, синергетика, теория сетей, теория самоорганизации и другие, позволяет обнаружить фундаментальные структуры научного мышления. Деятельность центра предполагает развитие широкой международной и междисциплинарной научной коммуникации. Среди проектов Фреге-центра следует назвать Центр компетенции чистых и прикладных структурных наук (COMPASS), «Форум: научная жизнь в Йене», «Эволюция семантических систем» и др. Среди последних публикаций: Artmann S. *Historische Epistemologie der Strukturwissenschaften* (2010), *Selbstorganisation von Wissenschaft* (2011), Küppers B.-O. *Die Berechenbarkeit der Welt: Grenzfragen der exakten Wissenschaften* (2012), *Evolution of Semantic Systems* (2013).

Австрия

В Австрии традиции рефлексивного изучения науки связаны в основном с деятельностью так называемого Венского кружка (а до этого еще и с работами видного физика и теоретика науки Эрнста Маха), члены которого в 20–30-е годы прошлого века занимались разработкой проблем логических оснований научного знания. Многие из них были связаны с Венским университетом и вели там свои исследования. Деятельность кружка приобрела мировую известность и оказала существенное влияние на развитие философии науки в XX в.

И сегодня исследования науки в Австрии развиваются в основном на базе *Венского университета*. Они составляют важную часть в учебных и исследовательских программах нескольких его факультетов и научных центров. Особенно активно они проводятся на факультете философии и наук об образовании, историко-культурологическом факультете, а также на факультете социальных наук. Инновационным проектом университета является введение с 2010 г. интеграционной модели образования и исследований в области истории науки и философии науки (*history and philosophy of science, HPS*), объединяющей учебную и исследовательскую инфраструктуру факультета философии и наук об образовании (теория и философия науки) и историко-культурологического факультета (история науки). Причем создание современной интеграционной модели HPS прямо увязывается с историческими традициями исследования науки в Венском университете, включая Маха и организатора Венского кружка Моритца Шлика. Интеграционная программа, ориентированная на магистерский диплом в области HPS, базируется на тесной кооперации исследовательских модулей *Института философии* и *Института современной истории Венского университета*, а также Института Венского кружка, входящего в инфраструктуру факультета философии и наук об образовании.

Институт Венского кружка, созданный в 1991 г., занимается в основном исследованием архивов и документов Венского кружка, а также исторической реконструкцией формирования и развития логического эмпиризма и его роли в истории философии науки. Институт ориентируется на продолжение традиций Венского кружка, среди которых выделяется связь философии и конкретных наук и внимание к логико-эмпирическому, критико-рациональному и аналитическому способу мышления. Институт также декларирует идеи сближения теории и истории науки. Среди актуальных исследовательских проектов института, которые осуществляются, как правило, в тесном взаимодействии с Институтом философии, можно отметить проект *«Вильгельм Дильтей и Рудольф Карнап: историческое и системное изучение»*. В нем речь идет о сопоставлении историко-гуманитарной методологии науки Дильтея и логико-структурной методологии науки близкого к логическому эмпиризму Карнапа, в которых пытаются обнаружить общие тенденции, ведущие к интеграции науки. Ряд проектов института связаны с осмыслением проблематики и истории Венского кружка: *«Между логицизмом и металогики»*, *«Реализм и строгая теория»*, *«Политика логического эмпиризма»* и др. Среди завершенных проектов можно отметить проект *«История науки и / или теория науки»*, результаты которого имели международный отклик. В нем авторы обосновывают идею мегатренда последних десятилетий в исследованиях науки в Германии, Австрии и других странах, который ведет к «историзации» классической теории науки, к ее сближению с историей науки. Нетрудно заметить, что выводы этого проекта могли повлиять на введение интегрального похода к изучению науки в Венском университете в рамках упоминавшейся выше программы HPS. Можно также отметить весьма активное взаимодействие ведущихся в Вене исследований в области философии и истории науки с расположенными здесь же центральными органами Европейской ассоциации философии науки (European Philosophy of Science Association, EPSA).

Что касается программ исследований науки на факультете социальных наук университета Вены, то они с вышеуказанной кооперацией связаны слабо. Здесь исследования в основном проводятся в рамках *Института исследований науки и техники* и базируются преимущественно на социологических, экономических, культурологических методах. Наука здесь рассматривается как социальная подсистема, тесно связанная с практикой, включающая экономические, технологические, культурные компоненты. Проекты института в основном направлены на изучение процессов формирования общества знаний. Базовые темы исследований – *«Культуры и практики производства знаний»*, *«Контакты наук и общественности: коммуникация и интеракция»*, *«Этические и социальные измерения новых областей исследований: примеры наук о жизни и нанотехнологий»* и др. Институт также осуществляет разработку методов исследований науки в социокультурных и экономико-политических контекстах. В связи с этим

указывается на разработку методов оценки научной коммуникации в обществе, методов экспериментальных сценариев, методов формирования «пространств участия», методов биографических интервью и др.

Швейцария

В Швейцарии рефлексивные исследования науки не имеют таких богатых традиций, как в Германии и Австрии. Тем не менее научные и технические достижения швейцарских ученых хорошо известны (включая, например, Альберта Эйнштейна, который опубликовал свои открытия, работая в Берне). А научно-техническая политика в этой стране считается одной из самых благоприятных в мире, что способствовало привлечению в Швейцарию крупнейших международных научных проектов мирового уровня (ЦЕРН, Европейский центр компьютерных наук IBM и др.). Несомненно, что свой вклад в это вносят и разработки в области исследований науки, ведущиеся в этой стране.

Исследования науки в Швейцарии проводятся в основном в университетах и университетских центрах. Среди них, прежде всего, следует упомянуть крупнейший университет страны – *Федеральную высшую политехническую школу в Цюрихе (ETZ)*. Здесь исследования по данной тематике проводятся в научных структурах факультетов философии, истории техники, литературных и культурных наук, а также в двух специализированных центрах – *Центре истории знания (Zentrum Geschichte des Wissens)* и в *Коллегиум Гельветикум (Collegium Helveticum ETH Zürich)*. Особенно примечательна работа последнего. Коллегиум был создан в 1997 г. (при участии также Университета Цюриха) в целях развития междисциплинарного диалога представителей различных наук и реализации междисциплинарных и трансдисциплинарных проектов и даже получил второе наименование – «Лаборатория трансдисциплинарности». В проекты Коллегиума вовлекаются представители естественных, гуманитарных, математических, инженерно-технических наук, медицины, архитектуры и искусства, а также научных подразделений промышленных корпораций и общественности. В рамках Коллегиума функционируют также подразделения рефлексивно-методологического профиля, ориентирующиеся на осмысление трансдисциплинарной практики в науке. Среди них можно отметить проект «*Архив Людвика Флека*», ведущий работу по сбору и анализу материалов, связанных с публикацией в Швейцарии в 1935 г. известной работы Флека «*Возникновение и развитие научного факта*», считающейся классической для современных исследований науки. С исследованием и развитием практики трансдисциплинарной интеграции в науке связан и еще один проект, реализующийся при поддержке швейцарских академий наук. Это – проект «*Трансдисциплинарная сеть*» («*td-net*»), включающий целый спектр мероприятий исследовательского, коммуникационного и информационного ха-

рактера, важным элементом которого является создание и развитие онлайн-сети по проблемам трансдисциплинарной интеграции в науке.

Среди других университетов Швейцарии, где активно ведутся исследования науки, можно отметить также *университеты Базеля и Люцерна*. И в том и в другом они интегрированы в кластер социальных и культурных наук. При этом Университет Люцерна предлагает магистерскую степень в области исследований науки. Исследовательские проекты в этой сфере в основном ориентированы в духе социологии науки, исторической эпистемологии, институционализации научных практик, а также проблематики этики науки.

Сайты исследовательских организаций

- Gesellschaft für Wissenschaftsforschung e.V. [Общество исследования науки в Берлине]. – Mode of access: <http://www.wissenschaftsforschung.de/>
- Humboldt-Universität zu Berlin [Университет Гумбольта в Берлине]. – Mode of access: <http://www.hu-berlin.de/>
- The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations [Междисциплинарный проект «Топосы»]. – Mode of access: <http://www.topoi.org/>
- Leibniz Institut – LIFIS [Институт междисциплинарных исследований Лейбница в Берлине]. – Mode of access: <http://www.leibniz-institut.de/>
- Max Planck Institute for the History of Science – Home [Институт истории науки Общества Макса Планка в Берлине]. – Mode of access: <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de>
- The ZIF [Центр междисциплинарных исследований Университета Билефельда]. – Mode of access: <http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/Allgemeines/>
- Friedrich-Schiller-Universität Jena // Weltweit erstes Zentrum für Strukturwissenschaften gegründet [Центр структурных наук им. Фреге Университета Йены]. – Mode of access: http://www.uni-jena.de/PM080619_FregeZentrum.html
- Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät [Историко-культурологический факультет Венского университета]. – Mode of access: <http://hist-kult.univie.ac.at/fakultaet/>
- Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft: Institut für Philosophie [Институт философии Венского университета]. – Mode of access: <http://philbild.univie.ac.at/institutesubeinheiten/institut-fuer-philosophie/>
- Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie-(History and Philosophy of Science, HPS): Home [Интегрированная программа «История и философия науки» Венского университета]. – Mode of access: <http://hps.univie.ac.at/home>
- Institut Wiener Kreis» Das Institut [Институт Венского кружка Венского университета]. – Mode of access: <http://wienerkreis.univie.ac.at/das-institut/>
- Институт социальных наук Венского университета. – Mode of access: <http://sciencestudies.univie.ac.at/home/>
- Institut für Wissenschafts- und Technikforschung Home [Исследовательские направления Высшей федеральной политехнической школы Цюриха (ETZ)]. – Mode of access: <http://www.zgw.ethz.ch/>

www.collegium.ethz.ch: home [Коллегиум Гельветикум]. – Mode of access: <http://www.collegium.ethz.ch/de/>

Akademien Schweiz [Проект «Трансдисциплинарная сеть» (td-net)]. – Mode of access: <http://www.transdisciplinarity.ch>

Wissenschaftsforschung: Wissenschaftsforschung [Программа «Исследования науки» Университета Базеля]. – Mode of access: <http://wifo.unibas.ch/wissenschaftsforschung/>

Profil – Universität Luzern [Программа «Исследования науки» Университета Люцерна]. – Mode of access: http://www.unilu.ch/deu/profil2_586086.html

В.С. Авдонин

И.В. Соболева, Д.Э. Гаспарян, А.С. Соболев

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

От редакции. В рамках рассмотрения различных способов объединения исследований в разных дисциплинах социально-гуманитарного знания нередко возникает идея, что простая форма интеграции возможна на основании тех или иных методов сбора и анализа данных. В данном разделе мы приводим описание исследовательского проекта «Качественные методы в социальных исследованиях» (2011)¹, который в рамках НИУ–ВШЭ провели Антон Соболев, Артем Смирнов, Даниил Шестаков, Диана Гаспарян, Иван Болдырев, Ирина Соболева и Руслан Хаиткулов. Исследование интересно не только тем, что оно выявляет наиболее востребованные качественные методы в русскоязычном научном мире, но также тем, что пытается найти проблемные точки и технологии развития исследовательского сообщества «качественников». Такой по сути не науковедческий, а социологический анализ, по нашему мнению, может показать основания для интеграции различных научных дисциплин. В частности, некоторые из затронутых вопросов могут быть представлены как социологический аспект проблемы становления, освоения и консолидации семиотики как одного из органонов-интеграторов.

Современное состояние методов, используемых в оригинальных российских социальных исследованиях, характеризуется, на наш взгляд, тремя принципиальными проблемами. Прежде всего, практически системной остается проблема корректного использования навыков и техник эмпирических исследований, касающаяся в равной степени количественных и качественных методов анализа. Ее усугубляет вторая проблема, заключающаяся в ставшем традиционным для России использовании «догоняющих» исследовательских стратегий. В силу языковых и организацион-

¹ Подробно с проектом можно познакомиться на его странице на сайте НИУ–ВШЭ: Качественные методы в социальных исследованиях. – Режим доступа: <http://academics.hse.ru/qm> (Дата посещения: 10.12.2013.)

ных барьеров российские ученые во многом заново открывали для себя рынок методологических исследовательских техник, особенно в сравнительно новых науках (политологии, менеджменте и государственном управлении, исследований образования и бизнеса). Третья проблема относится к негативным проявлениям капризной исследовательской моды на методы: доминирование в последнее десятилетие количественных исследований привело к тому, что российские ученые социально-экономического профиля массово сконцентрировали свои силы на изучении (и преподавании студентам) курсов по работе с количественными данными. В результате на факультетах социологии, политологии, экономики часы, отведенные для освещения вопросов эмпирических исследований, практически целиком концентрируются на количественных методах.

На фоне явного повышения уровня проведения исследований с использованием количественных методов недостаток в глубоких качественных исследованиях становится все более значительным. Одними из факторов, которые определяют некоторое отставание «качественников» от «количественников», являются относительно низкая степень интеграции первых и отсутствие профессиональных объединений, способных выполнять оценку качественных исследований. В логике концентрации «научного капитала» профессиональная ассоциация ученых-«качественников» может быть отождествлена с символическим профессиональным сообществом, выполняющим роль референта для отдельных исследований и повышающего качество научного поиска.

Данное исследование посвящено анализу состояния российского «качественного» сообщества, а именно: 1) рассмотрению основных социальных характеристик российских исследователей-«качественников»; 2) выявлению профессиональных, технических и организационных проблем, с которыми сталкивается профессиональное сообщество. Долгосрочная и «нормативная» цель исследования – повышение эффективности работы с качественными данными в российском научном сообществе. Реализация как конкретной, так и долгосрочной целей предполагает не только оценку того состояния, в котором находятся качественные исследования в России, но и по возможности точную диагностику тех проблем, которые не позволяют российским «качественникам» быть конкурентоспособными на мировом рынке социальных исследований.

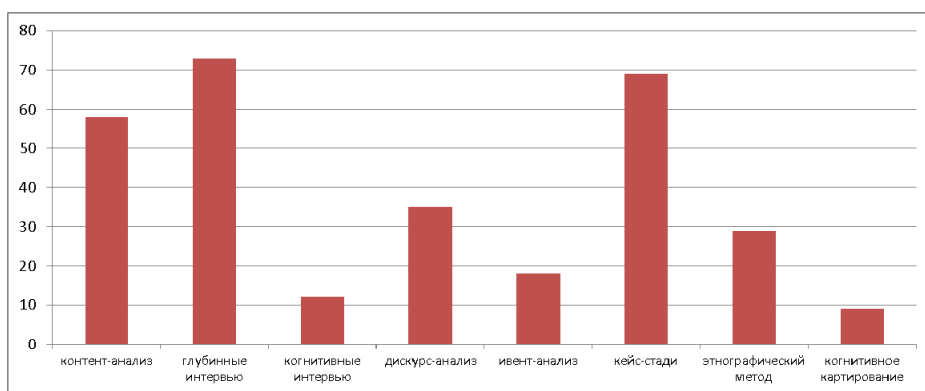
Исследование подразумевало сбор информации об исследователях, использующих в своих работах качественные методы обработки данных. Сначала была определена целевая группа, а именно – специалисты в области социальных наук, использующих качественные данные в эмпирических исследованиях. Далее нами был проведен опрос среди выбранных респондентов с целью выяснения основных трудностей, препятствующих их эффективной работе в области качественных исследований. Выявленные проблемы были проанализированы и систематизированы, после чего был предпринят ряд действий для преодоления обозначенных респондентами трудностей.

В результате исследования стали очевидны две интересные тенденции по типу исследований. Во-первых, «качественники» ориентированы на «саморефлексию» и изучение собственной профессиональной среды: социология науки, культуры, образования, социальная политика – стандартные вотчины социальных исследователей. Во-вторых, наблюдается ориентация «на рынок», что выражено в выборе объектов изучения: трудовых, управленческих и бизнес-отношений и практического решения подростковых и молодежных проблем. Интересно, что безусловное доминирование приходится на саморефлективные и абстрактные исследования, показывающие, что «качественники» пока только открывают для себя независимый от науки рынок.

По сферам деятельности, в которых работают опрошенные «качественники», складывается противоположная картина: преимущество прикладных дисциплин над фундаментальными. Однозначное лидерство достается социологии и ее многочисленным ответвлениям. Затем с заметным отрывом идут политология, философия, экономика, культурология и психология, менеджмент и история.

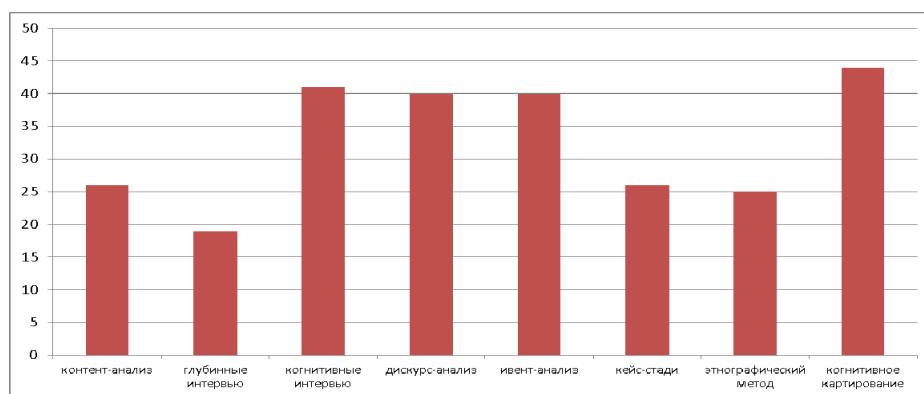
Если говорить об институциях, где трудятся «качественники», то нужно отметить, что это в основном университеты. Доля научно-исследовательских институтов, лабораторий и других учреждений вне системы образования не столь значительна. Между тематикой профилирующего интереса и учебным курсом, преподаваемым «качественником», чаще всего присутствует тесная связь, что позволяет говорить об интегрировании в учебные программы исследовательских наработок. Свойственная европейской традиции высшего образования сложная связь между преподаванием и научно-исследовательской работой в случае с «качественниками» прослеживается значительно более ярко, чем у представителей «количественного» сообщества, которое более успешно на рынке интеллектуальных услуг.

По поводу предпочтительных методов исследования можно привести следующую диаграмму 1 (респондент мог выбрать более одного варианта ответа):



Диagr. 1
Предпочитаемые методы исследования

Относительно методов, которыми исследователи хотели бы овладеть более профессионально, мы получили диаграмму 2:



Диagr. 2
Интересующие методы

Опрос показал, что менее половины исследователей, которые используют качественные методы (имеющих эмпирические статьи в научных российских журналах и профессионально использующих качественные методы), являются членами научных ассоциаций. Узких по тематике ассоциаций, которые могли бы стать площадкой для интеграции «качественников», даже в рамках одной дисциплины не существует. Подтверждением тому может послужить тот факт, что большинство респондентов ощущают необходимость обсуждения с коллегами результатов своих исследований, профессиональной литературы, вопросов методик проведения исследования и методов обработки полученных данных.

Типичные проблемы, которые существуют в среде «качественников», можно свести к трем крупным темам:

1) коммуникационные проблемы: отсутствие возможности общения с профессионалами в близкой области (желание обмена профессиональными новостями, обсуждения новых научных разработок);

2) технические проблемы: отсутствие русскоязычных методичек по работе с англоязычным программным обеспечением, неумение пользоваться новыми программами для обработки данных, затруднение с какими-то методами (например, 40% исследователей хотели бы научиться пользоваться дискурс-анализом, но они не могут найти удовлетворительных обучающих программ);

3) информационные проблемы: исследователи испытывают трудности с поиском новых баз данных, не знают, какие курсы читаются по обработке качественных данных, часто используют только самостоятельно

собранные материалы исследований, поскольку не знают, где можно взять уже заранее собранные данные.

Исследование показало, что, несмотря на то что качественные методы многими со стороны воспринимаются как что-то довольно аморфное, где переход от глубинного интервью к дискурс-анализу – это что-то вполне обычное, сообщество «качественников» очень разделено. Одной из главных причин здесь является то, что качественные исследования часто носят очень частный характер и даже самими авторами воспринимаются как узкодисциплинарные. Эта «кажущаяся» узость создает трудности для трансдисциплинарного взаимодействия. Отметим, что у сторонников количественных методов трансдисциплинарное взаимодействие крайне развито: во многом благодаря тому, что в них используются универсальные для современной науки математические методы. В качестве интересной тенденции, которая, возможно, в будущем позволит преодолеть, с одной стороны, некоторую нечувствительность «количественников» к исследуемому материалу в угоду универсальности метода, а с другой – нежелание выходить за рамки констатации узкодисциплинарных фактов, можно назвать стремление использовать все методы одновременно.

Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина

**КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КОГНИТИВНЫХ
ТЕРМИНОВ (ФРАГМЕНТЫ)¹**

[...] **КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА (К.Л.)** (cognitive linguistics; kognitive Lingustik; lingulstique cognitive) – лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент системы знаков, играющий роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации. Эта система, в противоположность другим семиотическим инструментам человека, одновременно является объектом, и внешним и внутренним для субъекта, конституированным независимо от него и подлежащим усвоению в онтогенезе. Такая двойственность языка отличает язык от остальных когнитивных видов деятельности [Caron 1983: 17–18]. В механизмах языка существенны не только мыслительные структуры сами по себе, но и материальное воплощение этих структур в виде знаков со своими «телами» [Armstrong, Stokoe, Wilcox 1995: 34].

В сферу К.Л. входят «ментальные» основы понимания и продуцирования речи, при которых языковое знание участвует в переработке информации. Результаты исследований в области К.Л. дают ключ к раскрытию механизмов человеческой когниции в целом [Deane 1992: 1], особенно механизмов категоризации и концептуализации [Smith 1993: 531]. Поскольку в К.Л. на явления языка, особенно на значение и референцию, смотрят через призму когниции человека [Benthem 1991: 25], лексическая структура языка трактуется как результат взаимодействия когниции человека с семантическими параметрами, присущими данному языку [Senft 1994: 414]; (ср.: [Dobrovol'skij 1995: 9]) [...].

В отличие от остальных дисциплин когнитивного цикла, в К.Л. рассматриваются когнитивные структуры и процессы, свойственные человеку как homo loquens: системное описание и объяснение механизмов

¹ Публикуется с сокращениями и исправлениями по: Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина; под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – 245 с.

человеческого усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов [Felix, Kanngiesser, Rickheit 1990–1: 1–2]. Ментальные процессы не только базируются на репрезентациях, но и соответствуют определенным процедурам – «когнитивным вычислениям» [Eschenbach et al. 1990: 37–38; Демьянков 1989], что ведет к постановке вопросов о числе и типе операций, совершаемых над символами.

Центральная задача К.Л. состоит в описании и объяснении языковой способности и / или знаний языка как внутренней когнитивной структуры и динамики говорящего-слушающего, рассматриваемого как система переработки информации, состоящая из конечного числа самостоятельных модулей [Wunderlich, Kaufmann 1990: 223] и соотносящая языковую информацию на различных уровнях [Демьянков 1994–2].

Существуя как новая область теоретической и прикладной лингвистики, К.Л. оказывается связанной с изучением когниции в ее лингвистических аспектах и проявлениях, с одной стороны, и с исследованием когнитивных аспектов самих лексических, грамматических и пр. явлений – с другой. В этом смысле она занимается как репрезентацией собственно языковых знаний в голове человека и соприкасается с когнитивной психологией в анализе таких феноменов, как словесная или вербальная память, внутренний лексикон, а также в анализе порождения, восприятия и понимания речи, так и тем, как и в каком виде вербализуются формируемые человеком структуры знания, а следовательно, К.Л. вторгается в сложнейшую область исследования, связанную с описанием мира и созданием средств такого описания (см.: [Кубрякова 1992; Кубрякова 1994–2; 1994–3]).

Начало К.Л. приходится на 80-е годы, и иногда его связывают с симпозиумом в Луйсбурге, организованным Рейс Дирвенем в 1989 г., и созданием Международной когнитивной лингвистической ассоциации, участвующей ныне в выпуске специальных изданий по К.Л. Ее возникновение было вызвано новым пониманием языка и подчеркиванием в нем (в тесной связи с идеями когнитивной науки) его психического, ментального аспектов. Определение языка как явления когнитивного или когнитивно-процессуального, акцент на том, что язык передает информацию о мире [Soames 1988: 185, 202], что он многосторонне связан с обработкой этой информации [Schwarz 1992], что он имеет прямое отношение к построению, организации и усовершенствованию информации и способам ее представления [Павиленис 1983: 28], что он, наконец, обеспечивает протекание коммуникативных процессов, в ходе которых передаются огромные пласты знаний и используются – не менее значительные и сложные [Rickheit, Strohner 1993], – все это придало новое направление лингвистическим исследованиям; (ср.: [Nuys 1992]).

Хотя область К.Л. еще окончательно не сложилась (ср.: [Schwarz 1992: 37]), уже сегодня в ней выделились, с одной стороны, многочисленные течения, характеризующиеся своей общей когнитивной организацией (ср.: [Герасимов 1985]) и демонстрирующие проекты разных типов ког-

нитивных грамматик, когнитивных исследований дискурса, когнитивной лексикологии и т.п. С другой стороны, в активно разрабатываемой области семантики предлагаются разные варианты когнитивных ее версий – прототипическая семантика, концептуальная семантика, фреймовая семантика и др. могут считаться ее интересными разновидностями; (ср.: [Демьянков 1992; 1994–3; Харитончик 1992; Беляевская 1994 и др.]). Наконец, можно выделить целый цикл лингвистических проблем, получающих новое освещение и новое решение в силу их освещения с когнитивной точки зрения. Это прежде всего проблемы категоризации и концептуализации, рассматриваемые в многочисленных публикациях; проблемы языковой картины мира; проблемы соотношения языковых структур с когнитивными; проблемы частей речи и т.п. – все то, с чем связано освещение ментальных репрезентаций и их языковых «привязок» (коррелятивных им языковых форм). Важно также отметить, что поскольку репрезентации обычно считаются единицами символическими (стоящими взамен чего-то другого), когнитивная лингвистика имеет немало точек соприкосновения с семиотикой, а часть возникающих в связи с этим проблем (иконичности и индексальности знаков, соотношения тел знаков с теми концептами, передаче которых эти тела служат, различий в типах знаков, зависящих от их протяженности и уровня, и т.п.) затрагивают интересы обеих наук и могут быть решены лишь на их стыке (ср. также: [Jorna 1990]). О разграничении областей когнитивной психологии и когнитивной лингвистики см. также, помимо указанного выше, и в статье о К.П. [Katz 1984]; учитывая и то, что если К.П. занимается всеми когнитивными способностями человека и их взаимодействием, а К.Л. – только такой когнитивной способностью, как язык, последняя все равно связана с К.П., описывающей интеракцию разных когнитивных способностей в разных типах деятельности человека (прежде всего – в коммуникативной).

В.Д., Е.К.

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА (концептуальная метафора; *cognitive / conceptual metaphor*) – одна из форм концептуализации, когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания [Телия 1988; Маккормак 1990; Теория метафоры 1990 и др.]. По своему источнику К.М. отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между разными индивидами и классами объектов [Арутюнова 1990–1: 15].

При наиболее общем подходе метафора рассматривается как видение одного объекта через другой и в этом смысле является одним из способов репрезентации знания в языковой форме. Метафора обычно относится не к отдельным изолированным объектам, а к сложным мыслительным пространствам (областям чувственного или социального опыта). В процессах познания эти сложные непосредственно ненаблю-

даемые мыслительные пространства соотносятся через метафору с более простыми или с конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами (например, человеческие эмоции сравниваются с огнем, сферы экономики и политики – с играми, спортивными соревнованиями и т.д.). В подобных метафорических представлениях происходит перенос концептуализации наблюдаемого мыслительного пространства на непосредственно ненаблюдаемое, которое в этом процессе концептуализируется и включается в общую концептуальную систему данной языковой общности. При этом одно и то же мыслительное пространство может быть представлено посредством одной или нескольких концептуальных метафор.

Различаются следующие основные типы метафор, задающие аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождающие частные метафоры [Лакофф, Джонсон 1990; Lakoff 1987; Lakoff, Johnson 1980; Reddy 1979; Langacker 1991].

1. Структурные (structural) метафоры концептуализируют отдельные области путем переноса на них структуризации другой области.

2. Онтологические (ontological) метафоры категоризируют абстрактные сущности, путем очерчивания их границ в пространстве.

3. Метафора «канал связи / передача информации» (conduit metaphor) представляет процесс коммуникации как движение смыслов, «наполняющих» языковые выражения (вместилища), по «каналу», связывающему говорящего и слушающего.

4. Ориентационные (orientational) метафоры структурируют несколько областей и задают общую для них систему концептуализации; они в основном связаны с ориентацией в пространстве, с противопоставлениями типа «вверх – вниз», «внутри – снаружи», «глубокий – мелкий», «центральный – периферийный» и др. Так, в английском языке «счастье, здоровье, сознательное, рациональное» описывается через метафору «наверху», «сверху», «вверх» (up), тогда как «несчастье, болезнь, смерть» – через метафору «внизу», «вниз» (down).

5. Метафора «контейнер» (container metaphor) представляет смыслы как «наполнения контейнеров» – конкретных языковых единиц.

6. Метафора «конструирование» (blockbuilding metaphor) представляет смысл крупных речевых произведений как «конструкцию» из более мелких смыслов.

В разных языках одни и те же мыслительные пространства концептуализируются с помощью разных К.М. Подробное исследование таких пространств и типов метафор (см. также: [Heine, Traugott eds. 1990; Hopper, Thompson 1993]), в которых эти явления изучаются с точки зрения их значимости для процессов грамматики. Под ними имеются в виду трансформации конкретных лексических единиц (например, глаголов движения или существительных, обозначающих части тела человека) в более абстрактные, грамматические, средством чего оказывается метафорический перенос.

Л.Л.

[...] **КОГНИТИВНАЯ НАУКА / КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ;** (cognitive science / sciences) – наука / науки, занимающиеся человеческим разумом и мышлением (mind) и теми ментальными (психическими, мыслительными) процессами и состояниями, которые с ними связаны (см.: [Виноград 1983: 126; The Cognitive Turn 1989: 72; Varela, Thompson, Rosch 1993: 38 и др.]); наука / науки, предметом которых / которой является когниция – познание и связанные с ним структуры и процессы (см.: [Eckardt 1993: 57; Pylyshyn 1984: XI]); исследование феномена знания во всех аспектах его получения, хранения, переработки и т.п., в связи с чем главными проблемами К.Н. считаются вопросы о том, какими типами знания и в какой форме обладает человек, как репрезентировано знание в его голове, каким образом приходит человек к знанию и как он его использует (см.: [Schwarz 1992: 14–15]); хотя непосредственные объекты этой науки определяются по-разному, чаще всего этим объектом оказывается информация и, главное, – обработка информации и ее переработка, причем не только человеком, но и машиной (компьютером), т.е. все виды деятельности с информацией. Согласно более распространенному взгляду, указывает Р. Шепард, К.Н. – это наука о системах представления знания и получения информации; менее распространенной, но более приемлемой точкой зрения на К.Н. является ее определение как науки об общих принципах, управляющих ментальными процессами, т.е. определение, подобное тому, что дается теоретической физике [Shepard 1988: 45].

Как показывают эти определения, несмотря на определенную близость в указаниях на предмет или объект исследования, К.Н. – это и знание, и познание, и информация, и человеческий разум, и сознание, и человеческий мозг как носитель соответствующих систем, и их биологическая основа и т.п., – все же в разных дефинициях К.Н. называются разные феномены, и рассмотрение каждого из них привносит в науку / науки свою специфику, к тому же каждое направление по сути требует своего собственного эмпирического подтверждения и своей теоретической платформы. Такая ситуация заставляет признать, что скорее всего обозначение «когнитивная наука» относится к обширной и весьма общей программе научных исследований, объединяемых связующим их единым объектом – когницией. Термин К.Н. следует в связи с этим рассматривать как «зонтиковый» для объединения определенного количества научных дисциплин и создания междисциплинарной науки, которая вырабатывает методы и приемы, необходимые для интеграции усилий ученых разных специальностей с целью более адекватного и полного представления об одном из самых сложных феноменов природы – человеческого сознания и разума.

Объединение наук в рамках когнитивизма диктуется прежде всего пониманием того, что разум – настолько сложный объект познания, что изучение его не может быть ограничено рамками одной дисциплины, даже такой, которая занималась им специально, – психологии [Bruner 1988: 82; Schwarz 1992: 14; Johnson-Laird 1983: XI]. История К.Н. ярко

демонстрирует и тот факт, что для исследования сложных объектов ученые должны собираться в определенные научные сообщества, – один индивид уже не в состоянии овладеть всеми необходимыми данными об объекте [Giere 1989: 3].

Какие же науки объединяет или пытается объединить К.Н.? Не вызывает сомнения, что у истоков К.Н. стояли когнитивная психология и лингвистика (или – психолингвистика); к числу когнитивных наук, однако, то причисляют философию, лингвистику, антропологию и нейронауки (см.: [Thagard 1989: 72]), то прибавляют к перечисленным дисциплинам психологию и логику [Gardner 1985: 7], то включают в их состав моделирование искусственного интеллекта (см. схему, приводимую в Предисловии), то, наконец, справедливо указывают на связь К.Н., причем в самом ее зарождении, с методами математического моделирования, теорией информации, кибернетикой и, конечно же, с компьютерной наукой. В европейских направлениях когнитивизма отмечается также связь К.Н. и семиотики, что для настоящего периода его развития очень существенно (ср.: [Jorna 1990]).

Несмотря на исключительную престижность когнитивных исследований и их широчайшую распространенность, несмотря на значительное влияние когнитивизма и на такие науки, как литературоведение, социология, антропология и др., К.Н. не может считаться монолитной или же предложившей какой-либо один подход к исследованию когниции и разума (см.: [Jorna 1990: II; Eckardt 1993: 1 и 15]). Иногда утверждают поэтому, что когнитивными называют науки, каждая из которых занимается когницией со своих собственных позиций и применяя свои методики. Однако дело К.Н. заключается как раз в том, чтобы интегрировать данные из разных наук под определенным углом зрения, а для этого сформулировать известные предпосылки исследования и его конкретные цели (ср.: [Felix, Kanngiesser, Rickheit 1990]).

На более ранних этапах развития К.Н. говорили о двух допущениях:

– человеческий интеллект может изучаться как материальная символическая система, которая понимается как «своего рода машина, которая порождает развертывающийся во времени набор символьных структур»; для человека такими структурами являются ментальные репрезентации;

– свойства материальной символической системы изучаются на таком уровне анализа, который позволяет абстрагироваться от физической или технической стороны указанной системы, а также от материальной стороны механизмов, производящих некие операции с символами [Виноград 1983: 127]. Иными словами, хотя в когнитивной парадигме когниция и связывается с определенной ее физической «имплементацией» (реализацией) и считается, что когнитивные процессы протекают в том или ином материальном виде, воплощении (как в человеке, так и в машине), сами эти процессы можно полагать независимыми от этого об-

стоятельства и изучающимися в основном в их функциональном аспекте; (ср.: [Pylyshyn 1984; Kirkeby 1994: 593 и сл.; Schiffer, Steele 1988]). Поскольку признается также несводимость когнитивных процессов к описаниям, сделанным какой-либо одной наукой, постулируется необходимость обращения к данным разных наук и интеграции этих данных; это объясняет междисциплинарный характер К.Н. Требования этого рода подкрепляются и тем, что функционального описания ждут все когнитивные составляющие когнитивной системы разума – память, внимание, воображение, мышление, восприятие и т.п., а каждая такая составляющая – отдельный механизм обработки информации, – уже имеет собственную историю ее изучения и может исследоваться самостоятельно.

Признается для К.Н. и другая система допущений, и хотя общим для всей когнитивной программы является прежде всего попытка «функционально идентифицировать ментальные состояния, в терминах их взаимодействия между собой, в абстракции от материальной реализации в мозгу» и в терминах моделей «внутренней переработки» (inner processing) информации (ср.: [Демьянков 1994–1: 17 и сл.]), в число исходных установок включают также помимо допущений об уровне ментальных репрезентаций:

1) положение о том, что центральным для всей проблематики является обращение к компьютеру как служащему самой наглядной и самой убедительной моделью того, как работает человеческой мозг (см. подробнее: компьютерная метафора), а также позволяющему имитировать на нем отдельные когнитивные процессы (например, обучения или экспертного знания и т.п.);

2) положение о том, что сегодня можно сознательно отвлечься при изучении когнитивных структур и процессов от воздействующих на них эмоциональных, культурологических и исторических факторов, хотя и признается, что такая процедура носит методологически временный характер (см.: [Gardner 1985: 6–7]). Исследование этих и тому подобных факторов входит, правда, в перспективу когнитивного анализа [Eckardt 1993: 341], который в будущем поможет решить и вопрос о том, что представляет собой мозг человека и насколько оправданно его определение как устройства компьютерного типа.

В настоящее время широко обсуждаются вопросы о дате «рождения» К.Н. (здесь выдвигаются и мнения о том, что зарождение науки приходится на середину 50-х годов, и мнение о том, что этой датой должна быть признана организация Центра по когнитивным исследованиям в Гарварде в 1960 г., и даже мнение о том, что распространение этой парадигмы знания связывается с 70-ми годами в американской науке). Много изданий и журналов посвящаются также текущим когнитивным исследованиям; и наконец, существует уже несколько обзоров исторического характера, отражающих как предтечи К.Н., так и ее составляющие. Мы уже указали на эти работы в предисловии. Вместе с тем необходимо от-

метить, что, характеризуя К.Н., говорят о том, что у этой науки длительное прошлое, но весьма краткая предыстория [Gardner 1985: 9]. И действительно, человеческим интеллектом, закономерностями мышления, источниками знаний и процессами его достижения, а также мозгом, психикой и ментальными состояниями и актами – всем этим давно занимались философия и логика, психология и биология. В философии существовал даже специальный раздел, посвященный теории познания, а интерес к гносеологии и эпистемологии, методологии и истории науки характерен отнюдь не только для К.Н. И все же надо решительно подчеркнуть тот факт, что в рамках К.Н. все эти и аналогичные им проблемы звучат по-новому и решаются по-новому и что с самого начала ученых, стоящих у истоков новой науки, отличала несомненная оригинальность, и что как о когнитивной революции, так и о революции хомскианской говорят не случайно. Когнитивизм знаменовал появление новой парадигмы научного знания, и с ним в историю науки пришло новое понимание того, как следует изучать знание, как можно подойти к проблеме непосредственно не наблюдаемого – прежде всего к проблеме внутреннего представления мира в голове человека: ключевыми понятиями для начальных периодов К.Н. становятся понятия репрезентаций, структур представления знаний, нетождественных по своей модальности, объему, близости репрезентируемому оригиналу и т.п.

Первый этап в развитии К.Н. и был посвящен, собственно, разработке идей репрезентационализма и освещению той деятельности человека, которая могла быть определена как оперирование ментальными репрезентациями, выступающими прежде всего как символы чего-то, находящегося «извне», в реальном или выдуманном мире, но всегда как стоящего взамен чего-то. «Когнитивизм – взгляд, согласно которому человек должен изучаться как система переработки информации, а поведение человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних состояний человека. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация информации для рационального решения разумно формулируемых задач» [Демьянков 1994–1: 1]. Подобное определение когнитивизма означало, что центральной проблемой для всего этого направления оказывался вопрос о том, в каких именно терминах следует описывать и объяснять все манипуляции с информацией, и ответом на этот вопрос являлся тезис об операциях с символами и над символами (ментальными репрезентациями). Но с символами оперировали и компьютеры. Сопоставление работы компьютера и деятельности мозга детерминирует основную линию анализа внутри многих направлений К.Н. и предопределяет поиски решений многих когнитивных проблем имитацией ментальных процессов на компьютере. Соответственно, ключевыми понятиями К.Н. становятся и такие понятия, как «обработка знаний» (processing) или их «вычисление» (computation). Чем-то вроде вычисления начинает

считаться и разумное поведение человека [Caplan 1989]. Но аналогия операций на ЭВМ и в мозгу человека (см.: компьютерная метафора) оказывается настолько глубокой, что многие ученые начинают считать, что и К.Н. должна изучать не только человеческое мышление, но включить также в предмет своего исследования все процессы переработки знаний – осуществляемые как человеком, так и машиной. Дискуссии о правомочности такого взгляда на вещи определяют и сегодня борьбу мнений о сущности когнитивной парадигмы.

Рефлексы этой полемики особенно существенно сказываются на втором этапе развития когнитивизма, который в Америке испытывает радикальные преобразования под влиянием коннекционизма, а в Европе сказывается на обращении к проблеме языковой обработки данных в первую очередь.

Связь лингвистики и психологии, характеризовавшая начальные этапы становления К.Н. (см. подробнее: [Кубрякова 1992; 1993; 1994]), приобретает настолько тесный характер, что проблемы понимания речи и порождения речи начинают ставиться в новом ключе – они вызывают к жизни поток специальной литературы, направленной на объяснение всей речемыслительной деятельности с когнитивной точки зрения (ср.: [Кубрякова 199 Б; Rickheit, Strohner 1993; Schwarz 1992 nflp.]).

Яркая тенденция сблизить исследование когниции с изучением языка становится, несомненно, отличительным признаком всей К.Н. «Существует искушение, – указывает Г. Харман, – определить К.Н. как представляющую собой научное изучение когниции, но это чересчур узкое ее понимание: с одной стороны, в центре интересов К.Н. находится язык, с другой стороны, взгляды на то, до какой степени изучение языка входит составной частью в изучение когниции, расходятся. Поэтому лучше говорить о том, что К.Н. включает как исследование языка, так и исследование когниции, причем у этих исследований часто появляются как философские, так и чисто инженерные аспекты» [Harman 1988: 259].

В словаре по когнитивной психологии отмечается в связи с этим, что К.Н. вырастет на основе трех начинаний: изобретения компьютера, развития психологии и подхода, определяемого анализом процесса обработки информации и исследованием ментальных процессов, касающихся восприятия, памяти, языка и мышления, и, наконец, появлении теории генеративной грамматики со всеми ее ответвлениями [Eyscnck 1991: 60]. Связь хомскианской революции в лингвистике и когнитивного переворота в науке представляется, таким образом, несомненной (см. также: [The Making of Cognitive Science 1988]).

В истории К.Н. уже можно выделить по крайней мере два указанных выше этапа – этап узкого когнитивизма, который сменяется этапом все возрастающей роли таких новых моделей работы мозга, как коннекционистские (модели так называемой параллельно распределенной об-

работки информации Дж. Макклеланда и Д. Румельхарта [Parallel Distributed Processing 1986]).

С широким распространением К.Н. можно связать появление разных школ и разных направлений в разных странах. В европейских течениях К.Н. особое внимание уделяется процессам языковой обработки информации, в американских направлениях огромный скачок вперед сделали когнитивная психология, в которой накопились значительные массивы данных экспериментального порядка, а также нейронауки.

Е.К.

[...] **КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КОГНИТИВНЫЙ ПОВОРОТ** (cognitive revolution, cognitive turn; cognitive Revolution, cognitive Wende; revolution cognitive) [...]. Смена общенаучной парадигмы [Albersnagel 1987: 8], в 1956–1970-е годы связываемая с именами Дж. Брунера, Дж. Миллера, У. Найссера, Ж. Пиаже, А. Ньюэлла, Г. Саймона и др. [Miller 1979]. Как и «картезианская революция», К.Р. явилась результатом попыток рассмотреть деятельность человека как работу автомата (в XX в. – компьютеров) [Otero 1994: 22]. До когнитивистов стремились открыть общие логические законы, действительные для всех биологических видов, материалов, веков и стадий знания, в отвлечении от содержания [Gardner, Wolf 1987: 306]. Теперь же главные принципы привязываются к человеческой когниции. Аксиомы когнитивизма предопределяются междисциплинарностью этого направления [Gardner, Wolf 1987: 117].

1. Исследуются не просто наблюдаемые действия (т.е. продукты), а их ментальные репрезентации, символы, стратегии и другие ненаблюдаемые процессы и способности человека (которые и порождают действия).

2. На протекании этих процессов сказывается конкретное содержание действий и процессов, а не «навык».

3. Культура формирует человека: индивид всегда находится под влиянием своей культуры.

Поводом для именованя этого направления «революцией» явилась антибихейвиористская направленность когнитивистов, стремившихся вернуть мысль (mind) в науки о человеке – после «долгой холодной зимы объективизма» [Bruner 1990: 1].

К середине 1950-х годов появилась заманчивая перспектива объяснить мыслительные процессы через «правила преобразования мысленных представлений», аналогичные трансформационным правилам в первых версиях генеративной грамматики. Эти правила вырисовывались из наблюдений над усвоением языка детьми [Pinker 1984: 1]: складывалось впечатление, что дети каким-то единообразным способом приходят к овладению своим родным языком и что этот универсальный «алгоритм» овладения языком состоит во введении новых правил во внутреннюю грамматику ребенка. Обобщая эти наблюдения, пришли к выводу о том, что эти правила очень похожи на все, что управляет и речевыми видами

деятельности, придает им продуктивность и выглядит иногда как непроизвольное, неконтролируемое поведение, отражаясь на структуре восприятия, памяти и даже на эмоциях [Fodor, Bever, Garrett 1974: 6–7].

Основанная на подобных соображениях когнитивистская методика близка по духу деятельности лингвиста, когда тот, интерпретируя текст, анализирует причины правильности и осмысленности предложений (на основе опроса информантов и / или интроспективно), прибегает к гипотетико-дедуктивным построениям [Goldman 1987: 539]. Исследование того, как человек оперирует символами, осмысляя и мир, и себя в мире, объединяет лингвистику с другими дисциплинами, интерпретативным путем изучающими человека и общество.

К.Р. была одним из проявлений общей тенденции к интерпретативному подходу в различных дисциплинах. Это стремление выявить механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире особенно ярко выразилось в лингвистическом «интерпретационизме» («интерпретирующая семантика»), в философской и юридической герменевтике, в литературоведческих теориях читателя (reader criticism).

В.Д.

[...] **КОГНИЦИЯ** (cognition, Kognition) – центральное понятие когнитивной науки, достаточно трудное для русского перевода и потому сохраняемое нами в транслитерированной форме для подчеркивания этого своеобразия; причудливо сочетающее в себе значения двух латинских терминов – *cognitio* и *cogitatio*, – оно передает смыслы «познание», «познавание» (т.е. фиксируя как процесс приобретения знаний и опыта, так и его результаты), а также «мышление», «размышление». Чаще всего оно обозначает познавательный процесс или же совокупность психических (ментальных, мыслительных) процессов – восприятия мира, простого наблюдения за окружающим, категоризации, мышления, речи и пр., служащих обработке и переработке информации, поступающей к человеку либо извне по разным чувственно-перцептуальным каналам, либо уже интериоризированной и реинтерпретируемой человеком. К. ярко отражает сущность homo sapiens'a и его интеракцию, взаимодействие со средой, направленные на выживание человека, совершенствование его приспособления к природе, познание мира и т.п. К. есть проявление умственных, интеллектуальных способностей человека и включает осознание самого себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой картины мира – всего того, что составляет основу для рационального и осмысленного поведения человека.

Термин К. относится ко всем процессам, в ходе которых сенсорные данные, выступающие в качестве сигналов информации, данные «на входе», трансформируются, поступая для их переработки центральной нервной системой, мозгом, преобразуются в виде ментальных репрезентаций разного типа (образов, пропозиций, фреймов, скриптов, сценариев

и т.п.) и удерживаются при необходимости в памяти человека с тем, чтобы их можно было извлечь и снова пустить в работу. В качестве когнитивных (когниции) рассматриваются не только процессы «высшего порядка» – мышление и речь, – но и процессы перцептуального, сенсомоторного опыта, происходящего в актах простого соприкосновения с миром (ср.: [Schwarz 1992: 12–13]). В этом смысле К. соответствует как осознанным и специально протекающим процессам научного познания мира, так и простому (и иногда – неосознанному, подсознательному) постижению окружающей человека действительности. Показательны в этом отношении рассуждения Н. Хомского о подлинном значении английского глагола *to cognize*, в семантическую структуру которого входят представления как о целенаправленных действиях, так и, напротив, о процессах, протекающих бессознательно [Chomsky 1980: 69 и сл., 128], что, собственно, и противопоставляет его глаголу *to know* «знать».

Чрезвычайно распространено также определение К. как вычисления (*computation*), как особого случая обработки информации в символах, заключающейся, собственно, в ее преобразовании и трансформации из одного вида в другой – в другом коде, в иной структуризации, что и переводит К. в иную плоскость, связывая ее изучение с вопросами о том, какие именно типы информации перерабатываются разумом (*mind*), в каких типах процессов это происходит, с какими средствами передачи информации это сопряжено и, наконец, с вопросом о том, какой из типов информации (знаковый, символический, индексальный, иконический и т.п.) оказывается при этом самым главным (ср.: [Rickheit, Strohner 1993: 13 и сл.; Pylyshyn 1984: особ. 69–74]).

Хотя единой теории К. еще не существует [Jorna 1990: 11], предпосылки ее постепенно складываются и вырисовываются [Schwarz 1992: 15].

Разные дисциплины в составе когнитивной науки и / или относящиеся к когнитивным наукам занимаются разными аспектами К. и теми формами, которые принимают связанные с нею процессы и их результаты: лингвистика, например, занимается языковыми системами знаний; философия – общими проблемами К. и методологией познавательных процессов – проблемами роста и прогресса знания; нейронауки изучают биологические основания К. и тех физиологических ограничений, которые наложены на протекающие в человеческом мозгу процессы, и т.п.; психология выработает прежде всего экспериментальные методы и приемы изучения К. как особой когнитивной системы со своей «архитектурой» (т.е. единицами в виде ментальных репрезентаций разного типа и широким кругом разнообразных операций, или процедур манипулирования ими); такие механизмы, как индукция, дедукция, инференция и пр., тоже связываются со строением К. как выполняющей также функцию хранения знаний и ассоциативного связывания знаний в памяти [McShane 1991: 319 и сл.].

Утверждают поэтому, что К. протекает, в целом демонстрируя естественное разделение на разные процессы, каждый из которых связан с реализацией определенной когнитивной способности или видом определенной

когнитивной деятельности и поэтому может изучаться по отдельности. Нередко когнитивные способности считаются автономными и отделенными от таких явлений сознания, как чувства и эмоции (мнение, которое разделяется далеко не всеми, – см., например: [Danes 1987]). Несмотря на то что когнитивные способности в их реальном проявлении обнаруживают существенное варьирование у разных людей и в разном возрасте, все же можно и нужно отличать нормальное поведение человека от ненормального и даже выделить понятие «нормального познающего» [Eckardt 1993: 54 и сл., а также 311 и сл.].

К когнитивным способностям относят обычно способность говорить, что считается отличительной характеристикой человека в отличие не только от животных, но и от машины (так называемый тест Декарта – Тьюринга – [Leiber 1991: 151]), а также способность учиться и обучаться, решать проблемы, рассуждать, делать умозаключения и приходиться к неким выводным данным планировать действия и вообще поступать интенционально (намеренно), запоминать, воображать, фантазировать и т.п., не говоря уж о таких способностях, как видеть, слышать, осязать и обонять, двигаться по собственной воле и т.д.

К. неразрывно связана с языком не потому, что она обязательно протекает в языковой форме, но потому, что мы можем рассуждать о ней только с помощью языка; точно так же не обязательно считать, что все результаты К. обладают языковой формой, – все артефакты можно считать ее итогом, но с появлением языка и с возможностью передачи опыта с его помощью жизнь человека и его К. радикально изменились по своему характеру. Считается поэтому, что К. лучше всего изучать, исследуя язык. Полагая, что К. = когнитивной обработке информации, К. можно исследовать, исследуя процесс обработки информации языковой.

В настоящее время многие когнитологи считают, что К. – это сокращенное обозначение для понятия когнитивной обработки и переработки информации, но если раньше к этому добавляли, что этот процесс заключается только в достижении знания в виде репрезентаций и манипуляций с ними, то сегодня К. не сводят исключительно к этим операциям и ее исследование приобретает более широкий характер. К тому же к изучению К. сегодня считают необходимым привлекать факторы эволюции человека, факторы культурологического порядка, социальных отношений и т.п. Эти представления нашли особенно широкое распространение в отечественной науке (см. также: [Klix 1992; Современные теории познания 1992; Carston 1989; Goschke 1990; Kintsch 1977; Pylyshyn 1984; Varela, Thompson, Rosch 1993]).

Примерно четверть века тому назад У. Найссер пытался определить К. как охватывающую «все процессы, с помощью которых сенсорные данные на входе преобразуются, редуцируются, развиваются, запоминаются, вспоминаются и используются» [Neisser 1967: 4], и хотя в общем эта дефиниция верна и сегодня, многое в ней как бы не упомянуто и упущено или не учте-

но. Как он подчеркивает сегодня, все названные процессы познания действительно протекают в голове человека, но ранее недостаточно принимали во внимание, что все процессы протекают в определенном социальном контексте и тесно связаны с реальными потребностями человека и его взаимодействием со средой (ср.: [Pick, van den Broek, Knill 1992: 3; Neisser 1992: 333 и сл.; Kintsch 1992]).

Соответственно, в исследовании К. наметились следующие проблемы:

– какие поведенческие процессы связаны с когницией и характеризуют все ее аспекты, начиная от обработки сенсорного сигнала до сложнейших процессов решения проблем (ср. понятие ситуативно обусловленной К. или анализ роли эмоций в когниции, – эта линия исследования ярко проходила в работах Ф. Кликса);

– как организовано знание и в виде каких систем его можно представить, к каким результатам и оппозициям приводит К.? Ср., с одной стороны, различие декларативного и процедурного знания, или «знания, что» в отличие от «знания, как»: ср., также К. в прямом и непосредственном восприятии, не требующую ментальных репрезентаций, но предполагающую осознание того, где человек находится, что его окружает, в какой среде он действует и т.п., в отличие от более сложной системы обработки информации с идентификацией объектов, их сравнением и пр., что требует ментальные репрезентации (см.: [Neisser 1992]);

– какие модели могут быть предложены для объяснения К. и какие новые методики предлагаются для этого (ср., например, коннекционистские модели или гибридные интерактивно-коннекционистские методики);

– исследование К. и как формируемой, и как формирующей миропонимание силы, ее многофункционального характера, ее связанности с волей и творческой активностью человека, ее исторического преобразования и ее эволюции как в онтогенезе, так и в реальном времени жизни человека (см.: [Демьянков 1994: 25 и сл.]).

Е.К.

[...] **КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ** (conceptualization) понятийная классификация [Кликсе 1983: 97 и сл.], – один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека. Нередко К. рассматривается как некоторый «сквозной» для разных форм познания процесс структуризации знаний и возникновения разных структур представления знаний из неких минимальных концептуальных единиц (ср.: [Концептуализация и смысл 1990]). Каждый отдельный акт К. представляет собой пример решения проблемы, и в нем задействованы механизмы умозаключений, получения выводных данных (инференции) и другие логические операции.

Процесс К. тесно связан с процессом категоризации: являя собой классификационную деятельность, они различаются вместе с тем по конечному результату и / или цели деятельности. Первый направлен на выделение неких минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении, второй – на объединение единиц, проявляющих в том или ином отношении сходство или характеризующихся как тождественные, в более крупные разряды.

Когнитивное расчленение реальности происходит еще на довербальной стадии развития человека: понятийные классификации, возникающие в то время, оказываются более связанными с сенсомоторной деятельностью человека, нежели с его общением с другими людьми. С формированием языка когнитивное освоение реальности приобретает новые формы, обеспечивая выход за пределы непосредственно воспринимаемого и хранение опыта в долговременной памяти человека (Ср.: [Видинеев 1987: 154 и сл.]).

К. может также рассматриваться как живой процесс порождения новых смыслов, и тогда в задачи когнитолога начинают входить вопросы о том, как образуются новые концепты, как создание нового концепта ограничивается уже имеющимися концептами в концептуальной системе, как можно объяснить способность человека постоянно пополнять эту систему и т.п. Эти и многие другие аналогичные проблемы связывают исследование К. с семантикой вообще и концептуальной семантикой в частности: в ряде отношений познавательный процесс есть процесс порождения и трансформации смыслов (концептов). Для понимания сути этих процессов оказываются важными как исследования, проводимые в рамках концептуального анализа, так и исследования явлений грамматики. Если бы было нужно назвать ключевое понятие когнитивной лингвистики, подчеркивают когнитологи, им было бы понятие концептуализации (см.: [Rudzka-Ostyn 1988; 1993]; ср. также: [Lakoff 1987: 303]).

Е.К.

[...] **РАЗУМ, ИНТЕЛЛЕКТ, УМ¹**... (mind; Veraimft) – поскольку когнитивная наука определяется как наука о человеческом разуме, это понятие (одно из самых сложных понятий науки вообще) является ключевым для всего когнитивного направления. Более того. Даже если указанную науку определяют как изучающую когницию (познание) или мышление или ментальные процессы и т.п., все эти понятия тоже пресуп-

¹ Мы уже указывали на особую трудность перевода английского термина *mind* на русский язык, ибо он может означать практически любой из терминов, описывающих ментальную деятельность и ментальную организацию, начиная от сознания и мышления и кончая разумом, мозгом, интеллектом, мыслью, поэтому и здесь выбор в качестве основного термина «разум» можно считать относительно условным.

понируют понятие разума (ср.: [Fromkin 1991: 82]) и требуют его объяснения как исходного для всего когнитивного анализа. Нередко указывают, что наука о разуме вырастает из попыток решения некоторых конкретных проблем современной науки в рамках трех ее более старых дисциплин, – физики с ее стремлением выяснить роль наблюдателя в проведении астрономических и аналогичных им экспериментальных исследований, медицины с ее направленностью на лечение безумия и изучением для этого физиологических основ мозга и его состояний в норме и, наконец, философии, давно ставившей своей целью установить источники знаний; (ср. [Bever, Carroll, Miller 1984: 4]). Фактически, однако, еще большее количество научных дисциплин было занято изучением разума, и немало специальных философских школ пытались дать ему, начиная с древности, свое общее определение. Предлагают свои частные определения и логика, и теория познания, и философская школа сознания, и нейронауки, и психология, и все же это понятие не имеет общепринятого определения. Скорее, можно говорить об аналитических дескрипциях этого феномена, а учитывая частую синонимичность термина «разум» терминам «сознание», «рассудок», «ум», «дух», «интеллект» и пр. и даже термину «мозг», нетрудно заметить, что и эти аналитические дескрипции достаточно разнообразны и не всегда легко сопоставимы. Интересно отметить, что основания такого неразличения и смешения имеют давние традиции: так, нередко указывают на то, что «Критика чистого разума» И. Канта есть на деле трактат о сознании и что сами эти понятия употребляются у него «в крайне многозначном и маловыясненном смысле» [Жоль 1990: 33]. И хотя, безусловно, когнитивная наука уже сделала немало для объяснения и описания понятия, сделала она немало и для того, чтобы внести в дефиницию Р. еще больше сложностей. Ведь считавшееся до сих пор достаточным указанием на принципиальное отличие *homo sapiens* от всех иных представителей живого мира (благодаря наличию интеллекта) и противопоставление человека машине как существа мыслящего, наделенного разумом, было поставлено под сомнение новым рассмотрением человека как информационно-перерабатывающего устройства и мозга, оперирующего символами подобно тому, как это делает машина-компьютер.

Как отмечает Б. Экардт, когнитивная наука вырабатывает сейчас нечто вроде единого подхода к исследованию разума, и хотя в ней предполагают не столько то, что разум или сознание – это некий механизм, перерабатывающий информацию, а то, что подобное предположение может пролить свет на работу мозга и его надо всячески проверить [Eckardt 1993: 4], фактически многие исследования детерминируются именно сравнением работы мозга и компьютера. Отсюда так называемая знаменитая «компьютерная метафора», решительно отвергаемая одними и признаваемая другими, но всегда рассматриваемая при рассмотрении проблем разума и мозга.

В когнитивной науке ее методологи и последователи за рубежом признают, что главным ее отличительным признаком был отход от

бихевиоризма к ментализму, который и потребовал обращения к ментальной деятельности человека и ко всем ментальным или когнитивным способностям, которые эту деятельность обеспечивают. Как писал позднее Р. Джекендофф, разум представляет собой объединение разных когнитивных способностей человека, связанных между собой системой коррелирующих эти способности правил, каждое из которых имеет дело с особыми ментальными репрезентациями [Jackendoff 1992: 366–367].

По мнению Н. Хомского, когнитивная революция с середины 50-х годов возвращала на новом витке развития науки к тем проблемам, которые вставали перед философами на рубеже XVII и XVIII вв. и которые касались природы человеческого разума и знания. Естественно, что в наше время они оказались связанными с новыми технологиями, с новыми исследованиями в разных науках, но в принципе в фокусе внимания оказалась репрезентационно-компьютерная теория разума [Chomsky 1991–1: 4 и сл.]. Как сформулировал Хомский в своих лекциях, от изучения поведения человека и результатов этого поведения перейти к анализу состояний мозга / разума, связанных с поведением [Chomsky 1988.; Schwarz 1992: 13].

Многие исследователи подчеркивают, что радикальные изменения в исследовании интеллекта были вызваны новаторскими идеями Н. Хомского о том, как следует изучать язык и языковые способности человека, – эту огромнейшую часть его когнитивной системы в целом. Теоретические проблемы лингвистики в их формулировке Н. Хомским определили не только облик всего генеративного направления, но оказали мощное воздействие и на постановку аналогичных проблем в психологии и нейрофизиологии. Этими проблемами оказались вопросы о том, какова природа знания и как оно используется (ср.: [Carston 1989; Fromkin 1991: 78 и 84]), как возникают некие системы знаний в голове / разуме (in the mind / brain) и как их «пускают в оборот» (см. также: [The Chomskyan Turn... 1991]).

Феномен интеллекта изучается тогда, когда изучают способность говорить и понимать услышанное, способность видеть и воспринимать действительность, слушать музыку, учиться или обучаться, решать проблемы, рассуждать и приходить к определенным умозаключениям, планировать действия, вести себя намеренно, по своей воле, интенционально, вспоминать и фантазировать. Нередко такие когнитивные способности изучаются по отдельности, что вполне естественно из-за исключительной сложности каждой из них, но каждое такое исследование вносит свой вклад и в понимание интеллекта, и в постижение его специфики (ср.: [Eckardt 1993: 57 и сл.]). Очевидно, что все указанные способности интенсивно изучались и вне когнитивно, но именно последний внес в их анализ новый ракурс рассмотрения: способствовать пониманию того, как происходят обработка и переработка информации во всех мыслительных процессах, осуществление которых приписывается психике или мозгу, или интеллекту человека. Подобные процессы характеризуются как компью-

тационные, т.е. сводящиеся к «вычислению» (компьютации), обработке информации и, наконец, как манипулирующие символами или ментальными репрезентациями. Разум в целом определяется поэтому как материальная символическая система, и это допущение принимается как основное допущение когнитивной науки, вместе с допущением о том, что «возможно и нужно изучать свойства материальной символической системы на таком уровне анализа, который позволяет абстрагироваться от физических деталей реализации индивидуальных символов и структур, а также физических механизмов, производящих операции над ними» [Виноград 1983: 127]. Иначе говоря, здесь считается допустимым говорить, с одной стороны, о функциях интеллекта и необходимости их изучения как отличных от архитектоники мозга, и физиологических или биологических основах его – с другой, т.е. противопоставлять разные уровни исследования психики (ср.: [Pylyshyn 1984: XVII и сл.]). Такое противопоставление считается равносильным противопоставлению для компьютера того, что он может делать, тому, как он (с помощью какого материального оборудования) это делает. Говорят также, что разум стоит между восприятием и мышлением или между трансформацией энергии в нервный импульс (чисто физическим процессом) и далее превращением его в некую символическую репрезентацию (см.: [Johnson-Laird 1993: XI–XIII]).

Феномен разума изучается в когнитивной науке в системе разных оппозиций: разума и созерцания, разума и сознания, души и тела, разума и мозга и т.п. Все они подчеркивают какой-либо важный аспект деятельности разума (ментальной деятельности) и / или особые области существования и функционирования интеллекта, но единой теории разума все же до сих пор не создано.

Дж. Серль указывает, что существуют, по меньшей мере, шесть разных теорий, объединяющих Р., но все они несостоятельны [Searle 1992: 5 и сл.]. Несостоятелен, по его мнению, и когнитивный подход, ибо здесь предполагают, что мозг – это машина (см.: [Johnson-Laird 1993: 165–166]). Но мозг связан с сознанием, сознание человека – с эмоциями, желаниями и интенциями, а следовательно, Р. нельзя изучать, не обращаясь к этим феноменам человеческой психики. Более того: поскольку, как подчеркивает Серль, ментальные явления вызываются нейрофизиологическими процессами в голове человека, они и сами являются материальными процессами и свойствами мозга, и отказ от анализа биологических основ разума тем самым недопустим [Searle 1992: 13–14, 225 и сл.].

Но в разных версиях когнитивизма отношение к биологическим основаниям ментальной деятельности тоже различно, и в какой-то мере можно утверждать, что два главных течения в рассмотрении разума, или, как говорят когнитологи, в рассмотрении «архитектуры копнищи» четко отражают это различие. В одних моделях обработки информации человеческим интеллектом принимается положение о том, что разум – это система, манипулирующая символами и создающая символы (см. работы

А. Ньюэлла и З. Пылишина). Символ – это абстрактная характеристика для того, как репрезентирована информация уму человека. Существует значительное разнообразие символьных или репрезентационных структур, по отношению к которым мозг совершает те или иные операции. Составляющими разума являются, таким образом, не только репрезентации (символы), но и процедуры их использования. Всю эту архитектуру можно, однако, изучать, не обращаясь к уровню ее физической реализации; подробное изложение соответствующих взглядов см.: [McShane 1991: 320 и сл.].

В другой версии когнитивизма, напротив, внимание сосредоточено на построении таких моделей разума, которые принимают за основу нейронную организацию мозга. Это – коннекционизм и модель параллельной обработки информации разными модулями мозга. Интересно, что, судя по последним данным, рассмотренные модели разума не обязательно несовместимы (см.: [Smolensky 1988]).

Исследования разума в настоящее время весьма разнообразны и охватывают разные аспекты его бытия и функционирования (ср.: [Bateson 1972; 1979; Casual theories of mind... 1983; Devitt 1990; Mind and cognition... 1990]).

Е.К.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, МЕНТАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ (mental representation; mentale Representationen) – ключевое понятие когнитивной науки, относящееся как к процессу представления (репрезентации) мира в голове человека, так и к единице подобного представления, стоящей вместо чего-то в реальном или вымышленном мире и потому замещающей это что-то в мыслительных процессах. Последнее определение указывает на знаковый или символический характер Р. и связывает исследование Р. с семиотикой [Jona 1990: 17 и сл.], т.е. заставляет предположить существенность для данной единицы не только ее содержания, но и способа ее представления в психике человека.

Первый период в истории когнитивной науки был особенно тесно связан с полемикой о том, в какой форме «существуют» Р. в памяти человека и о каких типах Р. может идти речь при их описании. Деятельность с использованием ментальных или внутренних структур долго описывалась в психологии как имеющая дело с отраженными языковыми (вербальными) структурами. Признание Р. другого типа – образных – было связано с именем А. Пейвио, в многочисленных работах которого была выдвинута теория двойного кодирования мира (см.: [Paivio 1971; 1986]). Согласно Пейвио, все Р. могут быть расклассифицированы на картиноподобные (когда для представления чего-то используются картинки, образы, рисунки, схемы и т.п. – ср., например, Р. в голове знакомых нам лиц и предметов и даже целых сцен) и языкоподобные (это все Р. языковых единиц – слов, их частей, предложений, клишированных конструкций и т.п., но главное – пропозиций). В настоящее время говорят

поэтому либо об аналоговых Р. (тех, которые сохраняют свое подобие оригиналу) и Р. пропозициональных (имеющих аргументно-предикативную структуру) или пропозициональноподобных (aussageartige), причем есть и мнение о том, что именно пропозициональная форма хранения знаний является главной [Pylyshyn 1984], но это мнение разделяется далеко не всеми когнитологами (см., например, об особой роли этих единиц: [Eckardt 1993: 161 и сл.; ср. также: [Felix, KanngieBer, Rickheit 19902: 17] и др.). Пропозициональным структурам (репрезентациям) нередко приписывается при этом роль связующего звена между вербальными и невербальными репрезентациями – они считаются устанавливающими связи между разными когнитивными системами или модальностями (зрением, слухом и т.п.) и языковым их выражением. Таким образом, наряду с классификацией Р. по способу их представления (образному или вербальному) вводится также представление о «модальных» и «амодальных» Р. К первым относятся все представления о наших ощущениях (зрительных, слуховых, тактильных и пр.), а ко вторым – все символические, вербальные Р. По мнению Р. Джекендоффа, все эти Р. могут быть выведены и выводятся на один уровень – уровень ментальных репрезентаций, уровень концептуальной структуры [Jackendoff 1993 i: 17; 1984: 54], где информация, полученная по разным каналам, – сенсорная, моторная и т.п., оказывается сопоставимой с информацией вербальной. Модально-специфические Р. сохраняют перцептуальные характеристики отображаемого в мозгу предмета, процесса, явления [Schwarz 1992: 90 и сл.]. Интересно, что, согласно экспериментальным данным, полученным впервые С.М. Косслиным, ментальные операции с образными Р. аналогичны тем, которые совершаются с вербальными Р. [Kosslyn 1980]. По всей видимости, переход от одних к другим тоже не представляет никаких трудностей [Vadecker 1991; Canseco-Gonzalez et al. 1990].

Иногда различают также просто аналоговые Р., в большей или меньшей степени редуцированно изображающие фрагменты мира, и символические, условные, поскольку считается, что Р. – это особые когнитивные модели объектов и событий, воспроизводящие лишь часть сведений о них, иногда сведенную до конвенционального минимума [Rickheit, Strohner 1993: 15–17]. Понятие Р. указывает на то, что существует нечто репрезентируемое и нечто репрезентированное. Согласно такому взгляду, язык – особая репрезентационная система, ибо он тоже кодирует в знаковой форме нечто, стоящее за его собственными пределами. Слова и прочие языковые единицы – эти языковые репрезентации – активизируют поэтому те сущности, знаковыми заместителями которых они являются, – они возбуждают в памяти человека связанные с ними концепты [Anisfeld 1984: 7 и сл.].

Совокупность Р. образует то, что называется памятью, а поэтому и в ней различают словесную и образную, или эпизодическую (событийную), память; совокупность вербальных Р. называют ментальным лекси-

коном, и, наконец, совокупность всех концептуальных Р. (т.е. смыслов и аналоговых, и символических репрезентаций) именуется концептуальной системой, или же концептуальной моделью (картиной) мира. Всеми признается, что так или иначе все указанные объединения тесно связаны с системами хранения знаний и языком, а следовательно, входят в число явлений, подлежащих исследованию в семантике. Вместе с тем связи между концептуальными и языковыми единицами понимаются по-разному, а разные версии когнитивизма во многом определяются пониманием в них самих ментальных репрезентаций (ср.: [Жоль 1990: 173–176]; ср. также различие концептуального и семантического уровней в работах М. Бирвиша).

Особое значение в анализе Р. придается их генезису и происхождению у отдельного человека в онтогенезе. Когнитологи до сих пор спорят о том, с чего начинается формирование Р. и каково то исходное состояние психики, которое характеризует родившегося и вступающего в мир человека – *tabula rasa* или же некие врожденные предпосылки для образования Р., или, наконец, уже сложившаяся врожденная система таких Р. Ярким представителем своеобразной компромиссной точки зрения по этому вопросу был Ж. Пиаже, выдвинувший идею о постепенном складывании разных типов Р. по стадиям, – сперва сенсомоторной, затем образной и позднее всего – языковой (подробное изложение см.: [McShane 1991: 95 и сл.]; см. также: [Fodor 1975; 1983]).

Несмотря на множество исследований по когнитивному развитию ребенка, вопрос о том, как возникают «первые» Р. и как из более простых Р. рождаются более сложные (ведь не могут быть у младенца и школьника одинаковые представления даже достаточно простых объектов и событий), до сих пор не вполне ясен, и адекватная теория Р. пока отсутствует [McShane 1991].

В одной из последних концепций по поводу Р. выдвинута идея о том, что Р., исследование которых послужило поводом для сближения разных наук (психологии, философии, моделирования искусственного интеллекта, нейронаук и формальной семантики) в рамках единой когнитивной парадигмы знания, до сих пор не получили адекватного освещения из-за того, что рассмотрению подвергались изолированные аспекты этого феномена. Добиться единой теории Р. можно, по мнению Дж. Динсмора, связывая ментальные репрезентации с процессами понимания языка и черпая о них сведения из фактов обработки языковых данных на трех уровнях. Главная мысль Динсмора заключается в том, что как только человек начинает воспринимать языковое сообщение, он должен построить модель того содержательного (ментального) пространства, в пределах которого он будет оперировать далее с текстом (так, чтобы не возбуждать всей ментальной системы Р.). Дистанция между языковыми единицами и их коррелятами в ментальном пространстве не должна быть очень велика, поэтому они должны обеспечить легкий

доступ к ментальным Р. В то же время языковые единицы «беднее» их ментальных партнеров, и более богатые ментальные Р. служат интерпретаторами описываемой реальности. Ни символические модели мозга, ни коннекционистские модели по отдельности не смогли объяснить, как действует человек с такими Р., которым нет соответствий в объективной действительности, – с планами, убеждениями, интенциями, – но о существовании которых мы должны говорить, поскольку в языке может идти речь и о них. Они просто существуют в других ментальных пространствах, и при восприятии речи их область активизируется человеком так же, как и область реального мира. Это все означает, что в теории Р. должны быть пересмотрены взгляды на то, что именно репрезентируют Р., а также и те модели, которые описывают организацию Р. Часть такой организации была описана в терминах ассоциативных сетей, часть – в терминах коннекционизма, наконец, часть – в терминах фреймов, скриптов и сценариев. Но все эти описания охарактеризовали лишь отдельные аспекты когниции с помощью ментальных Р. Наступило время объединить и синтезировать эти попытки, представив более глобальную картину функционирования Р. в еще большем разнообразии их форм и типов [Dinsmore 1991].

Е.К.

АННОТАЦИИ

В.С. Авдонин

О методологической интеграции науки

В статье методологическая интеграция науки рассматривается как процесс трансферта элементов когнитивного содержания из одних научных дисциплин в другие. Анализируются проблемы, возникающие в процессе междисциплинарного взаимодействия дисциплин, имеющих разные ритмы и уровни развития в силу различий их предметного и методологического содержания. В этом контексте затрагиваются проблемы редукционизма и «методологического империализма», а также вопросы социологического и наукометрического анализа междисциплинарной интеграции. Особое место в статье уделено анализу трансдисциплинарной интеграции науки, рассмотрению понятия трансдисциплинарности, ее компонентам и методологическим характеристикам. В заключение делается попытка исследования трансдисциплинарной интеграции науки на базе концепции «структурных наук».

Ключевые слова: дисциплинарное строение науки; когнитивное содержание; междисциплинарная интеграция; редукционизм; метатеоретический анализ; наукометрический анализ; трансдисциплинарная интеграция; структурные науки.

V.S. Avdonin

On the methodological integration of science

The paper explores the methodological integration of science as a process of transfer of the cognitive content from one discipline to another. It analyses the problems that arise in the process of interaction of disciplines that have different rhythms and levels of development due to the differences of their substantive and methodological content. This is the context to discuss the issues of reductionism and «methodological imperialism», as well as issues of sociological and interdisciplinary integration of scientometric analysis. Transdisciplinary integration of science is analysed in its conceptual and methodological aspects.

In the conclusion the concept of «structural sciences» is discussed in the context of transdisciplinary integration.

Keywords: cognitive content; disciplinary structure of science; interdisciplinary integration; metatheoretical analysis; reductionism; scientometric analysis; structural science; transdisciplinary integration.

Я.Г. Dorfman, В.М. Sergeev
Формальная логика как знаковая система

В работе рассматривается потенциал семиотики для устранения логических парадоксов. В качестве метода устранения парадоксов предлагается эксплицировать максимально возможное число смысловых различий используемых знаков формальной системы. Показано, что по существу нет различия между семантическими и логическими парадоксами.

Ключевые слова: формальная логика; семиотика; логические парадоксы; прагматика языка.

Ya.G. Dorfman, V.M. Sergeev
Formal logic as a semiotic system

The paper explores the potential of semiotics to eliminate logical paradoxes. For this purpose it is suggested to maximize the number of differentiated meanings of symbols of formal system. It is shown that in this case there is no differences between logical and semantic paradoxes.

Keywords: formal logic; semiotics; logical paradoxes; pragmatics of language.

А.С. Ахременко, А.П.Ч. Петров
Институциональное инвестирование и эффективность общественной системы: Опыт математического моделирования

В статье рассматривается математическая модель связи между инвестированием ресурсов в изменение институтов и эффективностью общественной системы. Приводятся результаты ряда вычислительных экспериментов и их содержательная интерпретация. Поднимаются также некоторые вопросы методологии математического моделирования.

Ключевые слова: эффективность, перераспределение, институциональное инвестирование, математическая модель.

A.S. Akhremenko, A.P.Ch. Petrov
Institutional investment and social efficiency: Towards a formal model

The article provides a formal model that demonstrates the connections between institutional investment and social efficiency. The results of a set of

computational experiments are described and analyzed. Some problems of mathematical modeling methodology are also discussed in the paper.

Keywords: efficiency; redistribution; institutional investment; formal model.

С.Т. Золян

О модальной семиотике

Рассматриваются концепции знака Г. Фреге, Ч. Пирса и Ф. де Соссюра с тем, чтобы показать те принципиальные отличия между ними, которые приводят к различным версиям семиотики. Соссюровский подход стал основой классической семиотики, которая «изучает роль знаков и знаковых систем в социуме». Подход Пирса к семантике как к формальной системе получил развитие в основном в логике. Основные семиотические процессы – это сигнификация, т.е. процессы соотнесения знака и его означаемого (Соссюр), или же интерпретация – процессы соотнесения некоторого предмета, выступающего как знак, с другим объектом, замещаемым этим знаком (Пирс). Ни сигнификация, ни интерпретация не предполагают коммуникации. В предлагаемой модальной версии семиотики предлагается дополнить понятие знака новым измерением – модально-темпоральным. Помимо этого, модальная семиотика требует привлечения, во-первых, основанной на концепции Фреге теоретико-множественной семантики, во-вторых, теории истины и значения (Витгенштейн, Тарский), в-третьих, теории языковых игр (Витгенштейн). Основой же явится семантика возможных миров и связанная с ней семантика пропозициональных установок. Она предусматривает теоретический и дескриптивный инструментарий для рассмотрения таких явлений, как соотнесенность между модальностями, проявления субъективности и так называемых объективных модусов в языке и речи, зависимость смысла и денотации от контекста, выражение и обозначение возможных и несуществующих объектов, возможность описания будущего и прошлого, в том числе и их альтернатив, и т.п. Модальная семиотика может быть рассмотрена также и как функциональная семиотика, описывающая коммуникативные и контекстно обусловленные процессы. Ее основным объектом явится не изолированный знак, а текст. Тем самым модальная семиотика оказывается ориентированной на описание таких процессов, как конструирование текстов, их функционирование, интерпретация, интертекстуальные отношения и т.д. Описывая не только то, что существует, но и что могло и даже не могло существовать, семиотика из инструмента описания мира становится инструментом его создания и понимания.

Ключевые слова: концепции знака Г. Фреге, Ч. Пирса и Ф. де Соссюра; модальная семиотика; семантика возможных миров; модально-темпоральное измерение знака.

S.T. Zolyan
On modal semiotics

The analysis of the Frege's, Peirce's and Saussure's semiotic conceptions of sign reveals the such fundamental differences between them, which have led to the different versions of semiotics. Saussure's approach became the basis for classical semiotics which «examines the role of signs and sign systems in the society». The Peircean approach to the semiotics as a the formal system was developed mainly in the logic. In the Saussurian version of semiotic the basic semiotic processes is a signification, in the Peircean it is an interpretation (replacing of an object standing as a sign by some another object). Neither signification nor interpretation do not presuppose communication. We propose to add the new dimension of the sign – the modal-temporal. Besides, the modal semiotics should be complemented by 1) based on Fregean ideas set- theoretical semantics, 2) the theories of truth and meaning (Wittgenstein, Tarski) and 3) the theory of language games (Wittgenstein). The foundation of modal semiotic is the semantics of possible worlds and the connected with it semantics of propositional attitudes. It provides a theoretical and descriptive tools to deal with such phenomena as the correlation between modalities, the manifestations of subjective and the so-called objective modes of language and speech, the contextual dependence of meaning and denotation, expression and identification of possible and non-existent objects, the ability to describe the future and the past, including its alternatives, etc. Modal semiotics can be considered also as a functional semiotics, which has a capacity to describe communicative and context-dependent processes. The main «hero» of modal semiotics is not an isolated sign, but a text. Thus, the modal semiotics is focused on the description of processes such as the construction of texts, their operational and functional features, interpretation, intertextual relations, etc. It describes not only existing entities and states of affairs, but first of all, what would (and even would not) be. Semiotics remains an instrument of describing the word, but it also becomes an instrument of its creation and understanding

Keywords: G. Frege's, Ch. Peirce's and F. de Saussure's semiotic theories of sign; modal semiotics; semantics of possible worlds; modal-temporal dimension of linguistic sign.

И.В. Фомин

**Элементы семиотического органа для обществоведения:
Анализ повествований**

Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологических оснований анализа повествовательных текстов в контексте возможной интеграции социально-гуманитарного знания посредством аппарата семиотики. Проанализированы некоторые базовые семантические, синтаксические и

прагматические аспекты изучения повествований в науках о человеке и обществе.

Ключевые слова: семиотика; повествовательный текст; повествование; анализ текста; методология; гуманитарные науки.

I.V. Fomin

Elements of semiotic organon for social sciences: Narrative texts analysis

The article discusses the theoretical and methodological foundations of narrative texts analysis. Semantic, syntactic and pragmatic aspects of narrative analysis are explored in the context of possible transdisciplinary integration of social sciences and humanities by the means of semiotically oriented methodologies.

Keywords: semiotics; narrative text; narrative; text analysis; methodology, humanities.

К.П. Кокарев

Институционализмы:

Сад расходящихся исследовательских тропок

В статье рассматриваются разные версии нового институционализма, который в последние десятилетия стал крайне популярен в социальных науках. Показано, что различные его версии, несмотря на заимствование терминологии и ряда объяснительных принципов, не являются элементами единого органона.

Ключевые слова: новый институционализм; методология; социальные науки; органон-интегратор.

K.P. Kokarev

Institutionalisms: The garden of forking research paths

The article discusses different new institutionalist methodologies that used to be very popular among social science scholar in last decades. The author argues that versions of new institutionalism that emerged in social sciences do not represent one organon-integrator despite the fact that they use some common concepts and principles.

Keywords: new institutionalism; methodology; social sciences; organon-integrator.

А.М. Кузнецов

«Новый институционализм»:

Взгляд через призму дискурсивного анализа

В статье с позиции дискурсивного анализа рассматриваются теоретические основания нового институционализма. В результате анализа сде-

лан вывод о том, что, несмотря на растущее признание нового институционализма, в этой теории, подходе или парадигме остаются нерешенные проблемы. Подход нового институционализма редуцирует всю социально-политическую реальность к институтам. Он также уделяет слишком большое внимание рациональному выбору и методологическому институционализму. Поэтому необходимо доработать теорию института на основе системной теории и идеи структуры.

Ключевые слова: новый институционализм; дискурсивный анализ; институт; организация; культура; теоретические основания.

A.M. Kusnetsov

New institutionalism through the prism of discourse analysis

In this paper, an analysis of theoretical frameworks of new institutionalism is presented based on discourse approach. It was concluded, despite the new institutionalism growing recognition, that a number of unresolved problems are still remained in this theory, approach, or paradigm. New institutionalism approach reduces all the social and political reality to a set of institutions or in a more narrow sense to a set of rules. It pays many attentions for principles of rational choice and methodological individualism too. So, we need a more advanced theory of the institution included system approach and the idea of structure.

Keywords: new institutionalism; discourse analysis; institution; organization; culture, theoretical frameworks.

Н.С. Розов

Интеграция фундаментальных проблем современной философии истории и макросоциологии

В статье сделана попытка наметить такой состав взаимосвязанных проблем (каркас) будущих философии истории и макросоциологии, который позволил бы им войти в центр интеллектуального внимания и публичного дискурса. Сформулированы требования, которым должны удовлетворять проблемы, чтобы долго и успешно привлекать внимание творческих интеллектуалов. Показано, почему в последние десятилетия было подорвано доверие к истории и историкам. Намечены пути восстановления такого доверия. Возможности интеграции исторических описаний различны в ситуациях единства содержания, взаимодополнительности, фактологического конфликта, теоретического конфликта и парадигмального конфликта. Рассмотрены проблемы, связанные с накоплением историографии и продолжающимся переосмыслением прошлого. В качестве способа достижения корректности исторических оценок предложен спектр ценностных платформ. Обрисованы основные трудности в таких темах,

как структура, ход, направленность и смысл истории, которым уделяется незаслуженно мало внимания.

Ключевые слова: философия истории; поле интеллектуального внимания; доверие к истории; совместимость исторических описаний; структурирование истории; ход истории; смысл истории, исторические оценки.

N.S. Rozov

**Integration of fundamental problems
of the nowadays philosophy of history and macrosociology**

The paper attempts to outline a structure of interrelated problems (a framework) of philosophy of history and macrosociology, which would allow them to enter into the center of intellectual attention and public discourse. The requirements are formulated to be met by the problems in order to attract sustainable attention of creative intellectuals. The reasons are shown why the trust to history and historians has been undermined during last decades. The ways to restore this trust are outlined. Ability to integrate historical descriptions varies in situations of unity of content (expressed differently), complementarity, factual conflict, theoretical conflict, and of conflict of paradigms in descriptions. The problems of historiography accumulation and ongoing re-interpretation of the past are considered. A range of value platforms is offered as a way to achieve correctness of historical evaluations. The main difficulties are presented in such topics as structure of history, course of history, and meaning of history.

Keywords: philosophy of history; the field of intellectual attention; the credibility of the stories; the compatibility of historical descriptions; structuring stories; the course of history; a sense of history; historical estimates.

Арнасон Й.

Понимание цивилизационной динамики: Вводные замечания

В статье освещаются основные положения цивилизационного анализа в исторической социологии, его актуальность в современном мире, рассматривается роль цивилизационных факторов в формировании и динамике современных обществ. Характеризуется цивилизационный подход в работах классиков социологии и современных теоретиков: М. Вебера, Э. Дюркгейма и М. Мосса, Ф. Броделя, Ш. Эйзенштадта. Модерн определяется как новая цивилизация, опирающаяся на возрастание человеческой автономии. Отмечается, что факторы, порождающие множественность модерна, включают политические, экономические и культурные констелляции глобального и регионального характера. Диверсификация современных культур и обществ происходит в силу сложности новой цивилизационной модели и многообразия ее сочетаний с другими источниками.

Ключевые слова: цивилизационная динамика; множественность модерна; автономия.

Arnason J.
Understanding intercivilizational encounters

The notion of a «clash of civilizations», which now seems to have become a fashionable cliché, should be discussed in the context of a broader set of questions: the problematic of intercivilizational encounters. This is an important but very underdeveloped part of the research programme now known as civilizational analysis. The article begins with a brief survey of the Indian experience. Indian history includes a long succession of intercivilizational encounters, both those initiated from the West (by Greeks, Muslims and Europeans) and those that brought Indian influence to bear on other regions (as did the spread of Buddhism to East Asia and the «Indianization» of Southeast Asia). These examples serve to sketch a phenomenology of encounters. For a more theoretical approach, the article turns to the work of Benjamin Nelson, who first introduced the concept of intercivilizational encounters. His analyses focus on the encounters that involve contacts or conflicts between the basic «structures of consciousness» that define different civilizations. Such interactions can lead to fusion or to prolonged internal conflicts, but they may also be instructive because of the very absence of significant effects: in the latter case, fundamental blockages to intercivilizational borrowing or engagement are built into the structures of consciousness. For Nelson, the early modern encounter between China and the West was a prime example of that kind. The last part of the article takes the question beyond Nelson's historical cases and relates it to the advanced phase of modernity, where the dominant type of encounters is three-cornered: it involves Western and non-Western civilizations as well as the new (modern) civilizational patterns adumbrated in the West but open to redefinitions in other contexts.

Keywords: civilizational dynamics; multiple modernities; autonomy.

М.В. Масловский
Историческая социология Й. Арнасона:
Взгляд на российскую историю в контексте
межцивилизационного взаимодействия

В статье рассматривается проблема взаимодействия цивилизаций в работах Й. Арнасона. Характеризуется подход этого социолога к анализу влияния различных цивилизационных образцов на российское общество. Выделяются цивилизационные черты советской модели модерна и глобальный контекст ее динамики.

Ключевые слова: историческая социология; цивилизационный анализ; межцивилизационное взаимодействие; модерн; советская модель.

M.V. Maslovskiy

Johann Arnason's historical sociology:

A view at Russian history in the context of intercivilizational encounters

The article considers the problem of intercivilizational encounters in the works of Johann Arnason. His approach to analysis of the influence of different civilizational patterns on Russian society is characterized. Civilisational traits of the Soviet model of modernity and the global context of its dynamics are singled out.

Keywords: historical sociology; civilizational analysis; intercivilizational encounters; modernity; the Soviet model.

А.В. Баранов

**История и политическая наука: Возможности
междисциплинарного синтеза в исследовании цивилизаций**

В статье определяется предметное поле междисциплинарного синтеза истории и политической науки в исследовании цивилизации. Выявлена взаимосвязь современных концепций цивилизации и политической модернизации.

Ключевые слова: история; политическая наука; цивилизации.

A.V. Baranov

**History and political science: Potencial
for methoological synthesis for the study of civilizations**

The article defined the subject field by interdisciplinary synthesis of history and political science in the study of civilization. The correlation between the modern concepts of civilization and political modernization is determined.

Keywords: history; political science; civilization.

Л.В. Сморгун

Методологический синтез в современной сравнительной политологии

Разработка онтологического и гносеологического статуса категории «политическое событие» и ее роли в разрешении проблем методологического синтеза в ряде методологических подходов в современной сравнительной политологии; определение границ и теоретико-познавательных возможностей конструктивизма, использования логики нечетких множеств (fuzzy-set approach) – конфигуративных методов и изучение отдельного случая (case-study comparison) в современном политологическом сравнении.

Ключевые слова: сравнительная политология; методологический синтез; событийное знание; конструктивизм; конфигуративные методы; исследование «отдельного случая».

L.V. Smorgunov

Methodological synthesis in modern comparative political science

Study of the ontological and epistemological status of the category of «political event» and its role in resolving the problems of methodological synthesis in modern comparative political science, the definition of boundaries and epistemological features of constructivism, the use of fuzzy logic sets (fuzzy-set approach) – configurational methods and the case study (case-study comparison) in modern political science.

Keywords: comparative politics; methodological synthesis; eventful knowledge; constructivism; configurational methods; case-study.

**Олкер Х.Р.-мл., Ленерт В.Дж., Шнайдер Д.К.
Иисус Арнольда Тойнби. Вычислительная герменевтика
и непрерывная традиция классической
средиземноморской цивилизации**

В статье представлено комплексное обоснование подхода авторов к исследованию вопроса о вдохновляющей силе и притягательности истории Иисуса, основанного на выявлении аналитически воспроизводимых, суггестивных мотивационно сюжетных структур, имплицитно присутствующих в текстах истории Иисуса, когда их читают или слушают самые разные люди. В ней приведены и критическо-герменевтическим образом сравнены две независимо составленные и проанализированные с помощью компьютерных методов кодировки истории Иисуса: кодировка В. Ленерт, которая отталкивается от схематического очерка А. Тойнби, опубликованного в приложении к книге «Постижение истории», и более пространный кодировка Олкера – Шнайдера, которая опирается, помимо этого, на цитируемые Тойнби стихи из Библии. Выводы авторов указывают на преемственность между использованной ими формой герменевтического исследования с привлечением компьютерных методов и более традиционными для социальных наук формами анализа текстов, зачинателем которых выступил Тойнби. Настаивая на необходимости соединения в герменевтическом анализе исследовательских усилий человека и возможностей компьютера, авторы полагают, что предлагаемый подход – со всеми необходимыми поправками – может внести методологический вклад в эмпирическое, критическое и конструктивное обсуждение многообразных проявлений неизменного присутствия в жизни людей классической средиземноморской цивилизации.

Ключевые слова: компьютерный анализ текстов; Библия; Иисус; суггестивность; сюжетные структуры; Тойнби.

**Alker H.R., jr., Lehnert W.J., Schneider D.K.
Toynbee's Jesus. Computational hermeneutics
and continuing presence of mediterranean civilization**

An article contains a synthetic rationale for the author's approach to the inquiry into the issue of the motivating power or charisma of the Jesus story, when the researcher's endeavour concentrates on the discovery of analytically reproducible, motivationally suggestive plot structures implicit in the texts of the Jesus story as they are read or heard by different individuals. Two analyses accomplished on these lines, both independently coded, computer-assisted, are presented in a critical hermeneutic way in the article published here. Lehnert's coding of the Jesus story derives from A.Toynbee's schematic outline contained in an Appendix to one of the volumes of his Study of History; as for the more extensive Alker-Schneider coding, it relies, moreover, on the Biblical verses cited by Toynbee. The authors' conclusions stress continuities between their own computer-assisted form of humanistic hermeneutic inquiry and the more traditional forms of social-scientific textual analysis, in the application of which Toynbee was a pioneer. With necessary improvements, but, for that matter, with the characteristic mix of human and machine inputs infallibly retained, the authors believe, the approach they apply, describe and substantiate may well prove to be a methodological contribution to a constructive empirical and critical discussion of the many ways in which classical Mediterranean civilization maintains its continuing presence in human life.

Keywords: computer-assisted text analysis; Bible; Jesus; suggestive plots; plot structures; Toynbee.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Авдонин Владимир Сергеевич – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, avdoninvla@mail.ru

Ахременко Андрей Сергеевич – доктор политических наук, профессор кафедры теории политики и политического анализа факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, ahremenko@yandex.ru

Баранов Андрей Владимирович – доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, baranovandrew@mail.ru

Гаспарян Диана Эдиковна – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, логики и теории познания факультета философии НИУ-ВШЭ, dgasparyan@hse.ru

Дорфман Яков – в 1971 г. окончил Московский физтех, кафедру физики жизни. После этого до своей безвременной смерти в 1986 г. работал на факультете биологии МГУ им. Ломоносова. Занимался очень широким кругом проблем, связанных с эмбриологией и теоретической биологией.

Золян Сурен Тигранович – профессор, ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Республики Армения (Ереван); Института перспективных гуманитарных исследований и технологий Московского государственного гуманитарного университета (Москва).

Ильин Михаил Васильевич – руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, профессор НИУ-ВШЭ, профессор МГИМО (У) МИД России, mikhaililyin48@gmail.com

Локшин Илья Михайлович – аспирант кафедры сравнительной политологии факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, ilokshin@hse.ru

Камалова Рита Ульфатовна – аспирант кафедры политического поведения факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, rkamalova@hse.ru

- Кокарев Константин Павлович** – младший научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, konstantin.kokarev@gmail.com
- Коротаев Андрей Васильевич** – доктор исторических наук, профессор РГГУ, зав. Лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ведущий научный сотрудник Института востоковедения и Института Африки РАН, akorotayev@gmail.com
- Кузнецов Анатолий Михайлович** – доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений школы региональных и международных исследований ДВФУ, kuznetsov.2012@mail.ru
- Масловский Михаил Валентинович** – ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического института РАН (Санкт-Петербург) maslovski@mail.ru
- Патцельт Вернер** – профессор Института политических наук Технического университета Дрездена, werner.patzelt@tu-dresden.de
- Сергеев Виктор Михайлович** – директор Центра глобальных проблем МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, sasergeev1@rambler.ru
- Сморгунов Леонид Владимирович** – доктор философских наук, заведующий кафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ, lvsmorgunov@gmail.com
- Соболев Антон Сергеевич** – аспирант кафедры теории политики и политического анализа факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, asobolev@hse.ru
- Соболева Ирина Владимировна** – аспирант кафедры теории политики и политического анализа факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, ivsoboleva@hse.ru
- Стукал Денис Константинович** – кандидат политических наук, старший научный сотрудник Лаборатории политических исследований НИУ-ВШЭ, dstukal@hse.ru
- Розов Николай Сергеевич** – доктор философских наук, профессор Института философии и права СО РАН, nrozov@gmail.com
- Петров Александр Пхоун Чжо** – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
- Фомин Иван Владленович** – младший научный сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, fomin.i@gmail.com
- Цыганков Андрей Павлович** – профессор международных отношений и политической науки Университета Сан-Франциско в Калифорнии, andrei@sfsu.edu

**МЕТОД:
МОСКОВСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ
ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

Сборник научных трудов

Выпуск 4

ПОВЕРХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Дизайнер (художник) И.А. Михеев
Корректоры О.П. Дормидонтова, Н.И. Кузьменко
Компьютерная верстка Л.Н. Синякова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 12/VIII – 2014 г.
Формат 70x100/16 Бум. офсетная № 1.
Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 29,75 Уч.-изд. л. 30,0
Тираж 500 экз. Заказ № 15

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел. / Факс: (499) 120-4514
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9